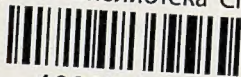




Научная библиотека СПбГУ

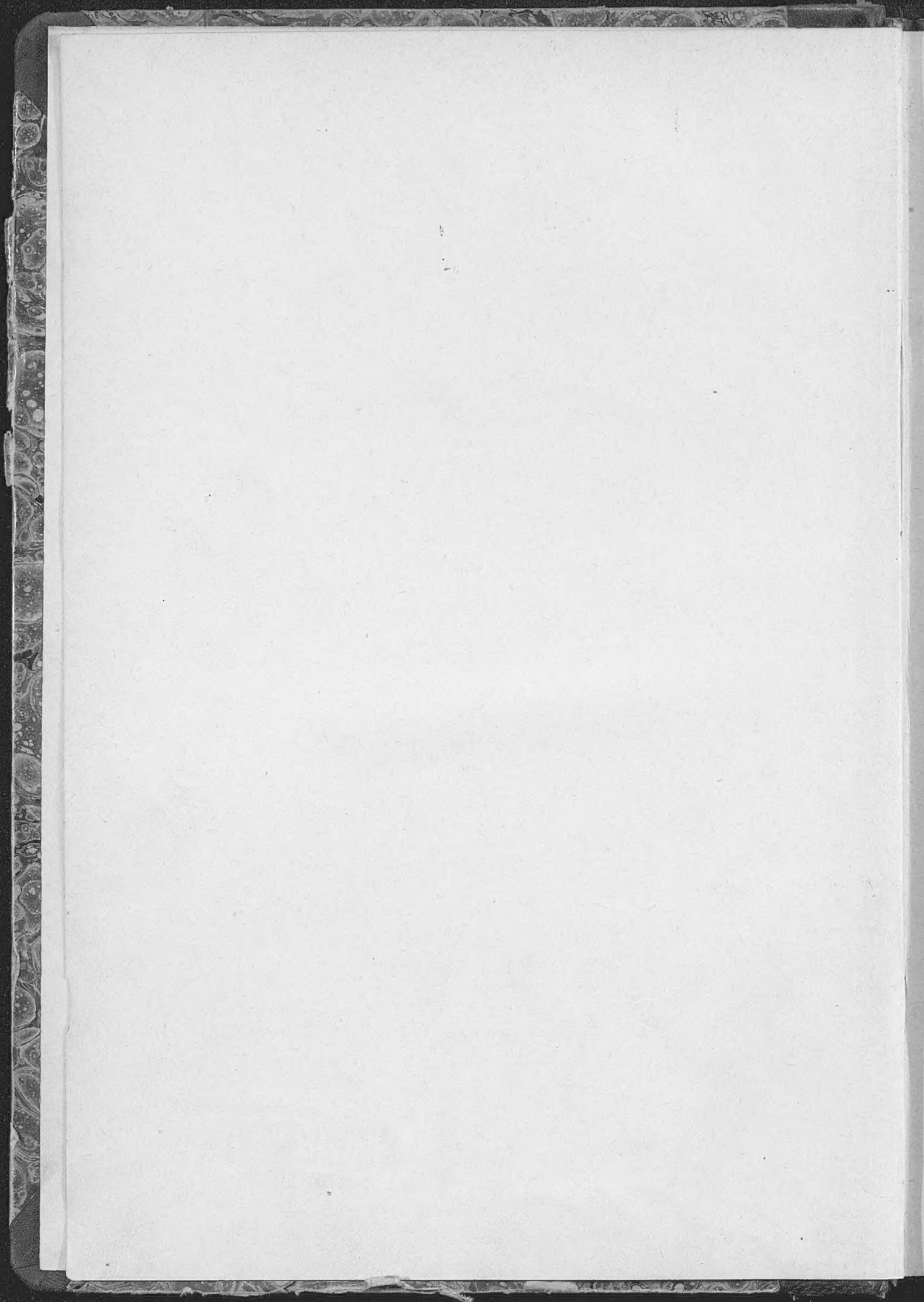


1002157250



名工 17457







ДЛЯ ШКОЛЫ и САМООБРАЗОВАНИЯ.

№ II 17457.

# КРИТИЧЕСКОЕ ПОСОБІЕ.

СБОРНИКЪ ВЫДАЮЩИХСЯ СТАТЕЙ РУССКОЙ КРИТИКИ

ЗА 100 ЛѢТЪ.

(Кирѣевскій. — Айхенвальдъ.)

Томъ II.

(Перматовъ, Гоголь, Аксаковъ, Гончаровъ, Достоевскій).

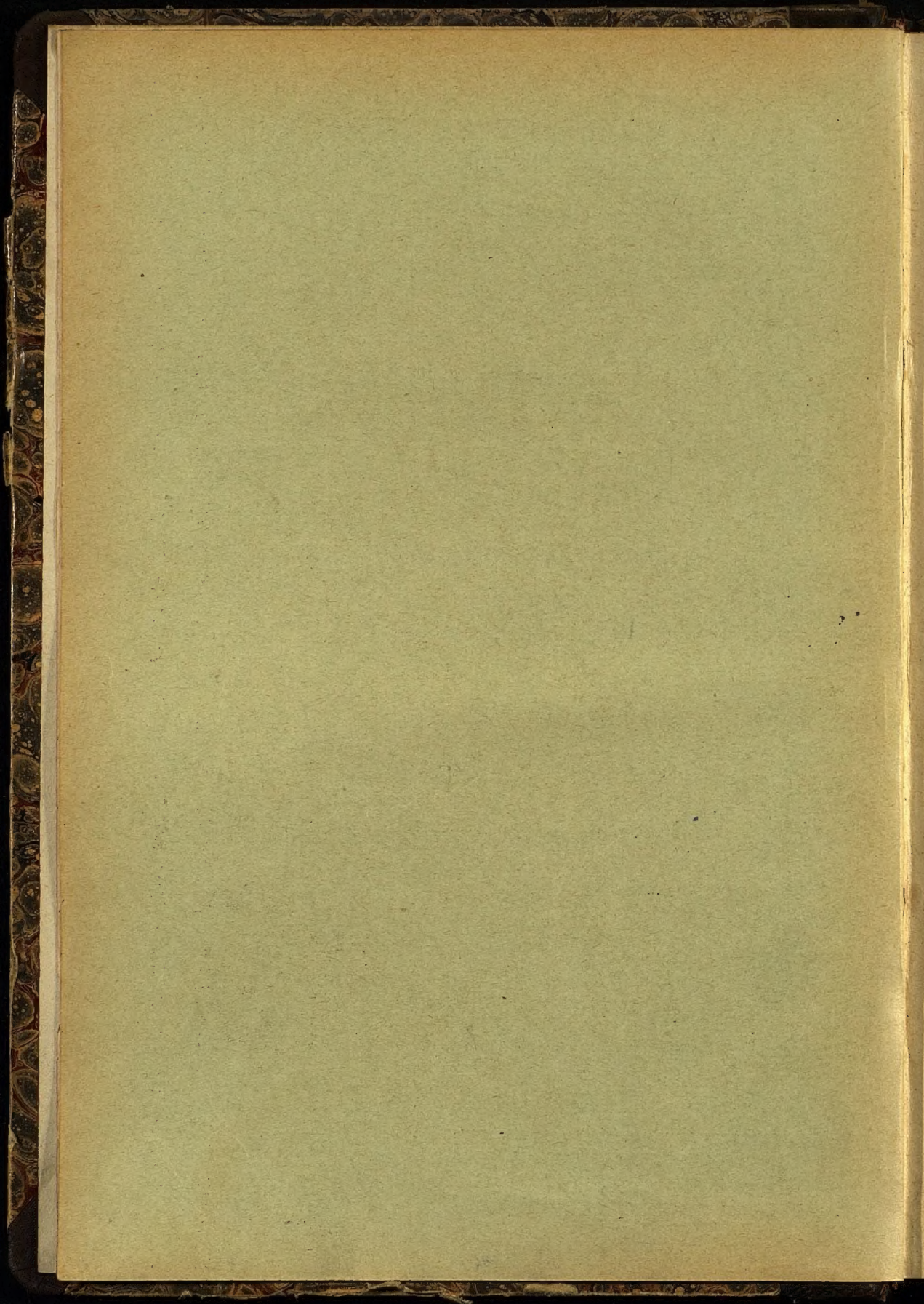
Цѣна 1 руб.



Составилъ преподаватель Лазаревского Института  
и торговой школы Биржевого Общества въ Москвѣ

Л. О. ВЕЙНБЕРГЪ.







ДЛЯ ШКОЛЫ и САМООБРАЗОВАНІЯ.

№ II 17457.

# КРИТИЧЕСКОЕ ПОСОБІЕ.

СБОРНИКЪ ВЫДАЮЩИХСЯ СТАТЕЙ  
РУССКОЙ КРИТИКИ ЗА 100 ЛѢТЪ.

(Кирѣевскій. . . . Айхенвальдъ.)

Томъ II.

(Лермонтовъ, Гоголь, Аксаковъ, Гончаровъ, Достоевскій.)



Составилъ преподаватель Лазаревскаго Института  
и торговой школы Биржевого Общества въ Москвѣ

Л. О. ВЕЙНБЕРГЪ.



26316

ШКОЛЫ

ПРОВЕРКА  
2007



ИЗДАТЕЛЬСТВО И ПРОДАЖА

ВЪЗРАЖЕНІЕ

# ПОСЛОВІЕ

КЪ ПЕРВОМУ ВЫПУСКУ

ЖУРНАЛА

«ВЪЗРАЖЕНІЕ»

ВЪЗРАЖЕНІЕ

ВЪЗРАЖЕНІЕ

ВЪЗРАЖЕНІЕ

ВЪЗРАЖЕНІЕ

ВЪЗРАЖЕНІЕ

ВЪЗРАЖЕНІЕ

ВЪЗРАЖЕНІЕ

ВЪЗРАЖЕНІЕ

ВЪЗРАЖЕНІЕ

ВЪЗРАЖЕНІЕ

ВЪЗРАЖЕНІЕ

ВЪЗРАЖЕНІЕ

ВЪЗРАЖЕНІЕ

ВЪЗРАЖЕНІЕ

ВЪЗРАЖЕНІЕ

ВЪЗРАЖЕНІЕ

ВЪЗРАЖЕНІЕ

ВЪЗРАЖЕНІЕ  
1913



Типографія Т-ва И. Д. Сытина, Лятницкая улица, свой домъ.  
Москва.—1913.



## Оглавление II тома.

	Стр.
Бѣлинскій. Стихотворенія М. Лермонтова . . . . .	1
«Герой нашего времени» . . . . .	53
Пушкинъ и Лермонтовъ . . . . .	99
Влад. Соловьевъ. Лермонтовъ . . . . .	103
Михайловскій. Герой безвременья (Лермонтовъ) . . . . .	114
Овсянко-Куликовскій. Печоринъ и Бѣлинскій . . . . .	124
Ключевскій. Грусть. (Памяти Лермонтова) . . . . .	135
Бѣлинскій. О натуральной школѣ Гоголя . . . . .	147
I. Повѣсти Гоголя . . . . .	155
II. «Ревизоръ» . . . . .	178
III. «Женитьба» . . . . .	195
IV. «Мертвыя души» . . . . .	198
Ан. Григорьевъ. О Гоголѣ . . . . .	203
Чернышевскій. О Гоголѣ . . . . .	206
Значеніе Гоголя . . . . .	209
Овсянко-Куликовскій. «Люди 40-хъ годовъ» и Гоголь . . . . .	217
Тургеневъ объ Аксаковѣ . . . . .	228
Айхенвальдъ. Сергѣй Тимофеевичъ Аксаковъ . . . . .	231
Бѣлинскій. «Обыкновенная исторія» Гончарова. . . . .	240
Дружининъ. «Обломовъ» Гончарова . . . . .	259
Ан. Григорьевъ. Гончаровъ . . . . .	269
Писаревъ. «Обыкновенная исторія» Гончарова . . . . .	273
«Обломовъ», романъ И. А. Гончарова . . . . .	286
Характеристика Ольги . . . . .	302
Добролюбовъ. Что такое «Обломовщина» . . . . .	310
Овсянко-Куликовскій. Штольцъ и Ольга . . . . .	334
Писаревъ. «Преступленіе и наказаніе» Достоевскаго . . . . .	341
Добролюбовъ. «Забитые люди» . . . . .	350
Влад. Соловьевъ. Рѣчи о Достоевскомъ . . . . .	361
Михайловскій. О Достоевскомъ . . . . .	371
Мережковскій. О Достоевскомъ . . . . .	380
Волынский. «Братья Карамазовы». . . . .	383
Овсянко-Куликовскій. Идейное наслѣдіе Достоевскаго . . . . .	396

(Р. С. Продолженіе въ III томѣ).



Описание Н. 1000



## Стихотворенія М. Лермонтова.

Теперь гонимъ за жизнью дивной  
И каждый мигъ въ ней воскрешай,  
На каждый звукъ ея призывный  
Отзывной пѣснью отвѣчай!

*Веневитиновъ.*

Всѣ говорятъ о поэзіи, всѣ требуютъ поэзіи. Повидимому, это слово для всѣхъ имѣетъ такое ясное и опредѣленное значеніе, какъ, на примѣръ, слово «хлѣбъ», или еще болѣе — слово «деньги». Но когда только двое начнутъ объяснять одинъ другому, что каждый изъ нихъ разумѣетъ подъ словомъ «поэзія», то и выходитъ на повѣрку, что одинъ называетъ поэзію воду, другой — огонь. Что жъ, если бы всѣ-то такъ называемые любители поэзіи заговорили о предметѣ своей любви! Это была бы настоящая картина вавилонскаго смѣшенія языковъ! И очень естественно: если трудно опредѣлить поэзію ученымъ образомъ, то еще труднѣе намекнуть на ея значеніе повседневнымъ языкомъ общества, всѣмъ и каждому равно понятнымъ. Если бъ вамъ и удалось это, вы все-таки удовлетворите только людей, которые съ вами симпатизируютъ, которые одинаково съ вами настроены. Въ самомъ дѣлѣ, если я подъ словомъ «поэзія» разумѣю размѣренныя и зарпѣченныя строчки, заключающія въ себѣ правила добронравія и добродѣтели, то какъ вы убѣдите меня, что поэзія есть воспроизведеніе, живопись явленій жизни? — Если я подъ словомъ «идеализированіе» разумѣю представленіе дѣйствительности совсѣмъ не такъ, какъ она есть — ходули мыслей, дыбы чувства, то какъ увѣрите вы меня, что «идеализированіе» дѣйствительности есть только подчиненіе взятыхъ изъ нея матеріаловъ извѣстной цѣли, извлеченіе изъ нея, такъ сказать, ея сущности и сочлененіе въ живое и органическое цѣлое разнородныхъ, повидимому, частей? — Если я подъ словомъ «вдохновеніе» разумѣю нравственное опьяненіе, какъ бы отъ приема опиума или дѣйствія виннаго хмеля, изступленіе чувствъ, горячку страсти, которыя заставляютъ непризнаннаго поэта изображать предметы въ какомъ-то безумномъ круженіи, выражаться дикими, натянутыми фра-



замы, неестественными оборотами рѣчи, придавать обыкновеннымъ словамъ насильственное значеніе, — то какъ вразумите вы меня, что «вдохновеніе» есть состояніе духовнаго ясновидѣнія, кроткаго, но глубокаго созерцанія таинства жизни, что оно, какъ бы магическимъ жезломъ, вызываетъ изъ недоступной чувствамъ области мысли свѣтлые образы, полные жизни и глубокаго значенія, и окружающую насъ дѣйствительность, нерѣдко мрачную и нестройную, являетъ просвѣтленною и гармоническою?.. Поэзія и наука тождественны, если подъ наукою должно разумѣть не однѣ схемы знанія, но сознаніе кроющейся въ нихъ мысли. Поэзія и наука тождественны, какъ постигаемые не одною какою-нибудь изъ способностей нашей души, но всею полною нашего духовнаго существа, выражаемою словомъ «разумъ». Въ этомъ отношеніи онѣ рѣзкою чертою отдѣляются отъ такъ называемыхъ «точныхъ» наукъ, не требующихъ ничего, кромѣ разсудка, и развѣ еще воображенія. Можно быть очень умнымъ человѣкомъ и не понимать поэзіи, считать ее за вздоръ, за побрякушку рюмъ, которою забавляются праздные и слабоумные люди; но нельзя быть умнымъ человѣкомъ и не сознавать въ себѣ возможности постичь значеніе, напр., математики и сдѣлать въ ней, при усиленномъ трудѣ, большіе или меньшіе успѣхи. Можно быть умнымъ, даже очень умнымъ человѣкомъ, и не понимать, что хорошаго въ «Иліадѣ», «Макбетѣ» или лирическомъ стихотвореніи Пушкина; но нельзя быть умнымъ человѣкомъ и не понимать, что два, умноженные на два, составляютъ четыре, или, что двѣ параллельныя линіи никогда не сойдутся, хотя бы продолжены были въ безконечность. Ясно, что подъ словомъ «точныхъ» истинъ разумѣются тѣ истины, которыхъ очевидности и непреложности не можетъ не признать ни одинъ человѣкъ въ мірѣ, не лишенный здраваго смысла, прежде всего отличающаго людей отъ животныхъ. Въ этомъ отношеніи наука, въ высшемъ ея значеніи, т. - е. философія и поэзія, повторяемъ, тождественны: та и другая равно далеки отъ того, что имѣетъ хотя видъ «точности». Но въ хаотической борьбѣ и противоположности понятій, убѣжденій и вкусовъ насчетъ произведеній искусства внимательный взоръ открываетъ, какъ и во всѣхъ великихъ явленіяхъ жизни, торжество единства, которое тѣмъ выше и поразительнѣе торжества «точности», чѣмъ, по видимому, неопредѣленнѣе и неуловимѣе для разсудка сущность искусства. Океанъ времени, смывшій съ лица земли греческія республики, вынесъ имена: Гомера, Гезіода, Эсхила, Софокла, Пиндара, Анакреона, — и теперь всѣ, считающіе себя участниками даровъ вдохновенія, охотно или поневолѣ, все-таки дивятся этимъ именамъ. Удачно сдѣланная копія съ Аполлона Бельведерскаго возбуждаетъ всеобщій восторгъ, а оригиналамъ, состоящимъ изъ двухъ кусковъ мрамора,



пѣтъ цѣны. Певѣжды, зѣвующіе отъ драмъ Шекспира и втайнѣ предпочитающіе имъ мыльные пузыри водевилей, вслухъ хвалятъ Шекспира и оскорбляются, если съ нимъ сравниваютъ кого бы то ни было. Но это работа времени: въ пестротѣ современности торжество единства мнѣнія еще поразительнѣе, ибо оно есть вмѣстѣ и торжество разумности надъ близорукою ограниченностью, надъ борьбою мелкихъ страстей. Пушкинъ явился у насъ во времена классической неподвижности, и потому какъ благосклонно и привѣтливо встрѣтило его молодое поколѣніе, такъ непріязненно и сурово приняло его старое поколѣніе, и въ особенности записные поэты и литераторы, и словесники того времени. Но истина взяла свое, — и, несмотря на смѣшанные крики и ожесточенные споры, *общее мнѣніе* тотчасъ же превознесло имя молодого поэта превыше всѣхъ поэтическихъ лауреатовъ, прежде него и при немъ бывшихъ.

Но это торжество единства надъ разнообразіемъ и противорѣчіемъ во мнѣніяхъ о такомъ неопредѣленномъ и неточномъ предметѣ, каково искусство, выходитъ не изъ множества, не изъ толпы, но отъ немногихъ и избранныхъ переходитъ въ толпу. Не всѣ могутъ и не всѣ должны понимать изящное; его понимаютъ только немногіе, избранные. Кто по натурѣ своей есть духъ отъ духа, тотъ по праву рожденія причастенъ всѣхъ даровъ духа, недоступныхъ плоти и ея душѣ — разсудку. *Разсудокъ* ставитъ человѣка выше всѣхъ животныхъ; но только *разумъ* дѣлаетъ его человѣкомъ по превосходству. Разсудокъ не шагаетъ далѣе «точныхъ» наукъ и не понимаетъ ничего, выходящаго изъ тѣснаго круга «полезнаго» и «насущнаго»; разумъ же объемлетъ безконечную сферу сверхъопытнаго и сверхчувственнаго, дѣлаетъ яснымъ непостижимое, очевиднымъ — неопредѣленное, опредѣленнымъ — «неточное». Искусство принадлежитъ къ этой сферѣ бытія, доступной только разуму — и потому понимать поэзію нельзя выучиться такъ же, какъ нельзя выучиться писать стихи. Восприимлемость впечатлѣній изящнаго есть своего рода талантъ: она не пріобрѣтается ни наукою, ни образованіемъ, ни упражненіемъ, но дается природою. Постигненіе поэзіи есть откровеніе духа, а таинство откровенія скрывается въ натурѣ человѣка; между тѣмъ, извѣстно, что натуры людей разнообразны до безконечности и представляютъ собою безконечную лѣстницу съ безконечными ступенями — снизу вверхъ или сверху внизъ, смотря по тому, съ котораго конца будете смотрѣть на нее. Поэзія первоначально воспринимается сердцемъ, и уже имъ передается головѣ. Потому, чье сердце жестко и черство отъ природы для воспріятія впечатлѣній изящнаго, — окружите его съ малолѣтства произведеніями искусства, толкуйте ему цѣлую жизнь о поэзіи, — онъ пріобрѣтетъ только навыкъ къ ея фор-



мамъ и приучится судить о ихъ вѣншней отдѣлкѣ; по сущность творчества навсегда останется для него тайною, которой онъ и подозрѣвать не будетъ. И такихъ людей, чуждыхъ поэзіи по натурѣ своей, несравненно больше, чѣмъ людей, одаренныхъ истиннымъ излщнаго. Почему же это? — Потому же, почему число художниковъ относится къ толпѣ, какъ единица къ миллиону. — А почему же существуетъ это отношеніе? На такой вопросъ даетъ превосходный отвѣтъ Моцартъ Пушкина, говоря Сальери:

Когда бы всѣ такъ чувствовали силу  
Гармоніи! Но нѣтъ: тогда бъ не могъ  
И міръ существовать; никто бъ не сталъ  
Заботиться о нуждахъ низкой жизни;  
Всѣ предались бы вольному искусству.  
Насъ мало избранныхъ счастливецъ праздныхъ,  
Пренебрегающихъ презрѣнной пользой,  
Единого прекраснаго жрецовъ.

Обыкновенно толпа такъ же холодна и равнодушна къ искусству, какъ приверженна и предана пользѣ; — и поэтъ имѣетъ полное право, въ порывѣ благороднаго негодованія, отвѣчать на ея безсмысленные крики:

Молчи, безсмысленный народъ,  
Поденщикъ, рабъ нужды, заботъ!  
Несносецъ мнѣ твой ропотъ дерзкій.  
Ты червь земли, не сытъ небесъ;  
Тебѣ бы пользы все — на вѣсь  
Кумиръ ты цѣпишь Бельведерскій;  
Ты пользы, пользы въ немъ не зришь.  
Но мраморъ сей вѣдь богъ!.. Такъ что же!  
Печной горшокъ тебѣ дороже:  
Ты пищу въ немъ себѣ варишь...

Но чѣмъ равнодушнѣе и холоднѣе толпа къ дѣлу искусства, тѣмъ выше и поразительнѣе торжество искусства надъ толпою: невольно подчиняясь вліянію избранныхъ природы, оно признаетъ его *автономію*, несмотря на его «неточность», и тѣмъ самымъ дѣлаетъ явнымъ единодержавіе разума. И поэтъ, существо, называющее пользу — этотъ идолъ толпы — презрѣнною, поэтъ возбуждаетъ къ себѣ суевѣрное удивленіе толпы, спраетъ дань ея рукоплесканій, возбуждаетъ въ ней восторгъ своимъ появленіемъ. Это такое явленіе, передъ которымъ поневолѣ задумается самый жаркій поклонникъ «полезнаго», постигшій всю глубину «точной» премудрости...

Итакъ, оставимъ въ сторонѣ всѣхъ враговъ излщнаго; забудемъ о равнодушіи толпы къ дѣлу искусства и не будемъ бояться, что одни насъ не поймутъ, другіе съ нами не согласятся, а третьи будутъ надъ нами смѣяться — и возвратимся къ вопросу, которымъ мы на-

чали статью: что такое поэзія? Только во дни кипучей и неискушенной опытами жизни юности человѣку сродно питать благородное, но несбыточное желаніе — увѣрить весь свѣтъ въ истинѣ своихъ убѣжденій, одинаковымъ языкомъ и одинаковымъ жаромъ говорить со всѣми о томъ, что доступно только нѣкоторымъ, и огорчаться, что нѣкоторые не понимаютъ того, чего и не дано, и не нужно имъ понимать... Будемъ говорить для всѣхъ и всѣмъ, но будемъ падѣяться только на отзывъ немногихъ... И что жъ — развѣ это не великое счастье — пробудить полетъ къ высокому въ иной дремлющей душѣ? Развѣ это не великое счастье — родить къ себѣ сочувствіе въ сердцѣ, котораго мы никогда не знали и не узнаемъ, которое живетъ, можетъ-быть, въ далекомъ отъ насъ уголку этого міра, но которое отъ нашихъ строкъ забьется въ лады съ нашимъ сердцемъ, и въ общемъ человѣческомъ интересѣ сознаетъ свое родство съ нами по духу, въ ознаменованіе торжества духа надъ условіями пространства и времени!..

Духъ человѣческій съ безграничнымъ упоеніемъ прислушивается къ прозябанію дольней лозы, къ подводному ходу морского гада, къ шелесту листьевъ, колеблемыхъ въ знойный полдень лѣтнимъ вѣтеркомъ: онъ сознаетъ съ ними свое родство; онъ чувствуетъ въ нихъ незримое присутствіе, слышитъ въ нихъ вѣяніе того же безсмертнаго духа жизни, который, подобно огню Прометееву, жить и его собственное существованіе. Для живого человѣка природа всюду является одушевленной: онъ слышитъ ея голосъ и въ безмолвномъ образованіи металловъ, въ таинственной лабораторіи нѣдръ земныхъ, и въ завываніи вѣтра, — тамъ, у полюсовъ, въ царствѣ вѣчной зимы и смерти, на звонкихъ льдахъ воздымающаго пушистыя вьюги; въ приливѣ и отливѣ водъ онъ видитъ какъ бы тяжелое, напряженное дыханіе исполинской груди сѣдого старца-океана... Полонъ таинственной думы для души нашей чернѣющійся вдали лѣсъ, и когда подходимъ мы къ нему, намъ невольно овладѣваетъ какая-то дѣтская робость, какой-то мистическій, по полнотѣ обаянія ужасъ, — и мы повторяемъ съ поэтомъ:

О чемъ шумить сосновый лѣсъ?  
Какія въ немъ сокрыты думы?  
Ужель въ его холодномъ царствѣ  
Затаена живая мысль?

. . . . .  
Порой, во тѣмъ пустынной ночи,  
Былыхъ вѣковъ живыя тѣни  
Изъ глубины его выходятъ  
И на людей наводятъ страхъ.  
Съ приходомъ дня уходятъ тѣни;  
Слѣдовъ ихъ нѣтъ; лишь на вершинахъ  
Одинъ туманъ, да въ темной грусти



Ночь безразсвѣтная лежитъ...  
 Какая жъ тайна въ дикомъ лѣсѣ  
 Такъ безотчетно насъ влечетъ,  
 Въ забвенье погружаетъ чувство  
 И тайны новыя рождаетъ?  
 Ужели въ насъ духъ вѣчной жизни  
 Такъ безсознательно живетъ,  
 Что въ царствѣ безотрадной смерти  
 Свое величье сознаетъ?..

Нѣтъ, не безсознательность, но чувство своего сродства, своей общности, своего тождества со всѣмъ великимъ царствомъ жизни заставляетъ нашъ духъ видѣть свое отраженіе въ таинственныхъ явленіяхъ природы!.. Повидимому, отторгнутый отъ общаго своею индивидуальностію, ставши въ человѣкѣ личностію, — духъ нашъ тѣмъ живѣе и глубже чувствуетъ свое таинственное единство съ безсознательною природою, которая не чувствуетъ своего единства съ нимъ... Въ природѣ нѣтъ нашего духа, но въ насъ есть духъ природы, ибо законъ бытія таковъ, что высшее необходимо заключаетъ въ себѣ низшее. Да, у духа нашего есть общее съ природою, — и это общее есть жизнь, и потому-то она говоритъ ему такимъ понятнымъ и родственнымъ языкомъ, и все въ ней влечетъ его къ себѣ, все —

И блескъ, и жизнь, и шумъ листовъ,  
 Стозвучный говоръ голосовъ,  
 Дыханье тысячи растений,  
 И полдня сладострастный зной,  
 И ароматною росой  
 Всегда увлажненные почки,  
 И звѣзды яркія, какъ очи  
 Грузинки жарко-молодой...

Неисчислимы и разнообразны предметы міра, но въ нихъ есть единство, и всѣ они — частныя явленія общаго. Вотъ почему философія говоритъ, что существуетъ одно общее. Вздохи дышащей груди жизни — ея частныя явленія рождаются и умираютъ, приходятъ и преходятъ, а жизнь никогда не умираетъ, никогда не переходитъ: такъ въ океанѣ рождаются волны, и волна гонитъ волну, волна смѣняетъ волну, а океанъ все такъ же великъ и глубокъ, такъ же живетъ и движется на своемъ бездонномъ, необъятномъ ложѣ; — а въ его кристаллѣ все такъ же торжественно отражается лучезарное солнце, и все такъ же колышется и трепещетъ ночное небо, усыпанное міриадами звѣздъ. Каждый человѣкъ есть отдѣльный и особенный міръ страстей, чувства, желаній, сознанія; но эти страсти, это чувство, это желаніе, это сознаніе принадлежатъ не одному какому-нибудь человеку, но составляютъ достояніе человѣческой природы, общее всѣхъ людей. И потому, въ комъ больше общаго, тотъ больше и

живетъ; въ комъ нѣтъ общаго — тотъ живой мертвецъ. Чѣмъ же выражается причастность человѣка общему? — Въ доступности всему, что сродно человѣческой натурѣ, что составляетъ ея сущность и характеръ; въ правѣ сказать о себѣ: «я человѣкъ — и ничто человѣческое не чуждо мнѣ». Кто причастенъ общему, для того личныя выгоды и потребности житейскія — интересы второстепенныя, а природа и человечество — главнѣйшіе интересы. Чья личность есть выраженіе общаго, тотъ жаждетъ сочувствія ближнихъ, трепетнаго упоенія любви, кроткаго счастья дружбы, жаждетъ волненій чувства, бурь и непогодъ жизни, борьбы съ препятствіями; тотъ все понимаетъ, на все откликается: и въ раззолоченныхъ палатахъ, среди богатства и роскоши, онъ слышитъ стопы нищеты и бѣдствія, и сердце его содрогается, но не отвращается отъ ихъ пронзительныхъ диссонансовъ; окруженный вѣмъ, что горячо любить онъ, что зоветъ роднымъ и милымъ, — онъ откликается на вопль и слезы вѣчной разлуки и невозвратимой утраты и плачетъ о чужомъ горѣ, котораго самъ не испыталъ; пылкій юноша, онъ умѣряетъ рѣзкость своихъ движеній, смягчаетъ силу своихъ порывовъ и благоговѣнно, стыдливо, дѣвственно опускаетъ пламенные взоры въ присутствіи старца, на лицѣ котораго сіяетъ кроткій свѣтъ чувства, дрожащій голосъ котораго льется свѣтлою волною любви; согбенный лѣтами старецъ, онъ съ умиленіемъ смотритъ на рѣзвое дитя, которое по зеленому лугу гонится за пестрою бабочкою; онъ радуется его дѣтской радости, принимаетъ участіе въ младенческой печали; онъ прощаетъ заблужденіе пламенной юности, снисходителенъ къ кипѣнію ея порывистыхъ страстей, онъ понимаетъ мгновенный пламень и внезапную блѣдность на ланитахъ молодой дѣвушки, ея тоскующій взоръ и нѣмую горестъ, волненіе ея молодой груди, и печаль безъ горя, и страхъ безъ бѣды, и радость безъ причины... Съ благословеніемъ на устахъ, съ умиленіемъ во взорѣ смотритъ онъ на пылкую юность, которая кружится въ вихрѣ жизни и, полная надеждъ и отваги, гордая сознаніемъ своей силы, спѣшитъ безъ оглядки навстрѣчу будущему, обольщаемая его заманчивою далью, не зная и не желая знать его предательскихъ обмановъ, — и передъ нимъ воскресаетъ прошедшее его собственной жизни, возстаютъ милые призраки и знакомые образы невозвратно-протекшихъ лѣтъ, и вмѣсто резонерскихъ поученій и докучнаго ворчанія онъ повторяетъ про себя съ грустно-радостною улыбкою:

...Такъ было прежде  
Во время оно и со мной!

Да, жить не значитъ столько-то лѣтъ ѣсть и пить, биться въ зачашновъ и денегъ, а въ свободное время бить хлопнушкою мухъ, зѣвать



и играть въ карты: такая жизнь хуже всякой смерти, и такой человекъ ниже всякаго животнаго, ибо животное, повинаясь своему инстинкту, вполне пользуется всѣми средствами, данными ему отъ природы для жизни, и неуклонно выполняетъ свое назначеніе. Жить значитъ чувствовать и мыслить, страдать и блаженствовать; всякая другая жизнь — смерть. И чѣмъ больше содержанія объемлетъ собою наше чувство и мысль, чѣмъ сильнѣе и глубже наша способность страдать и блаженствовать, тѣмъ больше мы живемъ: мгновеніе *такой* жизни существеннѣе ста лѣтъ, проведенныхъ въ апатической дремотѣ, въ мелкихъ дѣйствіяхъ и ничтожныхъ цѣляхъ. Способность страданія условливаетъ въ насъ способность блаженства, и не знающіе страданія не знаютъ и блаженства; не плакавшіе не возрадуются. Когда Мефистофель предлагаетъ Фаусту всѣ блага, всѣ наслажденія, столь высоко цѣнимыя толпою, — Фаустъ отвѣчаетъ ему:

Не думалъ я о наслажденьяхъ.  
Я кинуся въ бурный чадъ страстей,  
Упьюсь восторгами мученій;  
Я ненавижу любви, отраду огорченій  
Сищу въ печальной жизни сей.  
Святая истина отъ глазъ моихъ сокрыта,  
Высокой мудрости уму не суждено.  
Всѣмъ горестямъ отнынѣ грудь открыта,  
И всѣмъ, что человѣчеству дано,  
Въ самомъ себѣ хочу я насладиться,  
И въ адъ, и въ небо погрузиться,  
И грусть людей, и радость ихъ пепить,  
Съ ихъ бытіемъ свое совокупить  
И съ ними, наконецъ, въ уничтоженьѣ слиться.

Да, все постичь духомъ, все обнять чувствомъ, всѣмъ возобладать и ничему исключительно не покориться — вотъ жизнь! Но эта жизнь есть достояніе тѣхъ немногихъ, которые стоятъ во главѣ человечества, играютъ роль его представителей. Вотъ одинъ изъ нихъ:

Все духъ въ немъ питало: труды мудрецовъ,  
Искусствъ вдохновенныхъ созданья,  
Преданья, завѣты минувшихъ вѣковъ,  
Цвѣтущихъ временъ упованья.  
Мечтою по волѣ проникнуть онъ могъ  
И въ нищую хату, и въ царскій чертогъ.  
Съ природой одною онъ жизнью дышалъ  
Ручья разумѣлъ лепетанье,  
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ  
И чувствовалъ травъ прозябанье;  
Была ему звѣздная книга ясна,  
И съ нимъ говорила морская волна.

Въ этихъ двѣнадцати стихахъ Баратынскаго о Гёте заключается высшій идеалъ человѣческой жизни и все, что можно сказать о жизни *внутренняго* человѣка.

Но, кромѣ природы и личнаго человѣка, есть еще общество и человѣчество. Какъ бы ни была богата и роскошна внутренняя жизнь человѣка, какимъ бы горячимъ ключомъ ни била она вовнѣ, и какими бы волнами ни лилась черезъ край, — она неполна, если не усвоитъ въ свое содержаніе интересовъ внѣшняго ей міра, общества и человѣчества. Въ полной и здоровой натурѣ тяжело лежать на сердцѣ судьбы родины; всякая благородная личность глубоко сознаетъ свое кровное родство, свои кровныя связи съ отечествомъ. Общество, какъ всякая индивидуальность, есть нѣчто живое и органическое, которое имѣетъ свои эпохи возрастанія, свои эпохи здоровья и болѣзней, свои эпохи страданія и радости, свои роковые кризисы и переломы къ выздоровленію и смерти. *Живой* человѣкъ носить въ своемъ духѣ, въ своемъ сердцѣ, въ своей крови жизнь общества: онъ болѣетъ его недугами, мучится его страданіями, цвѣтетъ его здоровьемъ, блаженствуетъ его счастьемъ, внѣ своихъ собственныхъ, своихъ личныхъ обстоятельствъ. Разумѣется, въ этомъ случаѣ общество только беретъ съ него свою дань, отторгая его отъ него самого въ извѣстные моменты его жизни, но не покоряя его себѣ совершенно и исключительно. Гражданинъ не долженъ уничтожать человѣка, ни человѣкъ гражданина: въ томъ и другомъ случаѣ выходитъ крайность, а всякая крайность есть родная сестра ограниченности. Любовь къ отечеству должна выходить изъ любви къ человѣчеству, какъ частное изъ общаго. Любить свою родину значитъ пламенно желать видѣть въ ней осуществленіе идеала человѣчества и по мѣрѣ силъ своихъ споспѣшествовать этому. Въ противномъ случаѣ, патріотизмъ будетъ китаизмомъ, который любить свое только за то, что оно свое, и ненавидитъ все чужое за то только, что оно чужое, и не парадуется собственнымъ безобразіемъ и уродствомъ; романъ англичанина Морьера «Хаджи-Баба» есть превосходная и вѣрная картина подобнаго *квасного* (по счастливому выраженію князя Вяземскаго) патріотизма. Человѣческой натурѣ сродно любить все близкое къ ней, свое родное и кровное; но эта любовь есть и въ животныхъ, слѣдовательно, любовь человѣка должна быть выше. Это превосходство любви человѣческой передъ животною состоитъ въ разумности, которая тѣлесное и чувственное просвѣтляетъ духомъ, а этотъ духъ есть общее. Примѣръ Петра Великаго, говорившаго о родномъ сынѣ, что лучше чужой да хорошій, чѣмъ свой да негодный, — лучше всего поясняетъ и оправдываетъ нашу мысль. Конечно, изъ частнаго нельзя дѣлать правило для общаго, но можно черезъ сравненіе объяснять частнымъ общее.



Можно не любить и родного брата, если онъ дурной человѣкъ, но нельзя не любить отечества, какое бы оно ни было: только надобно, чтобы эта любовь была не мертвымъ довольствомъ тѣмъ, что есть, но живымъ желаніемъ усовершенствованія; словомъ — любовь къ отечеству должна быть вмѣстѣ и любовью къ человѣчеству.

И вотъ мы сказали о жизни все, что хотѣли сказать о ней, и хотя, повидимому, отдалились черезъ это отъ нашего вопроса, но въ сущности только приблизились къ его рѣшенію.

Поэзія есть выраженіе жизни, или, лучше сказать, сама жизнь. Мало этого: въ поэзіи жизнь болѣе является жизнью, нежели въ самой дѣйствительности.

Отсюда вытекаетъ новый вопросъ, рѣшеніе котораго и будетъ рѣшеніемъ вопроса о поэзіи, — вопросъ: если сама жизнь заключаетъ въ себѣ столько поэзіи, такъ что въ сущности своей жизнь и поэзія тождественны, — то зачѣмъ же еще другая поэзія, и какую необходимость можетъ носить въ себѣ искусство, и какое самостоятельное значеніе можетъ имѣть оно?

Много прекраснаго въ живой дѣйствительности, или, лучше сказать, все прекрасное заключается только въ живой дѣйствительности; но, чтобы насладиться этою дѣйствительностью, мы сперва должны овладѣть ею въ нашемъ разумѣніи, а это возможно только при двухъ условіяхъ: мы должны обнимать ее въ цѣлости и притомъ предметно, такъ чтобы наша личность, наши отношенія не заслоняли ея отъ насъ. И мы этимъ пользуемся, но только въ рѣдкія минуты восторга, въ нежданная мгновенія какого-то внезапнаго внутренняго откровенія; по большей части мы теряемся во множествѣ частныхъ и, не видя за ними цѣлаго, ничего въ нихъ не понимаемъ. Даже собственные наши чувства только тогда бываютъ предметомъ нашего наслажденія, когда мы освобождаемся отъ ихъ томящей тяжести или отъ ихъ трепетнаго волненія, въ которомъ занимается дыханіе, теряется сознаніе, и когда мы возобновляемъ ихъ въ воспоминаніи. Настоящее никогда не наше, ибо поглощаетъ насъ собою; и самая радость въ настоящемъ тяжела для насъ, какъ и горе, ибо не мы ею, но она нами преобладаетъ. Чтобы насладиться ею, мы должны отойти отъ нея на извѣстное разстояніе, какъ отъ картины, по требованіямъ освѣщенія, — должны взглянуть на нее, свободные отъ нея, какъ на нѣчто внѣ насъ находящееся, *предметное*. Вотъ отчего мы облегчаемся отъ томительной тяжести горя, какъ скоро сообщимъ его другому или изольемъ его на бумагѣ для самихъ же себя: мы видимъ его отдѣленнымъ отъ нашей личности, наша личность не заслоняетъ его отъ насъ, — и тогда намъ мило наше горе, мы любимъ вспоминать о немъ, любимъ говорить о немъ, какъ воинъ о своихъ похо-

дахъ и опасностяхъ, которымъ онъ подвергался. Все прошедшее получаетъ для насъ новый колоритъ, является какъ бы преображеннымъ: счастье кажется лучшимъ, нежели тогда, какъ мы имъ наслаждались; въ самомъ несчастіи видимъ мы одну поэтическую сторону. Причина этому та, что отдаленность скрадываетъ отъ нашихъ глазъ всѣ неровности, случайности, нечистыя пятна, которыя вблизи первыя бросаются въ глаза. Въ дѣйствительности все покорено законамъ пространства и времени, естественнымъ требованіямъ: и герои ѣдятъ, пьютъ, чувствуютъ холодъ и голодъ, какъ и обыкновенные люди. Вы видите въ природѣ прекрасный ландшафтъ, но какъ? — непременно вдалекѣ и притомъ съ извѣстной точки зрѣнія: отдаленность придаетъ ему живописную прелесть, точка зрѣнія придаетъ ему цѣлость. Сдѣлайте шагъ, перемѣните точку зрѣнія — и ландшафтъ исчезъ: передъ вами что-то нестройное, разбросанное, безъ начала, безъ конца и середины, безъ всякой общности, безъ всякой фізіономіи. Подойдите вблизи къ очаровавшему васъ ландшафту — и вы очутитесь у какой-нибудь негодной избушки, дрянной мельницы, ничтожнаго ручья, обыкновенной рощи, гдѣ на каждомъ шагу спотыкаетесь отъ неровностей или попадаете въ лужу. А издалека все было такъ чисто, опрятно, красиво, цѣлостно, обрамлено, — настоящая картина! Итакъ, картина лучше дѣйствительности? Да, ландшафтъ, созданный на полотнѣ талантливымъ живописцемъ, лучше всякихъ живописныхъ видовъ въ природѣ. Отчего же? — Оттого, что въ немъ нѣтъ ничего случайнаго и лишняго, всѣ части подчинены цѣлому, все направлено къ одной цѣли, все образуетъ собою одно прекрасное, цѣлостное и индивидуальное. Дѣйствительность прекрасна сама по себѣ, но прекрасна по своей сущности, по своимъ элементамъ, по своему содержанію, а не по формѣ. Въ этомъ отношеніи дѣйствительность есть чистое золото, но не очищенное, въ кучѣ руды и земли: наука и искусство очищаютъ золото дѣйствительности, перетопляютъ его въ изящныя формы. Слѣдовательно, наука и искусство не выдумываютъ новой и небывалой дѣйствительности, но у той, которая была, есть и будетъ, берутъ готовые матеріалы, готовые элементы, словомъ — готовое содержаніе; даютъ имъ приличную форму съ соразмѣрными частями и доступнымъ для нашего взора объемомъ со всѣхъ сторонъ. Для поэта не существуютъ дробныя и случайныя явленія, но только одни идеалы, или типическіе образы, которые относятся къ явленіямъ дѣйствительности, какъ роды къ видамъ, и которые, при всей своей индивидуальности и особености, заключаютъ въ себѣ все общія, родовыя примѣты цѣлаго рода явленій въ возможности, выражающихъ собою одну извѣстную идею. И потому каждое лицо въ художественномъ произведеніи есть представитель безчислен-



наго множества лицъ одного рода, и потому-то мы говоримъ: этотъ человѣкъ настоящій Отелло, эта дѣвушка совершенная Офелія. Такія имена, какъ *Онѣгинъ, Ленскій, Татьяна, Ольга, Загорѣцкій, Фамусовъ, Скалозубъ, Молчалинъ, Репетиловъ, Хлестова, Сквозникъ-Дмухановскій, Бобчинскій, Добчинскій, Держиморда* и прочіе — суть какъ бы не собственные, а нарицательныя имена, общія характеристическія названія извѣстныхъ явленій дѣйствительности. Наука отвлекаетъ отъ фактовъ дѣйствительности ихъ сущность — идею; а искусство, заимствуя у дѣйствительности матеріалы, возводитъ ихъ до общаго родового, типическаго значенія, создаетъ изъ нихъ стройное цѣлое. Чтѣ дѣйствительно, то разумно, и чтѣ разумно, то и дѣйствительно: это великая истина; но не все то дѣйствительно, что есть въ дѣйствительности, а для художника должна существовать только разумная дѣйствительность. Но и въ отношеніи къ ней онъ не рабъ ея, а творецъ, и не она водитъ его рукою, но онъ вноситъ въ нее свои идеалы и по нимъ преображаетъ ее.

Итакъ, поэзія есть жизнь по преимуществу, есть сущность, такъ сказать, тончайшій эфиръ, триплъ-экстрактъ, квинтъ-эссенція жизни. Поэзія не описываетъ розы, которая такъ пышно цвѣтетъ въ саду, но, отбросивъ грубое вещество, изъ котораго она составлена, беретъ отъ нея только ея ароматическій запахъ, нѣжные переливы ея цвѣта и создаетъ изъ нихъ свою розу, которая еще лучше и пышнѣе. Поэзія — это невинная улыбка младенца, его ясный взоръ, его звонкій смѣхъ и живая радость. Поэзія — это стыдливый румянецъ на ланитахъ прекрасной дѣвушки, кроткій блескъ ея глубокихъ, какъ море, какъ небеса, голубыхъ очей или яркій огонь ея черныхъ глазъ, волны кудрей, разбѣжавшихся по ея мраморнымъ плечамъ, волненіе ея нѣжной груди, гармонія ея серебрянаго голоса, музыка ея чарующихъ рѣчей, стройность ея стана, художественная рельефность и роскошь ея живыхъ формъ, граціозность и нѣга ея плѣнительныхъ движеній. Поэзія — это огненный взоръ юноши, кипящаго избыткомъ силъ; это его отвага и дерзость, его жажда желаній, неудержимые порывы его стремленія — сжать въ пламенныхъ объятіяхъ и небо, и землю разомъ, осушить до дна неистощимую чашу жизни... Поэзія — это сосредоточенная, овладѣвшая собою сила мужа, вполне созрѣвшаго для жизни, искушеннаго ея опытами, съ уравновѣшенными силами духа, съ просвѣтленнымъ взоромъ, готоваго на битву и на подвигъ... Поэзія — это тихій блескъ безцвѣтныхъ глазъ старца, кроткое, какъ ласка, глубокое, какъ дума, выраженіе сіяющаго блескомъ нездѣшной жизни морщиноватаго лица, его спокойный и полный души звукъ его дрожащаго и прерывающагося голоса, его тихая и важная рѣчь, любящая и величавая улыбка его мудрыхъ устъ... Поэзія —

это свѣтлое торжество бытія, это блаженство жизни, нежданно посѣщающія насъ въ рѣдкія минуты; это упоеніе, трепеть, млѣніе, нѣга страсти, волненіе и буря чувствъ, полнота любви, восторгъ наслажденія, сладость грусти, блаженство страданія, ненасытимая жажда слезъ; это страстное, томительное, тоскливое порываніе куда-то въ какую-то всегда обольстительную и никогда недостигаемую сторону, — это вѣчная и никогда неудовлетворимая жажда все обнять и со всѣмъ слиться; это тотъ божественный паѳосъ, въ которомъ сердце наше бьется въ одинъ ладъ со вселенною, предъ упоеннымъ взоромъ летаютъ безъ покрова безплотныя видѣнія высшаго бытія, а очарованному слуху слышится гармонія сферъ и міровъ, — тотъ божественный паѳосъ, въ которомъ земное сіяетъ небеснымъ, а небесное сочетается съ земнымъ, и вся природа является въ брачномъ блескѣ разгаданнымъ іероглифомъ помирившагося съ нею духа... Весь міръ, всѣ цвѣты, краски и звуки, всѣ формы природы и жизни могутъ быть явленіями поэзіи; по сущность ея — то, чтѣ скрывается въ этихъ явленіяхъ, живить ихъ бытіе, очаровываетъ въ нихъ игрою жизни. Поэзія — это біеніе пульса міровой жизни, это ея кровь, ея огонь, ея свѣтъ и солнце.

Поэтъ — благороднѣйшій сосудъ духа, избранный любимецъ небесъ, тайникъ природы, эолова арфа чувствъ и ощущеній, органъ міровой жизни. Еще дитя, онъ уже сильнѣе другихъ сознаетъ свое родство со вселенной, свою кровную связь съ нею; юноша — онъ уже переводить на понятный языкъ ея нѣмую рѣчь, ея таинственный лепетъ... Но послушаемъ лучше самого поэта: свидѣтельство, которому нельзя не повѣрить... Онъ говоритъ:

Все волновало пѣкный умъ:  
 Цвѣтушій лугъ, луны блистанье,  
 Въ часовнѣ ветхой бури шумъ,  
 Старушки чудное преданье.  
 Какой-то демонъ обладалъ  
 Моими играми, досугомъ;  
 За мной повсюду онъ леталъ,  
 Мнѣ звуки дивные шепталъ,  
 И тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ  
 Была полна моя глава:  
 Въ ней грезы чудныя рождались,  
 Въ размѣры стройныя стекались  
 Мои послушныя слова  
 И звонкой рѣмой замыкались.  
 Въ гармоніи соперникъ мой  
 Былъ шумъ лѣсовъ иль вихоръ буйный,  
 Иль пволги напѣвъ живою,  
 Иль ночью моря гулъ глухой,  
 Иль шопотъ рѣчи тихоструйной.



Есть еще другіе стихи Пушкина, болѣе чудные, болѣе глубокіе, и потому самому незнаемые толпою и извѣстные только немногимъ истиннымъ поклонникамъ и жрецамъ изящнаго; въ этихъ стихахъ заключается полнѣйшая характеристика поэта и высочайшая апофеоза художника. Поэтъ обращается къ *эку*:

Реветь ли звѣрь въ лѣсу глухомъ,  
Трубить ли рогъ, гремитъ ли громъ,  
Поетъ ли дѣва за холмомъ —  
На всякій звукъ  
Свой откликъ въ воздухъ пустомъ  
Родишь ты вдругъ.  
Ты внемлешь грохоту громовъ,  
И гласу бури и валовъ,  
И крику сельскихъ пастуховъ —  
И плешь отвѣтъ;  
Тебѣ жъ пѣтъ отзыва... Таковъ  
И ты, поэтъ!

Да, все, чѣмъ живетъ міръ и что живетъ въ мірѣ — находитъ свой отзывъ во всеобъемлющей груди поэта; и ни одно существо на землѣ не имѣетъ большаго права примѣнить къ себѣ слова Фауста:

Всевышній духъ! Ты все, ты все мнѣ далъ,  
О чемъ тебя я умолялъ:  
Не даромъ зрѣлся мнѣ  
Твой ликъ сіяющій въ огнѣ.  
Ты далъ природу мнѣ, какъ царство, во владѣнье;  
Ты далъ душѣ моей  
Даръ чувствовать ее, далъ силу наслажденья.  
Иной едва скользнуть по ней  
Холоднымъ взглядомъ удивленья;  
Но я могу въ ея таинственную грудь,  
Какъ въ сердце друга, заглянуть.

Но кто же онъ, самъ поэтъ, въ отношеніи къ прочимъ людямъ? — Это—организация воспріимчивая, раздражительная, всегда дѣятельная, которая при малѣйшемъ прикосновеніи даетъ отъ себя искры электричества, которая болѣзнениѣ другихъ страдаетъ, живѣе наслаждается, пламениѣ любитъ, сильнѣе ненавидитъ; словомъ — глубже чувствуетъ; натура, въ которой развиты въ высшей степени обѣ стороны духа — и пассивная, и дѣятельная. Уже по самому устройству своего организма поэтъ больше, чѣмъ кто-нибудь, способенъ вдаваться въ крайности и, возносясь превыше всѣхъ къ небу, можетъ-быть, ниже всѣхъ падаетъ въ грязь жизни. Но и самое паденіе его не то, что у другихъ людей: оно слѣдствіе ненасытимой жажды жизни, а не животной алчбы денегъ, власти и отличій. Эта жажда жизни въ немъ такъ велика, что за одну минуту упоенія страсти, за одинъ мигъ

полноты чувства онъ готовъ жертвовать всѣмъ своимъ будущимъ, всѣми надеждами, всею остальною жизнію. У него — по выраженію Гезіода — *тѣснь всегда на умѣ, а въ груди сердце беззаботное*. Когда онъ чувствуетъ приближеніе Бога и обдумываетъ зарождающееся въ немъ новое созданіе, тогда —

Пройдя безъ шума близъ него,  
Не нарушай холоднымъ словомъ  
Его священныхъ, тихихъ сповѣдъ!  
Взгляни съ слезой благоговѣнья  
И молви: это сынъ боговъ,  
Питомецъ музъ и вдохновенья!

Когда онъ творитъ — онъ царь, онъ властелинъ вселенной, повѣренный тайнъ природы, прозирающій въ таинства неба и земли, природы и духа человѣческаго, только ему одному открыты; но когда онъ находится въ обыкновенномъ земномъ расположеніи — онъ *человѣкъ*, по человѣку, который можетъ быть ничтожнымъ и никогда не можетъ быть низкимъ, который чаще другихъ можетъ падать, по которому такъ же быстро возстаетъ, какъ падаетъ, — который всегда готовъ отозваться на голосъ, несущійся къ нему отъ его родины — неба. Но послушаемъ его собственной исповѣди:

Пока не требуетъ поэта  
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,  
Въ заботахъ суетнаго свѣта  
Онъ малодушно погруженъ;  
Молчитъ его святая лира;  
Душа вкушаетъ хладный сонъ,  
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,  
Быть-можетъ, вѣхъ ничтожнѣй онъ.  
Но лишь божественный глаголь  
До слуха чуткаго коснется,  
Душа поэта встрепетъ  
Какъ пробудившійся орелъ.  
Тоскуетъ онъ въ забавахъ міра,  
Людской чуждается молвы,  
Къ погамъ народнаго кумира  
Не клонитъ гордой головы;  
Бѣжитъ онъ, дикій и суровый,  
И звуковъ, и смятенья полъ,  
На берега пустынныхъ волнъ,  
Въ широкошумныя дубровы...

Какая цѣль поэзіи? — вопросъ, который для людей, обдѣленныхъ отъ природы эстетическимъ чувствомъ, кажется такъ важенъ и неудоборѣшимъ. Поэзія не имѣетъ никакой цѣли внѣ себя, но сама себѣ есть цѣль такъ же, какъ истина въ знаніи, какъ благо въ дѣйствіи. Подобно истинѣ и благу, красота есть сама себѣ цѣль и по



праву царствуетъ надъ вселенной только властію своего имени, неотразимымъ обаяніемъ своего дѣйствія на души людей. Вотъ въ ярко-освѣщенную, великолѣпную залу входитъ красавица, — и трепещетъ пылкая юность, разглаживаются морщины на челѣ старости, улыбка радости проявляетъ сонныя отъ пустоты и скуки лица; кажется, царства мало за одинъ взглядъ ея; лавровый вѣнокъ героя, лучезарный ореолъ поэта готовы пасть къ ногамъ ея, лишь бы только захотѣла она замѣтить ихъ... А между тѣмъ, вы въ лицѣ ея тщетно отыскиваете выраженія какой-нибудь опредѣленной идеи, оттѣнка какого-нибудь опредѣленнаго чувства: ничего, ничего, кромѣ безбрежнаго моря красоты и граціи, въ которомъ тонутъ ваши очарованные взоры, исчерпываетъ все существо ваше... Объясните мнѣ: для чего такая красота, какая цѣль ея, — и я объясню вамъ со всевозможною ясностію и даже «точностію», для чего существуетъ поэзія, какая цѣль ея... И если бы нашлись люди, надъ которыми красота не имѣетъ никакой власти, не будемъ спорить съ ними! Хладные скопцы (по выраженію Пушкина), лишенные огня Прометеева, — стоятъ ли они словъ, и имъ ли можно растолковать, почему дилетантъ такъ благоговѣнно и цѣломудренно любитъ обнаженною красотою Веперы Медичейской и за обломокъ древней капители, барельефа или камею готовъ жертвовать всѣмъ достояніемъ своимъ, съ безумною горячістію любовника, которому и жизни не жаль за одну улыбку возлюбленной...

Вотъ какъ понималъ красоту «божественный Платонъ», и какъ во все вѣка будутъ понимать ее умы благородные и возвышенные:

Наслажденіе красотою въ этомъ земномъ мірѣ возможно въ человѣкѣ только по воспоминанію той единой, истинной и совершенной красоты, которую душа припоминаетъ себѣ въ первоначальной ея родинѣ. Вотъ почему зрѣлище прекраснаго на землѣ, какъ воспоминаніе о красотѣ горней, способствуетъ тому, чтобъ окрылять душу къ небесному и возвращать ее къ божественному источнику всякой красоты.

Красота была свѣтлаго вида въ то время, когда мы, счастливымъ хоромъ, слѣдовали за Діемъ, въ блаженномъ видѣніи и созерцаѣн, другіе же за другими богами: мы зрѣли и совершали блаженнѣйшее изъ всѣхъ таинствъ; пріобщились ему всецѣльные, не причастные бѣдствіямъ, которыя въ позднее время насъ посѣтили; погрузились въ видѣнія совершенныя, простыя, нестрашныя, но радостныя, и созерцали ихъ въ свѣтѣ чистомъ, сами будучи чисты и не запятаны тѣмъ, что мы, лишь влача съ собою, называемъ тѣломъ, мы, заключенные въ него, какъ въ раковину.

Красота одна получила здѣсь этотъ жребій: быть пресвѣтлою и достойною любви. Не вполне посвященный, развратный стремится къ самой красотѣ, не взирая на то, что поситъ ея имя; онъ не благоговѣетъ передъ нею, а, подобно четвероногому, ищетъ одного чувственнаго наслажденія, хочетъ слить прекрасное съ своимъ тѣломъ... Напротивъ того, вновь посвященный, увидѣвъ богами подобное лицо, изображающее красоту, сначала трепещетъ; его объемлетъ страхъ; потомъ, созерцая прекрасное, какъ бога, онъ обожаетъ, и если бы не боялся, что назовутъ его безумнымъ, онъ принесъ бы жертву предмету любимому...

263/6

Какъ красота, такъ и поэзія — выразительница и жрица красоты, сама себѣ цѣль, и внѣ себя не имѣетъ никакой цѣли. Если она возвышаетъ душу человѣка къ небесному, настраиваетъ ее къ благимъ дѣйствіямъ и чистымъ помысламъ — это уже не цѣль ея, а прямое дѣйствіе, свойство ея сущности; это дѣлается само собою, безъ всякаго преднамеренія со стороны поэта. Поэтъ есть живописецъ, а не философъ. Всегдашній предметъ его картинъ и изображеній есть «полное славы творенье» — міръ со всею безконечностію и разнообразіемъ его явленій. Поэзія говоритъ душѣ образами, — и ея образы суть выраженіе той вѣчной красоты, первообразъ которой блещетъ въ мірозданіи и во всѣхъ частныхъ явленіяхъ и формахъ природы. Поэзія не терпитъ отвлеченныхъ идей въ ихъ безтѣлесной наготѣ, но самыя отвлеченныя понятія воплощаетъ въ живые и прекрасные образы, въ которыхъ мысль сквозитъ, какъ свѣтъ въ граненомъ хрусталѣ. Поэтъ видитъ во всемъ формы, краски и всему даетъ форму и цвѣтъ, овеществляетъ невещественное, дѣлаетъ земнымъ небесное — да свѣтитъ земное небеснымъ свѣтомъ! Для поэта всѣ явленія въ мірѣ существуютъ сами по себѣ; онъ переселяется въ нихъ, живетъ ихъ жизнью и съ любовію лелѣетъ ихъ на своей груди такъ, какъ они есть, не измѣняя по своему произволу ихъ сущности. Это не значитъ, чтобъ поэтъ не могъ отрываться отъ созерцанія міра, взятаго въ самомъ себѣ, и вносить въ него свой идеалъ, чтобъ лиру пѣснопѣнія, книжалъ трагедій и трубу эпоса не могъ онъ мѣнять на громы благороднаго негодованія и даже на свистокъ сатиры; молитву оставлять для проповѣди и прошедшее, міровое и вѣчное, забывать на минуту для современности и общества; но смѣшно требовать, чтобъ въ этомъ онъ увидѣлъ цѣль своей жизни и за долгъ себѣ поставилъ подчинить свое свободное вдохновеніе разнымъ «текущимъ потребностямъ». Свободный, какъ вѣтеръ, онъ повинуется только внутреннему своему призванію, таинственному голосу движущаго имъ Бога, а на крики *тупой* черни, которая бы стала приставать къ нему въ своей дикой слѣпотѣ:

Нѣтъ, если ты небесъ избранникъ,  
Свой даръ, божественный посланникъ,  
Во благо памь употребляй:  
Сердца собратьевъ исправляй.  
Мы малодушны, мы коварны,  
Безстыдны, злы, неблагодарны;  
Мы сердцемъ хладные скошцы,  
Клеветники, рабы, глупцы;  
Гнѣздяся клубомъ въ насъ пороки:  
Ты можешь, ближняго любя,  
Давать памь смѣлые уроки,  
А мы послушаемъ тебя —



онъ можетъ и долженъ отвѣчать, если только стоитъ она отвѣта:

Подите прочь — какое дѣло  
Поэту мирному до васъ!  
Въ развратѣ каменѣйте смѣло:  
Не оживить васъ лиры гласъ.  
Душѣ противны вы какъ гробы;  
Для вашей глухости и злобы  
Имѣли вы до сей поры  
Бичи, темницы, топоры:  
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!  
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ  
Считаютъ соръ — полезный трудъ!  
Но, позабывъ свое служенье,  
Алтарь и жертвоприношенье,  
Жрецы ль у васъ метлу берутъ?  
Не для житейскаго волненья,  
Не для корысти, не для битвъ:  
Мы рождены для вдохновенья,  
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ!

Поэтъ не подражаетъ природѣ, но соперничествуетъ съ нею, — и его созданія исходятъ изъ того же источника, тѣмъ же самымъ процессомъ, какъ и всѣ явленія природы, съ тою только разницею, что на сторонѣ процесса его творчества есть еще и сознание, котораго лишена природа и ея дѣятельность. Вся природа со всѣми ея явлениями есть плодъ вдохновеннаго порыва духа — изъ идеальной области возможнаго перейти въ реальную область дѣйствительнаго, стать фактомъ, чтобъ потомъ, въ разумнѣйшемъ своемъ явленіи — человѣкѣ, взглянуть на себя, какъ на нѣчто особое, сознать себя. И всякое произведеніе искусства есть плодъ вдохновеннаго успія художника — вывести наружу, осуществить вовнѣ внутренний міръ, своихъ безплотныхъ идеаловъ. Итакъ, вдохновеніе есть источникъ всякаго творчества; но искусство выше природы настолько, насколько всякое сознательное и свободное дѣйствіе выше безсознательнаго и невольнаго. Но сознание, при актѣ творчества, есть не дѣятель, а только какъ бы свидѣтель, дабы творчество было художнику въ наслажденіе и награду. Конечно, всякое дѣйствіе есть уже необходимо и сознание; но подъ сознаниемъ въ творествѣ не должно разумѣть дѣятельность разсудка, трудъ соображенія, расчета и механическую работу: вдохновеніе, которое Платонъ называетъ *μανією*, — вотъ единственный дѣятель творчества, а разсудокъ враждебенъ творчеству и мертвитъ его. «Кто, — говоритъ Платонъ, — безъ маніи, внушаемой музами, приходить къ вратамъ поэзіи, убѣжденный въ томъ, что искусствомъ (*ἐχτέρυξ*) сдѣлается изъ него хорошій поэтъ, тотъ никогда не будетъ

совершеннымъ, и поэзія его, какъ поэзія *благоразумнаго*, будетъ отличаться отъ поэзіи *безумствующихъ*».

Вообще, понятіе Платона о вдохновеніи такъ глубоко вѣрно и такъ поэтически, *вдохновенно* выражено, что, сообщивъ его, мы скажемъ о вдохновеніи все, что только можно сказать:

..... Не искусствомъ (*техникою*), но энтузіазмомъ и вдохновеніемъ великіе эпическіе поэты сочиняютъ свои прекрасныя произведенія. Славные лирики также, подобно людямъ, волнуемымъ безуміемъ корибантовъ, пляшущихъ внѣ себя, не остаются въ умѣ своемъ, когда творятъ изысканныя пѣнопѣнія: какъ скоро вошли они въ ладъ гармоніи и ритма, то прешспоняются безуміемъ, объемлются восторгомъ, подобнымъ восторгу вакханокъ, которыя въ минуту упоенія черпаютъ въ рѣкахъ млеко и медъ, чего не бываетъ съ ними во время покоя. Въ душѣ поэтовъ лирическихъ, на самомъ дѣлѣ, совершается то, чѣмъ они хвалятся. Они говорятъ намъ, что черпаютъ въ медовыхъ источникахъ, что, подобно пчеламъ, летаютъ они по садамъ и долинамъ музъ, и въ нихъ собираютъ пѣсни, которыя поютъ намъ. Они говорятъ правду. Поэтъ, въ самомъ дѣлѣ, существо легкое, крылатое и святое; онъ можетъ творить тогда только, когда восторгъ его обьметъ, когда онъ выйдетъ изъ себя и разсудокъ покинетъ его. Но покамѣстъ онъ съ ними, человѣкъ неспособенъ творить все и произносить пророчества.

Итакъ, если не искусствомъ, а божественнымъ вдохновеніемъ творятъ поэты, то каждый изъ нихъ, по жребію Божію, успѣваетъ только въ томъ родѣ, къ которому муза его призываетъ. Одинъ превосходенъ въ диепрамбѣ, другой въ похвальной одѣ, третій въ плясовой пѣснѣ, четвертый въ эпосѣ, пятый въ ямбахъ, и всѣ будутъ слабы во всякомъ другомъ родѣ, потому что не искусство, а сила божественная внушаетъ ихъ. Если бы искусствомъ они умѣли творить, то могли бы успѣть въ разныхъ родахъ. А конецъ, на какой богъ, отъемли у нихъ смыслъ, употребляетъ ихъ какъ служителей своихъ наравнѣ съ пророками и гадателями, есть тотъ, чтобъ мы, внимая имъ, познавали, что не сами собою они говорятъ намъ вещи дивныя, ибо они внѣ своего разума, но что самъ богъ чрезъ нихъ къ намъ глаголетъ.

Этотъ взглядъ на вдохновеніе, такъ простодушно, въ духѣ младенческой древности выраженный, удивителенъ по своей глубокости. Ясно, что Платонъ «благоразуміемъ» называетъ разсудочное, обыкновенное, будничное, такъ сказать, состояніе нашего духа; а подѣ «безуміемъ» разумѣетъ тотъ божественный паѣосъ, то состояніе вдохновеннаго ясновидѣнія, когда разумъ человѣка созерцаетъ таинство высшаго міра, а воля его движетъ горами. Въ самомъ дѣлѣ, восторгъ наслажденія, изступленіе радости, упоеніе страданія, тоска разлуки, трепетъ свиданія, обаяніе любви, отвага самаго жертвованія, готовность пострадать за правое дѣло и истину, сладострастіе вдохновенія, — что все это, если не безуміе?.. Но это безуміе разумное, безуміе божественное, которое возноситъ человѣка превыше премудрыхъ міра сего и равняетъ его съ богами... А мертвое равнодушіе, затянутое въ формы приличія, расчеты мелкаго самолюбія и эгоизма, размѣренные шаги къ ничтожной цѣли, отреченіе отъ

истиннаго назначенія человѣческаго для достиженія ея, — что все это, если не благоразуміе?.. Но не будемъ говорить о благоразуміи: оно врагъ поэзіи, а предметъ статьи — поэзія..

Гдѣ вдохновеніе неподдѣльно, тамъ есть и поэзія, и чьей натурѣ сродно вдохновеніе, тотъ поэтъ, но и вдохновеніе имѣетъ свои степени и въ каждомъ поэтѣ отличается особеннымъ характеромъ: въ одномъ оно искрится и шипитъ пѣною, какъ шампанское, и подобно шампанскому тотчасъ же оживляетъ легкимъ, но и скоропреходящимъ похмельемъ; въ другомъ оно льется свѣтлою, прозрачною рѣчкою, съ смѣющимися зелеными берегами; въ третьемъ оно бьетъ и стремится бурными волнами, съ громомъ, пѣною и брызгами, подобно Ніагарскому водопаду; въ четвертомъ оно подобно океану, безъ береговъ и дна, отражающему въ себѣ и небесный куполъ, съ его солнцемъ, луною и міриадами звѣздъ, и страшныя тучи, съ ихъ мракомъ и молніями, — океану, который равно величественъ и въ тишину, и въ бурю, который поситъ на своихъ могучихъ волнахъ и утлый челнокъ рыбака, и огромныя флоты и который въ необъятныхъ таинственныхъ пѣдрахъ своихъ заключаетъ цѣлыя міры живыхъ существъ, и великихъ и малыхъ, и прозы раковинъ, и лѣса коралловъ...

Немного поэтовъ, къ разбору произведеній которыхъ было бы не странно приступать съ такимъ длиннымъ предисловіемъ, съ предварительнымъ взглядомъ на сущность поэзіи: Лермонтовъ принадлежитъ къ числу этихъ немногихъ... Подробное разсмотрѣніе небольшой книжки его стихотвореній покажетъ, что въ ней кроются всѣ стихіи поэзіи, что она заключаетъ въ себѣ возможность въ будущемъ пѣсколькихъ и притомъ большихъ книгъ... Мы увидимъ, что свѣжесть благоуханія, художественная роскошь формъ, поэтическая прелесть и благородная простота образовъ, энергія, могучесть языка, алмазная крѣпость и металлическая звучность стиха, полнота чувства, глубокость и разнообразіе идей, необъятность содержанія — суть родовыя характеристическія примѣты поэзіи Лермонтова и залогъ ея будущаго, великаго развитія...

Первая пьеса Лермонтова напечатана была въ «Современникѣ» 1837 года, уже послѣ смерти Пушкина. Она называется «Бородино». Поэтъ представляетъ молодого солдата, который спрашиваетъ стараго служаку:

Скажи-ка, дядя, вѣдь не даромъ  
Москва, спаленная пожаромъ,  
Французу отдана?  
Вѣдь были жь схватки боевыя?  
Да, говорятъ, еще какія!  
Не даромъ помнитъ вся Россія  
Про день Бородина.



Вся основная идея стихотворенія выражена во второмъ куплетѣ, которымъ начинается отвѣтъ стараго солдата, состоящій изъ тринадцати куплетовъ:

— Да, были люди въ наше время,  
Не то, что нынѣшнее племя:  
Богатыри — не вы!  
Плохая имъ досталась доля:  
Немногіе вернулись съ поля...  
Не будь на то Господня воля,  
Не отдали бъ Москвы!

Эта мысль — жалоба на настоящее поколѣніе, дремлющее въ бездѣйствіи, зависть къ великому прошедшему, столь полному славы и великихъ дѣлъ. Дальше мы увидимъ, что эта *тоска по жизни* внушила нашему поэту не одно стихотвореніе, полное энергіи и благороднаго негодованія. Что же до «Бородина» — это стихотвореніе отличается простотою, безыскусственностью: въ каждомъ словѣ слышите солдата, языкъ котораго, не переставая быть грубо простодушнымъ, въ то же время благороденъ, силенъ и полонъ поэзіи. Ровность и выдержанность тона дѣлаютъ осязаемо-ощутительною основную мысль поэта. Впрочемъ, какъ ни прекрасно это стихотвореніе, оно не могло еще показать, чего отъ его автора должна была ожидать наша поэзія. Въ 1838 году въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» была напечатана его поэма «Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»; это произведеніе сдѣлало извѣстнымъ имя автора, хотя оно явилось и безъ подписи этого имени. Спрашивали: кто такой безыменный поэтъ? кто такой Лермонтовъ? писалъ ли онъ что-нибудь, кромѣ этой поэмы? Но, несмотря на то, эта поэма все-таки еще не оценена, толпа и не подозреваетъ ея высокаго достоинства. Здѣсь поэтъ отъ настоящаго міра неудовлетворяющей его русской жизни перенесся въ ея историческое прошлое, подслушалъ бѣненіе его пульса, проникъ въ сокровеннѣйшіе и глубочайшіе тайники его духа, сроднился и слился съ нимъ всѣмъ существомъ своимъ, обвѣялся его звуками, усвоилъ складъ его старинной рѣчи, простодушную суровость его нравовъ, богатырскую силу и широкій размахъ его чувства, и, какъ будто современникъ этой эпохи, принялъ условія ея грубой и дикой общественной, со всѣми ихъ отбѣнками, какъ будто бы никогда и не знавалъ о другихъ, — и вынесъ изъ нея вымышленную быль, которая достовѣрнѣе всякой дѣйствительности, несомнѣннѣе всякой исторіи. И подлинно, этой пѣснѣ можно заслушаться, и все нельзя ея довольно послушаться: какъ маніемъ волшебнаго скипетра, воскрешаетъ она прошлое, и мы не можемъ насмотрѣться на него, забываемъ для него свое настоящее, ни на минуту не сводимъ съ него

взоровъ, боясь, чтобы оно не исчезло отъ насъ. На первомъ планѣ видимъ мы Іоанна Грознаго, котораго память такъ кровава и страшна, котораго колоссальный обликъ живъ еще въ преданіи и въ фантазіи народа... Что за явленіе въ нашей исторіи былъ этотъ «мужъ кровей», какъ называетъ его Курбскій? Былъ ли онъ Людовикомъ XI нашей исторіи, какъ говоритъ Карамзинъ?.. Не время и не мѣсто распространяться здѣсь объ его историческомъ значеніи; замѣтимъ только, что это была сильная натура, которая требовала себѣ великаго развитія для великаго подвига; но какъ условія тогдашняго полуазиатскаго быта и внѣшнія обстоятельства отказали ей даже въ какомъ-нибудь развитіи, оставивъ ее при естественной силѣ и грубой мощи, и лишили ее всякой возможности пересоздать дѣйствительность, то эта сильная натура, этотъ великій духъ поневолѣ исказились и нашли свой выходъ, свою отраду только въ безумномъ мщеніи этой ненавистной и враждебной имъ дѣйствительности... Тиранія Іоанна Грознаго имѣетъ глубокое значеніе, и потому она возбуждаетъ къ нему скорѣе сожалѣніе, какъ къ падшему духу неба, чѣмъ ненависть и отвращеніе, какъ къ мучителю... Можетъ-быть, это былъ своего рода великій человѣкъ, но только не во-время, слишкомъ рано, явившійся Россіи, — пришедшій въ міръ съ призваніемъ на великое дѣло и увидѣвшій, что ему нѣтъ дѣла въ мірѣ; можетъ-быть, въ немъ безсознательно кипѣли всѣ силы для измѣненія ужасной дѣйствительности, среди которой онъ такъ безвременно явился, которая не побѣдила, но разбила его и которой онъ такъ страшно метилъ всю жизнь свою, разрушая и ее, и себя самого въ болѣзненной и безсознательной ярости... Вотъ почему изъ всѣхъ жертвъ его свирѣпства онъ самъ наиболѣе заслуживаетъ соболѣзнованія; вотъ почему его колоссальная фигура, съ блѣднымъ лицомъ и впалыми, сверкающими очами, съ головы до ногъ облита такимъ страшнымъ величіемъ, нестерпимымъ блескомъ такой ужасающей поэзіи... И такимъ точно является онъ въ поэмѣ Лермонтова: взглядъ очей его — молнія, звукъ рѣчей его — громъ небесный, порывъ гнѣва его — смерть и пытка; но сквозь все это, какъ молнія сквозь тучи, проблескиваетъ величіе падшаго, униженнаго, искаженнаго, но сильнаго и благороднаго по своей природѣ духа...

Поэма начинается картиною царскаго пира: въ золотомъ вѣнцѣ своемъ сидитъ грозный царь, окруженный стольниками, боярами, князьями и опричниками.

И пируетъ царь во славу Божию,  
Въ удовольствіе свое и веселіе.

Онъ велитъ наполнить золотой ковшъ заморскимъ виномъ, обнести пирующихъ. — «И всѣ пили, царя славили». Лишь только одинъ изъ

опричникъ «въ золотомъ ковшѣ не мочилъ усовъ» и сидѣлъ съ крѣпкою думою на сердцѣ. Гнѣвно взглянулъ на него царь, словно ястребъ съ высоты небесъ на молодого голубя, сизокрылаго; — «Да не поднять глазъ молодой боецъ».

Царь стукнулъ объ полъ своею палкою съ желѣзнымъ наконечникомъ, палка на четверть вонзилась въ дубовый полъ, но и тутъ не дрогнулъ добрый молодецъ;

Вотъ промолвилъ царь слово грозное,  
И очнулся тогда добрый молодецъ.  
«Гей ты, вѣрный нашъ слуга Кирибѣвичъ,  
Аль ты думу затаилъ нечестивую?  
Али слава нашей завидуешь?  
Али служба тебѣ честная прискучила?  
Когда всходитъ мѣсяцъ — звѣзды радуются,  
Что свѣтлѣй имъ гулять по поднебесью;  
А которая въ тучку прячется,  
Та стремглавъ на землю падаетъ...  
Не прилично же тебѣ, Кирибѣвичъ,  
Царской радостью гнушаться;  
А изъ роду ты вѣдь Скуратовыхъ  
И семьею ты вскормленъ Мамютиной!..

Низко кланаясь, опричникъ проситъ у царя извиненія, говоря:

Сердца жаркаго не залить виномъ,  
Душу черную не запотчевать!  
А прогнѣваль я тебя — воля царская:  
Прикажи казнить, рубить голову;  
Тяготить она плечи богатырскія  
И сама къ сырой землѣ она клонится.

Царь разспрашиваетъ о причинѣ печали, и его вопросы — перлы народной нашей поэзіи, полнѣйшее выраженіе духа и формъ русской жизни того времени. Таковъ же и отвѣтъ, или, лучше сказать, отвѣты опричника, потому что, по духу русской національной поэзіи, онъ отвѣчаетъ почти стихомъ на стихъ. Боясь длинноты, не выписываемъ этого мѣста; но вторая половина рѣчи Кирибѣвича дышитъ такою полнотою чувства, блещетъ такими самоцвѣтными камнями народной поэзіи, что мы не можемъ удержаться, чтобы не перечестъ его вмѣстѣ съ нашими читателями. Вина печали удалого бойца — молодушка, которая закрывается фатою, когда на него любуются красныя дѣвушки:

На святой Руси, нашей матушкѣ,  
Не пайти, не сыскать такой красавицы:  
Ходитъ плавно — будто лебедушка,  
Смотритъ сладко — какъ голубушка,  
Молвить слово — соловей поетъ,



Горятъ щеки ея румяныя,  
 Какъ заря на небѣ Божіемъ:  
 Косы русыя, золотистыя,  
 Въ ленты яркія заплетенныя,  
 По плечамъ бѣгутъ, извиваются,  
 Съ грудью бѣлою цѣлуются.  
 Во семьѣ родилась она купеческой,  
 Прозывается Аленой Дмитревной.  
 Какъ увижу ее, я и самъ не свой:  
 Опускаются руки смѣлыя,  
 Помрачаются очи бойкія;  
 Скушно, грустно мнѣ, православный царь,  
 Одному по свѣту маяться,  
 Опостыли мнѣ кони легкіе,  
 Опостыли наряды парчевые.  
 И не надо мнѣ золотой казны:  
 Съ кѣмъ казной своей подѣлюсь теперь?  
 Передъ кѣмъ покажу удайство свое?  
 Передъ кѣмъ я нарядомъ похваляюсь?  
 Отпусти меня въ степи приволжскія,  
 На житье на вольное, на казацкое.  
 Ужъ сложу я тамъ буйную головушку  
 И сложу на коше бусурманское,  
 И раздѣлять по себѣ злы татаровья  
 Коня добраго, саблю острую  
 И сѣдельце браное, черкасское;  
 Мои очи слезныя коршунъ выклюетъ,  
 Мои кости сырыя дождикъ вымоетъ,  
 И безъ похорошъ горемычный прахъ  
 На четыре стороны развѣется.

Какая сильная, могучая натура! Ея страсть — лава, ея горестъ тяжела и трудна; это удалое, разгульное отчаяніе, которое въ молодечествѣ, въ подвигѣ крови и смерти ищетъ своего утоленія! Сколько поэзи въ словахъ этого опричника, какая глубокая грусть дышитъ въ нихъ, — это грусть, которая разрываетъ сильную душу, но не убиваетъ ея; это грусть, которая составляетъ основной элементъ, родную стихію, главный мотивъ нашей національной поэзи!

Со смѣхомъ отвѣчаетъ царь своему любимому слугѣ, что его горю-бѣдѣ немудрено помочь, предлагаетъ ему яхонтовый перстень и жемчужное ожерелье; велитъ сперва поклониться «смышленной» свахѣ, а потомъ послать къ своей Аленѣ Дмитріевнѣ дары драгоцѣнные:

«Какъ полюбилъ — празднуй, свадьбу,  
 Не полюбилъ — не проигивайся.  
 — Охъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ!  
 Обманулъ тебя твой лукавый рабъ,  
 Не сказалъ тебѣ правды истинной,

Не повѣдалъ тебѣ, что красавица  
Въ церкви Божіей перевѣчана,  
Перевѣчана съ молодымъ купцомъ,  
По закону нашему христіанскому...

Какъ ударъ грома, какъ приговоръ смерти, поражаетъ душу читателя этотъ отвѣтъ опричника, — и тщетно испуганный слухъ его ждетъ, что скажетъ на это грозный царь: поэтъ опускаетъ занавѣсъ на эту, такъ трагически недоконченную, картину, такъ страшно прерванную сцену; предъ вами нѣтъ героевъ поэмы, и вы съ трудомъ вѣрите, что видѣли все это не наяву, что все это — только разсказъ пѣсенниковъ...

Ай, ребята, пойте — только гусли стройте!  
Ай, ребята, пейте — дѣло разумѣйте!  
Ужъ потѣшите вы добраго боярина  
И боярыню его бѣлолицую!

Но этотъ удалой припѣвъ, эти затѣйливыя прибаутки народнаго остроумія не веселятъ васъ; сердце ваше сжимается болѣзненною тоскою: оно чувствуетъ горе, предвидитъ бѣду; повѣсть превращается для васъ въ мрачную драму, съ трагическою катастрофою, и завязка уже готова, дѣйствіе уже зародилось. Вы видите, что любовь Кирибѣвича — не шуточное дѣло, не простое волокитство, но страсть натуры сильной, души могучей. Вы понимаете, что для этого человѣка нѣтъ середины: или получить, или погибнуть! Онъ вышелъ изъ-подъ опеки естественной нравственности своего общества, а другой, болѣе высшей, болѣе человѣческой, не приобрѣлъ: такой развратъ, такая безнравственность въ человѣкѣ съ сильною натурою и дикими страстями опасны и страшны. И при всемъ, онъ имѣетъ опору въ грозномъ царѣ, который никого не пожалѣетъ и не пощадитъ, даже за обиду, не только за гибель своего любимца, хотя бы этотъ былъ рѣшительно виноватъ.

Занавѣсъ поднять — и предъ нами новая картина: молодой купецъ, статный молодецъ, Степанъ Парамонычъ, по прозванію Калашниковъ, за прилавкою,

Шелковые товары раскладываетъ,  
Рѣчью ласковой онъ гостей заманиваетъ,  
Злато, серебро пересчитываетъ.

Это другая сторона русскаго быта того времени; на сценѣ является представитель другого класса общества. Первое его появленіе на сцену располагаетъ васъ въ его пользу: почему-то вы чувствуете, что это одинъ изъ тѣхъ упругихъ и тяжелыхъ характеровъ, которые тихи и кротки только до тѣхъ поръ, пока обстоятельства не расколыхаютъ ихъ, одна изъ тѣхъ желѣзныхъ натуръ, которая и обиды не стерпитъ, и сдачи дадутъ. Сильнѣе и сильнѣе щемитъ ваше сердце, —

чуешь оно недоброе, тѣмъ больше, что «молодому купцу, статному молодцу» задался не добрый день:

Ходятъ мимо бояре богатые,  
Въ его лавочку не заглядываютъ...  
Отзвонили вечерни во святыхъ церквахъ;  
За Кремлемъ горитъ заря туманная,  
Набѣгаютъ тучки на небо, —  
Гонятъ ихъ метелица распѣваючи;  
Опустилъ широкій гостинный дворъ.

Калашниковъ запираетъ свою лавочку дубовою дверью, «да пѣмеч-  
кимъ замкомъ со пружиною», привязываетъ на желѣзную цѣпь зуба-  
стаго пса,

И пошелъ онъ домой, *призадумавшись*,  
Къ молодой хозяйкѣ за Москву-рѣку.

Отчего же онъ призадумался? — Или душа человѣка чуешь шелестъ шаговъ незримо-слѣдующей по пятамъ его судьбы, которая обречла его въ свои жертвы?..

Пришедъ въ свой «высокій» домъ, Степанъ Парамонычъ дивится, что его не встрѣчаютъ ни молода жена, ни малыя дѣтушки, что дубовый столъ не покрытъ бѣлой скатертью, и свѣчка предъ образомъ еле теплится. Кличетъ онъ старуху Еремѣвну и спрашиваетъ, куда въ такой поздній часъ «дѣбалась, затаилась» Алена Дмитриевна, и не заигрались ли его любезныя дѣти, что такъ рано уложились спать? И слышитъ въ отвѣтъ:

...Къ вечернѣ пошла Алена Дмитриевна;  
Вотъ ужъ ночь прошла съ молодой попадѣй,  
Засвѣтили свѣчу, сѣли ужинать, —  
А по сю пору твоя хозяйюшка  
Изъ приходской церкви не вернулася,  
А дѣтки твои малыя  
Почивать не легли, не играть пошли —  
Плачемъ плачутъ все, не унимаются.

Въ этихъ стихахъ полная картина домашняго быта и простыхъ, малосложныхъ, простодушныхъ семейственныхъ отношеній у нашихъ предковъ.

Смутился Степанъ Парамоновичъ крѣпкою думою.

И онъ сталъ къ окну, глядитъ на улицу —  
А на улицѣ ночь темнехонька;  
Валитъ бѣлый снѣгъ, разстилается,  
Заметаешь слѣдъ человѣческій.  
Вотъ онъ слышитъ, въ сѣняхъ дверью хлопнули,  
Потомъ слышитъ шаги торопливые;  
Обернулся, глядитъ — сила крестная! —



Передъ нимъ стоитъ молодая жена,  
Сама блѣдная, простоволосая,  
Косы русыя расплетенныя  
Снѣгомъ-инеемъ пересыпаны;  
Смотрятъ очи мутныя, какъ безумныя,  
Уста шепчуть рѣчь непонятныя.

Онъ спрашиваетъ ее, гдѣ она шаталася: ужъ не гуляла ли, не пировала ли съ дѣтми боярскими, что волосы ея такъ растрепаны и одежда изорвана.

Не на то передъ святыми иконами  
Мы съ тобою, жена, обручались,  
Золотыми кольцами мѣнялись!

Онъ грозитъ запереть ее за дубовую дверь окованную; за желѣзный замокъ, чтобы она и свѣту Божьего не видѣла, его имени честнаго не порочила.

Какъ осиновый листъ, затряслася Алена Дмитріевна, упала мужу въ ноги, прося его выслушать ее и говоря, что она «не боится смерти лютыя, а боится его немилости»: въ двѣнадцати стихахъ полная картина супружескихъ отношеній варварскаго времени! Жена рассказываетъ мужу, что, шедши отъ вечера домой, услышала за собою чьи-то шаги, «оглянулась — человѣкъ бѣжитъ»; этотъ человѣкъ схватилъ ее за руки, говоря ей, что онъ слуга царя грознаго, прозывается Кирибѣвичемъ, а изъ славной семьи изъ Малютиной...

Испугалась я пуще прежняго;  
Закружилась моя блѣдная головушка.  
И онъ сталъ меня цѣловать-ласкать,  
А, цѣлуя, все приговаривалъ:  
«Отвѣчай мнѣ, чего тебѣ надобно,  
Моя милая, драгоценная!  
Хочешь золота, али жемчугу?  
Хочешь яркихъ камней, али цвѣтной парчи?  
Какъ царицу я наряжу тебя,  
Станутъ всѣ тебѣ завидовать,  
Лишь не дай мнѣ умереть смертью грѣшною:  
Полюби меня, обними меня,  
Хоть единый разъ на прощаніе!»  
И ласкалъ онъ меня, цѣловалъ меня:  
На щекахъ моихъ и теперь горять,  
Живымъ пламенемъ разливаются  
Потѣлуи его окаянныя...  
А смотрѣли въ калитку сосѣдушки,  
Смѣялись, на насъ пальцемъ показывали...

Рванувшись изъ рукъ его, она оставила у него свою фату бухарскую и узорный платокъ, — подарочекъ мужа. Заключение ея разсказа состоитъ въ жалобахъ на свой позоръ и въ просьбахъ мужа — не дать

ее, свою вѣрну жену, въ поруганіе злымъ охульникамъ. Тогда Степанъ Парамоновичъ посылаетъ за своими двумя меньшими братьями и рассказываетъ объ обидѣ, нанесенной ему злымъ опричникомъ царскимъ;

А такой обиды не стерпѣть душѣ,  
Да не вынести сердцу молодцекому!

говорить имъ о своемъ намѣреніи — биться на-смерть съ опричникомъ на кулачномъ бою, который будетъ завтра на Москвѣ-рѣкѣ, при самомъ царѣ, и проситъ ихъ постоять за правду, если самъ будетъ побитъ.

И въ отвѣтъ ему братья молвили:  
«Куда вѣтеръ дуетъ въ поднебесы,  
Туда мчятся и тучки послушны;  
Когда спзый орелъ зоветъ голосомъ  
На кровавую долину побойща,  
Зоветь пиръ шировать, мертвецовъ убирать,  
Къ нему малые орлята слетаются:  
Ты нашъ старшій братъ, намъ второй отецъ;  
Дѣлай самъ, какъ знаешь, какъ вѣдаешь,  
А ужъ мы тебя, родимаго, не выдадимъ».

Изъ этого отвѣта видно, что семья Калашниковыхъ хоть и не славилась столько, какъ Малютиныхъ, но состояла изъ сизаго орла съ орлятами... Превосходно очеркнулъ поэтъ въ этомъ отвѣтѣ, будто мимоходомъ, и простоту родственныхъ отношеній нашихъ предковъ, гдѣ право первородства было и правомъ власти, гдѣ старшій братъ заступалъ мѣсто отца для младшихъ. И это сдѣлано имъ не въ описаніи, а въ живой картинѣ, въ самомъ разгарѣ въ высшей степени драматическаго дѣйствія. Этою сценою семейнаго совѣщанія оканчивается вторая часть драматической поэмы: дѣйствующія лица и завязка дѣйствія уже рѣзко обозначились, и сердце наше замираетъ отъ предчувствія горестной развязки...

Надъ Москвой великой, златоглавою  
Надъ стѣной кремлевской бѣлокаменной  
Изъ-за дальнихъ лѣсовъ, изъ-за синихъ горъ,  
По тесовымъ кровелькамъ играючи,  
Тучки сѣрыя разгоняючи,  
Заря алая подымается;  
Разметала кудри золотистыя,  
Умывается снѣгами разсыпчатыми,  
Въ небо чистое смотреть, улыбается.  
Ужъ зачѣмъ ты, алая заря, просыпалася?  
На какой ты радости разыгралася?

На Москву-рѣку сходились удалые молодцы «разгуляться для праздника, потѣшиться». Самъ царь пріѣхалъ со дружиною, боярами и оприч-

никами и велѣлъ оцѣнить серебряною цѣнью мѣсто въ 25 сажень,  
«для охотничкаго бою одиночнаго». Потомъ царь велѣлъ вызывать  
охотниковъ:

Кто побьетъ кого, того царь наградить,  
А кто будетъ побитъ, тому Богъ простить.

Выходитъ Кирибѣвичъ и съ похвальбою вызываетъ супротивни-  
ковъ, общаясь «лишь потѣшить царя-батюшку, но для праздника  
отпустить живого». Вдругъ раздалась толпа — и выходитъ Степанъ  
Парамоновичъ.

Поклонился прежде царю грозному,  
Послѣ бѣлому Кремлю да святымъ церквамъ,  
А потомъ всему народу русскому.  
Горять его очи соколиныя,  
На опричника смотреть пристально.  
Супротивъ него онь становится,  
Боевыя рукавицы натягиваетъ,  
Могутныя плечи распрямливаетъ  
Да кудряву бороду поглаживаетъ.

Кирибѣвичъ, не выходя изъ тона своей удалой, молодецкой похвальбы,  
спрашиваетъ Калашникова о родѣ-племени и имени, «чтобъ знать по  
комъ панихиду служить, чтобъ было чѣмъ и похвастаться».

Отвѣчаетъ Степанъ Парамоновичъ:  
«А зовутъ меня Степаномъ Калашниковымъ,  
А родился я отъ честнаго отца,  
И жилъ я по закону Господнему:  
Не позорилъ я чужой жены,  
Не разбойничалъ ночью темною,  
Не таился отъ свѣта небеснаго...  
И промолвилъ ты правду истинную:  
По одному изъ насъ будутъ панихиду пѣть,  
И не позже, какъ завтра въ часъ полуденный;  
И одинъ изъ насъ будетъ хвастаться,  
Съ удалыми друзьями пируючи...  
Не шутку шутить, не людей смѣшить  
Къ тебѣ вышелъ я теперь, басурманскій сынъ,  
Вышелъ я на страшный бой, на послѣдній бой!»  
И, услышавъ то, Кирибѣвичъ  
Поблѣднѣлъ въ лицѣ, какъ осенній свѣтъ:  
Бойки очи его затуманились,  
Между сильныхъ плечъ пробѣжалъ морозъ,  
На раскрытыхъ устахъ слово замерло...

Вотъ оно — ужасное торжество совѣсти въ глубокой натурѣ, которая  
никогда не отрѣшится отъ совѣсти, какъ бы ни была искажена раз-  
вратомъ; какъ бы ни страшно погрязла въ пороки!.. Всегда надъ нею  
грозная длань нравственнаго закона, грозный голосъ суда Божія, по-



тому что она сама — свой нравственный законъ и свой неумолимый судъ!..

Начинается бой (мы пропускаемъ его подробности); правая сторона побѣдила.

И опричникъ молодой застоналъ слегка,  
Закачался, упалъ замертво;  
Повалился онъ на холодный снѣгъ,  
На холодный снѣгъ, будто сосенка,  
Будто сосенка, во сыромъ бору  
Подъ смолистый подъ корень подрубленная.

Не правда ли: вамъ жаль удалого, хотя преступнаго бойца? Съ невыразимою тоскою повторите вы за поэтомъ жалобную мелодію, которою выразилъ онъ его паденіе?.. А между тѣмъ, вы же сами желали побѣды благородному купцу и гибели его преступному оскорбителю?.. Таково обаяніе великихъ натуръ; какъ бы ни было велико ихъ преступленіе, но, наказанныя, онѣ привлекаютъ все удивленіе и всю любовь нашу: мы видимъ въ нихъ жертвы неотразимой судьбы и братскимъ поцѣлуемъ прощанія и прощенія въ холодныя, поспѣлыя уста ихъ запечатлѣваемъ торжество возстановленной смертью гармоніи общаго, которую нарушили было онѣ своей виною...

Грозный царь воспалился гнѣвомъ и спрашиваетъ Калашникова: вольною волею или нехотя убилъ онъ его вѣрнаго слугу и лучшаго бойца? Вѣроятно, Калашниковъ могъ бы еще спасти себя ложью, но для этой благородной души, дважды такъ страшно потрясенной — и позоромъ жены, разрушившимъ его семейное блаженство, и кровавою мстью врагу, не возвратившему ему прежняго блаженства, — для этой благородной души жизнь уже не представляла ничего обольстительнаго, а смерть казалась необходимою для уврачеванія ея неисцѣлимыхъ ранъ... Есть души, которыя довольствуются кое-чѣмъ — даже остатками бывшаго счастья; но есть души, лозунгъ которыхъ — все или ничего, которыя не хотятъ запятнаннаго блаженства разъ потемненной славы; такова была и душа удалого купца, статнаго молодца, Степана Парамоновича Калашникова! Онъ сказалъ царю всю правду, скрывъ, однако, причину своего мщенія:

А за что, про что — не скажу тебѣ!  
Скажу только Богу единому!

Какая дивная черта глубокаго знанія сердца человѣческаго и древнихъ правовъ! Какая высокая трагическая черта! Онъ охотно идетъ на казнь и лишь проситъ царя «не оставить своею милостью малыхъ дѣтушекъ, молодой жены да двухъ братьевъ его». Въ отвѣтъ царя рѣзко, во всемъ страшномъ величіи, выказывается колоссальный образъ Грознаго:

Хорошо тебѣ, дѣтинушка,  
 Удалой боецъ, сынъ купеческій,  
 Что отвѣтъ держалъ ты по совѣсти.  
 Молодую жену и спроть твоихъ  
 Изъ казны моей я пожалую,  
 Твоимъ братьямъ велю отъ сего же дня  
 По всему царству русскому широкому  
 Торговать безданию, безпошлинно.  
 А ты самъ ступай, дѣтинушка,  
 На высокое мѣсто лобное,  
 Сложи свою буйную головушку.  
 Я топоръ велю наточить-наострить,  
 Палача велю одѣть-нарядить,  
 Чтобъ знали всѣ люди московскіе,  
 Что и ты не оставленъ моей милостью...

Какая жестокая пропія, какой ужасный сарказмъ! и мертвый содрогнулся бы отъ него въ гробѣ! А между тѣмъ, въ согласіи на милость женѣ, покровительствѣ дѣтямъ и братьямъ осужденнаго проблискиваетъ лучъ благородства и величія царственной натуры и какъ бы невольное признаніе достоинства человѣка, который обреченъ судьбою безвременной и насильственной смерти!.. Какая страшная трагедія! Сама судьба, въ лицѣ Грознаго, присутствуетъ предъ нами и управляетъ ея ходомъ!.. И едва ли во всей исторіи человѣчества можно найти другой характеръ, который могъ бы съ бѣльшимъ правомъ представлять лицо судьбы, какъ Іоаннъ Грозный!..

На площади собирается народъ; гудитъ-воетъ заунывный колоколь; по высокому лобному мѣсту весело похаживаетъ палачъ, руки голыя потираючи:

Удалова бойца дожидается,  
 А лихой боецъ, молодой купецъ,  
 Съ родными братьями прощается.

Онъ велитъ имъ поклониться отъ него Алени Дмитревнѣ, да *заказатъ* ей меньше печалиться, а дѣтушкамъ про него не велитъ *ска-зывать*...

И казнили Степана Калашникова  
 Смертью лютою, позорною;  
 И головушка безталанная  
 Въ крови на плаху покатиася.  
 Схоронили его за Москвой-рѣкой,  
 На чистомъ полѣ промежъ трехъ дорогъ:  
 Промежъ Тульской, Рязанской, Владимирской,  
 И бугоръ земли сырой тутъ насыпали,  
 И кленовый крестъ тутъ поставили.  
 И гуляютъ-шумятъ вѣтры буйные  
 Надъ его безыменной могилою.

И вотъ занавѣсъ опустился, трагедія кончилась, колоссальные образы ея героевъ исчезли изъ глазъ нашихъ, прошедшее стало опять прошедшимъ —

И что жъ осталось  
Отъ сильныхъ; гордыхъ сплхъ мужей,  
Столь полныхъ волею страстей!

Что? — могила, жилище тлѣнія и смерти; но надъ этою могилою вѣтъ жизнь, царитъ воспоминаніе, нѣмою рѣчью говорить преданіе:

И проходить мимо люди добрые:  
Пройдетъ старъ человѣкъ — перекрестится,  
Пройдетъ молодецъ — пріосанится,  
Пройдетъ дѣвица — пригорюнится,  
А пройдутъ гуслары — споютъ пѣсенку.

Какія роскошныя дани, какія богатыя жертвы приносятся этой могилѣ живыми! И она стѣитъ ихъ, ибо не живые въ ней, мертвой, но она, мертвая, рождаетъ жизнь въ живыхъ: заставляетъ ихъ и креститься, и пріосаниться, и пригорюниться, и пѣть пѣсни!.. Васъ огорчаетъ, заставляетъ страдать горестная и страшная участь благороднаго Калашникова; вы жалѣете даже и о преступномъ опричникѣ, — понятное человѣческое чувство! Но безъ этой трагической развязки, которая такъ печалитъ ваше сердце, не было бы и этой могилы, столь краснорѣчивой, столь живой, столь полной глубокаго значенія, и не было бы великаго подвига, который такъ возвысилъ вашу душу, и не было бы чудной пѣсни поэта, которая такъ очаровала васъ... И потому, да перемѣнится печаль ваша на радость, и да будетъ эта радость свѣтлымъ торжествомъ побѣды безсмертнаго надъ смертнымъ, общаго надъ частнымъ! Благословимъ непреложные законы бытія и міродержавныхъ судебъ и повторимъ за поэтомъ музыкальный финалъ, которымъ, по старинному и достохвальному русскому обычаю, заставляетъ онъ гусларовъ заключить свою поэтическую пѣсню:

Гей вы, ребята удалые,  
Гуслары молодые,  
Голоса залвные!

Красно начинали—красно и кончайте,  
Каждому правдою и честію воздайте,  
Тароватому боярину слава!  
И красавицѣ боярынь слава!  
И всему народу христіанскому слава!

Излагая содержаніе этой поэмы, уже извѣстной публикѣ, мы имѣли въ виду намекнуть на богатство ея содержанія, на полноту жизни и глубину идеи, которыми она запечатлѣна: что же до поэзи образовъ, роскоши красокъ, прелести стиха, избытка чувства, охватывающаго душу огненными волнами, свѣжести колорита, силы выраженія,



трепетнаго, полнаго страсти одушевленія, — эти вещи не толкуются и не объясняются... Мы выписали цѣлую часть поэмы — пусть читаютъ и судятъ сами: кто не увидитъ въ этихъ стихахъ того, что мы видимъ, для тѣхъ нѣтъ у насъ очковъ, и едва ли какой оптикъ въ мірѣ поможетъ имъ...

Содержаніе поэмы, въ смыслѣ разсказа происшествія, само по себѣ полно поэзіи; если бы оно было историческимъ фактомъ, въ немъ жизнь явилась бы поэзіею, а поэзія жизнью. Но, тѣмъ не менѣе, онъ не существовалъ бы для насъ; нашли бы мы его въ простодушной хроникѣ старыхъ временъ или, по какому-нибудь чуду, сами были его свидѣтелемъ — оно было бы для насъ мертвымъ матеріаломъ, въ который только поэтъ могъ бы вдохнуть душу живую, отдѣливъ отъ него все случайное, произвольное и представивъ его въ гармоническомъ цѣломъ, поставленномъ и освѣщенномъ сообразно съ требованіями точки зрѣнія и свѣта. И въ этомъ отношеніи нельзя довольно надивиться поэту: онъ является здѣсь опытнымъ, гениальнымъ архитекторомъ, который умѣетъ такъ согласить между собою части зданія, что ни одна подробность въ украшеніяхъ не кажется лишнею, но представляется необходимою и равно важною съ самыми существенными частями зданія, хотя вы и пошмаете, что архитекторъ могъ бы легко вмѣсто ея сдѣлать и другую. Какъ ни пристально будете вы вглядываться въ поэму Лермонтова, не найдете ни одного лишняго или недостающаго слова, черты, стиха, образа, ни одного слабаго мѣста: все въ ней необходимо, полно, сильно! Въ этомъ отношеніи ее никакъ нельзя сравнить съ народными легендами, посящими на себѣ имя ихъ собирателя — Кириши Данилова: то — дѣтскій лепетъ, часто поэтическій, но часто и прозаическій, перѣдко образный, но чаще символическій, уродливый въ цѣломъ, полный ненужныхъ повтореній одного и того же; поэма Лермонтова — созданіе мужественное, зрѣлое и столько же художественное, сколько и народное. Безыменные творцы этихъ безыскусственныхъ и простодушныхъ произведеній составляли одно съ вѣющимъ въ нихъ духомъ народности: они не могли отъ нея отдѣлиться, она заключала въ нихъ саму же себя; но нашъ поэтъ вошелъ въ царство народности, какъ ея полный властелинъ, и, проникнувшись ея духомъ, слившись съ нею, онъ показалъ только свое родство съ нею, а не тождество: даже въ минуту творчества онъ видѣлъ ее предъ собою, какъ предметъ, и такъ же, по волѣ своей, вышелъ изъ нея въ другія сферы, какъ и вошелъ въ нее. Онъ показалъ этимъ только богатство элементовъ своей поэзіи, кровное родство своего духа съ духомъ народности своего отечества; показалъ, что и прошедшее его родины такъ же присуще его натурѣ, какъ и ея настоящее; и потому онъ въ этой poemѣ является не безыскусственнымъ пѣвцомъ народности,

но нечуждымъ художникомъ, и если его поэма не можетъ быть переведена ни на какой языкъ, ибо колоритъ ея весь въ русско-народномъ языкѣ, то, тѣмъ не менѣе, она — художественное произведеніе; во всей полнотѣ, во всемъ блескѣ жизни воскресившее одинъ изъ моментовъ русскаго быта, одного изъ представителей древней Руси. Въ этомъ отношеніи послѣ «Бориса Годунова» больше всѣхъ посчастливилось Іоанну Грозному: въ poemѣ Лермонтова колоссальный образъ его является изваяннымъ изъ мѣди или мрамора...

По внутреннему плану нашей статьи мы должны были сперва говорить о тѣхъ стихотвореніяхъ Лермонтова, въ которыхъ онъ является не безусловнымъ художникомъ, но внутреннимъ человекомъ, и по которымъ однимъ можно увидѣть богатство элементовъ его духа и отношенія его къ обществу. Мы такъ начали, такъ и продолжаемъ: взгляды на чисто-художественныя стихотворенія его заключить нашу статью. И если мы остановились на «Пѣсни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», которую мы признаемъ художественною, то потому, что, во-первыхъ, самая художественность болѣе или менѣе условна, ибо въ этой «Пѣсни» онъ поддѣлывается подъ ладъ старинный и заставляетъ гусяровъ пѣть ее; во-вторыхъ, эта «Пѣсня» представляетъ собою фактъ о кровномъ родствѣ духа поэта съ народнымъ духомъ и свидѣтельствуетъ объ одномъ изъ богатѣйшихъ элементовъ его поэзіи, намекающемъ на великость его таланта. Самый выборъ этого предмета свидѣтельствуетъ о состояніи духа поэта, недовольнаго современною дѣйствительностью и перенесшагося отъ нея въ далекое прошлое, чтобы тамъ искать жизни, которой онъ не видитъ въ настоящемъ. Но это прошлое не могло долго занимать такого поэта: онъ скоро долженъ былъ почувствовать всю бѣдность и все однообразіе его содержанія и возвратиться къ настоящему, которое жило въ каждой каплѣ его крови, трепетало съ каждымъ біеніемъ его пульса, съ каждымъ вздохомъ его груди. Не отдѣлится ему отъ него! Оно вибрировало въ него, обвилось вокругъ него, оно сосетъ его кровь изъ его сердца, оно требуетъ всей жизни его, всей дѣятельности! Оно ждетъ отъ него своего просвѣтлѣнія, врачеванія своихъ язвъ и недуговъ. Опъ, только онъ, можетъ совершить это, какъ полный представитель настоящаго, другой властитель нашихъ думъ! Въ созданіяхъ поэта, выражающихъ скорби и недуги общества, общество находитъ облегченіе отъ своихъ скорбей и недуговъ: тайна этого цѣлительнаго дѣйствія — сознаніе причины болѣзни черезъ представленіе болѣзни, какъ мы говорили объ этомъ выше въ нашей статьѣ.

Преобладаніе внутренняго (субъективнаго) элемента въ поэтахъ обыкновенныхъ есть признакъ ограниченности таланта. У нихъ субъек-

ективность означаетъ выраженіе личности, которая всегда ограничена, если является отдѣльно отъ общаго. Они обыкновенно говорятъ о своихъ нравственныхъ недугахъ, и всегда одно и то же; читая ихъ, невольно вспоминаешь эти стихи Лермонтова:

Какое дѣло намъ, страдалъ ты или нѣтъ,  
 На что намъ знать твои сомнѣнья,  
 Надежды глуныя первоначальныхъ лѣтъ,  
 Разсудка злыя сожаленья?  
 Взгляни: передъ тобою играючи идетъ  
 Толпа дорогою привычной.  
 На лицахъ праздничныхъ чуть виденъ слѣдъ заботъ  
 Слезы не встрѣтишь, неприличной, —  
 А между тѣмъ изъ нихъ едва ли есть одинъ  
 Тяжелой пыткой не измученъ,  
 До преждевременныхъ добравшійся морщинъ  
 Безъ преступленья или утраты!..  
 Повѣрь: для нихъ смѣшонъ твой плачъ и твой укоръ,  
 Съ своимъ напѣвомъ заученнымъ,  
 Какъ разсужденный трагическій актеръ,  
 Махающій мечомъ картоннымъ...

Въ талантѣ великомъ избытокъ внутренняго, субъективнаго, элемента есть признакъ гуманности. Не бойтесь этого направленія: оно не обманетъ васъ, не введетъ васъ въ заблужденіе. Великій поэтъ, говоря о себѣ самомъ, о своемъ *я*, говоритъ объ общемъ — о человѣчествѣ, ибо въ его натурѣ лежитъ все, чѣмъ живетъ человѣчество. И потому въ его грусти всякій узнаетъ свою грусть, въ его душѣ всякій узнаетъ свою и видитъ въ немъ не только *поэта*, но и человѣка, брата своего по человѣчеству. Признавая его существомъ несравненно высшимъ себя, всякій въ то же время сознаетъ свое родство съ нимъ.

Вотъ что заставило насъ обратить особенное вниманіе на субъективныя стихотворенія Лермонтова и даже порадоваться, что ихъ больше, чѣмъ чисто-художественныхъ. По этому признаку мы узнаемъ въ немъ поэта русскаго, *народнаго* въ высшемъ и благороднѣйшемъ значеніи этого слова, — поэта, въ которомъ выразился историческій моментъ русскаго общества. И всѣ такія его стихотворенія глубоки и многозначительны; въ нихъ выражается богатая дарами духа природа, благородная человѣчественная личность.

Черезъ годъ послѣ напечатанія «Пѣсни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» Лермонтовъ снова вышелъ на арену литературы, съ стихотвореніемъ «Дума», изумившимъ всѣхъ алмазною крѣпостью стиха, громовою силою бурнаго одушевленія, исполненскою энергіей благороднаго негодованія и глубокой грусти. Съ тѣхъ поръ стихотворенія Лермонтова стали являться одни за другими безъ перемежки, и съ его именемъ.

Поэтъ говоритъ о новомъ поколѣніи, что онъ смотритъ на него съ печалью, что его будущее «или пусто, или темно», что оно должно состарѣться подъ бременемъ *познанія* и сомнѣнія; укоряетъ его, что оно изсушило умъ *безплодною* наукою. Въ этомъ нельзя согласиться съ поэтомъ: сомнѣнье — такъ; но излишества познанія и науки, хотя бы и «безплодной», мы не видимъ: напротивъ, недостатокъ познанія и науки принадлежитъ къ болѣзнямъ нашего поколѣнія:

Мы все учились понемногу

Чему-нибудь и какъ-нибудь!

Хорошо бы еще, если бы, взамѣнъ утраченной жизни, мы насладились хоть знаніемъ: былъ бы хоть какой-нибудь выигрышъ! Но сильное движеніе общественности сдѣлало насъ обладателями знанія, безъ труда и ученія, и этотъ плодъ безъ корня, надо признаться, пришелся намъ горекъ: онъ только пресытилъ насъ, а не напичкалъ, притупилъ нашъ вкусъ, но не усладилъ его. Это обыкновенное и необходимое явленіе во всехъ обществахъ, вдругъ вступающихъ изъ естественной непосредственности въ сознательную жизнь, не въ нѣдрахъ ихъ возросшую и созрѣвшую, а пересаженную отъ развившихся народовъ. Мы въ этомъ отношеніи — безъ вины виноваты!

Богаты мы, едва изъ колыбели,

Ошибками отцовъ и познпмъ ихъ умомъ,

И жизнь ужъ насъ томитъ, какъ ровный путь безъ цѣли,

Какъ ширъ на праздникъ чужомъ!

Какая вѣрная картина! Какая точность и оригинальность въ выраженіи! Да, умъ отцовъ нашихъ для насъ — поздній умъ: великая истина!

И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно,

Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви,

И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,

Когда огонь кипитъ въ крови!

И предковъ скучны намъ роскошныя забавы,

Ихъ легкомысленный, ребяческій развратъ;

И къ гробу мы спѣшимъ безъ счастья и безъ славы,

Глядя насмѣшливо назадъ.

Толпой угрюмою и скоро позабытой

Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,

Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодотворной,

Ни геніемъ начатаго труда.

И прахъ нашъ, съ строгостью судьи и гражданина,

Истомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ,

Насмѣшкой горькою обманутаго сына

Надъ промотавшимся отцомъ!

Эти стихи писаны кровью; они вышли изъ глубины оскорбленнаго духа: это вопль, это стоны человѣка, для котораго отсутствіе внутренней жизни есть зло, въ тысячу разъ ужаснѣйшее физической смерти!..



И кто же изъ людей новаго поколѣнія не найдетъ въ немъ разгадки собственнаго унынія, душевной апатіи, пустоты внутренней и не откликнется на него своимъ воплемъ, своимъ стономъ?.. Если подѣ «сатирую» должно разумѣть не невинное зубоскальство веселенькихъ остроумцевъ, а громы негодованія, грозу духа, оскорбленнаго позоромъ общества, то «Дума» Лермонтова есть сатира, и сатира есть законный родъ поэзіи. Если сатиры Ювенала дышатъ такою же бурною чувства, такимъ же могуществомъ огненнаго слова, то Ювеналь, дѣйствительно, великій поэтъ!..

Другая сторона того же вопроса выражена въ стихотвореніи «Поэтъ». Обдѣланный въ золото галантерейною игрушкою книжаль навѣдитъ поэта на мысль о роли, которую это орудіе смерти и мщенія играло прежде... А теперь?.. Увы!

Никто привычною, заботливой рукой  
Его не чиститъ, не ласкаетъ,  
И надписи его, молясь передъ зарей,  
Никто съ усердьемъ не читаетъ...  
Въ нашъ вѣкъ избѣженный не такъ ли ты, поэтъ  
Свое утратить назначенье,  
На злато промѣнявъ ту власть, которой свѣтъ  
Внималъ въ нѣмомъ благоговѣніи?  
Бывало, мѣрный звукъ твоихъ могучихъ словъ  
Воспламенялъ бойца для битвы;  
Онъ нуженъ былъ толпѣ, какъ чаша для пировъ,  
Какъ опіямъ въ часы молитвы!  
Твой стихъ, какъ Божій духъ, носился надъ толпой,  
И отзывъ мыслей благородныхъ  
Звучалъ, какъ колоколъ на башнѣ вѣчевой,  
Во дни торжествъ и бѣдъ народныхъ.  
Но скученъ намъ простой и гордый твой языкъ,  
Насъ тѣшатъ блески и обманы;  
Какъ ветхая краса, нашъ ветхій міръ привыкъ  
Морщины прятать подъ румяны...  
Проснешься ль ты опять, осмѣянный пророкъ?  
Изъ никогда, на голосъ мщенія,  
Изъ золотыхъ ноженъ не вырвешь свой клинокъ  
Покрытый ржавчиной презрѣнья?..

Вотъ оно, то бурное одушевленіе, та трепещущая, изнемогающая, отъ полноты своей, страсть, которую Гегель называетъ въ Шиллерѣ пафосомъ!.. Нѣтъ, хвалить такіе стихи можно только стихамъ, и притомъ такими же... А мысль?.. Мы не должны здѣсь искать статистической точности фактовъ; но должны видѣть выраженіе поэта, — и кто не признаетъ, что то, чего онъ требуетъ отъ поэта, составляетъ одну изъ обязанностей его служенія и призванія? Не есть ли это характеристика поэта — характеристика благороднаго Шиллера?..

«Не вѣрь себѣ» есть стихотвореніе, составляющее тріумвиратъ съ двумя предшествовавшими. Въ немъ поэтъ рѣшаетъ тайну истиннаго вдохновенія, открывая источникъ ложнаго. Есть поэты, пишущіе въ стихахъ и въ прозѣ, и, кажется, удивительно, какъ сильно и громко; по чтенію которыхъ дѣйствуетъ на душу, какъ угаръ или тяжелый хмель, и ихъ произведенія, особенно увлекающія молодость, какъ-то скоро испаряются изъ головы. У этихъ людей нельзя отнять дарованія и даже вдохновенія, по

Въ немъ признака небесъ напрасно не ищи:  
То кровь кипитъ, то — слезъ избытокъ!..

Со времени появленія Пушкина, въ нашей литературѣ показались какія-то неслыханныя прежде жалобы на жизнь, пошло въ оборотъ новое слово «разочарованіе», которое теперь уже успѣло сдѣлаться и старымъ, и приторнымъ. Элегія смѣнила оду и стала господствующимъ родомъ поэзіи. За поэтами даже и плохіе стихотворцы начали воспѣвать

Поглобшій жизни цвѣтъ  
Безъ, малаго въ восемнадцать лѣтъ.

Ясно, что это была эпоха пробужденія нашего общества къ жизни: литература въ первый разъ еще начала быть выраженіемъ общества. Это новое направленіе литературы вполне выразилось въ дивномъ созданіи Лермонтова — «Демонъ». Это демонъ сомнѣнія, это духъ размышленія, рефлексія, разрушающей всякую полноту жизни, отравляющей всякую радость. Странное дѣло: пробудилась жизнь, и съ нею объ руку пошло сомнѣніе — врагъ жизни! «Демонъ» Лермонтова съ тѣхъ поръ остался у насъ вѣчнымъ гостемъ и съ злою, пасмѣшливою улыбкою показывается то тутъ, то тамъ... Мало этого: съ привелъ другого демона, еще болѣе страшнаго, болѣе неразгаданнаго, высказавшагося въ стихотвореніи Лермонтова:

И скучно, и грустно, и некому руку подать  
Въ минуту душевной невзгоды...  
Желанья!.. Что пользы напрасно и вѣчно желать?..  
А годы проходятъ — все лучшіе годы!  
Любить... по кого же?.. На время — не стоить труда,  
А вѣчно любить — невозможно.  
Въ себя ли заглянешь? — тамъ прошлаго нѣтъ и слѣда:  
И радость, и мука, и все тамъ ничтожно!..  
Что страсти? — вѣдь рано или поздно ихъ сладкій недугъ  
Исчезнетъ при словѣ разсудка,  
И жизнь, — какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ, —  
Такая пустая и глухая шутка...

Страшенъ этотъ глухой могильный голосъ подземнаго страданія, нездѣшней муки, этотъ потрясающій душу реквиемъ всѣхъ надеждъ,

всѣхъ чувствъ человѣческихъ, всѣхъ обаяній жизни! Отъ него содрогается человѣческая природа; слышетъ кровь въ жилахъ, и прежній свѣтлый образъ жизни представляется отвратительнымъ скелетомъ, который душитъ насъ въ своихъ костяныхъ объятіяхъ, улыбается своимъ костяными челюстями и прижимается къ устамъ нашимъ! Это не минута духовной дисгармоніи, сердечнаго отчаянія: это — похоронная пѣсня всей жизни! Кому не знакомо, по опыту, состояніе духа, выраженное въ ней, въ чьей натурѣ не скрывается возможность ея страшныхъ диссонансовъ, — тѣ, конечно, увидятъ въ ней не больше, какъ маленькую пьеску грустнаго содержанія, и будутъ правы; но тотъ, кто не разъ слышалъ внутри себя ея могильный напѣвъ, а въ ней увидѣтъ только художественное выраженіе давно знакомаго, ужаснаго чувства, тотъ припишетъ ей слишкомъ глубокое значеніе, слишкомъ высокую цѣну, дастъ ей почетное мѣсто между величайшими созданіями поэзіи, которыя когда-либо, подобно свѣточамъ Эвмениды, освѣщали бездонныя пропасти человѣческаго духа... И какая простота въ выраженіи, какая естественность, свобода въ стихѣ! Такъ и чувствуешь, что вся пьеса мгновенно излилась на бумагу сама собою, какъ потокъ слезъ, давно уже накопившихъ, какъ струя горячей крови изъ раны, съ которой вдругъ сорвана перевязка...

Вспомните «Героя нашего времени», вспомните Печорина — этого страннаго человѣка, который, съ одной стороны, томится жизнью, презираетъ и ее, и самого себя, не вѣритъ ни въ нее, ни въ самого себя, носитъ въ себѣ какую-то бездонную пропасть желаній и страстей, ничѣмъ ненасытимыхъ, а съ другой — гонится за жизнью, жадно ловитъ ея впечатлѣнія, безумно упивается ея обаяніями; вспомните его любовь къ Болѣ, къ Вѣрѣ, къ княжнѣ Мери и потомъ поймите эти стихи:

Любить... по кого же?.. на время — не стоитъ труда,  
А вѣчно любить — невозможно!

Да, невозможно! Но зачѣмъ же эта безумная жажда любви, къ чему эти гордые идеалы вѣчной любви, которыми мы встрѣчаемъ нашу юность, эта гордая вѣра въ неизмѣняемость чувства и его дѣйствительность?.. Мы знаемъ одну пьесу, которой содержаніе высказываетъ тайный недугъ нашего времени и которая за нѣсколько лѣтъ передъ симъ казалась бы даже бессмысленною, а теперь для многихъ — слишкомъ многозначительна. Вотъ она:

Я не люблю тебя: мнѣ суждено судьбою,  
Не полюбивши, разлюбить;  
Я не люблю тебя: больной моей душою,  
Я никого не буду здѣсь любить.

О, не кляни меня! Я обманулъ природу,  
Тебя, себя, когда въ волшебный мигъ  
И сердце праздное и бѣдную свободу  
Повергъ въ слезахъ у милыхъ ногъ твоихъ.  
Я не люблю тебя, но, полюбя другую,  
Я презиралъ бы горько самъ себя:  
И, какъ безумный, я и плачу, и тоскую,  
И все о томъ, что не люблю тебя!..

Неужели прежде этого не бывало? Или, можетъ-быть, прежде этому не придавали большой важности: пока любились — любили; разлюбились — не тужили; даже соединяясь какъ бы по страсти тѣмн узами, которые навсегда рѣшаютъ участь двухъ существъ, и потомъ, увидѣвъ, что ошиблись въ своемъ чувствѣ, что не созданы одинъ для другого, вмѣсто того, чтобы приходить въ отчаяніе отъ страшныхъ цѣлей, предавались лѣнивой привычкѣ, свыкались и равнодушно изъ сферы гордыхъ идеаловъ, полноты чувства переходили въ мирное и почтенное состояніе пошлой жизни?.. Вѣдь у всякой эпохи свой характеръ?.. Можетъ-быть, люди нашего времени слишкомъ многого требуютъ отъ жизни, слишкомъ необузданно предаются обаяніямъ фантазій, такъ что послѣ ихъ роскошныхъ мечтаній дѣйствительность кажется имъ уже слишкомъ безцвѣтною, блѣдною, холодною и пустою?.. Можетъ-быть, люди нашего времени слишкомъ серьезно смотрятъ на жизнь, даютъ слишкомъ большое значеніе чувству?.. Можетъ-быть, жизнь представляется имъ какимъ-то высокимъ служеніемъ, священнымъ таинствомъ, и они лучше хотятъ совѣмъ не жить, нежели жить, какъ живется?.. Можетъ-быть, они слишкомъ прямо смотрятъ на вещи, слишкомъ добросовѣстны и точны въ названіи вещей, слишкомъ откровенны насчетъ самихъ себя: протяжно зѣвая, не хотятъ называть себя энтузіастами и ни другихъ, ни самихъ себя не хотятъ обманывать ложными чувствами и становиться на ходули?.. Можетъ-быть, они слишкомъ совѣстливы и честны въ отношеніи къ участи другихъ людей и, обѣщавъ другому существу любовь и блаженство, думаютъ, что непременно должны дать ему и то, и другое, а не видя возможности исполнить это, предаются тоскѣ и отчаянію?.. Или, можетъ-быть, лишенные сочувствія съ обществомъ, сжатые его холодными условіями, они видятъ, что не въ пользу имъ щедрые дары богатой природы, глубокаго духа, и представляютъ собою младенца въ англійской болѣзни?.. Можетъ-быть, — чего не можетъ быть!..

«И скучно, и грустно» изъ всѣхъ пьесъ Лермонтова обратила на себя особую непріязнь стараго поколѣнія. Станные люди! Имъ все кажется, что поэзія должна выдумывать, а не быть жрицею истины, тѣшить побрякушками, а не гремѣть правдою! Имъ все кажется, что люди — дѣти, которыхъ можно заговорить прибаутками или утѣшить



сказочками! Они не хотятъ понять, что если кто кое-что знаетъ, тотъ смѣется надъ увѣреніями и поэта, и моралиста, зная, что они сами имъ не вѣрятъ. Такія правдивыя представленія того, что есть, кажутся нашимъ чужакамъ безнравственными. Питомцы Бульи и Жапливъ, они думаютъ, что истина, сама по себѣ, не есть высочайшая нравственность... Но вотъ самое лучшее доказательство ихъ дѣтскаго заблужденія: изъ того же самаго духа поэта, изъ котораго вышли такіе безотрадные, ледяныя сердце челоуѣческое, звуки,—изъ того же самаго духа вышло и стихотвореніе «Въ минуту жизни трудную» — эта молитвенная, елеинная мелодія надежды, примиренія и блаженства въ жизни жизнию.

Другую сторону духа нашего поэта представляетъ его превосходное стихотвореніе «Памяти А. Н. О—го»: это сладостная мелодія какихъ-то глубокихъ, но тихихъ думъ, чувства сильнаго, но цѣломудреннаго, замкнутаго въ самомъ себѣ... Есть въ этомъ стихотвореніи что-то кроткое, задушевное, отрадно-успокоивающее душу... И какою грандіозною, гармонирующею съ тономъ цѣлаго, картиною заключается это стихотвореніе: вотъ истинно безконечное и въ мысли, и въ выраженіи; вотъ то, что въ эстетикѣ должно разумѣть подъ именемъ высокаго (sublime)...

Не выписываемъ чудной «Молитвы», въ которой поэтъ поручаетъ Матери Божіей, «теплой заступницѣ холоднаго міра», квинтуну дѣву. Кто бы ни была эта дѣва — возлюбленная ли сердца, или милая сестра — не въ томъ дѣло; но сколько кроткой задушевности въ тонѣ этого стихотворенія, сколько нѣжности безъ всякой приторности; какое благоуханное, теплое, женственное чувство! Все это трогаетъ въ голубинной натурѣ челоуѣка; но въ духѣ мощномъ и гордомъ, въ натурѣ львиной все это больше, чѣмъ умирительно... Изъ какихъ богатыхъ элементовъ составлена поэзія этого челоуѣка, какими разнообразными мотивами и звуками гремятъ и льются ея гармоніи и мелодіи! Вотъ пѣса, означенная рубрикою «1-е января»; читая ее, мы опять входимъ въ совершенно новый міръ, хотя и застаемъ въ ней все ту же думу, то же сердце,—словомъ, ту же личность, какъ и въ прежнихъ. Поэтъ говоритъ, какъ часто при шумѣ пестрой толпы, среди мелькающихъ вокругъ него бездушныхъ лицъ — «стянутыхъ приличьемъ масокъ», когда холодныхъ рукъ его съ небрежною смѣлостью касаются «давно безтрепетныя» руки молодыхъ красавицъ, какъ часто воскресаютъ въ немъ старинныя мечты, святыя звуки погибшихъ лѣтъ...

И вижу я себя ребенкомъ; и кругомъ  
Родныя все мѣста: высокій барскій домъ  
И садъ съ разрушенной теплицей;  
Зеленой сѣтью травъ подернуть спящій прудъ,

А за прудомъ село дымится — и встаютъ  
Вдали туманы надъ полями.  
Въ аллею темную вхожу я; сквозь кусты  
Глядитъ вечерній лучъ, и желтые листья  
Шумятъ подъ робкими шагами.

Только у Пушкина можно найти такія картины въ этомъ родѣ!  
Когда же, говоритъ онъ, шумъ людской толпы «спугнетъ мою мечту».

О, какъ мнѣ хочется смутить веселость ихъ  
И дерзко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ,  
Облитый горечью и злобою!..

Если бы не всѣ стихотворенія Лермонтова были одинаково *лучшія*, то это мы назвали бы однимъ изъ лучшихъ.

«Журналистъ, читатель и писатель» напоминаетъ и идеею, и формою, и художественнымъ достоинствомъ «Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ» Пушкина. Разговорный языкъ этой пьесы — верхъ совершенства; рѣзкость сужденій, тонкая и ѣдкая насмѣшка, оригинальность и поразительная вѣрность взглядовъ и замѣчаній — изумительны. Исповѣдь поэта, которою оканчивается пьеса, блеститъ слезами, говоритъ чувствомъ. Личность поэта является въ этой исповѣди въ высшей степени благородною.

«Ребенку» — это маленькое лирическое стихотвореніе заключаетъ въ себѣ цѣлую повѣсть, высказанную намеками, но, тѣмъ не менѣе, понятную. О, какъ глубоко поучительна эта повѣсть, какъ сильно потрясаетъ она душу!.. Въ ней глухія рыданія обманутой любви, стоны исходящаго кровью сердца, жестокія проклятія, а потомъ, можетъ-быть, и благословеніе смиреннаго испытаніемъ сердца женищины... Какъ я люблю тебя, прекрасное дитя! Говорятъ, ты похожъ на нее, и хотѣ страданія измѣнили ее прежде времени, но ея образъ — въ моемъ сердцѣ...

...А ты, ты любишь ли меня?  
Не скучны ли тебѣ непрошенные ласки?  
Не слишкомъ часто ль я твои цѣлую глазки?  
Слеза моя ланитъ твоихъ не обожгла ль?  
Смотри жъ, не говори ни про мою печаль,  
Ни вовсе обо мнѣ. Къ чему? Ее, быть-можетъ,  
Ребяческій рассказъ разсердить или встревожить...  
Но ты мнѣ все повѣрь. Когда въ вечерній часъ,  
Предъ образомъ съ тобою заботливо склопясь,  
Молитву дѣтскую она тебѣ шептала  
И, въ знаменье креста, персты твои сжимала,  
И всѣ знакомыя, родныя имена  
Ты повторялъ за ней, — скажи: тебя она  
Ни за кого еще молиться не учила?  
Блѣднѣя, можетъ-быть, она произносила  
Названіе, теперь забытое тобой?..

Не вспоминай его... Что имя? — Звукъ пустой!  
 Дай Богъ, чтобъ для тебя оно осталось тайной.  
 Но если какъ-нибудь, когда-нибудь случайно  
 Узнаешь ты его, — ребяческіе дни  
 Ты вспомни и его, дитя, не прокляни!

Отчего же тутъ итъ раскаянія? — спросятъ моралисты. — Надѣньте очки, господа, и вы увидите, что герой пьесы спрашиваетъ дитя — не учила ли она его молиться еще за кого-то, не произносила ли, блѣднѣя, теперь забытаго имъ имени?.. Онъ проситъ ребенка не проклинать этого имени, если узнаетъ о немъ. Вотъ истинное торжество нравственности!

Поэтическая мысль можетъ иногда родиться и въ слѣдствіе какого-нибудь изъ тѣхъ обстоятельствъ, изъ которыхъ слагается наша жизнь; но чаще всего и почти всегда она есть не что иное, какъ случай дѣйствительности въ возможности, и потому въ поэзіи не имѣетъ никакого мѣста вопросъ: «было ли это?»; но она всегда должна положительно отвѣчать на вопросъ: «возможно ли это, можетъ ли это быть въ дѣйствительности?». Самое обстоятельство можетъ только, такъ сказать, натолкнуть поэта на поэтическую идею, и, будучи выражено имъ въ стихотвореніи, является уже совсѣмъ другимъ, новымъ и необычнымъ, но могущимъ быть. Поэтому, чѣмъ выше талантъ поэта, тѣмъ больше находимъ мы въ его произведеніяхъ примѣненій и къ собственной нашей жизни, и къ жизни другихъ людей. Мало этого: въ неиспытанныхъ нами обстоятельствахъ мы узнаемъ какъ будто коротко знакомое намъ по опыту, — и тогда понимаемъ, почему поэзія, выражая частное, есть выраженіе общаго. Прочтите «Сосѣда» Лермонтова — и хотя бы вы никогда не были въ подобномъ обстоятельствѣ, но вамъ покажется, что вы когда-то были въ заключеніи, любили незримаго сосѣда, отдѣленнаго отъ васъ стѣною, прислушивались и къ мѣрному звуку шаговъ его, и къ унылой пѣснѣ его и говорили къ нему про себя:

Я слушаю, — и въ мрачной тишинѣ  
 Твои напѣвы раздаются...  
 О чемъ они, — не знаю; но тоской  
 Исполнены, и звуки чередой,  
 Какъ слезы, тихо льются, льются...  
 И лучшихъ лѣтъ надежды, и любовь —  
 Въ груди моей все оживаетъ вновь,  
 И мысли далеко несутся,  
 И полонъ умъ желаній и страстей,  
 И кровь кипитъ — и слезы изъ очей,  
 Какъ звуки, другъ за другомъ льются...

Эта тихая, кроткая грусть души сильной и крѣпкой; эти унылые, мелодическіе звуки, льющіеся другъ за другомъ, какъ слеза за слезою;

эти слезы, льющіяся одна за другою, какъ звукъ за звукомъ, — сколько въ нихъ таинственнаго, невыговариваемаго, но такъ ясно понятнаго сердцу! Здѣсь поэзія становится музыкою: здѣсь обстоятельство является, какъ въ оперѣ, только поводомъ къ звукамъ, намекомъ на ихъ таинственное значеніе; здѣсь отъ случая жизни отнята вся его матеріальная, внѣшняя сторона, и извлеченъ изъ него одинъ чистый эфиръ, солнечный лучъ свѣта, въ возможности скрывавшіеся въ немъ... Выраженное въ этой пьесѣ обстоятельство можетъ быть фактомъ, но самая пьеса относится къ этому факту, какъ относится къ натуральной розѣ поэтическая роза, въ которой нѣтъ грубаго вещества, составляющаго натуральную розу, но въ которой только нѣжный румянецъ и кроткое ароматическое дыханіе натуральной розы...

Гармонически и благоуханно высказывается дума поэта въ пьесахъ: «Когда волнуется желтѣющая нива», «Разстался мы, по твой портретъ» и «Отчего», и грустно, болѣзненно въ пьесѣ «Благодарность». Не можемъ не остановиться на двухъ послѣднихъ. Онѣ коротки, повидимому, лишены общаго значенія и не заключаютъ въ себѣ никакой идеи; но, Боже мой! — какую длинную и грустную повѣсть содержитъ въ себѣ каждая изъ нихъ! Какъ онѣ глубоко знаменательны, какъ полны мыслью!

Мнѣ грустно, потому что я тебя люблю,  
И знаю: молодость цвѣтущую твою  
Не пощадить молвы коварное гоненье.  
За каждый свѣтлый день пль сладкое мгновенье  
Слезамъ и тоской заплатишь ты судьбѣ.  
Мнѣ грустно... потому что весело тебѣ.

Это вздохъ музыки, это мелодія грусти, это кроткое страданіе любви, послѣдняя дань нѣжно и глубоко любимому предмету отъ разтерзаннаго и смиреннаго бурей судьбы сердца!.. И какая удивительная простота въ стихѣ! Здѣсь говоритъ одно чувство, которое такъ полно, что не требуетъ поэтическихъ образовъ для своего выраженія; ему не нужно убранства, не нужно украшеній, оно говоритъ само за себя, оно вполне высказалось бы и прозою...

За все, за все тебя благодарю я:  
За тайныя мученія страстей,  
За горечь слезъ, отраву поцѣлуя,  
За мечь враговъ и клевету друзей;  
За жаръ души, растрченный въ пустынѣ, —  
За все, чѣмъ я обмануть въ жизни былъ...  
Устрой лишь такъ, чтобы тебя отыскать  
Не долго я еще благодарить...

Какая мысль скрывается въ этой грустной «благодарности», въ этомъ сарказмѣ обманутаго чувствомъ и жизнью сердца? Все хорошо:



и тайныя мученія страстей, и горечь слезъ, и всё обманы жизни; но еще лучше, когда ихъ нѣтъ, хотя безъ нихъ и нѣтъ ничего, что проситъ душа, чѣмъ живетъ она, что нужно ей, какъ масло для лампы!.. Это — утомленіе чувствомъ; сердце проситъ покоя и отдыха, хотя и не можетъ жить безъ волненія и движенія... Въ pendant къ этой пьесѣ можетъ идти новое стихотвореніе Лермонтова, «Завѣщаніе»: это похоронная пѣсня жизни и всёю ея обольщеніямъ, тѣмъ болѣе ужасная, что ея голосъ не глухой и не громкій, а холодно спокойный; выраженіе не горитъ и не сверкаетъ образами, но небрежно и прозаично... Мысль этой пьесы: и худое, и хорошее — все равно; едѣлать лучше не въ нашей волѣ, и потому пусть идетъ себѣ, какъ оно хочетъ... Это ужъ даже и не сарказмъ, не иронія, и не жалоба: не на что сердиться, не на что жаловаться, — все равно! Отца и мать жаль огорчить... Возлѣ нихъ есть сосѣдка — она не спроситъ о немъ, но нечего жалѣть пустого сердца — пусть поплачетъ: вѣдь это ей нипочемъ! Страшно!.. Но поэзія есть сама дѣйствительность, и потому она должна быть неумолима и безпощадна, гдѣ дѣло идетъ о томъ, что есть или что бываетъ... А человѣку необходимо должно перейти и черезъ это состояніе духа. Въ музыкѣ гармонія условливается диссонансомъ, въ духѣ блаженство усиливается страданіемъ, избытокъ чувства — сухостью чувства, любовь — ненавистью, сильная жизненность — отсутствіемъ жизни: это такія крайности, которыя всегда живутъ вмѣстѣ, въ одномъ сердцѣ. Кто не печалился и не плакалъ, тотъ и не возрадуется; кто не болѣлъ, тотъ и не выздоровѣетъ; кто не умиралъ заживо, тотъ и не возстанетъ... Жалѣйте поэта, или, лучше, самихъ себя: ибо, показавъ вамъ раны своей души, онъ показалъ вамъ ваши собственныя раны; но не отчаивайтесь ни за поэта, ни за человѣка: въ томъ и другомъ бурю смѣняетъ ведро, безотрадность — надежда...

Два перевода изъ Байрона — «Еврейская мелодія» и «Въ альбомъ» тоже выражаютъ внутренній міръ души поэта. Это боль сердца, тяжкіе вздохи груди; это — надгробныя надписи на памятникахъ погибшихъ радостей...

«Вѣтка Палестины» и «Тучи» составляютъ переходъ отъ субъективныхъ стихотвореній нашего поэта къ чисто-художественнымъ. Въ обѣихъ пьесахъ видна еще личность поэта, но въ то же время виденъ уже и выходъ его изъ внутренняго міра своей души въ созерцаніе «полнаго славы творенья». Первая изъ нихъ дышитъ благодатнымъ спокойствіемъ сердца, теплотою молитвы, кроткимъ вѣяніемъ святости. О самой этой пьесѣ можно сказать то же, что говорится въ ней и о вѣткѣ Палестины:

Заботой тайною хранима,  
 Передъ иконой золотой,  
 Стоишь ты, вѣтвь Ерусалима,  
 Святыни вѣршии часовой!  
 Прозрачный сумракъ, лучъ лампады,  
 Кивоть и крестъ, символъ святой..  
 Все полно мира и отрады  
 Вокругъ тебя и надъ тобой..

Вторая пьеса «Тучи» полна какого-то отраднаго чувства выздоровленія и надежды и плѣняетъ роскошью поэтическихъ образовъ, какимъ-то избыткомъ умиленнаго чувства.

«Русалкою» начнемъ мы рядъ чисто-художественныхъ стихотвореній Лермонтова, въ которыхъ личность поэта исчезаетъ за роскошными видѣніями явленій жизни. Эта пьеса покрыта фантастическимъ колоритомъ и, по роскоши картинъ, богатству поэтическихъ образовъ, художественности отдѣлки составляетъ собою одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ перловъ русской поэзіи. «Три пальмы» дышатъ знойною природою Востока, переносятъ насъ на песчаныя пустыни Аравіи, на ея цвѣтущіе оазисы. Мысль поэта ярко выдается, — и онъ поступилъ съ нею, какъ истинный поэтъ, не заключивъ своей пьесы нравственною сентенціею. Самая эта мысль могла быть опоэтизирована только своимъ восточнымъ колоритомъ и оправдана названіемъ «Восточное сказаніе»; иначе она была бы дѣтскою мыслью. Пластичизмъ и рельефность образовъ, выпуклость формъ и яркій блескъ восточныхъ красокъ сливаются въ этой пьесѣ поэзію съ живописью: это — картина Брюлова, смотря на которую, хочешь еще и осязать ее.

«Дары Терека» есть поэтическая апопееза Кавказа. Только роскошная, живая фантазія грековъ умѣла такъ олицетворять природу, давать образъ и личность ея пѣвымъ и разбросаннымъ явленіямъ. Итъ возможности выписывать стиховъ изъ этой дивно-художественной пьесы, этого роскошнаго видѣнія богатой, радужной, исполниской фантазіи; иначе пришлось бы переписать все стихотвореніе. Терекъ и Каспій олицетворяютъ собою Кавказъ, какъ самыя характеристическія его явленія. Терекъ сулитъ Каспію дорогой подарокъ; но сладострастно-лѣнивый сибаритъ моря, покоясь въ мягкихъ берегахъ, не внемлетъ ему, не обольщаясь ни стадомъ валуновъ, ни трупомъ удалого кабардинца; но когда Терекъ сулитъ ему сокровенный даръ — безцѣннѣе всѣхъ даровъ вселенной — и когда

...Надъ нимъ, какъ спѣтъ бѣла  
 Голова съ косою размытой,  
 Колыхаяся всплыла, —  
 И старикъ во блескѣ власти  
 Всталъ могучій, какъ гроза,

И одѣлись влагой страсти  
 Темно-синіе глаза.  
 Онъ възгравъ веселья полный —  
 И въ объятія свои  
 Набѣгающія волны  
 Принялъ съ ропотомъ любви...

Мы не назовемъ Лермонтова ни Байрономъ, ни Гёте, ни Пушкинымъ; но не думаемъ сдѣлать ему гиперболической похвалы, сказавъ, что такіа стихотворенія, какъ «Русалка», «Три пальмы» и «Дары Терека», можно находить только у такихъ поэтовъ, какъ Байронъ, Гёте и Пушкинъ...

Не менѣе превосходна «Казачья колыбельная пѣсня». Ея идея — мать; но поэтъ умѣлъ дать индивидуальное значеніе этой общей идее: его мать — казачка, и потому содержаніе ея колыбельной пѣсни выражаетъ собою особенности и оттѣнки казачьяго быта. Это стихотвореніе есть художественная апофеоза матери: все, что есть святого, беззавѣтнаго въ любви матери, весь трепетъ, вся пѣга, вся страсть, вся безконечность кроткой пѣжности, безграничность безкорыстной преданности, какою дышитъ любовь матери, — все это воспроизведено поэтомъ во всей полнотѣ. Гдѣ, откуда взялъ поэтъ эти простодушные слова, эту умирительную пѣжность тона, эти кроткіе и задушевные звуки, эту женственность и прелесть выраженія? Онъ видѣлъ Кавказъ, — и намъ понятна вѣрность его картинъ Кавказа; онъ не видалъ Аравіи и ничего, что могло бы дать ему понятіе объ этой странѣ палющаго солнца, песчаныхъ степей, зеленыхъ пальмъ и прохладныхъ источниковъ, но онъ читалъ ихъ описанія: какъ же онъ такъ глубоко могъ проникнуть въ тайны женскаго и материнскаго чувства?

«Воздушный корабль» не есть собственно переводъ изъ Зейдлица: Лермонтовъ взялъ у нѣмецкаго поэта только идею, но обработалъ ее по-своему. Эта пѣса, по своей художественности, достойна великой тѣни, которой колоссальный обликъ такъ грандіозно представленъ въ ней. — Какое тихое, успокоительное чувство ночи послѣ знойнаго дня вѣетъ въ стихотвореніи «Горныя вершины», въ этой маленькой пѣсѣ Гёте, такъ граціозно переданной нашимъ поэтомъ.

Теперь намъ остается разобрать поэму Лермонтова «Мцыри». Плѣнительный мальчикъ, черкесъ, воспитанъ былъ въ грузинскомъ монастырѣ; выросши, онъ хочетъ сдѣлаться, или его хотятъ сдѣлать, монахомъ. Разъ была страшная буря, во время которой черкесъ скрылся. Три дня пронадалъ онъ, а на четвертый былъ найденъ въ степи, близъ обители, слабый, больной, — и умирающій перенесенъ снова въ монастырь. Почти вся поэма состоитъ изъ исповѣди о томъ, что было съ нимъ эти три дня. Давно манилъ его къ себѣ призракъ родины,

темно носившіеся въ душѣ его, какъ воспоминаніе дѣтства. Онъ захотѣлъ видѣть Божій міръ — и ушелъ.

Давнымъ-давно задумалъ я  
Взглянуть на дальнія поля,  
Узнать, прекрасна ли земля;  
И въ часъ почной, ужасной часъ,  
Когда гроза пугала васъ,  
Когда, столпясь при алтарѣ,  
Вы нищѣ лежали на землѣ,  
Я убѣжалъ. О! я, какъ братъ,  
Обнялся съ бурей былъ бы радъ!  
Глазами тучи я слѣдилъ,  
Рукою молнію ловилъ...  
Скажи мнѣ, что средь этихъ стѣнъ  
Могли бы дать вы мнѣ замѣнъ  
Той дружбы краткой, но живой  
Межъ бурнымъ сердцемъ и грозой?..

Уже изъ этихъ словъ вы видите, что за огненная душа, что за могучій духъ, что за исполинская натура у этого мцыри! Это любимый идеалъ нашего поэта, это отраженіе въ поэзіи тѣни его собственной личности. Во всемъ, что онъ говоритъ мцыри, вѣдетъ его собственнымъ духомъ, поражаетъ его собственной мощью. Это произведеніе субъективное.

Мысль поэмы отзывается юношескою незрѣлостью, и если она дала возможность поэту разсыпать предъ вашими глазами такое богатство самоцвѣтныхъ камней поэзіи, то не сама собою, а точно какъ странное содержаніе иного непосредственнаго либретто даетъ гениальному композитору возможность создать превосходную оперу. Недавно, кто-то, резонерствуя въ газетной статьѣ о стихотвореніяхъ Лермонтова, назвалъ его «Пѣсню про царя Ивана Васильевича, удалого опричника и молодого купца Калашникова» произведеніемъ дѣтскимъ, а «Мцыри» — произведеніемъ зрѣлымъ; глубокомысленный критиканъ, разсчитывая по пальцамъ время появленія той и другой поэмы, очень остроумно сообразилъ, что авторъ былъ тремя годами старше, когда написалъ «Мцыри», и изъ этого казуса весьма основательно вывелъ заключеніе: ergo «Мцыри» зрѣлѣе. Это очень понятно: у кого нѣтъ эстетическаго чувства, кому не говоритъ само за себя поэтическое произведеніе, тому остается гадать о немъ по пальцамъ или соображаться съ метрическими книгами...

Но, несмотря на зрѣлость идеи и нѣкоторую натянутость въ содержаніи «Мцыри», подробности и изложеніе этой поэмы изумляютъ своимъ исполненіемъ. Можно сказать, безъ преувеличенія, что поэтъ бралъ цвѣты у радуги; лучи у солнца, блескъ у молніи, грохотъ у громовъ, гулъ у вѣтровъ, что вся природа сама несла и подавала ему



материалы, когда писалъ онъ эту поэму... Кажется, будто поэтъ до- того былъ отягощенъ обременительною полнотою внутренняго чувства, жизни и поэтическихъ образовъ, что готовъ былъ воспользоваться первою мелькнувшею мыслью, чтобы только освободиться отъ нихъ, — и они хлынули изъ души его, какъ горящая лава изъ огнедышащей горы, какъ море дождя изъ тучи, мгновенно объявшей собою распален- ный горизонтъ, какъ внезапно прорвавшійся яростный потокъ, по- глщающій окрестность на далекое разстояніе своими сокрушитель- ными волнами... Этотъ четырехстопный ямбъ съ одними мужскими окон- чаніями, какъ въ «Шильонскомъ узникѣ», звучитъ и отрывисто па- даетъ, какъ ударъ меча, поражающаго свою жертву. Упругость, энер- гія и звучное, однообразное паденіе его удивительно гармонируютъ съ сосредоточеннымъ чувствомъ, несокрушимою силою могучей на- туры и трагическимъ положеніемъ героя поэмы. А между тѣмъ, какое разнообразіе картинъ, образовъ и чувствъ! Тутъ и бури духа, и умиленіе сердца, и вопли отчаянія, и тихія жалобы, и гордое ожесточеніе, и кроткая грусть, и мракъ ночи, и торжественное величіе утра, и блескъ полудня, и таинственное обаяніе вечера!.. Многія положенія изумляютъ своею вѣрностью: таково мѣсто, гдѣ мцыри опи- сываетъ свое замираніе подлѣ монастыря, когда грудь его пылала предемертнымъ огнемъ, когда надъ усталою головою уже бѣжали успо- коительные сны смерти, и поспѣли ея фантастическія видѣнія. Кар- тины природы обличаютъ кисть великаго мастера: онъ дышитъ гран- діозностью и роскошнымъ блескомъ фантастическаго Кавказа. Кав- казъ взялъ полную дань съ музы нашего поэта... Странное дѣло! Кавказу какъ будто суждено быть колыбелью нашихъ поэтическихъ талантовъ, вдохновителемъ и пѣстуномъ ихъ музы, поэтической ихъ родиною! Пушкинъ посвятилъ Кавказу одну изъ первыхъ своихъ по- эмъ — «Кавказскаго плѣнника», и одна изъ послѣднихъ его поэмъ — «Галубъ» тоже посвящена Кавказу; нѣсколько превосходныхъ лири- ческихъ стихотвореній его также относятся къ Кавказу. Грибоѣдовъ создалъ на Кавказѣ свое «Оре отъ ума»: дикая и величавая при- рода этой страны, кипучая жизнь и суровая поэзія ея сыновъ вдохновили его оскорбленное человѣческое чувство на изображеніе апатическаго, ничтожнаго круга Фамусовыхъ, Скалозубовъ, Загорѣч- ныхъ, Хлестовыхъ, Тугоуховскихъ, Репетиловыхъ, Молчаливыхъ — этихъ карикатуръ на природу человѣческую... И вотъ является новый великій талантъ, — и Кавказъ дѣлается его поэтической родиною, пла- менно-любимою имъ; на недоступныхъ вершинахъ Кавказа, вѣчныхъ вѣчнымъ свѣтомъ; находитъ онъ свой Царнасъ; въ его свирѣ- помъ Терекѣ, въ его горныхъ потокахъ, въ его цѣлебныхъ источни- кахъ находитъ онъ свой Кастальскій ключъ, свою Ипокрену... Какъ

жаль, что не напечатана другая поэма Лермонтова, дѣйствіе которой совершается также на Кавказѣ, и которая въ рукописи ходитъ въ публикѣ, какъ нѣкогда ходило «Горе отъ ума»: мы говоримъ о «Демонѣ». Мысль этой поэмы глубже и несравненно зрѣлѣе, чѣмъ мысль «Мцыри», и хотя исполненіе ея отзывается нѣкоторою незрѣлостью, но роскошь картишъ, богатство поэтического одушевленія, превосходные стихи, высокость мыслей, обаятельная прелесть образовъ ставятъ ее несравненно выше «Мцыри» и превосходятъ все, что можно сказать въ ея похвалу. Это не художественное созданіе, въ строгомъ смыслѣ искусства; но оно обнаруживаетъ всю мощь таланта поэта и общается въ будущемъ великія художественныя созданія.

Говоря вообще о поэзіи Лермонтова, мы должны замѣтить въ ней одинъ недостатокъ: это иногда неясность образовъ и неточность въ выраженіи. Такъ, напримѣръ, въ «Дарахъ Терека», гдѣ «сердитый потокъ» описываетъ Каспію красоту убитой казачки, очень неопредѣленно намекнуто и на причину ея смерти, и на ея отношенія къ гребенскому казаку:

По красотѣ-молочицѣ  
Не тоскуетъ надъ рѣкой  
Лишь одинъ во всей станицѣ  
Казачина гребенской.  
Осѣдлалъ онъ вороного,  
И въ горахъ, въ ночномъ бою,  
На кипикалъ чеченца злого  
Сложилъ голову свою.

Здѣсь на догадку читателя оставляется три случая, равно возможные: или что чеченецъ убилъ казачку, а казакъ обрекъ себя мщенію за смерть своей любезной, или что самъ казакъ убилъ ее изъ ревности и ищетъ себѣ смерти, или что онъ еще не знаетъ о гибели своей возлюбленной и потому не тужить о ней, готовясь въ бой. Такая неопредѣленность вредитъ художественности, которая именно въ томъ и состоитъ, что говоритъ образами опредѣленными, выпуклыми, рельефными, вполнѣ выражающими заключенную въ нихъ мысль. Можно найти въ книжкѣ Лермонтова пять-шесть неточныхъ выраженій, подобныхъ тому, которыми оканчивается его превосходная пьеса «Поэтъ»:

Проснешься ль ты опять, осмѣянный пророкъ?  
Иль никогда, на голое мщенья,  
Изъ золотыхъ пожегъ не вырвешь свой клинокъ,  
*Покрытый ржавчиной презрѣнья.*

«Ржавчина презрѣнья» — выраженіе неточное и слишкомъ сбивающееся на аллегорію. Каждое слово въ поэтическомъ произведеніи должно дотого исчерпывать все значеніе требуемаго мыслью цѣлага

произведенія, чтобы видно было, что нѣтъ въ языкѣ другого слова, которое тутъ могло бы замѣнить его. Пушкинъ и въ этомъ отношеніи величайшій образецъ: во всѣхъ томахъ его произведеній едва ли можно найти хоть одно сколько-нибудь петочное или изысканное выраженіе, даже слово... Но мы говоримъ не больше, какъ о пяти или шести пятнышкахъ въ книгѣ Лермонтова: все остальное въ ней удивляетъ силою и точностью художественнаго такта, полновластнымъ обладаніемъ совершенно покореннаго языка, истинно пушкинскою точностью выраженій.

Бросая общій взглядъ на стихотворенія Лермонтова, мы видимъ въ нихъ все силы, все элементы, изъ которыхъ слагаются жизнь и поэзія. Въ этой глубокой натурѣ, въ этомъ мощномъ духѣ все живетъ; имъ все доступно, все понятно; они на все откликаются. Онъ всевластный обладатель царства явленій жизни, онъ воспроизводитъ ихъ, какъ истинный художникъ; онъ поэтъ русскій въ душѣ, — въ немъ живетъ прошедшее и настоящее русской жизни; онъ глубоко знакомъ и съ внутреннимъ міромъ души. Несокрушимая сила и мощь духа, смиреніе жалобъ, елеинное благоуханіе молитвы, пламенное, бурное одушевленіе, тихая грусть, кроткая задумчивость, вопли гордаго страданія, стоны отчаянія, таинственная нѣжность чувства, неукротимые порывы дерзкихъ желаній, цѣломудренная чистота, недуги современнаго общества, картины міровой жизни, хмельныя обаянія жизни, укоры совѣсти, умирительное раскаяніе, рыданія страсти и тихія слезы, какъ звукъ за звукомъ льющіяся въ полнотѣ умиренаго бурю жизни сердца, упоеніе любви, трепетъ разлуки, радость свиданія, чувство матери, презрѣніе къ прозѣ жизни, безумная жажда восторговъ, полнота упоивающагося роскошью бытія духа, пламенная вѣра, мука душевной пустоты, стоишь отвращающагося самого себя чувства замершей жизни, ядъ отрицанія, холодъ сомнѣнія, борьба полноты чувства съ разрушающею силою рефлексін, падшій духъ неба, гордый демонъ и невинный младенецъ, буйная вакханка и чистая дѣва, — все, все въ поэзіи Лермонтова: и небо и земля, и рай и адъ... По глубинѣ мысли, роскоши поэтическихъ образовъ, увлекательной, неотразимой силѣ поэтического обаянія, полнотѣ жизни и типической оригинальности, по избытку силы, бьющей огненнымъ фантазмомъ, его созданія напоминаютъ собою созданія великихъ поэтовъ. Его поприще еще только начато, и уже какъ много имъ сдѣлано, какое неистощимое богатство элементовъ обнаружено имъ: что же должно ожидать отъ него въ будущемъ?.. Пока еще не назовемъ мы его ни Байрономъ, ни Гёте, ни Пушкинымъ и не скажемъ, чтобы изъ него со временемъ вышелъ Байронъ, Гёте или Пушкинъ: ибо мы убѣждены, что изъ него выйдетъ ни тотъ, ни другой, ни третій, а выйдетъ — Лермонтовъ... Знаемъ, что наши похвалы покажутся большинству публики преувеличенными, но мы

уже обрекли себя тяжелой роли говорить рѣзко и опредѣленно то, чему сначала никто не вѣритъ, но въ чемъ скоро всѣ убѣждаются, забывая того, кто первый выговорилъ сознаніе общества и на кого оно за это смотрѣло съ насмѣшкою и неудовольствіемъ... Для толпы нѣмѣно и безмолвно свидѣтельство духа, которымъ запечатлѣны созданія вновь явившагося таланта: она составляетъ свое сужденіе не по самымъ этимъ созданіямъ, а по тому, что о нихъ говорятъ сперва люди почтенные, литераторы заслуженные, а потомъ, что говорятъ о нихъ всѣ. Даже, восхищаясь произведеніями молодого поэта, толпа косо смотритъ, когда его сравниваютъ съ именами, которыхъ значенія она не понимаетъ, но къ которымъ она прислушалась, которыхъ привыкла уважать на-слово... Для толпы не существуютъ убѣжденія истины: она вѣритъ только авторитетамъ, а не собственному чувству и разуму, — и хорошо дѣлаетъ... Чтобы преклониться предъ поэтомъ, ей надо сперва прислушаться къ его имени, привыкнуть къ нему и забыть множество ничтожныхъ именъ, которыя на минуту похищали ее безсмысленное удивленіе. *Procul profani...*

Какъ бы то ни было, но и въ толпѣ есть люди, которые высятся надъ нею: они поймутъ насъ. Они отличаютъ Лермонтова отъ какого-нибудь фразера, который занимается стукотною звучныхъ словъ и *богатыхъ* рѣчью, который вздумаетъ почитать себя представителемъ національнаго духа потому только, что кричитъ о славѣ Россіи (несколько не нуждающейся въ этомъ) и вандадски смѣется надъ издыхающею, будто бы, Европою, дѣлая изъ героевъ ея исторіи что-то похожее на нѣмецкихъ студентовъ... Мы увѣрены, что и наше сужденіе о Лермонтовѣ отличать они отъ тѣхъ производствъ въ «лучшіе» писатели нашего времени, надъ сочиненіями которыхъ (будто бы) примирился всѣ вкусы и даже всѣ литературныя партіи», такихъ писателей, которые, дѣйствительно, обнаруживаютъ замѣчательное дарованіе, но лучшими могутъ казаться только для малаго кружка читателей того журнала, въ каждой книжкѣ котораго печатаютъ они по одной и даже по двѣ повѣсти... Мы увѣрены, что они поймутъ, какъ должно, и ропотъ стараго поколѣнія, которое, оставшись при вкусахъ и убѣжденіяхъ цвѣтущаго времени своей жизни, упорно принимаетъ неспособность свою сочувствовать новому и понимать его — за ничтожность всего новаго...

И мы видимъ уже начало истиннаго (не шуточнаго) примиренія всѣхъ вкусовъ и всѣхъ литературныхъ партій надъ сочиненіями Лермонтова, — и уже не далеко то время, когда имя его въ литературѣ сдѣлается народнымъ именемъ и гармоническіе звуки его поэзіи будутъ слышны въ повседневномъ разговорѣ толпы, между толками о ея житейскихъ заботахъ...

Бѣлинскій.



## „Герой нашего времени“.

Романъ начинается описаніемъ переѣзда автора изъ Тифлиса чрезъ Кайшаурскую долину. Не утомляя скучными подробностями, знакомитъ онъ насъ съ мѣстностью. Очерки его столько же кратки, сколько и рѣзки, а главное — они набросаны какъ будто бы мимоходомъ. Въ то время, какъ его телѣжку тащили въ гору шесть быковъ и нѣсколько осетинъ, онъ замѣтилъ, что за его телѣжкой двигалась другая, которую тащили четыре быка, а за нею шелъ ея хозяинъ, куря изъ маленькой трубочки. Это былъ офицеръ, лѣтъ пятидесяти, съ смуглымъ лицомъ и преждевременно посѣдѣвшими усами, которые не соответствовали его твердой походкѣ и бодрому виду. Авторъ подошелъ къ нему и поклонился; тотъ молча отвѣтилъ на его поклонъ, пустивъ огромный клубъ дыма.

— Мы съ вами попутчики, кажется?

Онъ молча опять поклонился.

— Вы, вѣрно, ѣдете въ Ставрополь?

— Такъ-съ точно... съ казенными вещами.

— Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую телѣжку четыре быка тащатъ шута, а мою пустую шесть скотовъ едва подвигаютъ съ помощью этихъ осетинъ?

Онъ лукаво улыбнулся и значительно взглянулъ на меня.

— Вы, вѣрно, недавно на Кавказѣ?

— Съ годъ, — отвѣчалъ я.

Онъ улыбнулся вторично.

— А что жъ?

— Да такъ-съ! Ужасныя бестіи эти азіаты! Вы думаете, они помогаютъ, что кричать? А чортъ ихъ знаетъ, что они кричатъ? Быки-то ихъ понимаютъ; запрягите хоть двадцать, такъ коли они крикнуть по-своему, быки все ни съ мѣста... Ужасныя плуты! А что жъ съ нихъ возьмешь?.. Любятъ деньги драть съ проезжихъ... Избаловали мошенниковъ! Увидите, они еще съ васъ возьмутъ на водку. Ужъ я ихъ знаю, меня не проведутъ.

Такимъ образомъ завязалось у автора знакомство съ однимъ изъ интереснѣйшихъ лицъ его романа — съ Максимомъ Максимычемъ, съ этимъ типомъ стараго кавказскаго служаки, закаленного въ опасностяхъ, трудахъ и битвахъ, котораго лицо такъ же загорѣло и сурово, какъ манеры простоваты и грубы, но у котораго чудесная душа, золотое сердце. Это типъ чисто русскій, который художественнымъ достоинствомъ созданія напоминаетъ оригинальнѣйшіе изъ характеровъ въ романахъ Вальтеръ-Скотта и Купера, но который, по своей новосте, самобытности и чисто русскому духу, не походитъ ни на одинъ изъ нихъ. Искусство поэта должно состоять въ томъ, чтобы развить на дѣлѣ задачу, какъ данный природою характеръ долженъ образоваться при обстоятельствахъ, въ которыя поставитъ его судьба. Максимъ Максимычъ получилъ отъ природы человѣческую душу, человѣческое сердце;

но эта душа и это сердце отлились въ особую форму, которая такъ и говоритъ намъ о многихъ годахъ тяжелой и трудной службы, о кровавыхъ битвахъ, о затворнической и однообразной жизни въ недоступныхъ горныхъ крѣпостяхъ, гдѣ нѣтъ другихъ человѣческихъ лицъ, кромѣ подчиненныхъ солдатъ да заходящихъ для мѣны черкесовъ. И все это высказывается въ немъ не въ грубыхъ поговоркахъ, въ родѣ «чортъ возьми», и не въ военныхъ восклицаніяхъ, въ родѣ «тысяча бомбъ», безпрестанно повторяемыхъ, не въ попойкахъ и не въ курении табака, — а во взглядѣ на вещи, приобрѣтенномъ навѣкомъ и родомъ жизни, и въ этой манерѣ поступковъ и выраженія, которые должны быть необходимымъ результатомъ взгляда на вещи и привычки. Умственный кругозоръ Максима Максимыча очень ограниченъ; по причина этой ограниченности не въ его натурѣ, а въ его развитіи. Для него «жить» — значитъ «служить», и служить на Кавказѣ; «азіаты» — его природныя враги: онъ знаетъ по опыту, что всѣ они большіе плуты, и что самая ихъ храбрость есть отчаянная удаля разбойничья, подстрекаемая надеждою грабежа; онъ не дается имъ въ обманъ, и ему смертельно досадно, если они обманутъ новичка и еще выманятъ у него на водку. И это совѣтъ не потому, чтобы онъ былъ скупъ, — о, нѣтъ! — онъ только бѣденъ, а не скупъ, и сверхъ того, кажется, и не подозрѣваетъ цѣны деньгамъ; но онъ не можетъ видѣть равнодушно, какъ плуты «азіаты» обманываютъ честныхъ людей. Вотъ чуть ли не все, что онъ видитъ въ жизни, или, по крайней мѣрѣ, о чемъ чаще всего говоритъ. Но не спѣшите съ вашимъ заключеніемъ о его характерѣ; познакомьтесь съ нимъ получше, — и вы увидите, какое теплое, благородное, даже нѣжное сердце бьется въ желѣзной груди этого, повидимому, очерствѣвшаго человѣка; вы увидите, какъ онъ, какимъ-то инстинктомъ понимаетъ все человѣческое и принимаетъ въ немъ горячее участіе; какъ вопреки собственному сознанію, душа его жаждетъ любви и сочувствія, — и вы отъ души полюбите простого, добраго, грубаго въ своихъ манерахъ, лаконическаго въ словахъ Максима Максимыча.

И вотъ Максимъ Максимычъ весь передъ вами, съ своимъ взглядомъ на вещи, съ своимъ оригинальнымъ способомъ выраженія! Вы еще такъ мало видѣли его, такъ мало познакомились съ нимъ, а уже предъ вами не призракъ, волею или неволею принужденный авторомъ служить связью или вертѣть колесо его разказа, а типическое лицо, оригинальный характеръ, живой человѣкъ! Такъ осуществляютъ свои идеалы истинные художники: двѣ-три черты — и передъ вами, какъ живая, словно наяву, стоитъ такая характеристическая фигура, которой вы уже никогда не забудете... «Тутъ онъ началъ щипать лѣвый усь, повѣсилъ голову и призадумался»: какъ много сказано въ этихъ

немногихъ, простыхъ словахъ, какую рѣзкую черту проводятъ они по физиономіи Максима Максимыча, какъ много обѣщаютъ, какъ сильно размаливаютъ любопытство читателя!.. Припавъ поданный ему стаканъ чая, Максимъ Максимычъ отхлебнулъ и сказалъ, какъ будто про себя: «Да, бываетъ!» Но мы еще должны нѣсколько поговорить словами самого автора:

— Не хотите ли подбавить рома? — сказалъ я моему собесѣднику, — у меня есть бѣлый изъ Тифлиса: теперь холодно.

— Нѣтъ-съ, благодарствуйте, не пью.

— Что такъ?

— Да такъ. Я далъ себѣ заклианіе. Когда былъ еще подпоручикомъ, разъ, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сдѣлалась тревога; вотъ мы и вышли передъ фронтомъ навеселѣ, да ужъ и досталось намъ, когда Алексѣй Петровичъ узналъ: не дай, Господи, какъ онъ разсердился! Чуть-чуть не отдалъ подъ судъ. Оно и точно: другой разъ цѣлый годъ живешь, никого не видишь, да какъ тутъ еще водка — пропадшій человекъ!

Услышавъ это, я почти потерялъ надежду.

— Да вотъ хоть черкесы, — продолжать онъ, — какъ напьются бузы на свадьбѣ или на похоронахъ, такъ и пошла рубка. Я разъ пасилу ноги унесъ, а еще у мирного князя былъ въ гостяхъ.

— Какъ же это случилось?

Вотъ начало поэтической исторіи «Бѣлы». Максимъ Максимычъ рассказывалъ ее по-своему, своимъ языкомъ; но отъ этого она не только ничего не потеряла, но бесконечно много выиграла. Добрый Максимъ Максимычъ, самъ того не зная, сдѣлался поэтомъ, такъ что въ каждомъ его словѣ, въ каждомъ выраженіи заключается безконечный міръ поэзіи. Не знаемъ, чему здѣсь болѣе удивляться: тому ли, что поэтъ, заставивъ Максима Максимыча быть только свидѣтелемъ рассказываемаго имъ событія, такъ тѣсно слилъ его личность съ этимъ событіемъ, какъ будто бы самъ Максимъ Максимычъ былъ его героемъ; или тому, что онъ сумѣлъ такъ поэтически, такъ глубоко взглянуть на событіе глазами Максима Максимыча и рассказать это событіе языкомъ простымъ, грубымъ, но всегда живописнымъ, всегда трогательнымъ и потрясающимъ даже въ самомъ комизмѣ своемъ?..

Когда Максимъ Максимычъ стоялъ въ крѣпости за Терекомъ, къ нему вдругъ явился офицеръ, прикомандированный къ его крѣпости.

— Его звали... Григорьемъ Александровичемъ Печоринимъ; славный былъ малый, смѣю васъ увѣрить; только немножко страненъ. Вѣдь, напримѣръ, въ дожди, въ холодъ, — цѣлый день на охотѣ; всѣ иззябнутъ, устанутъ, а ему ничего. А другой разъ сидитъ у себя въ комнатѣ: вѣтеръ пахнетъ — увѣряетъ, что простудился; ставнемъ стукнетъ, онъ вздрагиваетъ и поблѣднѣетъ; а при мнѣ ходилъ на кабака, одинъ на одинъ; бывало, по цѣлымъ часамъ слова не добьешься, зато ужъ иногда какъ начнетъ рассказывать, такъ животикъ надорвешь со смѣха. Да-съ, съ большими

странными, и, должно-быть, богатый человекъ; сколько у него было разныхъ дорогихъ вещей!..

— А долго ли онъ съ вами жилъ? — спросилъ я опять.

— Да съ годъ. Ну, да ужъ зато памятенъ мнѣ этотъ годъ; надѣлалъ онъ много хлопотъ; не тѣмъ будь помянутъ! Вѣдь есть, право, такіе люди, у которыхъ на роду написано, что съ ними должны случаться разныя необыкновенныя вещи.

— Необыкновенныя! — воскликнулъ я, съ видомъ любопытства, подливая ему чай.

— А вотъ я вамъ расскажу.

Недалеко отъ крѣпости жилъ мирной князь, сынъ котораго, мальчикъ лѣтъ пятнадцати, повадился ѣздить въ крѣпость. Печоринъ и Максимъ Максимычъ любили и баловали его. Это былъ прототипъ черкеса, безъ преувеличенія и безъ искаженія. Головорѣзъ, *проворный на все*, по словамъ Максима Максимыча: онъ поднималъ шпанку на всемъ скаку, мастерски стрѣлялъ изъ ружья и былъ ужасно пadoкъ на деньги. Если его дразнили, глаза его наливались кровью, а рука хваталась за кинжалъ. «Эй, Азаматъ, — говорилъ ему Максимъ Максимычъ, — не сносить тебѣ головы: ямашъ будетъ твоя башка!» Однажды старый князь пріѣхалъ въ крѣпость и позвалъ Максима Максимыча и Печорина на свадьбу своей дочери. Когда они пріѣхали въ аулъ, прятавшіяся отъ нихъ женщины не показались красавицами Печорину. «Погодите, — сказалъ я, усмѣхаясь (говорилъ Максимъ Максимычъ). У меня было свое на умѣ».

Изъ этого мѣста разсказа Максима Максимыча можно получить самое вѣрное понятіе о правахъ и обыкновеніяхъ дикихъ черкесовъ, хотя для ихъ описанія онъ и не дѣлаетъ отступленій...

Нѣтъ ничего тяжелѣе и непріятнѣе, какъ излагать содержаніе художественнаго произведенія. Цѣль этого изложенія не состоитъ въ томъ, чтобы показать лучшія мѣста: какъ бы ни было хорошо мѣсто сочиненія, оно хорошо по отношенію къ цѣлому, слѣдовательно, изложеніе содержанія должно имѣть цѣлью — прослѣдить идею цѣлаго созданія, чтобы показать, какъ вѣрно она осуществлена поэтомъ. А какъ это сдѣлать? Цѣлаго сочиненія переписать нельзя; но каково же выбирать мѣста изъ превосходнаго цѣлаго, пропускать иныя, чтобы выписки не перешли должныхъ границъ? И потомъ, каково связывать выписанныя мѣста своимъ прозаическимъ разсказомъ, оставляя въ книгѣ тѣни и краски, жизнь и душу и держась одного мертваго скелета? Теперь мы особенно чувствуемъ всю тяжесть и неудобноисполнимость взятой нами на себя обязанности. Мы и до сего мѣста терпѣлись во множествѣ прекрасныхъ частностей, а теперь, когда начинается важнѣйшая часть повѣсти, теперь намъ такъ и хотѣлось бы выписать отъ слова до слова весь разсказъ автора, въ которомъ каждое слово такъ безконечно-значительно, такъ глубоко-знаменательно, дышитъ такою поэтическою жизнью, блеститъ такимъ роскошнымъ богатствомъ кра-



сокъ; а между тѣмъ мы попрежнему принуждены пересказывать по-своему, сколько возможно держась выраженій подлинника и выписывая мѣста.

...Холодно смотрѣла Бѣла на подарки, которые каждый день приносили ей Печоришъ, и гордо отталкивая ихъ. Долго безуспѣшно ухаживалъ онъ за нею. Между тѣмъ, онъ учился по-татарски, а она начинала понимать по-русски. Она стала изрѣдка и посматривать на него, но все исподлобья, искоса, и все грустила, напѣвала свои пѣсни вполголоса, «такъ что (говорилъ Максимъ Максимычъ), бывало, и мнѣ становилось грустно, когда слушалъ ее изъ сосѣдней комнаты». Уговаривая ее полюбить себя, Печоришъ спросилъ ее, не любить ли она какого-нибудь чеченца, и прибавилъ, что въ такомъ случаѣ онъ сейчасъ отпуститъ ее домой. Она вздрогнула едва примѣтно и покачала головой... «Или я тебѣ совершенно ненавистенъ?» Она вздохнула. «Или твоя вѣра запрещаетъ полюбить меня?» Она поблѣднѣла и молчала. Потомъ онъ ей сказалъ, что Аллахъ одинъ для всѣхъ племенъ, и что если онъ ему позволилъ полюбить ее, то почему же запретить ей полюбить его. Этотъ доводъ, казалось, поразилъ ее, и въ ея глазахъ выразилось желаніе убѣдиться. «Если ты будешь грустить, — говорилъ онъ ей, — я умру. Скажи, ты будешь веселѣй?» Она призадумалась, не спуская съ него черныхъ глазъ своихъ, потомъ улыбнулась и кивнула головой въ знакъ согласія. Онъ взялъ ея руку и сталъ ее уговаривать, чтобы она его поцѣловала; она слабо защищалась и только повторяла: *«Поджалуста, поджалуста не нада, не нада!»* Какая граціозная и, въ то же время, какая вѣрная натурѣ черта характера! Природа нигдѣ не противорѣчитъ себѣ, и глубокость чувства, достоинство и граціозность непосредственности такъ же иногда поражаютъ и въ дикой черкешенкѣ, какъ и въ образованной женщинѣ высшаго тона. Есть манеры столь граціозныя, есть слова столь благоухающія, что одного или одной изъ нихъ достаточно, чтобы обрисовать всего человѣка, выказать наружу все, что кроется внутри его. Не правда ли: слыша это милое, простодушное *«поджалуста, поджалуста не нада, не нада!»* — вы видите предъ собою эту очаровательную, чернооую Бѣлу, полудикую дочь вольныхъ ущелій, и васъ такъ обаятельно поражаетъ въ ней эта гармонія, эта особенность женственности, которая составляетъ всю прелесть, все очарованіе женщины?.. Онъ сталъ настаивать, она задрожала и заплакала. «Я твоя плѣнница, твоя раба, — говорила она, — конечно, ты можешь меня принудить», и опять слезы. «Дьяволъ, а не женщина! — сказалъ онъ Максиму Максимычу: — только я даю вамъ честное слово, что она будетъ моя...»

Однажды онъ вошелъ къ ней одѣтый по-черкесски и вооруженный и сказалъ ей, что онъ виноватъ предъ нею, что онъ оставляетъ ее хо-

зайкой всего, что имѣетъ, даетъ ей волю и самъ идетъ, куда глаза глядятъ, можетъ-быть, подъ пулю...

Онъ отвернулся и протянулъ руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только, стоя за дверью, я могъ въ щель разсмотрѣть ея лицо; и мнѣ стало жаль, — такая смертельная блѣдность покрывала это милое личико! Не слыша отвѣта, Печоринъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ двери, онъ дрожалъ, и — сказать ли вамъ? — я думаю, что онъ въ состояніи былъ исполнить въ самомъ дѣлѣ то, о чемъ говорилъ шутя. Таковъ ужъ былъ человѣкъ, Богъ его знаетъ! Только онъ едва коснулся двери, какъ она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Повѣрите ли? Я, стоя за дверью, также заплакать, то-есть, знаете, не то, чтобы заплакать, а такъ, глупость!..

Штабсъ-капитанъ замолчать.

— Да, признаюсь, — сказала онъ потомъ, теребя усы, — мнѣ стало досадно, что никогда ни одна женщина меня такъ не любила.

Скоро узналъ счастливый Печоринъ, что Бѣла полюбила его съ перваго взгляда. Да, это была одна изъ тѣхъ глубокихъ женскихъ натуръ, которыя полюбить мужчину тотчасъ, какъ увидятъ его, но признаются ему въ любви не тотчасъ, отдадутся не скоро, а отдавшись, уже не могутъ больше принадлежать ни другому, ни самимъ себѣ... Поэтъ не говоритъ объ этомъ ни слова, но потому-то онъ и поэтъ, что, не говоря иного, даетъ знать все... Они были счастливы, но не завидуйте имъ, читатель: кто смѣетъ надѣяться на прочное счастье въ жизни?.. Минута ваша, ловите же ее, не надѣясь на будущее... Не долго продолжалось и твое блаженство, бѣдная, милая Бѣла!..

Вскорѣ Печоринъ и Максимъ Максимычъ узнали, что отецъ Бѣлы былъ убитъ Казбичемъ, подозрѣвавшимъ его въ участіи въ похищеніи Карагеза. Отъ Бѣлы долго скрывали это, пока она не привыкла къ своему положенію; когда же ей сказали, она два дня плакала, а потомъ забыла. Четыре мѣсяца все шло хорошо. Печоринъ такъ любилъ Бѣлу, что забылъ для нея охоту, и не выходилъ за крѣпостной валъ. Но вдругъ сталъ онъ задумываться, ходить по компатѣ, заложивъ руки за спину. Однажды, никому не сказавшись, отправился на охоту и пропалъ цѣлое утро, потомъ опять, и все чаще и чаще. «Не хорошо (подумалъ Максимъ Максимычъ): вѣрно, между ними пробѣжала черная кошка!» Въ одно утро онъ зашелъ къ нимъ и увидѣлъ Бѣлу такую блѣдненькою, такую печальною, что испугался. Онъ сталъ ее утѣшать. Сообщая ему свои страхи и опасенія, она сказала ему:

— А пыче мнѣ уже кажется, что онъ меня не любитъ.

— Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать!

Она заплакала, потомъ съ гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:

— Если онъ меня не любитъ, то кто ему мѣшаетъ отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это такъ будетъ продолжаться, то я сама уйду: я не раба его, я княжеская дочь!..

Утѣшая ее, Максимъ Максимычъ замѣтилъ ей, что если она будетъ грустить, то скорѣе наскучитъ Печорину.

— Правда, правда, — отвѣчала она: — я буду весела! — И съ хохотомъ схватила свой бубенъ, пачала пѣть, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно; она упала на постель и закрыла лицо руками.

— Что было мнѣ съ нею дѣлать? И, знаете, никогда съ женщинами не обращаясь: думалъ, думалъ, чѣмъ ее утѣшить, и ничего не придумалъ; нѣсколько времени мы оба молчали... Пренепріятное положеніе-съ.

Вышедши съ нею прогуляться за крѣпость, Максимъ Максимычъ увидѣлъ черкеса, который вдругъ выѣхалъ изъ лѣса и, саженьяхъ во ста отъ нихъ, пачалъ, какъ бѣшенный, кружиться: Бѣла узнала въ немъ Казбича.

Наконецъ. Максимъ Максимычъ объяснился съ Печоринымъ насчетъ его охлажденія къ Бѣлѣ, и Печоринъ сознался въ этомъ. Итакъ, Печоринъ охладѣлъ къ бѣдной Бѣлѣ, которая любила его еще больше. Онъ не знаетъ самъ причины своего охлажденія, хотя и силится пайти ее. Да, пѣтъ ничего труднѣе, какъ разбирать языкъ собственныхъ чувствъ, какъ знать самого себя! И объясненія автора для насъ такъ же неудовлетворительны, какъ и для Максима Максимыча, которому онъ ихъ сообщилъ. Можетъ-быть, и тутъ та же причина, и въ отношеніи къ автору, и въ отношеніи къ намъ: нѣтъ ничего труднѣе, какъ знать и понимать самихъ себя!.. Но, тѣмъ не менѣе, мы предложимъ и наше рѣшеніе, или, лучше сказать, и наше гаданіе объ этомъ столько же общемъ, сколько и грустномъ феноменѣ человѣческаго сердца, который особенно частъ и поразителенъ въ современномъ обществѣ. Въ числѣ причинъ скорого охлажденія Печорина къ Бѣлѣ не было ли причиною его и то, что для безсознательнаго, чисто естественнаго, хотя и глубокаго чувства черкешенки Печоринъ былъ полнымъ удовлетвореніемъ, далеко превосходящимъ самыя дерзкія ея требованія, тогда какъ духъ Печорина не могъ найти своего удовлетворенія въ естественной любви полудикаго существа. Къ тому же, вѣдь одно наслажденіе далеко еще не составляетъ всѣхъ потребностей любви, а что могла дать Печорину любовь, кромѣ наслажденія? О чемъ могъ онъ говорить съ нею? Что оставалось для него въ ней неразгаданнаго? Для любви нужно разумное содержаніе, какъ масло для поддержки огня: любовь есть гармоническое сліяніе двухъ родственныхъ натуръ въ чувство безконечнаго. Въ любви Бѣлы была сила, но не могло быть безконечности: сидѣть съ глаза на глазъ съ возлюбленнымъ, ласкаться къ нему, принимать его ласки, предугадывать и ловить его желанія, млѣть отъ его лобзаній, замирать въ его объятіяхъ, — вотъ все, чего требовала душа Бѣлы; при такой жизни и вѣчность показалась бы для нея мгновеніемъ. Но Печорина такая жизнь могла увлечь

не больше, какъ на четыре мѣсяца, и еще надо удивляться силѣ его любви къ Бэлѣ, если она была такъ продолжительна. Сильная потребность любви часто принимается за самую любовь, если представляется предметъ, на который она можетъ устремиться; препятствія превращаютъ ее въ страсть, а удовлетвореніе уничтожаетъ. Любовь Бэлы была для Печорина полнымъ бокаломъ сладкаго напитка, который онъ и выпилъ за разъ, не оставивъ въ немъ ни капли; а душа его требовала не бокала, а океана, изъ котораго можно ежеминутно черпать, не уменьшая его...

Однажды Печоринъ отправился съ Максимомъ Максимычемъ на охоту за кабаномъ. Съ ранняго утра, часовъ съ десяти, напрасно искали они его; Максимъ Максимычъ уговаривалъ своего товарища воротиться, не тутъ-то было: несмотря ни на зной, ни на усталость, тотъ не хотѣлъ воротиться безъ добычи. «Таковъ ужъ былъ человѣкъ: что задумаетъ, подавай; видно, въ дѣтствѣ былъ маленькій избалованъ». Однакоже, послѣ полудня, они безъ ничего подъѣзжали къ крѣпости. Вдругъ выстрѣлъ: оба они взглянули другъ на друга и опрометью поскакали на выстрѣлъ. Солдаты въ кучку собрались на валу и указывали въ поле, а тамъ летитъ стремглавъ всадникъ и держитъ что-то бѣлое на сѣдлѣ. Это былъ Казбичъ, похитившій неосторожную Бэлу, которая вышла за крѣпость, къ рѣкѣ. Печорину удалось ранить въ ногу его коня. Казбичъ занесъ руку надъ Бэлою, Максимъ Максимычъ выстрѣлилъ и, кажется, ранилъ его въ плечо; дымъ разсѣялся — на землѣ лежала раненая лошадь, и возлѣ нея Бэла, а Казбичъ, какъ кошка, карабкался на утесъ и скоро скрылся. Они къ Бэлѣ — она была ранена, и кровь лилась изъ раны ручьями...

— И Бэла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы уже съ нею измучились порядкомъ. Около десяти часовъ вечера она пришла въ себя; мы сидѣли у постели; только что она открыла глаза, начала звать Печорина. — Я здѣсь, подлѣ тебя, моя джанечка (то-есть, по-нашему, душенька), — отвѣчалъ онъ, взявъ ее за руку. — Я умру! — сказала она. Мы начали ее утѣшать, говорили, что лѣкарь обѣщалъ ее вылѣчить непременно, — она покачала головой и отвернулась къ стѣнѣ: ей не хотѣлось умереть!..

Ночью она начала бредить; голова ея горѣла, по всему тѣлу иногда пробѣгала дрожь лихорадки; она говорила несвязныя рѣчи объ отцѣ, братѣ; ей хотѣлось въ горы, домой... Потомъ она также говорила о Печоринѣ, давая ему разныя названія, или упрекала его въ томъ, что онъ разлюбилъ свою джанечку.

Онъ слушалъ ее молча, опустивъ голову на руки; но только я во все время не замѣтилъ ни одной слезы на рѣсницахъ его; въ самомъ ли дѣлѣ онъ не могъ плакать, или владѣлъ собою — не знаю; что до меня, то я ничего жалче этого не видывалъ.

Предъ смертью хриплымъ голосомъ закричала она: «Воды! воды!»

Онъ сдѣлался блѣденъ, какъ полотно, схватилъ стаканъ, налилъ и подаль ей. Я закрылъ глаза руками и сталъ читать молитву, не помню какую... Да, батюшка,



видалъ я много, какъ люди умирають въ госпиталѣхъ и на полѣ сраженія: только все это не то, совсѣмъ не то!.. Еще, признаться, меня вотъ что печалило: она предъ смертью ни разу не вспомнила обо мнѣ: кажется, я ее любилъ какъ отецъ... Ну, да Богъ ее проститъ... И въ правду молвить: что же я такое, чтобы обо мнѣ вспоминать предъ смертью?..

Только что она вышла воды, какъ ей стало легче, а минуты черезъ три она скончалась. Приложили зеркало къ губамъ — гладко!.. Я вывелъ Печорина вонъ изъ комнаты, и мы пошли на крѣпостной валъ; долго мы ходили взадъ и впередъ рядомъ, не говоря ни слова, загнувъ руки на спину; его лицо ничего не выражало особеннаго, и мнѣ стало досадно! Я бы на его мѣстѣ умеръ съ горя. Наконецъ онъ сѣлъ на землѣ въ тѣни и началъ что-то чертить палочкой на пескѣ. Я, знаете, больше для приличія хотѣлъ утѣшить его, началъ говорить; онъ поднялъ голову и засмѣялся... У меня морозъ пробѣжалъ по кожѣ отъ этого смѣха. Я пошелъ заказывать гробъ...

На другой день, рано утромъ, мы ее похоронили за крѣпостью, у вала, гдѣ она въ послѣдній разъ сидѣла: кругомъ ея могилы разрослись кусты бѣлой акаціи и бузины. Я хотѣлъ было поставить крестъ, да, знаете, неловко: все-таки она была не христіанка...

Глубокое впечатлѣніе оставляетъ послѣ себя «Бѣла»: вамъ грустно, но грусть ваша легка, свѣтла и сладостна; вы летите мечтою на могилу прекрасной, но эта могила не страшна: ее освѣщаетъ солнце, омываетъ быстрый ручей; котораго ропотъ, вмѣстѣ съ шелестомъ вѣтра въ листьяхъ бузины и бѣлой акаціи, говоритъ вамъ о чемъ-то таинственномъ и безконечномъ, и надъ нею, въ свѣтлой вышинѣ, летаетъ и носится какое-то прекрасное видѣніе, съ блѣдными ланитами, съ выраженіемъ укора и прощенія въ черныхъ очахъ, съ грустною улыбкою... Смерть черкешенки не возмущаетъ васъ безотраднымъ и тяжелымъ чувствомъ, ибо она явилась не страшнымъ скелетомъ по произволу автора, но вслѣдствіе разумной необходимости, которую вы предчувствовали уже, и явилась свѣтлымъ ангеломъ примиренія. Диссонансъ разрѣшился въ гармоническій аккордъ, и вы съ умиленіемъ повторяете простые и трогательныя слова добраго Максима Максимыча: «Нѣтъ, она хорошо сдѣлала, что умерла! Ну, что бы съ ней случилось, если бы Григорій Александровичъ ее покинулъ? А это бы случилось рано или поздно!..»

И съ какимъ безконечнымъ искусствомъ обрисованъ граціозный образъ плѣнительной черкешенки! Она говоритъ и дѣйствуетъ такъ мало, а вы живо видите ее предъ глазами во всей опредѣленности живого существа, читаете въ ея сердцѣ, проникаете всѣ изгибы его... А Максимъ Максимычъ, этотъ добрый простакъ, который и не подозреваетъ, какъ глубока и богата его натура, какъ высокъ и благороденъ онъ? Онъ, грубый солдатъ, любитъ Бѣлою, какъ прекраснымъ дитятею, любитъ ее, какъ милую дочь — и за что? — спросите его, такъ онъ отвѣтитъ вамъ: «Не то, чтобы любить, а такъ — глупость!» Ему досадно, что его ни одна женщина не любила такъ, какъ Бѣла

Печорина; ему грустно, что она не вспомнила о немъ предъ смертью, хотя онъ и самъ сознается, что это—съ его стороны, не совсѣмъ справедливое требованіе... Останавливаться ли на этихъ чертахъ, столь полныхъ безконечностью? Нѣтъ, онѣ говорятъ сами за себя; а тѣ, для кого онѣ нѣмы, тѣ не стоятъ, чтобы тратить съ ними слова и время. Простая красота, которая есть одна истинная красота, не для всѣхъ доступна: у большей части людей глаза такъ грубы, что на нихъ дѣйствуетъ только пестрота, узорочность и красная краска, густо и ярко намазанная... Характеры Азамата и Казбича—это такіе типы, которые будутъ равно понятны и англичанину, и нѣмцу, и французу, какъ понятны они русскому. Вотъ что называется рисовать фигуру во весь ростъ, съ національною фizioномією и въ національномъ костюмѣ!..

Итакъ, исторія Бѣлы кончилась; но романъ еще только начался, и мы прочли одно вступленіе, которое, впрочемъ, и само по себѣ, отдѣльно взятое, есть художественное произведеніе, хотя и составляетъ только часть цѣлаго. Но пойдемъ далѣе. Въ Владикавказѣ авторъ опять сѣхался съ Максимомъ Максимычемъ. Когда они обѣдали, на дворъ вѣхала щегольская коляска, за которою шелъ человѣкъ. Несмотря на грубость этого человѣка, «балованнаго слуги лѣниваго барина», Максимъ Максимычъ допросился у него, что коляска принадлежит Печорину: «Что ты? Что ты? Печоринъ?.. Ахъ, Боже мой!.. Да не служилъ ли онъ на Кавказѣ?» Въ глазахъ Максима Максимыча сверкала радость. «Служилъ, кажется, да я у нихъ недавно», отвѣчалъ слуга. «Ну, такъ!.. такъ!.. Григорій Александровичъ? Такъ вѣдь его зовутъ? Мы съ твоимъ бариномъ были пріятелями», прибавилъ Максимъ Максимычъ, ударивъ дружески по плечу лакея, такъ что заставилъ его пошатнуться... «Позвольте, сударь; вы мнѣ мѣшаете», сказалъ тотъ, нахмурившись. «Экой ты, братецъ!.. Да знаешь ли? Мы съ твоимъ бариномъ были друзья закадычные, жили вмѣстѣ... Да гдѣ жъ онъ самъ остался?» Слуга объявилъ, что Печоринъ остался ужинать и почевать у полковника Н\*\*\*. «Да не зайдетъ ли онъ вечеромъ сюда?—сказалъ Максимъ Максимычъ;—или ты, любезный, не пойдешь ли къ нему зачѣмъ-нибудь?.. Коли пойдешь, такъ скажи, что здѣсь — Максимъ Максимычъ; такъ и скажи... ужъ онъ знаетъ... Я дамъ тебѣ восьмигривенный на водку...» Лакей сдѣлалъ презрительную мину, слыша такое скромное обѣщаніе, однако увѣрилъ Максима Максимыча, что исполнить его порученіе. «Вѣдь, сейчасъ прибѣжитъ!..—сказалъ мнѣ Максимъ Максимычъ съ торжествующимъ видомъ,—пойду за ворота дожидаться... Эхъ, жалко, что я незнакомъ съ Н\*\*\*!»

Итакъ, Максимъ Максимычъ ждетъ за воротами. Онъ отказался отъ чашки чая и, наскоро выпивъ одну, по вторичному приглашенію,

опять выбѣжалъ за ворота. Въ немъ замѣтно было живѣйшее безпокойство, и явно было, что его огорчало равнодушіе Печорина. Новый его знакомый, отворивъ окно, звалъ его спать: онъ что-то пробормоталъ, а на вторичное приглашеніе ничего не отвѣтилъ. Уже поздно ночью вошелъ онъ въ комнату, бросилъ трубку на столъ, сталъ ходить, ковырять въ печи, наконецъ легъ, но долго кашлялъ, плевалъ, ворочался... «Не клопы ли васъ кусаютъ?» спросилъ его новый пріятель. «Да, клопы»... отвѣчалъ онъ, тяжело вздохнувъ.

На другой день, утромъ, сидѣлъ онъ за воротами. «Мнѣ надо сходить къ коменданту, — сказалъ онъ, — такъ, пожалуйста, если Печоринъ придетъ, пришлите за мной». Но лишь ушелъ онъ, какъ предметъ его безпокойства явился. Съ любопытствомъ смотрѣлъ на него нашъ авторъ, и результатомъ его внимательнаго наблюденія былъ подробный портретъ, къ которому мы возвратимся, когда будемъ говорить о Печоринѣ, а теперь займемся исключительно Максимомъ Максимычемъ. Надо сказать, что когда Печоринъ пришелъ, лакей доложилъ ему, что сейчасъ будутъ закладывать лошадей.

Довольно! Не будемъ выписывать длиннаго и безсвязнаго монолога, который говорилъ огорченный старикъ, стараясь принять равнодушный видъ, хотя слеза досады по временамъ и сверкала на его рѣсницахъ. Довольно: Максимъ Максимычъ и такъ ужъ весь предъ вами... Если бы вы нашли его, познакомились съ нимъ, двадцать лѣтъ прожили съ нимъ въ одной крѣпости, и тогда бы не знали лучше. Но мы больше уже не увидимся съ нимъ, а онъ такъ интересенъ, такъ прекрасенъ, что грустно такъ скоро разстаться съ нимъ, и потому взглянемъ на него еще разъ, уже послѣдній...

— Максимъ Максимычъ, — сказалъ я, подошедши къ нему, — а что это за бумаги оставилъ вамъ Печоринъ?

— А Богъ его знаетъ! Какія-то записки.

— Что вы изъ нихъ сдѣлаете?

— Что? Я велю надѣлать патроновъ.

— Отдайте ихъ лучше мнѣ.

Онъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ, проворчалъ что-то сквозь зубы и началъ рыться въ чеходахъ; вотъ онъ вынулъ одну тетрадку и бросилъ ее съ презрѣніемъ на землю; потомъ другая, третья и десятая имѣли ту же участь: въ его досадѣ было что-то дѣтское; мнѣ стало смѣшно и жалко.

— Вотъ онъ всѣ, — сказалъ онъ, — поздравляю васъ съ находкою...

— И я могу дѣлать съ ними все, что хочу?

— Хотя въ газетахъ печатайте. Какое мнѣ дѣло?.. Что я развѣ другъ его какой или родственникъ?.. Правда, мы жили долго подъ одной кровлей... Да мало ли съ кѣмъ я не жилъ?..

Схватя и унеся поскорѣе бумаги изъ опасенія, чтобы Максимъ Максимычъ не раскаялся, нашъ авторъ собрался въ дорогу; онъ уже

надѣть шапку; какъ штабсъ-капитанъ вошелъ. Но нѣтъ, воля ваша! — а надо проститься съ Максимомъ Максимычемъ какъ слѣдуетъ, т.-е. не прежде, какъ выслушать его послѣднее слово... Что дѣлать? есть такіе люди, съ которыми, разъ познакомившись, вѣкъ бы не разстался...

— А вы, Максимъ Максимычъ; развѣ не ѣдете?

— Нѣтъ-съ.

— А что такъ?

— Да я еще коменданта не видалъ, а мнѣ надо сдать кое-какія казенныя вещи.

— Да вѣдь вы же были у него?

— Былъ, конечно, — сказать оцъ, заминался, — да его дома не было... а я не дождался...

Я понялъ его: бѣдный старикъ, въ первый разъ отроду, можетъ-быть, бросилъ дѣла службы для *собственной надобности*, говоря языкомъ бумажнымъ, — и какъ же онъ былъ награжденъ!

— Очень жаль, — сказалъ я ему, — очень жаль, Максимъ Максимычъ, что намъ до срока надо разстаться.

— Гдѣ намъ; необразованнымъ старикамъ, за вами гоняться!.. Вы — молодежь свѣтская, гордая; еще покамѣстъ подъ черкесскими пулями, такъ вы туда-сюда... а послѣ встрѣтитесь, такъ стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

— Я не заслужилъ этихъ упрековъ, Максимъ Максимычъ.

— Да я, знаете, такъ, къ слову говорю; а впрочемъ, желаю вамъ всякаго счастья и веселой дороги.

За симъ они довольно сухо разстались; но вы, любезный читатель, вѣрно не сухо разстались съ этимъ старымъ младенцемъ, столь добрымъ, столь милымъ, столь человѣчнымъ и столь неопытнымъ во всемъ, что выходило за тѣсный кругозоръ его понятій и опытности? Не правда ли, вы такъ свыклись съ нимъ, такъ полюбили его, что никогда уже не забудете его и если встрѣтите подъ грубою паружностью, подъ корою зачерствѣлости отъ трудной и скудной жизни горячее сердце, подъ простою, мѣщанскою рѣчью — теплоту души, то, вѣрно, скажете: «это — Максимъ Максимычъ?..» И дай Богъ вамъ поболѣе встрѣтить на пути вашей жизни Максимъ Максимычей!..

И вотъ мы разсмотрѣли двѣ части романа — «Бѣлу» и «Максима Максимыча»: каждая изъ нихъ имѣетъ свою особенность и замкнутость, почему каждая и оставляетъ въ душѣ читателя такое полное, цѣлостное и глубокое впечатлѣніе. Героевъ той и другой повѣсти мы видѣли въ торжественнѣйшихъ положеніяхъ ихъ жизни и коротко ихъ знаемъ. Первая — повѣсть; вторая — эскизъ характера, и каждая равно полна и удовлетворительна, ибо въ каждой поэтъ умѣлъ исчерпать все ея содержаніе и въ типическихъ чертахъ вывести вонѣ все внутреннее, крывшееся въ ней какъ возможность. Что намъ за нужда, что во второй нѣтъ романическаго содержанія, что она представляетъ собою не жизнь, а отрывокъ изъ жизни человѣка? Но



если въ этомъ отрывкѣ — весь человѣкъ, то чего же больше? Поэтъ хотѣлъ изобразить характеръ и превосходно успѣлъ въ этомъ: его Максимъ Максимычъ можетъ употребляться не какъ собственное, но какъ нарицательное имя, наравнѣ съ Онѣгинскими, Ленскими, Загорѣцкими, Иванами Ивановичами, Никифорами Ивановичами, Аонасіями Ивановичами, Чацкими, Фамусовыми и пр. Мы познакомились съ нимъ еще въ «Бѣлѣ» и больше уже не увидимся. Но въ обѣихъ этихъ повѣстяхъ мы видѣли еще одно лицо, съ которымъ, однакожъ, не знакомы. Это таинственное лицо не есть герой этихъ повѣстей, но безъ него не было бы этихъ повѣстей: онъ герой романа, котораго эти двѣ повѣсти только части. Теперь пора намъ съ нимъ познакомиться, и уже не черезъ посредство другихъ лицъ, какъ прежде: они его не понимаютъ, какъ мы уже видѣли; равнымъ образомъ, и не чрезъ поэта, который хоть и одинъ виноватъ въ немъ, но умываетъ въ немъ руки; а чрезъ него же самого: мы готовимся читать его записки. Поэтъ написалъ отъ себя предисловіе только къ запискамъ Печорина. Это предисловіе составляетъ родъ главы романа, какъ его существеннѣйшая часть, но, несмотря на то, мы возвратимся къ нему послѣ, когда будемъ говорить о характерѣ Печорина, а теперь прямо приступимъ къ «запискамъ».

Первое отдѣленіе называется «Тамань» и, подобно первымъ двумъ, есть отдѣльная повѣсть. Хотя оно и представляетъ собою эпизодъ изъ жизни героя романа, но герой попрежнему остается для насъ лицомъ таинственнымъ. Содержаніе этого эпизода слѣдующее: Печоринъ въ Тамани остановился въ скверной хатѣ, на берегу моря, въ которой онъ нашелъ только слѣднаго мальчика лѣтъ 14-ти и потомъ таинственную дѣвушку. Случай открываетъ ему, что эти люди — контрабандисты. Онъ ухаживаетъ за дѣвушкою и въ шутку грозитъ ей, что донесетъ на нихъ. Вечеромъ въ тотъ же день она приходитъ къ нему, какъ сирена, обольщаетъ его предложеніемъ своей любви и назначаетъ ему ночное свиданіе на морскомъ берегу. Разумѣется, онъ является, но, какъ странность и какая-то таинственность во всѣхъ словахъ и поступкахъ дѣвушки давно уже возбудили въ немъ подозрѣніе, то онъ и запасся пистолетомъ. Таинственная дѣвушка пригласила его сѣсть въ лодку; онъ было колебался, но отступать было уже не время. Лодка помчалась, а дѣвушка обвилась вокругъ его шеи, и что-то тяжелое упало въ воду... Онъ хватъ за пистолетъ, но его уже не было... Тогда завязалась между ними страшная борьба: наконецъ мужчина побѣдилъ; посредствомъ осколка весла, онъ выбрался кое-какъ до берега и при лунномъ свѣтѣ увидѣлъ таинственную ундишу, которая, спасшись отъ смерти, отряхалась. Черезъ нѣсколько времени она удалилась съ Янко, какъ видно,

съ своимъ любовникомъ, и однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ контрабанды: такъ какъ посторонній узналъ ихъ тайну, имъ опасно оставаться болѣе въ этомъ мѣстѣ. Слѣпой тоже пропалъ, укравъ у Печорина шкатулку, шашку съ серебряной оправой и дагестанскій книжалъ.

Мы не рѣшились дѣлать выписокъ изъ этой повѣсти, потому что она рѣшительно не допускаетъ ихъ; это словно какое-то лирическое стихотвореніе, вся прелесть котораго уничтожается однимъ выпущеннымъ или измѣненнымъ не рукою самого поэта стихомъ; она вся — въ формѣ; если выписывать, то должно бы ее выписать всю отъ слова до слова; пересказываніе ея содержанія дастъ о ней такое же понятіе, какъ разсказъ, хотя бы и восторженный, о красотѣ женщины, которой вы сами не видѣли. Повѣсть эта отличается какимъ-то особеннымъ колоритомъ: несмотря на прозаическую дѣйствительность ея содержанія, все въ ней таинственно, лица — какія-то фантастическія тѣни, мелькающія въ вечернемъ сумракѣ, при свѣтѣ зари или мѣсяца. Особенно очаровательна дѣвушка: это какая-то дикая, сверкающая красота, обольстительная, какъ сирена, неуловимая, какъ ундина, страшная, какъ русалка, быстрая, какъ прелестная тѣнь или волна, гибкая, какъ тростникъ. Ее нельзя любить, нельзя и ненавидѣть, но ее можно только и любить, и ненавидѣть вмѣстѣ. Какъ чудно хороша она, когда на крышѣ своей кровли, съ распущенными волосами, закрывъ глаза ладонью, пристально всматривается вдаль и то смѣется и разсуждаетъ сама съ собою, то запѣваетъ полную раздолья и отваги удалую пѣсню.

Что касается до героя романа, онъ и тутъ является тѣмъ же таинственнымъ лицомъ, какъ и въ первыхъ повѣстяхъ. Вы видите человѣка съ сильной волей, отважнаго, не блѣднѣющаго ни передъ какой опасностью, напрашивающагося на бури и тревоги, чтобы занять себя чѣмъ-нибудь и пополнить бездонную пустоту своего духа, хотя бы и дѣятельностью безъ всякой цѣли.

Наконецъ вотъ и «Княжна Мери». Предисловіе нами прочитано, теперь начинается для насъ романъ. Эта повѣсть разнообразнѣе и богаче всѣхъ другихъ своимъ содержаніемъ, но зато далеко уступаетъ имъ въ художественности формы. Характеры ея — или очерки, или силуэты, и только развѣ одинъ — портретъ. Но что составляетъ ея недостатокъ, то же самое есть и ея достоинство, и наоборотъ. Подробное разсмотрѣніе ея объяснить нашу мысль.

...Такъ вотъ причины, за которыя бѣдная Мери такъ дорого должна заплатиться!.. Какой страшный человѣкъ этотъ Печоринъ! Потому, что его безпокойный духъ требуетъ движенія, дѣятельность ищетъ

пищи, сердце жаждетъ интересовъ жизни, потому должна страдать бѣдная дѣвушка? «Эгоистъ, злодѣй, извергъ, безправственный человѣкъ!..» хоромъ закричать, можетъ-быть, строгіе моралисты. Ваша правда, господа; но вы-то изъ чего хлопочете? За что сердитесь? Право, намъ кажется, вы пришли не въ свое мѣсто, сѣли за столъ, за которымъ вамъ не поставлено прибора... Не подходите слишкомъ близко къ этому человѣку, не нападайте на него съ такою запальчивою храбростію: онъ на васъ взглянетъ, улыбнется, и вы будете осуждены, и на смущенныхъ лицахъ вашихъ все прочтутъ судъ вашъ. Вы предаете его анаемѣ не за пороки, — въ васъ ихъ больше, и въ васъ они чернѣе и позорнѣе, — но за ту смѣлую свободу, за ту желчную откровенность, съ которою онъ говоритъ о нихъ. Вы позволяете человѣку дѣлать все, что ему угодно, быть всемъ, чѣмъ онъ хочетъ, вы охотно прощаете ему и безуміе, и низость, и развратъ; но, какъ пошлину за право торговли, требуете отъ него моральныхъ сентенцій о томъ, какъ долженъ человѣкъ думать и дѣйствовать, и какъ онъ въ самомъ-то дѣлѣ и не думаетъ, и не дѣйствуетъ... И за то ваше инквизиторское аутодафе готово для всякаго, кто имѣетъ благородную привычку смотрѣть дѣйствительности прямо въ глаза, не опуская своихъ глазъ, называть вещи настоящими ихъ именами и показывать другимъ себя не въ бальномъ костюмѣ, не въ мундирѣ, а въ халатѣ, въ своей комнатѣ, въ уединенной бесѣдѣ съ самимъ собою; въ домашнемъ расчетѣ съ своею совѣстью... И вы правы: покажитесь предъ людьми хоть разъ въ своемъ позорномъ пеглиже, въ своихъ засаленныхъ ночныхъ колпакахъ, въ своихъ оборванныхъ халатахъ, люди съ отвращеніемъ отвернутся отъ васъ, и общество извергнетъ васъ изъ себя. Но этому человѣку нечего бояться: въ немъ есть тайное сознаніе, что онъ не то, чѣмъ самому себѣ кажется и что онъ есть только въ настоящую минуту. Да, въ этомъ человѣкѣ есть сила духа и могущество воли, которыхъ въ васъ нѣтъ; въ самыхъ порокахъ его проблескиваетъ что-то великое, какъ молнія въ черныхъ тучахъ, и онъ прекрасенъ, полонъ поэзіи даже и въ тѣ минуты, когда человѣческое чувство возстаетъ на него... Ему другое назначеніе, другой путь, чѣмъ вамъ. Его страсти — бури, очищающія сферу духа; его заблужденія, какъ ни страшны они, — острыя болѣзни въ молодомъ тѣлѣ, укрѣпляющія его на долгую и здоровую жизнь. Это лихорадки и горячки, а не подагра, не ревматизмъ и геморрой, которыми вы, бѣдные, такъ бесплодно страдаете... Пусть онъ клеветаетъ на вѣчные законы разума, поставляя высшее счастье въ насыщенной гордости; пусть онъ клеветаетъ на человѣческую природу, видя въ ней одинъ эгоизмъ; пусть клеветаетъ на самого себя, принимая моменты своего духа за его полное развитіе и смѣшивая

уюность съ возмужалостью, — пусть... Настанетъ торжественная минута, и противорѣчiе разрѣшится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются въ одинъ гармоническiй аккордъ!.. Даже и теперь онъ проговаривается и противорѣчить себѣ, уничтожая одною страницею всѣ предыдущiя: такъ глубока его натура, такъ врожденна ему разумность, такъ силенъ у него инстинктъ истины! Послушайте, что говоритъ онъ тотчасъ послѣ того мѣста, которое, вѣроятно, такъ возмущаетъ моралистовъ:

Страсти не что иное, какъ идеи при первомъ своемъ развитiи: онѣ — принадлежность юности сердца, и глупецъ тотъ, кто думаетъ ими цѣлую жизнь любоваться: многiя спокойныя рѣки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачетъ и не пѣнится до самаго моря. *Но это спокойствiе часто — признакъ великой, хотя скрытой силы; полнота и глубина чувствъ и мыслей не допускаетъ бышнихъ порывовъ:* душа, страдая и наслаждаясь, даетъ во всемъ себѣ строгiй отчетъ и убѣждается въ томъ, что такъ должно; она знаетъ, что безъ грозъ постоянный зной солнца ее иссушить, она проникается своею собственною жизнью, лелѣетъ и наказываетъ себя, какъ любимаго ребенка. *Только въ этомъ высшемъ состоянiи самопознанiя человекъ можетъ чинить правосудiе Божiе.*

Но пока (прибавимъ мы отъ себя), пока человекъ не дошелъ до этого высшаго состоянiя самопознанiя, если ему назначено дойти до него, — онъ долженъ страдать отъ другихъ и заставлять страдать другихъ, возставать и падать, падать и возставать, отъ заблужденiя переходить къ заблужденiю и отъ истины — къ истинѣ. Всѣ эти отступленiя суть необходимыя маневры въ сферѣ сознанiя; чтобы дойти до мѣста, часто надо дать большой крюкъ, совершить длинный обходъ, ворочаться съ дороги назадъ. Царство истины есть обѣтованная земля, и путь къ ней — аравiйская пустыня. Но, скажете вы, за что же другiе должны гибнуть отъ такихъ страстей и ошибокъ? А развѣ мы сами не гибнемъ иногда какъ отъ собственныхъ, такъ и чужихъ? Кто вышелъ изъ горнила непытанiй чистъ и свѣтелъ, какъ золото, натура того — благородный металлъ; кто сгорѣлъ или не очистился, натура того — дерево или желѣзо. И если многiя благородныя натуры погибаютъ жертвами случайности, разрѣшенiе на этотъ вопросъ даетъ религiя. Для насъ ясно и положительно одно: безъ бурь нѣтъ плодородiя, и природа изнываетъ; безъ страстей и противорѣчiй нѣтъ жизни, нѣтъ поэзiи. Лишь бы только въ этихъ страстяхъ и противорѣчiяхъ была разумность и человѣчность, и ихъ результаты вели бы человека къ его цѣли, — а судъ принадлежитъ не намъ: для каждаго человека судъ — въ его дѣлахъ и ихъ слѣдствiяхъ! Мы должны требовать отъ искусства, чтобы оно показывало намъ дѣйствительность, какъ она есть, ибо какова бы она ни была, эта дѣйствительность, она больше скажетъ намъ, больше научитъ насъ, чѣмъ всѣ выдумки и поученiя моралистовъ...



Но, — скажутъ, можетъ-быть, резонеры, — зачѣмъ рисовать картины возмутительныхъ страстей, вмѣсто того, чтобы плѣнять воображеніе изображеніемъ кроткихъ чувствованій природы и любви, и трогать сердце, и поучать умъ? — Старая пѣсня, господа, такъ же старая, какъ и «Выйду ль я на рѣченьку, посмотрю на быструю!..» Литература XVIII вѣка была, по преимуществу, моральною и разсуждающею, въ ней не было другихъ повѣстей, какъ *contes moraux* и *contes philosophiques*; однакожъ эти нравственные и философскія книги никого не исправили, и вѣкъ все-таки былъ, по преимуществу, безнравственнымъ и развратнымъ. И это противорѣчіе очень понятно. Законы нравственности — въ натурѣ человѣка, въ его чувствѣ, и потому они не противорѣчаютъ его дѣламъ; а кто чувствуетъ и поступаетъ сообразно съ своимъ чувствомъ, тотъ мало говоритъ. Разумъ не сочиняетъ, не выдумываетъ законовъ нравственности, но только сознаетъ ихъ, принимая ихъ отъ чувства, какъ данныя, какъ факты. И потому чувство и разумъ суть не противорѣчащіе, не враждебные другъ другу, но родственные, или, лучше сказать, тождественные элементы духа человѣческаго. Но когда человѣку или отказано природою въ нравственномъ чувствѣ, или оно испорчено дурнымъ воспитаніемъ, безпорядочною жизнью, тогда его разсудокъ изобрѣтаетъ свои законы нравственности. Говоримъ: разсудокъ, а не разумъ, ибо разумъ есть сознавшее себя чувство, которое даетъ ему въ себѣ предметъ и содержаніе для мышленія; а разсудокъ, лишенный дѣйствительнаго содержанія, по необходимости прибѣгаетъ къ произвольнымъ построеніямъ. Вотъ происхожденіе морали, и вотъ причина противорѣчій между словами и поступками записныхъ моралистовъ. Для нихъ дѣйствительность ничего не значить: они не обращаютъ никакого вниманія на то, что есть, и не предчувствуютъ его необходимости; они хлопочутъ только о томъ, что и какъ должно быть. Это ложное философское начало породило и ложное искусство еще задолго до XVIII вѣка; — искусство, которое изображало какую-то небывалую дѣйствительность, создавало какихъ-то небывалыхъ людей. Въ самомъ дѣлѣ, неужели мѣсто дѣйствія корнелевскихъ и расиновскихъ трагедій — земля, а не воздухъ, ихъ дѣйствующія лица — люди, а не маріонетки? Принадлежать ли эти рыцари, герои, наперсники и вѣстники какому-нибудь вѣку, какой-нибудь странѣ? Говорилъ ли кто-нибудь отъ созданія міра языкомъ, похожимъ на ихъ языкъ?.. Восемнадцатый вѣкъ довелъ это разсудочное искусство до послѣднихъ предѣловъ нелѣпости; онъ только о томъ и хлопоталъ, чтобы искусство шло навыворотъ дѣйствительности, и сдѣлалъ изъ нея мечту, которая и въ нѣкоторыхъ добрыхъ старичкахъ нашего времени еще находитъ своихъ магическихъ витязей. Тогда думали быть поэтами,

воспѣвая Хлой, Филидъ, Дорисъ въ фіжмахъ и мушкахъ и Меналковъ, Даметовъ, Титировъ, Миконовъ, Миртилисовъ и Мелибеевъ въ шитыхъ кафтанахъ; восхваляли мирную жизнь подъ соломенною кровлею, у свѣтлаго ручейка Ладона, съ милою подругою, невинною пастушкою, въ то время какъ сами жили въ раззолоченныхъ палатахъ, гуляли въ стриженныхъ аллеяхъ, вмѣсто одной пастушки имѣли по тысячѣ овецъ и для доставленія себѣ оныхъ благъ готовы были на всяческую...

Нашъ вѣкъ гнушается этимъ лицемѣрствомъ. Онъ громко говорить о своихъ грѣхахъ, но не гордится ими; обнажаетъ свои кровавыя раны, а не прячетъ ихъ подъ нищенскими лохмотьями притворства. Онъ понялъ, что сознаніе своей грѣховности есть первый шагъ къ спасенію. Онъ знаетъ, что дѣйствительное страданіе лучше мнимой радости... Для него польза и нравственность только въ одной истинѣ, а истина — въ сущемъ, т.-е. въ томъ, что есть. Потому и искусство нашего вѣка есть воспроизведеніе разумной дѣйствительности. Задача нашего искусства — не представить событія въ повѣсти, романѣ или драмѣ, сообразно съ предположенною заранѣе цѣлью, но развить ихъ сообразно съ законами разумной необходимости. И въ такомъ случаѣ, каково бы ни было содержаніе поэтическаго произведенія, его впечатлѣніе на душу читателя будетъ благодатно, и, слѣдовательно, нравственная цѣль достигнется сама собою. Намъ скажутъ, что безнравственно представлять ненаказаннымъ и торжествующимъ порокъ: мы противъ этого и не споримъ. Но и въ дѣйствительности порокъ торжествуетъ только внѣшнимъ образомъ: онъ въ самомъ себѣ носитъ свое наказаніе и гордою улыбкою только подавляетъ внутреннее терзаніе. Такъ точно и повѣйшее искусство: оно показываетъ, что судъ чловѣка — въ дѣлахъ его; оно, какъ необходимость, допускаетъ въ себя диссонансы, производимые въ гармоніи нравственнаго духа, но для того, чтобы показать, какъ изъ диссонанса снова возникаетъ гармонія — черезъ то ли, что раззвучная струна снова настраивается или разрывается вслѣдствіе ея своевольнаго разлада. Это — міровой законъ жизни, а, слѣдовательно, и искусства. Вотъ другое дѣло, если поэтъ захочетъ въ своемъ произведеніи доказать, что результаты добра и зла одинаковы для людей: оно будетъ безнравственно, но тогда уже оно и не будетъ произведеніемъ искусства, — и какъ крайности сходятся, то оно, вмѣстѣ съ моральными произведеніями, составитъ одинъ общій разрядъ непоэтическихъ произведеній, писанныхъ съ опредѣленною цѣлью. Далѣе мы изъ самаго разбираемаго нами сочиненія докажемъ, что оно не принадлежитъ ни къ тѣмъ, ни къ другимъ въ основаніи своемъ глубоко нравственно. Но пора намъ обратиться къ нему.

...На отлогости Машука, въ верстѣ отъ Пятигорска, есть граваль. Въ одинъ день тамъ назначено было гулянье и родъ бала подъ открытымъ небомъ. Печоринъ спросилъ Грушницкаго, произведеннаго въ офицеры, идетъ ли онъ къ провалу, и тотъ отвѣчалъ, что ни за что въ свѣтъ не явится передъ княжною прежде, нежели будетъ готовъ его мундиръ, и просилъ его не предувѣдомлять ея объ его производствѣ.

— Скажи мнѣ, однако, какъ твои дѣла съ нею?..

Онъ смутился и задумался: ему хотѣлось похвастаться, солгать — и было совѣстно, а вмѣстѣ съ этимъ было стыдно признаться въ истинѣ.

— Какъ ты думаешь, любить ли она тебя?..

— Любить ли? Помилуй, Печоринъ, какія у тебя понятія? Какъ можно такъ скоро? Да если даже она и любитъ, то порядочная женщина этого не скажетъ.

— Хорошо! И вѣроятно, по-твоему, порядочный человекъ долженъ тоже молчать о своей страсти?..

— Эхъ, братецъ! На все есть манера, многое не говорится, а отгадывается.

— Это правда... Только любовь, которую мы читаемъ въ глазахъ, ни къ чему женщину не обязываетъ, тогда какъ слова... Берегись, Грушницкій, она тебя надушаетъ...

— Она... — отвѣчалъ онъ, поднявъ глаза къ небу и самодовольно улынувшись, — мнѣ жаль тебя, Печоринъ!

Многочисленное общество отправилось вечеромъ къ провалу. Взираясь на гору, Печоринъ подалъ руку княжнѣ, и она не покидала ея въ продолженіе всей прогулки. Разговоръ ихъ начался злословіемъ. Желчь Печорина взволновалась — и, начавши шутя, онъ кончилъ искреннею злостью. Сперва это забавляло княжну, а потомъ испугало. Она сказала ему, что лучше желала бы попасться подъ ножъ убійцы, чѣмъ ему на языкъ. Онъ на минуту задумался, а потомъ, принявъ на себя глубоко-тронутый видъ, началъ жаловаться на свою участь, которая, по его словамъ, такъ жалка съ самаго его дѣтства:

— Всѣ читали на моемъ лицѣ признаки дурныхъ свойствъ, которыхъ не было, но ихъ предполагали — и они родились. Я былъ скромнѣе — меня обвиняли въ лукавствѣ; я сталъ скрытенъ. Я глубоко чувствовалъ добро и зло; никто меня не замечалъ, всѣ оскорбляли — я сталъ злопамятенъ; я былъ угрюмъ — другія дѣти были веселы и болтливы; я чувствовалъ себя выше ихъ, — они меня ставили ниже: я сдѣлался завистливъ. Я былъ готовъ любить весь міръ, — меня никто не понималъ, и я выучился ненавидѣть. Моя безцвѣтная молодость протекла въ борьбѣ съ собой и свѣтомъ; лучшія мои чувства, боясь насмѣшки, я хоронилъ въ глубинѣ сердца; они тамъ и умерли. Я говорилъ правду — мнѣ не вѣрили; я началъ обманывать; узнавъ хорошо свѣтъ и пружины общества, я сталъ искрененъ въ наукѣ жизни, и видѣлъ, какъ другіе безъ искусства счастливы, пользуясь даромъ тѣми выгодами, которыхъ я такъ неутомимо добивался. И тогда въ груди моей родилось отчаяніе; — не то отчаяніе, которое лѣчатъ дуломъ пистолета, но холодное, безсильное отчаяніе, прикрытое любезностью и добродушною улыбкой; я сдѣлался нравственнымъ калѣкой: одна половина души моей не существовала; она высохла, умерла, я ее отрѣзалъ и бросилъ.

тогда какъ другая шевелилась и жила къ услугамъ каждаго, и этого никто не замѣтилъ, потому что никто не зналъ о существованіи погибшей ея половины; но вы теперь во мнѣ разбудили воспоминаніе о ней, и я вамъ прочелъ ея эпитафію. Многимъ всё вообще эпитафій кажутся смѣшными, но мнѣ нѣтъ, особенно когда вспомню, что подъ ними покоится. Впрочемъ, я не прошу васъ раздѣлять мое мнѣніе: если моя выходка вамъ кажется смѣшна — пожалуйста, смѣйтесь: предупреждаю васъ, что это меня не огорчитъ нисколько.

Отъ души ли говорилъ это Печоринъ или притворялся? — Трудно рѣшить опредѣленно: кажется, что тутъ было и то, и другое. Люди, которые вѣчно находятся въ борьбѣ съ вѣшнимъ міромъ и самими собою, всегда недовольны, всегда огорчены и желчны. Огорченіе есть постоянная форма ихъ бытія, и что бы ни попалося имъ на глаза, все служить имъ содержаніемъ для этой формы. Мало того, что они хорошо помнятъ свои истинныя страданія, — они еще неистощимы въ выдумываніи небывалыхъ. Вздумайте ихъ утѣшать — они разсердятся; покажите имъ причины ихъ горестей въ настоящемъ ихъ свѣтѣ — они оскорбятся. Помогите имъ бранить самихъ себя, взведите на нихъ небывалыя обиды жизни, отыщите небывалые недостатки и пороки въ ихъ характерѣ — вы польстите имъ и выиграете ихъ расположеніе. Если вы попадете на человѣка недостаточно глубокаго и сильнаго, будьте осторожны: вы можете или оскорбить его самолюбіе такъ, что возбудите къ себѣ его ненависть, или убить въ немъ всякую увѣренность въ себя и возродить отчаяніе, и тогда вамъ предстоитъ горькая и мучительно скучная роль утѣшителя и повѣреннаго однихъ и тѣхъ же жалобъ. Если же это — человѣкъ глубокій и сильный, не бойтесь слишкомъ далеко зайти въ нападкахъ на него и на жизнь: у него есть лазеечка изъ этой западни: «я дурень, но вѣдь и всѣ таковы». А вы знаете, что, по пословицѣ, при людяхъ и смерть не страшна, — и какъ бы вы ни представлялись себѣ дурны, но если и лучший изъ людей не лучше васъ, ваше самолюбіе спасено. И вотъ почему такіе люди такъ неистощимы въ самообвиненіи: оно обращается имъ въ привычку. Обманывая другихъ, они прежде всего обманываютъ себя. Истинная или ложная причина ихъ жалобъ — имъ все равно, и желчная горестъ ихъ равно искренна и непритворна. Мало того, начиная лгать съ сознаніемъ, или начиная шутить, они продолжаютъ и оканчиваютъ искренно. Они сами не знаютъ, когда лгутъ и когда говорятъ правду, когда слова ихъ — вопль души, или когда они — фразы. Это дѣлается у нихъ вмѣстѣ и болѣзненною душою, и привычкою, и безумствомъ, и кокетничаньемъ. Во всей выходкѣ Печорина вы замѣчаете, что у него страждетъ самолюбіе: отчего родилось у него отчаяніе? — Видите ли: онъ узналъ хорошо свѣтъ и пружины общества, сталъ искусенъ въ наукѣ жизни и видѣлъ, какъ другіе безъ искусства счастливы, пользуясь даромъ тѣмъ выгодами,



которыхъ онъ такъ неумоимо добивался. Какое мелкое самолюбіе! — восклицаете вы. Но не торопитесь вашимъ приговоромъ: онъ клеветаетъ на себя; повѣрьте мнѣ, онъ и даромъ бы не взялъ того счастья, которому завидовалъ у этихъ *другихъ* и котораго добивался. Но княжнѣ отъ этого не легче: она все приняла за наличную монету. Печоринъ не ошибся, сказавъ, что въ немъ два человѣка: въ то время, какъ одинъ такъ горько жаловался ни на что, другой наблюдалъ и за нимъ, и за княжною и вотъ что замѣтилъ за послѣднюю:

Въ эту минуту я встрѣтилъ ея глаза: въ нихъ бѣгали слезы; рука ея, опираясь на мою, дрожала, щеки пылали: ей было жаль меня! — Состраданіе, чувство, которому покоряются такъ легко всѣ женщины, выпустило свои когти въ ея неопытное сердце. Во все время прогулки она была разсѣяна, ни съ кѣмъ не кокетничала, а это — великій признакъ!..

Бѣдная Мери! Какъ систематически, съ какою рассчитанною точностью ведетъ ее злой духъ по пути погибели! Подошедши къ провалу, всѣ дамы оставили своихъ кавалеровъ, но она не оставляла руку Печорина; остроты тамошнихъ дѣнди не смѣшили ея; крутизна обрыва, у котораго она стояла, не пугала ея, тогда какъ другія барышни ницали и закрывали глаза. На возвратномъ пути она была разсѣяна, грустна. «Любили ли вы?» спросилъ ее Печоринъ; она пристально на него посмотрѣла, покачала головой и снова задумалась. Казалось, что-то хотѣлось сказать, но она не знала, съ чего начать; грудь ея волновалась. — «Не правда ли, я была сегодня очень любезна?» сказала она, при разставаньи, съ принужденною улыбкою. Печоринъ, вмѣсто ея, отвѣтилъ самому себѣ: «Она недовольна собою, она себя обвиняетъ въ холодности... о, это первое, главное торжество! Завтра она захочетъ вознаградить меня. Я все это ужъ знаю наизусть — вотъ что скучно!» — Бѣдная Мери!..

Между тѣмъ Вѣра мучилась ревностью и мучила ею Печорина. Она взяла съ него слово уѣхать въ Кисловодскъ и нанять себѣ квартиру возлѣ того дома, верхъ котораго она займетъ съ мужемъ, а низъ — княгиня Лиговская, которая собирается туда еще черезъ недѣлю. Вечеръ того же дня Печоринъ провелъ у Лиговскихъ и веселился, замѣчая успѣхи чувства въ княжнѣ. Вѣра все это видѣла и страдала. Чтобы утѣшить ее, онъ разсказалъ вслухъ исторію своей любви съ нею, разумѣется, прикрывъ все вымышленными именами. «Я, — говоритъ онъ, — такъ живо изобразилъ мою иѣжность, мою безпокойства, восторги; я въ такомъ выгодномъ свѣтѣ выставилъ ея уступки, характеръ, что она поневолѣ должна была простить мнѣ мое кокетство съ княжною».

Печоринъ достигъ своей цѣли: Грушницкій отошелъ отъ него съ чѣмъ-то, въ родѣ угрозы. Это его радовало и забавляло, но что же за

радость бѣсить добраго, пустого малаго и для этого играть обдуманную роль, дѣйствовать по обдуманному плану? Что это: слѣдствіе праздности ума или мелкости души? Вотъ что думалъ объ этомъ онъ самъ, собираясь на балъ:

Я шель медленно; мнѣ было грустно... Неужели, — думалъ я, — мое единственное назначеніе — разрушать чужія надежды? Съ тѣхъ поръ, какъ я живу и дѣйствую, судьба какъ-то всегда приводила меня къ развязкѣ чужихъ драмъ, какъ будто безъ меня никто не могъ бы ни умереть, ни прійти въ отчаяніе! Я былъ необходимое лицо пятаго акта; неволью я разыгрывалъ роль палача или предателя. Какую цѣль имѣла на это судьба?... Ужъ не назначенъ ли я ею въ сочинители мѣщанскихъ трагедій и семейныхъ романовъ или въ сотрудники поставщику повѣстей, напримѣръ, для «Библіотеки для чтенія»?.. Почему знать?... Мало ли людей, начиная жизнь, думаютъ копчить ее, какъ Александръ Великій или лордъ Байронъ, а между тѣмъ, цѣлый вѣкъ остаются титулярными совѣтниками.

Мы нарочно выписали это мѣсто, какъ одну изъ самыхъ характеристическихъ чертъ двойственности Печорина. Въ самомъ дѣлѣ, въ немъ два человѣка: первый дѣйствуетъ, второй смотритъ на дѣйствія перваго и разсуждаетъ о нихъ, или, лучше сказать, осуждаетъ ихъ, потому что они, дѣйствительно, достойны осужденія. Причины этого раздвоенія, этой ссоры съ самимъ собою, очень глубоки, и въ нихъ же заключается противорѣчіе между глубиной натуры и жалкостью дѣйствій одного и того же человѣка. Ниже мы коснемся этихъ причинъ, а пока замѣтимъ только, что Печоринъ, ошибочно дѣйствуя, еще ошибочнѣе судитъ себя. Онъ смотритъ на себя, какъ на человѣка вполне развившагося и опредѣлившагося: удивительно ли, что и его взглядъ на человѣка вообще мраченъ, желченъ и ложенъ?... Онъ какъ будто не знаетъ, что есть эпоха въ жизни человѣка, когда ему досадно, зачѣмъ дуракъ — глупъ, подлецъ — низокъ, зачѣмъ толпа — пошла, зачѣмъ на сотню пустыхъ людей едва встрѣтишь одного порядочнаго человѣка... Онъ какъ будто не знаетъ, что есть такія пылкія и сильныя души, которыя въ эту эпоху семейной жизни находятъ неизъяснимое наслажденіе въ сознаніи своего превосходства, мстятъ посредственности за ея ничтожность, вмѣшиваются въ ея расчеты и дѣла; чтобы мѣшать ей, разрушая ихъ... Но еще болѣе, онъ какъ будто не знаетъ, что для нихъ приходитъ другая эпоха жизни — результатъ первой, когда они или равнодушно на все смотрятъ, не сочувствуя добру, не оскорбляясь зломъ, или увѣряются, что въ жизни и зло необходимо, какъ и добро, что въ арміи общества человѣческаго рядовыхъ всегда должно быть больше, чѣмъ офицеровъ, что глупость должна быть глупа, потому что она глупость, а подлость подла, потому что она подлость, и они оставляютъ ихъ идти своею дорогою, если не видятъ отъ нихъ зла или не видятъ возможности помѣшать ему, и повторяютъ про себя: то съ радостью, то съ

грустною улыбкою: «и все то благо, все добро!» Увы, какъ дорого достается уразумѣніе самыхъ простыхъ истинъ!.. Печоринъ еще не знаетъ этого, и именно потому, что думаетъ, что все знаетъ.

Съ этого времени исторія круто поворотилась и изъ комической начала переходитъ въ трагическую. Доселѣ Печоринъ сѣялъ, — теперь начинается время пожинаать ему плоды посяяннаго. Мы думаемъ, что въ этомъ и должна заключаться истинная нравственность поэтического произведенія, а не въ пошлыхъ сентенціяхъ.

Грушницкій, наконецъ, понялъ, что онъ одураченъ, но вмѣсто того, чтобы въ самомъ себѣ увидѣть причину своего позора, онъ увидѣлъ ее въ Печоринѣ. Къ нему присталъ драгунскій капитанъ и все другіе, которыхъ оскорбляло превосходство Печорина, — и противъ Печорина начала составляться враждебная партія; но онъ не испугался, а обрадовался этому, увидѣвъ новую пищу для своей празднои дѣятельности... «Очень радъ; я люблю враговъ, хотя не по-христіански. Они меня забавляютъ, волнуютъ мнѣ кровь. Быть всегда настражѣ, ловить каждый взглядъ, значеніе каждаго слова, угадывать намѣреніе, притворяться обманутымъ и вдругъ однимъ толчкомъ опрокинуть все огромное и многотрудное зданіе ихъ хитростей и замысловъ — вотъ что я называю жизнью!» — Ошибочное названіе! — восклицаете вы, и мы согласны съ вами; но сила всегда останется силою. и всегда будетъ полна поэзіи, всегда будетъ восхищать и удивлять васъ, хотя бы она и дѣйствовала и деревяннымъ мечомъ, вмѣсто булатнаго... Есть люди, въ рукахъ которыхъ и простая палка опаснѣе, чѣмъ у иныхъ шпага: Печоринъ изъ такихъ людей...

На этотъ разъ Печоринъ снисходительнѣе къ намъ: онъ приподнималъ таинственное покрывало, которымъ облекъ свое сатанинское величіе, очень просто, хотя и прекрасною прозою, объяснилъ причину этой сцены, какъ бы желая оправдаться въ ней. Онъ говоритъ, что какъ бы страстно ни любилъ онъ женщину, но какъ скоро она дастъ ему почувствовать, что онъ долженъ на ней жениться, прости любовь!.. Этотъ страхъ лишиться постылой и ни для чего не пужной ему свободы онъ приписываетъ предсказанію старушки, которая, когда еще онъ былъ ребенкомъ, гадала про него его матери и предрекла ему смерть отъ злой жены... Нѣтъ, это все не то!.. Печоринъ не любилъ княжны: онъ оскорбилъ бы самого себя, если бы назвать любовью легонькое чувство, возбужденное его собственнымъ кокетствомъ и самолюбіемъ. Потомъ: бракъ есть дѣйствительность любви. Любить истинно можетъ только вполне созрѣвшая душа, и въ такомъ случаѣ любовь видитъ въ бракѣ свою высочайшую награду и, при блескѣ вѣнца, не блекнетъ, а пышнѣе распускаетъ свой ароматный

цвѣтъ, какъ при лучахъ солнца... Всякое чувство дѣйствительно въ отношеніи къ самому себѣ, какъ выраженіе моментальнаго состоянія духа: и первая любовь едва проснувшейся для жизни души отрока имѣетъ свою поэзію и свою истину; но, будучи дѣйствительна по своей сущности, она совершенно призрачна по своей формѣ и въ сравненіи съ любовью возмужалаго человѣка есть то же, что первое безсвязное лепетаніе младенца въ сравненіи съ разумною рѣчью мужа. Это больше потребность любви, чѣмъ самая любовь, и потому она обращается на первый предметъ, способный поразить юную фантазію истиннымъ или мнимымъ сходствомъ съ ея идеаломъ, и такъ же скоро погасаетъ, какъ и вспыхиваетъ. Такая любовь можетъ много разъ повториться въ жизни человѣка; она или ненавидитъ бракъ и отвращается его, какъ идеи, профанирующей ея идеальность, или представляетъ его высочайшимъ блаженствомъ и стремится къ нему только до тѣхъ поръ, пока онъ не предстанетъ къ ней съ своимъ строго-испытующимъ, недоувѣрчиво-суровымъ взоромъ: тогда бѣдная любовь потупляетъ предъ нимъ свои глаза, какъ ребенокъ, застигнутый въ шалости строгимъ гувернеромъ... Да, бракъ есть гибель такой любви, и вотъ почему такъ много бываетъ «несчастливыхъ браковъ по любви»... Только дѣйствительное чувство не боится своего осуществленія, не трепещетъ своей повѣрки; только дѣйствительность смѣло смотритъ въ глаза дѣйствительности, не потушая своихъ глазъ... И неужели Печоринъ, этотъ человѣкъ, столь глубокій и могучій, могъ почестъ свое чувство къ княжнѣ дѣйствительнымъ и удивиться, что ея намекъ о бракѣ такъ же легко уничтожилъ его чувство, какъ видъ лозы уничтожаетъ рѣзвость ребенка?.. Нѣтъ, изъ всего этого опять-таки видно только одно, что Печоринъ еще рано почелъ себя допившимъ до дна чашу жизни, тогда какъ онъ еще не сдулъ порядочно кипящей пѣны... Повторяемъ: онъ еще не знаетъ самого себя, и если не должно ему вѣрить, когда онъ оправдываетъ себя или приписываетъ себѣ разные нечеловѣческіе свойства и пороки. Но, винить ли его за это? — Вините, если въ глазахъ вашихъ юноша виноватъ тѣмъ, что онъ молодъ, а старецъ тѣмъ, что онъ старъ! Есть люди, въ которыхъ потребность жизни такъ сильна, что составляетъ ихъ мученье до тѣхъ поръ, пока не удовлетворится; и есть люди, которые долго живутъ и умираютъ неудовлетворенные, ибо дѣйствительны только потребности, а удовлетвореніе всегда зависитъ отъ случая, который такъ же можетъ сбыться, какъ и можетъ не сбыться. И вотъ, когда такіе люди бросаются всюду, ища удовлетворенія, и не находятъ его, ихъ отчаяніе порождаетъ клеветы на вѣчные законы разумной дѣйствительности; но они правы предъ самими собою въ этихъ клеветахъ, хотя и неправы предъ дѣйствительностью. Можно ли винить



ихъ за несчастіе? Можно ли винить ихъ за то, что они съ такою жадностью бросаются на все, что волнуетъ душу призраками блаженства? Не всё же родятся съ этимъ апатическимъ благоразуміемъ, источникъ котораго — гнилая и мертвая натура...

Поучительная пѣмая бесѣда съ самимъ собою человѣка, который завтра готовился быть или убитымъ, или убійцею!.. Мысль невольно обращается на себя, и сквозь мглу предразсужденій и умышленныхъ софизмовъ блеститъ лучъ ужасной истины... Но рѣшеніе принято, шагъ сдѣланъ, и возврата нѣтъ: само общество, которое смотритъ на кровавыя сдѣлки, какъ на безправственность, само общество, противорѣча себѣ, запрещаетъ этотъ возвратъ своимъ насмѣшливо-презрительнымъ взглядомъ, своимъ недвижно-остановившимся на жертвѣ перстомъ... Кровавая развязка дѣла доставляетъ ему средства читать себѣ для другихъ правоученія, произнести ближнему приговоръ и на-давать ему позднихъ совѣтовъ; отступленіе лишаетъ его занимательнаго анекдота, прекраснаго случая къ развлеченію на чужой счетъ. Что жъ тутъ дѣлать? Разумѣется, идти впередъ, а чтобы выкианіе въ себя и въ сущность дѣла не лишило смѣлости, закрыть глаза на истину и обѣими руками ухватиться за первый представившійся софизмъ, котораго ложность самому очевидна. Печоринъ такъ и сдѣлалъ; онъ рѣшилъ, что не стоитъ труда жить, и онъ правъ предъ собою, или, по крайней мѣрѣ, не виноватъ предъ тѣми строгими судьями чужихъ поступковъ, которые сами не участвуютъ въ жизни, но на живущихъ смотреть, какъ зрители на актеровъ, то аплодируя, то шикая...

Несмотря на тайное безпокойство, мучившее Печорина, онъ не только имѣлъ силы заставить себя взяться за романъ Вальтеръ-Скотта «Шотландскіе пуритане», но еще и увлечся волшебнымъ вымысломъ.

Когда разсвѣло, онъ посмотрѣлъ въ зеркало: тусклая блѣдность покрывала лицо его, хранившее слѣды мучительной бессонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тѣнью, блистали гордо и неумолимо. «Я, — говорилъ онъ, — остался доволенъ собою». Купанье въ Парзаниѣ сдѣлало его совершенно свѣжимъ и бодрымъ. Возвратясь съ купанья, онъ нашелъ у себя Вернера. Они сѣли на лошадей и поѣхали. Тутъ слѣдуетъ мимоходомъ краткое, полное поэзіи описаніе прекраснаго кавказскаго утра.

Они ѣхали молча.

— Написали ли вы свое завѣщаніе? — вдругъ спросилъ Вернеръ.

— Нѣтъ.

— А если вы будете убиты?

— Наслѣдники отыщутся сами.

— Неужели у васъ нѣтъ друзей, которымъ бы вы хотѣли послать послѣднее прощанье?..

Я покачалъ головой.

— Неужели нѣтъ женщины, которой вы хотѣли бы оставить что-нибудь на память?..

— Хотите ли, докторъ — отвѣчалъ я ему, — чтобъ я раскрылъ вамъ мою душу? Видите ли: я выжилъ изъ тѣхъ дѣтъ, когда умирають; произнося имя своей любезной и завѣщая другу ключокъ напояженныхъ или ненапояженныхъ волосъ. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю объ одномъ себѣ; иные не дѣлають этого. Друзья, которые завтра меня забудутъ или, хуже, взведутъ на мой счетъ, Богъ знаетъ, какія пемылицы; женщины, которыя, обнимая другого, будутъ смѣяться надо мною, чтобъ не возбудить въ немъ ревности къ усопшему, Богъ съ ними! Изъ кипиленной бури я вынесъ только нѣсколько идей и ни одного чувства. Я давно уже живу не сердцемъ, а головою. Я взвѣшиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки съ строгимъ любопытствомъ, но безъ участія. Во мнѣ — два человѣка; одинъ живетъ въ полномъ смыслѣ этого слова, другой мыслитъ и судитъ его; первый, можетъ-быть, чрезъ часъ простится съ вами и міромъ навѣки, а второй... второй?..

Это признаніе обнаруживаетъ всего Печорина. Въ немъ нѣтъ фразъ, и каждое слово искренно. Безсознательно, но вѣрно выговорилъ Печоринъ всего себя. Этотъ человѣкъ — не пылкій юноша, который гоняется за впечатлѣніями и всего себя отдаетъ первому изъ нихъ, пока оно не изгладится, и душа не запроситъ новаго. Нѣтъ, онъ вполне пережилъ юношескій возрастъ, этотъ періодъ романтическаго взгляда на жизнь: онъ уже не мечтаетъ умереть за свою возлюбленную, произнося ея имя и завѣщая другу локоны волосъ, не принимаетъ слова за дѣло, порывъ чувства — хотя бы самаго возвышеннаго и благороднаго — за дѣйствительное состояніе души человѣка. Онъ много перечувствовалъ, много любилъ и по опыту знаетъ, какъ непродолжительны всѣ чувства, всѣ привязанности; онъ много думалъ о жизни и по опыту знаетъ, какъ ненадежны всѣ заключенія и выводы для тѣхъ, кто прямо и смѣло смотритъ на истину, не тѣшится и не обманываетъ себя убѣжденіями, которымъ уже самъ не вѣритъ... Духъ его созрѣлъ для новыхъ чувствъ и новыхъ думъ, сердце требуетъ новой привязанности: *дѣйствительность* — вотъ сущность и характеръ всего этого новаго. Онъ готовъ для него; но судьба еще не даетъ ему новыхъ опытовъ, и, презирая старые, онъ все-таки по нимъ же судитъ о жизни. Отсюда это безвѣріе въ дѣйствительность чувства и мысли, это охлажденіе къ жизни, въ которой ему видится то оптическій обманъ, то безмысленное мельканіе китаяскихъ тѣней. Это — переходное состояніе духа, въ которомъ для человѣка все старое разрушено, а новаго еще нѣтъ, и въ которомъ человѣкъ есть только возможность чего-то дѣйствительнаго въ будущемъ и совершенный призракъ въ настоящемъ. Тутъ-то возникаетъ въ немъ то, что на простомъ языкѣ называется и «хандрою», и «ипохондриею», и «мнительностью», и «сомнѣніемъ», и другими словами, далеко не выражающими сущности явленія, и что на языкѣ философскомъ называется *рефлексією*. Мы не будемъ объяснять ни этимоло-

логического, ни философского значенія этого слова, а скажем коротко, что въ состояніи рефлексіи человѣкъ распадается на два человѣка, изъ которыхъ одинъ живетъ, а другой наблюдаетъ за нимъ и судитъ о немъ. Тутъ нѣтъ полноты ни въ какомъ чувствѣ, ни въ какой мысли, ни въ какомъ дѣйствіи: какъ только зародится въ человѣкѣ чувство, намѣреніе, дѣйствіе, тотчасъ какой-то скрытый въ немъ самый врагъ уже подсматриваетъ зародышъ, анализируетъ его, изслѣдуетъ, вѣрна ли, истинна ли эта мысль, дѣйствительно ли чувство, законно ли намѣреніе, и какая ихъ цѣль, и къ чему они ведутъ, — и благоуханный цвѣтъ чувства блекнетъ, не распустившись, мысль дробится въ безконечность, какъ солнечный лучъ въ граненомъ хрусталѣ; рука, поднятая для дѣйствія, какъ внезапно окаменѣлая, останавливается на взмахѣ и не ударяетъ...

Такъ робкими всегда творить насъ совѣсть.  
 Такъ яркій въ насъ рѣшимости румянецъ  
 Подъ тѣню тусклѣетъ размышленья,  
 И замысловъ отважныя порывы,  
 Отъ сей препоны уклоняя бѣгъ свой,  
 Именъ дѣяній не стяжаютъ...—

говоритъ шекспировъ Гамлетъ, этотъ поэтический апофеозъ рефлексіи. Ужасное состояніе! Даже въ объятіяхъ любви, среди блаженнѣйшаго упоенія и полноты жизни, возникаетъ этотъ враждебный внутренний голосъ, чтобы заставить человѣка думать

. . . въ такое время,  
 Когда не думаетъ никто,

и, вырвавъ изъ его рукъ очаровательный образъ, замѣнить его отвратительнымъ скелетомъ...

Но это состояніе сколько ужасно, столько же необходимо. Это одинъ изъ величайшихъ моментовъ духа. Полнота жизни въ чувствѣ, но чувство не есть еще послѣдняя ступень духа, дальше которой онъ не можетъ развиваться. При одномъ чувствѣ человѣкъ есть рабъ собственныхъ ощущеній, какъ животное есть рабъ собственнаго инстинкта. Достоинство безсмертнаго духа человѣческаго заключается въ его разумности, а послѣдній, высшій актъ разумности есть мысль. Въ мысли — независимость и свобода человѣка отъ собственныхъ страстей и темныхъ ощущеній. Когда человѣкъ поднимаетъ въ гнѣвѣ руку на врага своего, онъ слѣдуетъ чувству, его одушевляющему; но только разумная мысль о своемъ человѣческомъ достоинствѣ и о своемъ человѣческомъ братствѣ со врагомъ можетъ удержать порывъ гнѣва и обезоружить поднятую для убійства руку. Но переходъ изъ непосредственности въ разумное сознаніе необходимо совершается черезъ рефлексію, болѣе или менѣе болѣзненную, смотря по свой-

ствѣ индивидуума. Если человѣкъ чувствуетъ хоть сколько-нибудь свое родство съ человѣчествомъ и хоть сколько-нибудь сознаетъ себя духомъ въ духѣ, онъ не можетъ быть чуждъ рефлексіи. Исключенія остаются только или за натурами чисто-практическими, или за людьми мелкими и ничтожными, которые чужды интересовъ духа, и которыхъ жизнь — апатическая дремота. И нашъ вѣкъ есть, по преимуществу, вѣкъ рефлексіи, почему отъ нея не освобождены ни тѣ мирныя и счастливыя натуры, которыя съ глубиною соединяють тихость и невозмущаемое спокойствіе, ни самыя практическія натуры, если онѣ не лишены глубины. Отсюда значеніе цѣлой германской литературы: въ основаніи почти каждаго изъ ея произведеній лежитъ нравственный, религіозный или философскій вопросъ. «Фаустъ» Гёте есть поэтическій апофеозъ рефлексіи нашего вѣка. Естественно, что такое состояніе человѣчества нашло свой отзывъ и у насъ; но оно отразилось въ нашей жизни особеннымъ образомъ, вслѣдствіе неопредѣленности, въ которую поставлено наше общество насильственнымъ выходомъ изъ своей непосредственности черезъ великую реформу Петра. Дивно-художественная «Сцена Фауста» Пушкина представляетъ собою высокій образъ рефлексіи, какъ болѣзни многихъ индивидуумовъ нашего общества. Ея характеръ — апатическое охлажденіе къ благамъ жизни, вслѣдствіе невозможности предаваться имъ со всею полнотою. Отсюда: томительная бездѣйственность въ дѣйствіяхъ, отвращеніе ко всякому дѣлу, отсутствіе всякихъ интересовъ въ душѣ, неопредѣленность желаній и стремленій, безотчетная тоска, мечтательность при избыткѣ внутренней жизни. Это противорѣчіе превосходно выражено авторомъ разбираемаго нами романа въ его чудно-поэтической «Думѣ», исполненной благороднаго негодованія, могучей жизни и поразительной вѣрности идей. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно припомнить изъ нея слѣдующіе четыре стиха, въ которыхъ сказано больше, чѣмъ въ двѣнадцати томахъ иного «господина-сочинителя»:

И непавидимъ мы, и любимъ мы случайно,  
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви,  
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,  
Когда огонь кипитъ въ крови!..

Печоринъ есть одинъ изъ тѣхъ, къ кому особенно должно отнестись это энергическое воззваніе благороднаго поэта, котораго это самое и заставило назвать героя романа героемъ нашего времени. Отсюда происходитъ и недостатокъ опредѣленности, недостатокъ художественной рельефности въ изображеніи этого лица, но отсюда же выходитъ и его высочайшій поэтическій интересъ для всѣхъ, кто принадлежитъ къ *нашему времени* не по одному году и числу мѣсяца,



въ которые родился; и то сильное неотразимо-грустное впечатлѣніе, которое онъ на насъ производитъ. Но мы еще возвратимся къ этому предмету, когда кончимъ изложеніе содержанія романа.

Теперь настала очередь Печорина. Капитанъ сыгралъ сцену прощанія съ Грушницкимъ, едва удерживаясь отъ смѣха. Можно себя представить, какія чувства волновали Печорина при видѣ соперника, который теперь со спокойною дерзостью смотрѣлъ на него и, кажется, удерживалъ улыбку, а за минуту хотѣлъ убить его, какъ собаку... Какъ бы для очистки своей совѣсти, онъ предложилъ ему попросить у него прощенія, но, услышавъ гордый отказъ, произнесъ слѣдующія слова съ разстановкою, громко и внятно, какъ произносятъ смертный приговоръ: «Докторъ, эти господа, вѣроятно, вторыхъ забыли положить пулю въ мой пистолетъ: прощу васъ зарядить его снова, — и хорошенько!» Капитанъ старался казаться обиженнымъ и утверждалъ, что это неправда; но Печоринъ заставилъ его замолчать, сказавъ, что если это такъ, то онъ и съ нимъ будетъ стрѣляться на тѣхъ же условіяхъ. Грушницкій подалъ рѣшительный голосъ въ пользу переряженія пистолета. «Дуракъ же ты, братецъ, — сказалъ капитанъ, плюнувъ и топнувъ ногою, — пошлый дуракъ!.. Ужъ положился на меня, такъ слушайся во всемъ... подѣломъ же тебѣ! Околѣвай себя, какъ муха!..» Печоринъ снова предложилъ Грушницкому — признаться въ своей клеветѣ, обѣщаясь этимъ и кончить дѣло, и даже напоминалъ ему о ихъ прежней дружбѣ. Здѣсь предстоялъ автору прекрасный случай изобразить трогательную сцену примиренія враговъ и обращенія на путь истины заблудшаго человѣка и тѣмъ премного утѣшить моралистовъ и любителей приличныхъ эффектовъ; но глубоко-художественный инстинктъ истины, безсознательно открывающій поэту самыя сокровенныя таинства человѣческой природы, заставилъ его написать сцену совѣтъ въ другомъ родѣ, — сцену, которая поражаетъ свою ужасною, безпощадною истинностью и своею потрясающею эффектностью, при высочайшей простотѣ и естественности... Лицо Грушницкаго вспыхнуло, глаза засверкали. «Стрѣляйте! — отвѣчалъ онъ, — я себя презираю, а васъ ненавижу. Если вы меня не убьете, я васъ зарѣжу ночью изъ-за угла. Намъ на землѣ вдвоемъ нѣтъ мѣста»...

Да, это гениальная черта, смѣлый и мощный взмахъ художнической кисти!.. Не забудьте, что у Грушницкаго нѣтъ только характера, но что натура его не чужда была нѣкоторыхъ добрыхъ сторонъ: онъ неспособенъ былъ ни къ дѣйствительному добру, ни къ дѣйствительному злу; но торжественное трагическое положеніе, въ которомъ самолюбіе его играло бы напропалую, необходимо должно было возбудить въ немъ мгновенный и смѣлый порывъ страсти. Само-

любіе увѣрило его въ небывалой любви къ княжнѣ и въ любви княжны къ нему; самолюбіе заставило его видѣть въ Печоринѣ своего соперника и врага; самолюбіе рѣшило его на заговоръ противъ чести Печорина; самолюбіе не допустило его послушаться голоса своей совѣсти и увлечься своимъ добрымъ началомъ, чтобы признаться въ заговорѣ; самолюбіе заставило его выстрѣлить въ безоружнаго человѣка, — то же самое самолюбіе и сосредоточило всю силу его души въ такую рѣшительную минуту и заставило предпочесть вѣрную смерть вѣрному спасенію черезъ признаніе. Это человѣкъ — апопеезъ мелочнаго самолюбія и слабости характера: отсюда всѣ его поступки, — и, несмотря на кажущуюся силу его послѣдняго поступка, онъ вышелъ прямо изъ слабости его характера. Самолюбіе — великій рычагъ въ душѣ человѣка; оно рождаетъ чудеса! Бываютъ на свѣтѣ люди, которые, не блѣднѣя, какъ предъ чашкою чая, стоятъ предъ дуломъ своего противника, которые прячутся подъ фуры во время сраженія...

Спускаясь по тропинкѣ внизъ, Печоринъ замѣтилъ между разсѣлинами скалъ окровавленный трупъ Грушницкаго — и невольно закрылъ глаза. Возвращаясь въ Кисловодскъ, онъ опустил поводья и далъ волю коню. Солнце уже садилось, когда, измученный на измученной лошади, пріѣхалъ онъ домой. Тамъ засталъ онъ двѣ записки — одну отъ доктора, другую отъ Вѣры.

Докторъ увѣдомлялъ его, что тѣло уже перевезено, но что, благодаря ихъ мѣрамъ, заранѣе взятымъ, подозрѣній нѣтъ никакихъ, и что онъ можетъ спать спокойно... если можетъ...

Долго не рѣшался онъ открыть вторую записку; тяжелое предчувствіе мучило его — и оно не обмануло его. Письмо Вѣры начинается прощаніемъ навсегда. Мужъ разсказалъ ей о ссорѣ Печорина съ Грушницкимъ, — и это такъ поразило и взволновало ее, что она не понимала, что отвѣчала ему, и только догадывалась, что то было признаніе въ своей тайной любви, потому что мужъ оскорбилъ ее ужаснымъ словомъ и, вышедъ изъ комнаты, велѣлъ закладывать карету. Мысль о вѣчной разлукѣ увлекла ее къ объясненію своихъ отношеній къ Печорину, — и вотъ примѣчательнѣйшее мѣсто письма:

«Мы расстаемся навѣки: однакожъ ты можешь быть увѣренъ, что я никогда не буду любить другого: моя душа истощила на тебѣ всѣ свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая разъ тебя не можетъ смотрѣть безъ нѣкотораго презрѣнія на прочихъ мужчинъ, не потому, чтобы ты былъ лучше ихъ, о, нѣтъ! но въ твоей природѣ есть что-то особенное, тебѣ одному свойственное, что-то гордое и таинственное; въ твоёмъ голосѣ, что бы ты ни говорилъ, есть власть непобѣдимая, никто не умѣетъ такъ постоянно хотѣть быть любимымъ; ни въ комъ зло не бываетъ такъ привлекательно; ни чей взоръ не общаетъ столько блаженства; никто не умѣетъ лучше пользоваться своими преимуществами, и никто не можетъ быть такъ истинно несчастливъ, какъ ты, потому что никто столько не старается увѣрить себя въ противоположномъ».

Письмо заключается изъявленіемъ сомнительной увѣренности, что онъ не любитъ Мери и не женится на ней. «Послушай, ты долженъ мнѣ принести эту жертву: я для тебя потеряла все на свѣтѣ»...

Велѣвъ осѣдлать измученнаго коня, какъ безумный, помчался Печоринъ въ Пятигорскъ. При возможности потерять Вѣру она стала для него дороже всего на свѣтѣ — жизни, чести, счастья! Натискъ судьбы, взоволивалъ могучую натуру, изнемогавшую въ спокойствіи и мирѣ, и возбудилъ ея дремавшее чувство... Здѣсь невольно приходятъ на умъ эти стихи Пушкина:

О люди! всѣ похожи вы  
На прародительницу Еву:  
Что вамъ дано, то не влечетъ:  
Васъ безпрестанно змій зоветъ  
Къ себѣ, таинственному древу;  
Запретный плодъ вамъ подавай,  
А безъ того вамъ рай не въ рай.

Стремглавъ скача и погоняя безпощадно, онъ сталъ замѣчать, что конь его тяжело дышитъ и спотыкается. Оставалось нѣтъ верстъ до Гонтуковъ, казачьей станицы, гдѣ бы могъ онъ пересѣсть на другую лошадь. Еще бы только десять минутъ, но конь рухнулся и издохъ... Печоринъ хотѣлъ идти пѣшкомъ, но, изнуренный тревогами дня и бессонницею, онъ упалъ на мокрую траву и, какъ ребенокъ, заплакалъ... Напряженная гордость, холодная твердость — плодъ сухого отчаянія, софизмы свѣтской философіи — все исчезло и умолкло; уже не стало человѣка, волнующаго страстями, потрясимаго борьбою внутреннихъ противорѣчій, — предъ вами бѣдное безсильное дитя, слезами омывающее грѣхи свои, чуждое, на эту минуту, ложнаго стыда и не жалующееся ни на судьбу, ни на людей, ни на самого себя...

И долго лежалъ я неподвижно, и плакалъ горько, не стараясь удержать слезъ и рыданій; я думалъ, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровіе исчезли какъ дымъ, душа обезсилѣла, разсудокъ замолкъ; и если бы въ эту минуту кто-нибудь меня увидѣлъ, онъ бы съ презрѣніемъ отвернулся.

Когда ночная роса и горный вѣтеръ освѣжили его горячую голову, онъ разсудилъ, что горькій прощальный поцѣлуй немного бы прибавилъ къ его воспоминаніямъ, а разлука послѣ него была бы тяжеле, — и возвратился въ Кисловодскъ въ пять часовъ утра, бросился въ постель и проспалъ мертвымъ сномъ до вечера. Тутъ пришелъ къ нему Вернеръ и извѣстилъ его, что княжна Лиговская больна разслабленіемъ нервовъ; что начальство догадывается объ истинныхъ причинахъ смерти Грушницкаго и что ему должно взять свои мѣры. Въ самомъ дѣлѣ, на другой день утромъ онъ получилъ приказаніе

отъ высшаго начальства отправиться въ крѣпость N, гдѣ судьба и свела его съ Максимомъ Максимычемъ.

Предъ отъѣздомъ онъ зашелъ къ княгинѣ Лиговской проститься. Она встрѣтила его, какъ человѣка, навѣрное явившагося къ ней, какъ къ матери, съ предложеніемъ насчетъ руки дочери. Тутъ слѣдуетъ превосходная комическая сцена, гдѣ княгиня, намекая Печоришу, что ей извѣстны его отношенія къ Мері, даетъ ему знать, что не будетъ противиться ихъ соединенію и охотно прощаетъ ему странность его поведенія въ отношеніи къ ея дочери. Нѣсколько разъ прерывала она свой большой монологъ пыхтѣніемъ и вздохами и, наконецъ, заплакала. Печоришъ попросилъ у нея позволенія паединѣ переговорить съ ея дочерью, на что княгиня принуждена была согласиться.

Прошло пять минутъ; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; какъ я ни искалъ въ груди моей хоть искры любви къ милой Мері, старанія мои были напрасны.

Вотъ дверь отворилась, и вошла она. Боже! Какъ перемѣнилась съ тѣхъ поръ, какъ я не видалъ ея, — а давно ли? Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась: я вскочилъ, подаль ей руку и довелъ ее до кресель.

Я стоялъ противъ нея. Мы долго молчали; ея большіе глаза, наполненные неизъяснимою грустью, казалось, плакали въ моихъ что-нибудь похожее на надежду; ея блѣдныя губы напрасно старались улыбнуться; ея нѣжныя руки, сложенные на коленяхъ, были такъ худы и прозрачны, что мнѣ стало жаль ея.

— Княжна, — сказалъ я, — вы знаете, что я надъ вами смѣялся!.. Вы должны презирать меня.

На ея щекахъ показался болѣзненный румянецъ.

Я продолжалъ: — Слѣдственно, вы меня любить не можете.

Она отвернулась, облокотилась на столъ, закрыла глаза рукою, и мнѣ показалось, что въ нихъ блеснули слезы.

— Боже мой! — произнесла она едва слышно.

Это стало левыносно; еще минута и я бы унелъ къ ногамъ ея.

— Итакъ, вы сами видите, — сказалъ я сколько могъ твердымъ голосомъ и съ принужденною усмѣшкою, — вы сами видите, что я не могу на васъ жениться. Если бы вы даже этого теперь хотѣли, то скоро бы раскаялись; мой разговоръ съ вашей матушкой принудилъ меня объясниться съ вами такъ откровенно и такъ грубо; я надѣюсь, что она въ заблужденіи: вамъ легко ее разувѣрить. Вы видите, я играю въ вашихъ глазахъ самую жалкую и гадкую роль, и даже въ этомъ признаюсь; вотъ все, что могу для васъ сдѣлать. Какое бы вы дурное мнѣніе обо мнѣ ни имѣли, я ему покоряюсь... Видите ли, я предъ вами низокъ?.. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то съ этой минуты презираете?..

Она обернулась ко мнѣ, блѣдная, какъ мраморъ, только глаза ея чудно сверкали. — Я васъ ненавижу, — сказала она.

Я поблагодарилъ, поклонился почтительно и вышелъ.

Нужно ли что-нибудь говорить объ этой сценѣ, гдѣ блѣдная Мері является въ такомъ безконечно поэтическомъ апофеозѣ страданія отъ обманутаго чувства и оскорбленнаго самолюбія и достоинства жен-

щины, и гдѣ каждое ея движеніе, каждый звукъ ея голоса запечатлѣны такою неотразимою прелестью и истинною, а положеніе трогательно и возбуждаетъ такое сильное и горестное участіе!.. Нѣтъ, кому эта сцена не скажетъ всего, тому наши слова ничего не пояснятъ...

Черезъ часъ скакалъ онъ на тройкѣ курьерскихъ изъ Кисловодска и на дорогѣ увидѣлъ своего коня: сѣдло было снято, и вмѣсто него два ворона сидѣли у него на спинѣ... Онъ вздохнулъ и отвернулся...

И теперь, здѣсь, въ этой скучной крѣпости, и часто, пробѣгая мыслью прошедшее, спрашиваю себя, отчего я не хотѣлъ ступить на этотъ путь, открытый мнѣ судьбою, гдѣ меня ожидали тихія радости и спокойствіе душевное? Нѣтъ, я бы не ужился съ этою долею! Я—какъ матрость, рожденный и выросшій на палубѣ разбойничьяго брига: его душа слилась съ бурями и битвами, и, выброшенный на берегъ, онъ скучаетъ и томится, какъ ни мани его тѣнистая роща, какъ ни свѣти ему мирное солнце, онъ ходитъ себѣ цѣлый день по прибрежному песку, прилушивается къ однообразному роноту набѣгающихъ волнъ и всматривается въ тумашную даль: неменьше ли тамъ, на блѣдной чертѣ, отдѣляющей спую пучину отъ сѣрыхъ тучекъ, желанный парусъ, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-по-малу отдѣляющийся отъ пѣны валуновъ и ровнымъ бѣгомъ приближающийся къ пустынной пристани...

Такою лирическою выходкою, полною безконечной поэзіи и обнарживающею всю глубину и мощь этого человѣка, замыкается журналъ Печорина. Теперь это таинственное лицо, такъ сильно волновавшее наше любопытство и въ исторіи Бѣлы, и при свиданіи съ Максимъ Максимычемъ, и въ рассказѣ о собственномъ приключеніи въ Тамани, — теперь оно все предъ нами, во весь ростъ свой. Черезъ него самого познакомились мы со всѣми изгибами его сердца, со всѣми событіями его жизни, и теперь уже самъ онъ ничего новаго не въ состояніи сказать намъ о самомъ себѣ. Но между тѣмъ, прочтя «Княжну Мерн», мы все еще не разстались съ нимъ, и еще разъ встречаемся съ нимъ, какъ съ рассказчикомъ необыкновеннаго случая, котораго онъ былъ свидѣтелемъ. Мы не будемъ ни подробно излагать содержанія этого рассказа; ни дѣлать изъ него выписокъ... Самъ Печоринъ является тутъ дѣйствующимъ лицомъ, и едва ли еще не болѣе на первомъ планѣ, чѣмъ самъ герой рассказа. Свойство его участія въ ходѣ повѣсти, равно какъ и его отчаянная, фаталистическая смѣлость при взятіи взбѣсившагося казака если не прибавляютъ ничего новаго къ даннымъ объ его характерѣ, то все-таки добавляютъ уже извѣстное намъ и тѣмъ самымъ усугубляютъ единство мрачнаго и терзающаго душу впечатлѣнія цѣлаго романа, который есть біографія одного лица.—Это усиленіе впечатлѣнія особенно заключается въ основной идеѣ рассказа, которая есть — фатализмъ, вѣра въ предопредѣленіе, одно изъ самыхъ мрачныхъ заблужденій человѣческаго разсудка, которое лишаетъ человѣка нравственной свободы, изъ слѣ-



ного случая дѣлая необходимость. Предразсудокъ — явно выходящій изъ положенія Печорина, который не знаетъ, чему вѣрить, на чемъ опереться, и съ особеннымъ увлеченіемъ хватается за самыя мрачныя убѣжденія, лишь бы только давали они поэзію его отчаянію и оправдывали его въ собственныхъ глазахъ.

Что же за человекъ этотъ Печоринъ? — Здѣсь мы должны обратиться къ «Предисловію», написанному авторомъ романа къ журналу Печорина.

Теперь я долженъ нѣсколько объяснить причины, побудившія меня передать публикѣ сердечныя тайны человека, котораго я никогда не зналъ. Добро бы я былъ еще его другомъ: коварная нескромность истиннаго друга понятна каждому, но я видѣлъ его только разъ въ моей жизни на большой дорогѣ: слѣдовательно, не могу питать къ нему той неизгасимой ненависти, которая, таясь подъ личиною дружбы, ожидаетъ только смерти или несчастія любимаго предмета, чтобы разразиться надъ головою громомъ упрековъ, совѣтовъ и сожалѣній.

Несмотря на всю софистическую ложность этой горькой выходки, самая же желчность свидѣтельствуетъ уже, что въ ней есть своя истинная сторона. Въ самомъ дѣлѣ, и дружба, подобно любви, есть роза съ роскошнымъ цвѣтомъ, упонтельнымъ ароматомъ, но и съ колючими шипами. Каждая индивидуальность, какъ бы по природѣ своей, враждебна другой и силится пересоздать ее по-своему, и, въ самомъ дѣлѣ, когда сходятся двѣ субъективности, онѣ, такъ сказать, чрезъ взаимное треніе другъ о друга сглаживаются и измѣняются, заимствуя одна отъ другой то, чего имъ недостаетъ. Отсюда это взаимное цензорство въ дружбѣ, эта страсть раздражаться надъ головою друга градомъ упрековъ, насмѣшекъ и сожалѣній. Самолюбіе тутъ играетъ свою роль; но если дружба основана не на дѣтской привязанности или какой-нибудь вишней связи, — истинная привязанность, внутреннее человѣческое чувство всегда играетъ тутъ свою роль. Авторъ видитъ въ дружбѣ одни шипы — и его ошибка не въ ложности, а въ односторонности взгляда. Онъ, видимо, находится въ томъ состояніи духа, когда въ нашемъ разумѣни всякая мысль распадается на свои же собственные моменты; до тѣхъ поръ, пока духъ нашъ не созрѣетъ для великаго процесса разумнаго примиренія противоположностей въ одномъ и томъ же предметѣ. Вообще, хотя авторъ и выдаетъ себя за человека, совершенно чуждаго Печорину, но онъ сильно симпатизируетъ съ нимъ, и въ ихъ взглядѣ на вещи — удивительное сходство. Слѣдующее мѣсто изъ «Предисловія» еще болѣе подтверждаетъ нашу мысль:

Можетъ-быть, нѣкоторые читатели захотятъ узнать мое мнѣніе о характерѣ Печорина. Мой отвѣтъ — заглавіе этой книги. — «Да это злая пропія!» скажутъ они. — Не знаю.

Итакъ, «Герой нашего времени» — вотъ основная мысль романа. Въ самомъ дѣлѣ, послѣ этого весь романъ можетъ почтаться злою пропіею, потому что большая часть читателей, навѣрное, воскликнетъ: «Хорошъ же герой!» — А чѣмъ же онъ дуренъ? — смѣемъ васъ спросить.

Зачѣмъ же такъ неблагоклонно  
Вы отзываетесь о немъ?  
За то ль, что мы неугомонно  
Хлопочемъ, судимъ обо всемъ.  
Что пылкихъ думъ неосторожность  
Себялюбивую ничтожность  
Иль оскорбляетъ, или смѣшаетъ,  
Что умъ, любя просторъ, тѣснитъ,  
Что слишкомъ часты разговоры  
Принять мы рады за дѣла,  
Что глупость вѣтрепа и вла,  
Что важнымъ людямъ важны вздоры,  
И что посредственность одна  
Намъ по-плечу и не страшна?

Вы говорите противъ него, что въ немъ нѣтъ вѣры. Прекрасно! Но вѣдь это то же самое, что обвинять нищаго за то, что у него нѣтъ золота: онъ бы и радъ имѣть его, да не дается оно ему. И притомъ, развѣ Печоринъ радъ своему безвѣрію? Развѣ онъ гордится имъ? Развѣ онъ не страдалъ отъ него? Развѣ онъ не готовъ цѣною жизни и счастья купить эту вѣру, для которой еще не настала часъ его?.. Вы говорите, что онъ эгоистъ? — Но развѣ онъ не презираетъ и не ненавидитъ себя за это? Развѣ сердце его не жаждетъ любви чистой и безкорыстной? — Нѣтъ, это не эгоизмъ: эгоизмъ не страдаетъ, не обвиняетъ себя, но доволенъ собою, радъ себѣ. Эгоизмъ не знаетъ мученій; страданіе есть удѣлъ одной любви. Душа Печорина не каменная почва, но засохшая отъ зноя пламенной жизни земля: пусть взрыхлитъ ее страданіе и ороситъ благодатный дождь, и она произраститъ изъ себя пышные, роскошные цвѣты небесной любви... Этому человѣку стало больно и грустно, что всѣ его не любятъ, — и кто же эти «всѣ»? — пустые, ничтожные люди, которые не могутъ простить ему его превосходства надъ ними. А его готовность задушить въ себѣ ложный стыдъ, голосъ свѣтской чести и оскорбленнаго самолюбія, когда онъ за признаніе въ клеветѣ готовъ былъ простить Грушницкому, человѣку, сейчасъ только выстрѣлившему въ него пулею и безстыдно ожидавшему отъ него холостого выстрѣла? А его слезы и рыданія въ пустынной степи, у тѣла издохшаго коня? — Нѣтъ, все это не эгоизмъ! Но его — скажете вы — холодная расчетливость, систематическая разсчитанность, съ которою онъ обольщаетъ бѣдную дѣвушку, не любя ее, и только

для того, чтобы посмѣяться надъ нею и чѣмъ-нибудь занять свою праздность? — Такъ, но мы и не думаемъ оправдывать его въ такихъ поступкахъ, ни выставить его образцомъ, высокимъ идеаломъ чистѣйшей нравственности; мы только хотимъ сказать, что въ человѣкѣ должно видѣть человѣка, и что идеалы нравственности существуютъ въ однихъ классическихъ трагедіяхъ и морально-сентиментальныхъ романахъ прошлаго вѣка. Судя о человѣкѣ, должно брать въ разсмотрѣніе обстоятельства его развитія и сферу жизни, въ которую онъ поставленъ судьбою. Въ идеяхъ Печорина много ложнаго, въ ощущеніяхъ его есть искаженіе; но все это выкупается его богатою натурою. Его, во многихъ отношеніяхъ, дурное настоящее обѣщаетъ прекрасное будущее. Вы восхищаетесь быстрымъ движеніемъ парохода, видите въ немъ великое торжество духа надъ природою и хотите потомъ отрицать въ немъ всякое достоинство, когда онъ сокрушается, какъ зерно жерновъ, неосторожныхъ, понавшихъ подъ его колеса: не значитъ ли это противорѣчить самимъ себѣ? Опасность отъ парохода есть результатъ его чрезмѣрной быстроты; слѣдовательно, порокъ его выходитъ изъ его достоинства. Бываютъ люди, которые отвратительны, при всей безукоризненности своего поведенія, потому что она въ нихъ есть слѣдствіе безжизненности и слабости духа. Порокъ возмутителенъ и въ великихъ людяхъ; но, наказанный, онъ приводитъ въ умиленіе вашу душу. Это наказаніе только тогда есть торжество нравственнаго духа, когда оно является не извинѣ, но есть результатъ самого порока, отрицаніе собственной личности индивидуума, въ оправданіе вѣчныхъ законовъ оскорбленной нравственности. Авторъ разбираемаго нами романа, описывая паружность Печорина, когда онъ съ нимъ встрѣтился на большой дорогѣ, вотъ что говоритъ объ его глазахъ: «Они не смѣялись, когда онъ смѣялся... Вамъ не случалось замѣчать такой странности у нѣкоторыхъ людей? Это признакъ или злого нрава, или глубокой, постоянной грусти. Изъ-за полуопущенныхъ рѣсницъ они сіяли какимъ-то фосфорическимъ блескомъ, если можно такъ выразиться. То не было отраженіе жара душевнаго или играющаго воображенія: то былъ блескъ, подобный блеску гладкой стали, ослѣпительный, но холодный; взглядъ его — непродолжительный, но пронизательный и тяжелый оставлялъ по себѣ непріятное впечатлѣніе нескромнаго вопроса и могъ казаться дерзкимъ, если бы не былъ столь равнодушно спокоенъ». Согласитесь, что какъ эти глаза, такъ и вся сцена свиданія Печорина съ Максимомъ Максимычемъ показываютъ, что если это порокъ, то совсѣмъ не торжествующій, и надо быть рожденнымъ для добра, чтобы такъ жестоко быть наказану за зло?.. Торжество нравственнаго духа гораздо поразительнѣе совершается надъ благородными натурами, чѣмъ надъ злодѣями...

А между тѣмъ этотъ романъ — совѣтъ не злая иронія, хотя и очень легко можетъ быть принятъ за иронию; это одинъ изъ тѣхъ романовъ,

Въ которыхъ отразился вѣкъ,  
И современный человѣкъ  
Изображёнъ довольно вѣрно,  
Съ его безправственной душой  
Себялюбивой и сухой,  
Мечтанью преданной безмѣрно,  
Съ его озлобленнымъ умомъ,  
Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ.

«Хорошъ же современный человѣкъ!» воскликнулъ одинъ право-описательный «сочинитель», разбирая, или, лучше сказать, ругая седьмую главу «Евгенія Онѣгина». Здѣсь мы почитаемъ кстати замѣтить, что всякій современный человѣкъ, въ смыслѣ представителя своего вѣка, какъ бы онъ ни былъ дурень, не можетъ быть дурень, потому что нѣтъ дурныхъ вѣковъ, и ни одинъ вѣкъ не хуже и не лучше другого, потому что онъ есть необходимый моментъ въ развитіи человечества или общества.

Пушкинъ спрашивалъ самого себя о своемъ Онѣгинѣ:

Чудакъ печальный и опасный,  
Созданье ада или небесъ,  
Сей ангель, сей надменный бѣсъ,  
Что жъ онъ? Ужели подражанье,  
Ничтожный призракъ, или еще  
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,  
Чужихъ причудъ истолкованье,  
Словъ модныхъ полный лексиконъ, —  
Ужъ не пародія ли онъ?

И этимъ самымъ вопросомъ онъ разрѣшилъ загадку и нашелъ слово. Онѣгинъ — не подражаніе, а отраженіе, но сдѣлавшееся не въ фантазій поэта, а въ современномъ обществѣ, которое онъ изобразилъ въ лицѣ героя своего поэтическаго романа. Сближеніе съ Европою должно было особеннымъ образомъ отразиться въ нашемъ обществѣ, — и Пушкинъ, гениальнымъ инстинктомъ великаго художника, уловилъ это отраженіе въ лицѣ Онѣгина. Но Онѣгинъ для насъ уже прошедшее, и прошедшее невозвратное.

Если бы онъ явился въ наше время, вы имѣли бы право спросить вмѣстѣ съ поэтомъ:

Все тотъ же ль онъ, или усмирился?  
Иль корчитъ такъ же дурака?  
Скажите, чѣмъ онъ возвратился?  
Что намъ представить онъ пока?

Чѣмъ нинѣ явится? — Мельмотомъ,  
 Космополитомъ, патріотомъ,  
 Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой,  
 Иль маской щегольпеть нной?  
 Иль просто будетъ добрый малый,  
 Какъ вы да я, какъ цѣлѣи свѣтъ?

Печоринъ Лермонтова есть лучшій отвѣтъ на всѣ эти вопросы. Это — Онѣгинъ нашего времени, герой нашего времени. Несходство ихъ между собою гораздо меньше разстоянія между Онѣгою и Печорою. Иногда, въ самомъ имени, которое истинный поэтъ даетъ своему герою, есть разумная необходимость, хотя, можетъ-быть, и невидимая самимъ поэтомъ.

Со стороны художественнаго выполненія нечего и сравнивать Онѣгина съ Печоринымъ. Но какъ выше Онѣгинъ Печорина въ художественномъ отношеніи, такъ Печоринъ выше Онѣгина по идѣ. Впрочемъ, это преимущество принадлежитъ нашему времени, а не Лермонтову.

Что такое Онѣгинъ? — Лучшею характеристикой и истолкованіемъ этого лица можетъ служить французскій эпитафій къ поэмѣ: «Petri de vanité il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions, suite d'un sentiment de supériorité, peut-être imaginaire». Мы думаемъ, что это превосходство въ Онѣгинѣ нисколько не было воображаемымъ, потому что онъ «вчужѣ чувства уважалъ» и что въ «его сердцѣ была и гордость, и прямая честь». Онъ является въ романѣ человѣкомъ, котораго убили воспитаніе и свѣтская жизнь, которому все приглядѣлось, все пріѣлось, все прилюбилось и котораго вся жизнь состояла въ томъ:

Что онъ равно зѣвалъ  
 Средь модныхъ и старинныхъ залъ.

Не таковъ Печоринъ. Этотъ человѣкъ не равнодушно, не апатически несетъ свое страданіе: бѣшено гоняется онъ за жизнью, ища ея повсюду; горько обвиняетъ онъ себя въ своихъ заблужденіяхъ. Въ немъ неумолчно раздаются внутренніе вопросы, тревожатъ его, мучатъ, и онъ въ рефлексіи ищетъ ихъ разрѣшенія: подсматриваетъ каждое движеніе своего сердца, разсматриваетъ каждую мысль свою. Онъ сдѣлалъ изъ себя самый любопытный предметъ своихъ наблюденій, и, стараясь быть какъ можно искреннѣе въ своей исповѣди, не только откровенно признается въ своихъ истинныхъ недостаткахъ, но еще и выдумываетъ небывалые или ложно истолковываетъ самыя естественныя свои движенія. Какъ въ характеристикѣ современнаго человѣка, сдѣланной Пушкинымъ, выражается весь Онѣгинъ, такъ Печоринъ — весь въ этихъ стихахъ Лермонтова:



И ненави́димъ мы, и любимъ мы случайно,  
 Ницѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви,  
 И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,  
 Когда огонь кипитъ въ крови.

«Герой нашего времени» это — грустная дума о нашемъ времени какъ и та, которою такъ благородно, такъ энергически возобновилъ поэтъ свое поэтическое поприще, и изъ которой мы взяли эти четыре стиха...

Но со стороны формы изображеніе Печорина не совсѣмъ художественно. Однако причина этого — не въ недостаткѣ таланта автора, а въ томъ, что изображаемый имъ характеръ, какъ мы уже слегка и намекнули, такъ близокъ къ нему, что онъ не въ силахъ былъ отдѣлиться отъ него и объектировать его. Мы убѣждены, что никто не можетъ видѣть въ словахъ нашихъ желаніе выставить романъ г. Лермонтова автобіографіею. Субъективное изображеніе лица не есть автобіографія. Шиллеръ не былъ разбойникомъ, хотя въ Карлѣ Моорѣ и выразилъ свой идеалъ чловѣка. Прекрасно выразился Фарнгагенъ, сказавъ, что на Огѣгина и Ленскаго можно бы смотрѣть какъ на братьевъ Вульта и Вальта у Жанъ-Поля Рихтера, т.-е. какъ на разложеніе самой природы поэта, и что онъ, можетъ-быть, воплотилъ двойство своего внутренняго существа въ этихъ двухъ живыхъ созданіяхъ. Мысль вѣрная, а между тѣмъ было бы очень нелѣпо искать сходныхъ чертъ въ жизни этихъ лицъ съ жизнью самого поэта.

Вотъ причина неопредѣленности Печорина и тѣхъ противорѣчій, которыми такъ часто опутывается изображеніе этого характера. Чтобы изобразить вѣрно данный характеръ, надо совершенно отдѣлиться отъ него, стать выше его, смотрѣть на него, какъ на пѣчто оконченное. Но этого, повторяемъ, не видно въ созданіи Печорина. Онъ скрывается отъ насъ такимъ же неполнымъ и неразгаданнымъ существомъ, какъ и является намъ въ началѣ романа. Оттого и самый романъ, поражая удивительнымъ единствомъ ощущенія, нисколько не поражаетъ единствомъ мысли и оставляетъ насъ безъ всякой перспективы, которая невольнo возникаетъ въ фантазіи читателя, по прочтеніи художественнаго произведенія, и въ которую невольнo погружается очарованный взоръ его. Въ этомъ романѣ удивительная замкнутость созданія, по не та высшая, художественная, которая сообщается созданію чрезъ единство поэтической идеи, а происходящая отъ единства поэтическаго ощущенія, которымъ онъ такъ глубоко поражаетъ душу читателя. Въ немъ есть что-то неразгаданное, какъ бы недоговоренное, какъ въ «Вертерѣ» Гёте, и потому есть что-то тяжелое въ его впечатлѣніи. Но этотъ недостатокъ есть въ то же время и достоинство романа г. Лермонтова: таковы бывають всѣ современные общественные вопросы;

высказываемые въ поэтическихъ произведеніяхъ: это — вопль страданія, но вопль, который облегчаетъ страданіе...

Это же единство ощущенія, а не идеи, связываетъ и весь романъ. Въ «Опѣнѣ» всѣ части органически сочленены, ибо въ избранной рамкѣ романа своего Пушкинъ исчерпалъ всю свою идею, и потому въ немъ ни одной части нельзя ни измѣнить, ни замѣнить. «Герой нашего времени» представляетъ собою нѣсколько рамокъ, вложенныхъ въ одну большую раму, которая состоитъ въ названіи романа и единствѣ героя. Части этого романа расположены сообразно съ внутреннею необходимостью; но какъ онѣ суть только отдѣльные случаи изъ жизни хотя и одного и того же человѣка, то и могли бы быть замѣнены другими, ибо вмѣсто приключенія въ крѣпости съ Бѣлоу или въ Тамани могли бы быть подобныя же и въ другихъ мѣстахъ, и съ другими лицами, хотя при одномъ и томъ же героѣ. Но, тѣмъ не менѣе, основная мысль автора даетъ имъ единство, и общность ихъ впечатлѣнія поразительна, не говоря уже о томъ, что «Бѣла», «Максимъ Максимычъ» и «Тамань», отдѣльно взятая, суть въ высшей степени художественныя произведенія. И какія типическія, какія дивно-художественныя лица — Бѣлы, Азамата, Казбича, Максима Максимыча, дѣвушки въ Тамани! Какія поэтическія подробности, какой на всемъ поэтической колоритъ!

Но «Княжна Мери» и какъ отдѣльно взятая повѣсть менѣе всѣхъ другихъ художественна. Изъ лицъ одинъ Грушницкій есть истинно-художественное созданіе. Драгунскій капитанъ безподобенъ, хотя и является въ тѣни, какъ лицо меньшей важности. Но всѣхъ слабѣе описаны лица женскія, потому что на нихъ-то особенно стразилась субъективность взгляда автора. Лицо Вѣры особенно неуловимо и неопредѣленно. Это скорѣе сатира на женщину, чѣмъ женщина. Только что начинаете вы ею интересоваться и очаровываться, какъ авторъ готчасъ же и разрушаетъ ваше участіе и очарованіе какою-нибудь совершенно произвольною выходкою. Отношенія ея къ Печорину похожи на загадку. То она кажется вамъ женщиною глубокою, способною къ безграничной любви и преданности, къ героическому самоотверженію, то видите въ ней одну слабость, и больше ничего. Особенно ощутителенъ въ ней недостатокъ женственной гордости и чувства своего женственного достоинства, которыя не мѣшаютъ женщинѣ любить горячо и беззавѣтно, но которая едва ли когда допуститъ истинно глубокую женщину сносить тиранство любви. Она любитъ Печорина, а въ другой разъ выходитъ замужъ, и еще за старика, слѣдовательно, по расчету, по какому бы то ни было; измѣнивъ для Печорина одному мужу, измѣняетъ и другому, и скорѣе по слабости, чѣмъ по увлеченію чувства. Она обожаетъ въ Печоринѣ его высшую природу,

и въ ея обожаніи есть что-то рабское. Вслѣдствіе всего этого она не возбуждаетъ къ себѣ сильнаго участія со стороны автора и, подобно тѣни, проскользаетъ въ его воображеніи. Княжна Мери изображена удачнѣе. Это дѣвушка неглупая, но и не пустая. Ея направленіе нѣсколько идеально, въ дѣтскомъ смыслѣ этого слова: ей мало любить человѣка, къ которому влекло бы ее чувство, непременно надо, чтобы онъ былъ несчастенъ и ходилъ въ толстой и сѣрой солдатской шинели. Печорину очень легко было оболъстать ее: стоило только казаться непонятнымъ и таинственнымъ и быть дерзкимъ. Въ ея направленіи есть нѣчто общее съ Грушницкимъ, хотя она и несравненно выше его. Она допустила обмануть себя; но когда увидѣла себя обманутою, она, какъ женщина, глубоко почувствовала свое оскорбленіе и пала его жертвою, безотвѣтною, безмолвно страдающею, но безъ униженія, — и сцена ея послѣдняго свиданія съ Печоринымъ возбуждаетъ къ ней сильное участіе и обливаетъ ея образъ блескомъ поэзіи. Но, несмотря на это, и въ ней есть что-то какъ будто бы недосказанное, чему опять причиною то, что ея тяжбу съ Печоринимъ судило не третье лицо, какимъ бы долженъ былъ явиться авторъ.

Однако при всемъ этомъ недостатокъ художественности, вся повѣсть насквозь проникнута поэзіею, исполнена высочайшаго интереса. Каждое слово въ ней такъ глубоко-знаменательно, самые парадоксы такъ поучительны, каждое положеніе такъ интересно, такъ живо обрисовано! Слогъ повѣсти — то блескъ молніи, то ударъ меча, то разсыпавшійся по бархату жемчугъ! Основная идея такъ близка сердцу всякаго, кто мыслить и чувствуетъ, что всякій изъ *такихъ*, какъ бы ни противоположно было его положеніе положеніямъ, въ ней представленнымъ, увидитъ въ ней исповѣдь собственнаго сердца.

Въ «Предисловіи» къ журналу Печорина авторъ, между прочимъ, говоритъ:

Я помѣстилъ въ этой книгѣ только то, что относилось къ пребыванію Печорина на Кавказѣ. Въ моихъ рукахъ осталась еще толстая тетрадь, гдѣ онъ рассказываетъ всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на судъ свѣта, но теперь я не могу взять на себя эту отвѣтственность.

Благодаримъ автора за пріятное обѣщаніе, но сомнѣваемся, чтобы онъ его выполнилъ: мы крѣпко убѣждены, что онъ навсегда разстался съ своимъ Печоринимъ. Въ этомъ убѣжденіи утверждаетъ насъ признаніе Гёте, который говоритъ въ своихъ запискахъ, что, написавъ «Вертера», бывшего плодомъ тяжелаго состоянія его духа, онъ освободился отъ него и былъ такъ далекъ отъ героя своего романа, что ему смѣшно было видѣть, какъ сходилъ отъ него съ ума пылкая молодежь... Такова благородная природа поэта: собственною силою своею вырывается онъ изъ всякаго момента ограниченности и летитъ къ по-

вымъ, живымъ явленіямъ міра, въ полное славы творенье... Объективируя собственное страданіе, онъ освобождается отъ него; перевода на поэтическіе звуки диссонансы духа своего, онъ снова входитъ въ родную ему сферу вѣчной гармоніи... Если же г. Лермонтовъ и выполнитъ свое обѣщаніе, то мы увѣрены, что онъ представитъ уже не стараго и знакомаго намъ, о которомъ онъ уже все сказалъ, а совершенно новаго Печорина, о которомъ еще можно много сказать. Можетъ-быть, онъ покажетъ его намъ исправившимся, признавшимъ законы нравственности, но, вѣрно, ужъ не въ утѣшеніе, а въ пущее огорченіе моралистовъ: можетъ-быть, онъ заставитъ его признать разумность и блаженство жизни, но для того, чтобы увѣриться, что это не для него, что онъ много утратилъ силъ въ ужасной борьбѣ, ожесточился въ ней и не можетъ сдѣлать эту разумность и блаженство своимъ достояніемъ... А можетъ-быть, и то: онъ сдѣлаетъ его и причастникомъ радостей жизни, торжествующимъ побѣдителемъ надъ злымъ гениемъ жизни... Но то или другое, а во всякомъ случаѣ искупленіе будетъ совершенно черезъ одну изъ тѣхъ женщинъ, существованію которыхъ Печоринъ такъ упрямо не хотѣлъ вѣрить, основываясь не на своемъ внутреннемъ созерцаніи, а на бѣдныхъ опытахъ своей жизни... Такъ сдѣлалъ и Пушкинъ съ своимъ Онѣгинымъ: отвергнутая имъ женщина воскресила его изъ смертнаго усыпленія для прекрасной жизни, но не для того, чтобы дать ему счастье, а для того, чтобы наказать его за невѣріе въ таинство любви и жизни и въ достоинство женщины...

Давно ли привѣтствовали мы первое изданіе «Героя нашего времени» большою критическою статьею, и, полные гордыхъ, величавыхъ и сладостныхъ надеждъ, со всемъ жаромъ убѣжденія, основаннаго на сознаніи, указывали русской публикѣ на Лермонтова, какъ на великаго поэта въ будущемъ, смотрѣли на него, какъ на преемника Пушкина въ настоящемъ!.. И вотъ проходитъ не болѣе года, — мы встрѣчаемъ новое изданіе «Героя нашего времени» горькими слезами о невозвратимой утратѣ, которую понесла осиротѣлая русская литература въ лицѣ Лермонтова!.. Несмотря на общее единодушное вниманіе, съ какимъ приняты были его первые опыты, несмотря на какое-то безусловное ожиданіе отъ него чего-то великаго, — наши восторженные похвалы и радостные привѣты новому свѣтилу поэзіи для многихъ благоразумныхъ людей казались преувеличенными... Слава ихъ благоразумію, такъ много теперь выправшему, и горе намъ, такъ много утратившимъ!.. Въ сознаніи великой, невознаградимой утраты, въ полногѣдѣкаго, грустнаго чувства, отравляющаго сердце, мы готовы великодушно увеличить торжество осторожнаго въ своихъ приговорахъ

возмѣнія и охотно сознаться, что, говоря такъ много о Лермонтовѣ, мы видѣли болѣе будущаго, нежели настоящаго Лермонтова, — видѣли Алкида, въ колыбели удушающаго змѣй зависти, но еще не Алкида, сражающаго ужасною палицею лернейскую гидру... Да, все написанное Лермонтовымъ еще недостаточно для упроченія колоссальной славы, и болѣе значительно, какъ предвѣстіе будущаго, а не какъ что-нибудь положительно и безотносительно великое, хотя и само по себѣ все это составляетъ важный и примѣчательный фактъ, рѣшительно выходящій изъ круга обыкновеннаго. Первые лирическія пьесы: «Руслаи и Людмила» и «Кавказскій плѣнникъ», еще не могли составить славы Пушкина, какъ великаго мірового поэта; но въ нихъ уже видѣлся будущій создатель «Цыганъ», «Опѣгина», «Бориса Годунова», «Моцарта и Сальери», «Скупого рыцаря», «Русалки», «Каменнаго гостя» и другихъ великихъ поэмъ... Толпа судитъ и дѣлаетъ свои приговоры заднимъ числомъ; она говоритъ, когда уже не боится поговориться. Толпа идетъ ощупью и о твердости встрѣченнаго ею предмета судитъ по силѣ толчка, съ которымъ наткнулась на него. Оставляя за толпою право видѣть вещи не иначе, какъ оборачиваясь назадъ, не будемъ отнимать права у людей заглядывать впередъ и по настоящему предсказывать о будущемъ... Всякому свое: толпѣ — кричать, людямъ — мыслить... Пусть же кричитъ она, а мы снова повторимъ: новая великая утрата осиротила бѣдную русскую литературу!..

Самыя первые произведенія Лермонтова были ознаменованы печатью какой-то особенности: они не походили ни на что являвшееся до Пушкина и послѣ Пушкина. Трудно было выразить словомъ, что въ нихъ было особеннаго, отличавшаго ихъ даже отъ явленій, которыя носили на себѣ отблескъ истиннаго и замѣчательнаго таланта. Тутъ было все — и самобытная, живая мысль, одушевлявшая обаятельно прекрасную форму, какъ теплая кровь одушевляетъ молодой организмъ и яркимъ, свѣжимъ румянцемъ проступаетъ на ланитахъ юной красоты; тутъ была и какая-то мощь, горделиво владѣвшая собою и свободно подчинявшая идеѣ своеправные порывы свои; тутъ была и эта оригинальность, которая въ простотѣ и естественности открываетъ собою новыя, дотошъ невиданные міры и которая есть достоинство однихъ гениевъ; тутъ было много чего-то столь индивидуальнаго, столь тѣсно соединеннаго съ личностью творца, — много такого, что мы не можемъ иначе охарактеризовать, какъ назвавши «лермонтовскимъ элементомъ»... Какой избытокъ силы, какое разнообразіе идей и образовъ, чувствъ и картинъ! Какое сильное сліяніе энергіи и граціи, глубины и легкости, возвышенности и простоты! Читая всякую строку, вышедшую изъ-подъ пера Лермонтова, будто слушаешь музыкальные



аккорды и въ то же время слѣдишь взоромъ за потрясенными струнами, съ которыхъ сорваны они рукою невидимою... Тутъ, кажется, соприсутствуешь духомъ таинству мысли, рождающейся изъ ощущенія, какъ рождается бабочка изъ некрасивой личинки... Тутъ нѣтъ лишняго слова, не только лишней страницы: все на мѣстѣ, все необходимо, потому что все перечувствовано прежде, чѣмъ сказано, все видѣно прежде, чѣмъ положено на картину... Нѣтъ ложныхъ чувствъ, ошибочныхъ образовъ, натянутого восторга, все свободно, безъ усилія, то бурнымъ потокомъ, то свѣтлымъ ручьемъ излилось на бумагу... Быстрота и разнообразіе ощущеній покорены единству мысли; волненіе и борьба противоположныхъ элементовъ послушно сливаются въ одну гармонію, какъ разнообразіе музыкальныхъ инструментовъ въ оркестръ, послушныхъ волшебному жезлу капельмейстера... Но главное — все это блещетъ своими незамысловатыми красками, все дышитъ самобытною и творческою мыслью, все образуетъ новый, дотошъ невиданный міръ... Только дикіе певѣжды, черствые педанты, которые за буквою не видятъ мысли и случайную вышность всегда принимаютъ за внутреннее сходство, только эти честные и добрые витязи букварей и фоліантовъ могли бы находить въ самобытныхъ вдохновеніяхъ Лермонтова подражанія не только Пушкину или Жуковскому, но и гг. Бенедиктову и Якубовичу...

Повторяемъ: небольшая книжка стихотвореній Лермонтова, конечно, не есть колоссальный монументъ поэтической славы; но она есть живое, говорящее прорицаніе великой поэтической славы. Это еще не симфонія, а только пробные аккорды, но аккорды, взятые рукою юнаго Бетховена... Просвѣщенный иностранецъ, знакомый съ русскимъ языкомъ, прочитавъ стихотворенія Лермонтова, не увидѣлъ бы въ ихъ малочисленности богатства русской литературы, не изумился бы силѣ русской фантазіи, даровитости русской натуры... Нѣкоторые изъ нихъ законно могли бы явиться въ свѣтъ съ подписью имени Пушкина и другихъ величайшихъ мастеровъ поэзіи... «Герой нашего времени» обнаружилъ въ Лермонтовѣ такого же великаго поэта въ прозѣ, какъ и въ стихахъ. Этотъ романъ былъ книгою, вполне оправдывавшею свое названіе. Въ ней авторъ является рѣшителемъ важныхъ современныхъ вопросовъ. Его Печоринъ — какъ современное лицо — Оиѣгинъ нашего времени. Обыкновенно наши поэты жалуются — можетъ-быть, и не безъ основанія — на скудость поэтическихъ элементовъ въ жизни русскаго общества; но Лермонтовъ въ своемъ «герое» умѣлъ и изъ этой безплодной почвы извлечь богатую поэтическую жатву. Не составляя цѣлаго, въ строгомъ художественномъ смыслѣ, почти всѣ эпизоды его романа образуютъ собою очаровательные поэтическіе міры. «Бѣла» и «Тамань» въ особенности могутъ считаться одними изъ драгоцѣннѣй-

нихъ жемчужинъ русской поэзіи; а въ нихъ еще остается столько дивныхъ подробностей и картинъ, въ которыхъ съ такою отчетливостью обрисовано типическое лицо Максима Максимыча! «Княжна Мери» менѣе удовлетворяетъ въ смыслѣ объективной художественности. Рѣшая слишкомъ близкіе сердцу своему вопросы, авторъ не советѣмъ успѣлъ освободиться отъ нихъ и, такъ сказать, перѣдко въ нихъ путался; но это даетъ повѣсти новый интересъ и новую прелесть, какъ самый животрепещущій вопросъ современности, для удовлетворительнаго рѣшенія котораго нуженъ былъ великій переломъ въ жизни автора... Но,—увы!—этой жизни суждено было проблеснуть блестящимъ метеоромъ, оставить послѣ себя длинную струю свѣта и благоуханія и—исчезнуть во всей красѣ своей...

Прекрасное потгло въ пышномъ цвѣтѣ...  
 Таковъ удѣлъ прекраснаго на свѣтѣ!  
 Губителемъ неслышнымъ и незримымъ,  
 Во всѣхъ путяхъ бѣда насъ сторожитъ,  
 Приюта нѣтъ главамъ, равно грозимымъ,  
 Гдѣ не была, тамъ будетъ и сразитъ.  
 Вотще дерзать въ борьбу съ необходимымъ:  
 Житейскаго никто не побѣдитъ.  
 Гнетомы всѣ единой грозной силой.  
 Намъ вѣмъ сказать о здѣшнемъ счастьѣ: «было!»

Какъ всѣ великіе таланты, Лермонтовъ въ высшей степени обладалъ тѣмъ, что называется «слогомъ». Слогъ отнюдь не есть простое умѣнье писать грамматически правильно, гладко и складно, — умѣнье, которое часто дается и безталантности. Подъ «слогомъ» мы разумѣемъ непосредственное, данное природою умѣнье писателя употреблять слова въ ихъ настоящемъ значеніи, выражаясь сжато, высказывать много, быть краткимъ въ многословіи и плодовитымъ въ краткости, тѣсно сливать идею съ формою и на все налагать оригинальную, самобытную печать своей личности, своего духа. Предисловіе Лермонтова ко второму изданію «Героя нашего времени» можетъ служить лучшимъ примѣромъ того, что значить «имѣть слогъ». Выписываемъ это предисловіе:

Во всякой книгѣ предисловіе есть первая и вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдняя вещь; оно или служитъ объясненіемъ цѣли сочиненія, или оправданіемъ и отвѣтомъ на критики. Но обыкновенно читателямъ нѣтъ дѣла до нравственной цѣли и до журнальных нападковъ, и потому они не читаютъ предисловій. А жаль, что это такъ, особенно у насъ. Наша публика такъ еще молода и простодушна, что не понимаетъ басни, если въ концѣ ея не находится правоученія. Она не угадываетъ шутки, не чувствуетъ ироніи; она просто дурно воспитана. Она еще не знаетъ, что въ порядочномъ обществѣ и въ порядочной книгѣ явная брань не можетъ имѣть мѣста; что современная образованность избрѣла орудіе болѣе острое, почти невидимое и, тѣмъ не менѣе, смертельное, которое, подъ одеждою лестн, напосылъ неотразимый и вѣрный ударъ:

наша публика похожа на провинціала, который, подслушавъ разговоръ двухъ дипломатовъ, принадлежащихъ къ враждебнымъ дворамъ, остался бы увѣренъ, что каждый изъ нихъ обманываетъ свое правительство въ пользу взаимной, нѣжнѣйшей дружбы.

Эта книжка испытала на себѣ еще недавно несчастную довѣрчивость нѣкоторыхъ читателей и даже журналовъ къ буквальному значенію словъ. Иные ужасно обидѣлись — и не шутя — что имъ ставятъ въ примѣръ такого безпачетнаго человѣка, какъ «герой нашего времени»; другіе же очень тонко замѣчали, что сочинитель нарисовалъ свой портретъ и портреты своихъ знакомыхъ... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь такъ ужъ сотворена, что все въ ней обновляется, кромѣ подобныхъ нелѣпостей. Самая волшебная изъ волшебныхъ сказокъ у насъ едва ли избѣгнетъ упрека въ покушеніи на оскорбленіе личности.

«Герой нашего времени», милостивые государи мои, точно портретъ, но не одного человѣка; это портретъ, составленный изъ пороковъ всего нашего поколѣнія, въ полномъ ихъ развитіи. Вы мнѣ опять скажете, что человѣкъ не можетъ быть такъ дурень, а я вамъ скажу, что ежели вы вѣрили возможности существованія всѣхъ трагическихъ и романтическихъ злодѣевъ, — отчего же вы не вѣрите въ дѣйствительность Печорина? — Если вы любовались вымыслами гораздо болѣе ужасными и уродливыми, отчего же этотъ характеръ, даже какъ вымыселъ, не находитъ у васъ пощадъ? Ужъ не оттого ли, что въ немъ больше правды, нежели бы вы того желали?

Вы скажете, что нравственность отъ этого не выплываетъ? Извините. Довольно людей кормили сластями, у нихъ отъ этого испортился желудокъ: пужны горькія лѣкарства, бѣдны истины. Но не думайте, однако, послѣ этого, чтобы авторъ этой книги имѣлъ когда-нибудь гордую мечту сдѣлаться исправителемъ людскихъ пороковъ. Боже его избави отъ такого невѣжества! Ему просто было весело рисовать современнаго человѣка, какимъ онъ его понимаетъ, и, къ его и вашему несчастію, слишкомъ часто встрѣчалъ. Будетъ и того, что болѣзнь указана, а какъ ее излѣчить — это ужъ Богъ знаетъ!

Какая точность и опредѣленность въ каждомъ словѣ, какъ на мѣстѣ и какъ незамѣнно другимъ каждое слово! Какая сжатость, краткость и, вмѣстѣ съ тѣмъ, многозначительность! Читая строки, читаешь и между строками; понимая ясно все сказанное авторомъ, понимаешь еще и то, чего онъ не хотѣлъ говорить, опасаясь быть многорѣчивымъ. Какъ образны и оригинальны его фразы: каждая изъ нихъ годится быть эпитафіей къ большому сочиненію. Конечно, это «слогъ», или мы не знаемъ, что такое «слогъ»...

Немного стихотвореній осталось послѣ Лермонтова. Найдется шесть десятковъ первыхъ его опытовъ, кромѣ большой его поэмы — «Демонъ»; шесть пять новыхъ; которыя подарилъ онъ редактору «Отечественныхъ Записокъ» передъ отъѣздомъ своимъ на Кавказъ... Наслѣдіе не огромное, но драгоцѣнное! «Отечественныя Записки» почтутъ священнымъ долгомъ скоро подѣлиться ими съ своими читателями. Лермонтовъ не много написалъ — безконечно меньше того, сколько позволялъ ему его громадный талантъ. Безпечный характеръ, пылкая молодость, жадная впечатлѣннѣй бытія, самый родъ жизни отвлекали его отъ мирскихъ кабинетныхъ занятій, отъ уединенной думы, столь любезной музамъ; но уже кипучая натура его начала устанавливаться, въ душѣ пробужда-

лась жажда труда и дѣятельности, а орлиный взоръ спокойнѣе сталъ вглядываться въ глубь жизни. Уже затѣвалъ онъ въ умѣ, утомленномъ суетою жизни, созданія зрѣлыя; онъ самъ говорилъ намъ, что замыслилъ написать романтическую трилогію, три романа изъ трехъ эпохъ жизни русскаго общества (вѣка Екатерины II, Александра I и настоящаго времени), имѣющіе между собою связь и нѣкоторое единство, по примѣру куперовской тетралогіи, начинающейся «Послѣднимъ изъ могиканъ», продолжающейся «Путеводителемъ въ пустыни» и «Піонерами» и оканчивающейся «Степями»... какъ вдругъ —

Младой пѣвецъ  
Нашелъ безвременный копецъ!  
Дохнула буря, цвѣтъ прекрасный  
Увялъ на утренней зарѣ!  
Потухъ огонь на алтарѣ!..

*Вѣлинскій.*

## Пушкинъ и Лермонтовъ.

Самую свѣжую и интересную новость въ современной русской литературѣ, безъ всякаго сомнѣнія, составляетъ теперь нѣсколько новыхъ и доселѣ неизвѣстныхъ публикѣ стихотвореній покойнаго Лермонтова. Неожиданный случай доставилъ ихъ намъ въ руки, и мы посмѣлились подѣлиться съ нашими читателями высокимъ наслажденіемъ этихъ какъ будто бы замогильныхъ звуковъ столь много обѣщавшей и столь безвременно замолкнувшей лиры. Нѣтъ нужды говорить и доказывать, что Лермонтовъ былъ великій поэтъ: въ этомъ уже давно и единодушно согласились все, кто только не лишенъ здраваго смысла и эстетическаго чувства. Блескъ поэтическаго ореола загорѣлся надъ головой молодого поэта тотчасъ же, со времени появленія первыхъ его опытовъ. Немного Лермонтовъ успѣлъ произвести, но это немногое тотчасъ же дало ему, во мнѣніи общества, мѣсто подлѣ Пушкина. Мало того: теперь уже спорять не о томъ, можетъ ли имя Лермонтова упоминаться вмѣстѣ съ именемъ Пушкина, но о томъ: кто выше — Пушкинъ или Лермонтовъ? Подобный вопросъ и подобный споръ могутъ быть плодомъ самаго смѣшнаго дѣтства, если въ нихъ дѣло будетъ идти не объ идеяхъ, а объ именахъ. Вообще, сравненія одного великаго поэта съ другимъ чрезвычайно трудны; если же въ нихъ видно желаніе возвысить или уронить его на счетъ другого, то они просто нелѣпы и пошлы. Однакожъ злоупотребленіе какого-нибудь дѣла не должно унижать самаго дѣла, и сравненіе одного писателя съ другимъ, дѣлаемое съ цѣлью оцѣнить вѣрно и безпристрастно достоинства и недостатки каждаго изъ нихъ, съ полнымъ уваженіемъ къ обоимъ, есть одна изъ важнѣйшихъ задачъ.

здравой и основательной критики. Результатомъ такого сравненія никогда не можетъ быть пошлое заключеніе, что Пушкинъ никуда не годится, потому что Лермонтовъ хорошъ, или что Лермонтовъ никуда не годится, потому что Пушкинъ хорошъ. Нѣтъ, результатомъ такого сравненія можетъ быть только объясненіе, въ чемъ именно заключается и великая, и слабая сторона того и другого поэта, чѣмъ одинъ изъ нихъ и выше, и ниже другого. Не время и не мѣсто распространяться здѣсь о такомъ важномъ вопросѣ, какъ сравненіе Пушкина и Лермонтова; но мы считаемъ кстати сказать по этому поводу нѣсколько словъ, тѣмъ болѣе, что теперь другіе толкуютъ объ этомъ кстати и не кстати, вкривъ и вкосъ.

Сравненіе Пушкина съ Лермонтовымъ особенно трудно по тому горестному обстоятельству, которое какъ будто бы сдѣлалось неизбѣжною участью нашихъ великихъ поэтовъ: мы разумѣмъ безвременный конецъ ихъ попрница, вслѣдствіе котораго нельзя судить о нихъ, какъ о поэтахъ вполне развившихся и опредѣлившихся. Это особенно относится къ Лермонтову.

Посмертныя сочиненія Пушкина — лучшія, художественнѣйшія его созданія, ясно обнаруживаютъ вполне установившееся направленіе его. Они не совсѣмъ безосновательно были приняты публикой холодно. Въ объясненіи противорѣчій, почему лучшія и художественнѣйшія созданія Пушкина не безосновательно приняты были публикой холодно, заключается объясненіе тайны поэзіи Пушкина и значенія его, какъ поэта. Пушкинъ — это художникъ по преимуществу. Его назначеніе — осуществить на Руси идею поэзіи, какъ искусства. Намъ скажутъ: неужели же до Пушкина не было на Руси ни поэзіи, ни поэтовъ, и неужели поэзія Пушкина не имѣетъ никакой связи съ поэзіей предшествовавшихъ ему поэтовъ, неужели она не развилась исторически, а словно съ неба спустилась къ намъ? На такой вопросъ, имѣющій всю вѣщность истины и совершенно ложный въ сущности, мы отвѣтимъ вопросомъ же, только истиннымъ и извнѣ, и изнутри: неужели до грековъ не было на землѣ искусства, и поэзія индусовъ, изваянія египтянъ не заслуживаютъ никакого вниманія, какъ произведенія искусства? Нѣтъ, они составляютъ одинъ изъ интереснѣйшихъ предметовъ изученія для эстетики, археологій и исторіи изящнаго; а между тѣмъ искусство, какъ искусство, въ полномъ, нынѣшномъ и благоуханномъ цвѣтѣ своего развитія явилось только у грековъ, и, въ этомъ смыслѣ, послѣ грековъ ни одинъ народъ доселѣ не имѣлъ такого искусства. И все-таки это нисколько не противорѣчитъ той исторической истинѣ, что искусство грековъ было подготовлено искусствомъ другихъ, предшествовавшихъ имъ на попрницѣ развитія народовъ. Такимъ же точнымъ образомъ, не лишая заслуженной славы



предшествовавшихъ Пушкину поэтовъ, не отрицая ихъ вліянія на него, вполне признавая, что безъ нихъ не было бы и его, можно утверждать, что поэзія, какъ искусство, какъ *это*, а не что-нибудь другое, явилась на Руси только съ Пушкинымъ и черезъ Пушкина. Для такого подвига нужна была натура до того артистическая, до того художественная, что она и могла быть только такою натурою, и ничѣмъ больше. Отсюда проистекають и великія достоинства, и великіе недостатки поэзіи Пушкина. И эти недостатки, не случайные, а тѣсно связанные съ достоинствами, необходимо обуславливаются ими такъ же, какъ лицо необходимо обуславливаетъ собою затылокъ: потому что у кого есть лицо, у того не можетъ не быть затылка. Скажемъ сперва о достоинствахъ поэзіи Пушкина, а потомъ уже о недостаткахъ, необходимо вытекающихъ изъ самыхъ этихъ достоинствъ. Пушкинъ первый сдѣлалъ русскій языкъ поэтическимъ, а поэзію—русскою. Стихъ его неподражаемо художественъ, эластиченъ, рельефенъ, упруго-мягокъ. Въ отношеніи къ художественности и виртуозности поэтического стиха и поэтическихъ образовъ, Пушкинъ можетъ быть сравниваемъ съ величайшими европейскими именами. Что бы ни говорили о стихѣ Жуковского (дѣйствительно превосходномъ), но между нимъ и стихомъ Пушкина такое же (если еще не большее) разстояніе, какъ между стихомъ Дмитріева (Н. И.) и стихомъ Жуковского. Но еще не велика была бы заслуга Пушкина, если бы достоинство стиха его было чисто внѣшнее, какъ, напримѣръ, стихи г. Языкова и другихъ; нѣтъ, стихъ Пушкина, полный мелодіи и гармоніи, силы и граціи, упругости и нѣжности, металлической твердости и хрустальной прозрачности, былъ выраженіемъ поэтической его натуры: этотъ дивный человѣкъ былъ художникомъ не только въ стихѣ своемъ, но и въ своемъ чувствѣ. Объяснимся.

Чувство свойственно всякому человѣку, но у каждаго человѣка оно имѣетъ свой характеръ. Есть люди, у которыхъ самыя возвышенныя, самыя благородныя чувства имѣють въ себѣ что-то тяжелое, грубое; у другихъ самыя глубокія чувства имѣють въ себѣ что-то мягкое до слабости и т. д. Преобладающій характеръ чувства Пушкина—художественная красота, виртуозность, если можно такъ выразиться, при гибкости и силѣ. Чувство Пушкина изящно само по себѣ, взятое отдѣльно отъ его выраженія; и выраженіе его, по одному уже этому, не могло не быть изящно. Каждое стихотвореніе Пушкина можетъ служить доказательствомъ нашихъ словъ; но мы въ особности укажемъ на «Разлуку» («Для береговъ отчизны дальней»). Подобно Гёте, Пушкинъ есть поэтъ внутренняго міра души и можетъ быть, еще болѣе, чѣмъ Гёте, способенъ воспитать чувство человека, разработать и развить его, сдѣлать его эстетически прекраснымъ.

Если поэзія, взятая только какъ искусство, даже виѣ ей философскаго или нравственнаго значенія, улучшаѣ душу человѣка, то лучшее доказательство этому можетъ представить собою поэзія Пушкина. Это только лицевая сторона поэзіи Пушкина: взгляните на нее съ другой стороны, и васъ поразитъ ея объективность — качество, столь превозносимое непонимающими его настоящаго значенія людьми и столь близкое къ нравственному индифферентизму, — отсутствіе одного преобладающаго убѣжденія, а иногда даже устарѣлость во мнѣніяхъ и странныя предразсудки. Таковъ необходимо долженъ быть (особенно въ наше время) всякій художникъ, *который* только художникъ (т.-е. вмѣстѣ съ тѣмъ не мыслитель, не глашатай какой-нибудь могучей думы времени). Онъ — космополитъ въ мірѣ, явленія котораго, въ глазахъ его, все равно прекрасны и равно интересны, какъ явленія природы естествоиспытателя; онъ все любитъ и ни къ чему не прилѣпляется; ничего не ненавидитъ, ничего не отрицаетъ. Поэтическая дѣятельность Пушкина удивляетъ своею случайностью въ выборѣ предметовъ. Онъ пытается создать драму изъ русской исторіи до временъ Петра Великаго; дѣлаетъ изъ нея все, что можетъ сдѣлать гениальный поэтъ, — и если, при всемъ этомъ, ему удалось сдѣлать не слишкомъ много, то это ужъ не его вина. Поддѣлка двухъ французовъ заставляетъ его взяться за народныя пѣсни Сербіи, — и онъ создаетъ рядъ пѣсенъ, дышащихъ всею роскошью дикой поэзіи дикаго народа. Въ то же время онъ, по-своему, возсоздаетъ идеаль Донъ-Жуана и производитъ драматическую поэмъ, исполненную первоклассныхъ художественныхъ красотъ. Не спрашивайте: какое отношеніе, какую связь имѣютъ все эти произведенія съ русскимъ обществомъ, съ русской дѣйствительностью? Несмотря на глубоко-національные мотивы поэзіи Пушкина, эта поэзія исполнена духа космополитизма, именно потому, что она сознавала самоѣ себя только какъ поэзію и чуждалась всякихъ интересовъ виѣ сферы искусства. И вотъ причина, почему русское общество вдругъ охладѣло къ своему великому, своему дотолѣ любимому поэту, какъ скоро онъ достигъ апогеозы своего художническаго величія.

Общество въ этомъ случаѣ и право, и неправо — право потому, что не всеѣмъ же быть дилетантами и знатоками искусства; неправо потому, что Пушкинъ не могъ же въ угоду ему измѣнить своего великаго призванія — водворить поэзію, какъ искусство, въ жизни русской. Призваніе это заключалось въ самой натурѣ Пушкина, и не его вина, если общество, подобно самому поэту, припило временное броженіе его молодой крови за выраженіе его натуры...

Какъ творецъ русской поэзіи, Пушкинъ на вѣчныя времена останется учителемъ (*maestro*) всеѣхъ будущихъ поэтовъ; но если бѣ кто-

нибудь изъ нихъ, подобно ему, остановился на идеѣ художественности, это было бы яснымъ доказательствомъ отсутствія гениальности или великости таланта. Вотъ почему или Лермонтовъ пошелъ дальше Пушкина, или онъ — талантъ обыкновенный, не стоящій тѣхъ разнообразныхъ толковъ и жаркихъ споровъ, предметомъ которыхъ онъ едѣлся. Въ самомъ дѣлѣ, есть люди, которые считаютъ Лермонтова не болѣе, какъ счастливымъ подражателемъ Пушкина, еще не успѣвшимъ проложить собственной дороги для своего таланта. Это мнѣніе столь мелко и ошибочно, что не стоитъ и возраженія. Пѣтъ двухъ поэтовъ столь существенно различныхъ, какъ Пушкинъ и Лермонтовъ. Пушкинъ — поэтъ внутренняго чувства души; Лермонтовъ — поэтъ безопадной мысли истины. Паосъ Пушкина заключается въ сферѣ самого искусства, какъ искусства; паосъ поэзіи Лермонтова заключается въ нравственныхъ вопросахъ о судьбѣ и правахъ чело-вѣческой личности. Пушкинъ лелѣялъ всякое чувство, и ему любо было въ теплой сторонѣ преданія; встрѣчи съ *демономъ* нарушали гармонію духа его, и онъ содрогался этихъ встрѣчъ; поэзія Лермонтова растетъ на почвѣ безопаднаго разума и гордо отрицаетъ преданіе.

Для кого доступна великая мысль лучшей поэмы его «Бояринъ Орша» и, особенно, мысль сцены суда монаховъ надъ Арсеніемъ, тѣ коймутъ насъ и согласятся съ нами.

Демонъ не пугалъ Лермонтова: онъ былъ его пѣвцомъ. Послѣ Пушкина ни у кого изъ русскихъ поэтовъ не было такого стиха, какъ у Лермонтова, и, конечно, Лермонтовъ обязанъ имъ Пушкину; но, тѣмъ не менѣе, у Лермонтова свой стихъ. Въ «Сказкѣ для дѣтей» этотъ стихъ возвышается до удивительной художественности; но въ большей части стихотвореній Лермонтова онъ отличается какой-то стальной прозанчностью и простотой выраженія. Очевидно, что для Лермонтова стихъ былъ только средствомъ для выраженія его идей, глубокихъ и вмѣстѣ простыхъ своею безопадною истинною, и онъ не слишкомъ дорожилъ имъ.

Какъ у Пушкина грація и задумчивость, такъ у Лермонтова жгучая и острая сила составляетъ преобладающее свойство стиха: это трескъ грома, блескъ молніи, взмахъ меча, визгъ пули.

*Бѣлинскій.*

## Л е р м о н т о в ъ .

Произведенія Лермонтова, такъ тѣсно связанные съ его личной судьбой, кажутся мнѣ особенно замѣчательными въ одномъ отношеніи. Я вижу въ Лермонтовѣ прямого родоначальника того духовнаго настроенія и того направленія чувствъ и мыслей, а отчасти и дѣйствій, которыя до краткости можно назвать «нигилизмомъ» — по имени

писателя, всѣхъ отчетливѣе и громче выразившаго это настроеніе, всѣхъ ярче обозначившаго это направленіе. Окончательное значеніе тѣхъ главныхъ порывовъ, которые владѣли поэзіей Лермонтова, стало для насъ вполне прозрачнымъ съ тѣхъ поръ, какъ они пришли въ умъ Ницше отчетливо раздѣльный образъ.

Презрѣніе къ человѣку, присвоеніе себѣ *заранѣе* какого-то исключительнаго сверхчеловѣческаго значенія — себѣ или какъ одному я, или я и К°, — и требованіе, чтобы это присвоенное, но ничѣмъ еще не оправданное величіе было признано другими, стало нормою дѣйствительности, — вотъ сущность того направленія, о которомъ я говорю, и, конечно, это большое заблужденіе.

Въ чемъ же та истина, которой оно держится и привлекаетъ умы?

Человѣкъ — единственное изъ земныхъ существъ, которое можетъ относиться къ самому себѣ критически, подвергать внутренней оцѣнкѣ даже самый способъ своего бытія въ цѣломъ. Онъ себя судитъ, а при судѣ разумномъ и безпристрастномъ — и осуждаетъ. Разумъ свидѣтельствуетъ человѣку о фактѣ его несовершенства во всѣхъ отношеніяхъ, а совѣсть говоритъ ему, что этотъ фактъ не есть для него *только* внѣшняя необходимость, а зависитъ *также* и отъ него самого.

Человѣку свойственно хотѣть *быть больше и лучше, чѣмъ онъ есть* въ дѣйствительности. Вся исторія состоитъ въ томъ, что человѣкъ дѣлается лучше и больше самого себя, перерастаетъ свою наличную дѣйствительность, отодвигая ее въ прошлое, а въ настоящее *сдвигая* то, что еще недавно было противоположнымъ дѣйствительности — мечтою, субъективнымъ идеализмомъ, утопіей. Въ какомъ же направленіи должно совершаться измѣненіе даннаго человѣчества въ лучшее и высшее — въ «сверхчеловѣчество». Лермонтовъ, несомнѣнно, былъ гений, т.-е. человѣкъ, уже отъ рожденія близкій къ сверхчеловѣку, получившій задатки для великаго дѣла, способный, а слѣдовательно, обязанный его исполнить. Въ чемъ заключалась особенность его генія? Какъ онъ на него смотрѣлъ? Что съ нимъ сдѣлать? Относительно Лермонтова мы имѣемъ то преимущество, что глубочайшій смыслъ и характеръ его дѣятельности освѣщается съ двухъ сторонъ — писаніями его ближайшаго преемника Ницше и фигурою его отдаленнаго предка. Давній предокъ его, шотландскій рыцарь-пѣвецъ, Томасъ Лермонтъ, по легендѣ, былъ вѣщій прорицатель, велъ загадочную жизнь и имѣлъ роковой конецъ — пропалъ безъ вѣсти, охотясь на двухъ бѣлыхъ оленей.

Первая и основная особенность лермонтовскаго генія — страшная напряженность и сосредоточенность мысли на себѣ, на своемъ я, страшная сила личнаго чувства. Не ищите у Лермонтова той прямой

открытости всему задумчивому, которая такъ чаруетъ въ поэзіи Пушкина. Пушкинъ, когда и о себѣ говорить, то какъ будто о другомъ; Лермонтовъ, когда и о другомъ говорить, то чувствуется, что его мысль и изъ безконечной дали стремится вернуться къ себѣ, въ глубинѣ занята собою, обращается на себя. Ни у одного изъ русскихъ поэтовъ нѣтъ такой силы личнаго самочувствія, какъ у Лер-



Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ.

монтова. Онъ не былъ подражателемъ Байрона, а его младшимъ братомъ, и не изъ книгъ, а развѣ изъ общаго происхожденія, получилъ это западное наслѣдіе, съ которымъ ему тѣсно было въ безличной русской средѣ. И не одной позой или праздною фантазіей были чувства, выраженные имъ въ раннемъ юношескомъ стихотвореніи «Зачѣмъ я не птица, не воронъ степной».

Сильнѣйшее развитіе личнаго начала есть условіе для наибольшей сознательности жизненнаго содержанія, но этимъ не дается само это содержаніе жизни, и при его отсутствіи *сильное я* остается *пустымъ*.



Оставаться совершенно пустымъ колоссальное я Лермонтова не могло, потому что онъ былъ поэтъ Божіей милостью, и, слѣдовательно, все имъ переживаемое превращалось въ созданія поэзіи, давая новую пищу его я. А самымъ главнымъ въ этомъ жизненномъ матеріалѣ лермонтовской поэзіи, безъ сомнѣнія, была личная любовь. Но любовные мотивы, рѣшительно преобладавшіе въ произведеніяхъ Лермонтова, какъ видно изъ нихъ же самихъ, лишь отчасти занимали личное самочувствіе поэта, притупляя остроту его эгоизма, смягчая его жестокость, но не наполняя всецѣло и не покрывая его я. Во всѣхъ любовныхъ темахъ Лермонтова главный интересъ принадлежитъ не любви и не любимому, а любящему я, — во всѣхъ его любовныхъ произведеніяхъ остается нерастворимый осадокъ торжествующаго, хотя бы и бессознательнаго, эгоизма. Я не говорю о тѣхъ только произведеніяхъ, гдѣ, какъ въ «Демонѣ» и «Героѣ нашего времени», окончательное торжество эгоизма надъ неудачной попыткой любви есть намѣренная тема. Но это торжество чувствуется и тамъ, гдѣ оно не имѣется прямо въ виду, — чувствуется, что настоящая важность принадлежитъ здѣсь не любви и не тому, что она дѣлаетъ изъ поэта, а тому, что онъ изъ нея дѣлается, какъ онъ къ ней относится. Когда огромный глетчеръ освѣщается солнцемъ, то является, говорить, зрѣлище восхитительное.

Новая эта красота происходитъ не отъ того, чтобы солнце дѣлало что-нибудь новое изъ глетчера, а только отъ того, что глетчеръ, оставаясь неизмѣнно самимъ собою, дѣлаетъ изъ солнечныхъ лучей, различнымъ образомъ отражая и преломляя ихъ своею поверхностью. Такова же и особенная прелесть лермонтовскихъ любовныхъ стиховъ, — прелесть оптическая, прелесть миража. Замѣтите, что въ этихъ произведеніяхъ почти никогда не отражается любовь въ настоящемъ, въ тотъ моментъ, когда она захватываетъ душу и наполняетъ жизнь. У Лермонтова она уже прошла, не владѣетъ сердцемъ, и мы видимъ только чарующую игру воспоминанія и воображенія.

Разстались мы, но твой *портретъ*  
Я на груди моей храню;  
Какъ *блдный призракъ* лучшихъ лѣтъ,  
Онъ душу радуетъ мою.

Или другое:

Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю. И т. д.

И тамъ, гдѣ глаголѣ *любить* является въ настоящемъ времени, онъ служитъ только поводомъ для меланхолической рефлексіи:

Мнѣ грустно потому, что я тебя люблю.

Въ этомъ чудесномъ стихотвореніи воображеніе поэта, обыкновенно занятое памятью прошлаго, играетъ съ возможностью будущей любви

Изъ-подъ таинственной, холодной полумаски  
Звучалъ мнѣ голосъ твой отрадный, какъ мечта.

И создалъ я тогда въ моемъ воображеніи  
По легкимъ признакамъ красавицу мою,  
И съ той поры безплотное видѣнье  
Ношу въ душѣ моей, ласкаю и люблю.

Любовь уже потому не могла быть для Лермонтова началомъ жизненнаго наполненія, что онъ любилъ, главнымъ образомъ, лишь собственное любовное состояніе, и, понятно, что такая формальная любовь могла быть лишь *рамкой*, а не содержаніемъ его *я*, которое оставалось одинокимъ и пустымъ. Это одиночество и пустыннось напряженной и въ себѣ сосредоточенной личной силы, не находящей себѣ достаточнаго удовлетворяющаго ее примѣненія, есть первая основная черта лермонтовской поэзіи и жизни.

Вторая, тоже отъ западныхъ его родичей унаслѣдованная черта (быть-можетъ) — способность переступить въ чувствѣ и созерцаніи черезъ границы обычнаго порядка явленій и схватывать запредѣльную сторону жизни и жизненныхъ отношеній. Эта вторая особенность Лермонтова была во внутренней зависимости отъ первой. Необычная сосредоточенность Лермонтова въ себѣ давала его взгляду *остроту* и силу, чтобы иногда разрывать съѣтъ внѣшней причинности и проникать въ другую, болѣе глубокую связь существующаго, — это была способность пророческая; и если Лермонтовъ не былъ ни пророкомъ въ настоящемъ смыслѣ слова, ни такимъ прорицателемъ, какъ его предокъ Ома, то лишь потому, что онъ не давалъ этой своей способности никакого обыкновеннаго примѣненія. Онъ не былъ *занятъ* ни мировыми историческими судьбами своего отечества, ни судьбою своихъ ближнихъ, а единственно только своею собственной судьбой, — и тутъ онъ, конечно, былъ болѣе пророкомъ, чѣмъ кто-либо изъ поэтовъ. Далѣе я приведу нѣсколько примѣровъ того, какъ ясна для Лермонтова его судьба, а теперь укажу лишь на одно удивительное стихотвореніе, въ которомъ особенно ярко выступаетъ своеобразная способность Лермонтова ко второму зрѣнію, а именно, знаменитое стихотвореніе «Сонъ». За нѣсколько мѣсяцевъ до роковой дуэли Лермонтовъ видѣлъ себя неподвижно лежащимъ на пескѣ среди скалъ въ горахъ Кавказа, съ глубокою раной отъ пули въ груди, и видящимъ въ сонномъ видѣніи близкую его сердцу, но отдѣленную тысячами верстъ, женщину, видящую въ сонambuлическомъ состояніи его трупъ въ той долині. Тутъ изъ одного сна выходитъ, по крайней мѣрѣ, три: 1) сонъ здороваго Лермонтова, который видѣлъ себя самого смертельно раненымъ — дѣло сравнительно обыкновенное, хотя, во всякомъ случаѣ, это былъ сонъ въ существенныхъ чертахъ своихъ *вѣщій*, по-

тому что черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ того, какъ это стихотвореніе было записано въ тетради Лермонтова, поэтъ былъ дѣйствительно глубоко раненъ пулею въ грудь, дѣйствительно лежалъ на пескѣ съ открытою ранюю, и, дѣйствительно, уступы скалъ тѣснились кругомъ. 2) Но, видя умирающаго Лермонтова, здоровый Лермонтовъ видѣлъ вмѣстѣ съ тѣмъ и то, что снится умирающему Лермонтову:

И снится мнѣ сіяющій огнями  
Вечерній пиръ въ родимой сторонѣ...  
Межъ юныхъ жепъ, увѣчанныхъ цвѣтами,  
Шель разговоръ веселый обо мнѣ.

Это ужъ достойно удивленія. Я думаю, немногимъ изъ насъ случалось, видя кого-нибудь во снѣ, видѣть вмѣстѣ съ тѣмъ и тотъ сонъ, который видится этому вашему сонному видѣнію. Но такимъ сномъ дѣло не оканчивается, а является сонъ (3):

Но, въ разговоръ веселый не вступая,  
Сидѣла тамъ задумчива одна,  
И въ грустный сонъ душа ея младая  
Богъ знаетъ чѣмъ была погружена  
И спилась ей долина Дагестана,  
Знакомый трупъ лежалъ въ долинѣ той,  
Въ его груди, дымясь, чернѣла рана,  
И кровь лилась хладѣющей струей.

Лермонтовъ видѣлъ, значитъ, не только сонъ своего сна, но и тотъ сонъ, который снится сну его сна — сновидѣніе въ кубѣ.

Во всякомъ случаѣ, остается фактъ, что Лермонтовъ не только предчувствовалъ свою роковую смерть, но и прямо видѣлъ ее заранѣе. А та удивительная фантазмагорія, которою увѣковѣчено это видѣніе въ произведеніи «Сонъ», не имѣетъ ничего подобнаго во всемірной поэзіи и, я думаю, могла быть созданіемъ только потомка вѣщаго чародѣя и прорицателя, исчезнуваго въ царствѣ фей. Одного этого стихотворенія, конечно, достаточно, чтобы признать за Лермонтовымъ врожденный, черезъ голову многихъ поколѣній переданный ему, гений. Теперь намъ остается посмотреть, какъ самъ Лермонтовъ принялъ этотъ задатокъ великой судьбы и что онъ изъ него сдѣлалъ.

Въ отроческихъ и раннихъ юношескихъ произведеніяхъ Лермонтова высказывается и просвѣчиваетъ рѣшительное сознаніе, что онъ существо избранное и сильное, назначенное совершить что-то великое. Въ *чемъ* будетъ состоять и къ *чему* относиться это великое, онъ еще не можетъ и намекнуть. Но что онъ призванъ совершить это — несомнѣнно. Мы могли бы смѣяться надъ самоувѣренною запосеченностью мальчика, если бы онъ, дѣйствительно, не обнаружилъ, нѣсколько лѣтъ спустя, чрезвычайныхъ силъ ума, воли и творчества. А

такъ какъ онъ ихъ обнаружилъ, то мы должны признать въ этомъ раннемъ заявленіи о своемъ будущемъ величій не пустую претензію и не начало манин, а лишь вѣрное самочувствіе или инстинктъ самоощущенія, который дается вѣмъ избраннымъ людямъ. Отличіе Лермонтова здѣсь въ томъ, что эта высокая самоощущенія уже отъ раннихъ лѣтъ связана у него съ слишкомъ низкой оцѣнкой другихъ, всего свѣта,—оцѣнкой заранее составленной, выражающей черту характера, а не результатъ какого-нибудь дѣйствительнаго опыта. Болѣе замѣчательна другая черта. Такъ же часто, какъ заявленія о своемъ величій и о своемъ презрѣніи къ человѣчеству, въ раннихъ стихотвореніяхъ Лермонтова выражается его явственное предчувствіе неизбежной и преждевременной гибели. Испо, что эти двѣ черты лермонтовскаго самочувствія прямо вытекаютъ изъ тѣхъ особенностей его генія, о которыхъ я раньше говорилъ, т.-е. его мизантропіи — изъ сосредоточенности и напряженности въ немъ личнаго начала, а его постоянное и вѣрное предчувствіе гибели — изъ его второго зрѣнія.

Съ раннихъ лѣтъ ощутивъ въ себѣ силу генія, Лермонтовъ принялъ ее только, какъ право, а не какъ обязанность, какъ привилегію, а не какъ службу. Онъ думалъ, что его геніальность уполномочила его требовать отъ людей и отъ Бога всего, что ему захочется, не обязывая его относительно ихъ ни къ чему. Но пусть Богъ и люди великодушно не настаиваютъ на обязанностяхъ геніальнаго человѣка. Вѣдь Богу ничего не нужно, а люди должны быть благодарны и за тѣ нескры, которыя летятъ съ костра, на которомъ сжигаетъ себя геніальный человѣкъ. Пусть Богъ на небѣ и люди на землѣ отпустятъ ему его медленное самоубійство. Но развѣ легче отъ этого третьему обиженному — самому генію, который попусту сжегъ и закопалъ въ прахъ и тлѣнь то, что было ему дано для великаго подъема, какъ могучему вождю людей, на пути къ сверхчеловѣчеству? Но какъ же онъ могъ кого-нибудь поднимать, когда самъ не надѣялся? А поднимается человѣкъ только по трупамъ, — по трупамъ убитыхъ имъ враговъ, т.-е. злыхъ личныхъ страстей. Можно ли этого требовать? Не отъ всякаго и требуется. Судьба или Высшій Разумъ ставятъ дилемму: если ты считаешь за собою сверхчеловѣческое призваніе, исполни необходимое для него условіе, подними дѣйствительность, поборовши въ себѣ то злое начало, которое тянетъ тебя внизъ. А если ты чувствуешь, что оно настолько сильнѣе тебя, что ты даже бороться съ нимъ отказываешься, то признай свое безсиліе, признай себя простымъ смертнымъ, хотя и геніально одареннымъ. Или стань дѣйствительно выше другихъ, или будь скромнымъ. Кто не можетъ подняться и не хочетъ смириться, тотъ самъ себя обрекаетъ на неизбежную гибель.

Сознавая въ себѣ отъ раннихъ лѣтъ гениальную натуру, задатокъ сверхчеловѣка, Лермонтовъ также рано сознавалъ и то злое начало, съ которымъ онъ долженъ былъ бороться, но которому скоро удалось, вмѣсто борьбы, вызвать поэта лишь на идеализацію его. Уже съ дѣтства, рядомъ съ самыми симпатичными проявленіями души чувствительной и нѣжной, обнаруживались у него рѣзкія черты злобы, прямо демонической. Значительно не то, что поэтъ позднѣе разрушалъ спокойствіе и честь свѣтскихъ барынь, а то, что онъ находилъ особенное наслажденіе и радость въ этомъ совершенно негодномъ дѣлѣ, такъ же, какъ онъ ребенкомъ съ *истиннымъ удовольствіемъ* давилъ мухъ и радовался зашибленной камнемъ курицы. Услаждаться дѣланьемъ зла есть уже черта не человѣческая. Это демоническое сладострастіе не оставляло Лермонтова до горькаго конца; вѣдь и послѣдняя трагедія произошла оттого, что удовольствіе Лермонтова терзать слабыя созданія встрѣтило, вмѣсто барышни, браваго майора Мартынова, какъ роковое орудіе кары для человѣка, который долженъ и могъ быть солью земли, но сталъ солью, такъ жалко и постыдно обуявшею. Осталось отъ Лермонтова нѣсколько истинныхъ жемчужинъ его поэзіи, почитать которыхъ могутъ только извѣстные животныя; осталось, къ несчастью, и въ произведеніяхъ его слишкомъ много сроднаго этимъ самымъ животнымъ, а главное, осталась обуявшая соль его гения, которая, по слову Евангелія, дана на поправіе людямъ. Скоро это злое начало приняло въ жизни Лермонтова еще другое направленіе. Съ годами демонъ кровожадности слабѣетъ, отдавая большую часть своей силы своему брату — *демону нечистоты*. Слишкомъ рано и слишкомъ безпренятственно овладѣлъ этотъ второй демонъ душою несчастнаго поэта и слишкомъ много слѣдовъ оставилъ въ его произведеніяхъ. II, когда въ одну изъ минутъ просвѣтленія, онъ говоритъ о «порокахъ юности преступной», то это выраженіе — увы! — слишкомъ близко къ дѣйствительности. Я умолчу о біографическихъ фактахъ, — скажу лишь нѣсколько словъ о стихотвореніяхъ, внушенныхъ этимъ демономъ нечистоты. Во-первыхъ, ихъ слишкомъ много, во-вторыхъ, они слишкомъ длинны: самое невозможное изъ нихъ есть большая, хотя и неоконченная, поэма, писанная авторомъ уже совершеннолѣтнимъ, и, въ-третьихъ, характеръ этихъ писаній производитъ какое-то удручающее впечатлѣніе полнымъ отсутствіемъ той легкой игривости и граціи, какими отличаются подлинныя произведенія Пушкина въ этой области. Такъ какъ я совершенно не могу подтвердить здѣсь свое сужденіе цитатами, то я поясню его сравненіемъ. Въ одинъ пасмурный день видѣлъ я ласточку, летающую надъ большой болотистой лужей. Что-то ее привлекало къ этой темной влагѣ, она совсѣмъ опускалась къ ней, и, казалось, вотъ-вотъ погрузится въ нее или хотя зачерпнетъ крыломъ.



Но ничуть не бывало: каждый разъ, не коснувшись поверхности, ласточка вдругъ поднималась вверхъ и щебетала что-то невинное. Вотъ вамъ впечатлѣніе, производимое этими шутками у Пушкина: видишь тинистую лужу, видишь ласточку и видишь, что прочной связи нѣтъ между ними, — тогда какъ порнографическая муза Лермонтова — словно лягушка, погружившаяся и прочно застывшая въ тинѣ.

Сознавалъ ли Лермонтовъ, что пути, на которые толкали его эти демоны, были путями ложными и пагубными. И въ стихахъ, и въ письмахъ его много разъ высказывалось это сознаніе. Но сдѣлать дѣйствительное усиліе, чтобы высвободиться изъ-подъ власти двухъ первыхъ демоновъ, мѣшалъ третій и самый могучій — демонъ гордости; онъ нашептывалъ: — да, это дурно, да, это низко, но ты гений, ты выше простыхъ смертныхъ, тебѣ все позволено, ты имѣешь отъ рожденія привилегію оставаться высокимъ и въ низкости...

Глубоко и искренно тяготился Лермонтовъ своимъ паденіемъ и порывался къ добру и чистотѣ. Но мы не найдемъ ни одного указанія, чтобы онъ когда-нибудь тяготился вѣдѣ своей гордостью и обращался къ смиренію. И демонъ гордости, всегда хозяинъ его внутреннего дома, мѣшалъ ему дѣйствительно побороть и изгнать двухъ младшихъ демоновъ, и когда хотѣлъ — снова и снова отворялъ имъ дверь...

Говоря о гордости и смиреніи, я разумѣю нѣчто вполне реальное и утилитарное. Гордость потому есть коренное зло или главный изъ смертныхъ грѣховъ, по богословской терминологіи, что это есть такое состояніе души, которое дѣлаетъ всякое совершенствованіе или возвышеніе невозможнымъ, потому что гордость вѣдѣ въ томъ и заключается, чтобы считать себя ни въ чемъ не нуждающимся, чѣмъ исключается всякая мысль о совершенствованіи и подъемѣ. Смиреніе потому и есть основная для человѣка добродѣтель, что признаніе своей недостаточности прямо обуславливаетъ потребность и усиліе совершенствованія. Другими словами, гордость для человѣка есть первое условіе, чтобы никогда не сдѣлаться сверхчеловѣкомъ, и смиреніе есть первое условіе, чтобы сдѣлаться сверхчеловѣкомъ; поэтому сказать, что *гениальность обязываетъ къ смиренію*, значитъ только сказать, что гениальность обязываетъ становиться сверхчеловѣкомъ. Лермонтову тѣмъ легче было исполнить эту обязанность, что онъ, при всемъ своемъ демонизмѣ, всегда вѣрилъ въ то, что выше и лучше его самого, а въ нныя свѣтлыя минуты даже ощущалъ надъ собою это лучшее:

И въ небесахъ я вижу Бога...

Это религиозное чувство, часто засыпавшее въ Лермонтовѣ, никогда въ немъ не умирало и, когда пробуждалось — боролось съ его демо-

низмомъ. Оно не исчезло и тогда, когда онъ далъ побѣду злему началу, но приняло страшную форму. Уже во многихъ раннихъ своихъ произведеніяхъ Лермонтовъ говоритъ о Высшей Волѣ съ какой-то личной обидой. Онъ какъ будто считаетъ ее виноватою противъ него, глубоко его оскорбившею. Въ этихъ раннихъ произведеніяхъ тяжба поэта съ Богомъ имѣетъ, конечно, ребяческій характеръ. Лермонтовъ упрекаетъ Творца за то, что Онъ сдѣлалъ его некрасивымъ; за то, что люди, и особенно кузины и другія барышни, не понимаютъ и не цѣнятъ его, и т. п. Но когда въ болѣе зрѣломъ возрастѣ, послѣ нѣсколькихъ безплодныхъ порывовъ къ возрожденію, — безплодныхъ потому, что съ дѣтскихъ лѣтъ заведенное въ его душѣ демоническое хозяйство не могло быть разрушено нѣсколькими субъективными успіями, а требовало сложнаго и долгаго подвига, на который Лермонтовъ не былъ согласенъ, — итакъ, когда, послѣ нѣсколькихъ безплодныхъ попытокъ перемѣнить жизненный путь, Лермонтовъ перестаетъ бороться противъ демоническихъ силъ и находитъ окончательное рѣшеніе жизненнаго вопроса въ *фатализмѣ* («Герой нашего времени» и «Валерикъ»), онъ вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ новую, ухищренную форму своему прежнему дѣтскому чувству обиды противъ Провидѣнія — именно въ послѣдней обработкѣ поэмы «Демонъ». Герой этой поэмы есть тотъ же главный демонъ самого Лермонтова — демонъ гордости, котораго мы видѣли въ раннихъ стихотвореніяхъ. Но въ поэмѣ онъ ужасно идеализованъ (особенно въ послѣдней ея обработкѣ), хотя, несмотря на идеализацію, образъ его дѣйствій, если судить безпристрастно, скорѣе приличествуетъ юному гусарскому корнету, нежели особѣ такого высокаго чина и такихъ древнихъ лѣтъ.

Несмотря на великолѣпіе стиховъ и на значительность замысла, говорить съ полной серьезностью о содержаніи поэмы «Демонъ» для меня такъ же невозможно, какъ вернуться въ пятый или шестой классъ гимназіи. Но сказать о немъ все-таки нужно. Итакъ, идеализованный демонъ вовсе ужъ не тотъ духъ зла, который такими правдивыми чертами былъ описанъ въ прекрасныхъ стихотвореніяхъ гениальнаго отрока. Демонъ поэмы не только прекрасенъ, онъ до чрезвычайности благороденъ и, въ сущности, вовсе не золъ. Когда-то у него произошло какое-то загадочное недоразумѣніе съ Всевышнимъ, но онъ тяготится этой размолвкой и желаетъ примиренія. Случай къ этому представляется, когда демонъ видитъ прекрасную грузинскую княжну Тамару, пляшущую и поющую на кровлѣ родительскаго дома. По Библии и по здоровой логикѣ — что одно и то же — увлеченіе сыновъ Воинихъ красотою дочерей человѣческихъ есть паденіе, но для демонизма это есть начало возрожденія. Однако возрожденіе не происходитъ. Послѣ смерти жениха и удаленія Тамары въ монастырь демонъ входитъ къ ней, го-

товый къ добру, но, видя ангела, охраняющаго ея невинность, воспламеняется ревностью, соблазняетъ ее, убиваетъ и, не успѣвши завладѣть ея душою, объявляетъ, что онъ хотѣлъ стать на другой путь, но что ему не дали, и съ сознаниемъ своего полнаго права ставовится уже пастоящимъ демономъ. Такое рѣшеніе вопроса находится въ слишкомъ явномъ противорѣчій съ логикою, чтобы стоило его опровергать. Итакъ, пятапнутое и ухищренное оправданіе демонизма въ исторіи, а для практики принципіи фатализма, — вотъ къ чему пришелъ Лермонтовъ передъ своимъ трагическимъ концомъ. Фатализмъ, самъ по себѣ, конечно, не дурень. Если, напрымѣръ, человекъ воображаетъ, что онъ роковымъ образомъ долженъ быть добрымъ, и дѣлаетъ добро, и неуклонно слѣдуетъ этому року, то чего же лучше? Къ несчастію, фатализмъ Лермонтова покрывалъ только его дурные пути. Между тѣмъ, полнаго убѣжденія въ истинѣ фатализма у Лермонтова не было, и онъ, кажется, захотѣлъ убѣдиться въ немъ на опытъ. Всѣ подробности его поведенія, приведшаго къ послѣдней дуэли, и во время самой этой дуэли носятъ ясныя черты фаталистическаго эксперимента.

На дуэли Лермонтовъ велъ себя съ благородствомъ, — онъ не стрѣлялъ въ своего противника, — но по существу это былъ безумный вызовъ высшимъ силамъ, который во всякомъ случаѣ не могъ имѣть хорошаго исхода. Въ страшную грозу, при блескѣ молніи и раскатахъ грома, перешла эта бурная душа въ иную область бытія.

Конецъ Лермонтова и имъ самимъ, и нами называется *гибелью*. Выражаясь такъ, мы не представляемъ себѣ, конечно, этой гибели ни какъ театральнаго провала въ какую-то преисподнюю, гдѣ пляшутъ красныя черти, ни какъ совершеннаго прекращенія бытія. О природѣ загробнаго существованія мы ничего достовѣрнаго не знаемъ, а потому и говорить объ этомъ не будемъ. Но есть нравственный законъ, столь же непреложный, какъ законъ математическій, и онъ не допускаетъ, чтобы человекъ испытывалъ послѣ смерти превращенія произвольныя, не обоснованныя его предыдущимъ нравственнымъ подвигомъ. Если жизненный путь продолжается и за гробомъ, то, очевидно, онъ можетъ продолжаться только до той степени, на которой остановился. А мы знаемъ, что какъ высока была степень прирожденной гениальности Лермонтова, такъ же низка была его степень нравственнаго усовершенствованія. Лермонтовъ ушелъ съ бременемъ неисполненнаго долга — развить тотъ задатокъ великолѣпный и божественный, который онъ получилъ даромъ. Онъ былъ призванъ сообщить намъ, своимъ потомкамъ, могучее движеніе впередъ и вверхъ къ истинному сверхчеловѣчеству, по этого мы отъ него не получили. Мы можетъ объ этомъ скорбѣть, но то, что Лермонтовъ не исполнилъ своей обязанности къ намъ, конечно, не снимаетъ съ насъ нашей обязанности къ

нему. Прежде, чѣмъ быть обязаннымъ относительно нашихъ современниковъ—братьевъ по человѣчеству, и относительно потомства—нашихъ дѣтей по человѣчеству, мы имѣемъ обязанность къ отшедшимъ—нашимъ отцамъ въ человѣчествѣ, — и, конечно, Лермонтовъ принадлежитъ къ такимъ отцамъ для современнаго поколѣнія. Такъ не требуетъ ли отъ насъ обязанность сыновней любви и почтенія восхвалять Лермонтова за все то многое въ немъ, что достойно хвалы, и молчать о другомъ? Я не такъ понимаю сыновнюю любовь и ея обязанность. Представьте себѣ, что мы видимъ живого отца, исполненнаго заслугъ и высокихъ дарованій, но въ настоящую минуту обремененнаго какой-нибудь тяжестью, душевною или физическою, все равно. Обязанность сыновней любви къ такому отцу, конечно, потребуетъ отъ насъ не того, чтобы мы восхваляли его заслуги и дарованія, а того, чтобы мы помогли ему снять съ себя или, по крайней мѣрѣ, облегчили удручающее его бремя. Облегчить бремя ихъ души — вотъ наша обязанность. И у Лермонтова съ бременемъ неисполненнаго призванія связано еще другое тяжелое бремя, облегчить которое мы можемъ и должны. Облекая въ красоту формы ложныя мысли и чувства, онъ дѣлалъ и дѣлаетъ еще ихъ привлекательными для неопытныхъ, и если хоть одинъ изъ малыхъ сихъ вовлеченъ имъ на ложный путь, то сознаніе этого, теперь уже невольнаго и яснаго для него, грѣха должно тяжелымъ камнемъ лежать на душѣ его. Обличая ложь воспитанаго имъ демонизма, только останавливающаго людей на пути къ ихъ истинной сверхчеловѣческой цѣли, мы во всякомъ случаѣ подрываемъ эту ложь и уменьшаемъ хоть сколько-нибудь тяжесть, лежащую на этой великой душѣ. Вы мнѣ повѣрите, что прежде, чѣмъ говорить публично о Лермонтовѣ, я подумалъ, чего требуетъ отъ меня любовь къ умершему, какой взглядъ долженъ я высказать на его земную судьбу, — и я знаю, что тутъ, какъ и вездѣ, одинъ только взглядъ, основанный на вѣчной правдѣ, въ самомъ дѣлѣ нуженъ и современнымъ, и будущимъ поколѣніямъ, а прежде всего — самому отшедшему.

*Влад. Соловьевъ.*

### Герой безвременья (Лермонтовъ).

Если мы будемъ искать въ лермонтовской поэзіи ея основной мотивъ, ту центральную ея точку, которая всего чаще и глубже занимала поэта и въ которой прямо или косвенно сходятся если не всѣ, то большинство его произведеній, найдемъ ее въ области героизма. Съ ранней молодости, можно сказать, съ дѣтства и до самой смерти мысль и воображеніе Лермонтова были направлены на психологію прирожденнаго властнаго человѣка, на его печали и радости, на его судьбу, то блестящую, то мрачную.

Нечего говорить о «Демонѣ». Этотъ фантастическій образъ существа, когда-то дерзнувшаго совершить высшее, единственное въ своемъ родѣ, преступленіе—возстать на самого Творца, и который затѣмъ въ теченіе вѣковъ «не встрѣчалъ сопротивленія» въ подвластныхъ ему милліонахъ людей,—этотъ образъ достаточно всѣмъ знакомъ и достаточно ясно говоритъ самъ за себя. Достоинъ вниманія и упорство, съ которымъ Лермонтовъ работалъ надъ «Демономъ», постоянно его исправляя и дополняя. Одновременно съ первоначальнымъ очеркомъ «Демона» писалась прозаическая повѣсть, неоконченная, оставшаяся даже безъ заглавія. Позднѣйшіе издатели даютъ ей названіе «Горбунъ» или «Горбачъ Вадимъ». Герой этой повѣсти есть тотъ же Демонъ, только лишенный фантастическихъ атрибутовъ и притомъ физически безобразный. Онъ, какъ Демонъ, богохульствуетъ, какъ Демонъ, переполненъ ненависти и презрѣнія къ людямъ, какъ Демонъ, готовъ отказаться отъ зла и ненависти, если его полюбитъ любимая женщина. А главное, Вадимъ, какъ Демонъ, имѣетъ таинственную власть надъ людьми.

Что же касается чертъ прирожденнаго властнаго челоѣка, то мы встрѣчаемъ ихъ и въ самомъ зрѣломъ изъ крупныхъ произведеній Лермонтова — въ «Герое нашего времени».

Измаилъ-Бей — «повелитель, герой по взорамъ и рѣчамъ». Онъ принадлежитъ къ числу «дѣтей рока», которыя, «въ морѣ бѣдъ, какъ вихри ихъ ни посятъ, пособіи отъ рабовъ не просятъ, хотять ихъ превзойти въ добрѣ и злѣ, и власти знакъ на гордомъ ихъ челѣ». Въ «Фаталистѣ», какъ только Вуличъ обнаруживаетъ изъ ряда вонъ выходящую рѣшимость, готовясь совершить безумно рискованный шагъ, происходитъ слѣдующая сцена: «Онъ знакомъ пригласилъ насъ сѣсть кругомъ. Молча повинувшись ему: въ эту минуту онъ приобрѣлъ надъ нами какую-то таинственную власть», и т. д. Я могъ бы еще увеличить число этихъ выписокъ, но и приведеннаго довольно, чтобы видѣть, какое пристальное вниманіе удѣлялъ Лермонтовъ во все періоды своей жизни той странной власти, которую обнаруживаютъ нѣкоторые люди, «не имѣя на то никакого положительнаго права». Но онъ не просто отмѣчалъ фактъ этой власти. Онъ съ ранней юности анализировалъ его, взвѣшивалъ его значеніе, дѣлалъ изъ него выводы, иногда нѣсколько смутные, а иногда поразительные по глубинѣ мысли. Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательна вышеупомянутая, мало обращающая на себя вниманія и, кажется, даже не во всея новыя изданія вошедшая повѣсть «Горбунъ». По и по замыслу, и по общему содержанію, и по блескамъ оригинальной мысли «Горбунъ» есть произведеніе лермонтовское по премуществу, если можно такъ выразиться, хотя Лермонтову было всего



шестнадцать лѣтъ, когда онъ писалъ его. Мѣстами слишкомъ недѣтское содержаніе, заключенное въ совершенно дѣтскую форму изложенія, производитъ даже непріятное впечатлѣніе чего-то старообразнаго. Становится даже какъ будто жалко автора, который, будучи такъ явно ребенкомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ такъ много передумалъ и переживалъ.

Между прочимъ, шестнадцатилѣтній авторъ замѣчаетъ: «Теперь жизнь молодыхъ людей болѣе мысль, чѣмъ дѣйствіе; героевъ нѣтъ, а наблюдателей черезчуръ много». Это скорбное замѣчаніе на всю жизнь осталось руководящимъ для Лермонтова. Имъ опредѣляется существеннѣйшая часть содержанія его поэмъ, драмъ и повѣстей, характеръ его лирики и, наконецъ, бурныя волны его собственной жизни. Въ развитіи этой темы онъ достигалъ и непревзойденныхъ вершинъ художественной красоты и, я рѣшаюсь сказать, предчувствія научной точности въ постановкѣ соотносящихся вопросовъ.

Неудивительно, что юное воображеніе плѣняется какимъ-нибудь Измаилъ-Беемъ, красавцемъ въ живописномъ костюмѣ, скачущимъ на борзомъ конѣ среди грандіозной кавказской природы или врубаящимся въ ряды непріятелей, привлекающимъ все женскіе взоры, мстящимъ по-рыцарски — лицомъ къ лицу и при дневномъ свѣтѣ. Здѣсь все красиво, изящно, благородно. Но Вадимъ, — что въ немъ плѣнительнаго? Онъ — горбатый, уродливый, грязный нищій, онъ золъ и жестокъ, онъ, терпѣливо выжидая часа мести, холопствуетъ, терпитъ побои, ругательства. Къ чему и чѣмъ можетъ въ немъ прилѣпиться юная душа, полная образовъ и картинъ художественной красоты? А между тѣмъ Лермонтовъ, тщательно отмѣчая каждую черту физическаго безобразія Вадима и каждое его злое побужденіе, явно находитъ въ себѣ симпатичныя этому злему уроду струны и, не обвиняясь, называетъ его «великой душой». Полная зрѣлость мысли и безповоротная убѣжденность сказались въ той смѣлости, съ которой юный Лермонтовъ вынулъ «великую душу» въ такое, повидному, во всѣхъ отношеніяхъ непріятное существо, какъ Вадимъ. Для этого надо твердо знать, въ чемъ состоитъ величіе души, и твердо вѣрить въ свое знаніе.

Лермонтовъ, однако, ясно указывалъ пеходъ: онъ видѣлъ его не въ разумѣ и не въ чувствѣ, а въ третьемъ элементѣ человѣческаго духа, — въ волѣ, которая, комбинируя и разумъ, и чувство, повелительно требуетъ «дѣйствія», «борьбы».

Критика уже давно замѣтила, что Лермонтова тянуло на Кавказъ не только потому, что тамъ есть увѣянный сѣвными вершинами Эльбрусъ, «глубокая тѣснина Дарьяла», стройные, вѣчно зеленые кипарисы и развѣсистыя чинары, красавцы черкесы на борзыхъ ко-

няхъ, вообще благороднѣйшій въ живописномъ отношеніи матеріалъ для поэтическихъ картинъ. Эта сторона Кавказа еще въ дѣтствѣ произвела неизгладимое впечатлѣніе на Лермонтова и много способствовала тому, что непроницательные люди имѣютъ извѣстное право называть его «пѣвцомъ Кавказа». Но что-то отвлекало его отъ окружавшей его жизни не только на Кавказъ, а и въ болѣе или менѣе отдаленную глубь русской исторіи — «Бояринъ Орша», «Литвника», «Пѣсня про царя Ивана Васильевича, удалого опричника и купца Калашникова», «Горбачъ Вадимъ». Сверхъ того, Лермонтовъ говорилъ Бѣлинскому о задуманной имъ романтической трилогіи, трехъ связанныхъ между собою романахъ изъ эпохъ Екатерины II, Александра I и настоящаго времени. Уже самъ по себѣ этотъ проектъ намекаетъ на то, что не художественный капризъ увлекалъ мысль и воображеніе Лермонтова къ болѣе или менѣе отдаленнымъ временамъ, что онъ тамъ чего-то искалъ для сравненія съ современностью. Для сравненія и въ укоръ, какъ видно изъ содержанія всѣхъ его экскурсій въ русскую исторію и на Кавказъ. «Теперь жизнь молодыхъ людей болѣе мысль, чѣмъ дѣйствіе; герои пѣтъ, а наблюдателей черезчуръ много». Это теперь, но не всегда такъ было. Въ старые годы существовали люди, для которыхъ мысль и чувство не глядѣли врознь, а сливались въ дѣло. Ихъ-то ищеть, на нихъ-то и сѣтанавливается Лермонтовъ съ очевидною любовью. Ихъ же ищеть, на нихъ же любитъ онъ и на нетронутомъ цивилизаціей Кавказѣ. Злодѣйскіе поступки, совершаемые всѣми этими Оршами, Вадимами, Хаджи-Абреками, Измаиль-Бейами; если и пугаютъ Лермонтова своимъ кровавымъ блескомъ, то немедленно же находятъ себѣ въ его глазахъ и оправданіе, и поэтическую красоту въ той цѣльности настроенія, въ той безповоротной рѣшимости, съ которою они совершаются. А отсутствіе этихъ чертъ въ окружавшей его жизни въ такой же мѣрѣ оскорбляетъ его.

Приглядываясь къ героямъ лермонтовскихъ поэмъ изъ старой русской жизни и изъ жизни кавказскихъ горцевъ, мы увидимъ, что если не во всѣхъ нихъ, то въ большинствѣ рѣзко вибрируетъ одна и та же струна. То дѣло, которому они себя почти все посвящаютъ, которому отдаютъ цѣлкомъ и свою мысль, и свое чувство, и всю жизнь свою, есть дѣло мести.

Тотъ же мотивъ звучитъ и въ лирикѣ. Лермонтовъ съ особенной энергіей подчеркиваетъ, что Пушкинъ умеръ «съ жаждой мести», «съ глубокой жаждой мщенія». Великолѣпное стихотвореніе «Поэтъ» кончается словами: «Проснешься ль ты опять, осмѣянный пророкъ, плъ инкогда на голосъ мщенія изъ золотыхъ ноженъ не вырвешь свой клинокъ, покрытый ржавчиной презрѣнья?». Этотъ особенный интересъ

Лермонтова къ дѣлу мести поддерживался въ немъ и извѣстными чисто теоретическими соображеніями, какъ видно изъ слѣдующихъ, въ высшей степени замѣчательныхъ, словъ Печорина: «Первое страданіе даетъ понятіе объ удовольствіи мучить другого. Идея зла не можетъ войти въ голову человѣка безъ того, чтобы онъ не захотѣлъ приложить ее къ дѣйствительности. Идея — созданія органическаго, сказалъ кто-то: ихъ рожденіе даетъ уже имъ форму, и эта форма есть дѣйствіе; тотъ, въ чьей головѣ родилось больше идей, тотъ больше другихъ дѣйствуетъ. Отъ этого гений, прикованный къ чиновничьему столу, долженъ умереть или сойти съ ума, точно такъ же, какъ человѣкъ съ могучимъ тѣлосложеніемъ, при сидячей жизни и скромномъ поведеніи, умираетъ отъ апоплектического удара».

Много смутнаго въ этихъ словахъ, но много и глубокаго. Я обращаю пока вниманіе читателя все на ту же цѣпкость, съ которою Лермонтовъ хватался за связь между мыслью, «идеей», и дѣломъ, «дѣйствіемъ», и затѣмъ на ту специальную окраску, которую онъ въ приведенныхъ словахъ даетъ «дѣйствію», — окраску страданіе за страданіе, окраску мести. Откуда эта злобная пота и неужели на свѣтъ пѣтъ иного, болѣе благороднаго дѣла, чѣмъ мечь?

Съ очень ранняго возраста Лермонтова манила роль «перваго въ своемъ родѣ человѣка», та власть, которая, не опираясь ни на какое положительное право, тѣмъ не менѣе даетъ себя знать самымъ осязательнымъ образомъ. Эти-то мечты онъ и объектировалъ въ герояхъ своихъ повѣстей, поэмъ, драмъ. Во всѣхъ герояхъ повторяется, лишь слегка варьируясь, самъ Лермонтовъ, какимъ онъ себя чувствовалъ или какимъ хотѣлъ бы быть.

Въ немногочисленныхъ, къ сожалѣнію, письмахъ Лермонтова, сохранившихся для потомства, мы постоянно наталкиваемся то на «мученія тайнаго сознанія, что онъ кончитъ жизнь ничтожнымъ человѣкомъ», то на сообщенія противоположнаго свойства, которыя онъ самъ готовъ называть «хвастовствомъ», проявленіями «самаго главнаго его недостатка — суетности и самолюбія». Въ одномъ изъ писемъ къ М. Лопухиной (1832 г.), извѣщающемъ о переходѣ изъ московскаго университета въ юнкерскую школу, вставлено стихотвореніе личнаго характера, которое оканчивается такъ:

Ужасно старикомъ быть безъ сѣдннъ!  
Онъ равныхъ не находитъ; за толною  
Идетъ хоть съ ней не дѣлится душою:  
Онъ межъ людьми ни рабъ, ни властелинъ  
И все, что чувствуетъ, онъ чувствуетъ одинъ.

Это чрезвычайно характерныя строки. 18-лѣтній юноша не находитъ себя равныхъ, а такъ какъ затѣмъ остаются только поло-

женія раба, которымъ онъ быть не хочетъ, и властелина, которымъ онъ быть не можетъ, то онъ становится внѣ общества въ полномъ одиночествѣ. Такъ оно и было съ Лермонтовымъ въ университетѣ.

Презрительное отношеніе Лермонтова къ университетскимъ товарищамъ было совершенно неосновательно, такъ какъ это было время пребыванія въ Московскомъ университетѣ такихъ людей, какъ Сталкевичъ, Герценъ, Бѣлинскій. Надо думать, что Лермонтовъ, уже тогда считавшій себя «океаномъ», въ которомъ «падежды разбитыхъ грузъ лежатъ», даже не попытался взглянуть въ товарищей сколько-нибудь пристально.

Немудрено, что при такихъ обстоятельствахъ мрачныя мысли все больше и больше накопились въ головѣ юноши, въ придачу къ тѣмъ, которыя уже осли въ немъ отъ тяжелыхъ впечатлѣній дѣтства, а можетъ-быть, кромѣ того, и отъ слишкомъ ранняго проникновенія въ мрачную поэзію Байрона. Какъ у Вадима, змѣя, обвинявшаяся вокругъ его сердца, обвинялась и вокругъ вселенной, гнетущая мысль о собственномъ ничтожествѣ разрасталась въ мысль о ничтожествѣ жизни.

Но натура «героя» брала свое, потребность дерзать и владѣть некала случая удовлетворить себя чѣмъ бы то ни было.

Итакъ, женщины, — вотъ куда направится теперь жажда дерзать и владѣть. Извѣстно, что Лермонтовъ былъ, по его собственному показанію, влюбленъ десяти лѣтъ, чему придавалъ какое-то особенное значеніе, и затѣмъ въ дѣтствѣ и ранней юности еще не разъ подвергался припадкамъ нѣжной страсти. Понятно, что всѣ эти увлеченія должны были быть несчастны. Барышни, къ которымъ пылалъ любовью Лермонтовъ, либо издѣвались надъ нимъ, либо охотно слушали страстные или сентиментальныя рѣчи не по лѣтамъ развитого, остроумнаго влюбленнаго мальчика, но потомъ выходили замужъ или переносили свою благосклонность на болѣе взрослыхъ поклонниковъ. А въ сердцѣ самолюбиваго мальчика, уже мечтавшаго о роли великаго человѣка, эти «нзмѣны» отзывались страшной болью. Надо замѣтить, что любовь для Лермонтова была всегда чѣмъ-то отличнымъ отъ любви, какъ ее обыкновенно понимаютъ и чувствуютъ. Она для него такъ или иначе, иногда неясными для него самого интимъ, связывалась все съ той же жаждой дерзать и владѣть или, по крайней мѣрѣ, стояла рядомъ съ ней. Однимъ талантомъ, какъ бы ни былъ великъ, нельзя объяснить эту огненную и вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко-мысленную поэзію, — она должна была быть порожденіемъ, кромѣ таланта, еще изъ ряда вонъ выходящаго ума и великаго духа вообще. Къ счастью, на этотъ счетъ имѣется показаніе, можетъ-быть, компетентнѣйшаго изъ современниковъ Лермонтова.

Бѣлинскій писалъ: «Не даромъ былъ я у Лермонтова въ заточеніи и въ первый разъ поразговорился съ нимъ отъ души. Глубокій и могучій духъ!» И далѣе: «Я съ нимъ спорилъ, и мнѣ отрадно было видѣть въ его разсудочномъ, охлажденномъ и озлобленномъ взглядѣ на жизнь и людей сѣмена глубокой вѣры и въ достоинство того и другого. Я это сказалъ ему, онъ улыбнулся и сказалъ: «дай Богъ!» Боже мой, какъ онъ выше меня по своимъ понятіямъ, и какъ я безконечно ниже его въ моемъ передъ нимъ превосходствѣ! Каждое его слово — онъ самъ, вся его натура, во всей глубинѣ и цѣлости своей. Я съ нимъ робокъ — меня давятъ такіа цѣлостныя, полныя натуры; я передъ нимъ благоговѣю и смиряюсь въ сознаніи своего ничтожества».

Наши художники-живописцы, вообще говоря, довольно равнодушны къ русской литературѣ и въ особенности къ ея исторіи. Но фигуры Лермонтова и Бѣлинскаго достаточно, кажется, популярны и крупны, чтобы заинтересовать художника, и мудро найти тему для картины, болѣе благодарную, чѣмъ это собесѣдованіе великаго критика и великаго поэта въ ордонансъ-гаузѣ.

Представьте себѣ Лермонтова съ привычно насмѣшливымъ складомъ губъ и пронзительными черными глазами, отъ взгляда которыхъ смущаются тѣ, на кого онъ смотритъ. Смущается, можетъ-быть, и Бѣлинскій, что не мѣшаетъ ему, однако, «упорствуя, волнуясь и спѣша», въ горячей рѣчи отстаивать свои «понятія». Онъ твердо увѣренъ въ истинности и возвышенности этихъ понятій; по всѣмъ своимъ чуткимъ и дѣтски искреннимъ существомъ чувствуетъ, что въ бесѣдующемъ съ нимъ гусарскомъ поручикѣ есть нѣчто, чего въ немъ самомъ нѣтъ, и передъ чѣмъ онъ долженъ преклониться...

По свидѣтельству всѣхъ, оставившихъ какія-нибудь воспоминанія о Лермонтовѣ, какъ людей, благорасположенныхъ къ нему, такъ и нерасположенныхъ, немногіе изъ его знакомыхъ пользовались его искреннею и нѣжною привязанностью, а ко всѣмъ остальнымъ онъ относился презрительно, заносчиво, враждебно, точно нарочно взыскивая предлоги къ непріятностямъ и столкновеніямъ.

Мы поймемъ это; разумѣется, непріятное для окружающихъ поведеніе, припомнивъ слова Печорина: «Я люблю враговъ, хотя не похристіански. Быть всегда настражѣ, ловить каждый взглядъ, значеніе cadaго слова, угадывать намѣреніе, разрушать заговоры, притворяться обманутымъ, и вдругъ однимъ толчкомъ опрокинуть все огромное и многотрудное зданіе ихъ хитростей и замысловъ, — вотъ что я называю жизнью». Странная задача, странное понятіе о «жизни»! Но такого рода странностями переполнена, можно сказать, жизнь какъ самого Лермонтова, такъ и дѣйствующихъ лицъ его произведеній. И



во всѣхъ этихъ странностяхъ виденъ все тотъ же человѣкъ, страстно жаждущій дѣятельности, именно въ смыслѣ психическаго воздѣйствія на людей, задающій себѣ разнообразныя, утонченно сложныя задачи этого рода.

Дѣйствительно, бороться, покорять сердца, такъ или иначе оперировать надъ душами ближнихъ и далекихъ, любимыхъ и ненавидимыхъ,—таково призваніе или коренное требованіе натуры всѣхъ выдающихся дѣйствующихъ лицъ произведеній Лермонтова, да и его самого. Имъ было бы совершенно дико и непонятно то преувеличенное почтеніе къ мысли, идеѣ, теоріи, которое получило такое яркое выраженіе въ знаменитомъ «я мыслю, слѣдовательно, существую» Декарта, равно какъ и многія другія блестящія страницы исторіи философіи. «Я мыслю» — изъ этого еще ничего не слѣдуетъ. Мысль, идея есть лишь зачатокъ дѣйствія и сама по себѣ отнюдь не можетъ служить доказательствомъ или мѣриломъ существованія. Существованіе самой мысли еще нуждается въ доказательствѣ, которое дается лишь обнаруженіемъ ея въ дѣйствіи. Припомните слова Печорина: «идея зла не можетъ войти въ голову человѣка безъ того, чтобы онъ не захотѣлъ приложить ее къ дѣйствительности; идея—созданія органическаго, ихъ рожденіе уже даетъ имъ форму, и эта форма есть дѣйствіе». Таковъ, по Лермонтову, естественный строй душевной жизни, и это воззрѣніе весьма близко къ тому, которое становится господствующимъ въ современной психо-физиологіи. Лермонтовъ дошелъ до него не путемъ логическихъ выкладокъ или систематическаго изученія; онъ прочелъ его готовымъ въ своей собственной душѣ, которой была инстинктивно противна половинчатая жизнь замкнутой мысли, не завершенной дѣйствіемъ. Столь же чуждо Лермонтову было и замкнутое, самодовлѣющее художественное творчество. При всей его горячей любви и глубокомъ уваженіи къ Пушкину, онъ никогда не подписался бы подъ извѣстной поэтической *profession de foi* своего старшаго брата по искусству: «не для житейскаго волненія... не для битвъ, мы рождены для вдохновенія, для звуковъ сладкихъ и молитвъ». Лермонтовъ желалъ, напротивъ, чтобы «мѣрный звукъ его могучихъ словъ воспламенялъ бойца для битвы», чтобы его стихи, какъ Божій духъ, «посиленъ надъ толпой и отзывъ мыслей благородныхъ звучалъ, какъ колоколъ на башнѣ вѣчевой во дни торжествъ и бѣдъ народныхъ».

Но если естественный строй душевной жизни требуетъ превращенія мысли въ дѣйствіе, то въ дѣйствительности мы видимъ постоянныя нарушенія этого закона. Неудивительно поэтому, что значительная часть лермонтовской поэзіи отличается рѣзко отрицательнымъ тономъ. На каждомъ шагѣ наталкивался онъ на разнообразныя формы

отлученія мысли отъ дѣла или дѣла отъ мысли и, оскорбленный въ коренномъ требованіи своей натуры, металъ направо и налѣво свой «железный стихъ, облитый горечью и злостью». Нечего говорить о тѣхъ формахъ разлученія мысли и дѣла, которыя могутъ быть сгруппированы подъ именемъ лицемѣрія. Въмѣстѣ съ другими большого роста людьми, освѣщающими путь человѣчества, Лермонтовъ клеймилъ, между прочимъ, и лицемѣріе, но не оно составляло специальный предметъ его особенной вражды. «Теперь жизнь молодыхъ людей болѣе мысль, чѣмъ дѣйствіе; героевъ нѣтъ, а наблюдателей чересчуръ много», писалъ онъ, будучи еще юношей. Позже онъ печально глядитъ «на наше поколѣнье», потому что «въ бездѣйствіи состарится оно», потому что «мы вянемъ безъ борьбы», потому что «падъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда, не бросивши вѣкамъ ни мысли плодovitой, ни гениемъ начатаго труда». Замѣьте эти выраженія; они не случайныя красивыя дѣтища рѣмы и ритма, какъ это часто бываетъ даже у высоко талантливыхъ стихотворцевъ, а точное словесное отраженіе постоянной, излюбленной мысли поэта: мысль должна быть «плодовита», т.-е. имѣть осязательный результатъ, быть дѣйственной мыслью, а трудъ, т.-е. дѣло, долженъ быть начать гениемъ. Это полный, законченный круговоротъ силъ, и все, что становится поперекъ дороги превращенію мысли въ дѣло, все, разрывающее эти звенья единой цѣпи, больно и оскорбительно уязвляетъ поэта. Условія современной Лермонтову русской гражданственности и въ частности условія нашей печати не позволили ему быть очень опредѣленнымъ въ указаніяхъ на обстоятельства, препятствующія свободному превращенію мысли въ дѣйствіе, но свободолюбивый духъ ясно даетъ себя знать во всей его поэзіи. Лермонтову казалось иногда, что и самъ онъ отравленъ этимъ ядомъ. Оно такъ и было до известной степени, но въ несравненно большей мѣрѣ его точилъ другой недугъ. Онъ разсказалъ о немъ словами Печорина: «Пробѣгаю въ памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачѣмъ я жилъ? Для какой цѣли я родился? А вѣрно, она существовала и, вѣрно, было мнѣ назначеніе высокое, потому что въ душѣ моей я чувствую силы необъятныя. Но я не угадалъ этого назначенія, я увлекся приманками страстей пустыхъ и неблагородныхъ, изъ горнила ихъ я вышелъ твердъ и холоденъ, какъ железо, но утратилъ павѣки пылъ благородныхъ стремленій — лучший цвѣтъ жизни». Эта характеристика Печорина, сдѣланная имъ самимъ подъ диктовку Лермонтова, приложима и къ Лермонтову, но съ ограниченіями. Ни изъ чего не видно, чтобы Лермонтовъ «павѣки утратилъ пылъ благородныхъ стремленій». Онъ умеръ слишкомъ молодымъ, чтобы можно было дѣлать подобныя заключенія, и все заставляетъ, напротивъ, думать,

что онъ, въ лицѣ Печорина, слишкомъ рано поставилъ на себѣ крестъ. Не совѣмъ также вѣрно, что онъ не угадалъ «своего назначенія». Но зато вполне вѣрно, что силы его были громадны и что эти силы тратились иногда на «приманки страстей пустыхъ и неблагодарныхъ». Исключительный размѣръ силъ Лермонтова сказался не только въ его чарующей поэзіи, совмѣщающей въ своемъ содержаніи глубокую мысль и сильное чувство, а въ своей формѣ — музыку стиха, живопись красокъ и пластику скульптуры. Исключительная сила выразилась и въ житейскихъ дѣлахъ Лермонтова, даже въ самыхъ мелкихъ и, прямо сказать, дрянныхъ, нравственно безобразныхъ. Нѣтъ имени его поведенію въ исторіи съ Сушковой-Хвостовой, какъ мы ее знаемъ и отъ нея, и отъ него. Но, принимая въ соображеніе его тогдашній мальчишескій возрастъ и житейскую, а въ частности свѣтскую неопытность, нельзя все-таки не признать, что это — злая, безспорно злая работа, но работа недюжинной силы. И сила эта совершенно особенная, рѣдкій даръ природы, приносящій съ собою иногда много добра, иногда много зла — даръ дерзать и владѣть, сила психического воздѣйствія на людей. Печать этой силы лежитъ на всей поэзіи Лермонтова, но и помимо поэзіи она всегда рвалась въ немъ наружу, требовала работы, стихійно искала себѣ точки приложения. Именно стихійно. Лермонтовъ, по самой натурѣ своей, не могъ не подчинить себѣ людей, такъ или иначе, играя на струнахъ ихъ душъ, то намѣренно ихъ очаровывая, то столь же намѣренно доводя до озлобленія. Въ послѣдніе годы своей жизни Лермонтовъ мечталъ о томъ, чтобы выйти въ отставку и совѣмъ отдаться литературѣ, — онъ думалъ издавать журналъ. Мудрено гадать, чего мы лишились, благодаря неосуществленію этого проекта. Мудрено гадать даже о томъ, удовлетворился ли бы сколько-нибудь самъ Лермонтовъ тою литературною дѣятельностью, какая была возможна въ его время. Но вся жизнь его протекала въ условіяхъ, совершенно неблагоприятныхъ для пріисканія дѣятельности, сколько-нибудь его достойной, за исключеніемъ, разумѣется, поэзіи, въ которую онъ и вкладывалъ свою уязвленную душу. Отсюда мрачные мотивы и мрачный тонъ этой поэзіи. Въ придачу къ тяжкимъ впечатлѣніямъ дѣтства, быть-можетъ, и преувеличеннымъ пылкостью воображенія и болѣзненной чуткостью поэта, въ пору сознательной жизни явилось еще нѣчто въ родѣ мукъ Прометея, у котораго печень вновь вырастаетъ по мѣрѣ того, какъ ее клюетъ коршунъ. Мы видѣли, что даже въ юнкерской школѣ среди великаго разгула и непристойныхъ упражненій въ поэзіи, Лермонтовъ внутренне угрызался и тосковалъ. И такъ было всю жизнь. Становясь на Кавказѣ во главѣ чего-то въ родѣ шайки башкибузукъ, онъ находилъ нѣкоторое удовлетвореніе, которое самъ сравниваетъ

съ ощущеніями азартной игры; но это лишь увлеченіе минуты, за которымъ слѣдуетъ горькое раздумье и разочарованіе. Слѣпая сила его собственной природы стихійно побуждала его дерзать и владѣть гдѣ бы то ни было и при какихъ бы то ни было обстоятельствахъ, а голосъ разума и совѣсти клеймилъ эту жизнь печатью пошлости и пустоты. Но опять, при первомъ удобномъ случаѣ, при новой встрѣчѣ съ женщиной, при столкновеніи съ новымъ обществомъ, жажда дерзать и владѣть выступала впередъ, и опять голосъ разума и совѣсти говорилъ: не то, не таково должно быть поле дѣятельности для «необъятныхъ силъ»! Немудрено, что въ душѣ поэта вспыхивали злобѣщіе огни отчаянія и злого, мстительнаго чувства. Немудрено, что жизнь казалась ему временами «пустою и глупою шуткой».

Кн. Васильчиковъ правъ, говоря, что то было время «самое пустое въ исторіи русской гражданственности, и указывая на «придавленность общества послѣ катастрофы 14 декабря». Но онъ не правъ, называя Лермонтова «человѣкомъ» воплѣ своего вѣка, героемъ своего времени. Или, по крайней мѣрѣ, это опредѣленіе требуетъ оговорки. Что бы ни хотѣлъ сказать Лермонтовъ заглавіемъ своего романа, — пронизировалъ ли онъ или говорилъ серьезно, собирательный ли типъ хотѣлъ дать въ Печоринѣ или выдающуюся единицу, съ себя ли писалъ «героя нашего времени» или цѣтъ, — для него самого его время было полнымъ безвременьемъ. И онъ былъ настоящимъ героемъ безвременья.

*Михайловскій.*

## Печоринъ и Бѣлинскій.

### I.

Печоринъ Лермонтова не только хронологически, но и въ отношеніи общественно-психологическомъ, — прямой и ближайшій преемникъ Онегина. Этому преемству нисколько не мѣшаетъ то, что по натурѣ, по характеру и темпераменту это — люди совершенно различные. Онегинъ — холоденъ, безстрастенъ, апатиченъ. Печоринъ — человѣкъ «съ темпераментомъ», съ кипучими страстями, съ душевной энергіей. У Онегина замѣчается недостатокъ силы воли, Печоринъ, напротивъ, одаренъ пезаурядною волею. Онегинъ не умѣетъ, да и не желаетъ покорять умы и сердца («романы» въ счетъ не идутъ), подчинять себѣ волю другихъ; у Печорина это — главная страсть, и онъ съ большимъ искусствомъ, какъ виртуозъ, играетъ на струнахъ души человѣческой (и не только женской). Онъ умѣетъ и любитъ властвовать.

И въ самомъ дѣлѣ, Онегинъ и Печоринъ — люди разные, но они принадлежать къ одному и тому же общественно-психологическому

типу. Это — типъ неудачника и лишняго человека. Ихъ индивидуальныя различія только ярче отъѣняютъ ихъ общественно-психологическое родство. Сопоставляя ихъ въ этомъ отношеніи, мы убѣждаемся въ томъ, что въ самомъ дѣлѣ жизнь вырабатывала особый социальнопсихологическій типъ безпокойно-мечущагося человека, чувствующаго себя лишнимъ, не паходящаго своего мѣста и назначенія, и подъ этотъ типъ подходили весьма различныя, даже противоположныя характеры и натуры.

Эти люди не могли осуществить своей «общественной стоимости», потому что со средою своего круга они не уживались, а другой среды найти не умѣли; они также не располагали тѣмъ душевнымъ содержаніемъ, которое давало бы имъ возможность выносить тяготу душевнаго одиночества.

Вообще Онѣгинъ — не честолюбецъ. Здѣсь мы видимъ одно изъ существенныхъ — индивидуальныхъ различій между двумя героями: Печоринъ, въ противоположность Онѣгину, одержимъ бѣсомъ честолюбія и властолюбія. Въ отношеніи къ вопросу объ осуществленіи общественной стоимости эта особенность Печорина даетъ ему несомнѣнное преимущество передъ Онѣгинымъ: у него есть импульсъ, побуждающій стремиться къ осуществленію своей общественной стоимости, а также становится возможной прямая цѣль жизни, внушаемая все тѣмъ же честолюбіемъ. И въ самомъ дѣлѣ, Печоринъ честолюбивъ, жаждетъ успѣховъ, славы, дѣятельности; при этомъ отнюдь нельзя сказать, что у него охота смертная, да участь горькая, — напротивъ, онъ уменъ, хитеръ, весьма способенъ къ интригѣ, неразборчивъ на средства, смѣлъ, сдержанъ, умѣетъ управлять собою и пользоваться другими для достиженія своихъ цѣлей, — чего больше? Съ такими ресурсами онъ могъ бы весьма и весьма преуспѣть въ жизни... Служа на Кавказѣ, онъ легко нашелъ бы все, чего жаждетъ его душа, — и сильныя впечатлѣнія, и упражненія всѣхъ своихъ способностей, и «славу», и даже «власть». Пожалуй, возразятъ, что онъ вовсе не гонится за успѣхами по службѣ, что онъ выше этой «прозы», и его «демоническая» душа жаждетъ иной дѣятельности, иной славы. Но, спрашивается — какой же? Мы не знаемъ, да и самъ онъ не знаетъ.

При этомъ необходимо отмѣтить, что непригодность Печорина къ «службѣ», къ карьерѣ вовсе не означаетъ, чтобы у него были какія-либо высшія стремленія или идеалы, чтобы онъ критически и отрицательно относился къ дѣйствительности, къ данному порядку вещей (онъ меньше всего — «идеологъ»). Въсто критики у него есть только презрѣніе къ людямъ. Ко всякимъ идеямъ и идеаламъ онъ, повидимому, такъ же равнодушенъ, какъ и къ службѣ или карьерѣ.



Не «идейная», не моральная въ тѣсномъ смыслѣ причина, а ка-кая-то другая — чисто-психологическая — дѣлаетъ Печорина непригоднымъ для «службы», карьеры, да и всякой иной дѣятельности, которая могла бы удовлетворить его. Въ немъ, при всѣхъ задаткахъ для успѣховъ въ жизни, бросается въ глаза какое-то душевное безсиліе. Послушаемъ, какъ самъ онъ говоритъ объ этомъ: «Во мнѣ душа испорчена свѣтомъ, воображеніе безпокойное, сердце ненасытное; мнѣ все мало, къ печали я такъ же легко привыкаю, какъ къ наслажденію, и жизнь моя становится пустѣе день ото дня; мнѣ осталось одно средство: путешествовать»... Опять приходится вспомнить Онѣгина, для котораго также осталось одно — путешествовать, сломятись по свѣту; черта — характерная для всѣхъ нашихъ «лишнихъ людей», въ томъ числѣ и для той разновидности, которая воплощена въ Рудинѣ.

Максимъ Максимовичъ, передавая автору признанія Печорина, заключаетъ вопросомъ: «Скажите-ка, пожалуйста, вы вотъ, кажется, бывали въ столицѣ, и недавно — неужто тамошняя молодежь все такова?» — На этотъ вопросъ авторъ отвѣчаетъ, что «много есть людей, говорящихъ то же самое, что есть, вѣроятно, и такіе, которые говорятъ правду; что, впрочемъ, разочарованіе, какъ всѣ моды, начавъ съ высшихъ слоевъ, спустилось къ низшимъ, которые его допашиваютъ, и что нынче тѣ, которые больше всѣхъ и въ самомъ дѣлѣ скучаютъ, стараются скрыть это несчастье, какъ порокъ».

Эти слова весьма важны, и отъ нихъ, по моему мнѣнію, и слѣдуетъ исходить при объясненіи психологій и самого типа Печорина.

## II.

«Скука» какъ лермонтовскаго Печорина, такъ и прочихъ, менѣе «интересныхъ» Печориныхъ, не заключала въ себѣ ничего идейнаго. Въ этомъ отношеніи Онѣгинъ имѣетъ нѣкоторое преимущество передъ Печоринымъ: Онѣгинъ былъ затронутъ передовыми идеями своего времени, хотя и не былъ его «героемъ», — Печорину же совершенно чужды какія бы то ни было идейныя стремленія, онъ — очевидный индифферентистъ, и, со своею безыдейною тоскою, онъ и является характернымъ «героемъ своего времени» или, по выраженію Н. К. Михайловскаго, «героемъ безвременья».

Не заключая въ себѣ ничего идейнаго, разочарованность или скука Печорина, однакоже, представляется настроеніемъ не совсѣмъ банальнымъ. Повидимому, оно довольно сложно и свидѣтельствуетъ о незаурядности натуры скучающаго «героя». Другой на его мѣстѣ и не сталъ бы скучать и былъ бы совершенно удовлетворенъ и пошло счастливъ.

Въ то глухое, почти безпросвѣтное время, когда критическое отношеніе къ дѣйствительности только начинало вырабатываться въ немногихъ интимныхъ кружкахъ мыслящихъ людей, встрѣчались натуры, отличавшіяся, такъ сказать, органическою, природною неспособностью удовлетворяться пошлою, пустою и тѣсною жизнью. Въ высшемъ обществѣ того времени люди этого рода встрѣчались чаще, чѣмъ въ другихъ слояхъ. Они не имѣли опредѣленныхъ, выработанныхъ убѣжденій, плохо разбирались въ дѣлѣ критической оцѣнки людей и вещей; но, повинаясь какому-то благородному инстинкту, они брезгливо сторонились отъ извѣстныхъ темныхъ сторонъ тогдашней дѣйствительности. Натуры этого рода плохо ладили также съ пошлою стороною жизни, томились ея однообразіемъ, жаждали новыхъ, освѣжающихъ впечатлѣній и, не находя ихъ, хандрили и скучали. Однимъ лишь фактомъ своего существованія они представляли живой протестъ противъ тогдашней дѣйствительности, почему представители и «теоретики» этой послѣдней смотрѣли на нихъ косо и подозрительно. Печорины, при всей ихъ безпринципности и бездѣятельности, были «на плохомъ счету». Лучшимъ подтвержденіемъ этого служить примѣръ самаго интереснаго изъ всѣхъ тогдашнихъ Печориныхъ — М. Ю. Лермонтова.

Это, въ свою очередь, приводило къ тому, что они привыкали смотрѣть на себя, какъ на людей особенныхъ, незаурядныхъ, рожденныхъ не для пошлой жизни и не для обычной «карьеры». Имъ казалось, что они предназначены были для чего-то высшаго, для какого-то необыкновеннаго «поприща», о которомъ они, впрочемъ, не имѣли никакого понятія. Печоринъ говоритъ: «Пробѣгаю въ памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачѣмъ я жилъ? для какой цѣли я родился?.. А вѣрно, она существовала, а вѣрно, было мнѣ назначеніе высокое, потому что я чувствую въ душѣ моей силы необъятныя»... Дѣло въ томъ, что Печоринъ — натура рѣзко-эгоцентрическая. Онъ все относитъ къ себѣ; ему кажется, что все создано для него; онъ не можетъ увлечься чѣмъ бы то ни было такъ, чтобы хоть на мигъ забыть о себѣ. И соотвѣтственно этому, у него чрезмѣрное самолюбіе. Онъ склоненъ преувеличивать свою душевную значительность. Зная о себѣ, что онъ — человекъ незаурядный, не пошлый, не мелкій, онъ уже мыслитъ себя какимъ-то «избранникомъ», онъ уже подозреваетъ въ себѣ «силы необъятныя» и задумывается надъ вопросомъ о своемъ высокомъ назначеніи.

Его крайній эгоцентризмъ ярко характеризуется въ другомъ мѣстѣ, гдѣ онъ говоритъ: «Я чувствую въ себѣ эту ненасытную жажду, поглощающую все, что встрѣчается на пути; я смотрю на стра-

даші и радости другихъ только въ отношеніи къ себѣ, какъ на пищу, поддерживающую мои душевныя силы»...

Печоринъ, какъ уже было указано, честолюбивъ и властолюбивъ. Есть намекъ на то, что онъ не могъ найти исхода своимъ честолюбивымъ стремленіямъ на единственно возможномъ тогда поприщѣ — на службѣ: «честолюбіе у меня, — говоритъ онъ, — подавлено обстоятельствами»... Но «оно проявилось въ другомъ видѣ»: оно нашло себѣ другую арену и другое упражненіе — покорять женскія сердца, внушать людямъ зависть, имѣть «поклонниковъ», вообще «подчинять своей волѣ» другихъ («Кн. Мери»).

### III.

Для Печорина въ указанномъ отношеніи чрезвычайно характерно то, что большая часть знаменитаго романа такъ и написана — въ видѣ «записокъ» самого героя («Тамань», «Княжна Мери», «Фаталистъ»), а другая часть («Бѣла») содержитъ въ себѣ признанія, даже родъ исповѣди Печорина. Эта наклонность или потребность высказываться, исповѣдываться, раскрывать другимъ свой внутренний міръ у натуръ эгоцентрическихъ не есть слѣдствіе или признакъ экспансивности и уживается вмѣстѣ съ другою, противоположною чертою характера — замкнутостью, скрытностью. Это просто — результатъ того, что эгоцентрическія натуры слишкомъ переполнены собою, слишкомъ заняты интересами своего внутренняго міра, и поэтому ихъ «я» невольно вырывается наружу, — высказывается. Такъ точно и тяготѣніе къ людямъ, къ обществу у нихъ не является выраженіемъ симпатій и общественныхъ стремленій и уживается съ мизантропией. Ихъ, такъ сказать, «тянетъ» къ людямъ, большинство которыхъ они не любятъ и презираютъ, и въ этомъ сказывается потребность отвлечься отъ вѣчныхъ помысловъ о себѣ и освѣжить новыми впечатлѣніями свою душу, отягченную прошлымъ опытомъ жизни. Здѣсь-то и даетъ себѣ знать ихъ повышенное самочувствіе, которое можетъ выражаться въ различныхъ формахъ. Но вотъ двѣ весьма любопытныя и, кажется, наименѣе «здоровыя» формы: 1) «У меня, — говоритъ Печоринъ, — врожденная страсть противорѣчить; цѣлая жизнь моя была только цѣпь грустныхъ и неудачныхъ противорѣчій сердцу или разуму. Присутствіе энтузіаста обдаётъ меня крещенскимъ холодомъ, и, я думаю, частыя сношенія съ вялымъ флегматикомъ сдѣлали бы изъ меня страстнаго мечтателя» («Княжна Мери»). — 2) «Нѣтъ въ мірѣ человека, надъ которымъ прошедшее приобрѣтало бы такую власть, какъ надо мною. Всякое воспоминаніе о минувшей печали или радости болѣзненно ударяетъ въ мою душу и извлекаетъ изъ нея все тѣ же звуки... Я глупо созданъ: ничего не забываю, ничего!» («Княжна Мери»).

1) Печоринъ принадлежитъ къ числу тѣхъ, которые умѣютъ передавать, но не умѣютъ брать. Въ этомъ-то и обнаруживается между прочимъ его повышенное самочувствіе: онъ слишкомъ сильно, слишкомъ ярко чувствуетъ свою мысль, свое чувство, свое настроеніе, чтобы удѣлять потребную долю вниманія мыслямъ, чувствамъ, настроеніямъ другихъ людей. Оттуда — тотъ духъ противорѣчія, о которомъ онъ говоритъ. Его душа какъ будто замуравала и неспособна сочувствовать другой душѣ, настраиваться въ унисонъ съ настроеніемъ другихъ. На чужой энтузіазмъ онъ отвѣчаетъ душевнымъ холодомъ, на чужой душевный холодъ онъ, какъ самъ думаетъ, отвѣтитъ энтузіазмомъ (что, впрочемъ, сомнительно, такъ какъ, по видимому, Печоринъ вообще неспособенъ къ энтузіазму). Это — уединенная душа, скудная симпатическимъ воображеніемъ, которое служитъ проводникомъ отъ человѣка къ человѣку. Противорѣча другимъ, онъ постоянно противорѣчитъ и себѣ самому, и его жизнь есть «цѣль грустныхъ и неудачныхъ противорѣчій сердцу или разуму». По видимому, дѣло идетъ здѣсь не о тѣхъ противорѣчіяхъ, которыя возникаютъ въ силу, на примѣръ, столкновенія страсти съ разумомъ, не о внутренней борьбѣ человѣка съ самимъ собою. Рѣчь идетъ о томъ, что Печоринъ неспособенъ отдаться влеченію сердца, точно такъ, какъ неспособенъ онъ поддаться настроенію другого человѣка, и что онъ также не удѣляетъ должнаго вниманія голосу разсудка по какому-то не то своенравію, не то капризу. Онъ часто поступаетъ наперекоръ своему разуму, какъ поступаетъ наперекоръ мнѣнію, желанію и т. п. другихъ людей. Въ немъ нѣтъ должной цѣльности или гармоніи душевной жизни. Такое состояніе души не можетъ считаться нормальнымъ — и субъектъ становится мало пригоднымъ для соціальной жизни, онъ уже — несомнѣнный кандидатъ въ «лишніе люди».

Но здѣсь надо принять во вниманіе степень дефекта. У Печорина мы видимъ только относительный недостатокъ симпатическаго воображенія и связанной съ нимъ способности воспринимать чужое душевное состояніе и жить общою жизнью съ другими. Такъ, на примѣръ, въ общеніи съ докторомъ Вернеромъ онъ вполне «нормаленъ»: онъ его понимаетъ, сочувствуетъ ему, обмѣнивается съ нимъ и мыслями, и чувствами. Но, однако, отъ добраго и по-своему умнаго Максима Максимовича онъ ничего не взялъ и, очевидно, не могъ сочувственно понять его, какъ понялъ Лермонтовъ. Напротивъ, Максимъ Максимовичъ, въ мѣру своего умственнаго развитія и силу простого здраваго смысла, сумѣлъ понять и даже очертить другому душевный складъ Печорина, столь чуждый ему. Въ этомъ смыслѣ простая душа стараго штабсъ-капитана оказалась богаче сложной души Печорина.

Иѣтъ худа безъ добра. Печорины, мало способные къ сочувственному пониманію другихъ и одержимые духомъ противорѣчія, благодаря этому душевному изъязу, оказываются застрахованными отъ разныхъ «психическихъ эпидемій», какія въ данное время получаютъ особенное распространеніе въ обществѣ. И вотъ почему въ эпоху «безвременья», когда сервиллизмъ, испугъ и квасной патріотизмъ стали своего рода «эпидеміями», Печоринъ гордо и твердо шелъ противъ теченія, неспособный усвоить себѣ господствующее настроеніе и обязательный кодексъ идей и чувствъ. Тутъ, между прочимъ, одна изъ причинъ его неприиспособленности къ служебной карьерѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ это придавало ему своеобразное общественное значеніе. Бываютъ эпохи, когда неспособность человѣка, хотя бы и «лишняго», заражаться всеобщимъ испугомъ есть уже заслуга и высоко цѣнится...

2) Если въ томъ «духѣ противорѣчія», которымъ одержимъ Печоринъ, мы усматриваемъ нѣчто аномальное (хотя и могущее, по условіямъ времени, оказаться полезнымъ для чести человѣка), то другую черту, указанную въ вышеприведенномъ признаніи Печорина, мы должны признать безусловно патологической и опасной для душевнаго здравія субъекта: Печоринъ ничего не забываетъ и вѣчно находится подъ гнетомъ своего прошлаго. Въ этомъ еще яснѣе обнаруживается его повышенное самочувствіе. При этомъ, очевидно, тутъ имѣются въ виду не столько мысли, идеи, сколько чувства, аффекты и настроенія. Печоринъ говоритъ о «минувшихъ печаляхъ и радостяхъ», которыя остаются въ его, какъ сказали бы современные французскіе психологи, «аффективной памяти» и болѣзненно ударяютъ въ его душу. Это значитъ, что нѣкогда пережитыя имъ чувства составляютъ послѣ себя слѣды въ его душѣ, болѣе устойчивые, чѣмъ у другихъ, нормальныхъ людей. Его душа, разъ испытала извѣстное, конечно, болѣе или менѣе сильное, чувство, сохраняетъ способность вновь переживать соотвѣтственное чувство или настроеніе, хотя бы оно и не вызывалось новымъ опытомъ жизни. Пережитыми чувствами, страстями, аффектами его душа разъ навсегда настроена извѣстнымъ образомъ и постоянно готова звучать замогильными звуками прошлаго. И все равно, радостны или печальны эти «звуки»: въ томъ и въ другомъ случаѣ они причиняютъ душевную боль. Былая радость либо отравляется теперь сознаніемъ, что ея нѣтъ<sup>1)</sup>, либо, что вѣрнѣе и важнѣе, — она причиняетъ особую душевную боль въ качествѣ чув-

<sup>1)</sup> Помимо этого воспоминанія о прошломъ вообще, о пережитыхъ нѣкогда чувствахъ и настроеніяхъ въ особености, обыкновенно окрашиваются какимъ-то отгѣнкомъ грусти, который усиливается по мѣрѣ того, какъ пережитое все дальне отодвигается въ прошлое. Въ этой своеобразной грусти есть что-то «похоронное», что-то «кладбищенское». Того же порядка и грусть историческихъ воспоминаній.



ства лишняго, такъ сказать—«сверхкомплектнаго», ненужнаго для текущей минуты, немотивированнаго настоящимъ. Ибо душа человѣческая безсознательно стремится къ экономіи, какъ въ сферѣ мысли, такъ и въ сферѣ чувства, и «законъ забвенія», господствующій именно въ душѣ чувствующей, въ высокой степени благодѣтель. У Печорина онъ плохо дѣйствуетъ, и его душа одержима призраками прежнихъ чувствъ, страстей, аффектовъ, настроеній.

Такая душевная организація не можетъ считаться нормальной и уравнивленной. Она фатально становится игралищемъ разныхъ, болѣе или менѣе тягостныхъ, угнетающихъ, состояній и томленій душевныхъ, — и нѣтъ ей успокоенія, нѣтъ ей забвенія.

Кажется, мы не ошибемся, если скажемъ, что натура Печорина въ этомъ отношеніи болѣе, чѣмъ въ другихъ, воспроизводила душевную организацію самаго Лермонтова, въ поэтическомъ «наосѣ» котораго мотивъ жажды «покоя и забвенія» игралъ весьма видную роль.

Вспомнимъ, напомнимъ:

За все, за все Тебя благодарю я:  
За тайныя мученія страстей,  
За горечь слезъ, отраву подѣлуя,  
За месть враговъ и клевету друзей;  
За жаръ души, растрченный въ пустынь  
За все, чѣмъ я обмануть въ жизни былъ...  
Устрой лишь такъ, чтобы Тебя отнынь  
Не долго я еще благодарилъ...

Поэтъ «все помнить», и все пережитое такъ болѣзненно отзывается въ его душѣ, что онъ не видитъ иного успокоенія, какъ только въ смерти. Но ему мерещится даже, что и за гробомъ его будутъ преслѣдовать земныя страсти — и любовь, и ревность, и муки, и во-  
сгорги:

Пускай холодною землею  
Засыпанъ я,  
О, другъ! всегда, вездѣ съ тобою  
Душа моя.  
Любви безумнаго томленья,  
Жилецъ могилъ,  
Въ страхъ покоя и забвенія  
Я не забыть...

(«Любовь мертвеца»).

Лирическая обработка этого мотива у Лермонтова такова, что само собою напрашивается предположеніе, что здѣсь передъ нами родъ поэтической исповѣди, что поэтъ лично испытывалъ эти тягостныя душевныя состоянія.

## IV.

Обращаясь къ Печорину, мы прежде всего видимъ въ немъ ярко-выраженную личность, которая какъ ни какъ, худо или хорошо, мыслить, чувствовать, понимаетъ вещи по-своему, а не шаблонно, по установившимся и традиціоннымъ формамъ. Оттуда, между прочимъ, тотъ интересъ и даже симпатія, съ которыми лучшіе люди 30—40-хъ годовъ относились къ Печорину. Его психологическій укладъ, во многомъ чуждый имъ, былъ, однако, понятенъ и какъ бы родственъ ихъ душѣ. Они, энтузіасты, готовы были простить Печорину его индифферентизмъ; не зная печоринской скуки и бездѣлья, они понимали эту сторону его душевной жизни и не видѣли въ ней доказательства пошлости или пустоты. Встрѣтаясь съ Печориннымъ, они могли бы сойтись съ нимъ такъ, какъ сошелся съ нимъ докторъ Вернеръ. Они бы, безъ сомнѣнія, охотно допустили Печорина въ свой интимный кругъ.

Таковы, думается мнѣ, должны были быть отношенія передовыхъ людей 30—40-хъ годовъ къ Печорину живому. Что же касается Печорина «литературнаго», то появленіе этого образа прежде всего направило мысль передовыхъ людей на другой образъ, давно знакомый, уже ставшій достояніемъ ихъ мысли, — на образъ Онѣгина. Представитель, такъ сказать — «лидеръ», «парти» западниковъ, Бѣлинскій, выступилъ съ обширной статьей о «Герое нашего времени», гдѣ впервые онъ далъ и характеристику Онѣгина («Отеч. Зап.», 1840, № 6; въ изданіи С. А. Венгерова, т. V, стр. 290—372).

Въ этой характеристикѣ (указ. изд., т. V, стр. 367—368) критикъ устанавливаетъ взглядъ на Онѣгина, какъ на реальный типъ, воспроизводящій извѣстный моментъ въ жизни и развитіи русскаго общества: «Онѣгинъ — не подражаніе, а отраженіе (т.-е. европейскихъ идей и литературныхъ типовъ), но сдѣлавшееся не въ фантазіи поэта, а въ современномъ обществѣ, которое онъ изображалъ въ лицѣ героя своего поэтическаго романа. Сближеніе съ Европой должно было особеннымъ образомъ отразиться въ нашемъ обществѣ, — и Пушкинъ, гениальнымъ инстинктомъ великаго художника уловилъ это отраженіе въ лицѣ Онѣгина».

Затѣмъ, указавъ, что этотъ моментъ, воплощенный въ Онѣгинѣ, уже прошелъ «невозвратно», Бѣлинскій говоритъ, что если бы Онѣгинъ «явился въ наше время», то естественъ былъ бы вопросъ:

Все тотъ же ль онъ, или усмирися?  
Иль корчитъ такъ же чудака?  
Скажите, чѣмъ онъ возвратился?  
Что намъ представить онъ пока?  
Чѣмъ илибъ явится?.. и т. д.

И говоритъ, что на эти-то вопросы и далъ отвѣтъ Лермонтовъ созданіемъ Печорина. Такимъ образомъ, Печоринъ — это «Онѣгинъ нашего времени, герой нашего времени». Главной задачей Лермонтова было вовсе не написать свой собственный портретъ, а именно создать общественно-психологическій типъ, который по своему значенію могъ бы стать рядомъ съ типомъ Онѣгина. И въ этомъ смыслѣ Лермонтовъ былъ вполне искрененъ, когда писалъ въ «Предисловіи ко 2-му изданію» романа «Герой нашего времени»: «Точно портретъ, но не одного человѣка: это портретъ, составленный изъ пороковъ всего нашего поколѣнія, въ полномъ ихъ развитіи»... А что въ этотъ портретъ вошли нѣкоторыя черты самого автора, это другое дѣло, обусловленное, главнымъ образомъ, субъективностью художественнаго творчества Лермонтова.

Бѣлинскій далъ подробный анализъ характера и всего душевнаго склада Печорина. Онъ видѣлъ въ «героѣ» портретъ самого автора, но такой, который въ то же время воплощаетъ въ себѣ и характерныя черты времени. И критикъ относится къ Печорину съ нескрываемой симпатіей. Онъ видитъ въ немъ личность незаурядную, богатую душевными силами, заключающую въ себѣ залогъ лучшаго будущаго. «Въ идеяхъ Печорина, — говоритъ онъ (стр. 365), — много ложнаго, въ ощущеніяхъ его есть искаженіе; но все это выкупается его богатой натурой. Его во многихъ отношеніяхъ дурное настоящее общается прекрасное будущее». Сопоставляя его съ Онѣгинымъ, критикъ находитъ, что, уступая послѣднему въ художественномъ отношеніи, Печоринъ выше его «по идеѣ». Поясненіе этой мысли, данное Бѣлинскимъ, представляетъ для насъ большой интересъ. Прежде всего критикъ оговаривается, что это преимущество Печорина передъ Онѣгинымъ вовсе не составляетъ заслуги Лермонтова: «это преимущество принадлежитъ нашему времени» (стр. 368). Дѣло въ томъ, что Онѣгинъ, при несомнѣнныхъ положительныхъ сторонахъ (онъ «вчужѣ чувства уважалъ», «въ его сердцѣ была и гордость, и прямая честь»), — человѣкъ апатичный, вялый; его «убили воспитаніе и свѣтская жизнь», — онъ опустился, ему «все приглядѣлось, все пріѣлось» — и «онъ равно зѣвалъ средь модныхъ и старинныхъ залъ»; но «не таковъ Печоринъ», говоритъ критикъ. И тутъ же онъ характеризуетъ лермонтовскаго героя такими чертами, которыя невольно напоминаютъ намъ душевный складъ и моральное «творчество» самого Бѣлинскаго и его друзей. Вотъ это любопытное мѣсто: «Этотъ человѣкъ не равнодушно, не апатично несетъ свое страданіе: бѣшено гоняется онъ за жизнью, ища ея повсюду; горько обвиняетъ онъ себя въ своихъ заблужденіяхъ. Въ немъ неумолчно раздаются внутренніе вопросы, тревожатъ его, мучать, и онъ въ рефлексіи ищетъ ихъ разрѣшенія:

подсматриваетъ каждое движеніе своего сердца, разсматриваетъ каждую мысль свою. Онъ сдѣлалъ изъ себя самый любопытный предметъ своихъ наблюденій и, стараясь быть какъ можно искреннѣе въ своей исповѣди, не только откровенно признается въ своихъ истинныхъ недостаткахъ, но еще и выдумываетъ небывалые или ложно истолковываетъ самыя естественныя свои движенія» (стр. 368). Почти буквально все это приходитъ въ голову, когда перечитываешь интимную переписку Бѣлинскаго, Герцена, Станкевича и др. Очевидно, были какія-то точки соприкосновенія между психологіей Печорина и душевнымъ міромъ этихъ выдающихся дѣятелей, столь отличныхъ отъ Печорина. Разумѣется, въ этомъ сближеніи первенствующую роль игралъ Лермонтовъ. Печоринъ оказался столь близкимъ и даже дорогимъ Бѣлинскому прежде всего потому, что онъ видѣлъ въ немъ самого Лермонтова и мысленно прибавлялъ къ душевному достоянію Печорина недостающія ему качества, принадлежавшія его автору. Но, съ другой стороны, если Печоринъ — это самъ Лермонтовъ «какъ есть», то Лермонтовъ — не Печоринъ, потому что, вопреки взгляду П. А. Котляревскаго, «герой нашего времени» — типъ собирательный. Бѣлинскій это чувствовалъ и понималъ, что видно изъ слѣдующихъ словъ въ другомъ письмѣ къ Боткину (отъ 13 іюня 1840 г.): «...Я несогласенъ съ твоимъ мнѣніемъ о натянутости и изысканности (мѣстами) Печорина: онъ разумно-необходимъ. Герой нашего времени долженъ быть таковъ. Его характеръ — или рѣшительное бездѣйствіе, или пустая дѣятельность. Въ самой его силѣ и величій должны проглядывать ходули, натянутость и изысканность. Лермонтовъ — великій поэтъ: онъ объектировалъ современное общество и его представители»... (Пышинъ, II, 48.)

Эта мысль, проводимая Бѣлинскимъ и въ статьѣ о «Героѣ нашего времени», въ существѣ своемъ совпадаетъ съ тѣмъ, что говоритъ и Лермонтовъ въ «Предисловіи» ко 2-му изданію романа.

Перечитывая статью великаго критика, мы убѣждаемся въ томъ, что для него, а слѣдовательно, и для того поколѣнія, представителемъ котораго онъ былъ, Печоринъ въ самомъ дѣлѣ является «героемъ времени». Его рефлексія, его хандра, его «охлажденный взглядъ» на жизнь, все это казалось Бѣлинскому особенно значительнымъ, онъ видѣлъ въ этомъ доказательство глубины натуры героя, находящагося въ томъ «переходномъ состояніи духа, въ которомъ для человѣка все старое разрушено, а новаго еще нѣтъ, и въ которомъ человѣкъ есть только возможность чего-то дѣйствительнаго въ будущемъ и совершенный призракъ въ настоящемъ» (указ. изд., V, 354).

Неудивительно, что психологія Печорина съ его хандрой, рефлексіей, разочарованностью и пр. могла показаться Бѣлинскому

чѣмъ-то родственнымъ, знакомымъ. И сосредоточивъ все свое вниманіе на этомъ пунктѣ, критикъ оставилъ безъ разсмотрѣнія другія стороны Печорина, внимательное отношеніе къ которымъ могло бы охладить его симпатію къ лермонтовскому герою. Бѣлинскій не отмѣтилъ бытовыхъ чертъ послѣдняго, а равно и тѣхъ, въ силу которыхъ Печоринъ является неудачникомъ и лишнимъ человѣкомъ. Впрочемъ, эти черты едва ли и могли быть поняты въ то время: они ясны намъ въ настоящее время, благодаря той разработкѣ этого общественно-психологическаго типа, которую далъ въ 50-хъ годахъ Тургеневъ. Въ концѣ же 30-хъ годовъ ни въ литературѣ, ни въ жизни эта сторона героевъ, олицетворявшихъ извѣстные «моменты» въ развитіи общества, еще не проявлялась съ достаточной отчетливостью.

Итакъ, для Бѣлинскаго Печоринъ былъ чисто-психологическій типъ, олицетворявшій переходный моментъ въ развитіи личности, такъ мучительно переживавшійся самимъ Бѣлинскимъ и его друзьями.

*Овсяннико-Куликовскій.*

## Г р у с т ь.

(Памяти М. Ю. Лермонтова, 15 іюля 1841 г.).

Пятьдесятъ лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ умеръ Лермонтовъ. Воспоминаніе о смерти поэта, безъ сомнѣнія, напомнитъ намъ его поэзію. Да, напомнитъ, потому что мы успѣли уже забыть ее. Поэзія Лермонтова только наше школьное воспоминаніе: въ нашемъ текущемъ житейскомъ настроеніи, кажется, не уцѣлѣло ни одной лермонтовской струны, ни одного лермонтовскаго аккорда. Жалѣть ли объ этомъ? Можетъ-быть—да, а можетъ-быть—и нѣтъ. Отвѣтъ зависитъ отъ оцѣнки этой давно затихшей пѣсни и отъ того, западъ ли въ насъ отъ нея какой-нибудь отзвукъ, лучше сказать—была ли она отзвукомъ какого-нибудь цѣннаго общечеловѣческаго или, по крайней мѣрѣ, національнаго мотива, или въ ней прозвучало чисто-индивидуальное настроеніе, которое сложилось подъ вліяніемъ капризныхъ случайностей личной жизни и вмѣстѣ съ ней замерло, обогативъ только запасъ рѣдкихъ психологическихъ возможностей. Въ послѣднемъ случаѣ поэзію Лермонтова едва ли стоитъ вызывать съ тихаго кладбища учебной хрестоматіи.

Приято думать, что Лермонтовъ—поэтъ байроновскаго направленія, пѣвецъ разочарованія, а разочарованіе—настроеніе мало приличествующее школьному возрасту и совсѣмъ неудобное для педагога; какъ воспитательное средство.

Между тѣмъ, послѣ старика Крылова, кажется, никто изъ русскихъ поэтовъ не оставилъ послѣ себя столько превосходныхъ вещей,



доступныхъ воображенію и сердцу учебнаго возраста безъ преждевременныхъ возбужденій, и притомъ не въ наивной формѣ басни, а въ видѣ баллады, легенды, историческаго разсказа, молитвы или простаго лирическаго момента. Неожиданно и то, что русскій поэтъ первой половины нашего вѣка сталъ пѣвцомъ разочарованія. Байронизмъ — это поэзія развалинъ, пѣснь о кораблекрушеніи. На какихъ развалинахъ сидѣлъ Лермонтовъ? Какой разрушенный Іерусалимъ онъ оплакивалъ? Ни на какихъ и никакого. Въ тѣ годы у насъ бывали несчастія и потрясенія, но ни одного изъ нихъ нельзя назвать крушеніемъ идеаловъ. Старыя вѣрованія, исторически сложившіяся и укрѣпившіяся въ общественномъ сознаніи, уцѣлѣли, а новыя идеи еще не успѣли дозрѣть до общественныхъ идеаловъ и свѣялись, какъ мечты отдѣльныхъ умовъ, неосторожно отважившихся забѣжать впередъ своего общества. Намъ не приходилось сидѣть на рѣкахъ вавилонскихъ, оплакивая родныя разрушенныя святыни, и даже о пожарѣ Москвы мы вспоминали неохотно, когда вѣжливую и сострадательной рукой брали Парижъ.

Поэзія Лермонтова развивалась довольно своеобразно. Поэтъ не сразу понялъ себя, его настроеніе долго оставалось для него загадкою. Это отчасти потому, что Лермонтовъ получилъ очень раннее и одностороннее развитіе, ускорявшееся излишнимъ количествомъ внѣшнихъ возбужденій. Рано пробудившаяся мысль питалась не столько непосредственнымъ наблюденіемъ, сколько усиленнымъ и однообразнымъ чтеніемъ, впечатлѣніями, какія навѣвались поэзіей Пушкина, Гейне, Ламартина и особенно «огромнаго Байрона», съ которымъ онъ уже на 16 году былъ неразлученъ, по свидѣтельству Е. А. Хвостовой. Этимъ нарушена была естественная очередь предметовъ размышленія. То, чѣмъ усиленно возбуждалась ранняя мысль Лермонтова, это были преимущественно предметы, изъ которыхъ слагается жизнь сердца, притомъ тревожнаго и притязательнаго. Съ трудомъ разбираясь въ воспринимаемыхъ впечатлѣніяхъ, Лермонтовъ вдумывался въ безпокойное и хаотическое настроеніе, ими навѣвавшееся, рядился въ чужіе костюмы, примѣрялъ къ себѣ героическія позы, вычитанныя у любимыхъ поэтовъ, подбиралъ гримасы, чтобы угадать, которая ему къ лицу, и такимъ образомъ сталъ на себя похожимъ. Для этой работы особенно много образовъ и пріемовъ дала ему манерная и своеправно-печальная поэзія Байрона, и въ этомъ отношеніи ей трудно отказать въ сильномъ вліяніи на нашего поэта. До конца своего недолгаго поприща не могъ онъ освободиться отъ привычки кутаться въ свою нарядную печаль, выставлать гной своихъ душевныхъ ранъ, притомъ напускныхъ или декоративныхъ, трагически демонизировать свою личность, — словомъ, казаться лейбъ-гвардіи гусарскимъ

Мефистофелемъ. Было бы большою ошибкой видѣть во всемъ этомъ одинъ бутафорскій приборъ, только чуждыя накладныя краски, которыя съ лѣтами должны были свалиться ветхою чешуей съ поэтического подлинника, не оставивъ на немъ своего слѣда. Эти изысканные приемы поэтического творчества появляются у Лермонтова въ такіе ранніе годы, когда усвоенная манера не столько отражаетъ, сколько направляетъ настроеніе души. Поэту ужъ не вернуть своихъ юныхъ гордыхъ дней; жизнь его пасмурна, какъ солнце осени суровой; онъ умеръ, душа его скорбитъ о годахъ развратныхъ: все это нишетъ не болѣе какъ 15-лѣтній мальчикъ, посвящая друзьямъ свою поэму, свои «печальныя мечты, плоды душевной пустоты».

Когда успѣлъ пережить всѣ эти нравственные ужасы благовоспитанный и прекрасно учившійся гимназистъ университетскаго благороднаго пансіона? Вторя этому настроенію, въ *Корсаръ*, *Преступникъ*, *Смерти* и др. пьесахъ тѣхъ лѣтъ (1828—1830 г.) являются все мрачные образы, печальные или ожесточенные. Изъ этихъ образовъ и положеній постепенно складывается типъ, который такъ долго владѣлъ воображеніемъ поэта. Сначала, напримѣръ, въ *Портретъ*, *Моемъ демонъ* и первомъ очеркѣ *Демона* (1829 г.). Поэтъ желалъ этотъ типъ, какъ свое любимое поэтическое дѣтище, всматривался въ него, ставилъ его въ разнообразныя позы и обстановки, изображалъ то печальнымъ и влюбленнымъ демономъ, то мстительнымъ русскимъ дворовымъ холопомъ-пугачевцемъ, то дикимъ кавказскимъ горцемъ, то великосвѣтскимъ игрокомъ, то ипохондрикомъ-художникомъ, то, наконецъ, кавказскимъ офицеромъ-баричемъ изъ высшаго столичнаго свѣта, не знающимъ, куда дѣвать себя отъ скуки. Онъ съ любовью искалъ этихъ противорѣчій и съ наслажденіемъ любовался ими, не отворачиваясь даже отъ самыхъ пошлыхъ, съ такимъ мефистофельскимъ злорадствомъ изображенныхъ имъ въ стихотвореніи *Что толку жить*. Изъ всѣхъ этихъ песродныхъ поэту усилій воображенія и сердца онъ вынесъ, по его словамъ, усталую душу, объятую тьмой и холодомъ, еще далеко не достигнувъ рубежа молодости. Лермонтовъ быстро развивался. Согласно съ привычнымъ направленіемъ своей мысли, онъ и этой небезпримѣрной особенности своего роста придавалъ трагическое значеніе. У него сложился взглядъ на себя, какъ на человѣка, рано отцвѣтшаго и преждевременно созрѣвшаго, успѣвшаго отжить, когда обыкновенно только начинаютъ жить. Любимымъ образомъ, къ которому онъ обращался для своей характеристики, былъ тощій плодъ, до времени созрѣвшій, который спротою виситъ между цвѣтовъ, не радуя ни глазъ, ни вкуса.

Ужасно старикомъ быть безъ сѣдшъ...

Въ этой печальной повѣсти поэта о своемъ нравственномъ разореніи, конечно, не всегда дѣйствительный житейскій опытъ, а есть и доля поэтической мечты, есть даже не мало заимствованныхъ со стороны, вычитанныхъ образовъ, принятыхъ за свою собственную мечту. Но мысль, рано и долго питавшаяся такими образами и чувствами, должна была покрыть въ глазахъ поэта людей и вещи тусклымъ свѣтомъ; настроеніе унынія и печали, первоначально павѣвавшееся случайными, хотя бы даже призрачными впечатлѣніями, незамѣтно превращалось въ потребность или въ «печальную привычку сердца», говоря словами поэта. Это настроеніе, столь неблагоприятное для нравственнаго роста поэта, имѣло, однако, благотворное дѣйствіе въ другомъ отношеніи. Утомленный или возбуждаемый впечатлѣніями, приносимыми со стороны, онъ рано началъ искать пищи для ума въ себѣ самомъ, много передумалъ, о чемъ рѣдко думается въ тѣ годы, выработалъ то умѣнье наблюдать и по наружнымъ примѣтамъ угадывать душевныя состоянія, которые такъ ярко блестятъ мѣстами въ его ранней и наивной, но необыкновенно живой и бойкой *Повѣсти*. Исторію этихъ раннихъ и любимыхъ думъ своихъ, смутныхъ, тревожныхъ и настойчивыхъ, онъ самъ разсказалъ въ стихотвореніи, помѣченномъ 11 іюня 1831 г. («Моя душа, я помню, съ дѣтскихъ лѣтъ»).

Эта пьеса, которую можно назвать одной изъ первыхъ главъ поэтической автобіографіи Лермонтова, показываетъ, какъ рано выработалась въ немъ та неутомимая, вздумчивая, привычная къ постоянной дѣятельности мысль, участіе которой въ поэтическомъ творествѣ вмѣстѣ съ удивительно послушнымъ воображеніемъ придаетъ такую своеобразную энергію его поэзіи.

Всегда кипить и зрѣетъ что-нибудь въ моемъ умѣ...

Ранніе поэтическіе опыты Лермонтова были пробой пера, предварительною черной работой надъ своимъ талантомъ. Странное дѣло! Чѣмъ настойчивѣе готовился поэтъ къ собственнымъ похоронамъ, чѣмъ больше накоплялся въ его умѣ запасъ мрачныхъ и печальныхъ думъ, тѣмъ чаще прорывались въ его пѣснѣ свѣтлыя, пылы, тѣмъ выше поднимался ея тонъ. Это настроеніе довольно рано начинаетъ пробиваться изъ-подъ прежняго и становится особенно замѣтно по выходѣ поэта изъ юнкерской школы (въ 1834 г.), когда онъ вступилъ въ 3-е десятилѣтіе своей жизни. Сравните его пьесу 1830 г. *Я не люблю тебя* съ пьесой 1837 г. *Разстались мы*. Тема обѣихъ пьесъ одна и та же — слѣдъ, оставленный въ воспоминаніи исчезнувшей сильной привязанностью, но мотивы различны. Въ первой пьесѣ ея образъ, оставшійся въ его душѣ, служить ему только безсильнымъ напоминаніемъ умчавшагося сна страстей и мукъ; во второй пьесѣ этотъ образъ

сохраняетъ еще часть силы своего подлинника надъ своимъ посетелемъ; который не можетъ разлюбить его, какъ призракъ своихъ лучшихъ дней; самый моментъ, схваченный поэтомъ, отблескъ нѣсколько различно въ обѣихъ пьесахъ: въ первой это разрывъ, во второй какъ будто только разлука. Эта перемена настроенія оказалась и въ новой развязкѣ, какую далъ поэтъ *Демону* въ окончательной редакціи поэмы: Тамара не достается навсегда духу-искусителю; ей все прощается за то, что она много страдала и любила. Новое настроеніе выразилось въ цѣломъ рядѣ поэтическихъ образовъ, которые каждый изъ насъ такъ хорошо помнитъ смолodu. Мятельный парусъ, просящій бури, какъ будто въ буряхъ есть покой, пустынные пальмы, наскучившія своимъ спокойнымъ одиночествомъ и поплатившіяся жизнью за удовлетворенное желаніе порадовать чей-нибудь благосклонный взоръ, дубовый листокъ, оторвавшійся отъ родной вѣтви и на далекой чужбинѣ напрасно просящій приюта у молодой избалованной чинары, одинокій старый утесъ, тихонько плачущій въ пустынь послѣ разлуки съ погостившей у него золотой тучкой, наконецъ этотъ двойной *Сонъ*, поражающій красотой скрытой въ немъ печали, въ которомъ онъ, одиноко лежа въ знойной долині Дагестана съ пулей въ груди, видитъ во снѣ, какъ ей среди веселаго шира грезится его трупъ, истекающій кровью въ долині Дагестана,—какъ непохожи эти образы на прежде ласкавшую воображеніе поэта дикую картину бурнаго океана, замершаго съ поднятыми волнами, въ театральномъ видѣ мертвеннаго движенія и безпокойства!

Наконецъ рядъ надменныхъ и себялюбивыхъ героевъ, все пережившихъ и передумавшихъ, безгласныхъ посетителей скуки и презрѣнія къ людямъ и жизни, у которой они взяли все, что хотѣли взять, и которой не дали ничего, что должны были дать, завершается спокойно-грустнымъ библейскимъ образомъ пророка, съ беззлобною скорбью ушедшаго отъ людей, которымъ онъ напрасно проповѣдывалъ любви и правды чистыя ученія. Демоническіе призраки, прежде владѣвшіе воображеніемъ поэта, потомъ стали казаться ему «безумнымъ, страстнымъ, дѣтскимъ бредомъ». То былъ не переломъ въ развитіи поэтическаго творчества, а его очищеніе отъ наносныхъ примѣсей, углубленіе таланта въ самого себя. Новые образы постепенно выступали изъ беспорядочныхъ и смутныхъ юношескихъ видѣній; новые мотивы складывались изъ нестройныхъ порывистыхъ впечатлѣній по мѣрѣ того, какъ зрѣвшая мысль очищала ихъ отъ тяжелаго бреда неустановившейся фантазіи. Лермонтовъ не выращивалъ своей поэзіи изъ поэтическаго зерна, скрытаго въ глубинѣ его духа, а, какъ скульпторъ, вырѣзывалъ ее изъ безформенной массы своихъ представлений и ощущеній, отбрасывая все лишнее. Онъ выматривалъ себя

въ разнообразныхъ явленіяхъ природы, подслушивалъ себя въ нестройной разноголосицѣ жизни, перебиралъ одинъ поэтический мотивъ за другимъ, чтобы угадать, который изъ нихъ есть его собственный, его природная поэтическая гамма, и, подбирая еродные звуки, поэтъ слилъ ихъ въ одно поэтическое созвучіе, которое было отзвукомъ его поэтическаго духа. Это созвучіе, эта лермонтовская поэтическая гамма — грусть, какъ выраженіе не общаго смысла жизни, а только характера личнаго существованія, настроенія единичнаго духа. Лермонтовъ — поэтъ не міросозерцанія, а настроенія, пѣвецъ *личной грусти*, а не *міровой скорби*.

Міровая скорбь и личная грусть — между этими настроеніями больше разницы, чѣмъ между словами, ихъ выражающими. Въ лексиконѣ это синонимы, въ психологін — почти антитезы. Психическій процессъ, который вводитъ въ состояніе міровой скорби, чаще всего называютъ разочарованіемъ. Разочароваться значитъ утратить вѣру въ свой идеаль, не самый идеаль, а только вѣру въ него, выйти изъ его обаянія. Идеаль, какъ мыслимый и желаемый порядокъ или поэтический образъ, остается, только исчезаетъ вѣра въ его дѣйствительность или осуществимость. Можно сохранять убѣжденіе въ пригодности извѣстнаго идеала для людей вообще и при этомъ потерять увѣренность, годятся ли *эти* люди для *такого* идеала. Когда разрушается самый идеаль, т. е. сознается его нелѣпость, тогда наступаетъ не самое разочарованіе, а отрезвленіе. Но послѣднее состояніе не можетъ быть источникомъ никакой скорби. Отрезвленный радуется торжеству здраваго смысла надъ нелѣпою мечтою; разочарованный скорбитъ о торжествѣ нелѣпой дѣйствительности надъ разумнымъ стремленіемъ. Грусть — ни то, ни другое, ея источникъ — не торжество разсудка и не пораженіе идеала. Грусть — чувство довольно простое само по себѣ; но, какъ всѣ такіа чувства, она тѣмъ труднѣе поддается анализу. Ее понимаешь, пока чувствуешь, и перестаешь чувствовать, какъ только начнешь разбирать. По крайней мѣрѣ, что такое грусть Лермонтова? Онъ былъ поэтомъ грусти въ полномъ художественномъ смыслѣ этого слова: онъ создалъ грусть, какъ поэтическое настроеніе, изъ тѣхъ разрозненныхъ ея элементовъ, какіе нашель въ самомъ себѣ и въ доступномъ его наблюденію житейскомъ оборотѣ. Потому не психологію надо призывать для объясненія его поэзіи, а его поэзія можетъ пригодиться для психологическаго изученія того настроенія, которое служило ей источникомъ.

Грусть стала звучать въ пѣснѣ Лермонтова, какъ только онъ началъ пѣть:

И грусти рашія на мнѣ печать.



Она проходит непрерывающимся мотивомъ по всей его поэзи; сначала заглушаемая звуками, взятыми съ чужого голоса, она потомъ становится господствующей нотой, хотя и не освобождается вполне отъ этихъ чуждыхъ звуковъ. Поэзія Лермонтова—только построение безъ притязанія освѣтить міръ какимъ-либо философскимъ или поэтическимъ свѣтомъ, расширится въ цѣльное міросозерцаніе.

Въ грусти, какъ и въ слезахъ, есть что-то примиряющее и утѣшающее. Вызываемая потребностью продолжить погибшее счастье или замѣнить не бывшее, она сама становится нравственной потребностью, какъ средство борьбы съ невзгодами и обманами жизни.

Сладость есть во всемъ, что не сбылось...

Усилиями сердца можно усладить и горечь обманутыхъ надеждъ. Человѣкъ, пережившій опустошеніе своей нравственной жизни, не умѣвъ вновь населить ее, старается наполнить ее печалью объ этомъ запустѣніи, чтобы какимъ-нибудь стимуломъ поддержать въ себѣ падающую энергію. Никто изъ насъ никогда не забудетъ одной изъ послѣднихъ пьесъ Лермонтова, которая всегда останется единственной по неподражаемому сочетанію энергичнаго чувства жизни съ глубокою, скрытою грустью, — пьеса, которая своимъ стихомъ почти освобождаетъ композитора отъ труда подбирать мотивы и звуки при ея переложеніи на ноты: это стихотвореніе *Выхожу одинъ я на дорогу*. Трудно найти въ поэзи болѣе поэтическое изображеніе духа, утратившаго все, чѣмъ возбуждалась его дѣятельность, но сохранившаго жажду самой дѣятельности, одной дѣятельности, простой, безпредметной. Не уцѣлѣло ни надеждъ, ни даже сожалѣній; усталая душа ищетъ только покоя, но не мертваго; въ вѣчномъ снѣ ей хотѣлось бы сохранить бѣненіе сердца и воспримчивость любимыхъ вѣншихъ впечатлѣній. Грусть есть и такое состояніе чувства, когда оно, утративъ свой предметъ, но сохранивъ свою энергію и отъ того страдая, не ищетъ новаго предмета и не только примиряется съ утратой, но и находитъ себѣ пищу въ самомъ этомъ страданіи. Примиреніе достигается мыслью о неизбежности утраты и внутреннимъ удовлетвореніемъ, какое доставляетъ стойкое чувство.

Итакъ, источникъ грусти—не торжество слѣпой дѣйствительности надъ разумомъ и не протестъ послѣдняго противъ первой, а торжество печальнаго сердца надъ своей печалью, примиряющее съ грустной дѣйствительностью. Такова, по крайней мѣрѣ, грусть въ поэтической обработкѣ Лермонтова.

Какъ и подъ какими вліяніями сложилось такое настроеніе поэта? Своимъ происхожденіемъ оно тѣсно соприкасается съ нравственной исторіей нашего общества. Поэзія Лермонтова всегда останется любо-

пытнымъ психологическимъ явленіемъ и никогда не утратитъ своихъ художественныхъ красотъ; но она имѣетъ еще значеніе важнаго историческаго симптома. Лермонтовъ — поэтъ по преимуществу лирическій; его творчество воспроизводило почти исключительно жизнь сердца и касалось трудно уловимыхъ ея мотивовъ. Господствующее мѣсто среди мотивовъ этой жизни занимаетъ личное счастье. Вопросъ объ этомъ счастье, о томъ, въ чемъ оно состоитъ и какъ достигается, всегда составлялъ важную и тревожную задачу для человѣческаго сердца. Поэзія Лермонтова подходила къ этому вопросу съ обратной его стороны, съ изнанки, если можно такъ выразиться: она пыталась указать, въ чемъ не слѣдуетъ искать счастья и какъ можно безъ него обойтись. Или вопросъ о счастье не любятъ ставить во всемъ его объемѣ. Не все отчетливо понимаютъ, что такое счастье вообще. Идею счастья мы прививаемъ къ своему сознанію воспитаніемъ, оправдываемъ общимъ мнѣніемъ людей, наконецъ извиняемъ всеми инстинктами своей природы. Разрушьте эту идею, и мы перестанемъ понимать, для чего родимся и живемъ на свѣтѣ. Отсутствие счастья дѣлаетъ насъ менѣе несчастными, чѣмъ его невозможность. Были, однако, сострадательныя попытки освободить людей отъ идолослуженія этой идеѣ, заставить ихъ усиліями ума и сердца, напряженною работою надъ своей волей отказаться отъ личнаго земнаго счастья, какъ отъ обязательной цѣли жизни, священной заповѣди блаженства. Съ наименьшимъ трудомъ удастся эта работа простымъ вѣрующимъ христіанамъ. Правило жизни — самоотверженіе. Не міръ своими благами обязанъ служить притязаніямъ лица, а лицо своимъ дѣлами обязано оправдать свое появленіе въ мірѣ. Христіанинъ растворяетъ горечь страданія отрадною мыслью о подвигѣ терпѣнія и сдерживаетъ радость чувствомъ благодарности за незаслуженную милость. Христіанская грусть слагается изъ мысли, что личное существованіе должно служить цѣлямъ міроваго порядка, слѣдовать путямъ Провидѣнія, и изъ чувства, что *мое* личное существованіе не оправдываетъ этого назначенія; значитъ, она слагается изъ идеи долга и чувства смиренія.

Поэтическая грусть Лермонтова была художественнымъ отголоскомъ этой практической русско-христіанской грусти, хотя и не близкимъ къ своему источнику. Лермонтовъ родился и выросъ въ средѣ, въ которой житейскія условія воспитали неумѣренную жажду личнаго счастья. Лучи образованія, искусственно и не всегда толково проведенные въ эту среду, возбудили, но не направили ея сонной мысли, не научили ее человѣчнѣе понимать людскія отношенія. Напротивъ, они сдѣлали ее самоувѣреннѣе и притязательнѣе и развили въ ней гастрономію личнаго счастья изысканными припра-

вами, но стали искать его не въ однихъ матеріальныхъ благахъ, не въ одной безцѣльной власти надъ ближнимъ: науки и искусства, міровой порядокъ и само Провидѣніе обязаны были служить ему подѣ опасеніемъ быть наказанными за ослушаніе сердитымъ пессимизмомъ и невѣріемъ со стороны такого прихотливаго и раздражительнаго міросозерцанія. Эти поколѣнія и создали ту удивительную культуру сердца, которая утонченностью и ненужностью воспитанныхъ ею чувствъ, соединенныхъ съ крайне неустойчивою первою и моральною системою, такъ напоминаетъ старинную барскую теплицу съ ея дорогою и прихотливой флорой, способною занять ботаника только развѣ тѣмъ, что она служила удачнымъ опытомъ борьбы съ климатомъ и хозяйственнымъ смысломъ. По лучшимъ произведеніямъ нашей беллетристики 50-хъ и 60-хъ годовъ еще памяты превосходно изображенные образчики этой теплично-первнѣй, сентиментально-вялой и нравственно уступчивой культуры.

Сильному уму не много нужно было усилій, чтобы понять противорѣчія столь искусственно сложившейся и хрупкой среды.

Лермонтовъ сталъ къ ней въ двусмысленное отношеніе.

Родившись въ ней и привыкнувъ дышать ея воздухомъ, онъ не возставалъ противъ коренныхъ ея недостатковъ; напротивъ, онъ усвоилъ много дурныхъ ея привычекъ и понятій, что дѣлало столь непріятнымъ его характеръ, какъ и его обращеніе съ людьми. Рѣдко платятъ такую тяжелую дань предразсудкамъ и порокамъ своей среды, какую заплатилъ Лермонтовъ. Онъ былъ блестящею иллюстраціей и печальнымъ оправданіемъ пушкинскаго *Поэта*, въ минуты бездѣлья, пока божественный глаголъ не касался его слуха, умѣлъ быть ничтожитѣй всѣхъ ничтожныхъ дѣтей міра или, по крайней мѣрѣ, любилъ такимъ казаться. Но при такомъ практическомъ примиреніи съ воспитавшей его средой тѣмъ неодолимѣе было его нравственное отчужденіе отъ нея. Онъ какъ будто мстилъ ей за противныя жертвы, какія принужденъ былъ ей принести, и при каждой оглядкѣ на себя въ немъ вспыхивала горькая досада на это общество, подобная той, какую въ увѣчномъ челоуѣкъ вызываетъ причина его увѣчья при каждомъ ощущеніи причиняемой имъ неловкости. Поэтъ

... По праву мести

сталъ унижать толпу подѣ видомъ лести. По его признанію, общество всегда казалось ему собраніемъ людей безчувственныхъ, самолюбивыхъ въ высшей степени и полныхъ зависти, къ которымъ онъ съ безграничнымъ презрѣніемъ обращалъ свою ненависть. При видѣ этого «надменнаго, глунаго свѣта съ его красной пустотой» какъ ему хотѣлось дерзко бросить ему въ глаза желѣзный стихъ, облитый го-

речью и злостью! Но Лермонтову не изъ чего было выковать такой стихъ, и онъ не сталъ сатирикомъ. Въ его стихѣ иногда звучала сатирическая нота, онъ былъ способенъ на злую и горькую остроту, но былъ лишенъ той острой горечи и злости, какою необходимо полить сатирическій стихъ. У Лермонтова было слишкомъ много лиризма, подъ дѣйствіемъ котораго сатирическій мотивъ растворялся въ элегическую жалобу, какъ это случилось съ его *Думой*. А потомъ, во имя чего возсталъ бы Лермонтовъ противъ порядковъ, нравовъ и понятій современнаго общества, во имя какихъ правилъ и идеаловъ? Ни вокругъ себя, ни въ себѣ самомъ не находилъ онъ элементовъ, изъ которыхъ можно было бы составить такія правила и идеалы; ни наблюденіе, ни собственное міросозерцаніе не давали ему положительной сатирической темы, безъ которой сатира превращается въ досужее зубоскальство! Лучшее, что онъ могъ заимствовать у своего общества, была все та же эстетическая культура сердца, замѣнявшая нравственные правила тонкими чувствами и общественные и другіе идеалы мечтами о личномъ счастьѣ. Онъ возмущался противъ общества, среди котораго враждался, но мирился съ общежитіемъ, къ которому привыкъ.

#### Я любилъ

всѣ обольщенія свѣта, но не свѣтъ. Однако онъ чувствовалъ, что этими обольщеніями онъ нравственно связалъ и съ самымъ нелюбимымъ свѣтомъ, и не могъ порвать этой связи, хотя порой и стыдился ея. Отъ этого свѣта вмѣстѣ съ понятіями и привычками онъ унаслѣдовалъ и раннюю возбужденность чувствъ, которой самъ дивился и которой любилъ надѣлять своихъ героевъ: трехъ лѣтъ онъ плакалъ, растроганный пѣсней матери, десяти лѣтъ былъ уже влюбленъ. Ему тяжело было поднимать сатирическій бичъ па это общежитіе, хотя порой онъ хлесталъ имъ самое общество и даже страдалъ за это. Ему пришлось бы бить по собственнымъ больнымъ мѣстамъ, до которыхъ и безъ того было больно дотронуться. Не имѣя силъ бичевать испорченное общежитіе, съ которымъ онъ такъ тѣсно соприкасался, онъ обратилъ печальную мысль на болѣзни, которыми самъ заразился чрезъ это соприкосновеніе. Эта печаль прошла двѣ фазы въ своемъ развитіи. Первая была порой бурнаго и ожесточеннаго разочарованія. Прежде всего, своею проворною мыслью и тонкимъ чутьемъ поэтъ постигъ пустоту и призрачность тѣхъ благъ, изъ которыхъ люди его общества строили свое личное счастье и въ которыхъ онъ самъ искалъ его.

И презиралъ онъ этотъ міръ ничтожный,  
Гдѣ жизнь—измѣнъ взаимныхъ вѣчныхъ рядъ,  
Гдѣ радость и печаль—все призракъ ложный,  
Гдѣ память о добрѣ и злѣ — все ядъ.

Это зрѣлище развѣляло его собственныя юношескія мечты и отравило ему вкусъ жизни. Бывало, и онъ молилъ о счастіѣ. Теперь

...тягостно мнѣ счастье стало,  
Какъ для царя вѣнецъ.

Послѣ, незадолго до смерти, въ *Валерикѣ*, поражающемъ сосредоточенною и жесткою печалью, которую такъ рѣдко выдерживалъ Лермонтовъ, онъ въ сжатой, какъ бы схематической, исповѣди изложилъ ходъ своего разочарованія, послѣдовательными моментами котораго были: любовь, страданіе, безплодное раскаяніе и, наконецъ, холодное размышленіе, убившее послѣдній цвѣтъ жизни. Невозможно счастье, такъ и не нужно его, — таковъ былъ нѣсколько надменный и дѣтски-капризный выводъ, вынесенный поэтомъ изъ первыхъ житейскихъ испытаній. Но эти самыя утраты и пораженія «сердца, обманутаго жизнью», помогли поэту одержать важную побѣду надъ своимъ самоопыненіемъ. Вѣрный духу и міросозерцанію своей среды, онъ началъ сознательную жизнь мыслью, что онъ — центръ и душа мірового порядка.

Въ одномъ письмѣ 18-лѣтній философъ, размышляя о своемъ «я», писалъ, что ему страшно подумать о томъ днѣ, когда онъ не будетъ въ состояніи сказать: я, и что при этой мысли весь міръ превращается для него въ комъ грязи. Теперь онъ сталъ скромнѣе и въ *Думѣ* пропѣлъ похоронную пѣснь ничтожному поколѣнію, къ которому принадлежалъ самъ. Эта побѣда облегчила ему переходъ въ новую фазу его печальнаго настроенія, въ состояніе примиренія съ своею печалью. Онъ переставалъ волноваться и скорбѣть о своей «пустынной душѣ», опустошенной «бурями рока», и понемногу населялъ ее мирными желаніями и чувствами. Наскучивъ бурями природы и страстей, онъ начинаетъ любить

Поутру ясную погоду,  
Подъ вечеръ тихій разговоръ.

Теперь можетъ показаться страннымъ и непонятнымъ процессъ, которымъ развивалось поэтическое настроеніе Лермонтова. Это развитіе, конечно, направлялось особенностями личнаго характера и воспитанія поэта и характеромъ среды, изъ которой онъ вышелъ, и которая его воспитала. Изысканно-тонкія чувства и мечтательныя страданія, черезъ которыя прошла поэзія Лермонтова, прежде чѣмъ нашла и усвоила свое настоящее настроеніе, теперь на многихъ, пожалуй, произведутъ впечатлѣніе досужихъ затѣй стараго барства, и нужно уже историческое изученіе, чтобы понять ихъ смыслъ и происхожденіе. Но самое настроеніе этой поэзіи совершенно понятно и безъ историческаго комментарія. Основная струна его звучитъ и теперь въ нашей жизни, какъ звучала вокругъ Лермонтова. Она слышна въ господствующемъ тонѣ русской пѣсни — не веселомъ и не печальномъ, а



грустномъ. Ея тону отвѣчаетъ и обстановка, въ какой она поется. Всмотритесь въ какой угодно пейзажъ русской природы: веселъ онъ или печаленъ? Ни то, ни другое: онъ грустенъ. Пройдите любую галерею русской живописи и вдумайтесь въ то впечатлѣніе, какое изъ нея выносите: весело оно или печально? Какъ будто немного весело и немного печально: это значитъ, что оно грустно. Вы усиливаетесь припомнить, что гдѣ-то было уже выражено это впечатлѣніе, что русская кисть на этихъ полотнахъ только иллюстрировала и воспроизводила въ подробностяхъ какую-то знакомую вамъ общую картину русской природы и жизни, произведшую на васъ то же самое впечатлѣніе, немного веселое и немного печальное,—и вспомните *Родину* Лермонтова. Личное чувство поэта само по себѣ, независимо отъ его поэтической обработки, не болѣе какъ психологическое явление. Но если оно отвѣчаетъ настроенію народа, то поэзія, согрѣтая этимъ чувствомъ, становится явленіемъ народной жизни, историческимъ фактомъ. Религіозное воспитаніе нашего народа придало этому настроенію особую окраску, вывело его изъ области чувства и превратило въ нравственное правило, въ преданность судьбѣ, т.-е. *волю Божіей*. Это русское настроеніе, не восточное и не азіатское, а національное русское. На Западѣ знаютъ и понимаютъ эту *резиньяцію*; но тамъ она — спорадическое явленіе личной жизни и не переживалась, какъ народное настроеніе. На Востокѣ къ такому настроенію примѣшивается вялая, безнадежная опущенность мысли, и изъ этой смѣси образуется грубый психологическій составъ, называемый фатализмомъ.

Народу, которому пришлось стоять между безнадежнымъ Востокомъ и самоувѣреннымъ Западомъ, досталось на долю выработать настроеніе, проникнутое надеждой, но безъ самоувѣренности, а только съ вѣрой. Поэзія Лермонтова, освобождаясь отъ разочарованія, навѣяннаго жизнью свѣтскаго общества, на послѣдней ступени своего развитія близко подошла къ этому національному религіозному настроенію, и его грусть начала пріобрѣтать отгѣнокъ поэтической резиньяціи, становилась художественнымъ выраженіемъ того стиха молитвы, который служить формулой русскаго религіознаго настроенія: *да будетъ воля Твоя*.

Никакой христіанскій народъ своимъ бытомъ, всею своею исторіей не прочувствовалъ этого стиха такъ глубоко, какъ русскій, и ни одинъ русскій поэтъ доселѣ не былъ такъ способенъ глубоко проникнуться этимъ народнымъ чувствомъ и дать ему художественное выраженіе, какъ Лермонтовъ.

К. 1)

1) Есть основаніе считать эту статью принадлежащей перу знаменитаго историка Ключевского.

## О натуральной школѣ Гоголя.

Натуральная школа стоитъ теперь на первомъ планѣ русской литературы; несколько не преувеличивая дѣла по какимъ-нибудь пристрастнымъ увлеченіямъ, мы можемъ сказать, что публика, т.-е. большинство читателей, за нее: это фактъ, а не предположеніе. Теперь вся литературная дѣятельность сосредоточилась въ журналахъ, а какіе журналы пользуются большею извѣстностью, имѣютъ болѣе обширный кругъ читателей и большее вліяніе на мнѣніе публики, какъ не тѣ, въ которыхъ помѣщаются произведенія натуральной школы? Какіе романы и повѣсти читаются публикою съ особеннымъ интересомъ, какъ не тѣ, которые принадлежатъ натуральной школѣ, или, лучше сказать, читаются ли публикою романы и повѣсти, не принадлежащія къ натуральной школѣ? Съ другой стороны, о комъ безпрестанно говорить, спорить, на кого безпрестанно нападаютъ съ ожесточеніемъ, какъ не на натуральную школу?

Все это несколько не ново въ нашей литературѣ, но было неразъ и всегда будетъ. Карамзинъ первый произвелъ раздѣленіе въ едва возникавшей тогда русской литературѣ. До него все были согласны во всѣхъ литературныхъ вопросахъ, и если бывали разногласія и споры, они выходили не изъ мнѣній и убѣжденій, а изъ мелкихъ и безпокойныхъ самолюбій Сумарокова и Тредьяковского. Но это согласіе доказывало только безжизненность тогдашней такъ называемой литературы. Карамзинъ первый оживилъ ее, потому что перевелъ ее изъ книги въ жизнь, изъ школы въ общество. Тогда, естественно, явились и партіи, началась война на перьяхъ, раздались вопли, что Карамзинъ и его школа губятъ русскій языкъ и вредятъ добрымъ русскимъ правамъ. Въ лицѣ его противниковъ, казалось, вновь возсталъ русская упорная старина, которая съ такимъ судорожнымъ и, тѣмъ болѣе, безплоднымъ напряженіемъ отставала себя отъ реформы Петра Великаго. Но большинство было на сторонѣ права, т.-е. таланта и современныхъ нравственныхъ потребностей, вопли противниковъ заглушались хвалебными гимнами поклонниковъ Карамзина. Все группировалось около него, и отъ него все получило свое значеніе, свою значительность, все — даже противники. Онъ былъ героемъ, Ахилломъ того времени. Но что вся эта тревога въ сравненіи съ бурей, которая поднялась съ появленіемъ Пушкина на литературномъ поприщѣ? Она такъ памятна всѣмъ, что нѣтъ нужды и распространяться о ней. Скажемъ только, что противники Пушкина видѣли въ его сочиненіяхъ искаженіе русскаго языка, русской поэзіи, несомнѣнный вредъ не только для эстетическаго вкуса публики, но и — повѣрять ли теперь этому? — для общественной нрав-

ствѣнности!.. Что же за причина, что противники всякаго движенія впередъ во всѣ эпохи нашей литературы говорили одно и то же и почти одними и тѣми же словами?

Причина этого скрывается тамъ же, гдѣ надобно искать и происхожденія натуральной школы — въ исторіи нашей литературы. Въ лицѣ Кантемира русская поэзія обнаружила стремленіе къ дѣйствительности, къ жизни, какъ она есть, основала свою силу на вѣрности натурѣ. Въ Державинѣ (его оды «Къ Фелицѣ», «Вельможѣ», «На счастье» едва ли не лучшія его произведенія, — по крайней мѣрѣ, безъ всякаго сомнѣнія, въ нихъ больше оригинальнаго, русскаго, нежели въ торжественныхъ одахъ), въ басняхъ Хемницера и въ комедіяхъ Фон-визина отозвалось направленіе, представителемъ котораго, по времени, былъ Кантемиръ. Сатира у нихъ рѣже переходитъ въ преувеличеніе и карикатуру, становится болѣе натуральною, по мѣрѣ того, какъ становится болѣе поэтической. Въ басняхъ Крылова сатира дѣлается вполне художественною: натурализмъ становится отличительною характеристическою чертою его поэзіи. Зато онъ первый и подвергся упрекамъ за изображенія «низкой природы». Наконецъ явился Пушкинъ, поэзія котораго относится къ поэзіи всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ, какъ достиженіе относится къ стремленію. Несмотря на преимущественно идеальный и лирическій характеръ первыхъ поэмъ Пушкина, въ нихъ уже вошли элементы жизни дѣйствительной. Цыганскій таборъ, съ оборванными шатрами между колесами телѣгъ, съ пляшущимъ медвѣдемъ и пагими дѣтьми въ перекидныхъ корзинкахъ на ослахъ, былъ тоже неслыханною дотошъ сценою для кроваваго трагическаго событія. Но въ «Евгеніи Онегинѣ» идеалы еще болѣе уступили мѣсто дѣйствительности; тутъ уже натуральность является не какъ сатира, не какъ комизмъ, а какъ вѣрное воспроизведеніе дѣйствительности, со всѣмъ ея добромъ и зломъ, со всѣми ея житейскими дрязгами: около двухъ-трехъ лицъ, опозитизированныхъ или нѣсколько идеализированныхъ, выведены люди обыкновенные, но не на посмѣище, какъ уроды, какъ исключеніе изъ общаго правила, а какъ лица, составляющія большинство общества. И все это въ романѣ, писанномъ стихами! Что же въ это время дѣлалъ романъ въ прозѣ?

Онъ всѣми силами стремился къ сближенію съ дѣйствительностью, къ натуральности. Между этими попытками были очень замѣчательныя, но, тѣмъ не менѣе, всѣ онѣ отзывались переходною эпохою, стремились къ новому, не оставляя старой колѣн. Весь успѣхъ заключался въ томъ, что, несмотря на вопли старовѣровъ, въ романѣ стали появляться лица всѣхъ сословій, и авторы старались поддѣлываться подъ языкъ cadaго. Это называлось тогда народностью. Но эта на-

родность слишком отзывалась тогда маскарадною: русскія лица низшихъ сословій походили на переряженныхъ баръ, а бары только именами отличались отъ иностранцевъ. Нуженъ былъ гениальный талантъ, чтобы навсегда освободить русскую поэзію, изображающую русскіе нравы, русскій бытъ, изъ-подъ чуждыхъ ей вліяній. Пушкинъ много сдѣлалъ для этого; но закончить, довершить дѣло предоставлено было другому таланту. Съ появленіемъ «Миргорода» и «Арабесокъ» (въ 1835 году) и «Ревизора» (въ 1836 году) начинается полная извѣстность Гоголя и его сильное вліяніе на русскую литературу. Вліяніе теорій и школъ было одною изъ главныхъ причинъ, почему многіе сначала спокойно, безъ всякой враждебности, искренно и добросовѣстно видѣли въ Гоголѣ не болѣе, какъ писателя забавнаго, но тривіальнаго и незначительнаго, и вышли изъ себя уже вслѣдствіе восторженныхъ похвалъ, расточавшихся ему другою стороною, и важнаго значенія, которое онъ быстро пріобрѣталъ въ общественномъ мнѣніи. Въ самомъ дѣлѣ, какъ ни ново было въ свое время направленіе Карамзина, оно оправдывалось образцами французской литературы. Какъ ни странно поразили всѣхъ баллады Жуковского, съ ихъ мрачнымъ колоритомъ, съ ихъ кладбищами и мертвецами, но за нихъ были корифеи нѣмецкой литературы. Самъ Пушкинъ, съ одной стороны, былъ подготовленъ предшествовавшими ему поэтами, и первые опыты его носили на себѣ легкіе слѣды ихъ вліянія; съ другой стороны, его нововведенія оправдывались общимъ движеніемъ во всѣхъ литературахъ Европы и вліяніемъ Байрона — авторитета огромнаго. Но Гоголю не было образца, не было предшественниковъ ни въ русской, ни въ иностранныхъ литературахъ. Всѣ теоріи, всѣ преданія литературныя были противъ него, потому что онъ былъ противъ нихъ. Чтобы понять его, надо было вовсе ихъ выкинуть изъ головы, забыть о ихъ существованіи, а это для многихъ значило бы переродиться, умереть и вновь воскреснуть. Чтобы яснѣе сдѣлать нашу мысль, посмотримъ, въ какихъ отношеніяхъ Гоголь находится къ другимъ русскимъ поэтамъ. Конечно, и въ тѣхъ сочиненіяхъ Пушкина, которыя представляютъ чуждыя русскому міру картины, безъ всякаго сомнѣнія, есть элементы русскіе; но кто же укажетъ ихъ? Какъ доказать, что, напримѣръ, поэмы: «Моцартъ и Сальери», «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Галубъ», могли быть написаны только русскимъ поэтомъ, и что ихъ не могъ бы написать поэтъ другой націи? То же можно сказать о Лермонтовѣ. Всѣ сочиненія Гоголя посвящены исключительно изображенію міра русской жизни, и у него нѣтъ соперниковъ въ искусствѣ воспроизводить ее во всей ея истинности. Онъ ничего не смягчаетъ, не украшаетъ, вслѣдствіе любви къ идеаламъ или какихъ-нибудь заранѣе принятыхъ идей или привычныхъ пристрастій, какъ, напримѣръ, Пушкинъ въ «Онѣгинѣ»

идеализировалъ помѣщичій бытъ. Конечно, преобладающій характеръ его сочиненій — отрицаніе; всякое отрицаніе, чтобы быть живымъ и поэтическимъ, должно дѣлаться во имя идеала, и этотъ идеалъ у Гоголя такъ же не свой, т.-е. не туземный, какъ и у всѣхъ другихъ русскихъ поэтовъ, потому что наша общественная жизнь еще не сложилась и не установилась, чтобы могла дать литературѣ этотъ идеалъ. Но нельзя же не согласиться съ тѣмъ, что по поводу сочиненій Гоголя уже никакъ нельзя предположить вопроса: какъ доказать, чтобы они могли быть написаны только русскимъ поэтомъ, и что ихъ не могъ бы написать поэтъ другой націи? Изображать русскую дѣйствительность, и съ такою разительною вѣрностью и истинною, разумѣется, можетъ только русскій поэтъ. И вотъ пока въ этомъ-то болѣе всего и состоитъ народность нашей литературы.

Литература наша началась подражательностью. Но она не остановилась на этомъ, а постоянно стремилась къ самобытности, народности, изъ риторической стремилась сдѣлаться естественною, натуральною. Это стремленіе, ознаменованное замѣтными и постоянными успѣхами, и составляетъ смыслъ и душу исторіи нашей литературы. И мы, не обинуясь, скажемъ, что ни въ одномъ русскомъ писателѣ это стремленіе не достигло такого успѣха, какъ въ Гоголѣ. Это могло совершиться только черезъ исключительное обращеніе искусства къ дѣйствительности, помимо всякихъ идеаловъ. Для этого нужно было обратить все вниманіе на толпу, на массу, изображать людей обыкновенныхъ, а не пріятныя только исключенія изъ общаго правила, которыя всегда соблазняютъ поэтовъ на идеализированіе и посятъ на себѣ чужой отпечатокъ. Это великая заслуга со стороны Гоголя; но это именно люди стараго образованія и вмѣняютъ ему въ великое преступленіе передъ законами искусства. Этимъ онъ совершенно измѣнилъ взглядъ на самое искусство. Къ сочиненіямъ каждаго изъ поэтовъ русскихъ можно, хотя и съ натяжкою, приложить старое и ветхое опредѣленіе поэзіи, какъ «украшенной природы»; но въ отношеніи къ сочиненіямъ Гоголя этого уже невозможно сдѣлать. Къ нимъ идетъ другое опредѣленіе искусства, какъ воспроизведеніе дѣйствительности во всей ея истинѣ. Тутъ все дѣло въ типахъ, и идеалъ тутъ понимается не какъ украшеніе (слѣдовательно, ложь), а какъ отношенія, въ которыя становить другъ къ другу авторъ созданные имъ типы, сообразно съ мыслью, которую онъ хочетъ развить своимъ произведеніемъ.

Вліяніе Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только всѣ молодые таланты бросились на указанный имъ путь, но и нѣкоторые писатели, уже пріобрѣвшіе извѣстность, пошли по этому же пути, оставивъ свой прежній. Отсюда появленіе школы, которую противники его думали унизить названіемъ натуральной. Послѣ «Мертвыхъ душъ»



Гоголь ничего не написалъ. На сценѣ литературы теперь только его школа. Всѣ упреки и обвиненія, которые прежде устремлялись на него, теперь обращены на натуральную школу, и если еще дѣлаются выходки противъ него, то по поводу этой школы. Въ чемъ же обвиняютъ ее? Обвиненій много, и они всегда одни и тѣ же. Сперва нападали на нее за ея будто бы постоянныя нападки на чиновниковъ. Въ ея изображеніяхъ быта этого сословія, одни искренно, другіе умышленно, видѣли злонамѣренныя карикатуры. Съ нѣкотораго времени эти обвиненія замолкли. Теперь обвиняютъ писателей натуральной школы за то, что они любятъ изображать людей низкаго званія, дѣлаютъ героями своихъ повѣстей мужиковъ, извозчиковъ, дворниковъ, описываютъ углы, убожища голодной нищеты и часто всяческой безнравственности. Чтобы устыдить новыхъ писателей, обвинители съ торжествомъ указываютъ на прекрасныя времена русской литературы, ссылаются на имена Карамзина и Дмитріева, избравшихъ для своихъ сочиненій предметы высокіе и благородные. Мы же напомнимъ имъ, что первая замѣчательная русская повѣсть была написана Карамзинымъ, и ея героиня была оболоченная петиметромъ крестьянка — бѣдная Лиза... Но тамъ, скажутъ они, все опрятно и чисто, и подмосковная крестьянка не уступитъ самой благовоспитанной барышнѣ. Вотъ мы и дошли до причины спора: тутъ виновата, какъ видите, старая пѣтлика. Она позволяетъ изображать, пожалуй, и мужиковъ, но не иначе, какъ одѣтыхъ въ театральные костюмы, обнаруживающихъ чувства и понятія, чуждыя ихъ быту, положенію и образованію, и объясняющихся такимъ языкомъ, которымъ никто не говоритъ, а тѣмъ менѣе крестьяне. Старая пѣтлика позволяетъ изображать все, что вамъ угодно, но только предписываетъ при этомъ изображаемый предметъ такъ украсить, чтобы не было никакой возможности узнать, что вы хотѣли изобразить. Слѣдуя строго ея урокамъ, поэтъ можетъ пойти дальше прославленнаго Дмитріевымъ маляра Ефрема, который Архипа писалъ Сидоромъ, а Луку Кузьмою: онъ можетъ снять съ Архипа такой портретъ, который не будетъ походить не только на Сидора, но и ни на что на свѣтѣ, даже на комокъ земли. Натуральная школа слѣдуетъ совершенно противоположному правилу: возможно близкое сходство изображаемыхъ ею лицъ съ ихъ образцами въ дѣйствительности не составляетъ въ ней всего, и есть первое ея требованіе, безъ выполненія котораго уже не можетъ быть въ сочиненіи ничего хорошаго. Требованіе тяжелое, выполнимое только для таланта! Какъ же послѣ этого не любить и не читать старой пѣттики тѣмъ писателямъ, которые когда-то умѣли и безъ таланта съ успѣхомъ подвизаться на поприщѣ поэзіи? Какъ не считать имъ натуральной школы самымъ ужаснымъ врагомъ своимъ, когда она ввела такую манеру писать, которая имъ недоступна? Это, ко-

нечно, относится только къ людямъ, у которыхъ въ этотъ вопросъ вмѣшалось самолюбіе; но найдется много и такихъ, которые по искреннему убѣжденію не любятъ естественности въ искусствѣ, вслѣдствіе вліянія на нихъ старой пѣнттики. Эти люди съ особенною горечью жалуются еще на то, что теперь искусство забыло свое прежнее назначеніе. «Бывало, — говорятъ они, — поэзія поучала, забавляя, заставляла читателя забывать о тягостяхъ и страданіяхъ жизни, представляла ему только картины пріятныя и смѣющіяся. Прежніе поэты представляли и картины бѣдности, но бѣдности опрятной, умытой, выражающейся скромно и благородно; притомъ же, къ концу повѣсти всегда являлась чувствительная молодая дама или дѣвица, дочь богатыхъ и благородныхъ родителей, а не то благодѣтельный молодой человекъ, и во имя милаго или милой сердца водворяли довольство и счастье тамъ, гдѣ были бѣдность и нужда, и благородныя слезы орошали благодѣтельную руку — и читатель невольно подносилъ свой батистовый платокъ къ глазамъ и чувствовалъ, что онъ становится добрее и чувствительнее... А теперь! посмотрите, что теперь пишутъ: мужики въ лаптяхъ и армякахъ, часто отъ нихъ несетъ сивухою, баба — родъ centaвра, по одеждѣ не вдругъ узнаешь, какого это пола существо; углы — убѣжище нищеты, отчаянія и разврата, до которыхъ надо доходить по двору грязному по колѣни; какой-нибудь пьянушка подъячій или учитель изъ семинаристовъ, выгнанный изъ службы, — все это списывается съ натуры, въ наготѣ странной истины, такъ что если прочтешь — жди почью тяжелыхъ сновъ...» Такъ или почти такъ говорятъ маститые питомцы старой пѣнттики. Въ сущности ихъ жалобы состоятъ въ томъ, зачѣмъ поэзія перестала безстыдно лгать, изъ дѣтской сказки превратилась въ быль, не всегда пріятную, зачѣмъ отказалась она быть гремушкою, подъ которую дѣтямъ пріятно прыгать и засыпать... Странные люди, счастливые люди! имъ удалось на всю жизнь остаться дѣтьми, и даже въ старости быть несовершеннолѣтними, недорослями, и вотъ они требуютъ, чтобы и всѣ походили на нихъ. Да читайте свои старыя сказки — никто вамъ не мѣшаетъ; а другимъ оставьте занятія, свойственныя совершеннолѣтію. Вамъ ложь — намъ истина: раздѣлимся безъ спору, благо вамъ не пужно нашего пая, а мы даромъ не возьмемъ вашего. Но этому полюбовному раздѣлу мѣшаетъ другая причина — эгоизмъ, который считаетъ себя добродѣтелью. Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ чловѣка обезпеченнаго, можетъ-быть, богатаго; онъ сейчасъ пообѣдалъ сладко, со вкусомъ (поваръ у него прекрасный), усѣлся спокойно въ вольтеровскихъ креслахъ съ чашкою кофе, передъ пылающимъ каминномъ, тепло и хорошо ему, чувство благосостоянія дѣлаетъ его веселымъ, — и вотъ беретъ онъ книгу, лѣниво переворачиваетъ ея

листы, и брови его надвигаются на глаза, улыбка исчезаетъ съ румяныхъ губъ, онъ взволнованъ, встревоженъ, раздосадованъ... И есть отъ чего! Книга говоритъ ему, что не всѣ на свѣтѣ такъ хорошо живутъ, какъ онъ, что есть углы, гдѣ подъ лохмотьями отъ холоду дрожитъ цѣлое семейство, можетъ-быть, недавно еще знавшее довольство, что есть на свѣтѣ люди, рожденіемъ, судьбою обреченные на нищету, что послѣдняя копейка идетъ на зелено вино не всегда отъ праздности и лѣни, но и отъ отчаянія... И нашему счастливцу неловко, какъ будто совѣстно своего комфорта... А все виновата скверная книга: онъ взялъ ее для удовольствія, а вычиталъ тоску и скуку... Прочь ее! «Книга должна пріятно развлекать; я и безъ того знаю, что въ жизни много тяжелого и мрачнаго, и если читаю, такъ для того, чтобы забыть это!» восклицаетъ онъ. Такъ, милый, добрый сибаритъ, для твоего спокойствія и книги должны лгать, и бѣдные забывать свое горе, голодный свой голодъ, стоны, страданія должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился твой аппетитъ, не нарушился твой сонъ... Представьте себѣ теперь въ такомъ же положеніи другого любителя пріятнаго чтенія. Ему надо было дать балъ, срокъ приближался, а денегъ не было, управляющій его, Никита Федорычъ, что-то замѣшкался высылкою. Но сегодня деньги получены, балъ можно дать; съ сигарой въ зубахъ, веселый и довольный, лежить онъ на диванѣ, и отъ нечего дѣлать рука его лѣниво протягивается къ книгѣ. Опять та же исторія! Проклятая книга рассказываетъ ему подвиги его Никиты Федорыча, подлаго холопа, съ дѣтства привыкшаго подобострастно служить чужимъ страстямъ и прихотямъ, женатаго на отставной любовницѣ родителя своего барина. И ему-то поручено править имѣніемъ... Скорѣе прочь ее, скверную книгу!.. Представьте теперь себѣ еще въ такомъ комфортномъ состояніи чело-вѣка, который въ дѣтствѣ бѣгалъ босикомъ, бывалъ на посылкахъ, а лѣтъ поды пятьдесятъ какъ-то очутился въ орденахъ, имѣлъ «малую толику». Всѣ читаютъ — надо и ему читать; но что находить онъ въ книгѣ? — свою біографію, да еще какъ вѣрно рассказанную, хотя, кромѣ его самого, темныя похождения его жизни — тайна для всѣхъ, и ни одному сочинителю неоткуда было узнать ихъ... И вотъ онъ уже не взволнованъ, а просто взбѣшенъ, и съ чувствомъ достоинства облегчаетъ свою досаду такимъ разсужденіемъ: «Вотъ какъ пишутъ нынѣ! вотъ до чего дошло вольнодумство! такъ ли писали прежде? Штиль ровный, гладкій, все о предметахъ нѣжныхъ или возвышенныхъ, читать сладко и обидѣться нечѣмъ!»

Есть особый родъ читателей, который не любитъ встрѣчаться даже въ книгахъ съ людьми низшихъ классовъ, обыкновенно незнающими приличія и хорошаго тона, не любитъ грязи и нищенствъ, по ихъ противо-

положности съ роскошными будуарами и кабинетами. Эти отзываются о натуральной школѣ не иначе, какъ съ высокомернымъ презрѣніемъ, проницательною улыбкою... Кто они такіе, эти феодальные бароны, гнушающіеся подлой чернью? Не спѣшите справляться о нихъ въ геральдическихъ книгахъ или при дворахъ евронеискихъ: вы не найдете ихъ гербовъ; они если видѣли большой свѣтъ, то не иначе, какъ съ улицы, сквозь ярко освѣщенные окна, насколько позволяли сторы и занавѣски. «Что за охота наводнять литературу мужиками?» восклицаютъ они. Въ ихъ глазахъ писатель—ремесленникъ, которому какъ что закажутъ, такъ онъ и дѣлаетъ. Имъ въ голову не входитъ, что въ отношеніи къ выбору предметовъ сочиненія писатель не можетъ руководствоваться ни чуждою ему волею, ни даже собственнымъ произволомъ, ибо искусство имѣетъ свои законы, безъ уваженія которыхъ нельзя хорошо писать. Оно прежде всего требуетъ, чтобы писатель былъ вѣренъ собственной натурѣ, своему таланту, своей фантазіи. А чѣмъ объяснить, что одинъ любитъ изображать предметы веселые, другой—мрачные, если не натурою, характеромъ и талантомъ поэта? Кто что любитъ, чѣмъ интересуется, то и узнаетъ лучше, а что лучше знаетъ, то и изображаетъ. Вотъ самое законное оправданіе поэта, котораго упрекаютъ за выборъ предметовъ; оно неудовлетворительно только для людей, которые ничего не смыслятъ въ искусствѣ и грубо смѣшиваютъ его съ ремесломъ. Природа—вѣчный образецъ искусства, а величайшій и благороднѣйшій предметъ въ природѣ—человѣкъ... Божественное слово любви и братства не вступило огласило міръ. То, что прежде было обязанностью только призванныхъ лицъ или добродѣтельно немногихъ избранныхъ натуръ,—это самое дѣлается теперь обязанностью общества, служить признакомъ не одной добродѣтели, но и образованности частныхъ лицъ. Посмотрите, какъ въ нашъ вѣкъ вездѣ заняты всѣ участію низшихъ классовъ, какъ частная благотворительность всюду переходитъ въ общественную, какъ вездѣ основываются хорошо организованныя общества, богатые вѣрными средствами для распространенія просвѣщенія въ низшихъ классахъ, для пособія нуждающимся и страждущимъ, для отвращенія и предупрежденія нищеты и ея неизбежнаго слѣдствія—безнравственности и разврата. Это общее движеніе, столь благородное, столь человѣческое, столь христіанское, встрѣтило своихъ порицателей въ лицѣ поклонниковъ тупой и косной патріархальности. Они говорятъ, что тутъ дѣйствуютъ мода, увлеченіе, тщеславіе, а не человѣколюбіе. Пусть такъ, да и когда же и гдѣ же въ лучшихъ человѣческихъ дѣйствіяхъ не участвовали подобныя мелкія побужденія? Но какъ же сказать, что только такіа побужденія могутъ быть причиною такихъ явленій? Какъ думать, что главные виновники такихъ явленій, увлекающіе своимъ примѣромъ

толпу, не одушевлены болѣе высокими и благородными побужденіями? Разумѣется, нечего удивляться добродѣтели людей, которые бросаются въ благотворительность не по чувству любви къ ближнему, а изъ моды, изъ подражательности, изъ тщеславія; но это—добродѣтель въ отношеніи къ обществу, которое исполнено такого духа, что и дѣятельность суетныхъ людей умѣетъ направлять къ добру! Это ли не отрадное въ высшей степени явленіе повѣйшей цивилизаціи, успѣховъ ума, просвѣщенія и образованности?

Могло ли не отразиться въ литературѣ это новое общественное движеніе, — въ литературѣ, которая всегда бываетъ выраженіемъ общества? Въ этомъ отношеніи литература сдѣлала едва ли не больше: она скорѣе способствовала возбужденію въ обществѣ такого направленія, нежели только отразила его въ себѣ, скорѣе учредила, нежели только не отстала отъ него. Нечего говорить, достойна ли и благородна ли такая роль; но за все то и нападаютъ на литературу шны. Мы думаемъ, что довольно показали, изъ какихъ источниковъ выходятъ эти нападки и чего онѣ стоятъ...

*Бѣлинскій.*

## I. Повѣсти Гоголя.

Скажите, какое впечатлѣніе прежде всего производитъ на васъ каждая повѣсть г. Гоголя? Не заставляетъ ли она васъ говорить: «Какъ все это просто, обыкновенно, естественно и вѣрно и, вмѣстѣ, какъ оригинально и ново!» Не удивляетесь ли вы и тому, почему вамъ самимъ не пришла въ голову та же самая идея, почему вы сами не могли выдумать этихъ же самыхъ лицъ, такъ обыкновенныхъ, такъ знакомыхъ вамъ, такъ часто видѣнныхъ вами, и окружить ихъ этими самыми обстоятельствами, такъ повседневными, такъ общими, такъ наскучившими вамъ въ жизни дѣйствительной и такъ занимательными, очаровательными въ поэтическомъ представленіи? Вотъ первый признакъ истинно-художественнаго произведенія. Потомъ не знакомитесь ли вы съ каждымъ персонажемъ его повѣсти такъ коротко, какъ будто вы его давно знали, долго жили съ нимъ вмѣстѣ? Не дополняете ли вы своимъ воображеніемъ его портрета, и безъ того уже нарисованнаго авторомъ во весь ростъ? Не въ состояніи ли прибавить къ нему новыя черты, какъ будто забытыя авторомъ, не въ состояніи ли вы рассказать объ этомъ лицѣ нѣсколько анекдотовъ, какъ будто бы опущенныхъ авторомъ? Не вѣрите ли вы на слово, не готовы ли побожиться, что все, рассказанное авторомъ, есть сущая правда, безъ всякой примѣси вымысла? Какая этому причина? Та, что эти со-



зданія ознаменованы печатью истиннаго таланта, что они созданы по непреложнымъ законамъ творчества. Эта простота вымысла, эта нагота дѣйствія, эта скудость драматизма, самая эта мелочность и обыкновенность описываемыхъ авторомъ происшествій — суть вѣрные, не-обманчивые признаки творчества; это поэзія реальная, поэзія жизни дѣйствительной, жизни, коротко знакомой намъ. И немало не удивлюсь, подобно нѣкоторымъ, что г. Гоголь мастеръ дѣлать все изъ ничего, что онъ умѣетъ заинтересовать читателя пустыми, ничтожными подробностями, ибо не вижу тутъ ровно никакого умѣнія: умѣніе предполагать расчетъ и работу, а гдѣ расчетъ и работа, тамъ нѣтъ творчества, тамъ все ложно и невѣрно при самой тщательной и вѣрной копировкѣ съ дѣйствительности. И чѣмъ обыкновеннѣе, чѣмъ пошлѣе, такъ сказать, содержаніе повѣсти, слишкомъ заинтересовывающей вниманіе читателя, тѣмъ большій талантъ со стороны автора обнаруживаетъ она. Когда посредственный талантъ берется рисовать сильные страсти, глубокіе характеры, онъ можетъ стать на дыбы, натянуться, наговорить громкихъ монологовъ, наказать прекрасныхъ вещей, обмануть читателя блестящею отдѣлкою, красивыми формами, самымъ содержаніемъ, мастерскимъ разсказомъ, цвѣтистою фразеологіею — плодами своей начитанности, ума, образованности, опыта жизни. Но возьмись онъ за изображеніе повседневныхъ картинъ жизни, жизни обыкновенной, прозаической, о, повѣрите, для него это будетъ истиннымъ камнемъ преткновенія, и его вялое, холодное и бездушное сочиненіе уморитъ зѣвотою. Въ самомъ дѣлѣ, заставить насъ принять живѣйшее участіе въ ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ, насмѣшить насъ до слезъ глупостями, ничтожностью и юродствомъ этихъ живыхъ пасквилей на человѣчество — это удивительно; но заставить насъ потомъ пожалѣть объ этихъ идіотахъ, пожалѣть отъ всей души, заставить насъ разстаться съ ними съ какимъ-то глубоко-грустнымъ чувствомъ, заставить насъ воскликнуть вмѣстѣ съ собою: «Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!» вотъ, вотъ оно, то божественное искусство, которое называется творчествомъ; вотъ онъ, тотъ художническій талантъ, для котораго гдѣ жизнь, тамъ и поэзія! И возьмите почти всѣ повѣсти г. Гоголя: какой отличительный характеръ ихъ? Что такое почти каждая изъ его повѣстей? Смѣшная комедія, которая начинается глупостями, продолжается глупостями и оканчивается слезами, и которая, наконецъ, называется жизнью. И таковы всѣ его повѣсти: сначала смѣшно, потомъ грустно! И такова жизнь наша: сначала смѣшно, потомъ грустно! Сколько тутъ поэзіи, сколько философіи, сколько истины!..

Въ каждомъ человѣкѣ должно различать двѣ стороны: общую, человѣческую, и частную, индивидуальную; всякій человѣкъ, прежде

всего, человѣкъ, а потомъ уже Иванъ, Сидоръ и т. д. Точно такъ же и въ художественныхъ созданіяхъ должно различать два характера: характеръ творчества, общій всѣмъ изящнымъ произведеніямъ, и характеръ колорита, сообщенный индивидуальностью автора. Я уже коснулся въ общихъ чертахъ перваго характера въ повѣстяхъ г. Гоголя; теперь разсмотрю его подробнѣе; потомъ буду говорить объ



Николай Васильевичъ Гоголь.

индивидуальномъ характерѣ его созданій и, наконецъ, заключу мою статью бѣглымъ взглядомъ на тѣ изъ его повѣстей, о которыхъ можно будетъ сказать что-нибудь въ частности.

И уже сказалъ, что отличительныя черты характера произведеній г. Гоголя суть простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность — все это черты общія; потомъ комическое одушевленіе, всегда побѣждаемое глубокимъ чувствомъ грусти и унынія, — черта индивидуальная.

Простота вымысла въ поэзіи реальной есть одинъ изъ самыхъ вѣрныхъ признаковъ истинной поэзіи, истиннаго и притомъ зрѣлаго таланта. Возьмите любую драму Шекспира, возьмите, напримѣръ, его «Тимона Аѳинскаго»: эта пьеса такъ проста, такъ немногосложна, такъ скудна путаницею происшествій, что, право, невозможно и разсказать ея содержанія. Люди обманули человѣка, который любилъ людей, наругались надъ его святыми чувствованіями, лишили его вѣры въ человеческое достоинство, и этотъ человѣкъ возненавидѣлъ людей и проклиналъ ихъ; вотъ вамъ и все тутъ, больше ничего нѣтъ. И что жъ? Составили ли вы себѣ, по моимъ словамъ, какое-нибудь понятіе объ этомъ великомъ созданіи великаго гения? О, вѣрно, никакого! Ибо эта идея слишкомъ обыкновенна, слишкомъ извѣстна всѣмъ, каждому, слишкомъ истерта и истрепана въ тысячахъ сочиненій, хорошихъ и дурныхъ, начиная отъ Софоклова Филоклетта, обманутаго Улисомъ и проклинающаго человечество, до Тихона Михеевича, обманутаго вѣроломною женою и плутомъ-родственникомъ <sup>1)</sup>. Но форма, въ которой выражена эта идея, но содержаніе пьесы и ея подробности? Послѣднія такъ мелочны, такъ пусты и притомъ такъ всякому извѣстны, что я наскучилъ бы вамъ смертельно, если бы вздумалъ ихъ пересказывать. И, однакоже, у Шекспира эти подробности такъ занимательны, что вы не оторветесь отъ нихъ, и, однакоже, у него мелочность и пустота этихъ подробностей приготавлиетъ ужасную катастрофу, отъ которой волосы встаютъ дыбомъ — сцену въ лѣсу, гдѣ Тимонъ въ бѣшеныхъ проклятіяхъ, въ горькихъ, язвительныхъ сарказмахъ, съ сосредоточенною спокойною яростью разсчитывается съ человечествомъ. И потомъ, какъ выразить вамъ то чувство, которое возбуждаетъ въ душѣ извѣстіе о смерти добровольнаго отверженца отъ людей. И вся эта ужасная, хотя и безкровная, трагедія, ужасная даже въ своей простотѣ, въ своемъ спокойствіи, готовится глупою комедіею, отвратительною картиною, какъ люди обжираютъ человѣка, помогаютъ ему разориться и потомъ забываютъ о немъ, — эти люди, которые

Любви стыдятся, мысли гонять,  
Торгуютъ волею своею,  
Главы предъ идолами клонятъ  
И просятъ денегъ да цѣпей!

И вотъ вамъ жизнь, или, лучше сказать, прототипъ жизни, созданный величайшимъ изъ поэтовъ! Тутъ нѣтъ эффектовъ, нѣтъ сценъ, нѣтъ драматическихъ вычуръ, все просто и обыкновенно, какъ день му-

<sup>1)</sup> «Шюша», повѣсть г. Ушакова, въ «Б. д. Ч.».

жика, который въ будень ѣсть и пашеть, спать и пашеть, а въ праздникъ ѣсть, пить и напивается пьянъ. Но въ томъ-то и состоитъ задача реальной поэзіи, чтобы извлекать поэзію изъ прозы жизни и потрясать души вѣрнымъ изображеніемъ этой жизни. И какъ сильна и глубока поэзія г. Гоголя въ своей наружной простотѣ и мелкости! Возьмите его «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ», — что въ нихъ? Двѣ пародіи на человѣчество, въ продолженіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ пьютъ и ѣдятъ, ѣдятъ и пьютъ, а потомъ, какъ водится изстари, умираютъ. Но отчего же это очарованіе? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, карикатурной, и между тѣмъ принимаете такое участіе въ персонажахъ повѣсти, смѣтаетесь надъ ними, но безъ злости, и потомъ рыдаете съ Филемономъ о его Бавкидѣ, сострадаете его глубокой, неземной горести и сердитесь на негодя-наслѣдника, промотавшаго достояніе двухъ простаковъ. И потомъ вы такъ живо представляете себѣ актеровъ этой глупой комедіи, такъ ясно видите всю ихъ жизнь, вы, который, можетъ-быть, никогда не бывалъ въ Малороссіи, никогда не видалъ такихъ картинъ и не слыхалъ о такой жизни! Отчего это? Оттого, что это очень просто и, слѣдовательно, очень вѣрно; оттого что авторъ нашелъ поэзію и въ этой пошлой и пелѣной жизни, нашелъ человѣческое чувство, двигающее и оживляющее его героевъ: это чувство — привычка. Знаете ли вы, что такое привычка, это странное чувство, о которомъ Пушкинъ сказалъ:

Привычка небомъ намъ дана —  
Замѣна счастья она.

Можете ли вы предположить возможность мужа, который рыдаетъ надъ гробомъ своей жены, съ которой сорокъ лѣтъ грызся, какъ кошка съ собакой? Понимаете ли вы, что можно грустить о дурной квартирѣ, въ которой вы жили много лѣтъ, къ которой вы привыкли, какъ душа къ тѣлу, и съ которой у васъ соединяются воспоминанія о простой, однообразной жизни, о живомъ трудѣ и сладкомъ досугѣ и, можетъ-быть, о нѣсколькихъ сценахъ любви и наслажденія, и которую вы мѣняете на великолѣпныя палаты? Понимаете ли вы, что можно грустить о собакѣ, которая десять лѣтъ сидѣла на цѣпи и десять лѣтъ вертѣла хвостомъ, когда вы мимо ея проходили?.. О, привычка — великая, психологическая задача, великое таинство души человѣческой. Холодному сыну земли, сыну заботъ и помысловъ житейскихъ, замѣняетъ она чувства человѣческія, которыхъ лишила его природа или обстоятельства жизни. Для него она истинное блаженство, истинный даръ Провидѣнія, единственный источникъ его радостей и (дивное дѣло!) радостей человѣческихъ! Но что она для человѣка въ полномъ

смыслъ этого слова? Не насмѣшка ли судьбы? И онъ платитъ ей свою дань, и онъ прицѣпляется къ пустымъ вещамъ и пустымъ людямъ и горько страдаетъ, лишаясь ихъ! И что же еще? Г. Гоголь сравниваетъ ваше глубокое, человѣческое чувство, вашу высокую, пламенную страсть, съ чувствомъ привычки жалкаго получеловѣка и говорить, что его чувство привычки сильнѣе, глубже и продолжительнѣе вашей страсти, и вы стоите предъ нимъ, потушивъ глаза и не зная, что отвѣчать, какъ ученикъ, не знающій урока, предъ своимъ учителемъ!.. Такъ вотъ гдѣ часто скрываются пружины лучшихъ нашихъ дѣйствій, прекраснѣйшихъ нашихъ чувствъ! О, бѣдное человечество! Жалкая жизнь! И однакоже, вамъ все-таки жаль Аѳанасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны! Вы плачете о нихъ, — о нихъ, которые только жили и ѣли и потомъ умерли! О, г. Гоголь — истинный чародѣй, и вы не можете представить, какъ и сердитъ на него за то, что онъ и меня чуть не заставилъ плакать о нихъ, которые только жили и ѣли и потомъ умерли!

Совершенная истина жизни въ повѣстяхъ Гоголя тѣсно соединяется съ простотою вымысла. Онъ не льститъ жизни, но и не клеветаетъ на нее; онъ радъ выставить наружу все, что въ ней есть прекраснаго, человѣческаго, и, въ то же время, не скрываетъ нисколько и ея безобразія. Въ томъ и другомъ случаѣ онъ вѣренъ жизни до послѣдней степени. Она у него настоящій портретъ, въ которомъ все схвачено съ удивительнымъ сходствомъ, начиная отъ экспрессіи оригинала до веснушекъ лица его; начиная отъ гардероба Ивана Никифоровича до русскихъ мужиковъ, идущихъ по Невскому проспекту въ сапогахъ, запачканныхъ известью; отъ колоссальной фізіономіи богатыря Бульбы, который не боялся ничего на свѣтѣ, съ люлькою въ зубахъ и саблею въ рукахъ, до стоическаго философа Хомы, который не боялся ничего въ свѣтѣ, даже чертей и вѣдьмъ, когда у него люлька въ зубахъ и рюмка въ рукахъ.

Скажите, Бога ради, можно ли язвительнѣе, и злобнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ, добродушнѣе и любезнѣе наругаться надъ бѣднымъ человечествомъ?.. И все оттого, что слишкомъ вѣрно! А вотъ посмотрите на жизнь Филемона и Бавкиды. Забѣчаете ли вы здѣсь всю тонкость Аѳанасія Ивановича, который хочетъ разными околичностями отвести глаза своей сожительницы отъ своего ужаснаго аппетита, котораго онъ какъ будто самъ стыдится? Но посмотримъ на его дальнѣйшіе подвиги... А супружеская любовь двухъ старцевъ, а насмѣшки Аѳанасія Ивановича надъ своею сожительницею, касательно внезапнаго пожара въ ихъ домѣ или, что еще ужаснѣе касательно его намѣренія итти на войну; страхъ доброй Пульхеріи Ивановны, ея возраженія, ея легкая досада и, наконецъ, чувство самодовольствія, испытывае-



мос Аѳанасіемъ Ивановичемъ при мысли, что ему удалось подшутить надъ своею дражайшею половиною! О, эти картины, эти черты — суть такіе драгоценныя перлы поэзіи, въ сравненіи съ которыми всѣ прекрасныя фразы нашихъ доморощенныхъ Бальзаковъ настоящій горохъ!.. И все это не придумано, не списано съ рассказовъ или съ дѣйствительности, но угадано чувствомъ въ минуту поэтическаго откровенія! Если бы я вздумалъ выписывать всѣ мѣста, доказывающія, что г. Гоголь уловилъ идею описываемой жизни и вѣрно воспроизвелъ ее, то мнѣ пришлось бы списать почти всѣ его повѣсти, отъ слова до слова.

Повѣсти г. Гоголя народны въ высшей степени; но я не хочу слишкомъ распространяться объ ихъ народности, ибо народность есть не достоинство, а необходимое условіе истинно-художественнаго произведенія, если подъ народностью должно разумѣть вѣрность изображенія правовъ, обычаевъ и характера того или другого народа, той или другой страны. Жизнь всякаго народа проявляется въ своихъ, ей одной свойственныхъ формахъ, слѣдовательно, если изображеніе жизни вѣрно, то и народно. Народность, чтобы отразиться въ поэтическомъ произведеніи, не требуетъ такого глубокаго изученія со стороны художника, какъ обыкновенно думаютъ. Поэту стоитъ только мимоходомъ взглянуть на ту или другую жизнь, и она уже усвоена имъ. Какъ малороссу, г. Гоголю съ дѣтства знакома жизнь малороссійская, но народность его поэзіи не ограничивается одною Малороссіею. Въ его «Запискахъ сумасшедшаго», въ его «Невскомъ проспектѣ» нѣтъ ни одного хохла, всѣ русскіе и, вдобавокъ, еще нѣмцы; а каково изображены имъ эти русскіе и эти нѣмцы! Каковъ Шиллеръ и Гофманъ? Замѣчу здѣсь мимоходомъ, что, право, пора бы намъ перестать хлопотать о народности такъ же, какъ пора бы перестать писать, не имѣя таланта, ибо эта народность очень похожа на Тѣнь въ баснѣ Крылова; г. Гоголь о ней нисколько не думаетъ, и она сама напрашивается къ нему, тогда какъ многіе изъ всѣхъ силъ гоняются за нею и ловятъ — одну тривиальность.

Почти то же самое можно сказать и объ оригинальности: какъ и народность, она есть необходимое условіе истиннаго таланта. Два человѣка могутъ сойтись въ заказной работѣ, но никогда въ творчествѣ, ибо если одно вдохновеніе не посѣщаетъ двухъ разъ одного человѣка, то еще менѣе одинаковое вдохновеніе можетъ посѣтить двухъ человѣкъ. Вотъ почему міръ творчества такъ неистощимъ и безграниченъ. Поэтъ никогда не скажетъ: «О чемъ мнѣ писать? уже все переписано!» или:

О, боги, для чего я поздно такъ родился?

Одинъ изъ самыхъ отличительныхъ признаковъ творческой оригинальности, или, лучше сказать, самого творчества, состоитъ въ томъ типизмѣ, если можно такъ выразиться, который есть гербовая печать автора: У истиннаго таланта каждое лицо — типъ, и каждый типъ, для читателя, есть знакомый незнакомецъ. Не говорите: вотъ человекъ съ огромною душою, съ пылкими страстями, съ обширнымъ умомъ, но ограниченнымъ разсудкомъ, который до такого бѣшенства любитъ свою жену, что готовъ удавить ее руками при малѣйшемъ подозрѣніи въ невѣрности — скажите проще и короче: вотъ Отелло! Не говорите: вотъ человекъ, который глубоко понимаетъ назначеніе человека и цѣль жизни, который стремится дѣлать добро, но, лишенный энергіи души, не можетъ сдѣлать ни одного добраго дѣла и страдаетъ отъ сознанія своего безсилія — скажите: вотъ Гамлетъ! Не говорите: вотъ чиновникъ, который подлѣ по убѣжденію, злореденъ благонамѣренню, преступенъ добросовѣстно — скажите: вотъ Фамусовъ! Не говорите: вотъ человекъ, который подличаетъ изъ выгодъ, подличаетъ безкорыстно, по одному влеченію души — скажите: вотъ Молчаливъ! Не говорите: вотъ человекъ, который во всю жизнь не вѣдалъ ни одной человѣческой мысли, ни одного человѣческаго чувства, который, во всю жизнь, не зналъ, что у человека есть страданія и горести, кромѣ холода, бессонницы, клоповъ, блохъ, голода и жажды, есть восторги и радости, кромѣ спокойнаго сна, сытнаго стола, цвѣточнаго чаю, что въ жизни человека бываютъ случаи поважнѣе сѣщенной дыни, что у него есть занятія и обязанности, кромѣ ежедневнаго осмотра своихъ сундуковъ, амбаровъ и хлѣбовъ, есть честолюбіе выше увѣренности, что онъ — первая персона въ какомъ-нибудь захолустѣ; о, не тратьте такъ много фразъ, такъ много словъ — скажите просто: вотъ Иванъ Ивановичъ Перерепенко, или: вотъ Иванъ Никифоровичъ Довгохунъ! И повѣрьте, васъ скорѣ поймутъ всѣ. Въ самомъ дѣлѣ, Онѣгинъ, Ленскій, Татьяна, Загорѣдскій, Репетиловъ, Хлестова, Тугоуховскій, Платонъ Михайловичъ Горичъ, княжна Мими, Пульхерія Ивановна, Аѳанасій Ивановичъ, Шиллеръ, Пискаревъ, Пироговъ: развѣ всѣ эти собственные имена теперь уже не нарицательныя? И, Боже мой, какъ много смысла заключаетъ въ себѣ каждое изъ нихъ! Это повѣсть, романъ, исторія, поэма, драма, многотомная книга, короче: цѣлый міръ въ одномъ, только въ одномъ словѣ! Что предъ каждымъ изъ этихъ словъ ваши завѣтныя «qu'il mourut, Moi. Ahъ, я Эдинъ»? И какой мастеръ г. Гоголь выдумывать такія слова! Не хочу говорить о тѣхъ, о которыхъ и такъ уже много говорилъ, скажу только объ одномъ такомъ его словечкѣ, это — Пироговъ!.. Святители! да это цѣлая каста, цѣлый народъ, цѣлая нація! О, единственный, несравненный Пироговъ, типъ изъ типовъ, первообразъ изъ

первообразовъ! Ты многообъемлющѣе, чѣмъ Шейлокъ, многозначительнѣе, чѣмъ Фаустъ! Ты — представитель просвѣщенія и образованности всѣхъ людей, которые «любятъ потолковать объ литературѣ, хвалить Булгарина, Пушкина и Греча и говорить съ презрѣніемъ и остроумными колкостями объ А. А. Орловѣ». Да, господа, дивное слово это — Широковъ! Это — символъ, мистическій миѳъ, это, наконецъ, кафтанъ, который такъ чудно скроенъ, что придется по плечамъ тысячи человѣкъ! О, г. Гоголь большой мастеръ выдумывать такія слова, отпускать такія *bons mots*! А отчего онъ такой мастеръ на нихъ? Оттого, что оригиналенъ. А отчего оригиналенъ? Оттого, что поэтъ.

Но есть еще другая оригинальность, протекающая изъ индивидуальности автора, слѣдствіе цвѣта очковъ, сквозь который смотритъ онъ на міръ. Такая оригинальность у г. Гоголя состоитъ, какъ я уже сказалъ выше, въ комическомъ одушевленіи, всегда побуждаемомъ чувствомъ глубокой грусти. Въ этомъ отношеніи русская поговорка: «Началь за здравіе, а свель за упокой», можетъ быть девизомъ его повѣстей. Въ самомъ дѣлѣ, какое чувство остается у насъ, когда пересмотрите вы всѣ эти картины жизни, пустой, ничтожной, во всей ея наготѣ, во всемъ ея чудовищномъ безобразіи, когда досыта нахохочетесь, наругаетесь надъ нею? Я уже говорилъ о «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ». — объ этой слезной комедіи во всемъ смыслѣ этого слова. Возьмите «Записки сумасшедшаго», этотъ уродливый гротескъ, эту странную, прихотливую грезу художника, эту добродушную насмѣшку надъ жизнью и человѣкомъ, жалкою жизнью, жалкимъ человѣкомъ, эту карикатуру, въ которой такая бездна поэзіи, такая бездна философіи, эту психическую исторію болѣзни, изложенную въ поэтической формѣ, удивительную по своей истинѣ и глубокости, достойную кисти Шекспира; вы еще смѣетесь надъ простакомъ, но уже вашъ смѣхъ растворенъ горечью: это смѣхъ надъ сумасшедшимъ, котораго бредъ и смѣшнѣе, и возбуждаетъ состраданіе. Я уже говорилъ также и о «Ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ» въ семъ отношеніи; прибавлю еще, что, съ этой стороны, эта повѣсть всего удивительнѣе. Въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» вы видите людей пустыхъ, ничтожныхъ и жалкихъ; но, по крайней мѣрѣ, добрыхъ и радужныхъ; ихъ взаимная любовь основана на одной привычкѣ: но вѣдь и привычка все же человѣческое чувство, но вѣдь всякая любовь, всякая привязанность, на чемъ бы она ни основывалась, достойна участія, слѣдовательно, еще понятно, почему вы жалѣете объ этихъ старикахъ. Но Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ — существа совершенно пустые, ничтожныя и притомъ нравственно гадкія и отвратительныя, ибо въ нихъ нѣтъ ничего человѣческаго; зачѣмъ же, спра-

шиваю я васъ, зачѣмъ вы такъ горько улыбаются, такъ грустно вздыхаете, когда доходите до траги-комической развязки? Вотъ она, эта тайна поэзіи! Вотъ онѣ, эти чары искусства! Вы видите жизнь, а кто видѣлъ жизнь, тотъ не можетъ не вздыхать!..

Комизмъ или юморъ г. Гоголя имѣетъ свой особенный характеръ: это юморъ чисто-русскій, юморъ спокойный, простодушный, въ которомъ авторъ какъ бы прикидывается простакомъ. Г. Гоголь съ важностью говоритъ о бекешѣ Ивана Ивановича, и иной простакъ, не шутя, подумаетъ; что авторъ и въ самомъ дѣлѣ въ отчаяніи оттого, что у него нѣтъ такой прекрасной бекешки. Да, г. Гоголь очень мило прикидывается; и хотя надо быть слишкомъ глупымъ, чтобы не понять его ироніи, но эта иронія чрезвычайно какъ идетъ къ нему. Впрочемъ, это только манера, а истинный-то юморъ г. Гоголя все-таки состоитъ въ вѣрномъ взглядѣ на жизнь и, прибавлю еще, немало не зависить отъ карикатурности представляемой имъ жизни. Онъ всегда одинаковъ, никогда не измѣняетъ себѣ, даже и въ такомъ случаѣ, когда увлекается поэзіей описываемаго имъ предмета. Безпристрастіе — его идолъ. Доказательствомъ этого можетъ служить «Тарасъ Бульба», эта дивная эпопея, написанная кистью смѣлою и широкою, этотъ рѣзкій очеркъ героической жизни младенчествуящаго народа, эта огромная картина въ тѣсныхъ рамкахъ, достойная Гомера. Бульба — герой, Бульба — человѣкъ съ желѣзнымъ характеромъ, желѣзною волей; описывая подвиги его кровавой мести, авторъ возвышается до лиризма и, въ то же время, дѣлается драматикомъ въ высочайшей степени, и все это не мѣшаетъ ему по временамъ смѣшить васъ своимъ героемъ. Вы содрогаетесь Бульбы, хладнокровно лишшающаго мать дѣтей, убивающаго собственною рукою родного сына, ужасаетесь его кровавыхъ тризнь надъ гробомъ дѣтей, и вы же смѣетесь надъ нимъ, дерущимся на кулачки со своимъ сыномъ, пьющимъ горѣлку со своими дѣтьми, радующимся, что въ этомъ ремеслѣ они не уступаютъ батюшкѣ, и изъясляющимъ свое удовольствіе, что ихъ добре пороли въ бурсѣ. И причина этого комизма, этой карикатурности изображеній заключается не въ способности или направленіи автора находить во всемъ смѣшныя стороны, но въ вѣрности жизни. Если г. Гоголь часто и съ умысломъ подшучиваетъ надъ своими героями, то безъ злобы, безъ ненависти; онъ понимаетъ ихъ ничтожность, но не сердится на нее; онъ даже какъ будто любитъ ее, какъ любитъ взрослый человѣкъ на игры дѣтей, которыя для него смѣшны своею наивною, но которыхъ онъ не имѣетъ желанія раздѣлить. Но, тѣмъ не менѣе, это все-таки юморъ, ибо не щадитъ ничтожества, не скрываетъ и не скрашиваетъ его безобразія, ибо, плѣняя изображеніемъ этого ничтожества, возбуждаетъ къ нему отвращеніе. Это юморъ спокойный и, можетъ-быть, тѣмъ ско-

рѣе достигающей своей цѣли. И вотъ, замѣчу мимоходомъ, вотъ настоящая нравственность такого рода сочиненій. Здѣсь авторъ не позволяетъ себѣ никакихъ сентенцій, никакихъ правоученій; онъ только рисуетъ вещи такъ, какъ онѣ есть, и ему дѣла нѣтъ до того, каковы онѣ, и онъ рисуетъ ихъ безъ всякой цѣли, изъ одного удовольствія рисовать. Послѣ «Горя отъ ума» я не знаю ничего на русскомъ языкѣ, что бы отличалось такой чистѣйшею нравственностью и что бы могло имѣть сильнѣйшее и благодѣтельнѣйшее вліяніе на нравы, какъ повѣсти г. Гоголя. О, передъ такою нравственностью я всегда готовъ падать на колѣни! Въ самомъ дѣлѣ, кто пойметъ Ивана Ивановича Перерепенко, тотъ вѣрно разсердится, если его назовутъ Иваномъ Ивановичемъ Перерепенкомъ.

Нравственность въ сочиненіи должна состоять въ совершенномъ отсутствіи притязаній со стороны автора на нравственную или безнравственную цѣль. Факты говорятъ громче словъ; вѣрное изображеніе нравственнаго безобразія могущественнѣе всѣхъ выходокъ противъ него. Однакоже, не забудьте, что такіа изображенія только тогда вѣрны, когда безцѣльны, когда созданы, а создавать можетъ одно вдохновеніе, а вдохновеніе можетъ быть доступно одному таланту, следовательно, только одинъ талантъ можетъ быть нравственнымъ въ своихъ произведеніяхъ.

Итакъ, юморъ г. Гоголя есть юморъ спокойный, спокойный въ самомъ своемъ негодованіи, добродушный въ самомъ своемъ лукавствѣ. Но въ творчествѣ есть еще другой юморъ — грозный и открытый; онъ кусаетъ до крови, впивается въ тѣло до костей, рубитъ со всего плеча; хлещетъ направо и налево своимъ бичомъ, свитымъ изъ шинящихъ змѣй, юморъ желчный, ядовитый, беспощадный. Хотите ли видѣть его? Я покажу вамъ его — смотрите: вотъ балъ, куда собралась толпа мишурныхъ знаменитостей, ничтожнаго величія, чтобы убить время, своего всегдашняго врага, убійцу, толпа блѣдная, чудовищная, утратившая образъ и подобіе Божіе, позоръ людей и безсловесныхъ; вотъ балъ:

Между толпами бродятъ разныя лица, подъ веселый шагъ контраданса свиваются и развиваются тысячи интригъ и сѣтей; толпы подобострастныхъ аэролитовъ вертятся вокругъ однодневной кометы; предатель униженно кланяется своей жертвѣ; здѣсь послышалось незначущее слово, привязанное къ глубокому долготѣнному плану; здѣсь улыбка презрѣнія скатилась съ великолѣпнаго лица и оледенила такой-то умоляющей взоръ; здѣсь тихо ползутъ темныя грѣхи, и торжественная подлость гордо носитъ въ себѣ печать отверженія...

Но вдругъ балъ приходитъ въ смущеніе, кричатъ:

Вода! Вода! Въ другомъ концѣ зала играетъ еще музыка, тамъ еще танцуютъ, тамъ еще говорятъ о будущемъ, тамъ еще думаютъ о вчера сдѣланной подлости, о



той, которую надо сдѣлать завтра, тамъ еще есть люди, которые ни о чемъ не думаютъ... Но вскорѣ достигла страшная вѣсть, музыка прервалась, все смѣшалось... Отчего же поблѣднѣли всѣ эти лица? Какъ, мм. гг., такъ есть на свѣтѣ пѣчоты, кромѣ вашихъ ежедневныхъ интригъ, проскоковъ, расчетовъ? Не правда! Пустое! Все пройдетъ! Опять наступитъ завтрашній день! Опять можно будетъ продолжать начатое! Свергнуть своего противника, обмануть своего друга, допознати до поваго мѣста... Но вы не слушаете, трепещете, холодный потъ обдастъ васъ, вамъ страшно! И подлинно — вода все растетъ; вы открываете окошко, зовете о помощи, вамъ отвѣчаютъ свистъ бури, и бѣлесоватыя волны, какъ разъяренные тигры, кидаются въ свѣтлыя окна! Да, въ самомъ дѣлѣ ужасно! Еще минута — и взмокнутъ эти роскошныя, дымчатыя одежды вашихъ женщинъ! Еще минута — и честолюбивыя украшенія на груди вашей лишь прибавятъ къ вашей тяжести и повлекутъ на холодное дно. Страшно! Страшно! Гдѣ же всевозможныя средства науки, смѣющейся надъ успѣхами природы? Мм. гг., наука замерла подъ вашимъ дыханіемъ. Гдѣ же сила молитвы, двигающей горы? Мм. гг., вы потеряли значеніе этого слова. Что же остается вамъ? — Смерть! Смерть! Смерть ужасная, медленная! Но ободритесь, что такое смерть? — Вы люди мудрые, благоразумные, какъ змѣи! Неужели то, о чемъ посреди глубокихъ разсужденій вашихъ вы никогда и не помыслили, можетъ быть дѣломъ столь важнымъ? Призовите на помощь свою прозорливость, испытайте надъ смертью ваши обыкновенныя средства: испытайте, нельзя ли подкупить ее, оклеветать, не испугается ли она вашего холоднаго, грознаго взгляда...

Я не буду рѣшать, которому изъ этихъ двухъ видовъ юмора должно отдать преимущество. Вопросъ о подобномъ превосходствѣ былъ бы такъ же нелѣпъ, какъ вопросъ о превосходствѣ оды надъ элегіею, романа надъ драмою, ибо изящное всегда равно самому себѣ, въ какихъ бы видахъ ни проявлялось. Есть вещи, столь гадкія, что стоитъ только показать ихъ въ собственномъ ихъ видѣ или назвать ихъ собственнымъ ихъ именемъ, чтобы возбудить къ нимъ отвращеніе, но есть еще вещи, которыя, при всемъ своемъ существенномъ безобразіи, обманываютъ блескомъ наружности. Есть ничтожество грубое, низкое, нагое, неприкрытое, грязное, вонючее, въ лохмотьяхъ; есть еще ничтожество гордое, самодовольное, пышное, великолѣпное, приводящее въ сомнѣніе объ истинномъ благѣ самую чистую, самую пыльную душу, ничтожество, ѣздящее въ каретѣ, покрытое золотомъ, умно говорящее, вѣжливо кланяющееся, такъ что вы уничтожены передъ нимъ, что вы готовы подуматъ, что оно-то есть истинное величіе, что оно-то знаетъ цѣль жизни и что вы-то обманываетесь, вы-то гоняетесь за призраками. Для того и другого рода ничтожества нуженъ свой особенный бичъ, бичъ крѣпкій, ибо то и другое ничтожество покрыто тройною бронею. Для того и другого рода ничтожества нужна своя Немезида, ибо надобно же, чтобы люди иногда просыпались отъ своего безмысленнаго усыпленія и вспоминали о своемъ человѣческомъ достоинствѣ; ибо надобно же, чтобы громъ иногда раздавался надъ ихъ головами и напоминалъ имъ объ ихъ Творцѣ; ибо надобно же, чтобы за пиршественнымъ столомъ, посреди остатковъ безумной роскоши,

среди утѣхъ бѣспующейся масленицы, унылый и торжественный звукъ колокола возмущалъ внезапно ихъ безумное упоеніе и напоминалъ о храмѣ Божіемъ, куда всякій долженъ предетать съ раскаяніемъ въ сердцѣ, съ гимномъ на устахъ!..

Г. Гоголь сдѣлался извѣстнымъ своими «Вечерами на хуторѣ». Это были поэтическіе очерки Малороссіи, очерки полные жизни и очарованія. Все, что можетъ имѣть природа прекраснаго, сельская жизнь простолюдиновъ — обольстительнаго, все, что народъ можетъ имѣть оригинальнаго, типическаго, все это радужными цвѣтами блеститъ въ этихъ первыхъ поэтическихъ грезахъ г. Гоголя. Это была поэзія юная, свѣжая, благоуханная, роскошная, упонительная, какъ поцѣлуй любви. Читайте вы его «Майскую почву», читайте ее въ зимній вечеръ у пылающаго камелька, и вы забудете о зимѣ съ ея морозами и метелями; вамъ будетъ чудиться эта свѣтлая, прозрачная ночь благословеннаго юга, полная чудесъ и тайнъ; вамъ будетъ чудиться эта юная, блѣдная красавица, жертва ненависти мачехи, это оставленное жилище съ однимъ раствореннымъ окномъ, это пустынное озеро, на тихихъ водахъ котораго играютъ лучи мѣсяца, на зеленыхъ берегахъ котораго плыть вереницы безплотныхъ красавицъ... Это впечатлѣніе очень похоже на то, которое производить на воображеніе «Сонъ въ лѣтнюю ночь» Шекспира. «Ночь передъ Рождествомъ Христовымъ» есть цѣлая, полная картина домашней жизни народа, его маленькихъ радостей, его маленькихъ горестей, — словомъ, тутъ — вся поэзія его жизни. «Страшная месть» составляетъ теперь pendant къ «Тарасу Бульбѣ», и обѣ эти огромныя картины показываютъ, до чего можетъ возвышаться талантъ г. Гоголя. Но я никогда бы не кончилъ, если бы сталъ разбирать «Вечера на хуторѣ». «Арабески» и «Миргородъ» носятъ на себѣ всѣ признаки зрѣющаго таланта. Въ нихъ меньше этого упоенія, этого лирическаго разгула, но больше глубины и вѣрности въ изображеніи жизни. Сверхъ того, онъ здѣсь расширилъ свою сцену дѣйствія и, не оставляя своей любимой, своей прекрасной, своей пенаглядной Малороссіи, пошелъ искать поэзіи въ правахъ, средняго сословія въ Россіи. И, Боже мой, какую глубокую и могучую поэзію нашелъ онъ тутъ! Мы, москальи, и не подозрѣвали ея!.. «Невскій проспектъ» есть созданіе столь же глубокое, сколько и очаровательное; это — двѣ полярныя стороны одной и той же жизни, это высокое и смѣшное о-бохъ другъ къ другу. На одной сторонѣ этой картины бѣдный художникъ, безпечный и простодушный, какъ дитя, замѣчаетъ на Невскомъ проспектѣ женщину-ангела, одно изъ тѣхъ дивныхъ созданій, которыя могло производить только его художническое воображеніе; онъ слѣдитъ за нею, онъ дрожитъ, онъ не смѣетъдохнуть, ибо онъ еще не знаетъ ея, но уже обожаетъ ее, а всякое обожаніе робко и трепетно;

онъ замѣчаетъ ея благосклонную улыбку — и «кареты казались ему недвижны, мостъ растягивался и ломался на своей аркѣ, домъ стоялъ крышею внизъ, будка и аллебарда часового, вмѣстѣ съ золотыми словами и нарисованными пожнищами, блестѣла, казалось, на самой рѣсницѣ его глазъ». Задыхаясь отъ упоенія и трепетнаго предчувствія блаженства, онъ входитъ за нею въ третій этажъ большого дома, и что же представляется ему?.. Она все такъ же прекрасная, очаровательная, она смотритъ на него глупо, нагло, какъ бы говоря ему: «Ну, что же ты?..» Онъ бросается вонъ... Я не хочу пересказывать его сна, этого дивнаго, драгоцѣннаго перла нашей поэзіи, второго и единственнаго послѣ сна Татьяны Пушкина: здѣсь г. Гоголь — поэтъ въ высочайшей степени. Кто читаетъ эту повѣсть въ первый разъ, для того, въ этомъ дивномъ снѣ, дѣйствительность и поэзія, реальное и фантастическое такъ тѣсно сливаются, что читатель изумляется, узнавши, что все это только сонъ. Представьте себѣ бѣднаго, оборваннаго, запачканнаго художника, потеряннаго въ толпѣ звѣздъ, крестовъ и всякаго рода совѣтниковъ: онъ толкается между ними, уничижающими его своимъ блескомъ, онъ стремится къ ней, и они безпрестанно разлучаютъ его съ нею, они, эти кресты и звѣзды, которые смотрятъ на нее безъ всякаго упоенія, безъ всякаго трепета, какъ на свои золотыя табакерки... И какое пробужденіе послѣ этого сна! И какъ можно жить послѣ такого пробужденія? И онъ точно не живетъ въ дѣйствительности, онъ весь въ грезахъ... Наконецъ въ его душѣ блеснулъ обманчивый, но радужный лучъ надежды: онъ рѣшается на самоотверженіе, онъ хочетъ принести ей въ жертву, какъ Молоху, даже честь свою... «А я только что теперь проснулась, меня привезли въ семь часовъ утра, я была совсѣмъ пьяна» — это говоритъ ему она, все такъ же прекрасная, очаровательная... Послѣ этого можно ли было жить даже и въ грезахъ?.. И нѣтъ художника: онъ сошелъ въ темную могилу, никѣмъ не оплаканный, и міръ не зная, какая высокая и ужасная драма была разыграна въ этой грѣшной, страдальческой душѣ...

На другой сторонѣ этой картины вы видите Пирогова и Шиллера; того Пирогова, о которомъ я уже говорилъ, того Шиллера, который хотѣлъ отрѣзать себѣ носъ, чтобы избавиться отъ лишнихъ расходовъ на табакъ; того Шиллера, который говоритъ съ гордостью, что онъ швабскій нѣмецъ, а не русская свинья, и что у него есть король въ Германіи; того Шиллера, который «еще съ двадцатилѣтняго возраста, съ того времени, которое русскій живетъ на фуфу, измѣрилъ всю свою жизнь и положилъ себѣ, въ теченіе десяти лѣтъ, составить капиталъ изъ пятидесяти тысячъ, и у котораго это было уже такъ вѣрно и неотразимо, какъ судьба, потому что скорѣе чиновникъ поза-

будетъ заглянуть въ швейцарскую своего начальника, нежели имѣетъ рѣшиться перемѣнить свое слово»; наконецъ, того Шиллера, «который положилъ цѣловать свою жену въ сутки не болѣе двухъ разъ, и чтобы какъ-нибудь не поцѣловать лишній разъ, никогда не клалъ перцу болѣе одной ложечки въ свой супъ». Чего вамъ еще? Тутъ весь человекъ, вся исторія его жизни!..

А Пироговъ?.. О, объ немъ объ одномъ можно написать цѣлую книгу!.. Вы помните его волокитство за глупою блондинкою, съ которою онъ составляетъ такую отличную пару, его ссору и отношенія съ Шиллеромъ; помните, какіе ужасные побои претерпѣлъ онъ отъ флегматическаго Отелло, помните, какимъ негодоваіемъ, какою жаждою мести закипѣло сердце поручика, и помните, какъ скоро прошла его досада отъ сѣдненныхъ кондитерскихъ пирожковъ и прочтенія «Пчелы»?.. Чудные пирожки! Чудная «Пчела»! Пискаревъ и Пироговъ — какой контрастъ! Оба они начали, въ одинъ день, въ одинъ часъ, преслѣдовація своихъ красавицъ, и какъ различны для обоихъ ихъ были слѣдствія этихъ преслѣдованій! О, какой смыслъ скрытъ въ этомъ контрастѣ! И какое дѣйствіе производитъ этотъ контрастъ — Пискаревъ и Пироговъ... одинъ въ могилѣ, другой доволенъ и счастливъ, даже послѣ неудачнаго волокитства и ужасныхъ побоевъ!.. Да, господа, скучно на этомъ свѣтѣ!

«Портретъ» есть неудачная попытка г. Гоголя въ фантастическомъ родѣ. Здѣсь его талантъ падаетъ, но онъ и въ самомъ паденіи остается талантомъ. Первой части этой повѣсти невозможно читать безъ увлеченія; даже, въ самомъ дѣлѣ, есть что-то ужасное, роковое, фантастическое въ этомъ таинственномъ портретѣ, есть какая-то непобѣдимая прелесть, которая заставляетъ васъ насильно смотрѣть на него, хотя вамъ это и страшно. Прибавьте къ этому множество юмористическихъ картинокъ и очерковъ во вкусѣ г. Гоголя; вспомните квартальнаго надзирателя, разсуждающаго о живописи, потомъ эту мать, которая привела къ Черткову свою дочь, чтобы снять съ нея портретъ, и которая бранитъ балы и восхищается природою, — и вы не откажете въ достоинствѣ и этой повѣсти. Но вторая ея часть рѣшительно ничего не стоитъ; въ ней совсѣмъ не видно г. Гоголя. Это явная придѣлка, въ которой работалъ умъ, а фантазія не принимала никакого участія.

Вообще, надо сказать, фантастическое какъ-то не совсѣмъ дается г. Гоголю, и мы вполнѣ согласны съ мнѣніемъ г. Шевырева, который говоритъ, что «ужасное не можетъ быть подробно: призракъ тогда страшенъ, когда въ немъ есть какая-то неопредѣленность; если же вы въ призракѣ умѣете разглядѣть слизистую пирамиду, съ какими-то челюстями вмѣсто ногъ и языкомъ вверху, тутъ ужъ не будетъ ничего страшнаго, и ужасное переходитъ просто въ уродливое». Но

зато картины малороссійскихъ нравовъ; описаніе бурсы (впрочемъ, немного напоминающее бурсу Нарѣжнаго), портретъ бурсаковъ, и особенно этого философа Хома, философа не по одному классу семинаріи, но философа по духу, по характеру, по взгляду на жизнь... О, несравненный *Dominus* Хома! Какъ ты великъ въ своемъ стоицическомъ равнодушіи ко всему земному, кромѣ горѣлки! Ты натерпѣлся горя и страха, ты чуть не попался въ когти къ чертямъ, но ты все забываешь за широкою и глубокою ендовою, на днѣ которой схоронены твоя храбрость и твоя философія; ты, на вопросъ о видѣнныхъ тобою страстяхъ, машешь рукою и говоришь: «Много на свѣтѣ всякой дряни водится!» У тебя половина головы посѣдѣла въ одну ночь, а ты оттопыраешь тренака, да такъ, что добрые люди, смотря на тебя, плюютъ и восклицаютъ: «Вотъ это такъ долго танцуетъ человѣкъ!» Пусть судитъ всякій, какъ хочетъ, а по мнѣ, такъ философъ Хома стоитъ философа Сковороды! Потомъ, помните ли вы невольное путешествіе философа Хома, помните ли попойку въ шинкѣ, этого Дороша, который, нагрузившись пѣнникомъ, вдругъ захотѣлъ узнать, непременно узнать, чему учатъ въ бурсѣ (шуточное дѣло!), этого резопера, который божился, что «все должно оставить такъ, какъ есть, что Богъ знаетъ, какъ нужно», и, наконецъ, этого казака съ сѣдыми усами, который рыдалъ о томъ, что остался круглымъ сиротою... А эти поучительныя бесѣды на кухнѣ, гдѣ «обыкновенно говорилось обо всемъ: и о томъ, кто пошилъ себѣ новыя шаровары, и что находится внутри земли, и кто видѣлъ волка»? А сужденія этихъ умныхъ головъ о чудесахъ въ природѣ? А портретъ пана сотника?... и кто перечтетъ?... Нѣтъ, несмотря на неудачу въ фантастическомъ, эта повѣсть есть дивное созданіе. Но и фантастическое въ ней слабо только въ описаніи привидѣній, а чтенія Хома въ церкви, возстаніе красавицы, явленіе Вія безподобны.

Я еще мало говорилъ о «Тарасѣ Бульбѣ», я не буду слишкомъ распространяться о немъ, ибо, въ такомъ случаѣ, у меня вышла бы еще статья не менѣе самой повѣсти... «Тарасъ Бульба» есть отрывокъ, эпизодъ изъ великой эпопеи жизни цѣлаго народа. Если въ наше время возможна гомерическая эпопея, то вотъ вамъ ея высочайшій образецъ, идеалъ и прототипъ!.. Если говорить, что въ «Иліадѣ» отражается вся жизнь греческая, въ ея героическій періодъ, то развѣ одни пѣнтики и риторикки прошлаго вѣка запретятъ сказать то же самое и о «Тарасѣ Бульбѣ» въ отношеніи къ Малороссіи XVI вѣка?... И въ самомъ дѣлѣ, развѣ здѣсь не все казачество, съ его странною цивилизаціею; его удалою, разгульною жизнью, его безпечною и лѣнною, неутомимостью и дѣятельностью, его буйными оргіями и кровавыми набѣгами?... Скажите мнѣ, чего нѣтъ въ картинѣ, чего недостаетъ



къ ея полнотѣ? Не выхвачено ли все это со дна жизни, не бьется ли здѣсь огромный пульсъ всей этой жизни? Этотъ богатырь Бульба съ своими могучими сыновьями; эта толпа запорожцевъ, дружно отдирающая на площади тренака; этотъ казакъ, лежащій въ лужѣ, для показанія своего презрѣнія къ дорогому платью, которое на немъ надѣто, и какъ бы вызывающій на драку всякаго дерзкаго, кто бы осмѣлился дотронуться до него хоть пальцемъ; этотъ кошевой, поневолѣ говорящій краснорѣчивую, витѣватую рѣчь о необходимости войны съ бусурманами, потому что «многіе запорожцы позадолжались въ шипки жидамъ и своимъ братьямъ столько, что ни одинъ чортъ-теньеръ и вѣры неиметь»; эта мать, которая является какъ бы мимоходомъ, чтобы заживо оплакать дѣтей своихъ, какъ всегда являлась въ тотъ вѣкъ женщина и мать въ казацкой жизни... А жида и ляхи, а любовь Андрія и кровавая месть Бульбы, а казнь Остапа, его воззваніе къ отцу и «слышу!» Бульбы и, наконецъ, героическая гибель стараго фанатика, который не чувствовалъ своихъ ужасныхъ мукъ, потому что чувствовалъ одну жажду мести къ враждебному народу?... И это не эпопея?... Да что же такое эпопея?... И какая кисть; — широкая, размашистая, рѣзкая, быстрая!.. Какія краски яркія и ослѣпительныя!.. И какая поэзія энергическая, могучая, какъ эта Запорожская Сѣчь, «то гнѣздо, откуда вылетаютъ всѣ тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы, откуда разливается воля и казачество на всю Украину!..»

Что еще сказать вамъ? Можетъ-быть, вы мало удовлетворены и тѣмъ, что я уже сказалъ: что дѣлать! Гораздо легче чувствовать и понимать прекрасное, нежели заставлять другихъ чувствовать и понимать его! Если одинъ изъ читателей, прочтя мою статью, скажутъ: «это правда», или, по крайней мѣрѣ: «во всемъ этомъ есть и правда»; если другіе, прочтя ее, захотятъ прочесть и разобранныя въ ней сочиненія, — мой долгъ выполненъ, цѣль достигнута.

Но какой же общій результатъ выведу я изъ всего сказаннаго мною? Что такое г. Гоголь въ нашей литературѣ? Гдѣ его мѣсто въ ней? Чего должно ожидать намъ отъ него, — отъ него, еще только начавшаго свое поприще, и какъ начавшаго?! Не мое дѣло раздавать бѣнки безсмертія поэтамъ, осуждать на жизнь или смерть литературныя произведенія; если я сказалъ, что г. Гоголь поэтъ, я уже все сказалъ, я уже лишилъ себя права дѣлать ему судейскіе приговоры. Теперь у насъ слово «поэтъ» потеряло свое значеніе; его смѣшали съ словомъ «писатель». У насъ много писателей, нѣкоторые даже съ дарованіемъ, но нѣтъ поэтовъ. Поэтъ — высокое и святое слово, въ немъ заключается неумирающая слава! Но дарованіе имѣетъ свои степени; Козловъ, Жуковский, Пушкинъ, Шиллеръ — эти люди поэты; но равны ли они? Развѣ не спорятъ еще и теперь, кто выше: Шил-

леръ или Гёте? Развѣ общій голосъ не назвалъ Шекспира царемъ поэтовъ, единственнымъ и несравненнымъ? И вотъ задача критики: опредѣлить степень, занимаемую художникомъ въ кругу своихъ со-братій. Но г. Гоголь еще только началъ свое поприще; слѣдовательно, наше дѣло высказать свое мнѣніе о его дебютѣ и о надеждахъ въ будущемъ, которыя подаетъ этотъ дебютъ. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владѣетъ талантомъ необыкновеннымъ, сильнымъ и высокимъ. По крайней мѣрѣ, въ настоящее время онъ является главою литературы, главою поэтовъ, онъ становится на мѣсто, оставленное Пушкинымъ. Предоставимъ времени рѣшить, чѣмъ и какъ кончится поприще г. Гоголя, а теперь будемъ желать, чтобы этотъ прекрасный талантъ долго сіялъ на небосклонѣ нашей литературы, чтобы его дѣятельность равнялась его силѣ.

Въ «Арабескахъ» помѣщены два отрывка изъ романа. Объ этихъ отрывкахъ нельзя судить, какъ объ отдѣльномъ и цѣломъ созданіи; но о нихъ можно сказать, что они вполне могутъ служить залогомъ тѣхъ надеждъ, о которыхъ я говорилъ. Поэты бываютъ двухъ родовъ: одни только доступны поэзіи, и она у нихъ бываетъ болѣе способностью, чѣмъ даромъ или талантомъ, и много зависитъ отъ внѣшнихъ обстоятельствъ жизни; у другихъ даръ поэзіи есть нѣчто положительное, нѣчто составляющее нераздѣльную часть ихъ бытія. Первые, иногда одинъ разъ въ цѣлую жизнь, выскажутъ какую-нибудь прекрасную поэтическую грезу, и, какъ будто обезсиленные тяжестью свершоннаго ими подвига, ослабѣваютъ и падаютъ въ послѣдующихъ своихъ произведеніяхъ; и вотъ отчего у нихъ первый опытъ по болѣе-шей части бываетъ прекрасенъ, а послѣдующіе постепенно подрываютъ ихъ славу. Другіе съ каждымъ новымъ произведеніемъ возвышаются и крѣпнутъ; г. Гоголь принадлежитъ къ числу этихъ послѣднихъ поэтовъ: этого довольно!

Я забылъ еще объ одномъ достоинствѣ его произведеній: это лиризмъ, которымъ проникнуты его описанія такихъ предметовъ, которыми онъ увлекается. Описываетъ ли онъ бѣдную мать, это существо высокое и страждущее, это воплощеніе святого чувства любви, — сколько тоски, грусти и любви въ его описаніи! Описываетъ ли онъ юную красоту, — сколько упоенія, восторга въ его описаніи! Описываетъ ли онъ красоту своей родной, своей возлюбленной Малороссіи, — это сынъ, ласкающійся къ обожаемой матери! Помните ли вы его описаніе безбрежныхъ степей днѣпровскихъ? Какая широкая, размашистая кисть! Какой разгулъ чувства! Какая роскошь и простота въ этомъ описаніи! Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши у г. Гоголя!..

Въ одномъ журналѣ было изъявлено странное желаніе, чтобы г. Гоголь попробовалъ своихъ силъ въ изображеніи высшихъ слоевъ

общества: вотъ мысль, которая въ наше время отзывается ужаснымъ анахронизмомъ! Какъ! Неужели поэтъ можетъ сказать себѣ: дай опишу то или другое, дай попробую себя въ томъ или другомъ родѣ!.. И притомъ, развѣ предметъ дѣлаетъ что-нибудь для достоинства сочиненія? Развѣ это не аксіома: гдѣ жизнь, тамъ и поэзія? Но мои «развѣ» никогда бы не кончились, если бы я захотѣлъ высказать ихъ всѣ, безъ остатка. Нѣтъ, пусть г. Гоголь описываетъ то, что велитъ ему описывать его вдохновеніе, и пусть страшится описывать то, что велятъ ему описывать или его воля, или гг. критики. Свобода художника состоитъ въ гармоніи его собственной воли съ какою-то виѣшнею, независящею отъ него волею, или, лучше сказать, его воля есть вдохновеніе!..

Вы возвышаетесь духомъ и предаетесь глубокой и важной думѣ, читая «Тараса Бульбу»; вы смѣетесь и хохочете, читая курьезную «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ»: отчего эта противоположность впечатлѣнія отъ двухъ произведеній одного и того же художника? — Отъ сущности дѣйствительности, возсозданной въ томъ и другомъ, оттого, что первое изображаетъ положеніе жизни, а другое — ея отрицаніе. Что такое Тарасъ Бульба? Герой, представитель жизни цѣлаго народа, цѣлаго политическаго общества въ извѣстную эпоху жизни. Что вы видите въ этой поэмѣ? Что особенно поражаетъ васъ въ ней? Общество, составленное изъ пришельцевъ разныхъ странъ, изъ удалыхъ головъ, бѣжавшихъ, кто отъ нищеты, кто отъ родительскаго проклятія, кто отъ меча закона, и, между тѣмъ, общество, имѣющее одинъ общій характеръ, твердо сплоченное и связанное какимъ-то крѣпкимъ цементомъ. Въ чемъ эта связь? — Въ православіи? — но оно такъ безтребовательно, такъ ограничено и бѣдно въ своей сущности, что мало походитъ на религію. — «Они приходили сюда, какъ будто возвращались въ свой собственный домъ, изъ котораго только за часъ передъ тѣмъ вышли. Пришедшій является только къ кошевому, который обыкновенно говорилъ: «Здравствуй! Что, во Христа вѣруешь?» — «Вѣрую!» отвѣчалъ приходившій. «И въ Троицу свягую вѣруешь?» — «Вѣрую!» — «И въ церковь ходишь?» — «Хожу». — «А ну, перекрестись!» — Пришедшій крестился. — «Ну хорошо, — отвѣчалъ кошевой, — ступай же въ который самъ знаешь курень». — Этимъ оканчивается вся церемонія». — Нѣтъ, тутъ была другая, сильнѣйшая связь: это удалство, которому жизнь — копейка, голова — наживное дѣло; это жажда дикихъ натуръ людей, кипящихъ избыткомъ неполнскихъ силъ, — жажда наполнить свою жизнь, тяготимую бездѣйствіемъ и праздною; что же лучше

могло наполнить ее, удовлетворить дикій духъ человѣка могучаго, по безъ идей, безъ образованности, почти полудикаря, какъ не кровавая сѣча, какъ не отчаянное удалство во время войны. и не бѣшеная гульба во время мира? Оттого-то и въ этой гульбѣ нѣтъ ничего оскорбляющаго чувство, но такъ много поэтическаго; оттого-то эта гульба была, какъ превосходно выразился поэтъ, широкимъ размахомъ души. Итакъ, вотъ гдѣ основа и источникъ казацкой жизни и Запорожской Сѣчи, «того гнѣзда, откуда вылетали тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы», и вотъ гдѣ основная идея поэмы Гоголя. Тарасъ Бульба является у него представителемъ въ этой жизни идеи этого народа, апофеозомъ этого широкаго размаха души. Дурной мужъ, какъ все люди полудикой гражданственности, онъ любитъ своихъ сыновей, потому что изъ нихъ должны выйти важные рыцари, и онъ не любитъ бы и презиралъ бы дочерей своихъ, если бы имѣлъ ихъ, потому что онъ никакъ не могъ понять, что хорошаго въ человѣкѣ, если онъ не годится въ рыцари. Онъ былъ христіанинъ и православный по преданію, въ самомъ отвлеченномъ смыслѣ: рѣдко видѣлъ церковь Божию и въ правилахъ жизни своей руководствовался обычаемъ и собственными страстями, а не религіею — и между тѣмъ зарѣзалъ бы родного сына за малѣйшее слово противъ религіи, и фанатически ненавидѣлъ басурмановъ. Онъ любилъ свою родную Украину и ничего не зналъ выше и прекраснѣе удалого казачества, потому что чувствовалъ то и другое въ каждой каплѣ крови своей, и духъ того и другого пашель въ немъ свой настоящій сосудъ, рѣзкими, рельефными чертами выпечатѣлся на его-полудикой фizioноміи и во всей его полудикой личности. Народную вражду онъ смѣшалъ съ личною ненавистью, и когда къ нему присоединился дикій фанатизмъ отвлеченной религіозности, то мысль о поганомъ католичествѣ, какъ называлъ онъ поляковъ, представлялась ему въ формѣ дымящейся крови, предсмертныхъ стоновъ и зарева пылающихъ городовъ, селъ, монастырей и костеловъ... Это — лицо совершенно трагическое; его комизмъ только въ противоположности формъ его индивидуальности съ нашими — комизмъ чисто виѣшній. Вы смѣетесь, когда онъ дерется на кулачки съ роднымъ сыномъ и пресерьезно совѣтуетъ ему тузить всякаго, какъ онъ тузилъ своего батьку; но вы уже и не улыбаетесь, когда видите, что онъ попался въ плѣнъ, потянувшись за грошевою люлькою; но вы содрогаетесь, только еще видя, что онъ, въ яростной битвѣ, приближается къ оторопѣвшему сыну — сердце ваше предчувствуетъ трагическую катастрофу; но у васъ замираетъ духъ отъ ужаса, когда въ вашемъ слухѣ раздастся этотъ комическій вопросъ: «Что, сынку?»; но вы болѣзненно раздѣляете это мимолетное умилеіе желѣзнаго характера, въ словахъ Бульбы: «Чѣмъ бы не казакъ былъ? — и станомъ высокій, и черно-

бровый, и лицо, какъ у дворянина, и рука была крѣпка въ бою — пропалъ, пропалъ безъ славы!»... А эта страшная жажда мести у Бульбы противъ красавицы-польки, по мнѣнію его, чарами погубившей его сына, и потомъ — это море крови и пожаровъ, объявленное враждебный край, и среди его грозная фигура стараго фанатика, совершавшаго страшную тризну въ память сына, наконецъ, это омертвѣніе могучей души, оглушенной двукратнымъ потрясеніемъ, потерю обоихъ сыновей: «Неподвижный сидѣлъ онъ на берегу моря, шевеля губами и произнося: «Остапъ мой, Остапъ мой!» Передъ нимъ сверкало и разстилалось Черное море; въ дальнемъ тростникѣ кричала чайка; бѣлый усь его серебрился, и слезы капали одна за другою»... А это безконечно-значимательное: «слышу, сынку!» и эта вторая страшная тризна мщенія за второго сына, кончившаяся смертью мстителя, и какою смертью! — привязанный желѣзною цѣпью къ стоячему бревну, съ пригвожденною рукою, кричалъ онъ своимъ «хлопцамъ», что имъ надо дѣлать, чтобы спастись отъ непріятеля, и изъявлялъ свой восторгъ отъ ихъ удалства и проворства... Видите ли: у этого человѣка была идея, которою онъ жилъ и для которой онъ жилъ; видите ли: онъ не пережилъ ея, онъ умеръ вмѣстѣ съ нею... Для нея убилъ онъ собственною рукою милаго сына, для нея онъ умеръ и самъ... Въ его душѣ жила одна идея, и всѣ другія были ему недоступны, враждебны и ненавистны. А жизнь въ объективной идеѣ, до претворенія ея въ субъективную стихію жизни — есть жизнь въ разумной дѣйствительности, въ положеніи, а не въ отрицаніи жизни. Грубость и ограниченность Бульбы принадлежать не его личности, но его народу и времени. Сущность жизни всякаго народа есть великая дѣйствительность, — въ Тарасѣ Бульбѣ эта сущность нашла свое полнѣйшее выраженіе.

Совѣтъ другой міръ представляетъ намъ ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ. Это міръ случайностей, неразумности; это отрицаніе жизни, пошлая, грязная дѣйствительность. Но какимъ же образомъ могла она сдѣлаться содержаніемъ художественнаго произведенія, и не унижилъ ли художникъ своего таланта, сдѣлавъ изъ него такое употребленіе? Резонеры, которымъ доступна одна вышность, а не мысль, отвѣтятъ вамъ утвердительно на этотъ вопросъ. Мы думаемъ напротивъ. Какъ мы уже сказали, частное явленіе отрицанія жизни возбуждаетъ одно отвращеніе и есть призракъ; но какъ идея, какъ необходимая сторона жизни, призрочность получаетъ характеръ дѣйствительности и, слѣдовательно, можетъ и должна быть предметомъ искусства. Тутъ задача въ томъ, чтобы въ основаніи художественнаго произведенія лежала общая идея, и чтобы изображенія поэта были не списками съ частныхъ явленій (эти списки суть при-



зраки), но идеалы, для того перешедшіе въ дѣйствительность явленія, чтобы каждый изъ нихъ былъ выраженіемъ идеи, представителемъ цѣлаго ряда, безконечнаго множества явленій одной идеи и, будучи въ этомъ значеніи общимъ, былъ бы въ то же время единымъ — живою, замкнутою въ самой себѣ особенностью. Всякая частности есть случайность, и если ея значеніе низко и пошло, она оскорбляетъ человѣческое эстетическое чувство; но общее, хотя бы и отрицательной стороны жизни, уже дѣлается предметомъ знанія и теряетъ свою случайность. Вотъ если бы поэтъ, въ изображеніяхъ такого рода явленій, вздумалъ оправдывать свои субъективныя убѣжденія и грязь жизни выдавать субъективно за поэзію жизни, тогда бы его изображенія были отвратительны; но тогда бы онъ уже и пересталъ быть поэтомъ. Они существуютъ для него объективно, все они виѣ его, но онъ самъ въ нихъ, потому что поэтическимъ ясновидѣніемъ своимъ онъ проводитъ ихъ идею и, проводя ихъ чрезъ свою творческую фантазію, просвѣтляетъ этою идеею ихъ естественную грубость и грязность.

Были два пріятеля-сосѣда, соединенные другъ съ другомъ неразрывными узами взаимной пошлости, привычки и праздности. Мы не будемъ ихъ описывать послѣ изображенія, сдѣланнаго поэтомъ. Если, читатели, вы помните и знаете Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича — были они искренними друзьями и вдругъ сдѣлались страшными врагами и прожили все свое имѣніе, стараясь доѣхать другъ друга судомъ. А отчего? Стоитъ произвести по нѣскольку чертъ характера каждаго — и вы поймете причину этого страшнаго явленія. Иванъ Ивановичъ былъ человѣкъ весьма солидный, самаго тонкаго обращенія, терпѣть не могъ грубыхъ или непристойныхъ словъ, и когда потчевалъ кого-нибудь знакомаго табакомъ, то говорилъ: «смѣю ли просить, государь мой, объ одолженіи?», а если незнакомаго, то: «смѣю ли просить, государь мой, не зная чести знать чина, имени и отчества, объ одолженіи?». Онъ любилъ лежать на солнцѣ подъ навѣсомъ, въ одной рубашкѣ только, послѣ обѣда, а вечеромъ надѣвалъ бекешу, выходя со двора; но самая рѣзкая черта его характера была та, что, съѣвши дыню, онъ завертывалъ въ бумажку сѣмена и подписывалъ: «Сія дыня съѣдена такого-то числа»; а если при этомъ былъ гость, то: «участвовалъ такой-то». Присовокушите къ этому портрету страшную скудость и высокую цѣну, придаваемую земнымъ благамъ — и Иванъ Ивановичъ весь передъ вами. Иванъ Никифоровичъ отличался отъ своего друга толстотою и любилъ употреблять въ разговорѣ непристойныя слова, къ крайнему неудовольствію достойнаго Ивана Ивановича; любилъ въ жаркіе дни выставить на солнце спину, садиться по горло въ воду, куда ставилъ столъ и самоваръ и пилъ чай; любилъ въ комнатѣ лежать въ натурѣ, и когда потчевалъ кого изъ своей табакерки

табакомъ, то просто говорилъ: «одолжайтесь». Теперь вы видите всю эту жизнь, понятную только въ произведеніи художника, но случайную, бессмысленную и глупо-животную въ дѣйствительности. Оба героя — призраки (въ томъ смыслѣ, который мы выше придали этому слову), и все, что они ни дѣлають, есть призракъ, пустота, бессмыслица. Въ ихъ характерахъ уже лежитъ, какъ необходимость, ихъ ссора. Ивану Ивановичу захотѣлось имѣть у себя ружье Ивана Никифоровича; зачѣмъ? — не спрашивайте; онъ самъ этого не знаетъ. Мы думаемъ, что это было безсознательнымъ желаніемъ чѣмъ-нибудь наполнить свою праздную пустоту, потому что пустота, вслѣдствіе праздности, тяжка и мучительна для всякаго человѣка, какъ бы ни былъ онъ пошлъ. Иванъ Никифоровичъ, по такой же причинѣ, не хотѣлъ уступить ему своего ружья, хотя тотъ и обѣщалъ ему за него приличное вознагражденіе — бурю свинью и мѣшокъ гороха. Завязался крупный разговоръ, въ которомъ Иванъ Никифоровичъ, грубый въ своихъ выходкахъ, называлъ Ивана Ивановича, этого до крайности деликатнаго и щекотливаго со стороны своей чести и аттенціи человѣка, называлъ его — о, ужасъ! — гусакомъ...

Великая, безконечно-великая черта художественнаго генія этотъ гусакъ! Если бы поэтъ причиною ссоры сдѣлалъ дѣйствительно оскорбительныя ругательства, пощечину, драку — это испортило бы все дѣло. Нѣтъ, поэтъ понялъ, что въ мірѣ призраковъ, которому онъ давалъ объективную дѣйствительность, и забавы, и занятія, и удовольствія, и горести, и страданія, и самое оскорбленіе — все призрачно, бессмысленно, пусто и пошло. Не думайте, чтобы эти два чудака были отъ природы созданы такими: нѣтъ, природа справедлива къ людямъ — она каждому даетъ въ мѣру чего и сколько ему нужно. Конечно, эти чудачки и отъ природы были не бойкіе люди, но и имъ нашлась бы своя ступенька на безконечной лѣстницѣ человѣческой и гражданской дѣятельности: они могли бы быть хорошими мужьями, отцами, хозяевами и имѣть, сообразно съ занимаемымъ ими мѣстечкомъ въ цѣпи явленій духа, свою благообразность формы; но воспитаніе, животная лѣнь, праздность, пѣвѣжество, — вотъ что сдѣлало ихъ такими. Ихъ хотятъ примирить и почти было успѣли въ этомъ; уже Иванъ Никифоровичъ полѣзъ въ карманъ, чтобы достать рожокъ и сказать «одолжайтесь», но вдругъ лукавый дернулъ его замѣтить, что не стоитъ сердиться изъ пустого слова «гусакъ». Видите ли: если бы онъ гусака замѣнилъ птицею или выразился какъ-нибудь иначе, они снова были бы друзьями; но роковое слово было сказано, и снова прагдовскіе карбованцы полетѣли изъ желѣзныхъ сундуковъ въ карманы подъячихъ, и имѣніе виѣшнее и внутреннее благосостояніе, вся жизнь была истощена въ тяжбѣ. Десять лѣтъ прошло, головы ихъ

убѣлились сѣдиною, и поэтъ восклицаетъ: «Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!» Да! грустно думать, что человѣкъ, этотъ благороднѣйшій сосудъ духа, можетъ жить и умереть призракомъ и въ призракахъ, даже и не подозрѣвая возможности дѣйствительной жизни! И сколько на свѣтѣ такихъ людей, сколько на свѣтѣ Ивановъ Ивановичей и Ивановъ Никифоровичей!..

## II. „Ревизоръ“.

Въ основаніи «Ревизора» лежитъ та же идея, что и въ «Ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ»: въ томъ и другомъ произведеніи поэтъ выразилъ идею отрицанія жизни, идею призрачности, полувившую, подъ его художническимъ рѣзцомъ, свою объективную дѣйствительность. Разница между ними не въ основной идеѣ, а въ моментахъ жизни, схваченныхъ поэтомъ, въ индивидуальностяхъ и положеніяхъ дѣйствующихъ лицъ. Во второмъ произведеніи мы видимъ пустоту, лишенную всякой дѣятельности; въ «Ревизорѣ» — пустоту, наполненную дѣятельностью мелкихъ страстей и мелкаго эгоизма. Чтобы произведенія его были художественны, т.-е. представляли собою особый, замкнутый въ самомъ себѣ міръ, онъ взялъ изъ жизни своихъ героевъ такой моментъ, въ которомъ сосредоточивалась вся цѣльность ихъ жизни, ея значеніе, сущность, идея, начало и конецъ: въ первомъ — ссора двухъ пріятелей, во второмъ — ожиданіе и пріемъ ревизора. Все чуждое этой ссорѣ и этому ожиданію и пріему ревизора не могло войти въ повѣсть и комедію, и та и другая начаты съ начала и кончены въ концѣ; намъ не нужно знать подробности дѣтства обонхъ друзей-враговъ, ни того, что было съ ними послѣ, какъ ихъ видѣлъ поэтъ: мы знаемъ это изъ повѣсти, потому что знаемъ этихъ героевъ съ головы до ногъ, знаемъ всю сущность ихъ жизни, вполне исчерпанную поэтомъ въ описаніи ихъ ссоры. Такъ точно, на что намъ знать подробности жизни городничаго до начала комедіи? Ясно и безъ того, что онъ въ дѣтствѣ былъ ученъ на мѣдныя деньги, игралъ въ бабки, бѣгалъ по улицамъ, и какъ сталъ входить въ разумъ, то получилъ отъ отца уроки въ житейской мудрости, т.-е. въ искусствѣ нагрѣвать руки и хоронить концы въ воду. Лишенный въ юности всякаго религіознаго, нравственнаго и общественнаго образованія, онъ получилъ въ наслѣдство отъ отца и отъ окружающаго его міра слѣдующее правило вѣры и жизни: въ жизни надо быть счастливымъ, а для этого нужны деньги и чины; а для пріобрѣтенія ихъ — взяточничество, казнокрадство, низкопоклонничество и подличанье передъ властями, знатностью и богатствомъ; лманье и скотская грубость передъ низшими себя. Простая

Философія! Но замѣьте, что въ немъ это не развратъ, а его правдивѣе развитіе, его высшее понятіе о своихъ объективныхъ обязанностяхъ: онъ мужъ, слѣдовательно, обязанъ прилично содержать жену; онъ отецъ, слѣдовательно, долженъ дать хорошее приданое за дочерью, чтобы доставить ей хорошую партію и тѣмъ, устроивъ ея благосостояніе, выполнить священный долгъ отца. Онъ знаетъ, что средства его для достиженія этой цѣли грѣшны передъ Богомъ; но онъ знаетъ это отвлеченно, головою, а не сердцемъ, и онъ оправдываетъ себя простымъ правиломъ всѣхъ пошлыхъ людей: «не я первый, не я послѣдній, всѣ такъ дѣлаютъ». Это практическое правило жизни такъ глубоко вкоренено въ немъ, что обратилось въ правило нравственности; онъ почелъ бы себя выскочкою, самолюбивымъ гордецомъ, если бы, хотя позабывшись, повелъ себя честно въ продолженіе недѣли. Да оно и страшно быть «выскочкою»: всѣ пальцы уставятся на васъ, всѣ голоса подымутся противъ васъ; нужна большая сила души и глубокіе корни нравственности, чтобы бороться съ общественнымъ мнѣніемъ. И не Сквозники-Дмухановскіе увлекаются могучимъ водоворотомъ этой магической фразы «всѣ такъ дѣлаютъ» и, какъ Молоху, приносятъ ей въ жертву и таланты, и силы души, и внѣшнее благосостояніе. Нашъ городничій былъ не изъ бойкихъ отъ природы, и потому «всѣ такъ дѣлаютъ» было слишкомъ достаточнымъ аргументомъ для успокоенія его мозолистой совѣсти; къ этому аргументу присоединился другой, еще сильнѣйшій для грубой и низкой души: «жена, дѣти, казеннаго жалованья не станетъ на чай и сахаръ». Вотъ вамъ и весь Сквозникъ-Дмухановскій до начала комедіи. Что касается до формъ, въ какихъ онъ выражался и проявлялся до того, онъ всѣ тѣ же, все его же, какъ и во время комедіи. Такъ же нетрудно понять, что съ нимъ было и по окончаніи комедіи, какъ онъ дожилъ свой вѣкъ. Художественная обрисовка характера въ томъ и состоитъ, что, если онъ давъ вамъ поэтомъ въ извѣстный моментъ своей жизни, вы ужъ сами можете рассказать всю его жизнь и до, и послѣ этого момента. Конецъ «Ревизора» сдѣланъ поэтомъ опять не произвольно, но вслѣдствіе самой разумной необходимости: онъ хотѣлъ показать Сквозника-Дмухановскаго всего, какъ онъ есть. Но тутъ скрывается еще другая, не менѣе важная и глубокая причина, выходящая изъ сущности пьесы. Въ комедіи, какъ выраженіи случайностей, все должно выходить изъ идеи случайностей и призраковъ и только чрезъ это получать свою необходимость: почтенный нашъ городничій жилъ и вращался въ мірѣ призраковъ, но какъ у него необходимо были свои понятія о дѣйствительности, хотя и отвлеченныя, и сверхъ того самый основательный страхъ дѣйствительности, извѣстный подъ именемъ уголовного суда, то и должно было выйти комическое столкновеніе, какъ ошибка, есте-

ствежнаго влеченія сердца къ воровству и плутнямъ съ страхомъ наказанія за воровство и плутни,—страхомъ, который увеличивался еще и нѣкоторымъ безпокойствомъ совѣсти. «У страха глаза велики», говоритъ мудрая русская пословица: удивительно ли, что глухой мальчишка, промотавшійся въ дорогѣ, трактирный дѣнди, былъ принятъ городничимъ за ревизора? Глубокая идея! Не грозная ли дѣйствительность, а призракъ, фантомъ, или, лучше сказать, тѣнь отъ страха виновной совѣсти, должны были наказать человѣка призраковъ. Городничій Гоголя не карикатура, не комическій фарсъ, не преувеличенная дѣйствительность, и въ то же время нисколько не дуракъ, но, по своему, очень и очень умный человѣкъ, который въ своей сферѣ очень дѣйствителенъ, умѣетъ ловко взяться за дѣло — своровать и концы въ воду схоронить, подсунуть взятку и задобрить опаснаго ему человѣка. Его приступы къ Хлестакову, во второмъ актѣ, — образецъ подъяческой дипломатіи. Итакъ, конецъ комедіи долженъ совершиться тамъ, гдѣ городничій узнаетъ, что онъ былъ наказанъ призракомъ, и что ему еще предстоитъ наказаніе со стороны дѣйствительности. И потому, приходъ жандарма съ извѣстіемъ о пріѣздѣ истиннаго ревизора прекрасно оканчиваетъ пьесу и сообщаетъ ей всю полноту и всю самостоятельность особаго, замкнутаго въ самомъ себѣ міра. Въ художественномъ произведеніи нѣтъ ничего произвольнаго и случайнаго, но все необходимо и логически вытекаетъ изъ его идеи. Каждое лицо въ немъ, способствуя развитію главной идеи, въ то же время есть и само себѣ цѣль, живетъ своею особою жизнью. Далѣе, мы изъ «Ревизора» разовьемъ подробно эту идею, а пока замѣтимъ мимоходомъ, что, вслѣдствіе этого взгляда на искусство, Мольеръ — такой же художникъ, какъ Гомеровъ Тирсисъ — красавецъ, и такъ же похожъ на Шекспира, какъ титулярный совѣтникъ Поприщинъ на Фердинанда VIII, короля испанскаго. Конечно, французы правы, что ставятъ Мольера выше Корнеля и Расина: онъ, дѣйствительно, былъ человѣкомъ съ большимъ талантомъ, съ неистощимою живостью и остротою французскаго ума; онъ истощилъ все богатство разговорнаго французскаго языка, воспользовался всею его граціозною игривостью для выраженія смѣшныхъ противорѣчій; онъ подмѣтилъ и вѣрно схватилъ многія черты своего времени. Но онъ великъ въ частностихъ, а не въ цѣломъ; но его дѣйствующія лица — не дѣйствительныя существа, а карикатуры такъ же, какъ его произведенія — сатиры, а не комедіи, такъ же, какъ самъ онъ поэтъ мѣстами, а не художникъ, который потому художникъ, что творитъ цѣлое, стройное зданіе, выросшее изъ одной идеи. Напримѣръ, въ его «Скупомъ» Гарпагонъ, конечно, хорошъ, какъ мастерски-написанная карикатура, но всѣ другія лица — резонеры, ходячія сентенціи о томъ, что скупость есть порокъ; ни



одно изъ нихъ не живетъ своею жизнью и для самого себя, но всё придуманы, чтобы лучше оттъшнить собою героя quasi-комедіи. То же и въ «Тартюфѣ»: всё лица присочинены для главнаго, и самъ Тартюфъ такъ нехитеръ, что могъ обмануть только одного человѣка, и то потому, что этотъ одинъ — пошлый дуракъ. Завязка и развязка мнимыхъ комедій Мольера никогда не выходятъ изъ основной идеи и взаимныхъ отношеній дѣйствующихъ лицъ, но всегда придумывается, какъ рама для картины, не создается, какъ необходимая форма. Это оттого, что у него никогда не было идеи, и поэзія для него никогда не была сама себѣ цѣль, но средство исправлять общество осмѣяніемъ пороковъ. Какой это художникъ!

Многіе находятъ странною натяжкою и фарсомъ ошибку городничаго, принявшаго Хлестакова за ревизора, тѣмъ болѣе, что городничій человѣкъ, по-своему, очень умный, т.-е. плутъ перваго разряда... Странное мнѣніе, или, лучше сказать, странная слѣпота, не допускающая видѣть очевидность. Причина этого заключается въ томъ, что у каждаго человѣка есть два зрѣнія — физическое, которому доступна только внѣшняя очевидность, и духовное, проникающее внутреннюю очевидность, какъ необходимость, вытекающую изъ сущности идеи. Вотъ, когда у человѣка есть только физическое зрѣніе, а онъ смотритъ имъ на внутреннюю очевидность, то и естественно, что ошибка городничаго ему кажется натяжкою и фарсомъ. Представьте себѣ ворешку - чиновника такого, какимъ вы знаете почтеннаго Сквозника-Дмухановскаго: ему видѣлись во снѣ двѣ какія-то необыкновенныя крысы, какихъ онъ никогда не видывалъ, — черныя, неестественной величины, пришли, понюхали и пошли прочь. Важность этого сна для послѣдующихъ событій была уже кѣмъ-то очень вѣрно замѣчена. Въ самомъ дѣлѣ, обратите на него все ваше вниманіе: имъ открывается цѣль призраковъ, составляющихъ дѣйствительность комедіи. Для человѣка съ такимъ образованіемъ, какъ нашъ городничій, сны — мистическая сторона жизни, и чѣмъ она несвязнѣе и бессмысленнѣе, тѣмъ для него имѣетъ большее и таинственнѣйшее значеніе. Если бы послѣ этого сна ничего важнаго не случилось, онъ могъ бы и забыть его; но, какъ нарочно, на другой день онъ получаетъ отъ пріятеля увѣдомленіе, что «отправился инкогнито изъ Петербурга чиновникъ съ секретнымъ предписаніемъ обревизовать въ губерніи все, относящееся по части гражданскаго управленія». Сонъ въ руку! Суевѣріе еще болѣе запугиваетъ и безъ того запуганную совѣсть; совѣсть усиливаетъ суевѣріе. Обратите особенное вниманіе на слова «инкогнито» и «съ секретнымъ предписаніемъ». Петербургъ есть таинственная страна для нашего городничаго, міръ фантастическій, котораго формъ онъ не можетъ и не умѣетъ себѣ представить. Нововведенія въ юридической сферѣ,

грозящія уголовнымъ судомъ и ссылкой за взяточничество и казнокрадство, еще болѣе усугубляютъ для него фантастическую сторону Петербурга. Онъ уже допытывается у своего воображенія, какъ пріѣдетъ ревизоръ, чѣмъ онъ прикинется и какія пули онъ будетъ отпихивать, чтобы развѣдать правду. Слѣдуютъ толки у честной компаніи объ этомъ предметѣ. Судья-собачникъ, который беретъ взятки борзыми щенками и потому не боится суда, который на своемъ вѣку прочелъ пять или шесть книгъ и потому нѣсколько вольнодуменъ, находитъ причину присылки ревизора, достойную своего глубокомыслія и начитанности, говоря, что «Россія хочетъ вести войну, а потому министерія нарочно отправляетъ чиновника, чтобы узнать, нѣтъ ли гдѣ измѣны». Городничій понялъ цельность этого предположенія и отвѣчаетъ: «Гдѣ нашему уѣздному городишкѣ? Если бы онъ былъ пограничнымъ, еще бы какъ-нибудь возможно предположить, а то стоитъ, чортъ знаетъ, гдѣ — въ глуши... Отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доѣдешь». Засимъ онъ даетъ совѣтъ своимъ сослуживцамъ быть поосторожнѣе и быть готовыми къ пріѣзду ревизора; вооружается противъ мысли о грѣшкахъ, т.-е. взяткахъ, говоря, что «нѣтъ человѣка, который бы не имѣлъ за собою какихъ-нибудь грѣховъ», что «это уже такъ самимъ Богомъ устроено», и что «волтеріанцы напрасно противъ этого говорятъ»; слѣдуетъ маленькая перебранка съ судьей о значеніи взятокъ; продолженіе совѣтовъ; ропотъ противъ проклятаго никогниго. «Вдругъ заглянеть; а! вы здѣсь, голубчики! А кто, скажетъ, здѣсь судья? — Тяпкинь-Ляпкинь. А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! А кто попечитель богоугодныхъ заведеній? — Земляника. А подать сюда Землянику! Вотъ что худо!..» Въ самомъ дѣлѣ, худо! Входитъ наивный почтмейстеръ, который любитъ распечатывать чужія письма, въ надеждѣ найти въ нихъ разныя такіе пассажи... назидательное даже.. лучше, нежели въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Городничій даетъ ему плутовскіе совѣты «немножко распечатывать и прочитывать всякое письмо, чтобы узнать — не содержится ли въ немъ какого-нибудь донесенія или просто переписки». Какая глубина въ изображеніи! Вы думаете, что фраза: «или просто переписки» безмыслица или фарсъ со стороны поэта: нѣтъ, это перемѣненіе городничаго выражаться, какъ скоро онъ хоть немного выходитъ изъ родныхъ сферъ своей жизни. И таковъ языкъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ въ комедіи! Наивный почтмейстеръ, не понимая, въ чемъ дѣло, говоритъ, что онъ и такъ это дѣлаетъ. «Я радъ, что вы это дѣлаете, — отвѣчаетъ плутъ-городничій простаку-почтмейстеру: — это въ жизни хорошо», и, видя, что съ нимъ обиняками немного возьмешь, напрямки проситъ его всякое извѣстіе доставлять къ нему, а жалобу или донесеніе просто задерживать. Судья потчуетъ его собачонкой,

но онъ отвѣчаетъ, что ему теперь не до собакъ и зайцевъ: «У меня въ ушахъ только и слышно, что инкогнито проклятое; такъ и ожидаешь, что вдругъ отворятся двери и войдетъ...»

И въ самомъ дѣлѣ, двери отворяются съ шумомъ, и вбѣгаютъ Петры Ивановичи Бобчинскій и Добчинскій. Это — городскіе шуты, уѣздные сплетники; ихъ все знаютъ, какъ дураковъ, и обходятся съ ними или съ видомъ презрѣнія, или съ видомъ покровительства. Они безсознательно это чувствуютъ и потому изъ всей мочи передъ всеми подличаютъ и, чтобы только ихъ терпѣли, какъ собакъ и кошекъ въ комнатѣ, всемъ подслуживаются новостями и сплетнями, составляющими субъективную, объективную и абсолютную жизнь уѣздныхъ городковъ. Вообще, съ ними обращаются безъ чиновъ; какъ съ собаками и кошками: надоѣдать — угощать. Ихъ дни проходятъ въ шатаньи и собираньи новостей и сплетенъ. Обогащаясь подобною находкой, они вдругъ вырастаютъ сознаніемъ своей важности и уже бѣгутъ къ знакомымъ смѣло, въ увѣренности хорошаго пріема.

«Чрезвычайное происшествіе!» кричитъ Бобчинскій. «Неожиданное извѣстіе!» восклицаетъ Добчинскій, вбѣгая въ комнату городничаго, гдѣ все настроено на одинъ ладъ, а особенно самъ городничій весь сосредоточенъ на *idée fixe*. «Что такое?» — «Приходимъ въ гостиницу», восклицаетъ Добчинскій. «Приходимъ въ гостиницу», перебиваетъ его Бобчинскій. Начинается разсказъ самый обстоятельный, самый подробный, отъ начала до конца: зачѣмъ пошли въ гостиницу, гдѣ, какъ, когда, при какихъ обстоятельствахъ, — словомъ, по всемъ правиламъ топиковъ или общихъ мѣстъ старинныхъ риторикъ. Чудаки перебиваютъ другъ друга; каждому хочется насладиться своею важностію, быть центромъ общаго вниманія, а вмѣстѣ и занять себя, наполнить свою пустоту пустымъ содержаніемъ. Забавиѣ всего то, что имъ самимъ хочется какъ можно скорѣе добраться до эффектнаго конца, а между тѣмъ и хочется продолжить свое торжество и разсказать все сначала и подробно. Бобчинскій овладѣваетъ разсказомъ, говоря, что у Добчинскаго «и зубъ со свистомъ, и слога такого нѣту», и Добчинскому осталось только помогать жестами разсказу счастливаго Бобчинскаго, изрѣдка обѣгать его нѣкоторыми фразами, которыя тотъ снова перехватываетъ и продолжаетъ свой разсказъ. Наконецъ дошли до «молодого человѣка недурной наружности въ партикулярномъ платьѣ». Представьте себѣ, какое впечатлѣніе долженъ былъ произвести этотъ «молодой человѣкъ недурной наружности въ партикулярномъ платьѣ» на воображеніе городничаго, уже безъ того настроенное ожиданіемъ проклятаго «инкогнито»! И вотъ, наконецъ, Бобчинскій передаетъ донесеніе трактирщика Власа: «Молодой человѣкъ, чиновникъ, ѣдущій изъ Петербурга — Иванъ Але-

ксандровичъ. Хлестаковъ, а ѣдетъ въ Саратовскую губернію, и что чрезвычайно странно себя аттестуетъ: больше полуторы недѣли живеть, дальше не ѣдетъ, забираетъ все на счетъ и денегъ хоть бы копейку заплатилъ». Слѣдуетъ остроумная смѣтка проищательнаго Бобчинскаго: съ какой стати сидѣть ему здѣсь, когда дорога ему лежитъ Богъ знаетъ куда — въ Саратовскую губернію? Это, вѣрно, не кто другой, какъ самый тотъ чиновникъ. Не естественъ ли послѣ этого ужасъ городничаго?

Городничій. Что вы говорите? Не можетъ быть! Да ибѣтъ, это вамъ такъ показалось. Это кто-нибудь другой.

Бобчинскій. Помилуйте, какъ не онъ! И денегъ не платить, и не ѣдетъ — кому же быть, какъ не ему? И съ какой стати жить бы онъ здѣсь, когда ему прописана подорожная въ Саратовъ?

Понимаете ли вы хоть въ возможности эту чудную логику, эти резоны, эти доводы? На какихъ законахъ разума основаны они? Вотъ онъ — вотъ источникъ комическаго и смѣшного! Видите ли вы, какая драма, какое столкновеніе противоположныхъ интересовъ, протекающихъ изъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ и ихъ взаимныхъ отношеній, выразилось въ этихъ двухъ монологахъ! Городничій уже вѣрнитъ страшному извѣстію, и, какъ утопающій хватается за соломинку, такъ онъ пустымъ вопросомъ хочетъ какъ бы отдалить на время сознаніе горькой истины, чтобы дать себѣ время опомниться; Бобчинскій, напротивъ, всѣми силами старается поддержать и въ другихъ, и въ самомъ себѣ увѣренность въ справедливости извѣстія, которое вдругъ придало ему такую важность. Да, въ этой комедіи ибѣтъ ни одного слова, строгой и непреложной необходимости котораго нельзя бы было доказать изъ самой сущности идеи и дѣйствительности характеровъ. Но вотъ Добчинскій, по тѣмъ же причинамъ, какъ и его достойный другъ, и съ такою же осповательностію и очевидностію подаетъ голосъ о несомнѣнности факта:

Онъ, онъ... ей Богу онъ!.. Я ставлю Богъ знаетъ что... Такой наблюдательный: все осматрѣлъ и по угламъ вездѣ, и даже заглянулъ въ тарелки наши полюбопытствовать, что ѣдимъ. Такой осмотрительный, что Боже сохрани...

Послѣ такого довода ибѣтъ больше сомнѣнія! Такой наблюдательный, что даже въ тарелки заглядывалъ! Боже мой, да если бы въ эту минуту бѣдному городничему сказали о наблюдательности его кучера, онъ принялъ бы его за ревизора, отличительнымъ признакомъ котораго, въ его испуганномъ воображеніи, непременно должна быть наблюдательность...

Видите ли, съ какимъ искусствомъ поэтъ умѣлъ завязать эту драматическую интригу въ душѣ человѣка, съ какою поразительною

очевидностію умѣлъ онъ представить необходимость ошибки городничаго? Если и теперь не видите — перечтите комедію; или, что еще лучше — посмотрите ее на сценѣ; если и тутъ не увидите — такъ это уже вина вашего зрѣнія, а мы не беремъ на себя трудной обязанности научить слѣпого безошибочно судить о цвѣтахъ. Если нужны еще доказательства, не изъ сущности идеи произведенія почерпнутыя, а внѣшнія, практическія, разсудочныя и резонерскія, безъ которыхъ многіе люди ничего не понимаютъ, замѣтимъ имъ, что подобныя случаи часто бываютъ въ жизни: сосредоточьтесь на идеѣ, отъ которой зависитъ ваша участь, — вы начнете говорить о ней съ первымъ встрѣчнымъ на улицѣ, принявъ его за своего пріятеля, къ которому вы шли говорить о ней. По крайней мѣрѣ, это очень возможно.

Пропускаемъ остальную половину перваго акта — отчаяніе городничаго при мысли, что ревизоръ въ полторы недѣли могъ узнать о невинно-высѣченной имъ унтеръ-офицерской женѣ, о покражѣ у арестантовъ провизіи, о нечистотѣ на улицахъ; его радость при мысли, что ревизоръ — молодой человекъ; его распоряженія; сцену съ квартальными; просьбу Добчинскаго взять его съ собою или хотя позволить «обѣжать за дрожками пѣтушкомъ, пѣтушкомъ», чтобы только увидѣть, «какъ тамъ онъ... больше сущность и поступки его, а я ничего»; замѣчаніе городничаго квартальному, что онъ «не по чину беретъ»; сцену съ частнымъ приставомъ, донесшимъ о квартальномъ Держимордѣ, который поѣхалъ, по случаю драки, для порядка и воротился пьянъ; дальнѣйшія распоряженія городничаго; его животные переходы отъ раскаянія къ ругательствамъ на кушцовъ, не догадавшихся подарить ему новой шпаги, хотя и видѣли, что старая уже не годится; его обѣщаніе поставить такую свѣчу, какой никто еще не ставилъ, и угрозу «на каждого бестію-купца наложить по три пуда воска», когда бѣда минетъ; сцену Анны Андреевны, разспрашивающей мужа за дверью о томъ, съ усами ли ревизоръ и съ какими усами; брань ея на дочь, которая своею кокетливостію при туалетѣ лишила ее возможности поскорѣе разузнать о ревизорѣ; эту шкировку съ дочерью, въ которой поблеклая кокетка уѣзднаго города представляется какъ бы видящею въ молодой дочери свою соперницу: скажемъ коротко, что во всемъ этомъ, какъ и въ предшествовавшемъ, поэтъ остался вѣренъ своей идеѣ, не измѣнилъ ей ни словомъ, ни чертою; что все это больше, нежели портретъ или зеркало дѣйствительности, но болѣе походить на дѣйствительность, нежели дѣйствительность походить сама на себя, ибо все это — художественная дѣйствительность, замыкающая въ себѣ всѣ частныя явленія подобной дѣйствительности...



Передъ вами Осипъ — герой лакейской природы, представитель цѣлаго рода безчисленныхъ явленій, изъ которыхъ онъ ни на одно не похожъ, какъ двѣ капли воды, но изъ которыхъ каждое похоже на него, какъ двѣ капли воды. Въ своемъ большомъ монолѣ, гдѣ, между прочимъ, читаетъ онъ правоученіе самому себѣ для своего барина и, наконецъ, самого барина, онъ высказываетъ всего себя, свои отношенія къ барину, и вы видите деревенскаго слугу, который пожилъ въ Петербургѣ, постигъ достоинство столичной жизни и галантерейнаго обращенія, но, по пословицѣ — «сколько волка ни корми, онъ все въ лѣсъ глядитъ», — предпочитаетъ мирную деревенскую жизнь тревоженіямъ столицы, въ которой худо безъ денегъ, иной разъ славно наѣшся, а въ другой — чуть не лопнешь съ голода. Въ истинно-художественномъ произведеніи всегда видно, какъ взаимныя отношенія персонажей дѣйствуютъ на самый характеръ, и потому вамъ тотчасъ станетъ ясно, что Осипъ грубиянъ столько же по натурѣ, сколько и по презрѣнію къ своему барину, котораго глупость онъ понимаетъ по-своему. Этотъ баринъ — одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ въ канцеляріяхъ называютъ пустѣйшими. Онъ — франтъ и щеголь, потому что дуракъ и столичный житель: глупцы скорѣе всего перенимаютъ внѣшнія стороны высшей ихъ жизни. Отецъ содержитъ его прилично, но онъ мотаетъ батюшкины денежки, чтобы наполнить свою пустоту, занять свою праздность и удовлетворить мелкому тщеславію, а потомъ спускаетъ платье на рынкѣ, до новой присылки денегъ. «Онъ дѣйствуетъ и говоритъ безъ всякаго соображенія: не въ состояніи остановить постоянного вниманія на какой-нибудь мысли; рѣчь его отрывиста, и слова вылетаютъ совершенно неожиданно». Онъ слышалъ, что есть на свѣтѣ вещь, которая называется литературою, и въ его пустой головѣ въ безпорядкѣ улеглись имена сочиненій и названія журналовъ и сочинителей: Брамбеусъ и Смирдинъ, «Библіотека для чтенія», и «Сумбека», «Юрій Милославскій» и «Фенелла». Онъ — дэнди не по одному модному платью, но и по манерамъ, дэнди трактирный; одна изъ тѣхъ фигуръ, которыя красуются на выѣскахъ московскихъ трактировъ, цырюленъ и портныхъ. Въ Пензѣ его обыгралъ начистую пѣхотный капитанъ: онъ за это досадуетъ на случай и несчастіе, но не на капитана, къ которому онъ благоговѣетъ какъ дилетантъ къ художнику, потому что, «что ни говори, а удивительно, бестія, штосы срѣзываетъ: всего какихъ-нибудь четверть часа посидѣлъ и все обобралъ — славно играетъ!» Великое достоинство въ его глазахъ!

Посмотрите, какъ робко и какими косвенными вопросами хочетъ онъ узнать отъ Осипа, есть ли у нихъ табакъ: о, онъ боится его правоученій и его грубости! Посмотрите, какъ онъ подличаетъ передъ

трактирнымъ прислужникомъ, справляясь о его здоровьѣ и о числѣ прѣзжающихъ въ ихъ трактиръ, и какъ ласково просить его поспѣшить принести обѣдать! Какая сцена, какія положенія, какой языкъ! Гдѣ подсмотрѣлъ, гдѣ подслушалъ поэтъ сцены и этотъ языкъ? И почему только одинъ онъ такъ подсмотрѣлъ и такъ подслушалъ? Можетъ-быть, потому что онъ подсматривалъ и подслушивалъ, какъ и всѣ, то-есть, не подсматривая и не подслушивая, да въ фантазіи-то его это отразилось не такъ, какъ у всѣхъ. А вѣдь и эти всѣ — тоже поэты и художники и, какъ блины, пекутъ и трагедіи, и драмы, и оперы, и комедіи, и водевили...

Входитъ Осипъ и говоритъ барину, что «тамъ чего-то прѣхалъ городничій, освѣдомляется и спрашиваетъ о васъ», — новое комическое столкновение! У Хлестакова воображеніе настроено на мысли о жалобахъ трактирщика, о тюрьмѣ... Онъ испугался тюрьмы, но утѣшился мыслию, что если поведутъ его туда благороднымъ образомъ, то — ничего; но мысль о двухъ купеческихъ дочеряхъ и офицерахъ, которыхъ онъ видѣлъ на улицѣ, снова приводитъ его въ отчаяніе... Можете представить, въ какой настроенности его воображенія входитъ къ нему городничій... Въ высшей степени комическое положеніе!.. Но мы пропускаемъ эту превосходную сцену — она говоритъ сама за себя, а для кого она нѣма, тѣмъ немного помогутъ наши толкованія. Скажемъ только, что въ этой сценѣ городничій является во всемъ своемъ блескѣ: съ одной стороны, какъ чуждый фантастическому для него понятію петербургскаго чиновника и весь сосредоточенный на мысли о «проклятомъ никогнито», онъ всѣ глупости Хлестакова принимаетъ за тонкія штуки, а съ другой — преловко и прехитро выкидываетъ свои тонкія штуки и улаживаетъ дѣло.

Третье дѣйствіе, а Анна Андреевна все еще у окна съ своей дочерью — въ высшей степени комическая черта! Тутъ не одно праздное любопытство пустой женщины: ревизоръ молодой, а она кокетка, если не больше... Дочь говоритъ, что кто-то идетъ — мать сердится. «Гдѣ идетъ? У тебя вѣчно какія-нибудь фантазіи; ну, да, идетъ». Потомъ вопросъ, кто идетъ: дочь говоритъ, что это Добчинскій — мать опять не соглашается и опять упрекаетъ дочь ни въ чемъ: «Какой Добчинскій? Тебѣ всегда вдругъ вообразится этакое! Совѣмъ не Добчинскій. Эй, вы, ступайте сюда! скорѣе!» Наконецъ обѣ разглядываютъ; дочь говоритъ: «А что? а что, маменька? Видите, что Добчинскій!» Мать отвѣчаетъ: «Ну, да, Добчинскій, теперь я вижу — изъ чего же ты споришь?» Можно ли лучше поддержать достоинство матери, какъ не быть всегда правою передъ дочерью и не дѣлая всегда дочь виноватою предъ собой? Какая сложность элементовъ

выражена въ этой сценѣ: уѣздная барыня, устарѣлая кокетка, смѣшная мать! Сколько оттѣнковъ въ каждомъ ея словѣ, какъ значительно, необходимо каждое ея слово! Вотъ что значитъ проникать въ таинственную глубину организаціи предмета и во внѣшности выводить то, что кроется въ самыхъ недоступныхъ для зрѣнія тканяхъ и нервахъ внутренней организаціи! Поэтъ заставляетъ насквозь видѣть эти характеры и внутри находить причины всего внѣшняго, являющагося. Сцена Анны Андреевны съ Добчинскимъ: та и другой является тутъ во всей своей призрачности. Она спрашиваетъ его, тотъ ли это ревизоръ, о которомъ увѣдомляли ея мужа: «Настоящій: я это первый открылъ вмѣстѣ съ Петромъ Ивановичемъ». Потомъ онъ пересказываетъ свиданіе городничаго съ Хлестаковымъ такъ, какъ оно отразилось въ его понятіи и какъ должно было отразиться въ понятіи городничаго, и заключаетъ, что онъ тоже «перетрухнулъ немножко». «Да вамъ-то чего бояться — вѣдь вы не служите?» спрашиваетъ она его. «Да такъ, знаете, когда вельможа говорить, то чувствуешь страхъ», отвѣчалъ простакъ. На вопросъ городничихи о наружности ревизора, онъ его описываетъ такъ, какъ онъ отразился въ его узкой головѣ: «Молодой, молодой человѣкъ: лѣтъ двадцати трехъ, а говоритъ совершенно, какъ старикъ. Извольте, говорить, я поѣду и туда, и туда... (размахиваетъ руками), такъ это все славно». Видите ли въ этихъ безсмысленныхъ словахъ немножко ідиотское неумѣніе отдать себѣ отчетъ въ собственномъ впечатлѣніи и выразить его словомъ? Далѣе: «Я, говорить, и пописать, и почитать люблю, но мѣшаетъ, что въ комнатѣ, говорить, немножко темно». Видите ли изъ этого, что чѣмъ Хлестаковъ былъ пошлѣе, безсвязнѣе въ своихъ фразсахъ, трактириѣе въ своихъ манерахъ, тѣмъ большее придавалъ онъ себѣ значеніе не только въ глазахъ Добчинскаго, но и самого городничаго. Есть люди, которые почитаютъ въ книгахъ глубокимъ и мудрымъ все, чего они не понимаютъ; приведите къ нимъ какого-нибудь глупца или ловкаго мистификатора, какъ автора этой умной книжки: чѣмъ нелѣпѣе онъ будетъ выражаться, тѣмъ больше они будутъ ему удивляться. Для городничаго ревизоръ былъ слишкомъ премудрою книгою потому уже только, что онъ ревизоръ, — съ этой точки зрѣнія его трудно было сдвинуть, и потому все, что Хлестаковъ ни вралъ послѣ къ ясной своей невыгодѣ, только еще болѣе поддерживало городничаго въ его заблужденіи, вмѣсто того, чтобы вывести изъ него и открыть ему глаза.

Сцена матери и дочери, совѣтующихся о туалетѣ, чтобы ихъ не осмѣяла какая-нибудь «столичная штучка», и споръ о палевомъ платьѣ, которое, по мнѣнію матери, къ лицу ей, такъ какъ у ней самые темные глаза, потому что «она и гадаетъ всегда на трефовую

даму», и возраженіе дочери, «что къ ней не идетъ цвѣтное платье, потому что она больше червоная дама» — эта сцена и этотъ споръ окончательно и рѣзкими чертами обрисовываютъ сущность, характеры и взаимныя отношенія матери и дочери, такъ что послѣдующее уже нисколько не удивляетъ въ нихъ васъ, какъ не удивляетъ сумма четырехъ, вышедшая изъ умноженія двухъ на два. Вотъ въ этомъ-то состоитъ типизмъ изображенія: поэтъ беретъ самыя рѣзкія, самыя характеристическія черты живописуемыхъ имъ лицъ, выпуская всѣ случайныя, которыя не способствуютъ къ отбѣненію ихъ индивидуальности. Но онъ выбираетъ не по сортировкѣ, не по соображенію и сличенію болѣе годныхъ съ менѣе годными, онъ даже и не думаетъ, не заботится объ этомъ, но все это выходитъ у него само собою, потому что изображаемыя имъ на бумагѣ лица прежде всего изобразились у него въ фантазіи, и изобразились во всей полнотѣ своей и цѣлости, со всѣми родовыми примѣтами, отъ цвѣта волосъ до родимаго пятнышка на лицѣ, отъ звука голоса до покроя платья. Положить ихъ на бумагу — для него уже актъ второстепенный, почти механическій трудъ. И посмотрите, какъ легко у него все выходитъ: въ этой коротенькой, какъ бы слегка и небрежно наброшенной сценѣ вы видите прошедшее, настоящее и будущее, всю исторію двухъ женщинъ, а между тѣмъ, она вся состоитъ изъ спора о платьѣ, и вся, какъ бы мимоходомъ и нечаянно, вырвалась изъ-подъ пера поэта!..

Сценка явленія Хлестакова въ домѣ городничаго, въ сопровожденіи свиты, изъ городского чиновничества и самого Сквозника-Дмухановскаго, представленіе Анны Андреевны и Марьи Антоновны, любезничанье и вражье Хлестакова — каждое слово, каждая черта во всемъ этомъ, общность и характеръ всего этого — торжество искусства, чудная картина, написанная великимъ мастеромъ, никогда нежданное, никѣмъ не подозрѣвавшееся изображеніе всѣми видѣннаго, всѣмъ знакомаго и, несмотря на то, всѣхъ удивившаго и поразившаго своею новостью и небывалостью!.. Здѣсь характеръ Хлестакова — этого второго лица комедіи — разворачивается вполне, раскрывается до послѣдней видимости своей микроскопической мелкости и гигантской пошлости. Къ сожалѣнію, это лицо понятно меньше прочихъ лицъ и еще не нашло для себя достойнаго артиста на театрахъ обѣихъ столицъ. Многимъ характеръ Хлестакова кажется рѣзко, утрированъ, если можно такъ выразиться, его болтовня, папоминающая: «не люблю, не слушай — врать не мѣшай», — изысканно неправдоподобною. Но это потому, что всякій хочетъ видѣть и, слѣдовательно, видитъ въ Хлестаковѣ свое понятіе о немъ, а не то, которое существенно заключается въ немъ. Хлестаковъ является къ го-

родничему въ домъ послѣ внезапной перемѣны его судьбы: не забудьте, что онъ готовился идти въ тюрьму, а между тѣмъ, нашелъ деньги, почетъ, угощеніе, что онъ, послѣ невольнаго и мучительнаго голода, наѣлся досыта, отчего и безъ вина можно прійти въ какое-то полупьяное разслабленіе, а онъ еще и подпилъ. Какъ и отчего произошла эта внезапная перемѣна въ его положеніи, отчего передъ нимъ стоятъ всѣ навытяжку — ему до этого нѣтъ дѣла; чтобы понять это, надо думать, а онъ не умѣетъ думать, онъ влечется, куда и какъ толкаютъ его обстоятельства. Въ его полупьяной головѣ, при обремененномъ желудкѣ, все передвоилось, все перемѣстилось — и Смирдинъ съ Брамбеусомъ, и «Библиотека» съ «Сумбекою», и Маврушка съ посланниками. Слова вылетаютъ у него вдохновенно; оканчивая послѣднее слово фразы, онъ не помнитъ ея перваго слова. Когда онъ говорилъ о своей значительности, о связяхъ съ посланниками, онъ не зналъ, что онъ вреть, и несколько не думалъ обманывать: сказавъ первую фразу, онъ продолжалъ, какъ бы противъ воли, какъ камень, толкнутый съ горы, катится уже не посредствомъ силы, а собственною тяжестью. «Меня даже хотѣли сдѣлать вице-канцлеромъ (зѣваетъ во всю глотку). О чемъ, бишь, я говорилъ?» Если бы ему сказали, что онъ говорилъ о томъ, какъ отецъ сѣкалъ его розгами, онъ, навѣрное, уцѣпился бы за эту мысль и началъ бы не говорить, а какъ будто продолжать, что это очень больно, что онъ всегда кричалъ, но «при нынѣшнемъ образованіи этимъ ничего не возымеешь».

Многіе почитаютъ Хлестакова героемъ комедіи, главнымъ ея лицомъ. Это несправедливо. Хлестаковъ является въ комедіи не самъ собою, а совершенно случайно, мимоходомъ, и притомъ не самимъ собою, а ревизоромъ. Но кто его сдѣлалъ ревизоромъ? — Страхъ городничаго, слѣдовательно, онъ — созданіе испуганнаго воображенія городничаго, призракъ, тѣнь его совѣсти. Поэтому онъ является во второмъ дѣйствіи и исчезаетъ въ четвертомъ, — и никому нѣтъ пужды знать, куда онъ поѣхалъ и что съ нимъ стало: интересъ зрителя сосредоточенъ на тѣхъ, которыхъ страхъ создалъ этотъ фантомъ, и комедія была бы не кончена, если бы окончилась четвертымъ актомъ. Герой комедіи — городничій, какъ представитель этого міра призраковъ.

Въ «Ревизорѣ» нѣтъ сценъ лучшихъ, потому что нѣтъ худшихъ, но всѣ превосходны, какъ необходимыя части художественно-образующія собою единое цѣлое, округленное внутреннимъ содержаніемъ, а не виѣшнею формою, и потому представляющее собою особый и замкнутый въ самомъ себѣ міръ. Скрѣпя сердце, пропускаемъ VII, VIII, IX и X явленія третьяго акта и остановимся только на оцѣне



нѣии городничаго, какъ бы кто ударилъ его обухомъ по головѣ: «Такъ совѣмъ ошеломило! Страхъ такой напалъ: еще такого важнаго человѣка никогда не видалъ (задумывается); съ министрами играетъ и во дворецъ ѣздитъ... такъ вотъ, право, чѣмъ больше думаешь... чортъ его знаетъ, не знаешь, что и дѣлается въ головѣ, какъ будто стоишь на какой-нибудь колокольнѣ, или тебя хотятъ повѣсить...» Это говоритъ уѣздный чиновникъ, служака, начавшій службу по-старинному, что называлось «тянуть лямку»; а вотъ голосъ чиновницы новаго времени, которая всегда образованнѣе своего мужа: «А я никакой совершенно не ощутила робости, я просто видѣла въ немъ образованнаго, свѣтскаго, высшего тона человѣка, а о чинахъ его мнѣ и нужды нѣтъ». Безподобна и эта выходка философствующаго городничаго: «Чудно все завелось теперь на свѣтѣ: народъ все тоненькій, поджаристый такой. Никакъ не узнаешь, что онъ важная особа». Это голосъ стараго чиновника, врасплохъ застигнутаго новымъ временемъ: онъ уже и прежде слышалъ, а теперь собственными глазами удосто-вѣрился, что нынче-де по головѣ, а не по брюху дѣлаются важными особами.

Въ первыхъ сценахъ четвертаго акта Хлестаковъ бесѣдуетъ съ самимъ собою и является все тѣмъ же, все самимъ же собою и не измѣняетъ себѣ ни однимъ словомъ, ни однимъ движеніемъ. Послѣ дивныхъ сценъ съ чиновниками города, у которыхъ онъ набралъ денегъ, онъ еще въ первый разъ догадывается, что его принимаютъ не за то, что онъ есть, а за великаго государственнаго человѣка. Причина этого явленія и могущія выйти изъ него слѣдствія не въ силахъ остановить на себѣ его вниманія. Это одна изъ тѣхъ головъ, которыя не въ состояніи переварить самаго простаго понятія и глотаютъ не жевавши. Онъ очень радъ, что его приняли за важную особу: «Я это люблю. Мнѣ нравится, если меня почитаютъ за важнаго человѣка. Въ моей фізіономіи точно есть что-то внушающее... и не докончилъ, сколько потому, что эта фраза слышанная, а не своя, столько и потому, что вдругъ перепрыгнулъ къ другому предмету... «Это съ ихъ стороны тоже благородная черта, что они готовы дать взаймы денегъ». Видите ли: его приняли за важную особу — оттого, что «у него въ фізіономіи есть что-то внушающее»; это должная дань его личнымъ достоинствамъ, а не другая, болѣе важная для чиновниковъ причина; что ему давали денегъ, это не взятки, а заемъ, и онъ на ту минуту, какъ говоритъ, вполне убѣжденъ, что возвратитъ имъ свой долгъ. Но Осипъ умнѣе своего барина: онъ все понимаетъ и ласково, тоже какъ будто мимоходомъ, совѣтуетъ ему уѣхать, говоря: «Погуляли здѣсь два денька, ну — и довольно; что съ ними связываться! Плюньте на нихъ! Неровенъ часъ: какой-ни-

будь другой наѣдетъ», и обольщаетъ его тройкою лихихъ лошадей съ колокольчикомъ. Эта приманка, равно какъ и мимоходомъ сказанное предостереженіе, что «батюшка будетъ гнѣваться за то, что такъ замѣшались», и рѣшила Хлестакова послѣдовать благоразумному совѣту. Слѣдуетъ сцена съ купцами, въ которой вы видите, какъ на ладони, это купечество уѣзднаго городка, которое выучилось кое-какъ зашибать деньгу, а еще не обрилось и не умылось, чтобы отъ его бородки не пахло капустою; которое плохо знаетъ грамоту и живетъ на «авось», т.-е. гдѣ выторговалъ, а гдѣ надулъ, и съ которымъ, по всему этому, городничій обходился безъ чиновъ; «схватить за бороду, говорить, ахъ ты татаринъ»; которое, наконецъ, любитъ коли давать, такъ давать — возьми и подносишь, и головку сахара, и кулечикъ съ вишнями, и не триста, — что триста! — пятьсотъ, только дѣло сдѣлай. Языкъ неподражаемо вѣренъ. Хлестаковъ опять не измѣняетъ себѣ — беретъ взаймы, о взяткахъ и слышать не хочетъ, и если гдѣ приходится въ маленькое недоумѣніе, тамъ толкаетъ его Осипъ и заставляетъ не быть безъ дѣйствія. Но вотъ входитъ Марья Антоновна: она въ комнатѣ чужого молодого человѣка ищетъ маменьки... Ея приходъ толкаетъ Хлестакова, т.-е. заставляетъ дѣлать то, чего онъ не думалъ дѣлать. Онъ франтъ, она «барышня»: слѣдовательно, ему должно волочиться за нею. Что изъ этого выйдетъ — такая мысль не можетъ прійти въ его пустую и легкую голову, которая дѣйствуетъ подъ вліяніемъ вѣшняго обстоятельства, подъ впечатлѣніемъ настоящей минуты. «Барышня» глупа, пуста и пошла, но она уже прочла нѣсколько романовъ, и у ней есть альбомъ, въ который Хлестаковъ долженъ написать какіе-нибудь этакіе повенькіе «стишки». О, ему это ничего не стоитъ — онъ много знаетъ наизусть стиховъ, напр.: «О ты, что въ горести напрасно» и пр. И вотъ онъ на колѣняхъ передъ нею. Уйди она — онъ черезъ минуту забылъ бы объ этой сценѣ, какъ совсѣмъ небывалой; но входитъ мать и толкаетъ его «просить руки» Марьи Антоновны. Онъ уѣзжаетъ въ полной увѣренности, что онъ женихъ и что все сдѣлалось, какъ должно; но извозчикъ крикнулъ, колокольчикъ залился — и Хлестаковъ готовъ спросить себя: «На чемъ, бишь, я остановился?»

Первыя сцены пятаго акта представляютъ намъ городничаго въ полномъ его грубаго блаженства животной натуры. Здѣсь поэтъ является глубокимъ анатомикомъ души человѣческой, проникаетъ въ самыя недоступныя тайники ея и выводитъ наружу все крившееся въ нихъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ пятомъ актѣ городничій является въ своемъ апоѳеозѣ, полнымъ опредѣленіемъ своей сущности, вполне опредѣлившеюся возможностью: все темное, грязное, низкое и грубое, что крылось въ его природѣ, развивалось воспитаніемъ и обстоятель-

ствами, все это веплыло со дна наверхъ, изнутри явилось наружу, и явилось такъ добродушно, такъ комически, что вы невольно смѣетесь тамъ, гдѣ бы должны были ужасаться. «Что, — говоритъ онъ женѣ, — тебѣ и во снѣ не видѣлось: просто изъ какой-нибудь городничихи, и вдругъ... фу ты, канальство! Съ какимъ дьяволомъ породилась!» — «Какія мы съ тобою теперь птицы сдѣлались! А, Анна Андреевна! Высокаго полета, чортъ поberi!» Изъ труса онъ дѣлается нахаломъ, мѣщаниномъ, который вдругъ попалъ въ знатные люди; страхъ Сибири прошелъ — онъ уже не обѣщаетъ Богу пудовой свѣчи и грозитъ еще жить и обирать купцовъ; велитъ кричать о своемъ счастьи всему городу, «валать въ колокола: коли торжество, такъ торжество, чортъ возьми!» его дочь выходитъ замужъ за такого человека, «что и на свѣтѣ еще не было, что можетъ и прогнать всѣхъ въ городѣ, и въ тюрьму посадить, и все, что хотеть». Боже мой! къ лицу ли ему генеральство! А онъ въ неистовомъ восторгѣ, въ бѣшеной комической страсти отъ мысли, что будетъ генераломъ... «Вѣдь почему хочется быть генераломъ? Потому что случится, поѣдешь куда-нибудь, фельдъегери и адъютанты поскачутъ вездѣ впередъ: лошадей! и тамъ, на станціяхъ никому не дадутъ, все дожидается: всѣ эти титулярные, капитаны, городничіе, а ты себѣ и въ усь не дуешь: обѣдаешь гдѣ-нибудь у губернатора, а тамъ: стой городничій! Ха-ха-ха! Вотъ что, канальство, заманчиво!»

Такъ проявляются грубыя страсти животной натуры! Это страсть — и страсть бѣшенная: у нашего городничаго сверкаютъ глаза, въ голосѣ топъ изступленія, движенія порывисты. Если не вѣрите — посмотрите на Щепкина въ этой роли. Въ комедіи есть свои страсти, источникъ которыхъ смѣшопъ, но результаты могутъ быть ужасны. По понятію нашего городничаго, быть генераломъ — значитъ видѣть предъ собою униженіе и подлость отъ низшихъ, гнестъ всѣхъ не-генераловъ своимъ чванствомъ и надменностью; отнять лошадей у человѣка нечиновнаго или меньшаго чиномъ, по своей подорожной имѣющаго равное на нихъ право; говорить «братецъ» и «ты» тому, кто говоритъ ему «ваше превосходительство» и «вы», и проч. Сдѣлайся нашъ городничій генераломъ — и когда онъ живетъ въ уздномъ городѣ, горе маленькому человѣку, если онъ, считая себя «не имѣющимъ чести быть знакомымъ съ г. генераломъ», не поклонится ему или на балу не уступитъ мѣста, хотя бы этотъ маленькій человѣкъ готовился быть великимъ человѣкомъ!.. тогда изъ комедіи могла бы выйти трагедія для «маленькаго человѣка»...

Приходъ купцовъ усиливаетъ волненіе грубыхъ страстей городничаго; изъ животной радости онъ переходитъ въ животную злобу. Сначала хочетъ говорить тихо, съ сосредоточенной яростію и злобною

пронією; но животная натура не даетъ ему выдержать этой роли: власть надъ собою принадлежитъ только образованнымъ людямъ; онъ постепенно приходитъ въ большую и большую ярость и раздражается ругательствами. Онъ пересчитываетъ Абдулицу свои благодаренія, т.-е. напоминаетъ случаи, гдѣ они вмѣстѣ казну обкрадывали... Купцы являются тѣми же купцами: они низко кланяются, низко подличаютъ. Великодушный городничій смягчается, но на условіи, чтобы «засушенные бороды, аршинники, самоварники, протоканаліи и архибестіи» не думали «отбояриться отъ него какимъ-нибудь балычкомъ или головою сахара», ибо-де «онъ выдаетъ дочку свою не за какого-нибудь дворянина»...

Начинаютъ собираться гости. Городничій снова въ своемъ пѣтушьемъ величіи. Передъ нимъ всѣ подличаютъ, какъ передъ знатною особою; поздравляютъ вслухъ съ «необыкновеннымъ благополучіемъ» и ругаютъ вполголоса. Городничиха, какъ и съ самаго начала пятого акта, играетъ роль случайной дамы, которая, однако, нисколько не удивлена своимъ счастьемъ, какъ по праву принадлежащимъ ей достоинствамъ и какъ давно привычнымъ ей. Она показываетъ, что равнодушна къ нему. Но устарѣлая кокетка беретъ верхъ надъ знатною дамою: она почти оспариваетъ жениха у своей дочери. Входитъ простодушный почтмейстеръ и пренаивно открываетъ всѣмъ глаза насчетъ мнимаго ревизора, доказавъ очевидно, что онъ «и не уполномоченный, и не особа». Сцена чтенія письма Хлестакова — въ высшей степени комическая. Но что же нашъ городничій? — Вы думаете, ему стыдно, мучительно-стыдно видѣть себя такъ жестоко одураченнымъ собственною ошибкою, такъ тяжело наказаннымъ за свои грѣхи? Какъ бы не такъ! Бездарность, посредственность или даже обыкновенный талантъ тотчасъ бы воспользовались случаемъ заставить городничаго раскаться и исправиться; но талантъ необыкновенный глубже понимаетъ натуру вещей и творитъ не по своему произволу, а по закону разумной необходимости. Городничій пришелъ въ бѣшенство, что допустилъ обмануть себя мальчишкѣ, вертопраху, у котораго молоко на губахъ не обсохло, онъ, который «тридцать лѣтъ жилъ на службѣ», котораго ни одинъ купецъ, ни одинъ подрядчикъ не могъ провести; мошенниковъ надъ мошенниками обманывалъ; пройдохъ и плутовъ такихъ, что весь свѣтъ готовы обворовать, поддѣвалъ на уду; трехъ губернаторовъ обманулъ! — Вы думаете, ему совѣстно, мучительно-совѣстно смотрѣть на тѣхъ людей, передъ которыми онъ сейчасъ только такъ ломался, которые унижались и подличали передъ его мнимою знатностію? Ничего не бывало! Когда дражайшая его половина обнаруживаетъ всю свою глупость наивнымъ вопросомъ: «Какъ же?... вѣдь это не можетъ быть...

онъ совсѣмъ вѣдь обручился съ нашей Машенькой» — онъ не только не старается замѣть позорнаго для нихъ обоихъ объясненія, но еще съ досадою на ея недогадливость очень ясно толкуетъ ей, въ чемъ дѣло: «А развѣ ты не видишь, что у него все это фу—фу! Пустѣйшій человѣкъ, чортъ бы побралъ его! Вотъ подлинно, если Богъ захочетъ наказать, такъ отниметъ разумъ. Ну что въ немъ было такого, чтобъ можно было принять за важнаго человѣка или вельможу? Пусть бы онъ имѣлъ что-нибудь внушающее уваженіе, а то чортъ знаетъ что? Дрянъ, сосулька! Тоньше сѣрной спички!» За симъ обманутые чудаки бросаются съ ругательствомъ на Петровъ Ивановичей, какъ первыхъ вѣстовиковъ о пріѣздѣ ревизора. Брань сыплется на нихъ градомъ; они сваливаютъ вину другъ на друга, какъ вдругъ явленіе жандарма съ извѣстіемъ о пріѣздѣ истиннаго ревизора прерываетъ эту комическую сцену и, какъ громъ, разразившійся у ихъ ногъ, заставляетъ ихъ окаменѣть отъ ужаса и такимъ образомъ превосходно замыкаетъ собою цѣлость пьесы.

(Изъ статьи 1840 г. о «Горе отъ ума».)

### III. „Ж е н и т ь б а“.

Въ ожиданіи выхода полнаго собранія сочиненій Гоголя скажемъ здѣсь нѣсколько словъ о характерахъ въ новой комедіи его «Женитьба». Подколесинъ — не просто вялый и перѣшительный человѣкъ съ слабою волею, которымъ можетъ всякій управлять: его перѣшительность, преимущественно, выказывается въ вопросѣ о женитьбѣ. Ему страхъ какъ хочется жениться, но приступить къ дѣлу — онъ не въ силахъ. Пока вопросъ идетъ о намѣреніи, Подколесинъ рѣшительнѣе до героизма; но чуть коснулось исполненія — онъ труситъ. Это педургъ, который знакомъ слишкомъ многимъ людямъ, поумиѣе и пообразованнѣе Подколесина. Въ характерѣ Подколесина авторъ подмѣтилъ и выразилъ черту общую, слѣдовательно, идею. Подколесинъ покоряется одному Кочкареву, потому что тотъ нахаль, которому не уступить — значитъ рѣшиться на исторію, конечно, не опасную, но зато неприличную, а одно стоитъ другого. Кочкаревъ — добрый и пустой малый, нахаль и разбитная голова. Онъ скоро знакомится, скоро дружится и сейчасъ — на *ты*. Горе тому, кто удостоится его дружбы! Кочкаревъ переставитъ у него по-своему мебель въ комнатѣ, да еще будетъ ругать, если тотъ не усердно будетъ помогать ему распорядиться въ своемъ домѣ; Кочкаревъ навязаетъ другу своего портного, своего сапожника не потому, чтобы убѣжденъ былъ въ ихъ превосходствѣ, а для того только, чтобы сказать: «я рекомендовалъ». Кочка-



ревъ хочетъ, чтобы все шло и дѣлалось черезъ него, и чтобы всѣ говорили: «этотъ человѣкъ на всѣ руки». Для этого онъ готовъ хлопотать, биться до пота лица, перенести что угодно. Другъ его собирается купить домъ: у Кочкарева ужъ есть на примѣтѣ домъ — отличнѣйшій во всѣхъ отношеніяхъ, именно такой, какой нуженъ его другу; онъ самъ, правду сказать, и не былъ въ этомъ домѣ, но готовъ сейчасъ же расписать расположеніе его комнатъ, доказать его удобство, выгодность, побожиться за достоинство каждой половицы, каждаго стропила. Если другъ не захочетъ смотрѣть этого дома, онъ потащитъ его, будетъ упрашивать, умолять, а въ случаѣ рѣшительнаго отказа разсорится съ другомъ по-своему: назоветъ его и «свиньей», и «подлецомъ». Первые слова его свахѣ, которую засталъ онъ у Подколесина, были: «Ну, послушай, на кой чортъ ты меня женила?» Изъ этого видно уже, что женитьба не очень осчастливила его, и что не ему бы хлопотать о женитьбѣ другихъ. Но не тутъ-то было: провѣдавъ о чужомъ дѣлѣ, онъ уже похожъ на гончую собаку, почуявшую зайца; чтобы похлопотать, онъ описываетъ женитьбу самыми обольстительными красками, какія только можетъ ему дать его грубая фантазія. И потому, если актеръ, выполняющій роль Кочкарева, услышавъ о намѣреніи Подколесина жениться, сдѣлаетъ значительную мину, какъ человѣкъ, у котораго есть какая-то цѣль, то онъ испортитъ всю роль съ самаго начала. Въ концѣ пьесы Кочкаревъ, взбѣсившись на Подколесина, самъ говоритъ: «Да если ужъ пошло на правду, то и я хорошъ. Ну, скажите, пожалуйста, вотъ я на всѣхъ сошлюсь: ну не олухъ ли я, не глупъ ли я? Изъ чего быюсь, кричу, нида горло пересохло? Скажите, что онъ мнѣ? Родня, что ли? И что я ему такое — нянька, тетка, свекруха, кума, что ли? Изъ какого же дьявола, изъ чего, изъ чего я хлопочу о немъ, не знаю себѣ покою, нелегкая прибрала бы его совсѣмъ? — А просто, чортъ знаетъ изъ чего! Поди ты, спроси иной разъ человѣка, изъ чего онъ что-нибудь дѣлаетъ!» Въ этихъ словахъ — вся тайна характера Кочкарева. — Жевакинъ — не кривляка, не шутъ: это старій селадонъ, а потому и щеголь, несмотря на свой старинный мундиръ. Куда бы ни занесла его судьба — хоть въ Китай, не только въ Сицилію — онъ вездѣ замѣтитъ одно только «розанчики этакіе». Кромѣ «розанчиковъ», для него ничто на свѣтѣ не существуетъ. — Алучкинъ — человѣкъ, живущій и бредящій однимъ — высшимъ обществомъ, котораго онъ никогда и во снѣ не видывалъ и съ которымъ у него нѣтъ ничего общаго. Онъ почитаетъ себя образованнымъ человекомъ и, услышавъ о Сициліи, сейчасъ захотѣлъ узнать, говорятъ ли тамъ «барышни» по-французски. Барышни, французскій языкъ и обхожденіе высшаго общества — въ этомъ для него и смыслъ

жизни, и цѣль жизни, и, кромѣ этого, для него ничто не существуетъ. Много попадаетъ Апучкиныхъ на бѣломъ свѣтѣ: они-то громче всѣхъ хлопаютъ актерамъ и вызываютъ ихъ; они-то восхищаются всякимъ плоскимъ и грубымъ двусмыслиемъ въ водевилѣ и осуждаютъ пьесы за неприличный тонъ; они-то не любятъ ни на сценѣ, ни въ книгахъ людей низкаго званія и грубыхъ выраженій. Апучкинъ — въ высшей степени типическое лицо, для представленія котораго на театрѣ нужно много ума и таланта. — Пятое дѣйствующее лицо — Яичница (экзекуторъ). Это человѣкъ грубый, матеріальный; но онъ живетъ и служитъ въ Петербургѣ — стало-быть, не похожъ на провинціальнаго медвѣдя. Вообще, для хорошаго выполненія ролей, созданныхъ Гоголемъ, актерамъ всего нужнѣе — наивность, отсутствіе всякаго желанія и усилія смѣшнить. Если человѣкъ имѣетъ смѣшную или слабую сторону, онъ тѣмъ и возбуждаетъ смѣхъ, что не предполагаетъ въ себѣ ничего смѣшнаго или страннаго. Въ обществѣ никто не станетъ стараться смѣшнить другихъ на свой счетъ, а сцена должна быть зеркаломъ общества...

Лицо свахи въ «Женитьбѣ» — одно изъ самыхъ живыхъ и типическихъ созданій Гоголя. Бойкость, яркость движеній, трещоточный разговоръ должны быть прежде всего схвачены актрисой, выполняющею эту роль; малѣйшая вялость, тяжеловатость сейчасъ испортятъ дѣло. Это — баба, наметавшаяся въ своемъ ремеслѣ; ея не разстроитъ никакое обстоятельство, не смутитъ никакое возраженіе; у нея готовъ отвѣтъ на всякій вопросъ. Невѣста спрашиваетъ сваху про одного изъ жениховъ, не пьетъ ли онъ. «А пьетъ, не прекословлю, пьетъ! Чтò же дѣлать? Ужъ онъ титулярный совѣтникъ, зато такой тихій, какъ шелкъ», отвѣчаетъ сваха и, въ утѣшеніе, прибавляетъ: «Впрочемъ, чтò жъ такого, что иной разъ выпьетъ лишнее? Вѣдь не всю же недѣлю бываетъ пьянъ — иной день выберется и трезвый». Про другого она говоритъ: «Немножко занкается, зато ужъ такой скромный».

Сколько юмора, какой языкъ, какіе характеры, какая типическая вѣрность натурѣ! Но — увы! — словно нетопыри прекраснымъ зданіемъ, овладѣли нашею сценою пошлыя комедіи съ приничною любовью и неизбежною свадьбою! Это называется у насъ «сюжетомъ». Смотря на наши комедіи и водевили и принимая ихъ за выраженіе дѣйствительности, вы подумаете, что наше общество только и занимается, что любовью, только и живетъ и дышитъ, что ею! И какою любовью — безкорыстною, безъ всякаго расчета на приданое, на связи и покровительство!..

(Изъ статьи о «Женитьбѣ», 1843 г.)

## IV. „Мертвыя души“.

...И вдругъ, среди этого торжества мелочности, посредственности, ничтожества, бездарности, среди этихъ пустоцвѣтовъ и дождевыхъ пузырей литературныхъ, среди этихъ ребяческихъ затѣй, дѣтскихъ мыслей, ложныхъ чувствъ, фарисейскаго патріотизма, приторной народности, — вдругъ, словно освѣжительный блескъ молніи среди томительной и тлетворной духоты и засухи, является твореніе чисто русское, національное, выхваченное изъ тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патріотическое, безпощадно сдвигивающее покровъ съ дѣйствительности и дышащее страстною, нервною, кровною любовію къ плодovitому зерну русской жизни; твореніе необъятно-художественное по концепціи и выполнению, по характеристамъ дѣйствующихъ лицъ и подробностямъ русскаго быта и, въ то же время, глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое...

Въ «Мертвыхъ душахъ» авторъ сдѣлалъ такой великій шагъ, что все, доселѣ имъ написанное, кажется слабымъ и блѣднымъ въ сравненіи съ нимъ... Величайшимъ успѣхомъ и шагомъ впередъ считаемъ мы со стороны автора то, что въ «Мертвыхъ душахъ» вездѣ ощущаемо и, такъ сказать, осязаемо проступаетъ его субъективность. Здѣсь мы разумѣемъ не ту субъективность, которая, по своей ограниченности или односторонности, искажаетъ объективную дѣйствительность изображаемыхъ поэтомъ предметовъ; но ту глубокую, всеобъемлющую и гуманную субъективность, которая въ художникѣ обнаруживаетъ человѣка съ горячимъ сердцемъ, симпатичною душою и духовно-личною самостію, — ту субъективность, которая не допускаетъ его съ апатическимъ равнодушіемъ быть чуждымъ міру, имъ рисуемому, но заставляетъ его проводить черезъ свою душу живую явленія вѣшняго міра, а черезъ то и въ нихъ вдыхать душу живу... Это преобладаніе субъективности, проникая и одушевляя собою всю поэму Гоголя, доходитъ до высокаго лирическаго пафоса и освѣжительными волнами охватываетъ душу читателя даже въ отступленіяхъ, какъ, напримѣръ, тамъ, гдѣ онъ говоритъ о завидной долѣ писателя, «который изъ великаго омета ежедневно вращающихся образовъ избралъ одни немногія исключенія; который не измѣнялъ ни разу возвышеннаго строя своей лиры, не опускался съ вершины своей къ блѣднымъ, ничтожнымъ своимъ собратіямъ и, не касаясь земли, весь повергался въ свои далеко отторгнутые отъ нея и возвеличенные образы»; или тамъ, гдѣ говоритъ онъ о грустной судьбѣ «писателя, дерзнувшаго вызвать наружу все, что ежеминутно передъ очами,

и чего не зрягъ равнодушныя очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повсѣдневныхъ характеровъ, которыми кншится наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога, и крѣпкою силою немолимаго рѣзца дерзнувшаго выставить ихъ выпукло и ярко на всепародныя очи»; или тамъ еще, гдѣ онъ, по случаю встрѣчи Чичикова съ плѣвившею его блондинкою, говорить, что «вездѣ, гдѣ бы ни было въ жизни, среди ли черствыхъ, шероховато-бѣдныхъ, неопрятно-плѣсѣющихъ, низменныхъ рядовъ ея, или среди однообразно-хладныхъ и скучно-опрятныхъ сословій высшихъ, вездѣ, хотъ разъ, встрѣтится на пути человѣку явленіе, непохожее на все то, что случалось ему видѣть дотолѣ, которое хотъ разъ пробудитъ въ немъ чувство, непохожее на тѣ, которыя суждено ему чувствовать всю жизнь; вездѣ, поперекъ какимъ бы то ни было печалямъ, изъ которыхъ плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, какъ иногда блестящій экипажъ съ золотою упряжью, картинными конями и сверкающимъ блескомъ стеколъ, вдругъ неожиданно промчится мимо какой-нибудь загложнувшей, бѣдной деревушки, невидавшей ничего, кромѣ сельской телѣги, — и долго мужики стоятъ, зѣвая съ открытыми ртами, не надѣвая шапокъ, хотъ давно уже унесся и пропалъ изъ виду дивный экипажъ...» Такихъ мѣстъ въ поэмѣ много — всѣхъ не выписать. Но этотъ паэосъ субъективности поэта проявляется не въ однихъ такихъ высоко-лирическихъ отступленіяхъ: онъ проявляется безпрестанно, даже и среди разсказа о самыхъ прозаическихъ предметахъ, какъ, напримѣръ, объ извѣстной дорожкѣ, проторенной забубеннымъ русскимъ народомъ... Его же музыку чувствуетъ внимательный слухъ читателя и въ восклицаніяхъ, подобныхъ слѣдующему: «Эхъ, русскій народецъ! Не любитъ умирать своею смертю!...»

Столь же важный шагъ впередъ со стороны таланта Гоголя видимъ мы и въ томъ, что въ «Мертвыхъ душахъ» онъ совершенно отрѣшился отъ малороссійскаго элемента и сталъ русскимъ національнымъ поэтомъ во всемъ пространствѣ этого слова. При каждомъ словѣ его поэмы читатель можетъ говорить:

Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнутъ!

Этотъ русскій духъ ощущается и въ юморѣ, и въ ироніи, и въ выраженіи автора, и въ размашистой силѣ чувствъ, и въ лиризмѣ отступленій, и въ паэосѣ всей поэмы, и въ характерахъ дѣйствующихъ лицъ, отъ Чичикова до Селифана и «подлеца Чубараго» включительно: въ Петрушкѣ, носившемъ съ собою свой особенный воз-

духъ, и въ будочникѣ, который, при фонарномъ свѣтѣ, впросонкахъ, казнилъ на ногтѣ звѣря и снова заснулъ. Знаемъ, что чопорное чувство многихъ читателей оскорбится въ печати тѣмъ, что такъ субъективно свойственно ему въ жизни, и назоветъ сальностями выходки въ родѣ казненнаго на ногтѣ звѣря; но это значить не понять поэмы, основанной на паосѣ дѣйствительности, какъ она есть. Изображайте мѣщанско-филистерскую жизнь пѣмцевъ, и вы принуждены будете упоминать (въ похвалу или насмѣшку) о педантизмѣ ихъ опрятности; касаясь же жизни русскаго простолюдинъ, не отличающагося, какъ извѣстно, излишнею чистоплотностью, значило бы пропустить одну изъ характеристическихъ чертъ ея, если бы не замѣтить, что не только въ деревняхъ, днемъ, сѣдя у воротъ, бабы усердно занимаются казненіемъ звѣрей у ребятишекъ, изъясняя имъ этимъ свою нѣжность и заботливость, но и въ столицахъ извозчики на биржахъ и работники на улицахъ перѣдко оказываютъ другъ другу подобную услугу, единственно изъ безкорыстной любви къ такому занятію...

«Мертвыя души» прочтутся всѣмъ, но понравятся, разумѣется, не всѣмъ. Въ числѣ многихъ причинъ есть и та, что «Мертвыя души» не соответствуютъ понятію толпы о романѣ, какъ о сказкѣ, гдѣ дѣйствующія лица полюбили, разлучились, а потомъ женились и стали богаты и счастливы. Поэмою Гоголя могутъ вполнѣ насладиться только тѣ, кому доступна мысль и художественное выполненіе созданія, кому важно содержаніе, а не «сюжетъ»; для восхищенія всѣхъ прочихъ остаются только мѣста и частности. Сверхъ того, какъ всякое глубокое созданіе, «Мертвыя души» не раскрываются вполнѣ съ перваго чтенія даже для людей мыслящихъ: читая ихъ во второй разъ, точно читаешь новое, никогда невиданное произведеніе. «Мертвыя души» требуютъ изученія. Къ тому же еще должно повторить, что юморъ доступенъ только глубокому и сильно развитому духу. Толпа не понимаетъ и не любитъ его. У насъ всякій писака такъ и таранится рисовать бѣшенныя страсти и сильные характеры, списывая ихъ, разумѣется, съ себя и съ своихъ знакомыхъ.

Онъ считаетъ для себя униженіемъ снизойти до комическаго и ненавидитъ его по инстинкту, какъ мышь кошку. «Комическое» и «юморъ» большинство понимаетъ у насъ какъ шутовское, какъ карикатуру; мы увѣрены, что многіе, не шутя, съ лукавою и довольною улыбкою отъ своей проинципальности, будутъ говорить и писать, что Гоголь въ шутку называлъ свой романъ поэмою... Именно такъ! Вѣдь Гоголь большой острякъ и шутникъ, и что за веселый человѣкъ, Боже мой! Самъ безпрестанно хохочетъ и другихъ смѣшить!.. Именно такъ, вы угадали, умные люди...



Что касается до насъ, то, не считая себя въ правѣ говорить печально о личномъ характерѣ живого писателя, мы скажемъ только, что не въ шутку назвалъ Гоголь свой романъ «поэмою», и что не комическую поэму разумѣть онъ подъ нею. Это намъ сказать не авторъ, а его книга. Мы не видимъ въ ней ничего шуточного и смѣшного: ни въ одномъ словѣ автора не замѣтили мы намѣренія смѣшить читателя: все серьезно, спокойно, истинно и глубоко... Не забудьте, что книга эта есть только экспозиція, введеніе въ поэму, что авторъ общается еще двѣ такія же большія книги, въ которыхъ мы снова встрѣтимся съ Чичиковымъ и увидимъ новыя лица, въ которыхъ Русь выразится съ другой своей стороны... Нельзя ошибочнѣе смотрѣть на «Мертвыя души» и грубѣе понимать ихъ, какъ видя въ нихъ сатиру. Но объ этомъ и о многомъ другомъ мы поговоримъ въ своемъ мѣстѣ подробнѣе; а теперь пусть скажетъ что-нибудь самъ авторъ:

...И опять по обѣимъ сторонамъ столбового пути пошли вновь писать версты, станціонныя смотрители, колодцы, обозы, сѣрыя деревни съ самоварами, бабами и бойкими бородатыми хозяиномъ, бѣгунимъ изъ постоялаго двора съ овсомъ въ рукѣ; пѣшеходъ въ протертыхъ лаптяхъ, плетущійся за 800 верстъ; городишки, выстроенныя живьемъ, съ деревянными лавочками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой; рябые плагбаумы, чпшмые мосты, поля неоглядныя и по ту сторону и по другую; помѣщичьи рывданы, солдатъ верхомъ на лошади, везущій зеленый ящикъ съ свинцовымъ горохомъ и подписью: «такой-то артиллерійской батарее»; зеленныя, желтыя и свѣже-разрытыя черныя полосы, мелькающія по степямъ; затянутая вдали пѣсня, сосновыя верхушки въ туманѣ, пропадающій далече колокольный звонъ, вороны, какъ мухи, и горизонтъ безъ конца... Русь! Русь! Вижу тебя изъ моего чуднаго, прекраснаго далека, тебя вижу: бѣдна природа въ тебѣ, не развеселятъ, не испугаютъ взоромъ дерзкія ея дива, вѣчанныя дерзкими дивами искусства, города съ многооконными, высокими дворцами, выросшими въ утесы, картинныя деревья и плющи, выросшіе въ дома, въ шумъ и въ вѣчной пыли водопадовъ; не опрокинется назадъ голова посмотрѣть на громадзящіяся безъ конца надъ нею и въ вышинѣ каменные глыбы; не блеснутъ сквозь наброшенныя одна на другую темныя арки, опутанныя виноградинами сучьями, плющами и несмѣтными миллионами дикихъ розъ; не блеснутъ сквозь нихъ вдали вѣчныя линіи сіяющихъ горъ, несущихся въ серебряныя, ясныя небеса. Открыто-пустынно и ровно все въ тебѣ; какъ точки, какъ значки, непримѣтно торчатъ среди равнинъ невысокіе твои города; ничто не обольститъ и не очаруетъ взора! Но какая же непостижимая, тайная сила влечетъ къ тебѣ? Почему слышится и раздается немолчно въ ухахъ твоя тоскливая, несущаяся по всей длинѣ и ширинѣ твоей, отъ моря до моря, пѣсня? Что въ ней, въ этой пѣснѣ? Что зоветъ и рыдаетъ, и хватается за сердце? Какіе звуки болѣзненно лобзаютъ, стремятся въ душу и выются около моего сердца? Русь! Чего же ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядѣшь ты такъ, и зачѣмъ все, что ли есть въ тебѣ, обратило на меня полныя ожиданія очи?.. И еще полныи-педоумѣнія, неподвижно стою я, а уже главу осыпало грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и оцѣмѣла мысль передъ твоимъ пространствомъ. Что пророчить сей необъятный просторъ? Здѣсь ли, въ тебѣ ли не родиться безпредѣльной мысли, когда ты сама безъ конца? Здѣсь ли

не быть богатырю, когда есть мѣсто, гдѣ развернуться и пройти ему? И грозно объемлетъ меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубинѣ моей; неестественною властью освѣтились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая землѣ даль! Русь!.. (424 — 427).

... И какой же русскій не любить быстрой бѣды? Его ли душѣ, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чортъ побери все!» — его ли душѣ не любить ея? Ея ли не любить, когда въ ней слышится что-то восторженно-чуждое? Кажись, невѣдомая сила подхватила тебя на крыло къ себѣ — и самъ летишь, и все летить: летятъ версты, летятъ наветрѣчу кунцы на облучкахъ своихъ кибитокъ, летитъ съ обѣихъ сторонъ лѣсъ темными строями елей и сосенъ, съ топорнымъ стукомъ и воробьимъ крикомъ, летитъ вся дорога, нивѣтъ куда въ пропадающую даль — и что-то страшное заключено въ семь быстромъ мельканьи, гдѣ не успѣваетъ означиться пропадающій предметъ; только небо надъ головою, да легкія тучи, да продирающіеся мѣсяцъ — одни кажутся недвижимы. Эхъ, тройка! птица-тройка! кто тебя выдумалъ? Знать, у бойкаго народа ты могла только родиться, въ той землѣ, что не любить шутить, а ровнемъ-гляднемъ разметнулась на полсвѣта, да и ступай считать версты, пока не зарябитъ тебѣ въ очи. И не хитрый, кажись, дорожный снарядь, не желѣзнымъ схваченъ вшитомъ, а наскоро живьемъ, съ однимъ топоромъ да долотомъ, снарядилъ и собралъ тебя ярославскій расторопный мужикъ. Не въ нѣмецкихъ ботфортахъ ямщикъ: борода да рукавицы, и сидитъ чортъ знаетъ на чемъ; а привсталъ да замахнулся, да затянулъ пѣсню — кони вихремъ, спицы въ колесахъ смѣшались въ одинъ гладкій кругъ, только дрогнула дорога, да вскрикнулъ въ испугѣ остановившійся пѣшеходъ! И вонъ она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вотъ уже видно вдали, какъ что-то пылитъ и сверлитъ воздухъ...

Не такъ ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымомъ дымитесь подъ тобою дорога, гремятъ мосты, все отстаетъ и остается назадъ. Остановился пораженный Божьимъ чудомъ созерцатель: не молнія ли это, сброшенная съ неба? Что значить это паводящее ужасъ движеніе? И что за невѣдомая сила заключена въ сихъ невѣдомыхъ свѣтомъ коняхъ? Эхъ, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидятъ въ вашихъ гривахъ? Чуткое ли ухо горитъ во всякой вашей жилкѣ? Заслышали съ вышины знакомую пѣсню, дружно и разомъ напрягли мѣдныя груди и, почти не тронувъ копытами земли, превратились въ одиѣ вытянутыя линіи, летяція по воздуху, — и мчитъ вся вдохновенная Богомъ!.. Русь, куда жъ несешься ты? Дай отвѣтъ. Не даетъ отвѣта! Чуднымъ звономъ залливается колокольчикъ; гремитъ и становится вѣтромъ разорванный въ куски воздухъ; летитъ мимо все, что ни есть на землѣ, и, косясь, посторониваются и даютъ ей дорогу другіе народы и государства. (473 — 5).

Грустно думать, что этотъ высокій лирическій пафосъ, эти гремѣющіе, поющіе диепранбы блаженствующаго въ себѣ національнаго самосознанія, достойные великаго русскаго поэта, будутъ далеко не для всѣхъ доступны, что добродушное невѣжество отъ души станетъ хохотать отъ того, отъ чего у другого волосы станутъ на головѣ при священномъ трепетѣ... А между тѣмъ, это такъ, и иначе быть не можетъ. Высокая, вдохновенная поэма пойдетъ для большинства за «преуморительную шутку». Найдутся также и патріоты, которые, съ свойственною имъ проникательностью, увидятъ въ «Мертвыхъ душахъ» злую сатиру, слѣдствіе холодности и нелюбви къ родному, къ отечественному, — они, которымъ такъ тепло въ нажитыхъ ими

потихоньку домахъ и домикахъ, а можетъ-быть, и деревенькахъ — плодахъ благонамѣренной и усердной службы... Пожалуй, еще закричать и о личностяхъ... Впрочемъ, это и хорошо съ одной стороны: это будетъ лучшею критическою оцѣнкою поэмы... Что касается до насъ, мы, напротивъ, упрекнули бы автора скорѣе въ излишествѣ непокореннаго спокойно-разумному созерцанію чувства, мѣстамъ слишкомъ юношески увлекающагося, нежели въ недостаткѣ любви и горячности къ родному и отечественному... Мы говоримъ о нѣкоторыхъ — къ счастію, немногихъ, хотя, къ несчастію, и рѣзкихъ — мѣстахъ, гдѣ авторъ слишкомъ легко судить о національности чуждыхъ племенъ и не слишкомъ скромно предается мечтамъ о превосходствѣ славянскаго племени надъ ними. Мы думаемъ, лучше оставлять всякому свое и, сознавая собственное достоинство, умѣть уважать достоинство и въ другихъ...

(Изъ статьи 1842 г.)

## О Г о г о л ъ.

Личность дошла до крайнихъ своихъ предѣловъ въ Лермонтовѣ и томъ направленіи, которое произошло отъ него. Въ направленіи этомъ выражался протестъ личности противъ дѣйствительности, протестъ, вслѣдствіе котораго являлось безконечное множество сатирическихъ очерковъ, повѣстей, кончавшихся неизбежно — прямо ли высказаннымъ, подразумеваемымъ ли — припѣвомъ: «И вотъ что можетъ сдѣлаться изъ человѣка!» Припѣвъ этотъ былъ гоголевскій, но протѣтый на лермонтовскій ладъ.

Съ другой стороны, «Шинель» и нѣкоторыя другія произведенія Гоголя подали поводъ къ другой, еще болѣе рѣзкой односторонности въ произведеніяхъ такъ называемой «натуральной» школы, которую гораздо вѣрнѣе можно назвать школою «сентиментальнаго натурализма». Воилъ идеалиста-Гоголя за идеаль, за «прекраснаго человѣка» — перешелъ здѣсь въ вопль и протестъ за разслабленнаго, хилаго морально и физически человѣка. Горькій смѣхъ великаго юмориста надъ измелъчавшимъ и униженнымъ человѣкомъ, смѣхъ, соединенный съ пламеннымъ негодованіемъ на ложь и формализмъ той среды жизни, въ которой мельчаетъ и унижается человѣкъ, перешли въ болѣзненный протестъ за измелъчавшаго и униженнаго человѣка, вслѣдствіе чего и самый протестъ противъ ложной и чисто-формальной дѣйствительности лишился своего высшаго нравственнаго значенія. Отдѣлите одинъ болѣзненный юморъ раздражительной натуры отъ стремленій къ идеалу въ творествѣ Гоголя — и чудовищныя созданія появятся на свѣтъ вслѣдствіе причудъ этого болѣзненнаго юмора! Когда

Гоголь говоритъ въ «Мертвыхъ душахъ» о томъ, что опошлится добродѣтельный человѣкъ (т.-е. сильный человѣкъ), что нора, по его выраженію, «припирячъ плутоватаго человѣка» — онъ, во-первыхъ, развѣнчиваетъ *ложно-добродѣтельнаго* человѣка, развѣнчиваетъ его ходульную величавость и мишурность; во-вторыхъ, онъ плачетъ, болѣетъ сердцемъ о томъ, что «нигдѣ не видитъ онъ мужа»; своимъ энергическимъ словомъ онъ клеймитъ въ другомъ мѣстѣ своихъ сочиненій безспильнаго человѣка («Дрянъ и тряпка сталъ всякъ человѣкъ»).

Великій обличитель всего, что въ немъ самомъ было ложнаго и что вокругъ себя видѣлъ онъ ложнаго, Гоголь обличилъ, наконецъ, самое обличеніе въ несостоятельности его, разорванности, отсутствіи всякаго живого средоточія. Обличеніе разрываетъ связь съ нимъ и, разорвавшись съ нимъ, съ живою исходною точкою, хочетъ жить гальванически — и живетъ, и до сихъ поръ живетъ этою жизнію. Обличитель въ свою очередь хочетъ стать выше самого себя, хочетъ строить свой міръ изъ обличенныхъ въ негодности матеріаловъ стараго имъ же разрушеннаго зданія, подкрашиваетъ, сколачиваетъ и падаетъ, разбитый сознаніемъ безжизненности въ созданьи, сожигаемый тоскою по идеалу, которому формъ не находитъ.

Страшный урокъ, страшное трагическое событіе! Но въ немъ есть смыслъ, и смыслъ великій, утѣшительный. Гоголь былъ весь человѣкъ *сдѣланный*; какъ великій умъ и великій художественный талантъ, онъ, нося въ себѣ эту язву, являе всѣхъ другихъ, носившихъ ее въ себѣ, сознавалъ это и преслѣдовалъ ее въ себѣ и въ другихъ нещадно. Простой великій человѣкъ (одинъ изъ простѣйшихъ, какихъ когда-либо посылало небо землѣ), безнаказанно выносившій на себѣ всякія чуждыя краски, которыя съ лѣтами упали «ветхой чешуей», и оставшійся всюду съ своей собственной богатой природой — опредѣлялъ ему самому его значеніе такъ: что никто лучше его не умѣетъ выставить пошлость пошлаго человѣка. Анализъ всего въ душѣ нашей пошлаго и анализъ окружающей жизни сквозь призму анализа внутренней пошлости — вотъ въ самомъ дѣлѣ вся задача гоголевскаго творчества. У всякаго писателя есть его задушевное слово, и это-то именно слово онъ призванъ сказать міру, ибо онъ-то именно міру и нуженъ какъ новое слово, и оно-то есть вмѣстѣ дѣло души, о которомъ такъ часто говоритъ Гоголь въ своей перепискѣ и въ своихъ письмахъ. Это слово — въ конечной формѣ есть послѣдняя правда души о ней самой и о ея цѣлостномъ пониманіи Божьяго міра, центръ малаго міра въ его, страданіемъ и борьбою купленномъ (такъ или иначе), отождествленіи съ центромъ великаго міра.

Мучась вопросомъ художественнымъ, Гоголь въ то же самое время мучился и вопросомъ нравственнымъ, окончательно добиваясь отъ

себя правды въ его разрѣшеніи... Онъ внутренно огорчился своимъ призваніемъ выставять пошлаго человѣка, т.-е. снимать личину эффектной наружности съ того, что въ сущности обыкновенно и что, обличенное, становится пошлымъ. Его огорченіе проглядываетъ почти во всѣхъ его лирическихъ страницахъ; но, оставаясь у него только стремленіемъ къ идеалу и оправданіемъ своего дѣла, какъ отрицательнаго пути къ идеальному — оно у тѣхъ, которые были ближайшими его послѣдователями, у сентиментальныхъ натуралистовъ, обратилось въ слѣпой протестъ за безсильнаго человѣка.

Героическаго нѣтъ уже въ душѣ и въ жизни: что кажется героическимъ, то въ сущности — хлестаковское или поприщинское!.. Но странно, что никто не потрудился спросить себя, *какого* именно героическаго нѣтъ больше въ душѣ и въ натурѣ — и въ *какой* натурѣ его нѣтъ?..

Не обратили вниманія на обстоятельство весьма простое. Со времени Петра Великаго — народная натура примѣривала на себя выдѣланныя формы героическаго, выдѣланныя не ею. Кафтаны оказывался то узокъ, то коротокъ: нашлась горсть людей, которые кое-какъ его напялили, и они стали переважно въ немъ расхаживать. Гоголь сказалъ всѣмъ, что они щеголяютъ въ чужомъ кафтанѣ — и этотъ кафтанъ сидитъ на нихъ, какъ на коровѣ сѣдло, да ужъ и затасканъ такъ, что на него смотрѣть скверно. Изъ этого слѣдовало только то, что нуженъ другой кафтанъ по мѣрѣ толщины и роста, а вовсе не то, чтобы вовсе остаться безъ кафтана или продолжать напялить на себя кафтанъ изношенный.

Была еще другая сторона въ вопросѣ. Гоголь высказалъ несостоятельность передъ сложенымъ вѣками идеаломъ *героическаго* только того въ нашей душѣ и въ окружающей дѣйствительности, что на себя идеаль примѣривало. Между тѣмъ и въ насъ самихъ, и вокругъ насъ было еще нѣчто, что жило по своимъ собственнымъ, особеннымъ началамъ (и жило гораздо сильнѣе, чѣмъ то, что примѣривалось къ чуждымъ идеаламъ), что оставалось чистымъ и простымъ послѣ всей борьбы съ блестящими, но чуждыми идеалами.

Между тѣмъ самыя сочувствія, разъ возбужденныя, умереть не могли: идеалы не потеряли своей обаятельной силы и прелести.

Положимъ — или даже не положимъ, а скажемъ утвердительно, что не хорошо сочувствовать Печорину такому, какимъ онъ является въ романѣ Лермонтова; но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы мы должны были «ротиться и клястися» въ томъ, что мы никогда не сочувствовали натурѣ Печорина до той минуты, въ которую является онъ въ романѣ, т.-е. стихіямъ натуры до извращенія ихъ... Изъ



этого еще менѣе слѣдуетъ, чтобы мы все сочувствіе наше перенесли на Максима Максимыча и его возвели въ герою... Максимъ Максимычъ, конечно, очень хорошій человѣкъ и, конечно, правѣ и достойнѣе сочувствія въ своихъ дѣйствіяхъ, чѣмъ Печоринъ; но вѣдь онъ тупоумень и по простой натурѣ своей даже и не могъ впасть въ тѣ уродливыя крайности, въ которыя попалъ Печоринъ.

Голосъ, за простое и доброе поднявшійся въ душахъ нашихъ противъ ложнаго и хищнаго, есть, конечно, прекрасный, возвышенный голосъ, но заслуга его есть только отрицательная. Его положительная сторона есть застой, закъсъ, моральное мѣщанство.

*Ан. Григорьевъ.*

## О Гоголѣ.

Родившись среди общества, лишеннаго всякихъ прочныхъ убѣжденій, кромѣ нѣкоторыхъ аскетическихъ мнѣній, дошедшихъ до этого общества по преданію старины и нимало не прилагающихся этимъ обществомъ къ жизни, Гоголь ни отъ воспитанія, ни даже отъ дружескаго кружка своихъ сверстниковъ не получилъ никакого содѣйствія или побужденія къ развитію въ себѣ стройнаго образа мыслей, нужнаго для каждаго человѣка съ энергическимъ умомъ, тѣмъ болѣе для общественнаго дѣятеля. Потомъ, проведя свою молодость въ кругу петербургскихъ литераторовъ, онъ могъ получить отъ нихъ много хорошаго для развитія формальной стороны своего таланта, но для развитія глубокихъ и стройныхъ воззрѣній на жизнь и это общество не доставило ему никакой нищ. Между тѣмъ, инстинктъ благородной и энергической натуры обратилъ его къ изображенію общественной жизни съ той стороны, которая одна могла въ то время вдохновлять истиннаго поэта, поэта идеи, а не только формы. Литературная извѣстность сблизила его съ нѣкоторыми литераторами, не принадлежавшими къ петербургскому кружку, въ которомъ онъ жилъ, но пользовавшимся въ этомъ кружкѣ репутаціей замѣчательныхъ ученыхъ и мыслителей. Въ то время Гоголь еще мало заботился объ общихъ теоріяхъ, и знакомство съ этими мыслителями пока еще не оказывало на него особеннаго вліянія: его мало занимали мысли, занимавшія ихъ; онъ только западали, болѣе или менѣе случайнымъ образомъ, въ его память, въ которой хранились нѣкоторое время безъ всякаго развитія и употребленія. Какъ мнѣніе петербургскаго литературнаго кружка, въ которомъ жилъ Гоголь, содѣйствовало сближенію его съ этими учеными, такъ оно воспрепятствовало сближенію его съ другими тогдашними литераторами, которые одинъ могли бы

имѣть полезное вліяніе на его умственное развитіе. Полевой и Надеждинъ не пользовались уваженіемъ людей, среди которыхъ жилъ Гоголь.

Юноша поглощенъ явленіями жизни; ему не время чувствовать потребность общихъ теорій, если эта потребность не развита въ немъ воспитаніемъ или обществомъ. Гоголь писалъ о тѣхъ явленіяхъ, которыя волновали его благородную натуру, и довольствовался тѣмъ, что разоблачаетъ эти вредныя явленія; о томъ, откуда возникли эти явленія, каково ихъ отношеніе къ общимъ принципамъ нашей жизни, никто ему не говорилъ, а самому ему еще рано было для такихъ отвлеченностей отрываться отъ непосредственнаго созерцанія жизни. Собственно говоря, онъ не имѣлъ тогда никакого образа мыслей, какъ не имѣли его въ то время никто изъ нашихъ литераторовъ. Онъ писалъ такъ, какъ разсуждаетъ большая часть изъ насъ теперь, какъ судили и писали тогда почти все: единственно по внушенію впечатлѣнія. Но впечатлѣніе, производимое безобразными явленіями жизни на его высокую и сильную натуру, было такъ сильно, что произведенія его оживлены были энергіею негодованія, о которой не имѣли понятія люди, бывшіе его учителями и друзьями. Это живое негодованіе было внѣ круга ихъ понятій и чувствъ — они смотрѣли на него довольно индифферентно, не одобряя и не осуждая его мыслей слишкомъ рѣшительно, но совершенно сочувствуя формальной сторонѣ таланта Гоголя, которымъ дорожили за живость его картинъ, за вѣрность его языка, наконецъ, за уморительность его комизма.

Слабость здоровья, огорченія, навлеченныя «Ревизоромъ», и, быть-можетъ, другія причины, остающіяся пока неизвѣстными, заставили Гоголя уѣхать за границу и оставаться тамъ много лѣтъ, почти до конца жизни, посѣщая Россію только изрѣдка, и только на короткое время. Вскорѣ послѣ отъѣзда за границу, начался для молодого человѣка переходъ къ зрѣлому мужеству.

При развитіи, подобномъ тому, какое получилъ Гоголь, только для очень немногихъ, самыхъ сильныхъ умомъ людей настаетъ пора умственной возмужалости, та пора, когда человѣкъ чувствуетъ, что ему недостаточно основываться въ своей дѣятельности только на отрывочныхъ сужденіяхъ, вызываемыхъ отдѣльными фактами, а необходимо имѣть систему убѣжденій. Въ Гоголѣ пробуждалась эта потребность. Какими матеріалами снабдило его воспитаніе и общество для утоленія этой потребности? Въ немъ ничего не нашлось изъ пужныхъ для того данныхъ, кромѣ преданій дѣтства; тѣ умственные вліянія, о которыхъ вспоминалъ онъ, и съ которыми встрѣчался онъ въ заграничной жизни, все склоняли его къ развитію этихъ преданій, къ утвержденію въ нихъ. Онъ даже не зналъ о томъ, что могутъ

существовать иныя основанія для убѣжденій, могутъ быть иныя точки воззрѣнія на міръ.

Такъ развивался въ немъ образъ мыслей, обнаружившійся передъ публикою изданіемъ «Переписки съ друзьями», передъ друзьями—гораздо ранѣе, до изданія перваго тома «Мертвыхъ душъ».

Въ статьѣ о сочиненіяхъ Жуковскаго мы говорили объ одномъ изъ тѣхъ людей, вмѣстѣ съ которыми, отчасти подъ руководствомъ которыхъ, жилъ теперь Гоголь. Теоретическія основанія были одни и тѣ же у нихъ, но результаты, произведенные этою теоріею, вовсе не одинаково отразились и на нравственной, и на литературной, и даже на органической жизни Гоголя и его сотоварищей-учителей, потому что его натура была различна отъ ихъ натуръ. То, что оставалось спокойнымъ, ничему не мѣшающимъ и даже незамѣтнымъ во внѣшности у нихъ, стало у него бурнымъ, все одолюющимъ, неудобнымъ для житейской и литературной дѣятельности и невыносимымъ для организма. Въ этомъ отношеніи, всѣ другіе, кромѣ Гоголя, были сходны съ Жуковскимъ, котораго мы и беремъ для сравненія съ Гоголемъ, ссылаясь на нашу статейку о сочиненіяхъ Жуковскаго, вышедшихъ въ нынѣшнемъ году.

Умѣренность и житейская мудрость—вотъ отличительныя черты натуры Жуковскаго по вопросу о примѣненіи теоріи къ жизни. При такихъ качествахъ теорія оказывалась содѣйствующею у Жуковскаго мудрому устроенію своей внутренней жизни, мирныхъ отношеній къ людямъ, нимало не стѣсняющею силу и дѣятельности таланта.

У Гоголя не то. Многосложенъ его характеръ, и до сихъ поръ загадочны многія черты его. Но то очевидно съ перваго взгляда, что отличительнымъ качествомъ его натуры была энергія, сила, страсть; это былъ одинъ изъ тѣхъ энтузіастовъ отъ природы, которымъ нѣтъ середины: или дремать, или кипѣть жизнью; увлеченіе радостнымъ чувствомъ жизни или страданіемъ, а если нѣтъ ни того, ни другого—тяжелая тоска. Такимъ людямъ не всегда безопасны бывають вещи, которыя всѣмъ другимъ легко сходятъ съ рукъ. Кто изъ мужчинъ не волочится, кто изъ женщинъ не кокетничаетъ? Но есть натуры, съ которыми нельзя шутить съ любовью: стоитъ имъ полюбить, онѣ не отступаютъ и не побоятся ни разрыва прежнихъ отношеній, ни потери. Человѣкъ «разумной середины» можетъ держаться какихъ угодно теорій и все-таки прожить свой вѣкъ мирно и счастливо. Но Гоголь былъ не таковъ. Съ нимъ нельзя было шутить идеями. Воспитаніе и общество, случай и друзья поставили его на путь, по которому безопасно шли эти друзья,—что онъ надѣлалъ съ собою, ставъ на этотъ путь, каждый изъ насъ знаетъ.

Но все-таки, что за человекъ былъ онъ въ послѣднее время своей жизни? Чему вѣрилъ онъ, это мы знаемъ; но что теперь хотѣлъ онъ въ жизни для тѣхъ меньшихъ братій своихъ, которыхъ такъ благородно защищалъ прежде? — Этого мы до сихъ поръ не знаемъ положительно. Ужели онъ въ самомъ дѣлѣ думалъ, что «Переписка съ друзьями» замѣнить Акакію Акакіевичу шинель? Или «Переписка» эта была у него только средствомъ внушить тѣмъ, которые не знали того прежде, что Акакій Акакіевичъ, которому нужна шинель, есть братъ ихъ? Положительныхъ свидѣтельствъ тутъ нѣтъ. Каждый рѣшилъ это по своему мнѣнію о людяхъ. Намъ кажется, что человекъ, такъ сильно любившій правду и ненавидѣвшій беззаконіе, какъ авторъ «Шинели» и «Ревизора», неспособенъ былъ никогда, ни при какихъ теоретическихъ убѣжденіяхъ окаменѣть сердцемъ для страданій своихъ ближнихъ. Мы привели выше нѣкоторые факты, казущіеся намъ доказательствами того. Но кто поручится за человека, живущаго въ нашемъ обществѣ? Кто поручится, что самое горячее сердце не остынетъ, самое благородное не испортится? Мы имѣемъ сильную вѣроятность думать, что Гоголь 1850 года заслуживалъ такого же уваженія, какъ и Гоголь 1835 года; но положительно мы знаемъ только то, что во всякомъ случаѣ онъ заслуживалъ глубокаго скорбнаго сочувствія.

«Спасите меня! Возьмите меня!.. Домъ ли то мой синѣть вдали, мать ли моя сидитъ передъ окномъ? Матушка, спаси твоего бѣднаго сына! Посмотри, какъ измучили они его! Прижми ко груди своей бѣднаго спротку! Ему нѣтъ мѣста на свѣтѣ!»

Да, какъ бы то ни было, а великаго ума и высокой натуры человекъ былъ тотъ, кто первый представилъ насъ намъ въ настоящемъ нашемъ видѣ, кто первый научилъ насъ знать наши недостатки и гнушаться ими. И что бы напоследокъ ни сдѣлала изъ этого человека жизнь, не онъ былъ виноватъ въ томъ. И если чѣмъ смутилъ насъ онъ, все это миновалось, а безсмертны остаются заслуги его.

*Чернышевскій.*

## Значеніе Гоголя.

За Жуковскимъ явился Пушкинъ, за Пушкинымъ Гоголь, и каждый изъ этихъ людей вносилъ новый элементъ въ русскую литературу, расширялъ ея содержаніе, измѣнялъ ея направленіе; но что новаго внесено въ литературу послѣ Гоголя? И отвѣтомъ будетъ: гоголевское направленіе до сихъ поръ остается въ нашей литературѣ единственнымъ сильнымъ и плодотворнымъ. Если и можно припоминать

нѣсколько сносныхъ, даже прекрасныхъ произведеній, которыя не были проникнуты идеею, сродною идеѣ Гоголевыхъ созданій, то, несмотря на свои художественныя достоинства, они остались безъ вліянія на публику, почти безъ значенія въ исторіи литературы. Да, въ нашей литературѣ до сихъ поръ продолжается гоголевскій періодъ, а вѣдь двадцать лѣтъ прошло со времени появленія «Ревизора», двадцать пять лѣтъ съ появленія «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки»: прежде въ такой промежутокъ смѣнялись два-три направленія. Нынѣ господствуетъ одно и то же, и мы не знаемъ, скоро ли мы будемъ въ состояніи сказать: «начался для русской литературы новый періодъ».

И однакоже мы осмѣлимся сказать, что самые безусловные поклонники всего, что написано Гоголемъ, превозносящіе до небесъ каждое его произведеніе, каждую его строку, не сочувствуютъ такъ живо его произведеніямъ, какъ сочувствуемъ мы, не приписываютъ его дѣятельности столь громаднаго значенія въ русской литературѣ, какъ приписываемъ мы. Мы называемъ Гоголя безъ всякаго сравненія величайшимъ изъ русскихъ писателей, по значенію. По нашему мнѣнію, онъ имѣлъ полное право сказать слова, безмѣрная гордость которыхъ смутила въ свое время жаркихъ его поклонниковъ и которыхъ неловкость понятна и намъ:

«Русь! чего ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты такъ, и зачѣмъ все, что ни-сть въ тебѣ, обратило на меня полныя ожиданія очи?»

Онъ имѣлъ полное право сказать это, потому что какъ ни высоко цѣнимъ мы значеніе литературы, но все еще не цѣнимъ его достаточно: она неизмѣримо важнѣе почти всего, что ставится выше нея.

Байронъ въ исторіи человѣчества лицо едва ли не болѣе важное, нежели Наполеонъ, а вліяніе Байрона на развитіе человѣчества еще далеко не такъ важно, какъ вліяніе многихъ другихъ писателей, а давно уже не было въ мірѣ писателя, который былъ бы такъ важенъ для своего народа, какъ Гоголь для Россіи.

Прежде всего скажемъ, что Гоголя должно считать отцомъ русской прозаической литературы, какъ Пушкина — отцомъ русской поэзіи. Спѣшимъ прибавить, что это мнѣніе не выдуманно нами, а только извлечено изъ статьи «О русской повѣсти и повѣстяхъ г. Гоголя», напечатанной ровно двадцать лѣтъ тому назадъ («Телескопъ» 1835 г., часть XXVI) и принадлежащей автору «Статей о Пушкинѣ». Онъ доказываетъ, что наша повѣсть, начавшаяся очень недавно, въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія, первымъ истиннымъ представителемъ своимъ имѣла Гоголя. Теперь, послѣ того какъ явились «Ре-



визоръ» и «Мертвыя души», надобно прибавить, что точно такъ же Гоголь былъ отцомъ нашего романа. (въ прозѣ) и прозаическихъ произведеній въ драматической формѣ, т.-е. вообще русской прозы (не надо забывать, что мы говоримъ исключительно объ изящной литературѣ). Въ самомъ дѣлѣ, истиннымъ началомъ каждой стороны народной жизни надобно считать то время, когда эта сторона раскрывается замѣтнымъ образомъ, съ нѣкоторою энергіею, и прочнымъ образомъ утверждаетъ за собою мѣсто въ жизни, — всѣ предшествующія отрывочныя, исчезающія безъ слѣда, эпизодическія проявленія должны быть считаемы только порывами къ осуществленію себя, но еще не дѣйствительнымъ существованіемъ. Такъ, превосходныя комедіи Фонвизина, не имѣвшія вліянія на развитіе нашей литературы, составляютъ только блестящій эпизодъ, предвѣщающій появленіе русской прозы и русской комедіи. Повѣсти Карамзина имѣютъ значеніе только для исторіи языка, но не для исторіи оригинальной русской литературы, потому что русскаго въ нихъ нѣтъ ничего, кромѣ языка. Притомъ же, и онѣ скоро были подавлены наплывомъ стиховъ. При появленіи Пушкина русская литература состояла изъ однихъ стиховъ, не знала прозы и продолжала не знать ея до начала тридцатыхъ годовъ. —



Н. Г. Чернышевскій.

Тутъ двумя или тремя годами раньше «Вечеровъ на хуторѣ» надѣлалъ шума «Юрій Милославскій», но надобно только прочесть разборъ этого романа, помѣщенный въ «Литературной Газетѣ», и мы осязательно убѣдимся, что если «Юрій Милославскій» нравился читателямъ, не слишкомъ требовательнымъ относительно художественныхъ достоинствъ, то для развитія литературы онъ и тогда не могъ считаться важнымъ явленіемъ, — и дѣйствительно, Загоскинъ имѣлъ только одного подражателя — себя самого. Романы Лажечникова имѣли болѣе достоинства, но не столько, чтобъ утвердить право литературнаго гражданства за прозою.

Такимъ образомъ, проза занимала въ русской литературѣ очень мало мѣста, имѣла очень мало значенія. Она стремилась существовать, но еще не существовала.

Въ строгомъ смыслѣ слова, литературная дѣятельность ограничивалась исключительно стихами. Гоголь былъ отцомъ русской прозы, и не только былъ отцомъ ея, но быстро доставилъ ей рѣшительный перевѣсъ надъ поэзіею,—перевѣсъ, сохраняемый ею до сихъ поръ. Онъ не имѣлъ ни предшественниковъ, ни помощниковъ въ этомъ дѣлѣ. Ему одному проза обязана и своимъ существованіемъ, и всѣми своими успѣхами. «Какъ! не имѣлъ предшественниковъ или помощниковъ? Развѣ можно забывать о прозаическихъ произведеніяхъ Пушкина?» Нельзя, но, во-первыхъ, они далеко не имѣютъ того значенія въ исторіи литературы, какъ его сочиненія, писанныя стихами: «Капитанская дочка» и «Дубровскийъ» — повѣсти, въ полномъ смыслѣ слова превосходныя; но укажите, въ чемъ отразилось ихъ вліяніе? гдѣ школа писателей, которыхъ было бы можно назвать послѣдователями Пушкина, какъ прозаика? А литературныя произведенія бывають одолжены значеніемъ не только своему художественному достоинству, или даже (или даже еще болѣе) своему вліянію на развитіе общества или, по крайней мѣрѣ, литературы. Но главное — Гоголь явился прежде Пушкина, какъ прозаикъ. Первыми изъ прозаическихъ произведеній Пушкина (если не считать незначительныхъ отрывковъ) были напечатаны «Повѣсти Бѣлкина» въ 1831 г.; но всѣ согласятся, что эти повѣсти не имѣли большого художественнаго достоинства. Затѣмъ, до 1836 года была напечатана только «Пиковая дама» (въ 1834 г.) — никто не сомнѣвается въ томъ, что это небольшая пьеса написана прекрасно, но также никто не припишетъ ей особенной важности. Между тѣмъ, Гоголемъ были напечатаны «Вечера на хуторѣ» (1831 — 1832), «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ» (1833), «Миргородъ» (1835), т.-е. все, что впоследствии составило двѣ первыя части его сочиненій; кромѣ того, въ «Арабескахъ» (1835) — «Портретъ», «Невскій проспектъ», «Записки сумасшедшаго». Въ 1836 году Пушкинъ напечаталъ «Капитанскую дочку», но въ томъ же году явился «Ревизоръ» и, кромѣ того, «Колыска», «Утро дѣловаго человѣка» и «Носъ». Такимъ образомъ, большая часть произведеній Гоголя, и въ томъ числѣ «Ревизоръ», были уже извѣстны публикѣ, когда она знала еще только «Пиковую даму» и «Капитанскую дочку» («Арапъ Петра Великаго», «Лѣтопись села Горохина», «Сцены изъ рыцарскихъ временъ» были напечатаны уже въ 1837 г., по смерти Пушкина, а «Дубровскийъ» только въ 1841) — публика имѣла довольно времени проникнуться произведеніями Гоголя прежде, нежели познакомилась съ Пушкинымъ, какъ прозаикомъ.

Въ общемъ теоретическомъ смыслѣ, мы не думаемъ отдавать предпочтенія прозаической формѣ надъ поэтической, или наоборотъ: у каждой изъ нихъ есть свои несомнѣнные преимущества; но что касается собственно русской литературы, то, смотря на нее съ исторической точки зрѣнія, нельзя не признать, что всѣ предыдущіе періоды, когда преобладала поэтическая форма, далеко уступаютъ въ значеніи и для искусства, и для жизни послѣднему, гоголевскому періоду, періоду господства прозы. Что принесетъ литературѣ будущее, мы не знаемъ; мы не имѣемъ основаній отказывать нашей поэзіи въ великой будущности; но должны сказать, что до настоящаго времени прозаическая форма была и продолжаетъ быть для насъ гораздо плодотворнѣе стихотворной, что Гоголь далъ существованіе этой важнѣйшей для насъ отрасли литературы, и единственно онъ доставилъ ей тотъ рѣшительный перевѣсъ, который она сохраняетъ до настоящаго времени и, по всей вѣроятности, сохранитъ еще надолго.

Нельзя сказать, напротивъ того, чтобы Гоголь не имѣлъ предшественниковъ въ томъ направленіи содержанія, которое называютъ сатирическимъ. Оно всегда составляло самую живую, или, лучше сказать, единственную живую сторону нашей литературы. Не будемъ дѣлать распространеній на эту общепризнанную истину, не будемъ говорить о Кантемирѣ, Сумароковѣ, Фонвизинѣ и Крыловѣ, но должны упомянуть о Грибоѣдовѣ. «Горе отъ ума» имѣетъ недостатки въ художественномъ отношеніи, но остается до сихъ поръ одною изъ самыхъ любимыхъ книгъ, потому что представляетъ рядъ превосходныхъ сатиръ, изложенныхъ то въ формѣ монологовъ, то въ видѣ разговоровъ. Почти столь же важно вліяніе Пушкина, какъ сатирическаго писателя, какимъ онъ явился преимущественно въ «Опѣнкахъ». И однакоже, несмотря на высокія достоинства и огромный успѣхъ комедіи Грибоѣдова и романа Пушкина, должно приписать исключительно Гоголю заслугу прочнаго введенія въ русскую изящную литературу сатирическаго, или, какъ справедливѣе будетъ называть его, критическаго, направленія. Несмотря на восторгъ, возбужденный его комедіею, Грибоѣдовъ не имѣлъ послѣдователей, и «Горе отъ ума» осталось въ нашей литературѣ одинокимъ, отрывочнымъ явленіемъ, какъ прежде комедія Фонвизина и сатира Кантемира, осталось безъ замѣтнаго вліянія на литературу, какъ басни Крылова. Что было тому причиною? Конечно, господство Пушкина и плеяды поэтовъ, его окружавшей. «Горе отъ ума» было произведеніемъ настолько блестящимъ и живымъ, что не могло возбудить общаго вниманія; по гений Грибоѣдова не былъ такъ великъ, чтобы однимъ произведеніемъ пріобрѣсти съ перваго же раза господство надъ литературою.

Что же касается до сатирическаго направленія въ произведенихъ самаго Пушкина, то оно заключало въ себѣ слишкомъ мало глубины и постоянства, чтобы производить замѣтное дѣйствіе на публику и литературу. Оно почти совершенно пропадало въ общемъ впечатлѣніи чистой художественности, чуждой опредѣленнаго направленія, — такое впечатлѣніе производятъ не только все другія лучшія произведенія Пушкина — «Каменный гость», «Борисъ Годуновъ», «Русалка» и проч., но и самый «Онѣгинъ»: у. кого есть сильное предрасположеніе къ критическому взгляду на явленія жизни, только на того произведутъ еліяніе бѣглыя и легкія сатирическія замѣтки, попадающіяся въ этомъ романѣ: читателями, не предрасположенными къ нимъ, онѣ не будутъ замѣчены, потому что дѣйствительно составляютъ только второстепенный элементъ въ содержаніи романа. Такимъ образомъ, несмотря на проблески сатиры въ «Онѣгинѣ» и блестящія филиппики «Горе отъ ума», критическій элементъ игралъ въ нашей литературѣ до Гоголя второстепенную роль. Такимъ образомъ, за Гоголемъ остается заслуга, что онъ первый далъ русской литературѣ рѣшительное стремленіе къ содержанію, и притомъ стремленіе въ столь плодотворномъ направленіи, какъ критическое. Прибавимъ, что Гоголю обязана наша литература и самостоятельностью. За періодомъ частыхъ подражаній и передѣлокъ, какими были почти все произведенія нашей литературы до Пушкина, слѣдуетъ эпоха творчества, нѣсколько болѣе свободнаго. Но произведенія Пушкина все еще очень близко напоминаютъ или Байрона, или Шекспира, или Вальтера-Скотта.

Впрочемъ, какъ ни много почетнаго и блестящаго въ титулѣ «основатель плодотворнаго направленія и самостоятельности въ литературѣ» — по этимъ словами еще не опредѣляется вся великость значенія Гоголя для нашего общества и литературы. Онъ пробудилъ въ насъ сознаніе о насъ самихъ — вотъ его истинная заслуга, важность которой не зависитъ отъ того, первымъ или десятымъ изъ нашихъ великихъ писателей должны мы считать его въ хронологическомъ порядкѣ. Разсмотрѣніе значенія Гоголя въ этомъ отношеніи должно быть главнымъ предметомъ нашихъ статей, — дѣло очень важное, которое, быть-можетъ, признали бы мы превосходящимъ наши силы, если бы большая часть этой задачи не была уже исполнена, такъ что намъ при разборѣ сочиненій самого Гоголя остается почти только приводить въ систему и развивать мысли, уже высказанныя критикою, о которой мы говорили въ началѣ статьи; дополненій, собственно намъ принадлежащихъ, будетъ немного, потому что, хотя мысли, нами развиваемыя, были высказываемы отрывочно, по различнымъ поводамъ, однакоже, если свести ихъ вмѣстѣ, то немного останется пробѣловъ, которые нужно дополнить, чтобы по-

лучить всестороннюю характеристику произведений Гоголя. Но чрезвычайное значеніе Гоголя для русской литературы еще не совершенно опредѣляется оцѣнкою его собственныхъ твореній: Гоголь важенъ не только, какъ гениальный писатель, но вмѣстѣ съ тѣмъ и какъ глава школы—единственной школы, которою можетъ гордиться русская литература,—потому что ни Грибоѣдовъ, ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ, ни Кольцовъ не имѣли учениковъ, которыхъ имена были бы важны для исторіи русской литературы. Мы должны убѣдиться, что вся наша литература, насколько она образовалась подъ вліяніемъ нечужеземныхъ писателей, примыкаетъ къ Гоголю, и только тогда представится намъ въ полномъ размѣрѣ все его значеніе для русской литературы. Сдѣлавъ этотъ обзоръ всего содержанія нашей литературы въ ея настоящемъ развитіи, мы будемъ въ состояніи опредѣлить, что она уже сдѣлала, и чего мы должны еще ожидать отъ нея, — какіе залогіи будущаго представляетъ она; и чего еще недостаетъ ей, — дѣло интересное, потому что состояніемъ литературы опредѣляется состояніе общества, отъ котораго всегда она зависитъ.

Какъ ни справедливы мысли о значеніи Гоголя, высказанныя здѣсь, — мы можемъ, нисколько не стѣняясь опасеніями самохвальства, называть ихъ совершенно справедливыми, потому что онѣ высказаны въ первый разъ не нами, и мы только усвоили ихъ, слѣдовательно, самолюбіе наше не можетъ ими гордиться, оно остается совершенно въ сторонѣ, — какъ ни очевидна справедливость этихъ мыслей, но найдутся люди, которымъ покажется, что мы слишкомъ высоко ставимъ Гоголя. Это потому, что до сихъ поръ еще остается много людей, возстающихъ противъ Гоголя. Литературная судьба его въ этомъ отношеніи совершенно различна отъ судьбы Пушкина. Пушкина давно уже все признали великимъ, неоспоримо великимъ писателемъ; имя его—священный авторитетъ для каждого русскаго читателя и даже нечитателя, какъ, напримѣръ, Вальтеръ-Скоттъ авторитетъ для каждого англичанина, Ламартинъ и Шатобрианъ для француза или, чтобы перейти въ болѣе высокую область, Гёте для нѣмца. Каждый русскій есть почитатель Пушкина, и никто не находитъ неудобнымъ для себя признавать его великимъ писателемъ, потому что поклоненіе Пушкину не обязываетъ ни къ чему, пониженіе его достоинствъ не обусловливается никакими особенными качествами характера, никакимъ особеннымъ настроеніемъ ума. Гоголь, напротивъ, принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, любовь къ которымъ требуетъ одинаковаго съ ними настроенія души, потому что ихъ дѣятельность есть служеніе къ опредѣленному направленію нравственныхъ стремленій. Въ отношеніи къ такимъ писателямъ, какъ,



напримѣръ, къ Жоржу Занду, Берамже, даже Диккенсу и отчасти Теккерею, публика раздѣляется на двѣ половины: одна, не сочувствующая ихъ стремленіямъ, негодуетъ на нихъ; но та, которая сочувствуетъ, до преданности любитъ ихъ, какъ представителей ея собственной нравственной жизни, какъ адвокатовъ ея собственныхъ горячихъ желаній и задумчивѣйшихъ мыслей: Отъ Гёте никому не было ни тепло, ни холодно; онъ равно привѣтливъ и утонченно деликатенъ къ каждому — къ Гёте можетъ являться каждый, каковы бы ни были его права на нравственное уваженіе: уступчивый, мягкій и въ сущности довольно равнодушный ко всему и ко всѣмъ, хозяинъ никого не оскорбитъ не только ясною суровостью, даже ни однимъ щекотливымъ намекомъ. Но если рѣчи Диккенса или Жоржа Занда служить утѣшеніемъ или подкрѣпленіемъ для нихъ, то уши другихъ находятъ въ нихъ много жестокаго и въ высшей степени непріятнаго для себя. Эти люди живутъ только для друзей; они не держатъ открытаго стола для каждаго встрѣчнаго и поперечнаго; иной, если сядетъ за ихъ столъ, будетъ давиться каждымъ кускомъ и смущаться отъ каждаго слова; и, убѣжавъ изъ этой тяжелой бесѣды, вѣчно будетъ онъ «помирать лихомъ» суроваго хозяина. Но если у нихъ есть враги, то есть и многочисленные друзья; и никогда «незлобивый поэтъ» не можетъ имѣть такихъ страстныхъ почитателей, какъ тотъ, кто, подобно Гоголю, «питая грудь ненавистью» ко всему низкому, пошлому и пагубному, «проповѣдуетъ любовь» къ добру и правдѣ. Кто гладитъ по шерсти всѣхъ и все, тотъ, кромѣ себя, не любитъ никого и ничего; кѣмъ довольны всѣ, тотъ не дѣлаетъ ничего добраго, потому что добро невозможно безъ оскорбленія зла. Кого никто не ненавидитъ, тому ничѣмъ не обязанъ.

Гоголю многимъ обязаны тѣ, которые нуждаются въ защитѣ; онъ сталъ во главѣ тѣхъ, которые отрицаютъ злое и пошлое. Поэтому онъ имѣлъ славу возбудить во многихъ вражду къ себѣ. И только тогда будутъ всѣ единогласны въ похвалахъ ему, когда исчезнетъ все пошлое и низкое, противъ чего онъ боролся!

Мы сказали, что наши слова о значеніи произведеній самого Гоголя будутъ только въ немногихъ случаяхъ дополненіемъ, а по большей части только сводомъ и развитіемъ возрѣній, выраженныхъ критикою гоголевскаго періода литературы, центромъ которой были «Отчественныя Записки», главнымъ дѣятелемъ — тотъ критикъ, которому принадлежать «Статьи о Пушкинѣ».

*Чернышевскій.*

## „Люди 40-х годовъ“ и Гоголь.

## 1.

Въ настоящее время трудно представить себѣ то огромное значеніе, какое имѣлъ въ 40-е годы Гоголь (преимущественно какъ авторъ «Мертвыхъ душъ») для передовыхъ людей обѣихъ партій — западнической и славянофильской. Ни Рудиныхъ, ни Лаврецкихъ нельзя понять безъ Гоголя, примѣрно такъ, какъ нельзя понять Чацкихъ безъ Грибоѣдова, а передовыхъ людей 60-хъ и 70-хъ годовъ безъ сатиры Салтыкова.

Въ извѣстномъ некрологѣ Гоголя (въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» отъ 13 марта 1852 года) Тургеневъ писалъ: «Гоголь умеръ! Какую русскую душу не потрясутъ эти два слова! — Онъ умеръ. Потеря наша такъ жестока, такъ внезапна, что намъ все-еще не хочется ей вѣрить. Въ то самое время, когда мы все могли надѣяться, что онъ нарушитъ, наконецъ, свое долгое молчаніе, что онъ обрадуетъ, превзойдетъ наши нетерпѣливыя ожиданія, — пришла эта роковая вѣсть! Да, онъ умеръ, этотъ человѣкъ, котораго мы теперь имѣемъ право, горькое право, данное намъ смертію, назвать великимъ; человѣкъ, который своимъ именемъ означилъ эпоху въ исторіи русской литературы; человѣкъ, которымъ мы гордимся, какъ одной изъ славъ нашихъ»...

Чувство, вылившееся въ этихъ словахъ, раздѣлялось всеми лучшими людьми эпохи. Въ некрологѣ, за который, какъ извѣстно, авторъ «Записокъ охотника» поплатился гауптвахтой и ссылкой въ деревню, сказана прежде всего о человѣкѣ 40-хъ годовъ, оплакивающій потерю могучаго властителя думъ того времени. Таковымъ и былъ Гоголь, несмотря на мистицизмъ, на отсталость некоторыхъ взглядовъ, на отчужденность его отъ передовыхъ идей и вѣяній эпохи, на «Переписку съ друзьями» и уничтожающее письмо Бѣлинскаго.

Въ 40-хъ годахъ на великаго художника-сатирика были устремлены «полныя ожиданія очей» мыслящихъ людей безъ различія «партій» и направлений. Появленіе въ 1842 году «Мертвыхъ душъ» было цѣлымъ событіемъ. «Великая поэма» сулила, кромѣ великихъ умственныхъ наслажденій, какія-то новыя откровенія, — она должна была повѣдать важную, хотя и горькую, правду о Руси, о русскомъ человѣкѣ, о русской жизни.

Художественное творчество Гоголя, воплощавшее въ яркихъ, законченныхъ типахъ все отрицательное, все темное, пошлое и нравственно-убогое, чѣмъ такъ богата была дореформенная Россія, было для людей 40-хъ годовъ неоскудѣвающимъ источникомъ умственныхъ и нравственныхъ возбужденій. Темные гоголевскіе типы, все эти Соба-

кевичи, Манпловы, Поздревы, Чичиковы, явились для них источником свѣта, ибо они умѣли извлечь изъ этихъ образовъ скрытую мысль поэта, его поэтическую и человѣческую скорбь; его «незримыя, невѣдомыя міру слезы», превращенныя въ «видимый смѣхъ», были имъ и видны, и понятны. Великая скорбь художника шла отъ сердца къ сердцу...

Такое магическое дѣйствіе «поэмы» испыталъ на себѣ еще Пушкинъ, когда, слушая чтеніе черновыхъ набросковъ «Мертвыхъ душъ» изъ устъ автора, онъ произнесъ «голосомъ тоски»: «Боже, какъ грустна наша Россія!» Къ этому-то восклицанію или тому душевному движенію, выраженіемъ котораго оно было, и сводятся, въ концѣ-концовъ, разнообразныя мысли, чувства, настроенія, вызывавшіяся въ лучшихъ людяхъ эпохи гениальнымъ твореніемъ Гоголя. «Боже! Какъ грустна наша Россія, и какъ глубоко-трагично и безотрадно положеніе въ ней людей мыслящихъ, человѣчно-чувствующихъ, просвѣщенныхъ!» — такова распространенная формула, подъ которую можно подвести все то, что переживали лучшие люди 40-хъ годовъ, читая и перечитывая похождения Павла Ивановича Чичикова. Скорбная мысль о Руси казалась застывшей въ тинѣ крѣпостного и всякаго иного безправія, скорбная мысль о себѣ самихъ, которымъ міръ Чичиковыхъ такъ національно близокъ и такъ нравственно-чуждъ, — вотъ естественныя, рациональныя отправныя точки личнаго, общественнаго и національнаго самосознанія, установленію которыхъ великій поэтъ-сатирикъ способствовалъ могущественнѣе не только философіи Гегеля и другихъ просвѣтительныхъ вліяній, но даже поэзіи Пушкина. И мы вполне признаемъ справедливость свидѣтельства Анненкова, который говоритъ о Бѣлинскомъ, что въ то время (послѣ появленія «Мертвыхъ душъ») всевозможные литературные вопросы и «ярая полемика» по ихъ поводу «не могли заслонить ни на минуту передъ Бѣлинскимъ чисто-русскаго вопроса, который тогда цѣликомъ сосредоточивался у него на одномъ имени Гоголя и на его романѣ «Мертвыя души» («Воспом. и крит. очерки», III, стр. 103). «Онъ не уставалъ (читаемъ далѣе) указывать... почему являются на Руси типы такого безобразія, какіе выведены въ поэмѣ; почему могутъ совершаться на Руси такія невѣроятныя событія, какія въ ней разсказаны; почему могутъ существовать на Руси, не приводя никого въ ужасъ, такіе рѣчи, мнѣнія, взгляды, какіе переданы въ ней. — Бѣлинскій думалъ, что добросовѣстный отвѣтъ на вопросъ можетъ сдѣлаться для человѣка, добывшаго его, программой дѣятельности на остальную жизнь и особенно положить прочную основу для его образа мыслей и для правильнаго сужденія о себѣ и другихъ» (тамъ же).

Чтобы дать все это лучшимъ умамъ эпохи, нужно было быть Гоголемъ съ его глубокою натурой плачущаго сатирика и съ его вели-

кимъ гениемъ художника. Чтобы получить все это отъ Гоголя, нужно было быть Бѣлинскимъ, Герценомъ, Грановскимъ и т. д. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что Гоголь творилъ для немногихъ, для избранныхъ, и что только эти избранные и умѣли брать у него все, что онъ давалъ.

И мы понимаемъ, становясь на эту точку зрѣнія, глубокий смыслъ и всю правду страстныхъ словъ Бѣлинскаго въ его позднѣйшемъ знаменитомъ письмѣ къ Гоголю: «Да, я любилъ васъ со всею страстью, какъ человѣкъ, кровью связанный со своею страпою, можетъ любить ея надежду, честь и славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія и прогресса...»

Если вспомнимъ теперь, какъ высоко цѣнился гений Гоголя передовыми славянофилами, какимъ почетомъ, какою любовью, почти обожаніемъ былъ окруженъ творецъ «Ревизора» и «Мертвыхъ душъ» въ семьѣ Аксаковыхъ, то мы получимъ достаточно яркое представленіе о великомъ значеніи «комическаго писателя» для мыслящей и передовой части русскаго общества въ 40-хъ годахъ. Онъ былъ для этой части настоящимъ и полноправнымъ «владельцемъ думъ».

## 2.

Въ интересахъ разъясненія этого обаянія Гоголя, этой власти его надъ умами и сердцами лучшихъ людей эпохи я позволю себѣ высказать нѣсколько соображеній, которыя, можетъ-быть, окажутся излишними.

Художественному гению Гоголя, его огромной творческой работѣ, создавшей широкіе національные типы, яркія картины, богатый запасъ художественныхъ идей и обобщеній, принадлежитъ, разумѣется, первое мѣсто въ этомъ процессѣ «магическаго» воздѣйствія поэта на общество или извѣстную часть его. Но все-таки, какъ ни велико художественное достоинство произведеній Гоголя, имъ однимъ нельзя объяснить всего обаянія и всей его власти надъ умами.

Теперь, когда опубликована его обширная переписка, когда, благодаря трудамъ Тихонравова, Шенрока и другихъ, мы имѣемъ возможность глубже заглянуть во внутренній міръ и въ самый процессъ творчества этого необыкновеннаго человѣка, — выясняются нѣкоторыя интимныя психологическія связи, которыми творецъ «Мертвыхъ душъ» былъ связанъ съ эпохою 40-хъ годовъ, съ завѣтными думами, стремленіями и великою скорбью лучшихъ людей ея. Я постараюсь отмѣтить здѣсь важнѣйшія изъ этихъ связей.

Лучшій матеріалъ для этого дастъ та — психологическая, интимная — исторія эпохи, съ которою мы знакомимся по письмамъ, дневникамъ, воспоминаніямъ ея дѣятелей. Надъ чѣмъ задумывались они,

какія чувства ихъ волновали, какія настроенія были у нихъ преобладающими и наиболѣе устойчивыми — вотъ вопросы, на которые матеріалъ писемъ, дневниковъ и т. д. даетъ опредѣленные и обстоятельные отвѣты. Разумѣется, мы имѣемъ въ виду лучшихъ людей, жившихъ сознательной жизнью и доработавшихся до извѣстной высоты гуманнаго развитія. Въ ихъ ряду мы найдемъ весьма различные умы, натуры, дарованія, но, при всѣхъ различіяхъ, они объединяются въ одну группу тѣмъ отличительнымъ признакомъ, что они переживали мыслью и чувствомъ рядъ особыхъ, характерныхъ для эпохи, душевныхъ состояній, болѣе или менѣе скорбныхъ или тягостныхъ. Это были нравственные страданія человѣческой личности, угнетаемой общою пошлостью и попираемой всеобщимъ безправіемъ. Глубокая гражданская скорбь и острое чувство негодованія звучать не только въ страстныхъ тирадахъ писемъ Бѣлинскаго, въ «Дневникѣ» и позднѣйшихъ воспоминаніяхъ («Былое и думы») Герцена, но, напримѣръ, и въ извѣстномъ «Дневникѣ» Никитенко.

Эти стоны, эти жалобы, это благородное негодованіе образуютъ цѣнное душевное достояніе, завѣщанное людьми 40-хъ годовъ послѣдующимъ поколѣніямъ.

## 3.

Мы имѣемъ дѣло съ идейнымъ отрицаніемъ дѣйствительности, какъ нравственнымъ правомъ личности, переросшей данный уровень общественнаго, моральнаго и національнаго сознанія. Гражданская скорбь, національный стыдъ, чувство оскорбленнаго человѣческаго достоинства, негодованіе, — все это служить симптомами указанного роста личности. Сама эта личность не съ неба свалилась, а выросла изъ той же дѣйствительности; она — продуктъ этой послѣдней, и понятно, что между нею и дѣйствительностью устанавливаются сложные отношенія взаимодѣйствія, которыя не позволяютъ настроеніямъ, чувствамъ и мыслямъ личности выродиться въ безпредметную, отвлеченную скорбь, въ романтическую тоску, въ заоблачный порывъ, въ расплывчатый и бесплодный *Weltschmerz*. И съ психологическою необходимостью вырабатываются у людей мыслящихъ и чувствующихъ такія потребности и склонности мысли, которыя дѣлаютъ этихъ людей реалистами въ ихъ общемъ міросозерцаніи, въ ихъ философіи, ихъ публицистикѣ, ихъ искусствѣ. Имъ пужна поэзія дѣйствительности, которая одна можетъ дать имъ разгадку или, по крайней мѣрѣ, постановку ихъ личной задачи, сводящейся къ уясненію и установленію ихъ отношеній къ дѣйствительности, къ жизни, къ средѣ.

Изучая жизнь и дѣятельность людей 40-хъ годовъ, мы видимъ, какъ быстро, по мѣрѣ выясненія ихъ разлада съ дѣйствительностью,



стусывывались ихъ отвлеченные, метафизическіе интересы и романтическія настроенія. Романтизмъ въ поэзіи палъ, главнымъ образомъ, отъ того, что выяснился и окончательно установился разладъ лучшихъ людей съ дѣйствительностью. И этотъ-то разладъ и былъ важнѣйшей причиною необычайно быстрого успѣха «натуральной школы» вообще и поэзіи Гоголя въ особенности.

Но въ вопросѣ, здѣсь занимающемъ насъ, поворотъ художественнаго мышленія гораздо важнѣе, чѣмъ поворотъ мышленія философскаго. Когда широко раскрылись умышленныя очи людей мыслящихъ и способныхъ чувствовать по-человѣчески, эти очи увидѣли прежде всего дѣйствительность и всю мерзость ея заустѣнія, — и тогда, невзирая ни на какую философію, при всевозможныхъ интересахъ отвлеченной, даже метафизической мысли, образы обыденно-художественнаго мышленія, въ которыхъ была дана все та же дѣйствительность, не могли не получить особаго значенія, должны были привлечь къ себѣ преимущественное вниманіе. Постигнуть дѣйствительность и уяснить свои отношенія къ ней, дать выраженіе своему отрицанію, своей критикѣ данныхъ формъ общественности — вотъ то, что, составляя глубокую, насущную потребность людей мыслящихъ, отнюдь не могло обойтись безъ формъ и пріемовъ реально-художественнаго мышленія.

Движеніе 40-хъ годовъ, характеризуемое разладомъ съ дѣйствительностью, привело такимъ образомъ къ созданію реальной (или натуральной, какъ ее тогда называли) школы въ нашей художественной литературѣ и беллетристикѣ, — школы, признававшей Гоголя своимъ вождемъ и основателемъ. Ея представителями были Гончаровъ, Тургеневъ, Достоевскій, Григоровичъ — въ ихъ раннихъ произведеніяхъ второй половины 40-хъ годовъ.

Творчество Гоголя, въ особенности то, которое выразилось въ «Ревизорѣ» и «Мертвыхъ душахъ», было — по своему реалистическому характеру и отрицательному направленію — какъ разъ тѣмъ, чего жаждала мысль, къ чему стремилось чувство нашихъ идеалистовъ-отрицателей 40-хъ годовъ. Въ этомъ смыслѣ можно — парадоксально — сказать, что «Ревизоръ» и «Мертвыя души», гдѣ художественно отрицалось все то, что они отрицали всѣми силами души, были написаны преимущественно для нихъ, чтобы они не были такъ одиноки въ своемъ разладѣ съ дѣйствительностью и, черная душевное обновленіе и силу въ созданіяхъ поэта, могли еще сильнѣе отрицать, еще энергичнѣе негодовать. Вспомнимъ и тутъ это страстное обращеніе Бѣлинскаго къ Гоголю: «Да, я любилъ васъ со всею страстью, какъ человѣкъ, кровью связанный со своей страной, можетъ любить ея надежду, честь и славу, одного изъ вождей ея на пути сознанія, развитія и прогресса»...

Все вышеизложенное можетъ быть кратко выражено въ слѣдующемъ итогѣ: мы не поймемъ, какъ слѣдуетъ, ни психологін «людей 40-хъ годовъ», ни ихъ великаго значенія въ развитіи нашего общественнаго самосознанія, если не отбѣнимъ того факта, что они (каждый по-своему) были не только идеалисты и гуманисты-просвѣтителі, но и отрицатели (въ отношеніи къ дѣйствительности), и что именно это отрицаніе, въ которомъ лучшіе изъ западниковъ сходились съ лучшими изъ славянофиловъ, шло и крѣпло съ психологической необходимостью, вмѣстѣ съ развитіемъ у нихъ реалистическаго мышленія вообще, художественнаго въ особенности. Оттуда въ частности — «культъ Гоголя», раздѣлявшійся какъ западниками, такъ и славянофилами.

## 4.

Теперь перейдемъ къ самому Гоголю.

Если заглянемъ во внутренній міръ великаго поэта — властителя думъ лучшей части людей 40-хъ годовъ, то мы, къ удивленію, не найдемъ тамъ какъ разъ того, чѣмъ были «живы» эти люди, — ни ихъ идеализма, ни ихъ отрицанія, ни тѣхъ скорбныхъ думъ и настроеній, съ которыми мы познакомились выше. То, что такъ занимало мысль и такъ волновало душу этихъ людей, было чуждо и недоступно Гоголю. Напрасно въ огромной перепискѣ Гоголя будемъ искать общественнаго и даже моральнаго негодованія<sup>1)</sup>. Это цѣнное чувство, можно сказать, не значится въ душевномъ обиходѣ творца «Ревизора» и «Мертвыхъ душъ» — фактъ, на первый взглядъ представляющійся невѣроятнымъ, сбивающійся на какой-то психологическій парадоксъ. И мы готовы спросить: если у этого человѣка не было общественнаго и нравственнаго негодованія, то какъ могъ онъ создать великія произведенія, рисующія нашу «бѣдность да бѣдность», какъ могъ онъ художественно изобличить нравственное убожество Сквозниковъ-Дмухановскихъ, Чичиковыхъ, Собакевичей и т. д., наконецъ, какъ могъ онъ явиться въ роли моралиста?

У Гоголя не было тѣхъ высокихъ душевныхъ цѣнностей, которыми «были живы» лучшіе люди 40-хъ годовъ, какъ Бѣлинскій, Герценъ, К. Аксаковъ, Грановскій, Кирѣевскіе и другіе, но зато были, если можно такъ выразиться, «психологическіе (а также и психо-патологическіе) эквиваленты» этихъ душевныхъ цѣнностей, оказавшіеся особенно пригодными какъ движущая пружина творчества Гоголя и въ качествѣ импульса къ дѣятельности моралиста.

<sup>1)</sup> Моральныя филиппики и поученія найдутся тамъ въ изобиліи, но въ нихъ не сквозитъ оскорбленное нравственное чувство, въ нихъ нѣтъ негодованія въ собственномъ смыслѣ.

У Гоголя не было высокаго, гуманнаго идеализма «людей 40-хъ годовъ», коренившася въ самомъ душевномъ складѣ этихъ избранныхъ натуръ и воспитаннаго работой мысли, сознательнымъ усвоеніемъ сокровищъ общечеловѣческаго знанія. Гоголь не былъ «идеалистомъ» ни по натурѣ, ни по образованію. Міръ идей и идеаловъ былъ чуждъ ему. Онъ не интересовался ни наукой, ни философійю, ни всемірною литературой. Въ эти высшія области мысли онъ заглядывалъ лишь урывками. Корифеи мысли, на твореніяхъ которыхъ воспитался рядъ поколѣній, были извѣстны ему только по наслышкѣ. Онъ жилъ, мыслилъ и творилъ такъ, какъ будто никогда не существовало ни Лессинга, ни Гёте, ни Гегеля, ни всей европейской науки и философіи. Его образованіе и кругъ идей ограничивались нѣкоторыми свѣдѣніями и небольшою начитанностью по извѣстнымъ отдѣламъ исторіи (средніе вѣка, исторія Малороссіи), по искусству (живопись, скульптура, архитектура), по народной поэзіи (преимущественно малорусской), по исторіи христіанства и церкви. Только новую русскую литературу онъ зналъ достаточно хорошо и слѣдилъ за ея развитіемъ. Изъ великихъ поэтовъ онъ зналъ и постоянно перечитывалъ лишь немногихъ: Пушкина, Данта, Гомера... По цѣлымъ годамъ весь поглощенный то своею творческою работою, то своимъ такъ называемымъ «душевымъ дѣломъ», то своими недугами, онъ не слѣдилъ за текущею литературой и движеніемъ мысли въ Европѣ, гдѣ живетъ подолгу.

Конечно, изученіе философіи, занятіе наукой, интересъ къ литературѣ и т. д., все это еще не можетъ само по себѣ сдѣлать человека «идеалистомъ». Встрѣчаются люди ученые и широко образованные, интересующіеся всѣмъ, что дѣлается въ мірѣ мысли, и въ то же время чуждые всякаго «идеализма». Это только — воспріимчивые и любознательные умы, усвоившіе себѣ извѣстные умственные вкусы, и очень обыденныя, «прозаическія», низменныя натуры. Но разъ у человека имѣются идеалистическіе задатки въ самомъ складѣ его души, онъ инстинктивно будетъ тянуться къ свѣту мысли, онъ будетъ жадно ловить и усваивать все то, что въ области общечеловѣческаго знанія и творчества окажется доступнымъ ему. Вспомнимъ Бѣлинскаго, который, какъ манна небесная, жаждалъ философскихъ откровеній и, можно сказать, ловилъ палету мысли, знанія, выводы, какіе только могъ поймать. Гоголь же, живя годами за границей и владѣя тремя иностранными языками (французскимъ, нѣмецкимъ, итальянскимъ), имѣя полную возможность пріобрѣсти хорошее — европейское — образованіе, открыть себѣ доступъ въ сферу современной мысли, не сдѣлалъ, однако, никакихъ усилій въ этомъ направленіи.

Читатель понимаетъ, что мы беремъ здѣсь терминъ «идеализмъ» въ очень широкомъ и чисто-психологическомъ смыслѣ, разумѣя подъ нимъ

такой строй духа, при которомъ общечеловѣческіе идейные интересы занимають въ сознаніи человѣка настолькоъ видное мѣсто, что омутъ обыденной жизни уже не въ состояніи затянуть его душу плѣсенью.

Въ этомъ смыслѣ Гоголь не былъ «идеалистомъ». Но, тѣмъ не менѣе, его душа не затягивалась тьмой, не покрывалась плѣсенью, потому что у него замѣнь «идеализма» было нѣчто другое, — какой-то «психологическій эквивалентъ» послѣдняго. Это именно — столь извѣстная склонность Гоголя къ отшельнической и созерцательной жизни, его вѣчное бѣгство отъ общества, отъ «дрязга» жизни, какъ онъ выражался, его углубленіе въ себя, въ свое «душевное дѣло», долгое — но цѣлымъ годамъ — обдумываніе и «вынашиваніе» художественныхъ образовъ, высокое понятіе о призваніи поэта и «грозная выюга вдохновенія», освѣжавшая его душу, потомъ мистическое понятіе молитвы, наконецъ, та «глубина душевная», благодаря которой онъ умѣлъ «возводить въ перлъ созданія» «картины, взятые изъ презрѣнной жизни»...

Въ противоположность лучшимъ людямъ 40-хъ годовъ, Гоголь не былъ отрицатель. Напрасно будемъ искать у него критики тогдашней дѣйствительности, дореформенныхъ порядковъ; къ удивленію, мы не найдемъ у творца «Мертвыхъ душъ» даже отрицанія крѣпостного права. И однакоже великій поэтъ-сатирикъ содѣйствовалъ больше, чѣмъ кто-либо въ то время, установленію критическаго отношенія къ дореформенному строю. Очевидно, въ его душѣ было нѣчто, съ избыткомъ восполнявшее недостатокъ идейнаго отрицанія и критической общественной мысли. Этотъ психологическій эквивалентъ отрицанія, служившій въ то же время основаніемъ его моральныхъ стремленій, сводился къ особому, мучительному социальному и національному самочувствію Гоголя. Организція крайне сложная, неуравновѣшенная и болѣзненно-чувствительная, Гоголь реагировалъ своеобразными душевными муками на пошлую сторону человѣка и общественности, на «дрязгу» жизни. Онъ по-своему — живо и болѣзненно — чувствовалъ тяготу существованія при данныхъ порядкахъ, отношеніяхъ, правахъ, и, можно сказать даже, ему, по особенностямъ его душевной организаціи, было тошнѣе жить среди господствовавшей умственной тьмы и нравственной слѣпоты, чѣмъ многимъ и многимъ, въ томъ числѣ и кое-кому изъ тѣхъ, которые принадлежали къ передовымъ и просвѣщеннѣйшимъ людямъ эпохи. Онъ первый на Руси увидѣлъ, почувствовалъ и «вызвалъ паружу» въ гениальномъ художественномъ воспроизведеніи «всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ повседневныхъ характеровъ»... — и содрогнулся столь же судорожно, какъ содрогнулся Бѣлинскій, когда почувствовалъ всю «гнусность» «русской дѣйствительности». Но Гоголь ужаснулся не идейно, не какъ фило-

софски и морально развитая личность, а чисто-психологически, всё́мъ своимъ гениальнымъ, болѣзненнымъ, неуравновѣшеннымъ существомъ, какъ исключительно тонкая душевная организація, странности которой заставили С. Т. Аксакова написать въ своихъ воспоминаніяхъ о немъ: «...Мы не можемъ судить Гоголя по себѣ, даже не можемъ понимать его впечатлѣній, потому что, вѣроятно, весь организмъ его устроенъ какъ-нибудь иначе, чѣмъ у насъ; что первы его, можетъ-быть, во сто разъ тоньше нашихъ: слышать то, чего мы не слышимъ, и содрогаться отъ причинъ, намъ неизвѣстныхъ» («Исторія моего знакомства съ Гоголемъ», стр. 54).

Великій отрицатель-художникъ, великій поэтъ-сатирикъ, онъ не былъ и не могъ быть отрицателемъ-мыслителемъ или публицистомъ въ томъ смыслѣ, какъ были таковыми Бѣлинскій, Герценъ и другіе. Главнымъ и непреодолимымъ препятствіемъ къ тому служила сама натура его, — неуравновѣшенность его души, угнетенной и тяготою существованія, и избыткомъ рефлексіи, и излишествомъ самоанализа, наконецъ, столь склонной къ нравственному сомнѣнію въ себѣ, къ самобичеванію и мистицизму. Для такой души философское и общественное, и вообще идейное отрицаніе было бы бременемъ непосильнымъ. Оно явилось бы въ ней, и безъ того отравленной душевными ядами, лишнимъ разлагающимъ началомъ. Отрицаніе оздоравливаетъ и закаляетъ души уравновѣшенныя и гармоническія или, по крайней мѣрѣ, имѣющія соотвѣтственные задатки. Отрицаніе — борьба, и оно предполагаетъ запасъ здоровой умственной силы и моральной крѣпости, не говоря уже о крѣпости нервной и психо-физической. Для такихъ психо-физическихъ и психическихъ организацій, какъ Гоголь, потребно не отрицаніе, а умнотвореніе, успокоеніе. Не борьба, а молитва — ихъ пристанище. Разладъ съ дѣйствительностью только осложняетъ и безъ того тяжелую болѣзнь ихъ внутренняго разлада. Гоголь, какъ извѣстно, не вынесъ тяжести даже того чисто-художественнаго отрицанія, которое вытекало изъ свойствъ его таланта, изъ психологій его гениальности, изъ самой натуры его. Присоединить къ этой тяжести еще и бремя идейнаго отрицанія было для него психологическою невозможностью, если бы даже онъ и захотѣлъ усвоить тѣ идеи, точки зрѣнія и предпосылки, на которыхъ оно основывалось тогда. И онъ, какъ бы повинувшись инстинкту самосохраненія, уклонился отъ усвоенія этихъ предпосылокъ, даже избѣгалъ знакомства и общенія съ людьми идейнаго отрицанія. Этотъ скрытый, можетъ-быть; неясный ему самому мотивъ представлялся тѣмъ вѣроятнѣе, что, какъ выясняется теперь, Гоголь не былъ консерваторомъ въ собственномъ смыслѣ — по убѣжденіямъ, по идеаламъ. Онъ не отрицалъ прогресса, онъ только боялся его или извѣстныхъ его проявленій и сторонъ... Его



пугали споры, разногласія, недоразумѣнія, партійныя распри. Ему претили «излишества», какія онъ находилъ у западниковъ съ одной стороны, у славянофиловъ — съ другой.

Психологія художественнаго отрицанія Гоголя и психологія идейнаго отрицанія передовыхъ людей эпохи были по существу различны, но ихъ результаты совпадали. Мало того: при всемъ различіи было въ этой психологіи нѣчто такое, что, одинаково выдѣляя и Гоголя, и передовыхъ людей изъ остальной массы общества, сближало и роднило ихъ. Это именно — душевныя муки отщепенства, грусть и скорбь моральнаго одиночества. Вспомнимъ знаменитое лирическое мѣсто въ началѣ VII главы I части «Мертвыхъ душъ», гдѣ, сопоставляя «двухъ писателей», поэтъ въ яркихъ чертахъ рисуетъ горькій «удѣлъ» того изъ нихъ, который видитъ и изображаетъ то, «чего не зрятъ равнодушныя очи»: «безъ раздѣленія, безъ отвѣта, безъ участія, какъ безсемейный путникъ, останется онъ одинъ посреди дороги...»

Какъ не вспомнить, читая эти строки, душу раздирающій крикъ Бѣлинскаго: «...а куда голову преклонить, гдѣ сочувствіе, гдѣ пониманіе...», и всѣ аналогичныя жалобы лучшихъ людей эпохи; какъ не вспомнить, наконецъ, и безсемейнаго путника Рудина, «душой скитающагося», и душевное одиночество Лаврецаго, когда, подводя итогъ своей жизни, онъ говоритъ: «Здравствуй, одинокая старость, догорай, бесполезная жизнь!»

Сердце сердцу вѣсть подаетъ. Лучшие люди 40-хъ годовъ видѣли въ Гоголѣ не только великаго поэта-отрицателя, но и такого же «скитальца» и страдальца, какими были они сами. И, несмотря на все различіе идей и убѣжденій, они его любили страстно и восторженно. «Какое ты умиое и странное, и больное существо!» думалось Тургеневу, когда онъ въ послѣдній разъ видѣлъ поэта 20 октября 1851 г... Анненковъ, рассказывая о своемъ послѣднемъ свиданіи съ Гоголемъ (въ Москвѣ, около того же времени), заканчиваетъ такъ: «Это была моя послѣдняя бесѣда съ чудною личностью, украсившею вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ, Герценомъ, Грановскимъ и другими мою молодость».

##### 5.

Огромная умственная и нравственная тягота и работа, которую вынесли на своихъ плечахъ передовые люди 40-хъ годовъ, какъ извѣстно, сводилась не только къ созданію гуманныхъ стремленій и общественной мысли, но и къ выработкѣ національнаго самосознанія.

Въ другомъ мѣстѣ («Этюды о творчествѣ И. С. Тургенева», изд. 2-е, 1904 года. Введеніе) я старался показать, что какъ славянофилы, такъ и западники одинаково были заняты вопросами національнаго самосознанія; только ставили и понимали ихъ различно:

они шли къ одной и той же цѣли; только различными путями: Славянофильство было націонализмомъ положительнымъ, выдвигавшимъ впередъ защиту такъ называемыхъ «національных началъ»; западничество было націонализмомъ отрицательнымъ, исходящимъ изъ критики нашего національнаго склада.

Споръ между двумя партіями шелъ о значеніи реформы Петра, котораго славянофилы (именно славянофилы-идеалисты) ненавидѣли, а западники превозносили (вспомнимъ восторженные страницы Бѣлинскаго, посвященные Петру), о старорусскихъ, «исконныхъ» началахъ, процвѣтавшихъ будто бы въ московскую эпоху, идеализированную славянофилами, о великолѣпной будущности славянства и пресловутомъ «гніеніи» Запада, рѣшительно отвергаемомъ западниками, и т. д.

Какъ относился ко всему этому Гоголь? — Онъ мало входилъ въ суть дѣла, и ему казалось, что въ этомъ спорѣ много пустой болтовни, сопровождаемой разными «излишествами». Связанный личными отношеніями съ славянофилами (Аксаковыми съ одной стороны, Шевыревымъ и Погодинымъ — съ другой, а также съ поэтомъ славянофильства — Языковымъ), онъ отнюдь не раздѣлялъ ихъ доктрины. Старую донепетровскую Русь онъ не любилъ, на великолѣпную будущность славянства большихъ надеждъ не возлагалъ, «гніенія» Запада не усматривалъ, хотя и пугался отрицательныхъ идей и революціоннаго броженія. Съ другой стороны, онъ не примыкалъ и къ западничеству, какъ доктринѣ и направленію критическому.

И тѣмъ не менѣе, коренной вопросъ, подымавшійся обѣими партіями, — вопросъ національнаго самосознанія, — былъ ему, можно сказать, кровно-близокъ и занималъ его — и какъ художника, и какъ человѣка, и даже какъ моралиста.

Уже въ «Ревизорѣ» онъ ставилъ себѣ задачей показать не только уродство бытовыхъ типовъ, но также «искривленіе» національной физиономіи. Хлестаковъ вышелъ у него типомъ національнымъ. И вообще всякія уродства, легко объясняемая строемъ жизни, состояніемъ нравовъ, отсутствіемъ просвѣщенія и т. д., онъ склоненъ былъ изображать, какъ національныя. Вслѣдъ за Иваномъ Алекс. Хлестаковымъ національнымъ типомъ вышелъ у него и Павелъ Ивановичъ Чичиковъ. Онъ самъ категорически заявлялъ, что главною его задачей, какъ художника, является познаніе и изображеніе психологій русскаго человѣка<sup>1)</sup>. И лично, какъ человѣка, вопросъ о психологическомъ характерѣ и складѣ русской національности (или, лучше сказать, русскіхъ національностей) живо интересовалъ его<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Объ этомъ см. въ моей книжкѣ «Н. В. Гоголь», глава IV, стр. 116 и слѣд.

<sup>2)</sup> См. въ той же книжкѣ, гл. V

Къ «Мертвымъ душамъ» болѣе, чѣмъ къ какому-либо другому изъ великихъ произведеній нашей поэзіи, примѣнимо выраженіе: «Здѣсь русскій духъ; здѣсь Русью пахнетъ». Во второй части «поэмы» вопросъ о русскомъ человѣкѣ, какъ таковомъ, можно сказать, поставленъ ребромъ. И эта постановка явилась отправною точкой нѣкоторыхъ сторонъ въ творчествѣ послѣдующихъ писателей.

Не трудно понять, что поэтъ, раскрывавшій и такъ ярко воспроизводившій національный складъ русскаго человѣка, долженъ былъ получить особое значеніе въ эпоху, когда въ сознаніи мыслящихъ людей впервые вырабатывались формы національнаго самосознанія.

*Овсяннико-Куликовскій.*

## Объ Аксаковѣ.

Въ теченіе нынѣшняго лѣта вы не однажды напомнили мнѣ, любезный Николай Алексѣевичъ (Шекрасовъ), обѣщаніе мое поговорить подробнѣе въ вашемъ журналѣ о прекрасной книгѣ С. Аксакова; я до нынѣшняго дня не могъ сдержать своего слова; какъ настоящій охотникъ — охотникъ душою и тѣломъ — я почти все это время не выпускалъ ружья изъ рукъ, а до пера не касался вовсе.

Но теперь у насъ зима; второго октября ударилъ первый морозъ, а третьяго октября съ утра поднялась снѣговая вьюга и до сихъ поръ не прекращается; поля вдругъ побѣлѣли; долго охотиться нѣтъ возможности; на дворѣ, говоря словами русской пѣсни, кутить, мутить, въ глаза песеть; недѣлю тому назадъ, я еще стрѣлялъ вальдинцовъ десятками, а теперь съ трудомъ убьешь парочку: «толкнули» ихъ, какъ выражаются охотники, эти жестокіе ранніе холода. Всегда тяжелъ и невеселъ приходъ «волшебницы-зимы», но особенно печально ея появленіе, когда она нагрянетъ такъ рано, какъ въ нынѣшнемъ году.

Осени не было у насъ — осень убила она — осень со всей ея тихой красотой, съ ея «пышнымъ увяданіемъ»... Жутко подумать, что уже въ началѣ октября у насъ стала зима... Рѣзко отдѣляясь на мертвой бѣлизнѣ побѣдоноснаго снѣга, свѣжая, не успѣвшая еще увянуть, зелень березъ, и въ особенности тополей, кажется какой-то ложью и насмѣшкой. Сидя въ четырехъ стѣнахъ своей комнаты, вспоминалъ я о моемъ обѣщаніи: я не могъ охотиться, но мысли мои все еще были заняты охотой; я съ жадностью взялся за перо, и вотъ пишу для «Современника» критику «Записокъ оренбургскаго ружейнаго охотника», — книги, не сходившей съ моего стола съ самаго моего пріѣзда въ деревню.

Но, говоря правду, я пишу не критику, потому что въ книгѣ г. А — ва критиковать нечего, или почти нечего.

И что за прелесть эта книга! Сколько въ ней свѣжести, граціи, наблюдательности, пониманія и любви природы!.. Но я замѣчаю, что вдаюсь въ восклицанія, а въ критикѣ это, говорятъ, не годится. Стану разсуждать обстоятельно.

Самъ я, вы знаете, не имѣю чести принадлежать къ сословию естествоиспытателей; но я страстно люблю природу, особенно въ живыхъ ея проявленіяхъ, и потому позволяю сказать себѣ нѣсколько словъ о «Запискахъ ружейнаго охотника» и съ этой точки зрѣнія. Человѣка не можетъ не принимать природа, онъ связанъ съ ней тысячью неразрывныхъ нитей: онъ — сынъ ея; сочувствіе, которое возбуждаетъ въ душѣ жизнь существъ низшихъ, столь похожихъ на человѣка своимъ внѣшнимъ видомъ, внутреннимъ устройствомъ, органами чувствъ и ощущеній, нѣсколько напоминаетъ тотъ живой интересъ, который каждый изъ насъ принимаетъ въ развитіи младенца. Всѣ мы, точно, любимъ природу, — по крайней мѣрѣ, никто не можетъ сказать, что онъ ее положительно не любитъ; но и въ этой любви часто бываетъ много эгоизма. А именно: мы любимъ природу въ отношеніи къ намъ; мы глядимъ на нее, какъ на пьедесталъ нашъ. Оттого, между прочимъ, въ такъ называемыхъ описаніяхъ природы, то и дѣло, либо попадаются сравненія съ человѣческими душевными движеніями («и весь невредимый, хохочетъ утѣсь» и т. п.), либо простая и ясная передача внѣшнихъ явленій замѣняется разсужденіями по ихъ поводу.

Если только «черезъ любовь» можно приблизиться къ природѣ, то эта любовь должна быть безкорыстна, какъ всякое истинное чувство: любите природу не въ силу того, что она значить въ отношеніи къ вамъ, человѣку, а въ силу того, что она вамъ сама по себѣ мила и дорога, — и вы ее поймете.

Возвращаясь къ книгѣ г. А — ва, я не могу не отдать ему должной справедливости: онъ смотритъ на природу (одушевленную и неодушевленную) не съ какой-нибудь исключительной точки зрѣнія, а такъ, какъ на нее смотрѣть должно: ясно, просто и съ полнымъ участіемъ; онъ не мудритъ, не хитритъ, не подкладываетъ ей постороннихъ намѣреній и цѣлей; онъ наблюдаетъ умно, добросовѣстно и тонко; онъ только хочетъ узнать, увидѣть. А передъ такимъ взоромъ природа раскрывается и даетъ ему «заглянуть» въ себя. Оттого, вы будете смѣяться, но я васъ увѣряю, что когда я прочелъ, напримѣръ, статью о тетеревѣ, мнѣ, право, показалось, что лучше тетерева жить невозможно... Если бы тетеревъ могъ разсказать о себѣ, онъ бы, я въ томъ увѣренъ, ни слова не прибавилъ къ тому, что о немъ повѣдалъ намъ г. А — ва. То же самое должно сказать о гусѣ, уткѣ,

вальдшнепѣ,—словомъ, обо всѣхъ птичьихъ породахъ, съ которыми онъ насъ знакомитъ. Нѣмцы считаютъ гуся, эту обдуманную, осторожную птицу, глупымъ; русскій человекъ, напротивъ, замѣтилъ, что даже громъ обращаетъ на себя вниманіе гуся; дѣйствительно, при каждомъ ударѣ онъ, скрививъ голову, смотритъ въ небо. Правда, онъ отъ этого нисколько не становится умнѣе, но эту участь онъ раздѣляетъ со многими философами. Говоря безъ шутокъ, я не могу довольно налюбоваться птичьими «физиологіями» г. А—ва.

Скажу еще нѣсколько словъ о слогѣ «Записокъ» г. А—ва. Слогъ его мнѣ чрезвычайно нравится. Это настоящая русская рѣчь, добродушная и прямая, гибкая и ловкая. Ничего нѣтъ вычурнаго и ничего лишняго, ничего напряженнаго и ничего вялаго — свобода и точность выраженія одинаково замѣчательны. Эта книга написана охотно и охотно читается. Я уже неоднократно замѣчалъ, какъ мастерски умѣетъ г. А—въ описывать (нѣкоторые отрывки были помѣщены въ апрѣльской книжкѣ «Современника»). Теперь мнѣ хочется обратить ваше вниманіе на слѣдующее обстоятельство: бываютъ тонко-развитыя, нѣрвическія, раздражительно-поэтическія личности, которыя обладаютъ какимъ-то особеннымъ воззрѣніемъ на природу, особеннымъ чутьемъ ея красоту; онѣ подмѣчаютъ многіе отгѣнки, многія часто почти неуловимыя частности, и имъ удается выразить ихъ иногда чрезвычайно счастливо, мѣтко и граціозно; правда, большія линіи картины отъ нихъ либо ускользаютъ, либо онѣ не имѣютъ довольно силы, чтобъ схватить и удержать ихъ. Про нихъ можно сказать, что имъ болѣе всего доступенъ запахъ красоты, и слова ихъ душисты. Частности у нихъ выигрываютъ насчетъ общаго впечатлѣнія. Къ подобнымъ личностямъ не принадлежитъ г. А—въ, и я очень этому радъ. Онъ и тутъ не хитритъ, онъ не подмѣчаетъ ничего необыкновеннаго, ничего такого, до чего добиваются «немногіе»; но то, что онъ видитъ, видитъ онъ ясно и твердой рукой, сильной кистью пишетъ стройную и широкую картину. Мнѣ кажется, что такого рода описанія ближе къ дѣлу и вѣрибѣ: въ самой природѣ нѣтъ ничего ухищреннаго и мудренаго, она никогда ничѣмъ не щеголяетъ, не кокетничаетъ; въ самыхъ своихъ прихотяхъ она добродушна. Всѣ поэты съ истинными и сильными талантами не становились въ «позитуру» передъ лицомъ природы; они не старались, какъ говорится, «подслушать, подсмотрѣть» ея тайны; великими и простыми словами передавали они ея простоту и величіе; она не раздражала ихъ, она ихъ воспламеняла; но въ этомъ пламени не было ничего болѣзненнаго. Вспомните описанія Пушкина, Гоголя.

*И. Тургеневъ.*





Сергѣй Тимоѣевичъ Аксаковъ.

### Сергѣй Тимоѣевичъ Аксаковъ.

«Семейная хроника» и примыкающія къ ней сочиненія Аксакова представляютъ собою одинъ изъ самыхъ уютныхъ уголковъ русской литературы. Здѣсь раскрывается передъ нами жизнь, какъ такая, жизнь, взятая въ наиболѣе простой и скромной формѣ и, тѣмъ не менѣе, подъ рукою своего благодушнаго рапсода, загорѣвшаяся тихими красками очарованія. Они были сѣры, эти необразованные оренбургскіе помѣщики, но Аксаковъ убѣдилъ насъ, что всякая жизнь интересна и что ни одна жизнь не заслуживаетъ смерти, ни одна смерть не права передъ человѣчествомъ и передъ безсмертіемъ. Въ прозѣ и обыденности безцвѣтныхъ дней, въ однообразіи быта, въ механизмѣ самодовлѣющаго хозяйства онъ увидѣлъ и показалъ внутреннюю красоту, мѣрное дыханіе человѣческой души. И, разставаясь съ его героями, всякій повторить его сердечныя напутственныя слова:

«Прощайте, мои свѣтлые и темные образы, мои добрые и недобрые люди, или, лучше сказать, образы, въ которыхъ есть и свѣтлыя, и темныя стороны, люди, въ которыхъ есть и доброе, и худое! Вы не великіе люди, не громкія личности; въ тишинѣ и безвѣстности прошли вы свое земное поприще и давно, очень давно его оставили; но вы были люди, и ваша внѣшняя и внутренняя жизнь исполнена поэзій, такъ же любопытна и поучительна для насъ, какъ мы и наша жизнь, въ свою очередь, будемъ любопытны и поучительны для потомковъ. Вы были такія же дѣйствующія лица великаго всемірнаго зрѣлища, представляемаго человѣчествомъ, такъ же добросовѣстно разыгрывали свои роли, какъ и всѣ люди, и такъ же стоите воспоминанія. Могучею силою письма и печати познакомлено теперь съ вами ваше потомство. Оно встрѣтило васъ съ сочувствіемъ и признало въ васъ братьевъ, когда и какъ бы вы ни жили, въ какомъ бы платьѣ ни ходили. Да не оскорбится же никогда память ваша, никакимъ пристрастнымъ судомъ, никакимъ легкомысленнымъ словомъ!»

Всѣ достойныя воспоминанія, всѣ мы интересны, и стоитъ намъ только умереть, чтобы это сдѣлалось очевиднымъ. Ибо послѣ смерти близкаго человѣка сливаются въ одно цѣлое всѣ эти разрозненные слова, которыя онъ произносилъ на протяженіи своей жизни, всѣ эти безчисленные проявленія его незамѣнимой личности, всѣ эти мелочи, которыхъ отъ привычки мы уже не замѣчали и которыя теперь, погаснувъ навѣки, стали для насъ особенно дорогими, осмысленными и сплелись въ живой обликъ, полный грусти и радости. Нравственное творчество смерти, ея духовный синтезъ именно тамъ, гдѣ она только что произвела страшное физическое зіяніе, гнетущую пустоту, вызываетъ законченный образъ, и существо, которое отъ насъ ушло, возвращается для нашего воспоминанія въ своемъ единствѣ и собранности, — ихъ не давала разсѣивающая жизнь. Но не всякій умѣетъ вспоминать. Аксаковъ же обладалъ этимъ даромъ всецѣло. Въ дневникѣ его души не изгладились желанные образы родныхъ; они никогда не стали для него чужими и мертвыми. Онъ не принялъ смерти, съ нею не примирился. Онъ сумѣлъ, въ пожилые годы оглянувшись назадъ, припомнить всѣ детали ушедшаго дѣтства, оживить потускнѣвшія лица и воспроизвести тембръ отзвучавшихъ голосовъ. Онъ воскресилъ даже и тѣхъ, кого самъ онъ не видѣлъ, о комъ только слышалъ изъ чужихъ рождественныхъ устъ. Это не только память ума, это больше — память сердца. Оттого предки неизмѣнно сопутствуютъ Аксакову, хотя смягченные въ своей былой рѣзкости, отодвинутые далью годовъ. Надорванная Парками нить отжившихъ жизней осталась для него цѣла, потому что онъ побѣдилъ смерть кроткой силой любви, любовнаго воспоминанія. Въ имѣніи Багрова-отца сохранился

дубъ, которому насчитывали тысячу двѣсти лѣтъ; это характерно, и онъ сохранился также у Багрова-внука, ничего не теряющего, бережного хранителя нравственной старины. Аксаковъ прежде всего — потомокъ, и среди равнодушныхъ и забывчивыхъ онъ единственный свято блюдетъ культъ предковъ. Онъ поддерживаетъ связь и единство человѣческихъ поколѣній. Его душа — «страна воспоминаній».

Удержать прошлое, интимное, милое, не дать ему уйти — это, конечно, большая заслуга. Но, безъ сомнѣнія, на тихій подвигъ воспоминанія окажется способнымъ только тотъ, у кого настоящее протекаетъ безбурно и блѣдно. Чья душа вмѣститъ страсть и полноту мгновений на ряду съ отчетливостью прошедшихъ образовъ? Здѣсь необходимъ выборъ, и надо поступиться напряженностью настоящаго, для того чтобы остаться вѣрнымъ прошлому. Аксаковъ и былъ миренъ, спокоенъ, добродушенъ въ каждый данный моментъ: оттого и далась ему памятность чувства, нравственная археологія. Онъ глубоко запомнилъ, и тѣни умершихъ людей такъ выразительно обрисовались какъ разъ на фонѣ его духовной тишины.

Однако не слѣдуетъ думать, что ихъ изображеніе, повидимому, такое элементарное и осуществленное съ наименьшей затратой искусственныхъ приѣмовъ литературы, досталось Аксакову легко. Для того чтобы написать эти столь близкія къ жизни и прямо изъ нея взятые фигуры, необходимо было высокое искусство; онъ производять идиллическое впечатлѣніе пожелтѣвшихъ дагерротиповъ, эти домашніе пенаты, служащіе предметомъ сердечнаго поклоненія, но въ дѣйствительности авторъ долженъ былъ совершить здѣсь великую работу живописца — художественное обобщеніе. Этотъ лѣтописецъ жизни, этотъ «безпристрастный передаватель изустныхъ преданій» вовсе не такъ простъ, какъ онъ кажется, подобно тому какъ въ неприхотливомъ содержаніи его чистыхъ, ясныхъ книгъ скрывается глубокая поучительность и жизненная мудрость. Разскажите любую жизнь, и вы разскажете міръ. Вотъ отчего мирная смѣна похожихъ другъ на друга дней и ночей, протекая въ рамкѣ одной, опредѣленной семьи, тѣмъ не менѣе, оказывается у Аксакова глубоко-типичной, и типичной не только въ историческомъ смыслѣ, не только для данной общественной эпохи, но и въ психологическомъ отношеніи, для всего человѣчества вообще. Здѣсь колыбели и могилы, здѣсь страсти и страданія, здѣсь даны общія категоріи людскихъ чувствъ и правовъ. Передъ нами и материнская любовь въ своемъ апоѳеозѣ, неудержимо-страстная, напряженная до болѣзненности; и священнодѣйствующій отецъ, въ патріархальномъ ореолѣ своей patria potestas, разумъ своихъ чадъ и домочадцевъ; и даже какъ бы изъ сказки вышедшія, непремѣнно злая золовки, и «милая моя сестрица», милая не только для автора, и

этотъ вѣрный пѣстунъ, другъ-слуга Евсень въ своей душевной красотѣ, и эта любовь въ старомъ вкушѣ, когда скромный и уважительный любовникъ, чтобы вымолить у своего отца благословеніе на бракъ, пишетъ ему: «смертоносная пуля скоро просверлитъ голову несчастнаго вашего сына». И стариковскимъ свидѣтельствомъ свидѣтельствуемъ намъ авторъ, что «очарованные глаза, пылающія щеки, смущеніе, доходящее до самозабвенія, всегда были краснорѣчивыми объяснителями любви»...

Поэтъ хозяйства, историкъ будней, съ любовью изобразившій весь ритуаль домашняго обихода, какое-то богослуженіе семейственности, Аксаковъ такъ искусно сложилъ эту мозаику жизненныхъ мелочей, что передъ нами проступили крупныя черты романа, трагедіи, общаго содержанія жизни — и все это въ оболочкѣ спокойной и свѣтлой. Въ темную и беззаконную глубь души Аксаковъ спускаться не могъ, и потому, напримѣръ, драматическая фигура Куролесова — по видимому, очень сложная — осталась у него въ извѣстномъ отдаленіи. Нашъ старый писатель, дѣдъ, описывающій своего дѣда, его добрые и злые дни, чувствуетъ себя хорошо не здѣсь, около преступленій, не на этомъ бурномъ гребнѣ душевныхъ человѣческихъ волнъ, а въ мирной пристани дома, на берегу Бугуруслана, обросшемъ зелеными кустами, среди своихъ непритязательныхъ героевъ и героинь.

И тѣмъ этихъ простыхъ, безграмотныхъ людей должны быть ему благодарны, что онъ воскресилъ ихъ, такъ ласково и нѣжно, ничего не утаивъ, но никого и не обидѣвъ, такъ почтительно и стыдясь своего превосходства. Цѣломудренный, онъ не посмѣялся наготѣ своего отца, своихъ отцовъ. Подъ его добрымъ перомъ отпало все мелкое, случайное, дурное — все это умерло, остался въ живыхъ только духъ, только смыслъ личностей. Ужасенъ старикъ Багровъ въ своемъ некультурномъ гнѣвѣ и дикой необузданности, грозный для всѣхъ окружающихъ. Но въ описаніи внука онъ вышелъ инымъ, и вы чувствуете въ немъ особую мощь и своеобразную красоту. Ибо, властный и деспотическій, онъ въ трудныя минуты жизни не искалъ зато ничего совѣта, онъ всѣхъ прогонялъ отъ себя калиновымъ подкожомъ и оставался одинъ. Въ своемъ тяжеломъ одиночествѣ онъ за всѣхъ думалъ, за всѣхъ и для всѣхъ устранивалъ. И вставалъ онъ въ четыре часа утра. Что-то первобытное, цѣльное и древнее есть въ этомъ старикѣ, и въ раскатахъ его безудержнаго гнѣва слышится все та же стихія, та же природа, которая потомъ изъ его внука сдѣлала охотника. И какъ трогательна его забота о томъ, чтобы не прервался древній родъ Шимона, чтобы онъ, такъ сказать, прирожденный и типичный предокъ, имѣлъ потомковъ! Когда ему сообщили, что родился у него внукъ, то первымъ его движеніемъ было перекреститься; потомъ въ родословной, отъ кружка съ именемъ «Алексѣй», онъ сдѣ-

ласть кружокъ на концѣ своей черты и посрединѣ его написалъ: «Сергій» — точно онъ предчувствовалъ, что этотъ Сергій спасетъ его для безсмертія и покажетъ русскому народу его неуклюжую, крѣпкую фигуру. И можетъ-быть, въ той пѣжной привязанности, которую онъ неожиданно испыталъ къ матери Сергія, своего внука и своего пѣвца, къ этой горожанкѣ, проникшей въ его деревенскую первобытность, сказалось глубоко заложенное подъ грубой оболочкой, смутное тяготѣніе къ эстетическому, къ изищному началу жизни, къ той силѣ, которая сдѣлала его дѣдомъ и прадѣдомъ писателей, натуръ одухотворенныхъ и тонкихъ: это ничего, что прежде мужская гордость старика оскорблялась влюбленностью сына.

Такихъ страницъ не напишешь безъ дарованія и безъ міросозерцанія. Правда, самъ Аксаковъ оживленіе своихъ стариковъ объяснялъ только «могучей силой письма и печати»; но эти простодушныя слова, вылетая новымъ полевымъ цвѣткомъ въ его моральный вѣнецъ, конечно, не могутъ быть приняты въ серьезъ. Большой эпическій талантъ нуженъ былъ Гомеру русской старины, для того чтобы приковать вниманіе молодыхъ поколѣній къ страницамъ своего историко-лирическаго, спокойнаго разказа, для того чтобы своей родною хроникой заинтересовать другихъ, чужихъ. И нужно было для этого еще и довѣрчивое, ничѣмъ не смущенное, безмятежное возрѣніе на міръ и людей, кристальная ясность и великая наивность духа, которая позволила бы прежде всего замѣтить, увидѣть то малое и милое, что описалъ Аксаковъ и что существуетъ лишь постольку, поскольку на него обращаютъ вниманіе. Для того чтобы такъ говорить о человѣческомъ, какъ говорить Аксаковъ, надо самому быть человѣкомъ съ гостепріимной, радушной и ласковой душой, всегда готовой понять и простить. Отъ прикосновенія той нравственной чистоты, которую олицетворялъ собою нашъ бытописатель, все то, о чемъ онъ разсказываетъ, само становится чистымъ; отъ его прикосновенія всѣ люди дѣлаются лучше.

Мы, «другіе», потеряли вкусъ къ этому существованію ради существованія, къ этой веренищѣ дней, къ этой стильной жизни, которую отмѣряетъ на равныя части маятникъ старинныхъ часовъ. Но и насъ тихо, пѣжно и тепло обнимаютъ эти воспоминанія, и для насъ ласково шелестятъ эти невыдуманныя страницы, посвященные семейному укладу, мирной радости бытія. И такъ больно для насъ ощущеніе жизни, которая жила, которая была; всѣ умерли: и самъ разсказчикъ, и тѣ, о комъ онъ разсказалъ, — всѣ умерли, не только дѣдъ и мать, но и «милая моя сестрица», которая на нашихъ глазахъ играла съ братомъ въ чурочки и куклы... Безконечно-грустное сознаніе преходимости всего родного и близкаго; всего-человѣческаго сжимаетъ ваше



сердце, и не только о себѣ говорить Аксаковъ: «Знойное дѣто, роскошныя бессонныя ночи, берега Бугуруслана, обросшіе зелеными кустами, изъ которыхъ со всѣхъ сторонъ неслись соловьиныя пѣсни... Я помню замираніе молодого сердца и сладкую безотчетную грусть, за которую отдалъ бы теперь весь остатокъ угасающей жизни».

Да, хотя «Семейная хроника» и приводитъ къ мысли, что жизнь одинакова, что она въ сущности неподвижна, что все это, бывшее такъ давно-давно, осталось какъ было, и настоящее похоже на прошлое. — тѣмъ не менѣе, именно изъ книги Аксакова особенно можно видѣть, какъ проходятъ если не факты, не вещи, то наши впечатлѣнія отъ нихъ. Онъ долго жилъ, этотъ старый питомецъ родного дома, сынъ усадьбы, и усадьба сохранялась все время, пока онъ жилъ, но уже никогда не подѣзжалъ онъ къ ней съ такимъ настроеніемъ, какъ въ дѣтскіе годы, послѣ гимназін, гдѣ онъ такъ страдалъ, гдѣ черезъ впечатлительное сердце мальчика прошло тяжкое столкновеніе казеннаго и частнаго, государства и семьи, директора и матери.

Въ образѣ жизни Аксаковыхъ-стариковъ было что-то звѣриное, стихійно-матеріальное, — и вотъ родился охотникъ, любитель звѣри и насильникъ надъ нимъ. Ибо въ охотѣ странно соединяется любовь къ природѣ и борьба съ нею; это — любовная война съ живымъ, съ живыми существами, ихъ убійство безъ ненависти. Охотникъ еще помнитъ свою близость къ природѣ, свое исконное тождество съ нею. Черноземный Немвродъ, кроткій убійца, Аксаковъ страстно полюбилъ ее и всю свою жизнь вносилъ въ нее смерть; еще въ ту пору, когда онъ ловилъ бабочекъ, эти «порхающіе цвѣтки», онъ слился съ природой въ любви и въ убійствѣ.

Обстоятельный, не поверхностный знатокъ природы, проникнувшій въ ея интимную жизнь, и въ то же время ласковый убійца ея живыхъ тварей, онъ не изысканъ въ своей дѣтской привязанности къ ней; онъ не брезгаетъ черной работой ея матеріальныхъ силъ. Вѣрному сердцу его близка она вся и всегда, не только въ красивомъ нарядѣ, но и замарашкой. Ему дорога не только поэзія, но и проза природы. Онъ не «природы праздный соглядатай», какъ Фетъ, а ея дѣятельный соучастникъ. Онъ такъ довѣряетъ ей, что не можетъ себѣ представить, чтобы она была неэстетична. Да и не нашей условной эстетикѣ мѣряться съ ней, разбирать, что въ ней хорошо и что — нѣтъ. Практическій натуралистъ, онъ вовсе не нисходитъ къ природѣ, любить ее, но почти не любитъ ею — совѣмъ не нужно ему, чтобы она была красива, какъ не нужно, чтобы красива была мать. Поэтому въ изображеніи весны онъ ничего не скроетъ, не утаитъ, не забудеть сказать, что «обтаяли и свѣжія навозныя кучи», что «зачернѣли проталины какъ грязныя пятна на бѣлой скатерти».

Сотрудникъ природы, онъ раздѣляетъ всѣ ея праздники, всѣ торжественные дни, ея пиры и скорби. Онъ съ нею обращается бережно и по-родственному; отрадно ему быть членомъ ея великой семьи, переживать съ нею всю ея жизнь, и когда поидетъ рѣка, освобожденная весною, забьется и затрепещетъ его собственное сердце. «Около полугода рѣка какъ будто не существовала: она была продолженіемъ снѣжныхъ сугробовъ и дорогъ. По рѣкѣ ходили, ѣздили, скакали, какъ по сухому мѣсту, и почти забыли про ея существованіе, и вдругъ — широкая полоса этого твердаго, неподвижнаго, снѣжнаго пространства пошевелилась, откололась и пошла и пошла». Какая радость!

И если описаніе выходитъ у него красиво, торжественно, то какъ будто самъ описатель здѣсь ни при чемъ. Аксаковъ такъ не любитъ пустыхъ эффектовъ, такъ щепетильно точенъ, трезвъ и правдивъ въ своемъ художественномъ воспроизведеніи природы, что боится, какъ бы печально не оговорить ея, не ошибиться въ какой-нибудь детали, касающейся кулика или плотицы. Онъ тщательно собираетъ раньше всѣ свои «освѣдомленія», а потомъ уже повѣствуетъ; такъ что если бы сама природа была заинтересована въ томъ, чтобы ее описали и рассказали, она не избрала бы для этого ничьихъ другихъ устъ, кромѣ Аксакова, — лишь тогда была бы она спокойна, что никакихъ искаженій не произойдетъ. Къ тому же, собственно о томъ впечатлѣніи, какое производитъ на него природа, онъ по большей части цѣломудренно умалчиваетъ, — Аксакову не до того; онъ озабоченъ тѣмъ, чтобы вѣрно описать ее: дѣло не въ немъ, а въ ней. Конечно, не всегда нашъ честный и добросовѣстный пейзажистъ можетъ удержаться на этой высотѣ стыдливой уединенности, и онъ знаетъ, онъ говоритъ о томъ, что природа существуетъ не только сама по себѣ и для себя, что при зрѣніи ея «улягутся мнимыя страсти, утихнутъ мнимыя бури, разсыплются самолюбивыя мечты, разлетятся небыточные надежды».

Природа успокоиваетъ, лѣчитъ его, навѣваетъ на него минуты «благодатныя и свѣтлыя», подобно тому какъ никто, по его словамъ, ни старый, ни малый, не пройдетъ мимо рѣки или пруда, не поглядѣвъ, какъ гуляетъ «вольная рыба»; и въ эти минуты каждый забудетъ свою трудовую и трудную жизнь. «Душа превращается какъ будто тогда въ глубокое, невозмутимо-тихое, прозрачное озеро, отчетливо отражающее въ себѣ голубое небо, надъ нимъ раскинувшееся, и весь міръ, его окружающій».

Онъ цѣлкомъ убѣжденъ, что всѣхъ должны интересовать подробности уженія, охоты — всякая мелочь великой природы; да и есть ли въ ней мелкое? Онъ ревнуетъ ее къ людямъ, и кажется ему,

старикъ, что теперь она уже не та. Чѣмъ дольше природа живетъ съ людьми, тѣмъ сильнѣе мѣняетъ она свой обликъ. И потому Старица почти высохла, да и вообще, прежде полноводнѣе были рѣки и больше въ нихъ водилось рыбы: «игать, ты ужъ не та теперь, не такая, какою даже и я зазналъ тебя, — свѣжею, цвѣтущею, неизмѣною отовсюду набѣжавшимъ разнороднымъ народонаселеніемъ».

Онъ не переноситъ — это характерно для него — стихій въ ея бурныхъ явленіяхъ; онъ боится грозы, большой воды и смиренно и лукаво говоритъ, что не станетъ спорить съ любителями величественныхъ и грозныхъ образовъ, и охотно соглашается, что не способенъ къ принятію грандіозныхъ впечатлѣній. Но отъ природы, тихой и спокойной, какъ его собственная душа, онъ себя не отдѣляетъ. Не даромъ онъ имѣлъ за собою не только дѣда, какъ будто выросшаго прямо изъ земли и въ землю вросшаго, но и отца, безхитростнаго любителя природы, — и только мать его, горожанка, была, повидимому, къ ней равнодушна.

Въ единой большой семьѣ природы животныя и люди для Аксакова какъ будто одинаковы, и онъ одушевленно заступаетъ за честь тетеревовъ. Ибо онъ справедливъ, какъ само естество, которому смѣшное и притязательное кажется нашимъ несправимымъ антропоцентризмомъ. И въ мірѣ рыбъ тоже бываютъ событія, а любовь селезня и утки и токованье тетеревовъ мало чѣмъ отличаются отъ романовъ человѣческихъ.

Отъ этихъ рыбъ и куликовъ, отъ этого чернолѣся и краснолѣся міръ во всякомъ случаѣ сдѣлался богаче, населеннѣе. Аксаковъ раздвинулъ предѣлы художественной повѣсти, ввелъ въ нее не однихъ людей, какъ это было прежде, но и представителей царства животного. Онъ проникъ въ ихъ интересы, нравы; онъ сумѣлъ ихъ индивидуализировать и, хотя смотрѣлъ на нихъ преимущественно глазами охотника, на потребу и потѣху котораго созданы всѣ эти живыя существа, мишени для выстрѣловъ, тѣмъ не менѣе онъ изобразилъ ихъ и такими, каковы они сами для себя. Не съ литературой подошелъ онъ къ природѣ; естественнымъ сыновнимъ голосомъ позвалъ онъ ее, и она отвѣтила ему всѣмъ разнообразіемъ своихъ голосовъ и тембровъ, такъ что онъ слышалъ, какъ токують тетерева, пищать рябчики, хрипятъ вальдшнепы, воркуютъ голуби, взвизгиваютъ и чокаютъ дрозды, заунывно, мелодически перекликаются иволги, стонутъ кукушки, постукиваютъ дятлы, трубятъ желны, трещать сойки, и «все многочисленное крылатое, мелкое, пѣвчее племя наполняетъ воздухъ разными голосами и оживляетъ тишину лѣсовъ»...

Та тихая жизнь, похожая на озеро, которой жилъ Аксаковъ, имѣетъ свое обаяніе, мирную прелесть «Дермана и Доротеи», и, можетъ-быть, въ ней, духовно скудной и слишкомъ, пчеловѣчески-безмятежной, процвѣтаетъ зато съ особою силою растительность, прозябаніе. Вотъ передъ нами прошла милая чета. «Домикъ ихъ блисталъ опрятностью и чистотой, привлекалъ уютностью, дышалъ спокойствіемъ». Въ этомъ гнѣздѣ жизни, жизни какъ такой, оживало все простое, элементарное; непритязательное. И оттого «подарить, бывало, имъ горшокъ какихъ-нибудь засыхающихъ цвѣтовъ, они у нихъ оживутъ, позеленѣютъ и обыкновенно разрастутся, такъ что прежній хозяинъ выпроситъ ихъ назадъ... Какъ будто въ воздухъ было пѣчто успокоительное и живительное, отчего и животному, и растенію было привѣтно».

Животному и растенію... Но человѣкъ — ему что скажетъ эта мирная обитель? Намъ вотъ о чемъ свидѣтельствуетъ Аксаковъ: «Заѣзжая иногда въ этотъ уединенный уголокъ и посматривая нѣсколько часовъ на эту безцвѣтную скромную жизнь, я всегда поддавался ей впечатлѣнію и спрашивалъ себя: не здѣсь ли живетъ истинное счастье человѣческое, чуждое неразрѣшимыхъ вопросовъ, неудовлетворимыхъ требованій, чуждое страстей и волненій? Долго звучалъ во мнѣ гармоническій строй этой жизни, долго чувствовалъ я какое-то грустное умиленіе, какое-то сожалѣніе о потерѣ того, что имѣть казалося такъ легко, что было подъ руками. Но когда задавалъ я себѣ вопросъ — не хочешь ли быть Василиемъ Васильевичемъ, я пугался этого вопроса, и умиленное впечатлѣніе мгновенно печезало». Именно это и можетъ послужить исходной точкой для критики самого автора, его семейной повѣсти. Онъ самъ отшатнулся отъ заводи соннаго прозябанія, его отпугнулъ избытокъ идиллическаго. И Аксаковъ, который «жизнь домашнимъ кругомъ ограничить захотѣлъ», и въ этой сферѣ создалъ такія страницы, гдѣ привѣтливый огонь камелька свѣтитъ и теплится даже самая ихъ ограниченность, — Аксаковъ не поднялся на горныя вершины человѣчества. Зато человѣческая долина описана имъ съ художественной простотой и красотой, хрустальными словами, которыми льются такъ легко, такъ довѣрчиво къ сердцу и пониманію читателя. Вы слышите въ нихъ то, что запало когда-то въ дѣтскую душу Аксакова: «чудные голоса святочныхъ пѣсень, уцѣлѣвшіе звуки глубокой древности — отголоски невѣдомаго міра». И чистымъ звукомъ звучитъ этотъ сплошной русскій языкъ, не прерванный, не смущенный почти ни однимъ чужакомъ, ни однимъ пришельцемъ изъ рѣчи иностранной. Аксакова оскорбляетъ своей басурманской дикостью даже слово *буржъ* въ названіи любимой Оренбургской губерніи. Для всего, что онъ думалъ и чувствовалъ, нашелъ онъ соотвѣтственные выраженія у себя, на родницѣ, въ сокровищахъ народнаго языка; ему не нужно

было переѣзжать границу, этому глубокому въ своей ограниченности, ослѣдному жителю Россіи. Зачѣмъ бы въ самомъ дѣлѣ понадобились ему чужія и чуждыя слова? Для понятій отвлеченныхъ? Но онъ такъ далекъ отъ умозрительнаго; вѣрный питомецъ осязательности, онъ совсѣмъ не теоретикъ; характерно, что въ молодые годы онъ страстно любилъ театръ, эту воплощенную наглядность, этотъ предѣлъ конкретного въ искусствѣ.

Онъ долго жилъ, и кругомъ него клокотали событія, а онъ, «сидя тихо и смирно съ удочкой на берегу озера или рѣчного залива», сохранялъ душевный покой. Міръ со своими волненіями уплывалъ отъ него, не тревожилъ его. Съ отроческихъ лѣтъ мы видимъ предъ собою этого смирнаго и тихаго рыболова, этого чистаго сердцемъ, почтительнаго къ людямъ любителя природы, проникнутаго духомъ честности и благоволенія, — и теплою волною колышетъ онъ умиленное сердце, и возрастаетъ наша вѣра въ человѣка. Вѣдь самъ онъ такъ много уважалъ въ жизни, такъ искренно почиталъ и прошлое, и настоящее; такъ стыдно и больно было ему замѣчать темное въ другихъ, — на примѣръ, въ своемъ любимцѣ Гоголѣ. И когда, заслоненный болѣе яркими, болѣе кипучими фигурами новой жизни, отъ насъ уходитъ замедленной походкой старости этотъ добрый старожилъ, надолго остается у насъ въ душѣ какой-то чистый и свѣтлый слѣдъ, и грезятся зеленые берега Бугуруслана и выросшій на нихъ ружейный охотникъ Оренбургской губерніи въ кругу своихъ родныхъ, съ которыми сроднился онъ и всякаго русскаго читателя.

*Айхенвальдъ.*

### „Обыкновенная исторія“ Гончарова.

Авторъ «Обыкновенной исторіи» поэтъ, художникъ и больше ничего. У него нѣтъ ни любви, ни вражды къ создаваемымъ имъ лицамъ, они его не веселятъ, не сердятъ, онъ не даетъ никакихъ нравственныхъ уроковъ ни имъ, ни читателю; онъ какъ будто думаетъ: кто въ бѣдѣ, тотъ и въ отвѣтѣ, а мое дѣло сторона. Изъ всѣхъ нынѣшнихъ писателей онъ одинъ, только онъ одинъ приближается къ идеалу чистаго искусства, тогда какъ всѣ другіе отошли отъ него на неизмѣримое пространство и тѣмъ самымъ успѣваютъ. Всѣ нынѣшніе писатели имѣютъ еще нѣчто, кромѣ таланта, и это-то нѣчто важнѣе самого таланта и составляетъ его силу; у г. Гончарова нѣтъ ничего, кромѣ таланта; онъ больше, чѣмъ кто-нибудь, теперь поэтъ-художникъ. Талантъ его не первостепенный, но сильный, замѣчательный.

Къ особенностямъ его таланта принадлежитъ необыкновенное мастерство рисовать женскіе характеры. Онъ никогда не повторяетъ



себя, ни одна его женщина не напоминает собою другой, и все, какъ портреты, превосходны. Что общаго между грубой и злой, но по-своему способной къ нѣжнымъ чувствамъ Аграфеной и между свѣтской женщиной, мечтательной и съ разстроенными первами? И каждая изъ нихъ, въ своемъ родѣ, — мастерское, художественное произведеніе. Мать молодого Адуева и мать Наденьки — обѣ старухи, обѣ очень добры, обѣ очень любятъ своихъ дѣтей и обѣ равно вредны своимъ дѣтямъ, наконецъ, обѣ глупы и пошлы. А между тѣмъ это — два лица совершенно различныя: одна барыня провинціальная стараго вѣка, ничего не читаетъ и ничего не понимаетъ, кромѣ мелочей хозяйства: словомъ, добрая внучка злой госпожи Простаковой; другая барыня столичная, которая читаетъ французскія книжки, ничего не понимаетъ, кромѣ мелочей хозяйства: словомъ, добрая правнучка злой госпожи Простаковой. Въ изображеніи такихъ плоскихъ и пошлыхъ лицъ, лишенныхъ всякой самостоятельности и оригинальности, иногда всего лучше выказывается талантъ, потому что всего труднѣе обозначить ихъ чѣмъ-нибудь особеннымъ. Что общаго между этою живою, вѣтреною, своенравною и немножко лукавою Наденькою и тою спокойною по наружности, но пожираемою внутреннимъ огнемъ — Лиззою? Тетка героя романа — лицо вводное, мимоходомъ очерченное, но какое прекрасное женское лицо! Какъ хороша она въ сценѣ, оканчивающей первую часть романа! Мы не будемъ распространяться насчетъ мастерства, съ какимъ обрисованы мужскіе характеры: о женскихъ мы не могли не замѣтить, потому что до сихъ поръ они рѣдко удавались у насъ даже первостепеннымъ талантамъ; у нашихъ писателей женщина — или приторно сентиментальное существо, или семинаристъ въ юбкѣ, съ книжными фразами. Женщины г. Гончарова — живыя, вѣрныя дѣйствительности созданія. Это новостъ въ нашей литературѣ.

Обратимся къ двумъ главнымъ мужскимъ лицамъ романа — молодому Адуеву и его дядѣ, Петру Ивановичу: о послѣднемъ нельзя не сказать хотя нѣсколько словъ, говоря о первомъ, потому что онъ противоположностью своею еще болѣе отгѣняетъ героя романа. Говорятъ, типъ молодого Адуева — устарѣлый; говорятъ, что такіе характеры уже не существуютъ на Руси. Нѣтъ, не перевелись и не переведутся никогда такіе характеры, потому что ихъ производятъ не всегда обстоятельства жизни, но иногда сама природа. Родоначальникъ ихъ на Руси — Владимиръ Ленскій, по прямой линіи происходящій отъ гётевскаго Вертера. Пушкинъ первый замѣтилъ существованіе въ нашемъ обществѣ такихъ натуръ и указалъ на нихъ. Съ теченіемъ времени онѣ будутъ измѣняться, но сущность ихъ всегда будетъ та же самая... Молодой Адуевъ, пріѣхавъ въ Петербургъ, мечтаетъ, съ какою радостью обниметъ своего обожаемаго дядю и въ

какомъ восторгѣ будетъ отъ него дядя. Онъ останавливается въ трактирѣ и бонется, что дядя осердится на него, зачѣмъ онъ не пріѣхалъ прямо къ нему. Холодный пріемъ дяди разсѣиваетъ его провинціальныя мечты. До сихъ поръ молодой Адуевъ является больше провинціаломъ, нежели романтикомъ. Онъ даже непріятно былъ пораженъ тѣмъ, что дядя называлъ дуракомъ Заѣзжалова и—дурою деревенскую тетку съ ея желтымъ цвѣткомъ, приславшихъ къ нему преглупѣйшія письма. Провинціалы часто бываютъ очень смѣшны въ своихъ отношеніяхъ къ своимъ роднымъ и знакомымъ. Въ маленькихъ городкахъ жизнь однообразна, узка, мелка, всѣ другъ друга знаютъ и если не враждуютъ между собою, то непременно пребываютъ въ нѣжливѣйшей дружбѣ; среднихъ отношеній почти нѣтъ. И вотъ изъ городка отправляется искать счастья въ столицу молодой человѣкъ; всѣ имъ интересуются, провожаютъ его, желаютъ ему всякаго счастья, просятъ не забывать. Онъ уже сдѣлался въ столицѣ популярнымъ человѣкомъ, родной городокъ его представляется ему какимъ-то смутнымъ видѣніемъ; подъ вліяніемъ новыхъ впечатлѣній, новыхъ знакомствъ, отношеній, интересовъ, онъ давно позабылъ и имена, и лица людей, которыхъ такъ коротко зналъ въ дѣтствѣ, и помнить только о самыхъ близкихъ къ нему, да и то они представляются ему въ томъ видѣ, какъ онъ ихъ оставилъ, а вѣдь они съ тѣхъ поръ перемѣнились же. По ихъ письмамъ онъ видитъ, что у него съ ними нѣтъ ничего общаго; отвѣчая имъ, онъ поддѣлывается подъ ихъ тонъ, подъ ихъ понятія; удивительно ли, что онъ пишетъ къ нимъ рѣже и рѣже, наконецъ, и совсѣмъ перестаетъ писать. Мысль о пріѣздѣ въ столицу родственника или знакомаго пугаетъ его столько же, какъ жителей пограничнаго города во время войны пугаетъ мысль, что непріятель пойдетъ ихъ дорогою. Въ столицѣ не понимаютъ заочной любви; здѣсь думаютъ, что любовь, дружба, пріязнь, знакомство поддерживаются личными отношеніями, а разлукой и отсутствіемъ охлаждаются и уничтожаются. Въ провинціи думаютъ совсѣмъ наоборотъ; вслѣдствіе однообразія жизни тамъ удивительно развита склонность къ любви и дружбѣ. Тамъ рады всякому; мѣшать другъ другу, не давать покою—тамъ считается священнѣйшею обязанностью. Если кому-нибудь перестанутъ надоедать родственники и знакомые, онъ сочтетъ себя самымъ несчастнымъ, наиболѣе обиженнымъ человѣкомъ въ мірѣ. Когда къ провинціалу, живущему въ маленькомъ городкѣ, вдругъ наѣзжаетъ орда родственниковъ и обращаетъ его маленькій домикъ въ бочонокъ, набитый сельдами, онъ, по наружности, не знаетъ, какъ и радоваться: съ веселымъ лицомъ бѣгаетъ, суетится, угощаетъ всю эту толпу, а внутренно отъ всей души проклиная ее. А между тѣмъ попробуй-ка эти люди въ другой разъ остановиться не

у него: онъ никогда имъ не проститъ этого. Такова ужъ патріархальная логика провинцій! И съ такой-то логикой пріѣзжаетъ иногда провинціалъ въ столицу по дѣламъ со всѣмъ семействомъ своимъ. Въ столицѣ есть у него родственникъ, который лѣтъ ужъ двадцать какъ выѣхалъ изъ своего мѣстечка и давнымъ-давно позабылъ всѣхъ своихъ родныхъ и знакомыхъ. Нашъ провинціалъ летитъ къ нему съ распростертыми объятіями, съ малыми дѣтьми, которыхъ надо размѣстить по учебнымъ заведеніямъ, и обожаемою супругою, которая пріѣхала полюбоваться на столичные магазины модъ. Раздаются ахи, охи, крикъ, пискъ, визгъ. «А мы прямо къ вамъ, мы не смѣли остановиться въ трактирѣ!» Столичный родственникъ блѣднѣетъ, не знаетъ, что сказать, онъ похожъ на жителя города, взятаго непріателемъ, къ которому въ домъ ворвалась толпа предававшихся грабежу непріятельскихъ солдатъ. А между тѣмъ ему уже подробно изъяснено, какъ его любятъ, какъ его помнятъ, какъ о немъ безпрестанно говорятъ и какъ на него надѣются, какъ увѣрены, что онъ непременно поможетъ опредѣлить Катеньку, Петеньку, Овдѣньку, Митеньку по корпусамъ, а Машеньку, Сашеньку, Любочку и Танечку въ институтъ. Столичный родственникъ видитъ, что отъ одной минуты зависитъ его гибель или спасеніе, собирается съ духомъ и съ холодною вѣжливостью объясняетъ непріятельскому отряду, что онъ никакъ не можетъ принять ихъ къ себѣ, что его квартира тѣсновата и для его собственного семейства, что въ корпуса и институты дѣти принимаются по экзамену и по указанному порядку, что тутъ не поможетъ никакая протекція, если нѣтъ вакантныхъ мѣстъ, или если дѣти старше или моложе приемныхъ лѣтъ, или не выдержатъ экзамена, а тѣмъ болѣе протекція такого незначительнаго человѣка, какъ онъ, который сверхъ того служить совсѣмъ по другому вѣдомству и незнакомъ ни съ кѣмъ изъ начальниковъ учебныхъ заведеній. Разочарованные провинціалы удаляются въ бѣшенствѣ, вопіютъ противъ столичнаго эгоизма и развращенія и говорятъ о своемъ родственникѣ, какъ о чудовищѣ. А между тѣмъ это, можетъ-быть, очень порядочный человѣкъ; вся вина его въ томъ, что онъ не захотѣлъ обратить своей квартиры въ безобразный таборъ, лишить себя всякаго пріюта въ собственномъ домѣ, всякой возможности заниматься дѣлами службы въ тиши своего кабинета, принимать у себя по вечерамъ людей, или близкихъ ему, или полезныхъ и необходимыхъ ему по службѣ, и такимъ образомъ стѣснить себя, подвергнуть себя тяжкимъ лишеніямъ для людей, совершенно чуждыхъ ему, съ которыми бы онъ не захотѣлъ вести и обыкновеннаго знакомства. А между тѣмъ и эти провинціалы по-своему люди добрые и даже неглупые; вся вина ихъ въ томъ, что, отправляясь въ столицу, они увѣрены найти въ ней, за исключеніемъ огромности,

великолѣпія и модныхъ магазиновъ, свой городокъ, съ тѣмъ же нравами, обычаями и понятіями. Они по-своему любятъ роскошь и великолѣпіе, хотя и безъ вкуса, при средствахъ готовы изукрасить всѣчески свою залу и гостиную; о кабинетѣ не имѣютъ понятія и не знаютъ, зачѣмъ онъ; спальня и дѣтская у нихъ всегда самыя грязныя комнаты: имъ ничего не стоитъ потѣсниться и пожатъея, понятіе о комфортѣ не существуетъ для нихъ, они привыкли къ тѣснотѣ, любятъ ее, по пословицѣ: въ тѣснотѣ люди живутъ, да и жилимъ крѣпче пахнетъ. Они всякому рады и, по словамъ Петра Ивановича, хоть ночью ужинъ состряпаютъ. По замѣчанію его племянника эта черта составляетъ добродѣтель русскихъ, съ чѣмъ Петръ Ивановичъ рѣшительно не согласенъ. «Какая тутъ добродѣтель,—говоритъ онъ.—Отъ скуки тамъ всякому мерзавцу рады; милости просимъ, кушай сколько хочешь, только займи какъ-нибудь нашу праздность, помоги убить время да дай взглянуть на тебя: все-таки что-нибудь новое; а кушалья не пожалѣемъ: это намъ здѣсь ровно ничего не стоитъ... Препротивная добродѣтель». Петръ Ивановичъ выразился немножко жестко, но не совсѣмъ несправедливо. Дѣйствительно, радушіе и гостепримство провинціальное больше всего основываются на бездѣйствіи, праздности, скукѣ, привычкѣ. Силу столичныхъ людей они измѣряютъ не мѣстомъ, не связями, не вліяніемъ, а чиномъ, и отъ души увѣрены, что если кто дѣйствительный статскій совѣтникъ, такъ ужъ непременно всемогущая особа, которой стѣнитъ только сказать слово, чтобы сейчасъ рѣшили въ вашу пользу процессъ, тянувшійся пятьдесятъ лѣтъ, приняли вашихъ дѣтей въ учебное заведеніе, дали вамъ выгодное мѣсто, чинъ и орденъ. Откажите имъ въ какой-нибудь просьбѣ, при всемъ вашемъ желаніи исполнить ее, но по невозможности выполнить, — и вотъ вы самый безправственный человѣкъ въ мірѣ, вы зазнались, подняли носъ, презираете провинціаловъ. А у нихъ первая добродѣтель — ни передъ кѣмъ не зазнаваться, не отказываться ни отъ чьего знакомства и быть готовымъ къ услугамъ всѣхъ и каждого. Правда, нигдѣ нѣтъ такого важничанья, ломанья, счета старшинствомъ, чинами, званіемъ; но этотъ порокъ, опасный для общаго міра и согласія, смягчается тамъ добродѣтельною готовностью съежиться въ присутствіи человѣка, который хотя однимъ чиномъ выше, и въ то же самое время не уронить своего достоинства передъ тѣмъ, кто чиномъ ниже. Впрочемъ, эта добродѣтель процвѣтаетъ и въ столицѣ, хотя и въ болѣе тонкихъ формахъ. Но въ провинціи это дѣлается съ истинно аркадскою наивностью. «Э, братецъ, — говоритъ богатый помѣщикъ или важный чиновникъ бѣдному помѣщику или чиновнику, — ты меня вовсе забыть, аль недоволенъ мной? или плохо кормлю? Кажется, у меня для тебя всегда есть плошка за столомъ, шутъ ты

гороховый!» Бѣднякъ слегка конфузится, бормочетъ извиненія, держась передъ своимъ патрономъ въ почтительной позѣ; но въ глазахъ его сіяетъ удовольствіе: онъ знаетъ, гдѣ гнѣвъ, тутъ и милость, и что въ иной брани больше любви, чѣмъ въ иной ласкѣ. «Ну, да хорошо, Богъ тебя проститъ, теперь пойдемъ-ка хлѣба-соли откусать, обѣдъ готовъ». И оба довольны: одинъ, что выполнилъ въ точности законы патріархальнаго гостепріимства и обласкалъ бѣднаго человѣка; другой, что хорошо принять и обласканъ такою важною въ его глазахъ персоною. И этотъ бѣднякъ всегда предпочтетъ обществу совершенно равныхъ ему людей не только обществу аристократовъ его захолустья, но и обществу низшихъ его людей, потому что онъ тогда только и чувствуетъ свое достоинство, когда унижается передъ высшимъ и ломается передъ низшимъ. Конечно, это отноше не можетъ относиться ко всѣмъ провинціаламъ; вездѣ есть люди образованные, умные и достойные, но они вездѣ въ меньшинствѣ, а мы говоримъ о большинствѣ. Непосредственное вліяніе окружающей человѣка среды такъ на него сильно, что лучшіе изъ провинціаловъ бываютъ не чужды провинціальнаго предразсудковъ и на первый разъ теряются, пріѣхавши въ столицу.

Тутъ все дико имъ, все не такъ, какъ у нихъ. Тамъ жизнь простая, нараспашку; ходятъ другъ къ другу во всякое время, безъ доклада. Приходитъ сосѣдъ къ сосѣду; въ прихожей или нѣтъ никого, или спитъ на грязномъ залавкѣ небритый лакей, или оборванный мальчишка, а спитъ онъ потому, что ему нечего дѣлать, хотя окружающая его грязь и вонь могли бы дать ему работы дня на два. И вотъ гость входитъ въ залу—нѣтъ никого; въ гостиную—тоже никого; онъ въ спальню—и вдругъ тамъ раздается визгливое «ахъ»; гость говоритъ въ пріятномъ замѣшательствѣ: извините-съ, — медленно пятится въ гостиную, къ нему кто-нибудь выбѣгаетъ, изъясняетъ свой восторгъ отъ его посѣщенія, и оба смѣются надъ забавнымъ приключеніемъ. А здѣсь, въ столицѣ, все на заперти, вездѣ колокольчики, вездѣ неизбежное: какъ прикажете доложить? А потомъ—то дома нѣтъ, то нездоровъ, то проситъ извинить—запаты, а когда примутъ, то, конечно, вѣжливо, но зато какъ равнодушно, никакого радушія, ни позавтракать, ни пообѣдать не пригласятъ...

Но обратимся къ герою «Обыкновенной исторіи». Въ немъ есть чувство деликатности и приличія; хотя онъ и былъ увѣренъ, что дядя приметъ его съ восторгомъ и помѣститъ у себя въ квартирѣ, однако какое-то темное чувство заставило его остановиться въ трактирѣ. Если бы онъ сдѣлалъ хорошую привычку разсуждать о томъ, что всего ближе къ нему, онъ пораздумался бы о темномъ чувствѣ, которое заставило его вѣхаться въ трактирѣ, а не прямо на квартиру



дяди, и скоро понялъ бы, что нѣтъ никакихъ причинъ ожидать отъ дяди другого пріема, кромѣ развѣ равнодушно-ласковаго, и что нѣтъ у него никакихъ правъ на жительство у него въ квартирѣ. Но, къ несчастію, онъ привыкъ разсуждать только о любви, дружбѣ и другихъ высокихъ и далекихъ предметахъ, а потому явился къ дядѣ провинціаломъ съ ногъ до головы. Исполненный ума и здраваго смысла слова дяди ничего не растолковали ему, а только произвели на него тяжелое, грустное впечатлѣніе и заставили его романтически страдать. Онъ былъ трижды романтикъ—по натурѣ, по воспитанію и по обстоятельствамъ жизни, между тѣмъ какъ и одной изъ этихъ причинъ достаточно, чтобъ сбить съ толка порядочнаго человѣка и заставить его надѣлать тьму глупостей. Нѣкоторые находятъ, что онъ своими вещественными знаками невещественныхъ отношеній и другими черезчуръ ребяческими выходками не совсѣмъ вѣроятенъ, особенно въ наше время. Не споримъ,—можетъ-быть, въ этомъ замѣчаніи и есть доля правды; да дѣло-то въ томъ, что полное изображеніе характера молодого Адуева надо искать не здѣсь, а въ его любовныхъ похожденіяхъ. Въ нихъ онъ весь, въ нихъ онъ—представитель множества людей, похожихъ на него, какъ двѣ капли воды, и, дѣйствительно, обрѣтающихся въ здѣшнемъ мірѣ. Скажемъ нѣсколько словъ объ этой не новой, но все еще интересной породѣ, къ которой принадлежитъ этотъ романтический звѣрекъ.

Это — порода людей, которыхъ природа съ избыткомъ надѣляетъ первическою чувствительностью, часто доходящею до болѣзненной раздражительности (*susceptibilité*). Они рано обнаруживаютъ тонкое пониманіе неопредѣленныхъ ощущеній и чувствъ, любятъ слѣдить за ними, наблюдать ихъ и называютъ это—наслаждаться внутреннею жизнью. Потому они очень мечтательны и любятъ или уединеніе, или кругъ избранныхъ друзей, съ которыми бы они могли говорить о своихъ ощущеніяхъ, чувствахъ и мысляхъ, хотя мыслей у нихъ такъ же мало, какъ много ощущеній и чувствъ. Вообще, они богато одарены отъ природы душевными способностями, но дѣятельность ихъ способностей—чисто страдательная: иные изъ нихъ много понимаютъ, но ни одинъ неспособенъ что-нибудь дѣлать, производить; снѣ — немножко музыкантъ, немножко живописецъ, немножко поэтъ, даже, при нуждѣ, немножко критикъ и литераторъ, но всѣ эти таланты у него таковы, что онъ не можетъ ими пріобрѣсти не только славы или извѣстности, но даже выработать посредственное содержаніе. Изъ всѣхъ умственныхъ способностей въ нихъ сильно развивается воображеніе и фантазія, но не та фантазія, посредствомъ которой поэтъ творитъ, а та фантазія, которая заставляетъ человѣка наслажденіе мечтами о благахъ жизни предпочитать наслажденію дѣйстви-

тельными благами жизни. Это они называют—жить высшею жизнью, недоступною для презрѣнной толпы, парить горѣ, тогда какъ презрѣнная толпа пресмыкается долу. Отъ природы они очень добры, симпатичны, способны къ великодушнымъ движеніямъ; но какъ фантазія въ нихъ преобладаетъ надъ разсудкомъ и сердцемъ, то они скоро доходятъ до сознательнаго презрѣнія къ «пошлому здоровому смыслу—этому, по ихъ мнѣнію, достоинству людей матеріальныхъ, грубыхъ и ничтожныхъ, для которыхъ не существуетъ высокаго и прекраснаго»; сердце ихъ, безпрестанно насилуемое въ его инстинктахъ и стремленіяхъ ихъ волею, подъ управленіемъ фантазій, скоро скудѣетъ любовью, и они дѣлаются ужасными эгоистами и деспотами, сами того не замѣчая, а, напротивъ того, будучи добросовѣстно убѣждены, что они самые любящіе и самоотверженные люди. Такъ какъ въ дѣтствѣ они удивляли всѣхъ раннимъ и быстрымъ развитіемъ своихъ способностей и оказывали, сколько своими достоинствами, столько же и недостатками, сильное вліяніе надъ своими сверстниками, изъ которыхъ нѣкоторые были гораздо выше ихъ,—естественно, что они были захвалены съ раннихъ лѣтъ и сами о себѣ возымѣли высокое понятіе. Природа и безъ того отпустила имъ самолюбія гораздо больше, нежели сколько нужно его для эквилибра человѣческой жизни; удивительно ли, что легкіе и мало заслуженные блестящіе успѣхи усиливаютъ у нихъ самолюбіе до невѣроятной степени? Но самолюбіе въ нихъ бываетъ всегда такъ замаскировано, что они добросовѣстно не подозрѣваютъ его въ себѣ, искренно принимаютъ его за гениальное стремленіе къ славѣ, ко всему великому, высокому и прекрасному. Они долго бываютъ помѣшаны на трехъ завѣтныхъ идеяхъ: это — слава, дружба и любовь. Все остальное для нихъ не существуетъ; это, по ихъ мнѣнію, достояніе презрѣнной толпы. Всѣ роды славы для нихъ равно обольстительны, и сначала они долго колеблются, какой избрать путь для достиженія славы. Имъ и въ голову не приходитъ, что кто считаетъ себя равно способнымъ ко всѣмъ поприщамъ славы, тотъ не способенъ ни къ какому,—что самые великіе люди узнавали о своей гениальности не прежде, какъ сдѣлавши сперва что-нибудь дѣйствительно великое и гениальное, и узнаютъ это не по собственному сознанію, а по одобрительнымъ и восторженнымъ кликамъ толпы. И вотъ манитъ ихъ военная слава, имъ очень бы хотѣлось въ Наполеоны, но только не иначе, какъ на такомъ условіи, чтобъ имъ на первый случай дали подъ команду хоть небольшую армію, чтобъ они сейчасъ же могли начинать блестящій рядъ побѣдъ своихъ. Манитъ ихъ и гражданская слава, но не иначе, какъ на такомъ условіи, чтобъ имъ прямо махнуть въ министры и сейчасъ же преобразовать государство (у нихъ же всегда

готовы въ головѣ превосходные проекты для всякаго рода реформъ, стоитъ только присѣсть да написать). Но какъ зависть людей сдѣлала невозможными такіе геніальные скачки для такихъ геніальныхъ людей и требуетъ, чтобъ всякій начиналъ свое поприще съ начала, а не съ конца, и на дѣлѣ, а не на словахъ только, доказалъ бы свою геніальность, то наши геніи поневолѣ скоро обращаются къ другимъ путямъ славы. Хватаются они иногда и за науку, но не надолго: сухая и скучная матерія, надобно много учиться, много работать, и нѣтъ никакой нищи сердцу и фантазіи. Остается искусство; но какое же избрать? Архитектура, скульптура, живопись и музыка никакому генію не даются безъ тяжкаго и продолжительнаго труда, и, что всего хуже и обиднѣе для романтиковъ, сначала труда чисто матеріальнаго и механическаго. Остается поэзія; и вотъ они бросаются къ ней со всего размаху и, еще ничего не сдѣлавши, въ мечтахъ своихъ украшаютъ себя огненнымъ ореоломъ поэтической славы. Главное ихъ заблужденіе состоитъ еще не въ нелѣпомъ убѣжденіи, что въ поэзіи нуженъ только талантъ и вдохновеніе, что кто родился поэтомъ, тому ничему не нужно учиться, ничего не нужно знать: у кого, дѣйствительно, есть большой талантъ, тотъ силою самого таланта скоро пойметъ нелѣпость этой мысли и начнетъ все изучать, ко всему прислушиваться и приглядываться. Нѣтъ, главное и гибельное ихъ заблужденіе состоитъ въ томъ, что они увѣрили себя въ своемъ поэтическомъ призваніи, какъ въ непреложной истинѣ, срослись съ этою несчастною мыслью, такъ что разочароваться въ ней—значитъ для нихъ потерять всякую вѣру въ себя и въ жизнь и въ цвѣтѣ лѣтъ сдѣлаться паралитическими стариками. И вотъ нашъ романтикъ принимается писать стихи и говорить въ нихъ о томъ, о чемъ давно прежде него было сказано и великими, и малыми поэтами, и вовсе не поэтами. Онъ воспѣваетъ въ нихъ свои страданія, которыхъ не испыталъ, говоритъ о своихъ темныхъ надеждахъ, изъ которыхъ видно только то, что онъ самъ не знаетъ, чего хочетъ; простираетъ къ братьямъ-людямъ горячія объятія и хочетъ разомъ прижать къ сердцу все человѣчество, или горько жалуется, что толпа холодно отвернулась отъ его братскихъ объятій. Бѣднякъ не понимаетъ, что, сидя въ кабинетѣ, ничего не стоитъ вдругъ возгорѣться самою неистовою любовью къ человѣчеству, но крайней мѣрѣ, гораздо легче, нежели провести безъ сна хоть одну ночь у постели трудно-больного. Обыкновенно романтики придаютъ страшную цѣну чувству, думаютъ, что только одни они надѣлены сильными чувствами, а другіе лишены ихъ, потому что не кричатъ о своихъ чувствахъ. Чувство, конечно, важная сторона въ натурѣ человѣка, но не все и не всегда поступаютъ въ жизни сообразно съ своею способностью чувствовать глубоко

и сильно. Случается и такъ, что иной, чѣмъ сильнѣе чувствуетъ, тѣмъ безчувственнѣе живетъ: рыдаетъ отъ стиховъ, отъ музыки, отъ живого изображенія человѣческихъ бѣдствій въ романѣ или повѣсти—и равнодушно проходитъ мимо дѣйствительнаго страданія, которое у него передъ глазами. Иной управляющій, изъ пѣмцевъ, со слезами восторга на глазахъ читаетъ своей Мишкенъ какое-либо восторженное посланіе Шиллера къ Лаурѣ и, кончивши послѣдній стихъ, съ неменьшимъ удовольствіемъ идетъ пороть мужиковъ за то, что они осмѣлились робко намекнуть своему милостивому барину, что они не совѣмъ довольны отеческими попеченіями управляющаго о ихъ благосостояніи, отъ которыхъ только одинъ онъ и жирѣетъ, а они все худѣютъ.—Стихи нашего романтика гладки, блестящи, не лишены даже поэтической обработки, хотя въ нихъ и довольно риторической водицы, однако въ нихъ мѣстами проглядываетъ чувство, иногда даже блеснетъ мысль (какъ отголосокъ чужой мысли),—словомъ, замѣтно что-то въ родѣ таланта. Стихи его печатаются въ журналахъ, многіе ихъ хвалятъ, а если онъ явится съ ними въ переходную эпоху литературы, онъ можетъ приобрести даже значительную извѣстность. Но переходныя эпохи литературы особенно гибельны для такихъ поэтовъ: ихъ извѣстность, приобретенная въ короткое время чѣмъ-то, и въ короткое же время исчезаетъ просто отъ *ничего*; сперва ихъ стихи перестаютъ хвалить, потомъ читать, а наконецъ и печатать. Но молодому Адуеву не удалось насладиться хотя на мгновеніе даже ложною извѣстностью: его не допустили до этого и время, въ которое онъ вышелъ со своими стихами, и умный откровенный дядя. Его несчастье состояло не въ томъ, что онъ былъ бездаренъ, а въ томъ, что у него вмѣсто таланта былъ полуталантъ, который въ поэзіи хуже бездарности, потому что увлекаетъ человѣка ложными надеждами. Вы помните, чего ему стоило разочарованіе въ своемъ поэтическомъ призваніи...

Дружба также дорого обходится романтикамъ. Всякое чувство, чтобъ быть истиннымъ, должно быть, прежде всего, естественно и просто. Дружба иногда завязывается отъ сродства, а иногда отъ противоположности натуръ; но, во всякомъ случаѣ, она—чувство невольное, именно потому, что свободное; имъ управляетъ сердце, а не умъ и воля. Друга нельзя искать, какъ подрядчика на работу, друга нельзя выбрать; друзьями дѣлаются случайно и незамѣтно; привычка и обстоятельства жизни скрѣпляютъ дружбу. Истинные друзья не даютъ имени соединяющей ихъ симпатіи, не болтаютъ о ней безпрестанно, ничего не требуютъ одинъ отъ другого во имя дружбы, но дѣлаютъ другъ для друга, что могутъ. Бывали примѣры, что другъ не выносилъ смерти своего друга и умиралъ вскорѣ послѣ него;

другой отъ потери своего друга изъ веселаго человѣка дѣлается на всю жизнь меланхоликомъ; а третій поскорбитъ, потужитъ, да и утѣшится, но если онъ навсегда сохранить воспоминаніе, и оно будетъ для него вмѣстѣ и грустно, и отрадно, — онъ былъ истиннымъ другомъ умершаго, хотя не только не умеръ самъ отъ его потери, не сошелъ съ ума, не сдѣлался меланхоликомъ, но еще нашелъ силу быть довольно счастливымъ въ жизни и безъ друга. Степень и характеръ дружбы зависитъ отъ личности друзей; тутъ главное, чтобъ не было въ отношеніяхъ ничего натянутого, напряженнаго, восторженнаго, ничего похожаго на долгъ и обязанность, а то шой готовъ и Богъ знаетъ на какія самопожертвованія для своего друга, чтобы сказать самому себѣ, а иногда и другимъ: «вотъ каковъ я въ дружбѣ!» или: «вотъ къ какой дружбѣ я способенъ!» Этотъ-то родъ дружбы обожаютъ романтики. Они дружатся по программѣ, заранѣе составленной, гдѣ съ точностью опредѣлены сущность, права и обязанности дружбы: они только не заключаютъ контрактовъ со своими друзьями. Имъ дружба нужна, чтобъ удивить міръ и показать ему, какъ великія натуры въ дружбѣ отличаются отъ обыкновенныхъ людей, отъ толпы. Ихъ тянетъ къ дружбѣ не столько потребность симпатій, столь сильной въ молодые лѣта, сколько потребность имѣть при себѣ человѣка, которому бы они безпрестанно могли говорить о драгоцѣнной своей особѣ. Выражаясь ихъ высокимъ слогомъ, для нихъ другъ есть драгоцѣнный сосудъ для изліянія самыхъ святыхъ и завытныхъ чувствъ, мыслей, надеждъ, мечтаній и т. д.; тогда какъ въ самомъ-то дѣлѣ въ ихъ глазахъ другъ есть лохань, куда они выливаютъ помой своего самолюбія. Зато они и не знаютъ дружбы, потому что друзья ихъ скоро оказываются неблагодарными, вѣроломными, извергами, и они еще сильнѣе злобствуютъ на людей, которые не умѣли и не хотѣли понять и оцѣнить ихъ...

Любовь обходится имъ еще дороже, потому что это чувство само по себѣ живѣе и сильнѣе другихъ. Обыкновенно любовь раздѣляютъ на многіе роды и виды; всѣ эти раздѣленія, большею частью, нелѣпы, потому что надѣлашы людьми, которые способнѣе мечтать и разсуждать о любви, нежели любить. Прежде всего, раздѣляютъ любовь на матеріальную, или чувственную, и платоническую, или идеальную, презираютъ первую и восторгаются второю. Дѣйствительно, есть люди столь грубые, что могутъ предаваться только животнымъ наслажденіямъ любви, не хлопоча даже о красотѣ и молодости; но даже и эта любовь, какъ ни груба она, все же лучше платонической, потому что естественнѣе ея: послѣдняя хороша только для хранителей восточныхъ гаремовъ... Человѣкъ не звѣрь и не ангелъ; онъ долженъ любить не животное и не платонически, а человѣчески. Какъ бы ни идеализировали любовь, но какъ же не видѣть, что природа одарила людей



этимъ прекраснымъ чувствомъ сколько для ихъ счастья, столько и для размноженія и поддержанія рода человѣческаго. Родовъ любви такъ же много, какъ много на землѣ людей, потому что каждый любитъ сообразно съ своимъ темпераментомъ, характеромъ, понятіями и т. д. И всякая любовь истинна и прекрасна по-своему, лишь бы только она была въ сердцѣ, а не въ головѣ. Но романтики особенно падки къ головной любви. Сперва они сочиняютъ программу любви, потомъ ищутъ достойной себя женщины, а за неимѣніемъ таковой любятъ пока какую-нибудь; имъ ничего не стоитъ велѣть себѣ любить, вѣдь у нихъ все дѣлаетъ голова, а не сердце. Имъ любовь нужна не для счастья, не для наслажденія, а для оправданія на дѣлѣ своей высокой теоріи любви. И они любятъ по тетрадкѣ и больше всего боятся отступить хотя отъ одного параграфа своей программы. Главная ихъ забота—являться въ любви великими и ни въ чемъ не унизиться до сродства съ обыкновенными людьми. И однакожъ въ любви молодого Адуева къ Наденькѣ было столько истиннаго и живого чувства; природа заставила на время молчать его романтизмъ, но не побѣдила его. Онъ могъ бы быть счастливъ надолго, но былъ только на минуту, потому что все самъ испортилъ. Наденька была умѣе его, а главное,—попроще и естественнѣе. Капризное, избалованное дитя, она любила его сердцемъ, а не головою, безъ теорій и безъ претензій на гениальность; она видѣла въ любви только ея свѣтлую и веселую сторону и потому любила какъ будто шутя—шалила, кокетничала, дразнила Адуева своими капризами. Но онъ любилъ «горестно и трудно», весь задыхающійся, весь въ пѣнѣ, словно лошадь, которая тащитъ въ гору тяжелый возъ. Какъ романтикъ, онъ былъ и педантъ: легкость, шутка оскорбляли въ его глазахъ святое и высокое чувство любви. Любя, онъ хотѣлъ быть театральнымъ героемъ. Онъ скоро все переболталъ съ Наденькой о своихъ чувствахъ, пришлось повторять старое, а Наденька хотѣла, чтобъ онъ занималъ не только ея сердце, но и умъ, потому что она была пылка, впечатлительна, жаждала новаго; все привычное и однообразное скоро наскучило ей. Но къ этому Адуевъ былъ человѣкъ самый неспособный въ мірѣ, потому что собственно его умъ спалъ глубокимъ и непробуднымъ сномъ: считая себя великимъ философомъ, онъ не мыслить, а мечталъ, бредилъ наяву. При такихъ отношеніяхъ къ предмету его любви ему былъ опасенъ всякій соперникъ,—пусть онъ былъ бы хуже его, лишь бы только не походилъ на него и могъ бы имѣть для Наденьки прелесть новости; а тутъ вдругъ является графъ, человѣкъ съ блестящимъ свѣтскимъ образованіемъ. Адуевъ, думая повести себя въ отношеніи къ нему истиннымъ героемъ, черезъ это самое повелъ себя, какъ глупый, дурно воспитанный мальчишка, и этимъ испортилъ все дѣло. Дядя объяснилъ

ему, но поздно и бесполезно для него, что во всей этой исторіи былъ виновать только одинъ онъ. Какъ жалокъ этотъ несчастный мученикъ своей извращенной и ограниченной натуры въ послѣднемъ его объясненіи съ Наденькой и потомъ разговорѣ съ дядею! Страданія его невыносимы; онъ не можетъ не согласиться съ доводами дяди и между тѣмъ все-таки не можетъ понять дѣло въ его настоящемъ свѣтѣ. Какъ! Ему унизиться до такъ называемыхъ хитростей, — ему, который затѣмъ и полюбилъ, чтобъ удивить себя и міръ своею громадною страстью, хотя міръ и не думалъ заботиться ни о немъ, ни о его любви! По его теоріи, судьба должна была послать ему такую же великую героиню, какъ онъ самъ, и вмѣсто этого послала легкомысленную дѣвчонку, бездушную кокетку! Наденька, которая была еще недавно въ глазахъ его выше всѣхъ женщинъ, теперь вдругъ стала ниже всѣхъ ихъ! Все это было бы очень смѣшно, если бъ не было такъ грустно. Ложныя причины производятъ такія же мучительныя страданія, какъ и истинныя. Но вотъ мало-по-малу онъ перешелъ отъ мрачнаго отчаянія къ холодному унынію и, какъ истинный романтикъ, началъ щеголять и кокетничать «своею нарядною печалью». Прошелъ годъ, и онъ уже презираетъ Наденьку, говоря, что въ ея любви не было нисколько героизма и самоотверженія. На вопросъ тетки: какой любви потребовать бы онъ отъ женщины? — онъ отвѣчалъ: «Я бы потребовалъ отъ нея первенства въ ея сердцѣ; любимая женщина не должна замѣчать, видѣть другихъ мужчинъ, кромѣ меня; всѣ они должны казаться ей невыносимы; я одинъ выше, прекраснѣе (тутъ онъ выпрямился), лучше, благороднѣе всѣхъ. Каждый мигъ, прожитый не со мной, для нея — потерянный мигъ; въ моихъ глазахъ, въ моихъ разговорахъ должна она почерпать блаженство и не знать другого; для меня она должна жертвовать всѣмъ: презрѣнными выгодами, расчетами, свергнуть съ себя деспотическое иго матери, мужа, бѣжать, если нужно, на край свѣта, сносить энергически всѣ лишенія, наконецъ, презрѣть саму смерть — вотъ любовь!»

Какъ эта галиматья похожа на слова восточнаго деспота, который говоритъ своему главному евнуху: «Если одна изъ моихъ одалисокъ проговоритъ во снѣ мужское имя, которое будетъ не моимъ, — сейчасъ же въ мѣшокъ и въ море!» Бѣдный мечтатель увѣренъ, что въ его словахъ выразилась страсть, къ которой способны только полубоги, а не простые смертные; и между тѣмъ тутъ выразились только самое необузданное самолюбіе и самый отвратительный эгоизмъ. Ему нужно не любовницу, а рабу, которую онъ могъ бы безнаказанно мучить капризами своего эгоизма и самолюбія. Прежде, чѣмъ требовать такой любви отъ женщины, ему слѣдовало бы спросить себя, способенъ ли самъ заплатить такую же любовью; чувство увѣряло его, что способенъ,

тогда какъ въ этомъ случаѣ нельзя вѣрить ни чувству, ни уму, а только опыту; но для романтиковъ чувство есть единственный непогрѣшительный авторитетъ въ рѣшеніи всѣхъ вопросовъ жизни. Но если бы онъ и былъ способенъ къ такой любви, это бы должно было быть для него причиною бояться любви и бѣжать отъ нея, потому что это — любовь не человѣческая, а звѣриная, взаимное терзаніе другъ друга. Любовь требуетъ свободы; отдаваясь другъ другу по временамъ, любящіеся по временамъ хотятъ принадлежать и самимъ себѣ. Адуевъ требуетъ любви вѣчной, не понимая того, что чѣмъ любовь живѣе, страстнѣе, чѣмъ ближе подходитъ подъ любимый идеалъ поэтовъ, тѣмъ она кратковременнѣе, тѣмъ скорѣе охлаждается и переходитъ въ равнодушіе, а иногда и въ отвращеніе. И наоборотъ, чѣмъ любовь спокойнѣе и тише, т.-е. чѣмъ прозрачнѣе, тѣмъ продолжительнѣе: привычка скрѣпляетъ ее на всю жизнь. Поэтическая, страстная любовь — это цвѣтъ нашей жизни, нашей молодости; ее испытываютъ рѣдкіе, и только одинъ разъ въ жизни, хотя послѣ иные любятъ и еще нѣсколько разъ, да ужъ не такъ, потому что, — какъ сказалъ нѣмецкій поэтъ, — май жизни цвѣтетъ только разъ. Шекспиръ не даромъ заставилъ умереть Ромео и Юлію въ концѣ своей трагедіи: черезъ это они остаются въ памяти читателя героями любви, ея апоэозомъ; оставъ же онъ ихъ въ живыхъ, они представлялись бы намъ счастливыми супругами, которые, сидя вмѣстѣ, зѣваютъ, а иногда и ссорятся, въ чемъ вовсе нѣтъ поэзии.

Но вотъ судьба послала нашему герою именно такую женщину, т.-е. такую же, какъ онъ, испорченную, съ вывороченнымъ наизнанку сердцемъ и мозгомъ. Сначала онъ утопалъ въ блаженствѣ, все забывъ, все бросилъ, съ утра до поздней ночи просиживалъ у нея каждый день. Въ чемъ же заключалось его блаженство?—Въ разговорахъ о своей любви. И этотъ страстный молодой человѣкъ, сидя наединѣ съ прекрасною молодою женщиною, которая его любитъ и которую онъ любилъ, не краснѣлъ, не блѣднѣлъ, не замиралъ отъ томительныхъ желаній; ему довольно было разговоровъ о взаимной ихъ любви!.. Это, впрочемъ, понятно: сильная склонность къ идеализму и романтизму почти всегда свидѣтельствуетъ объ отсутствіи темперамента; эти люди безполюе, то же, что въ царствѣ растений тайнобрачные грибы, напимѣръ. Мы понимаемъ это трепетное, робкое обожаніе женщины, въ которое не входитъ ни одно дерзкое желаніе, но это не платонизмъ: это первый моментъ первой свѣжей, дѣвственной любви; это не отсутствіе страсти, а страсть, которая еще боится сказать самой себѣ. Съ этого начинается первая любовь, но остановиться на этомъ такъ же смѣшно и глупо, какъ захотѣть остаться на всю жизнь ребенкомъ и ѣздить верхомъ на палочкѣ. Любовь имѣетъ свои законы

развитія, свои возрасты, какъ цвѣты, какъ жизнь человѣческая. У нея есть своя роскошная весна, свое жаркое лѣто, наконецъ осень, которая для однихъ бываетъ теплою, свѣтлою и плодородною, для другихъ—холодною, гнилою и безплодною. Но нашъ герой не хотѣлъ знать законовъ сердца, природы, дѣйствительности, онъ сочинилъ для нихъ свои собственные, онъ гордо признавалъ существующій міръ призракомъ, а созданный его фантазіею призракъ—дѣйствительно существующимъ міромъ. На зло возможности, онъ упорно хотѣлъ оставаться въ первомъ моментѣ любви на всю жизнь свою. Однакожъ сердечныя изліянія съ Тафаевой скоро начали утомлять его; онъ думалъ поправить дѣло предложеніемъ жениться. Коли такъ, то надо бы было поторопиться; но онъ только думалъ, что рѣшился, а въ самомъ-то дѣлѣ ему только былъ пужень предметъ для новыхъ мечтаній. Между тѣмъ Тафаева начала смертельно надоѣдать ему своей привязчивой любовью; онъ началъ тиранить ее самымъ грубымъ и отвратительнымъ образомъ за то, что уже не любила ея. Еще прежде этого онъ уже начиналъ понимать, что свобода въ любви вещь недурная, что пріятно бывать у любимой женщины, но также пріятно быть въ правѣ пройтись по Невскому, когда хочется, отоѣхать съ знакомыми и друзьями, провести съ ними вечеръ, что, наконецъ, при любви можно не бросать и службы. Измучивши бѣдную женщину самымъ варварскимъ образомъ, взваливши на нее всю вину въ несчастіи, въ которомъ онъ былъ виноватъ гораздо больше ея, онъ рѣшился, наконецъ, сказать себѣ, что онъ ея не любитъ и что ему пора покончить съ ней. Такимъ образомъ его глупый идеалъ любви былъ вдребезги разбитъ опытомъ. Онъ самъ увидѣлъ свою несостоятельность передъ любовью, о которой мечталъ всю жизнь свою. Онъ увидѣлъ ясно, что онъ вовсе не герой, а самый обыкновенный человѣкъ, хуже тѣхъ, кого презиралъ, что онъ самолюбивъ безъ достоинствъ, требователенъ безъ правъ, заносчивъ безъ силы, гордъ и падуть собою безъ заслуги, неблагодаренъ, эгоистъ. Это открытіе словно громомъ пришибло его, но не заставило его искать примиренія съ жизнью, пойти настоящимъ путемъ. Онъ впалъ въ мертвую апатію и рѣшился отомстить за свое ничтожество природѣ и человѣчеству, связавшись съ животнымъ Костяковымъ и предавшись пустымъ удовольствіямъ, безъ всякой охоты къ нимъ. Последняя его любовная исторія гадка. Онъ хотѣлъ погубить бѣдную страстную дѣвушку, такъ, отъ скуки, и не могъ бы въ этомъ покушеніи оправдаться даже бѣшенствомъ чувственныхъ желаній, хотя и это плохое оправданіе, особенно когда есть для этого путь болѣе прямой и честный. Отецъ дѣвушки далъ ему урокъ, страшный для его самолюбія; онъ обѣщалъ поколотить его; герой нашъ хотѣлъ съ отчаянія бро-

ситься въ Неву, по струсилъ. Концертъ, на который затащила его тетка, расшевелилъ въ немъ прежнія мечтанія и вызвалъ его на откровенное объясненіе съ теткою и дядею. Здѣсь онъ обвинялъ дядю во всѣхъ своихъ несчастіяхъ. Дядя по-своему, дѣйствительно, кое въ чемъ сильно ошибался, но онъ былъ тутъ самымъ собою, не лгалъ; не притворялся; говорилъ по убѣжденію, что думалъ и чувствовалъ; если слова его подѣйствовали на племянника болѣе вредно, нежели полезно, въ этомъ виновата ограниченная, болѣзненная и поврежденная натура нашего героя. Это одинъ изъ тѣхъ людей, которые иногда и видятъ истину, но, рванувшись къ ней, или не допрыгиваютъ до нея, или перепрыгиваютъ черезъ нее, такъ что бываютъ только около нея, но никогда — въ ней. Выѣзжая изъ Петербурга въ деревню, онъ расквитался съ нимъ фразами и стихами и прочелъ стихотвореніе Пушкина: «Художникъ варваръ кистью сонной»... Эти господа ни на часъ безъ монологовъ и стиховъ — такіе болтуны!

Онъ пріѣхалъ въ деревню живымъ трупомъ; нравственная жизнь была въ немъ совершенно парализована; самая наружность его сильно измѣнилась, мать едва узнала его. Съ нею онъ обошелся почтительно, но холодно, ничего ей не открылъ, не объяснилъ. Онъ, наконецъ, понималъ, что между нимъ и ею нѣтъ ничего общаго, что если бъ онъ сталъ ей объяснять, куда дѣвались его волосы, она поняла бы это такъ же, какъ Евсей и Аграфена. Ласки и угожденіе матери скоро стали ему въ тягость. Мѣста—свидѣтели его дѣтства—расшевелили въ немъ прежнія мечты, и онъ началъ хныкать о ихъ невозвратной потерѣ, говоря, что счастье — въ обманахъ и призракахъ. Это общее убѣжденіе всѣхъ дряхлыхъ, безсильныхъ, недокоцненныхъ натуръ. Вѣдь, кажется, опытъ достаточно показалъ ему, что всѣ его несчастія произошли именно оттого, что онъ предавался обманамъ и мечтамъ: воображалъ, что у него огромный поэтическій талантъ, тогда какъ у него не было никакого, что онъ созданъ для какой-то героической и самоотверженной дружбы и колоссальной любви, тогда какъ въ немъ ничего не было героическаго, самоотверженнаго. Это былъ человѣкъ обыкновенный, по вовсе не пошлый. Онъ былъ добръ, любящъ и неглупъ, не лишентъ образованія; всѣ несчастія его произошли оттого, что, будучи обыкновеннымъ человѣкомъ, онъ хотѣлъ разыграть роль необыкновеннаго. Кто въ молодости не мечталъ, не предавался обманамъ, не гонялся за призраками, и кто не разочаровывался въ нихъ, и кому эти разочарованія не стоили сердечныхъ судорогъ, тоски, апатій, и кто потомъ не смѣялся надъ ними отъ всей души? Но здоровымъ натурамъ полезна эта практическая логика жизни и опыта: они отъ нея развиваются и мѣжуютъ нравственно; романтики гибнутъ отъ нея...



Когда мы въ первый разъ читали письмо нашего героя къ теткѣ и дядѣ, писанное послѣ смерти его матери и неполненное душевнаго спокойствія и здраваго смысла,—это письмо подѣйствовало на насъ какъ-то странно; но мы объяснили его себѣ такъ, что авторъ хочетъ послать своего героя снова въ Петербургъ затѣмъ, чтобы тотъ новыми глупостями достойно заключилъ свое донкихотское поприще. Письмомъ этимъ заключается вторая часть романа; эпилогъ начинается черезъ четыре года послѣ вторичнаго приѣзда нашего героя въ Петербургъ. На сценѣ Петръ Ивановичъ. Это лицо введено въ романъ не само для себя, а для того, чтобы своей противоположностью съ героемъ романа лучше отгѣнить его. Это набросило на весь романъ нѣсколько дидактическій отгѣнокъ, въ чемъ многіе не безъ основанія упрекали автора. Но авторъ умѣлъ и тутъ показать себя человекомъ съ необыкновеннымъ талантомъ. Петръ Ивановичъ — не абстрактная идея, а живое лицо, фигура, нарисованная во весь ростъ кистью смѣлою, широкою и вѣрною. О немъ, какъ о человѣкѣ, судятъ или слишкомъ хорошо, или слишкомъ дурно и въ обоихъ случаяхъ ошибочно. Одни хотятъ видѣть въ немъ какой-то идеалъ, образецъ для подражанія: это люди положительные и разсудительные. Другіе видятъ въ немъ чуть не изверга: это мечтатели. Петръ Ивановичъ по-своему человѣкъ очень хорошій; онъ умелъ, очень умелъ, потому что хорошо понимаетъ чувства и страсти, которыхъ въ немъ нѣтъ и которыя онъ презираетъ; существо вовсе не поэтическое, онъ понимаетъ поэзію въ тысячу разъ лучше своего племянника, который изъ лучшихъ произведеній Пушкина какъ-то ухитрился набраться такого духа, какого можно было бы набраться изъ сочиненій фразеровъ и риторовъ. Петръ Ивановичъ эгоистъ, холоденъ по натурѣ, неспособенъ къ великодушнымъ движеніямъ; но, вмѣстѣ съ этимъ, онъ не только не золъ, но положительно добръ. Онъ честенъ, благороденъ, не лицемеръ, не притворщикъ, на него можно положиться, онъ не обѣщаетъ, чего не можетъ или не хочетъ сдѣлать, а что обѣщаетъ, то непременно сдѣлаетъ. Словомъ, это—въ полномъ смыслѣ порядочный человѣкъ, какихъ, дай Богъ, чтобъ было больше. Онъ составилъ себѣ непреложныя правила для жизни, сообразуясь съ своею натурою и здравымъ смысломъ. Онъ ими не гордился и не хвастался, но считалъ ихъ непогрѣшительно вѣрными. Дѣйствительно, мантия его практической философіи была сшита изъ прочной и крѣпкой матеріи, которая хорошо могла защищать его отъ невзгодъ жизни. Каковы же были его изумленіе и ужасъ, когда, доживъ до боли въ поясницѣ и до сѣдыхъ волосъ, онъ вдругъ замѣтилъ въ своей мантии прорѣху—правда, одну только, но зато какую широкую. Онъ не хлопоталъ о семейственномъ счастьи, но былъ увѣренъ, что утвер-

диль свое семейственное положеніе на прочномъ основаніи,—и вдругъ увидѣлъ, что бѣдная жена его была жертвою его мудрости, что онъ заѣлъ ея вѣкъ, задушилъ ее въ холодной и тѣспой атмосферѣ.

Какой урокъ для людей положительныхъ, представителей здраваго смысла! Видно, человѣку нужно и еще чего-нибудь немножко, кромѣ здраваго смысла! Видно, на границахъ-то крайностей больше всего и стережетъ насъ судьба. Видно, и страсти необходимы для полноты человѣческой натуры, и не всегда можно безнаказанно навязывать другому то счастье, которое только насъ можетъ удовлетворить, но всякій человѣкъ можетъ быть счастливымъ только сообразно съ собственною натурою! Петръ Ивановичъ хитро и тонко расчелъ, что ему надо овладѣть понятіями, убѣжденіями, склонностями своей жены, не давая ей этого замѣтить, вести ее по дорогѣ жизни, но такъ, чтобъ она думала, что сама идетъ; но онъ сдѣлалъ въ этомъ расчетѣ одну важную ошибку; при всемъ своемъ умѣ онъ не сообразилъ, что для этого надо было выбрать жепу, чуждую всякой страстности, всякой потребности любви и сочувствія, холодную, добрую, вялую, всего лучше пустую, даже немножко глупую. Но на такой онъ, можетъ-быть, не захотѣлъ бы жениться, по самолюбію; въ такомъ случаѣ ему слѣдовало вовсе не жениться.

Петръ Ивановичъ выдержанъ отъ начала до конца съ удивительною вѣрностью; но героя романа мы не узнаемъ въ эпилогѣ: это лицо фальшивое, неестественное. Такое перерожденіе для него было бы возможно только тогда, если бъ онъ былъ обыкновенный болтунъ и фразеръ; который повторяетъ чужія слова, не понимая ихъ, наклепываетъ на себя чувства, восторги и страданія, которыхъ никогда не испытывалъ; но молодой Адуевъ, къ его несчастью, часто бывалъ слишкомъ искрененъ въ своихъ заблужденіяхъ и цѣлпостяхъ. Его романтизмъ былъ въ его натурѣ; такіе романтики никогда не дѣлаются положительными людьми. Авторъ имѣлъ бы скорѣе право заставить своего героя загдохнуть въ деревенской дичи въ апатіи и лѣни, нежели заставить его выгодно служить въ Петербургѣ и жениться на большомъ приданомъ. Еще бы лучше и естественнѣе было ему сдѣлать его мистикомъ, фанатикомъ, сектантомъ; но всего лучше и естественнѣе было бы ему сдѣлать его, напр., славянофиломъ. Тутъ Адуевъ остался бы вѣрнымъ своей натурѣ, продолжалъ бы старую свою жизнь и между тѣмъ думалъ бы, что онъ и Богъ знаетъ какъ ушелъ впередъ, тогда какъ, въ сущности, онъ только бы перенесъ старыя знамена своихъ мечтаній на новую почву. Прежде онъ мечталъ о славѣ, о дружбѣ, о любви, а тутъ сталъ бы мечтать о народахъ и племенахъ, о томъ, что на долю славянъ досталась любовь, а на долю тевтоновъ—вражда, о томъ, что во времена Гостомысла славяне

имѣли высшую и образцовую для всего міра цивилизацію, что современная Россія быстро идетъ къ этой цивилизаціи, что этого не видятъ только слѣпые и ожесточенные разсудкомъ, а всѣ зрячіе и размягченные фантазіею давно это ясно видятъ. Тогда бы герой былъ вполне современнымъ романтикомъ, и никому бы не вошло въ голову, что люди такого закала теперь уже не существуютъ...

Придуманная авторомъ развязка романа портитъ впечатлѣніе всего этого прекраснаго произведенія, потому что она неестественна и ложна. Въ эпилогѣ хороши только Петръ Ивановичъ и Лизавета Александровна до самаго конца; въ отношеніи же къ герою романа, эпилогъ хотъ не читать... Какъ такой сильный талантъ могъ впасть въ такую странную ошибку? Или онъ не совладалъ съ своимъ предметомъ? Ничуть не бывало! Авторъ увлекся желаніемъ попробовать свои силы на чуждой ему почвѣ—на почвѣ сознательной мысли—и пересталъ быть поэтомъ. Здѣсь всего яснѣе открывается различіе его таланта съ талантомъ Искандера: тотъ и въ сферѣ чуждой для его таланта дѣйствительности умѣлъ вынутаться изъ своего положенія силою мысли; авторъ «Обыкновенной исторіи» впалъ въ важную ошибку именно оттого, что оставилъ на минуту руководство непосредственнаго таланта. У Искандера мысль всегда впереди, онъ впередъ знаетъ, что и для чего пишетъ; онъ изображаетъ съ поразительною вѣрностью сцену дѣйствительности для того только, чтобы сказать о ней свое слово, произнести судъ. Г. Гончаровъ рисуетъ свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею способностью рисовать; говорить и судить, и извлекать изъ нихъ нравственныя слѣдствія ему надо предоставить своимъ читателямъ. Картины Искандера отличаются не столько вѣрностью рисунка и тонкостью кисти, сколько глубокимъ знаніемъ изображаемой имъ дѣйствительности: онъ отличается больше фактической, нежели поэтической, истиною, увлекательны слогомъ не столько поэтическимъ, сколько исполненнымъ ума, мысли, юмора и остроумія,—всегда поражающими оригинальностью и новостью. Главная сила таланта г. Гончарова—всегда въ изящности и тонкости кисти, вѣрности рисунка; онъ неожиданно впадаетъ въ поэзію даже въ изображеніи мелочныхъ и постороннихъ обстоятельствъ, какъ, напримѣръ, въ поэтическомъ описаніи процесса горѣнія въ каминѣ сочиненій молодого Адуева. Въ талантѣ Искандера поэзія—агентъ второстепенный, а главный—мысль; въ талантѣ г. Гончарова поэзія—агентъ первый, главный и единственный...

Несмотря на неудачный или, лучше сказать, на испорченный эпилогъ, романъ г. Гончарова остается однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы. Къ особеннымъ его достоинствамъ

принадлежитъ, между прочимъ, языкъ чистый, правильный, легкій, свободный, льющійся. Разсказъ г. Гончарова, въ этомъ отношеніи,— не печатная книга, а живая импровизація. Нѣкоторые жаловались на длинноту и утомительность разговоровъ между дядею и племянникомъ. Но для насъ эти разговоры принадлежатъ къ лучшимъ сторонамъ романа. Въ нихъ нѣтъ ничего отвлеченнаго, пенидущаго къ дѣлу; это—не диспуты, а живые, страстные, драматическіе споры, гдѣ каждое дѣйствующее лицо высказываетъ себя, какъ человѣка и характеръ, отстаиваетъ, такъ сказать, свое нравственное существованіе. Правда, въ такого рода разговорахъ, особенно при легкомъ, дидактическомъ колоритѣ, наброшенномъ на романъ, всего легче было споткнуться хоть какому таланту; но тѣмъ больше чести г. Гончарову, что онъ такъ счастливо рѣшилъ трудную самое по себѣ задачу и остался поэтомъ тамъ, гдѣ такъ легко было сбиться на тонъ резонера.

*Бѣлинскій.*

### „Обломовъ“ Гончарова.

Трудно пересчитать всѣ шансы, собранные противъ этого художественнаго созданія. Оно печаталось помѣсячно, стало-быть, прерывалось три или четыре раза. Первая часть, всегда такая важная, особенно важная при печатаніи романа въ раздробленномъ видѣ, была слабѣе всѣхъ остальныхъ частей. Въ этой первой части авторъ согрѣшилъ тѣмъ, что, повидимому, никогда не прощаетъ читатель, бѣдностью дѣйствія; всѣ прочли первую часть, замѣтили ея слабую сторону, а между тѣмъ продолженіе романа, такъ богатое жизнью и такъ мастерски построенное, еще лежало въ типографіи! Люди, знавшіе весь романъ, восхищенные имъ до глубины души, въ теченіе долгихъ дней трепетали за Гончарова; что же долженъ былъ переживать самъ авторъ, пока рѣшилась судьба книги, которую онъ болѣе десяти лѣтъ носилъ въ своемъ сердцѣ? Но опасенія были напрасны. Жажда свѣта и поэзіи взяла свое въ молодомъ читающемъ мірѣ. Наперекоръ всѣмъ препятствіямъ, «Обломовъ» побѣдоносно захватилъ собою всѣ страсти, все вниманіе, всѣ помыслы читателей. Въ какихъ-то пароксизмахъ наслажденія всѣ грамотные люди прочли «Обломова». Толпы людей, какъ будто чего-то ждавшихъ, шумно кинулись къ «Обломову». Безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что въ настоящую минуту по всей Россіи нѣтъ ни одного малѣйшаго, безуѣднаго, заштатнѣйшаго города, гдѣ бы не читали «Обломова», не хвалили «Обломова», не спорили объ «Обломовѣ».

Въ писателѣ, подарившемъ нашей словесности «Обыкновенную исторію» и «Обломова», мы всегда видѣли и видимъ теперь одного

изъ сильнѣйшихъ современныхъ русскихъ художниковъ—съ такимъ сужденіемъ, безъ сомнѣнія, согласится всякій человекъ, умѣющій съ толкомъ читать по-русски. Объ особенностяхъ гончаровскаго дарованія тоже большихъ споровъ быть не можетъ. Авторъ «Обломова», вмѣстѣ съ другими первоклассными представителями родного искусства,—есть художникъ чистый и независимый, художникъ по призванію и по всей цѣлости того, что имъ сдѣлано. Онъ — реалистъ, по его реализмъ постоянно согрѣтъ глубокой поэзіею; по своей наблюдательности и манерѣ творчества онъ достоинъ быть представителемъ самой натуральной школы, между тѣмъ какъ его литературное воспитаніе и вліяніе поэзіи Пушкина, любимѣйшаго изъ его учителей, навѣки отдѣляютъ отъ Гончарова самую возможность *безплодной* и сухой натуральности. Въ нашей рецензіи, о которой упоминалось выше, мы проводили подробную параллель между талантомъ Гончарова и талантами первоклассныхъ живописцевъ фламандской школы; параллель, какъ намъ и теперь кажется, даетъ вѣрный ключъ къ уразумѣнію заслугъ, достоинствъ и даже недостатковъ нашего автора. Подобно фламандцамъ, Гончаровъ націоналенъ, неотступенъ въ разѣ принятой задачѣ и поэтиченъ въ малѣйшихъ подробностяхъ созданія. Подобно имъ, онъ крѣпко держится за окружающую его дѣйствительность, твердо вѣруя, что нѣтъ въ мірѣ предмета, который не могъ бы быть возведенъ въ поэтическое представленіе силой труда и дарованія. Какъ художникъ фландрецъ, Гончаровъ не путается въ системахъ и не рвется въ области ему чуждыя. Какъ Доу, Ванъ-деръ-Нээръ и Остадъ, онъ знаетъ, что ему незачѣмъ ходить далеко за предметами творчества. Простой и даже какъ будто скупой на вымыслъ, подобно тремъ сейчасъ нами названнымъ великимъ людямъ, Гончаровъ, подобно имъ, не выдаетъ всей своей глубины поверхностному наблюдателю. Но подобно имъ, онъ является глубже и глубже съ каждымъ внимательнымъ взглядомъ, подобно имъ, онъ ставитъ передъ наши глаза цѣлую жизнь данной сферы, данной эпохи и даннаго общества,—для того, чтобъ, подобно имъ же, навсегда остаться въ исторіи искусства и освѣщать яркимъ свѣтомъ моменты дѣйствительности, имъ уловленной.

Несмотря на нѣкоторые несовершенства выполненія, о которыхъ мы будемъ говорить ниже, — невзирая на видимое во всемъ несогласіе первой части романа со всемъ послѣдующимъ, лицо Ильи Ильича Обломова, вмѣстѣ съ міромъ, его окружающимъ, какъ нельзя болѣе подтверждаетъ собой все нами сейчасъ сказанное о дарованіи Гончарова. Обломовъ и обломовщина: эти слова не даромъ облетѣли всю Россію и сдѣлались словами, навсегда укоренившимися въ нашей рѣчи. Они разъяснили намъ цѣлый кругъ явленій современнаго намъ обще-



ства; они поставили передъ нами цѣлый міръ идей, образовъ и подробностей, еще недавно нами не вполне сознанныхъ, являвшихся намъ какъ будто въ туманѣ. Силой своего труда человѣкъ съ глубокимъ поэтическимъ дарованіемъ сдѣлалъ для извѣстнаго отдѣла нашей современной жизни то, что сдѣлали родственные ему фламандцы со многими сторонами своей родной дѣйствительности. Обломова изучилъ и узналъ цѣлый народъ, по преимуществу богатый обломовщиной,—и мало того, что узналъ, но полюбилъ его всѣмъ сердцемъ, потому что невозможно узнать Обломова и не полюбить его глубоко. Напрасно и до сей поры многія нѣжныя дамы смотрять на Илью Ильича какъ на существо, достойное посмѣянія, — напрасно многіе люди съ черезчуръ практическими стремленіями усиливаются презирать Обломова и даже звать его улиткою: весь этотъ строгій судъ надъ героемъ показываетъ поверхностную и быстро преходящую придирчивость. Обломовъ любезенъ всѣмъ намъ и стоитъ безпредѣльной любви — это фактъ, и противъ него спорить невозможно. Самъ его творецъ безпредѣльно преданъ Обломову, и въ этомъ вся причина глубины его созданія. Обвинить Обломова за его обломовскія качества не значитъ ли то же самое, что сердиться на то, зачѣмъ добрыя и пухлыя лица фламандскихъ бургомистровъ, на фламандскихъ картинахъ, не украшены черными глазами неаполитанскихъ рыбаковъ или римлянъ изъ Трапестере? Метать громы на общество, рождающее Обломовыхъ, по нашему мнѣнію то же самое, что сердиться за недостатокъ снѣговыхъ горъ въ картинахъ Рюйздаля. Развѣ мы не видимъ съ разительной ясностью, что въ этомъ дѣлѣ вся сила поэта порождена его твердымъ, неуклоннымъ отношеніемъ къ дѣйствительности, помимо всѣхъ прикрасъ и сентиментальностей? Крѣпко держась за дѣйствительность и разработывая ее до глубины, еще никѣмъ неизвѣданной, творецъ «Обломова» добился до всего, что истинно, поэтично и вѣковѣчно въ его созданіи. Скажемъ болѣе, черезъ свой фламандскій, неотступный трудъ онъ далъ намъ ту любовь къ своему герою, про которую мы говоримъ и говорить будемъ. Не спустился Гончаровъ такъ глубоко въ нѣдра обломовщины, та же обломовщина, въ ея неполной разработкѣ, могла бы намъ показаться грустною, бѣдною, жалкою, достойною пустого смѣха. Теперь надъ обломовщиной можно смѣяться, но смѣхъ этотъ полонъ чистой любви и честныхъ слезъ, — о ея жертвахъ можно жалѣть, но такое сожалѣніе будетъ поэтическимъ и свѣтлымъ, ни для кого не унижительнымъ, но для многихъ высокимъ и мудрымъ сожалѣніемъ.

Новый романъ Гончарова, какъ это извѣстно всякому, кто прочелъ его въ «Отечественныхъ Запискахъ», распадается на два неравные отдѣла.

Подъ первую частью его, если не ошибаемся, подписанъ 1849 г., подъ остальными тремя 1857 и 58. Итакъ, почти десять лѣтъ отдѣляютъ первоначальный, многотрудный и еще не вполне высказавшійся смыслъ отъ его зрѣлаго осуществленія. Между Обломовымъ, который безжалостно мучитъ своего Захара, и Обломовымъ, влюбленнымъ въ Ольгу, можетъ, лежить цѣлая пропасть, которой никто не въ силахъ уничтожить. Насколько Илья Ильичъ, валяющійся на диванѣ между Алексѣевымъ и Тарантьевымъ, кажется намъ заплѣснѣвшимъ и почти гадкимъ, настолько тотъ же Илья Ильичъ, самъ разрушающій любовь избранной имъ женщины и плачущій надъ обломками своего счастья, глубоко, трогателенъ и симпатиченъ въ своемъ грустномъ комизмѣ. Черты, лежащей между этими двумя героями, нашъ авторъ не былъ въ силахъ сгладить. Всѣ его старанія въ этой части пропали даромъ — какъ всѣ художники по натурѣ, нашъ авторъ безсиленъ вездѣ, гдѣ требуется *дѣланная* работа, то-есть сглаживанія, притягиванія, объясненія, — однимъ словомъ, то, что легко дается талантамъ обыкновеннымъ. Поработавъ и тяжело поработавъ надъ невозможной задачею, Гончаровъ, наконецъ, убѣдился, что ему не сгладить черты, нами указанной, не загрузить пропасти, лежащей между двумя Обломовыми. На пропасти этой лежала одна *planche de salut*, одна переходная доска: неподражаемый сонъ Обломова. Всѣ усилія прибавить къ ней что-нибудь оказались тщетными, пропасть оставалась прежней пропастью. Убѣдясь въ этомъ, авторъ романа махнулъ рукой и подписалъ подъ первой частью романа все объясняющую цифру 49 года. Этимъ онъ высказалъ свое положеніе и откровенно отдавалъ себя, какъ художника, на судъ публики. Успѣхъ «Обломова» былъ ему отвѣтомъ — читатель прощалъ несовершенства частныя за наслажденія, доставленныя ему цѣлымъ твореніемъ. Не будемъ же и мы чрезмерно взыскательными, а лучше воспользуемся распаденіемъ романа на двѣ части, чтобы по обѣимъ прослѣдить любопытный процессъ творчества, выданный намъ по поводу самого Обломова и обломовщины, его окружающей.

Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что первыя отношенія поэта къ могущественному типу, завладѣвшему всѣми его помыслами, были вначалѣ далеко не дружественными отношеніями. Не ласку и не любовь встрѣтилъ Илья Ильичъ, еще не созрѣлый, еще не живой Илья Ильичъ, въ душѣ своего художника. Время передъ 1849 годомъ не было временемъ поэтической независимости и безпристрастія во взглядахъ при всей самостоятельности Гончарова, онъ все же былъ писателемъ и сыномъ своего времени. Обломовъ жилъ въ немъ, занималъ его мысли, но еще являлся своему поэту въ видѣ явленія отрицательнаго, достойнаго казни и по временамъ почти ненавистнаго.

Во всѣхъ первыхъ главахъ романа, до самаго «Сна», Гончаровъ откровенно выводитъ передъ нами того героя, который ему сказывался прежде, того Илью Ильича, который представлялся ему, какъ уродливое явленіе уродливой русской жизни. Этотъ Обломовъ *embrio* достаточно обработанъ, достаточно объективенъ для того, чтобы дѣйствовать на два или на три тома, достаточно вѣренъ для того, чтобы освѣтить собою многія темныя стороны современнаго общества, но, Боже мой, какъ далекъ онъ отъ теперешняго, сердцу милого, Обломова, этотъ засаленный, нескладный кусокъ мяса, посящій тоже имя Обломова въ первыхъ главахъ романа! Какимъ эгоизмомъ безобразнаго холостяка пропитано это существо, какъ оно мучитъ всѣхъ его окружающихъ, какъ оскорбительно-равнодушно оно ко всему унижительному, какъ лѣниво-враждебно къ тому, что только выходитъ изъ его узенькой сферы. Злая и противная сторона обломовщины исчерпана вся, — но гдѣ же ея, впослѣдствіи проявившаяся, поэзія, гдѣ ея кротость, гдѣ ея комическая грація, гдѣ ея откровенное сознаніе своихъ слабостей, гдѣ ея примиряющая сторона, успокоивающая сердце и, такъ сказать, узаконяющая незаконное? Въ 1849 г. при дидактическихъ стремленіяхъ словесности и при крайне стѣсненной возможности проявлять эти стремленія — Обломовъ *embrio* могъ бы восхитить собою читателя и цѣнителя. Какіе громы метались бы на него критиками, какіе сумрачные толки раздались бы о средѣ, рождающей Обломовыхъ! Гончаровъ могъ бы явиться обвинителемъ тяжкихъ недуговъ общественныхъ, ко всеобщему удовольствію и даже къ небольшой пользѣ людей, стремящихся либеральничать, не подвергаясь большой опасности, и показать кукишъ обществу въ надеждѣ на то, что кукишъ этотъ именно не будетъ примѣченъ тѣми, кто не любитъ показанныхъ кукишей. Но подобнаго успѣха нашему автору было бы слишкомъ мало. Отталкивающій и непроевѣтленный поэзію Обломовъ не удовлетворялъ идеалу, столько времени имъ носимому въ сердцѣ. Голосъ поэзіи говорилъ ему: иди дальше ищи глубже.

«Сонъ Обломова» — этотъ великолѣпнѣйшій эпизодъ, который останется въ нашей словесности на вѣчныя времена, былъ первымъ, могущественнымъ шагомъ къ уясненію Обломова съ его обломовщиной. Романистъ, жаждущій разгадки вопросамъ, занесеннымъ въ его душу его же созданіемъ, потребовалъ отвѣта на эти вопросы; за отвѣтами обратился онъ къ тому источнику, къ которому ни одинъ человѣкъ съ истиннымъ дарованіемъ не обращается напрасно. Ему надобно было, наконецъ, узнать, изъ-за какой же причины Обломовъ владѣетъ его помыслами, отчего ему милъ Обломовъ, изъ-за чего онъ недоволенъ первоначальнымъ объективно-вѣрнымъ, но неполнымъ, не

высказывающимъ его помысловъ Обломовымъ. Конечнаго слова на свои колебанія Гончаровъ сталъ выпрашивать у поэзіи русской жизни, у своихъ воспоминаній дѣтства и, разъясняя прошлую жизнь своего героя, со всей свободою погрузился въ ту сферу, которая ее окружала.

Слѣдомъ за Пушкинымъ, своимъ учителемъ, по примѣру Гоголя, своего старшаго товарища, онъ ласково отнесся къ жизни дѣйствительной и отнесся не напрасно. «Сонъ Обломова» не только освѣтилъ, уяснилъ и разумно опозитизировалъ все лицо героя, но еще тысячею невидимыхъ скрѣпъ связалъ его съ сердцемъ каждаго русскаго чело-вѣка. Въ этомъ отношеніи «Сонъ», самъ по себѣ разительный, какъ отдѣльное художественное созданіе, еще болѣе поражаетъ своимъ значеніемъ во всемъ романѣ. Глубокій по чувству, его внушившему, свѣтлый по смыслу въ немъ заключенному, онъ въ одно время и поясняетъ, и просвѣтляетъ собою то типическое лицо, въ которомъ сосредоточивается интересъ всего произведенія. Обломовъ, безъ своего «Сна», былъ бы созданіемъ неоконченнымъ, пероднымъ всякому изъ насъ, какъ теперь «Сонъ» его разъясняетъ всѣ наши недоумѣнія и, не давая намъ ни одного голаго толкованія, повелѣваетъ намъ понимать и любить Обломова. Нужно ли говорить о чудесахъ тонкой поэзіи, о лучезарномъ свѣтѣ правды, съ помощью которыхъ происходитъ это сближеніе между героемъ и его цѣнителями? Тутъ нѣтъ ничего лишняго, тутъ не найдете вы неясной черты или слова, сказаннаго попусту: всѣ мелочи обстановки необходимы, всѣ законны и прекрасны. Описанъ Суловъ, на крыльцо котораго можно было по-пасть не иначе, какъ ухватясь одной рукой за траву, а другою за кровлю избы — любезенъ намъ и необходимъ въ этомъ дѣлѣ уясне-нія. Заспавшій челядинецъ, дующій спросонья на квасъ, въ кото-ромъ сильно шевелятся утопающія мухи, и собака, признавшая бѣ-шеною за то только, что бросилась бѣжать отъ людей, собравшихся на нее съ вилами и топорами, и няня, засыпающая послѣ жирнаго обѣда съ предчувствіемъ, что Пльюша пойдетъ затрогивать козла и лазить на галерею, и сотня другихъ обворожительныхъ подробностей здѣсь необходимы, ибо содѣйствуютъ цѣлости и высокой поэзіи глав-ной задачи. Тутъ средство Гончарова съ фламандскими мастерами бьетъ въ глаза, сказывается во всякомъ образѣ. Или для празднои потѣхи всякіе художники, нами упомянутые, громоздили на свое по-лотно множество мелкихъ деталей? Или по бѣдности воображенія они тратили жаръ цѣлаго творческаго часа надъ какой-нибудь травкою, лу-ковницей, болотной кочкой, на которую падаетъ лучъ заката, надъ кру-жевнымъ воротничкомъ на камзолѣ тучнаго бургомистра? Если такъ, то отчего же они велики, почему они поэтичны, почему детали ихъ

созданій элиты съ цѣлостію впечатлѣнія, не могутъ быть оторваны отъ идеи картины? Какъ же произошло, что эти истинные художники, такъ зоркіе на поэзію, до такой степени освѣтившіе, опознировавшіе жизнь своего родного края, бросились въ мелочи, сидѣли надъ подробностями? Видно, въ названныхъ нами мелочахъ и подробностяхъ таилось нѣчто большее, чѣмъ о томъ думаетъ иной близорукой составитель хитрыхъ теорій. Видно, трудъ надъ деталями былъ необходимъ и важенъ для уловленія тѣхъ высшихъ задачъ искусства, на которыхъ все зиждется, отъ которыхъ все питается и вырастаетъ. Видно, творя малую частности, художникъ не даромъ отдавался ей всей душою своею, и, должно-быть, творческій духъ его отражался во всякой подробности мощнаго произведенія такъ, какъ солнце отражается въ малой каплѣ воды — по словамъ оды, которую мы учили пазууетъ еще ребятишкамъ.

Итакъ, «Сонъ Обломова» расширилъ, узаконилъ и уяснилъ собой многозначительный типъ героя, но этого еще не было достаточно для полноты созданія. Новымъ и послѣднимъ, рѣшительнымъ шагомъ въ процессѣ творчества было созданіе Ольги Ильинской — созданіе, до того счастливое, что мы, не обинуясь, назовемъ первую мысль о немъ краугольнымъ камнемъ всей обломовской драмы, самой счастливою мыслью во всей дѣятельности нашего автора. Даже оставивши въ сторонѣ всю прелесть исполненія, всю художественность, съ которою обработано лицо Ольги, мы не найдемъ достаточныхъ словъ, чтобы высказать все благотворное вліяніе этого персонажа на ходъ романа и развитіе типа Обломова. Обломовы выдаютъ всю прелесть, вся слабость и весь грустный комизмъ своей натуры именно черезъ любовь къ женщинѣ. Въ сближеніи этихъ двухъ основныхъ лицъ произведенія все въ высшей степени естественно, каждая подробность удовлетворяетъ взыскательнѣйшимъ требованіямъ искусства, — а между тѣмъ сколько психологической глубины и мудрости черезъ него развивается передъ нами! Какъ живить и наполнять все наши представленія объ Обломовѣ эта милая, горделиво-сильная дѣвушка, какъ сочувствуемъ мы стремленію всего ея существа къ этому незлобивому чудаку, какъ страдаемъ мы ея страданіемъ, какъ надѣемся ея надеждами, хорошо зная ихъ несбыточность. Безподобная, насмѣшливая, бойкая Ольга, съ первыхъ минутъ сближенія, видитъ все смѣшныя особенности героя — не обманываясь нисколько, играетъ ими, почти наслаждается ими и обманывается только въ своихъ расчетахъ на твердыя основы характера Обломова. Все это поразительно вѣрно и вмѣстѣ съ тѣмъ смѣло, потому что до сихъ поръ никто еще изъ поэтовъ не останавливался на великомъ, значеніи пѣжно-комической стороны въ любовныхъ дѣлахъ. Ольга, зоркая дѣвушка, не осталась



слѣпа передъ тѣми сокровищами, что предъ ней открылись. Она поняла Обломова ближе, чѣмъ Штольцъ, чѣмъ всѣ лица, ему преданныя. Она разглядѣла въ немъ и нѣжность врожденную, и чистоту права, и русскую незлобивость, и рыцарскую способность къ преданности, и рѣшительную неспособность на какое-нибудь нечистое дѣло и, наконецъ, разглядѣла въ немъ человѣка оригинальнаго, забавнаго, но чистаго въ своей оригинальности. Разъ ставши на эту точку, художникъ дошелъ до такой занимательности дѣйствія, до такой прелести во всемъ ходѣ событій, что неудавшаяся, печально кончившаяся любовь Ольги и Обломова стала и навсегда останется однимъ изъ обворожительнѣйшихъ эпизодовъ во всей русской литературѣ. Кто изъ стариковъ не зачитывался этихъ страницъ, кто изъ юношей воспринимчивыхъ при чтеніи ихъ не чувствовалъ горячихъ слезъ на своихъ глазахъ? Какой страхъ, соединенный съ улыбкою, возбуждаютъ въ насъ эти безконечно-разнообразныя проявленія обломовщины въ борьбѣ съ истинной, дѣятельной жизнью сердца! Мы знаемъ, что время обновленія упущено, что не Ольгѣ дано поднять Обломова, а между тѣмъ, при всякой коллизіи въ ихъ драмѣ, сердце наше замираетъ отъ неизвѣстности. Чего мы не перечувствовали при всѣхъ перипетіяхъ этой страсти, до страшнаго послѣдняго свиданія съ дѣвушкой! Чего только нѣтъ въ этой борьбѣ свѣта и тѣни — отдающей намъ всего Обломова и сближающей его съ нами такъ, что мы мучимся за него, когда онъ, охая и скучая, пробирается въ оперу съ Выборгской стороны, и озаряемся радостью въ тѣ минуты, когда въ его обломовскомъ, запыленномъ гнѣздѣ, при отчаянномъ лаѣ скачущей на цѣпи собаки, вдругъ является неожиданное видѣніе добраго ангела. Созданіе Ольги такъ полно, и задача, ею выполненная въ романѣ, выполнена такъ богато, что дальнѣйшее поясненіе типа Обломова черезъ другіе персонажи становится роскошью; иногда излишнею. Однимъ изъ представителей этой излишней роскоши является Штольцъ. Мы не видимъ въ немъ ничего несимпатичнаго, а въ созданіи его ничего рѣзко несомвѣстимаго съ законами искусства: это человѣкъ обыкновенный и не мѣтящій въ необыкновенные люди, лицо вовсе не возводимое романистомъ въ идеалъ нашего времени. Весьма подробно и поэтично описывая намъ дѣтство Штольца, Гончаровъ такъ охлаждается къ періоду его зрѣлости, что даже не сообщаетъ намъ, какими именно предпріятіями занимается Штольцъ. Въ Штольцѣ, очевидно, надобность миновала, и созданіе Ольги далеко отгѣснило его и его значеніе въ романѣ. Уясненіе черезъ рѣзкую противоположность двухъ несродныхъ мужскихъ характеровъ стало ненужнымъ: сухой, неблагодарный контрастъ замѣнялся драмой, полною любви, слезъ, смѣха и жалости. За Штольцемъ осталось только нѣкоторое участіе въ механи-

ческомъ ходѣ всей интриги, да еще его безпредѣльная любовь къ особѣ Обломова, въ какой, впрочемъ, у него много соперниковъ.

И въ самомъ дѣлѣ, окиньте весь романъ внимательнымъ взглядомъ, и вы увидите, какъ много въ немъ лицъ, преданныхъ Ильѣ Ильичу и даже обожающихъ его, этого кроткаго голубя, по выраженію Ольги. И Захаръ, и Анисья, и Штольцъ, и Ольга, и вялый Алексѣевъ,—все привлечены прелестью этой чистой и цѣльной натуры, предъ которой одинъ только Тарантьевъ можетъ стоять, не улыбаясь и не чувствуя на душѣ теплоты. Зато холодъ проникаетъ насъ до костей и гроза поднимается въ нашей душѣ въ ту минуту, когда послѣ описанія бесѣды Обломова съ Ольгой, послѣ седьмого неба поэзи, мы узнаемъ, что въ креслахъ Ильи Ильича сидитъ и ждетъ его прихода Тарантьевъ. Къ счастью, на свѣтѣ немного Тарантьевыхъ, и въ романѣ есть кому любить Обломова. Но ничье обожаніе не трогаетъ насъ такъ, какъ любовь Агаѣи Матвѣевны къ Обломову, той самой Пшеницыной, которая съ перваго своего появленія показалась намъ злымъ ангеломъ Ильи Ильича, — и увы!—дѣйствительно сдѣлалась его злымъ гениемъ. Агаѣя Матвѣевна, тихая, преданная, всякую минуту готовая умереть за нашего друга, дѣйствительно загубила его въ концѣ, навалила гробовой камень надъ всеми его стремленіями, вернула его въ зіяющую пучину на мигъ оставленной обломовщины, но этой женщины все будетъ прощено за то, что она много любила. Страницы, въ которыхъ является намъ Агаѣя Матвѣевна, съ самой первой застѣпчивой бесѣды съ Обломовымъ,—верхъ совершенства въ художественномъ отношеніи, но нашъ авторъ, заключая повѣсть, переступилъ всѣ грани своей обычной художественности и далъ намъ такія строки, отъ которыхъ сердце разрывается, слезы льются на книгу и душа зоркаго читателя улетаетъ въ область такой поэзи, что до сихъ поръ, изъ всѣхъ русскихъ людей быть творцомъ въ этой области было дано одному Пушкину. Скорбь Пшеницыной о покойномъ Обломовѣ, ея отношенія къ семейству и Андрюшѣ, наконецъ, этотъ дивный анализъ ея души и ея прошлой страсти—все это выше самой восторженной оцѣнки.

Обломовъ, лучшее и сильнѣйшее созданіе нашего блистательнаго романиста, не принадлежитъ къ числу типовъ, «къ которымъ невозможно добавить ни одной лишней черты»,—надъ этимъ типомъ невольно задумываешься, невольно жаждешь къ нему дополненій.

Обломовщина, такъ полно описанная Гончаровымъ, захватываетъ собою огромное количество сторонъ русской жизни. Русская обломовщина во многомъ возбуждаетъ наше негодованіе, но мы не признаемъ ея плодомъ гнилости. Въ томъ-то и заслуга романиста, что онъ крѣпко сдѣлалъ всѣ корни обломовщины съ почвой народной

жизни и поэзіи — проявилъ намъ ея мирныя и незлобныя стороны, не скрывъ ни одного изъ ея недостатковъ. Обломовъ — ребенокъ, безсиленъ на добро, но онъ положительно неспособенъ къ злему дѣлу, чистъ духомъ, не извращенъ житейскими софизмами и, несмотря на всю свою жизненную бесполезность, законно завладѣваетъ симпатіей всѣхъ окружающихъ его лицъ, повидимому, отдѣленныхъ отъ него цѣлой бездной. Заспанный Обломовъ, уроженецъ заспанной и все-таки поэтической Обломовки, свободенъ отъ нравственныхъ болѣзней, какими страдать не одинъ изъ практическихъ людей, кидающихъ въ него камнями.

Какъ живое лицо, Обломовъ, по практичности, по силѣ воли, по знанію жизни, далеко ниже своей Ольги и Штольца; по инстинкту правды и теплотѣ своей натуры онъ ихъ несомнѣнно выше. Въ послѣдніе годы его жизни его навѣститъ Штолецъ, Ольга осталась въ каретѣ; надъ нимъ прочли приговоръ: *все кончено*. Въ чемъ же заключался смыслъ этого безнадежнаго, отчаяннаго приговора? Илья Ильичъ женился на Пшеницыной и прижилъ съ этой необразованной женщиной ребенка. И вотъ причина, по которой кровная связь расторгнута, обломовщина признана переступившей всѣ предѣлы! Ни Ольгу, ни ея мужа мы за это не винимъ: они подчинились закону свѣта и не безъ слезъ покинули друга. Но такъ ли бы поступилъ Обломовъ, если бы ему сказали, что Ольга сдѣлала несчастную *mésalliance*, что его Андрей женился на кухаркѣ и что оба они, вслѣдствіе того, прячутся отъ людей, къ нимъ близкихъ? Ни идеи отторженія отъ дорогихъ людей, изъ-за причинъ свѣтскихъ, ни идеи о томъ, что есть на свѣтѣ *mésalliance*, для Обломова не существуетъ. Онъ бы не сказалъ слова вѣчной разлуки и, ковыляя, пошелъ бы къ добрымъ людямъ и прилѣгнулъ бы къ нимъ и привелъ бы къ нимъ свою Агаю Матвѣевну. И Андреева кухарка стала бы для него не чужою. Отсталый и неповоротливый Илья Ильичъ въ этомъ простомъ дѣлѣ, конечно, поступилъ бы сообразнѣе съ вѣчнымъ закономъ любви и правды, нежели два человѣка, изъ числа самыхъ развитыхъ въ нашемъ обществѣ. И Штолецъ, и Ольга, несомнѣнно, гуманны въ своихъ идеяхъ, безъ всякаго сомнѣнія они знаютъ силу добра и головами своими привязаны къ участи меньшихъ братьевъ, — но стоило ихъ другу связать свое существованіе съ судьбою женщины, изъ породы этихъ меньшихъ братьевъ, и они оба, просвѣщенные люди, поспѣшили со слезами сказать: все кончено, все пропало — обломовщина, обломовщина!

Не за комическія стороны, не за жалостную жизнь, не за проявленія общихъ всѣмъ намъ слабостей любимъ мы Илью Ильича. Онъ дорогъ намъ, какъ человѣкъ своего края и своего времени, какъ незлобный и нѣжный ребенокъ, способный, при иныхъ обстоятельствахъ

жизни и много развитіи, на дѣла искренней любви и милосердія. Онъ дорогъ намъ, какъ самостоятельная и чистая натура, вполне независимая отъ той схоластики — моральной истасканности, что пятнаетъ собою огромное большинство людей, его презирающихъ. Онъ дорогъ намъ по истинѣ, какою проникнуто все его созданіе, по тысячѣ корней, которыми поэтъ-художникъ связалъ его съ нашей родной почвой. И, наконецъ, онъ любезенъ намъ, какъ чужакъ, который въ нашу эпоху себялюбія, ухищреній и неправды, мирно покончилъ свой вѣкъ, не обидѣвши ни одного человѣка, не обманувши ни одного человѣка и не научивши ни одного человѣка чему-нибудь скверному.

*Дружининъ.*

### Г О Н Ч А Р О В Ъ.

Яркія достоинства таланта г. Гончарова признаны были безъ исключенія всѣми при появленіи его перваго романа «Обыкновенная исторія». Это собственно не художественное созданіе, а блестящій этюдъ съ яркимъ жизненнымъ колоритомъ, этюдъ художника, у котораго анализъ подѣлъ всѣ основы, всѣ корни дѣятельности. Сухой догматизмъ постройки «Обыкновенной исторіи» кидается въ глаза всякому. Достоинство романа заключается въ отдѣльных художественно обработанныхъ частностяхъ, а не въ цѣломъ, которое всякому, даже самому пристрастному читателю, представляется какимъ-то натянутымъ развитіемъ напередъ заданной темы. Кому не явно, что Петръ Ивановичъ, съ его безпощаднымъ практическимъ взглядомъ, не лицо дѣйствительно существующее, а олицетвореніе извѣстнаго взгляда на вещи, нѣчто въ родѣ Стародумовъ. Съ другой стороны, Александръ Адуевъ слишкомъ намѣренно выставленъ авторомъ и слабѣе, и мельче своего дядюшки, что на дѣл всего лежитъ такая антипоэтическая тема, такая пошлая мысль, которыхъ не выкупаютъ блестящія подробности. Замѣчательно въ высшей степени, что «Обыкновенная исторія» понравилась даже отжившему поколѣнію. Та же самая антипоэтичность мысли сказывается и въ «Синѣ Обломова», этомъ зернѣ, изъ котораго родился весь Обломовъ, этомъ фокусѣ, къ которому онъ весь приводится, для котораго чуть ли не весь онъ написанъ. Антипоэтичность азбучно-практической темы тѣмъ непріятнѣе подѣйствовала на безпристрастныхъ читателей, что внѣшнія силы таланта выступили тутъ съ необычайной яркостью. Вы помните, что прежде тѣмъ авторъ переноситъ васъ въ райскій уголокъ, созданный «Сномъ» Обломова, онъ нѣсколькими штрихами мастерскаго карандаша рисуетъ иной край, иную жизнь, совершенно противоположные тѣмъ, въ которые переноситъ насъ «Сонъ» героя. Вы чувствуете въ манерѣ изложенія присутствіе

того истиннаго, спокойнаго творчества, которое по волѣ своей переноситъ васъ въ тотъ или другой міръ и каждому сочувствуетъ съ равною любовью. И потому передъ вами до мелкихъ оттѣнковъ создается знакомый вамъ съ дѣтства быть, міръ тишины и невозмутимаго спокойствія во всей его непосредственности. Авторъ становится истиннымъ поэтомъ и, какъ поэтъ, умѣетъ стоять въ уровнѣ съ создаваемымъ имъ міромъ, быть комически-панымъ въ разсказѣ о чудовищѣ, найденномъ въ оврагѣ обитателями Обломовки, и глубоко трогательнымъ въ созданіи матери Обломова, и истиннымъ психологомъ въ исторіи съ письмомъ, которое такъ страшно было распечатать мирнымъ жителямъ «райскаго уголка», и, наконецъ, эпически-объективнымъ художникомъ въ изображеніи того послѣобѣденнаго сна, который объемлетъ всю Обломовку. Помните еще мѣсто о сказкахъ, которыя повѣствовались Ильѣ Ильичу и, конечно, всѣмъ намъ болѣе или менѣе, которыхъ нестрю и широко-фантастическую канву поэтъ развертываетъ съ такою силою фантазій? Помните еще остальные подробности: семейный разговоръ въ сумерки, негодованіе жены Ильи Ивановича на его безпамятство въ отношеніи къ разнымъ примѣтамъ, сборы его отвѣчать на письмо, составляющее нѣсколько времени предметъ тревожнаго страха?.. Все это полный, художнически созданный міръ, влекущій насъ неодолимо въ свой очарованный кругъ... И для чего же поднять весь этотъ міръ, для чего объективно изображенъ онъ съ его настоящимъ и съ его преданіями? Для того, чтобы надругаться надъ нимъ во имя практически-азбучнаго правила, во имя китайскихъ воззрѣній Петра Ивановича Адуева или во имя татарски-нѣмецкаго воззрѣнія Штольца; ибо Штолецъ все-таки татаринъ, хоть и нѣмецъ, татаринъ по душѣ, по дѣлу въ своей раздѣлкѣ съ кредиторомъ Ильи Ильича... Для чего въ самомъ «Снѣ» — непріятно-рѣзкая струя пропіи въ отношеніи къ тому, что все-таки выше штольцевщины и адуевщины? Читая произведенія Гончарова, какъ не сказать, что талантъ ихъ автора неизмѣримо выше воззрѣній, ихъ породившихъ. Но все имѣетъ свои историческія причины. Дарованіе Гончарова — яркое, но чисто виѣшнее, безъ глубокаго содержанія, безъ стремленія къ идеалу. «Обыкновенная исторія» — это эпопея чиновничьяго воззрѣнія и азбучной мудрости, стоявшей совершенно въ уровень съ первыми поверхностными началами протеста за дѣйствительность противъ романтической личности. Примиреніе выразилось въ «Обыкновенной исторіи» пропіею какого-то отчаянія, смѣхомъ надъ протестомъ личности, съ одной стороны, и апофеозомъ торжества сухой, безжизненной, безосновной практичности. Все было принесено въ жертву этой пропіи. Авторъ вывелъ двѣ фигуры: одну жиденькую, худенькую, слабую съ ярлыкомъ на лбу: «романтизмъ quasi-молодого поколѣ-



нія» и другую, — крѣпкую, спокойную и опредѣленную, какъ математика, съ ярлыкомъ на лбу: «практическій умъ»; сей послѣдній, разумѣется, торжествовалъ въ своихъ расчетахъ, какъ добродѣтельная любовь въ старинныхъ романахъ. Такова была мысль Гончарова, мысль нимало не скрытая, а напротивъ, просившаяся наружу, кричавшая въ каждой фигурѣ романа. Много нужно было таланта



И. А. Гончаровъ.

для того, чтобы читатели забывали явно искусственную постройку произведенія, но, кромѣ силы таланта, мысль отвѣчала на требованіе большинства, т.-е. моральнаго общественнаго мѣщанства. Романъ понравился всѣмъ практическимъ людямъ, которые всегда любятъ, когда бранятъ молодое поколѣніе за разныя несообразныя и неподобныя стремленія. Въ наивной радости своей протестъ на виѣшнюю, показную дѣйствительность не замѣчалъ, что пронія романа пропала даромъ, что романтическое стремленіе не признавало, не признаетъ и не признаетъ въ жиденькомъ Адуевѣ своего питомца.

Прошло много времени, пока протестъ за дѣйствительность выросъ и окрѣпъ до сознанія. Въ теченіе всего этого времени талантъ Гончарова напомнилъ о себѣ только кругосвѣтнымъ путешествіемъ на фрегатѣ «Паллада»,—и въ этой книгѣ остался вѣренъ самому себѣ или низшему уровню, до котораго онъ себя умалилъ. Поразительно яркія описанія природы, мастерство отдѣлки мелочныхъ подробностей, наблюдательность остроумная и мѣткая и положительное отсутствіе идеала во взглядѣ,—вотъ что явилось въ этой книгѣ, которую опять-таки съ жадностью прочла вся публика—она вѣдь охотница до японскихъ воззрѣній, особенно если этимъ воззрѣніемъ обрекъ себя на служеніе талантъ безспорно-сильный.

Явился, наконецъ, давно жданный Обломовъ. Прежде всего онъ не сказалъ ничего новаго. Все его новое высказано было гораздо прежде въ «Снѣ Обломова»—я разумѣю все существенно-новое, что возбуждаетъ толки, вражду и симпатіи. Успѣхъ «Обломова» былъ уже спорный, вовсе не то, что успѣхъ «Обыкновенной исторіи». Да оно такъ и должно было быть. Эпоха другая—сознаніе выросло. «Обыкновенная исторія» польстила требованію минуты, требованію большинства, чиновничества, моральнаго мѣщанства. «Обломовъ» ничему не польститъ, и построенъ онъ по такимъ же сухимъ догматическимъ темамъ, какъ и «Обыкновенная исторія». Въ своихъ подробностяхъ онъ, если хотите, еще выше перваго романа, психологическимъ анализомъ еще глубже; по наше сознаніе, сознаніе эпохи ушло впередъ, а сознаніе автора застряло въ Японіи. Польстилъ «Обломовъ» только весьма небольшому кружку людей, которые вѣрятъ еще тому, что врагъ нашъ въ дѣлѣ развитія—наша собственная натура, наши существенно бытовые черты, и что все спасеніе для насъ заключается въ выдѣлкѣ себя по какой-то узенькой теоріи. Герои нашей эпохи—не Штольцъ Гончарова и не его Петръ Ивановичъ Адуевъ,—да и героиня нашей эпохи тоже—не его Ольга, изъ которой подъ старость, если она точно такова, какою, вопреки многимъ граціознымъ сторонамъ ея натуры, показываетъ ее нашъ авторъ, выйдетъ преотвратительная барыня съ вѣчною и безцѣльною нервной тревожностью, истинная мучительница всего окружающаго, одна изъ жертвъ Бога знаетъ чего-то. Ужъ если между женскими лицами Гончарова придется выбирать непременно героиню, безпристрастный и непотемѣнный теоріями умъ выберетъ, какъ выбралъ Обломовъ, Агацію Матвѣевну потому, что она гораздо болѣе женщина, чѣмъ Ольга.

Дѣло въ томъ, что у самого автора «Обломова», какъ у таланта огромнаго, стало-быть, живого—сердце лежитъ гораздо больше къ Обломову и къ Агаѣ, чѣмъ къ Штольцу и къ Ольгѣ. Эта точно умиѣ Штольца—онъ ей, съ одной стороны, надоѣсть, а съ другой—по-

падетъ къ ней подъ башмакъ и дѣйствительно будетъ жертвою того духа перваго *самогрызенія*, которое эффектно въ ней только какъ еще она молода, а подъ старость обратится къ мелочи и станетъ однимъ изъ обычныхъ физиологическихъ отравленій.

Ал. Григорьевъ.

### „Обыкновенная исторія“ Гончарова.

Гончаровъ написалъ только два капитальные романа: «Обыкновенную исторію» и «Обломова». Первый изъ этихъ романовъ сразу поставилъ его въ ряды первоклассныхъ русскихъ литераторовъ, и его «Очерки кругосвѣтнаго плаванія» и «Обломовъ» были встрѣчены журналами и публикой съ такой радостью, съ какой рѣдко встрѣчаются на Руси литературныя произведенія. Мнѣ кажется, причины этого замѣчательнаго явленія заключаются преимущественно въ томъ, что Гончаровъ по плечу всякому читателю, т.-е. для всякаго ясенъ и понятенъ. Онъ вездѣ стоитъ на почвѣ чистой современной практичности, и при томъ практичности не западной, не европейской, а той практичности, которой отличаются образованные петербургскіе чиновники, читающіе помѣшники, разсуждающіе о современныхъ предметахъ барыни и т. п. Прочтите Гончарова отъ начала до конца, и вы, по всей вѣроятности, ничѣмъ не увлечетесь, ни надъ чѣмъ не замечаетесь, ни о чемъ горячо не заспорите съ авторомъ, не назовете его ни обскурантомъ, ни рьянымъ прогрессистомъ и, закрывая послѣднюю страницу, скажете очень хладнокровно, что Гончаровъ — очень умный и основательно разсуждающій господинъ. У Гончарова нѣтъ никакого конька, никакой любимой идеи; утопія всякаго рода ему совершенно враждебна; ко всякому увлеченію онъ относится съ легкимъ и вѣжливымъ отбѣйкомъ проин; онъ — скептикъ, не доводящій своего скептицизма до крайности; онъ — практикъ и матеріалистъ, способный ужиться съ фантазеромъ и идеалистомъ; онъ — эгоистъ, не рѣшающійся взять на себя крайнихъ выводовъ своего міросозерцанія и выражающій свой эгоизмъ въ тепловатомъ отношеніи къ общимъ идеямъ, или даже, гдѣ возможно, въ *игнорированіи* человѣческихъ и гражданскихъ интересовъ. Этотъ эгоизмъ проглядываетъ во всѣхъ его произведеніяхъ; кто читалъ «Фрегатъ Палладу» и «Обломова», тотъ не найдетъ удивительнымъ мое мнѣніе. Постоянно спокойный, ничѣмъ не увлекающійся, романистъ нашъ развязно подходитъ къ запутаннымъ вопросамъ общественной и частной жизни своихъ героевъ и героинь; безстрастно и безпристрастно осматриваетъ онъ положеніе, отдавая себѣ и читателю самый ясный и подробный отчетъ въ мелкихъ его особенностяхъ, становясь поочередно на точку зрѣ-

нія каждаго изъ дѣйствующихъ лицъ, не сочувствуя особенно сильно никому и понимая по-своему всѣхъ. Онъ обсуживаетъ положеніе и свойства своихъ дѣйствующихъ лицъ, но всегда воздерживается отъ окончательнаго приговора. Прочитавши «Обыкновенную исторію», читатель не можетъ сказать, чтобы авторъ сочувствовалъ старшему Адуеву, и не можетъ также сказать, чтобы онъ находилъ его неправымъ; сочувствія къ младшему Адуеву также не видно ни въ ту минуту, когда онъ составляетъ совершенную противоположность старшему, ни въ тотъ моментъ, когда онъ становится на него похожимъ. Вслѣдствіе этого, окончивая послѣднюю страницу романа, читатель чувствуетъ себя неудовлетвореннымъ. «Обыкновенная исторія» производитъ такое впечатлѣніе, какое могла бы произвести отлично нарисованная, но неясно освѣщенная картина; мы чувствуемъ, что авторъ романа — человѣкъ умный, наблюдательный и способный осмысливать свои наблюденія; этотъ человѣкъ говоритъ съ нами о явленіяхъ нашей жизни, описываетъ ихъ подробно и наглядно, изображаетъ вліяніе этихъ явленій на молодое существо, знакомящееся съ жизнью, но изображаетъ чисто вѣнскимъ образомъ, перечисляя только симптомы переменъ, происходящихъ въ его героѣ.

Очень естественно, что читатель, заинтересованный настолько же личностью рассказчика, насколько нитью самаго рассказа, ждетъ на каждой страницѣ, чтобы авторъ въ постановкѣ образовъ или въ лирическомъ отступленіи выразилъ бы свои воззрѣнія, сказалъ бы: я считаю это хорошимъ, а то дурнымъ, по такимъ-то причинамъ. Если произведеніе вылилось изъ души, то писатель, конечно, въ этомъ произведеніи говоритъ о томъ, что, такъ или иначе, интересуетъ его лично, что затрагиваетъ его за живое, что онъ горячо любитъ или горячо ненавидитъ. Если предметъ его рассказа для него равнодушенъ, то какъ объяснить себѣ то, что онъ обратилъ на него вниманіе, сталъ надъ нимъ задумываться, сталъ уяснять его самому себѣ и, наконецъ, довелъ его до такой степени наглядности, что онъ и для другихъ людей сталъ замѣтенъ, понятенъ и осязателенъ? А если ничего этого не было, если писатель не вдумывался, не уяснял себѣ и т. д., то рассказъ выйдетъ блѣдный и скучный; его дѣйствующія лица будутъ тѣни или маріонетки, но никакъ не живые люди; таковы дѣйствительно бываютъ рассказы, писанные на заказъ, безъ внутренняго желанія, безъ живого участія къ предмету.

Для того, чтобы печатныя строки казались рѣчами и поступками живыхъ людей, необходимо, чтобы въ этихъ печатныхъ строкахъ сказала живая душа того, кто ихъ писалъ; только въ этомъ соприкосновеніи между мыслью автора и мыслью писателя и заключается обаятельное дѣйствіе поэзіи.

Личность автора для меня интересна, какъ всякая человѣческая личность и, кромѣ того, какъ личность, чувствующая потребность выказаться, слѣдовательно, воспринявшая въ себѣ рядъ извѣстныхъ впечатлѣній и переработавшая ихъ силой собственной мысли. Личности же вымышленныхъ дѣйствующихъ лицъ я только терплю и допускаю, какъ выраженіе личности автора, какъ форму, въ которую ему заблагоразсудилось вложить свою идею. Если я съ идеей согласенъ, если я ей сочувствую, а выведенныя личности оказываются блѣдными и неестественными, то я скажу, что авторъ — неопытный музыкантъ, что чувство въ немъ есть, а техническаго умѣнья мало; замѣтивши этотъ недостатокъ, я все-таки буду, можетъ-быть, нѣкоторые отрывки читать съ удовольствіемъ, вѣроятно, тѣ отрывки, въ которыхъ сила внутренняго убѣжденія и воодушевленія укрѣпляетъ неопытныя руки виртуоза и заставляетъ его на нѣсколько мгновений побѣдить трудности техники. «Ничего, со временемъ. будетъ прокъ, явится навыкъ», можно будетъ сказать, закрывая книгу, написанную такимъ образомъ, т.-е. съ неподдѣльной теплотой, но безъ достаточнаго знанія жизни; читатель съ добрымъ чувствомъ разстанется съ такимъ писателемъ и съ радостью встрѣтится съ нимъ въ другой разъ. Но если въ разсказѣ, великолѣпно обетавленномъ живыми подробностями, не видно идеи и чувства, не видно личности творца, то общее впечатлѣніе будетъ совершенно неудовлетворительно.

Словомъ, только личное воодушевленіе автора грѣетъ и раскаляетъ его произведеніе; гдѣ этого личнаго воодушевленія не замѣтно, тамъ, какъ бы ни были вѣрно подмѣчены и искусно сгруппированы подробности, тамъ, повторяю, нѣтъ истинной силы, нѣтъ истинно обаятельнаго вліянія поэзіи, нѣтъ сочувствія между поэтомъ и читателемъ.

Между публикой и любимымъ писателемъ почти всегда устанавливаются извѣстныя отношенія, основанныя на сочувствіи и довѣріи. Любя произведенія какого-нибудь NN, невольно составляешь себѣ понятіе о его личности, допускаешь въ ней тѣ или другія свойства и рѣшительно отвергаешь разныя темныя пятна. Иногда случается разочароваться, и часто подобное разочарованіе бываетъ такъ же тяжело, какъ разочарованіе въ близкомъ и дорогомъ человѣкѣ. Гончаровъ — писатель, любимый публикой; въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія, а между тѣмъ, странное дѣло, между нимъ и публикой положительно нѣтъ подобныхъ отношеній; его человѣческой личности никто не знаетъ по его произведеніямъ; даже въ дружескихъ письмахъ, составившихъ собою «Фрегатъ Палладу», не сказались его убѣжденія и стремленія; выразилось только то настроеніе, подъ вліяніемъ котораго написаны письма; настроеніе это переходитъ



отъ спокойно лѣниваго къ спокойно веселому, и больше намъ не представляется никакихъ данныхъ для обсужденія личнаго характера нашего художника. Во всякомъ случаѣ, если два большіе романа, которыхъ сюжеты взяты изъ современной жизни, не выражаютъ ясно даже отношеній автора къ идеямъ и явленіямъ этой жизни, — это значитъ, что въ этихъ романахъ есть умышленная или нечаянная недоговоренность, и что эти романы продуманы и состроены, а не прочувствованы и созданы. Бѣглый взглядъ на осто́въ «Обыкновенной исторіи» и «Обломова» подтвердить эту мысль. «Обыкновенная исторія» говоритъ намъ: вотъ что дѣлается изъ молодого человѣка подъ вліяніемъ нашей петербургской жизни. Ну, что же такое? — спрашиваетъ читатель. Чтò она его формируетъ или портитъ? Чтò она сама хороша или дурна? — На второй вопросъ Гончаровъ ствѣчаетъ такъ: петербургская жизнь вотъ какая, и описываетъ наружность этой жизни, тщательно избѣгая какихъ бы то ни было отношеній къ этой наружности. Положимъ, у васъ спрашиваютъ, хороша ли такая-то женщина? вы отвѣчаете: — носъ у нея такой-то длины и такой-то ширины, ротъ такой-то величины, зубовъ столько-то, такого-то цвѣта глаза, столько-то линій въ длину и столько-то въ разрѣзѣ, цвѣтъ ихъ такой-то и т. д. Согласитесь, что изъ подобнаго безпристрастнаго описанія не вынесешь сколько-нибудь цѣлостнаго понятія о характерѣ фizioноміи, какимъ бы увлекательнымъ языкомъ ни были записаны эти статистическія данныя. Точно такъ же описаніе петербургскаго житья-бытья у Гончарова выходитъ неяркимъ потому, что авторъ рѣшительно не хочетъ выразить своего мнѣнія, своего взгляда на вещи.

На вопросъ о томъ, формируетъ или портитъ эта жизнь молодого Александра Адуева, Гончаровъ ничего не отвѣчаетъ. Онъ самъ рассказываетъ въ концѣ романа, что Александръ приобрѣлъ лысину, почтенную полноту и житейскую опытность, охладившую его мечтательность; тѣмъ дѣло и кончается. Читатель въ правѣ сказать: г. Гончаровъ, я самъ очень хорошо знаю, что у человѣка лѣтъ въ пятьдесятъ вылѣзаютъ волосы, что сидячая жизнь увеличиваетъ въ насъ количество жира, и что съ годами мы становимся опытнѣе. Вы описали это чрезвычайно подробно, вѣрно и наглядно, но вы не сказали намъ ничего новаго и скрыли отъ насъ внутренній смыслъ вашихъ сценъ и картинъ. Дѣйствительно, крупныя, типическія черты нашей жизни почти умышленно сглажены писателемъ и, слѣдовательно, ускользаютъ отъ читателя; зато отдѣлка подробностей тонка, красива, какъ брюссельскія кружева, и, по правдѣ сказать, почти такъ же бесполезна. Александръ приходитъ въ соприкосновеніе съ міромъ чиновниковъ — объ этомъ сказано вскользь, и потомъ сообщенъ резуль-

татъ, что онъ привыкъ къ канцелярской работѣ и сталъ получать порядочное жалованье. Александръ вступаетъ въ сношенія съ журналами, — объ этомъ тоже упоминается мимоходомъ, и только для того, чтобы отмѣтить приращеніе его годового дохода. Двѣ такіа важныя стороны нашей жизни, какъ бюрократія и періодическая литература, не удостоиваются внимательнаго разсмотрѣнія, а между тѣмъ приводятся отъ слова до слова длиннѣйшіе разговоры между Петромъ Ивановичемъ и Александромъ, между Александромъ и Наденькой, Александромъ и Тафаевой и т. п. Это — ошибка, какъ передъ изображеніемъ самой жизни, такъ даже и передъ личностью самого героя. Положимъ, старшіе родственники и любимыя женщины имѣютъ значительное вліяніе на формированіе характера и убѣжденій; но вѣдь все-таки формируетъ-то самая жизнь, столкновение съ ея дразнами, съ ея сѣрыми трудовыми сторонами; намъ любопытно видѣть, какъ живутъ герои Гончарова, а онъ намъ показываетъ, какъ они резонерствуютъ о жизни или мечтаютъ о ней, сидя рядомъ съ героинями гдѣ-нибудь подъ кустомъ сирени, въ тѣнистой бесѣдкѣ. Это очень хорошо и трогательно, но это не жизнь, а развѣ крошечный уголокъ жизни. Конечно, таланту Гончарова должно отдать полную дань удивленія: онъ умѣетъ удерживать насъ на этомъ крошечномъ уголкѣ въ продолженіе цѣлыхъ сотенъ страницъ, не давая намъ ни на минуту почувствовать скуку или утомленіе; онъ чаруетъ насъ простотой своего языка и свѣжей полнотой своихъ картинъ, но, если вы по прочтеніи романа захотите отдать себѣ отчетъ въ томъ, что вы вмѣстѣ съ авторомъ пережили, передумали и переживали, то у васъ въ итогѣ получится очень немного. Гончаровъ открываетъ вамъ цѣлый міръ, но міръ микроскопическій; какъ вы припѣли отъ глаза микроскопъ, такъ этотъ міръ исчезъ, и капля воды, на которую вы смотрѣли, представляется вамъ снова простой каплей. Если бы эта сила анализа, невольно подумаете вы, была направлена не на мелочи, а на жизнь во всей ея широтѣ, во всемъ ея нестромъ разнообразіи, — какія бы чудеса она могла произвести! — Эта мысль ошибочна; кто останавливается на анализѣ мелочей, тотъ, стало-быть, и неспособенъ идти дальше и подниматься выше. Гончаровъ остается на анализѣ мелочей потому, что у него нѣтъ побудительной причины перейти къ чему-нибудь другому; онъ холоденъ, его не волнуютъ и не возмущаютъ крупныя нелѣпости жизни: микроскопическій анализъ удовлетворяетъ его потребности мыслить и творить; на этомъ поприщѣ онъ пожинаетъ обильныя лавры — стало-быть, о чемъ же еще хлопотать, къ чему еще стремиться? Словомъ, Гончаровъ, какъ художникъ, то же самое, что Срезневскій, какъ ученый; первый творитъ для процесса творчества, не заботясь о степени важности

тѣхъ предметовъ, которые онъ воспріимаетъ, не спрашивая себя о томъ, выѣкаетъ ли онъ своимъ рѣзцомъ великолѣпную статую или вытачиваетъ красивую бездѣлушку для письменнаго стола богатаго барина; второй точно такъ же изслѣдуетъ для процесса изслѣдованія, не спрашивая себя о томъ, стоитъ ли игра свѣчей и выйдетъ ли изъ его трудовъ какой-нибудь осязательный результатъ. Обѣ эти личности, представители одного типа, выработались подъ вліяніемъ извѣстныхъ условій, сжились съ ними и, почисливъ вопросы жизни рѣшенными вполне удовлетворительно, обратили дѣятельность свою на шлифованіе подробностей, не имѣющихъ даже относительной важности. Какъ, — спросить съ негодованіемъ мой читатель, — и «Обломовъ» — шлифованіе подробностей? Да, — отвѣчу я съ подобающею скромностью, — «Обломовъ», какъ правоописательный романъ, не что иное, какъ шлифованіе подробностей. Типъ Обломова не созданъ Гончаровымъ; это повтореніе Бельтова, Рудина и Бешметева; но Бельтовъ, Рудинъ и Бешметевъ приведены въ связь съ коренными свойствами и особенностями нашей начинающейся цивилизаціи, а Обломовъ поставленъ въ зависимость отъ своего неправильно сложившагося темперамента. Бельтовъ и Рудинъ сломлены и помяты жизнью, а Обломовъ просто лѣнивъ, потому что лѣнивъ. Вліяніе общества на личность героя здѣсь, какъ и въ «Обыкновенной исторіи», скрыто отъ глазъ читателя; авторъ понимаетъ, что оно должно существовать, но онъ держитъ его гдѣ-то за кулисами, и изъ-за этихъ кулисъ его герой выходитъ совершенно готовымъ и начинаетъ разсуждать и ходить по сценѣ. Если читатель возразитъ мнѣ, что «Сонъ Обломова» объясняетъ намъ процессъ его развитія, то я на это отвѣчу, что «сонъ» говоритъ только о младенческихъ годахъ нашего героя. Никакой характеръ не оказывается сложившимся въ десяти- или двѣнадцатилѣтнемъ мальчикѣ; тѣмъ болѣе не могъ сложиться въ такіе годы характеръ Обломова, котораго и въ тридцать пять лѣтъ можно было ворочать куда угодно; стало-быть, зачѣмъ же авторъ, заговоривши о воспитаніи и развитіи своего героя, не далъ намъ сценъ изъ его гимназической, студенческой, чиновнической жизни? Вѣдь это, воля ваша, было бы не только плодотворнѣе, но даже интереснѣе многихъ сценъ между Обломовымъ и Захаромъ. Вѣдь любопытно знать, что именно формируетъ у насъ Обломовыхъ, — гораздо любопытнѣе, чѣмъ смотрѣть на то, какъ уже сформированные Обломовы, т.-е. люди, на которыхъ надо махнуть рукой, валяются на диванѣ и плюютъ въ потолокъ. Но, какъ вездѣ, интересный, живой вопросъ обойдется, а подробностей гибель.

Изображая личность Обломова, Гончаровъ могъ еще ограничиться тѣсной сферой, не выходя за предѣлы кабинета и спальни и запи-

мать своего читателя пересказываніемъ того, что говорили между собою Илья Ильичъ и Захаръ. Но вотъ нашъ художникъ хочетъ противопоставить своему лѣнивому герою лицо дѣятельное, весело и дѣльно смотрящее на жизнь и энергически расправляющееся съ ея дриздами и невзгодами. Является Андрей Ивановичъ Штольцъ, о которомъ даже самъ авторъ возвѣщаетъ не безъ торжественности, говоря, что это человѣкъ будущаго, что много Штольцевъ кроется подъ русскими именами, что люди такого закала будутъ дѣлать дѣло, какъ слѣдуетъ. О, думаете вы, вотъ тутъ-то Гончаровъ выскажетъ то, что у него на душѣ, тутъ-то онъ воспользуется всѣми собранными матеріалами, чтобы дать плоть и кровь этому человѣку будущаго, тутъ-то онъ приведетъ своего любимаго героя въ столкновеніе съ разными сторонами и типическими особенностями нашей жизни. Вы продолжаете читать съ возрастающимъ нетерпѣніемъ и убѣждаетесь въ томъ, что Штольцъ ведетъ себя точно такъ же, какъ всѣ гончаровскіе герои, т.-е. много говоритъ, хорошо округляетъ періоды, самодовольно развѣтываетъ передъ слушателемъ свои убѣжденія и ничего не дѣлаетъ; о его дѣятельности, которая составляетъ сущность его характера и замѣчательнѣйшее его достоинство, авторъ рассказываетъ намъ въ самыхъ общихъ выраженіяхъ. Штольцъ представленъ внѣ жизни; а Штольцъ безъ жизни все равно, что рыба безъ воды. Онъ выведенъ изъ своего естественнаго положенія, и потому самъ блѣденъ и неестественъ до крайности. Такъ какъ онъ на нашихъ глазахъ не дѣйствуетъ, то ему, чтобы зарекомендовать себя читателю, поневолѣ приходится говорить самому о себѣ: «я, дескать, человѣкъ дѣятельный, вѣрьте мнѣ на слово»; автору точно такъ же приходится обращаться къ вѣрѣ читателя и говорить ему: «Штольцъ у меня человѣкъ дѣятельный; дѣятельности вы его не увидите, но онъ, право, постоянно занятъ». Читатель, расположенный къ скептицизму, подумаетъ при этомъ такъ: «если романистъ приписываетъ одному изъ своихъ героев какое-нибудь качество, а между тѣмъ это качество не выражается въ его дѣйствіяхъ, то я, читатель, имѣю право заключить, что у автора не хватило силъ вложить въ образы то, что онъ выразилъ въ отвлеченной фразѣ. Дѣятельный Штольцъ принадлежитъ къ разряду лицъ, подобныхъ добродѣтельному становому Львова и знаменитому чиновнику его сѣятельства графа Соллогуба». Читатель-скептикъ не ошибется въ своемъ предположеніи.

Впрочемъ, то обстоятельство, что Гончаровъ взялся за сооруженіе своего Штольца, и то обстоятельство, что это сооруженіе вышло до крайности неудачнымъ, такъ характерны, что о нихъ стоитъ поговорить подробнѣе. Дѣйствующія лица романовъ Гончарова по-

стоянно возвращаются въ безразличной атмосферѣ, живутъ въ тѣхъ комнатахъ, въ которыя не проникаетъ русскій духъ, и становятся другъ къ другу въ такія отношенія, которыя зависятъ отъ особенностей ихъ личнаго характера, а не отъ условій мѣста и времени. Декораціи у Гончарова русскія; для обстановки онъ выводитъ русскаго лакея, русскую кухарку, но это — аксессуары, которые могутъ быть устранимы, не нарушая завязки романа; главныя дѣйствующія лица созданы головой автора, а не навѣяны впечатлѣніями живой дѣйствительности. Задавшись своей идеей, набросавъ ее въ общихъ чертахъ, Гончаровъ потомъ уже съ натуры подрисовываетъ подробности, и все вмѣстѣ выходитъ очень удовлетворительно и на первый взглядъ кажется романомъ, взятымъ изъ русской жизни и воспроизводящимъ русскіе типы. Но это только на первый взглядъ. Отдѣлайтесь только отъ обаянія великолѣпнаго языка, отбросьте аксессуары, не относящіеся къ дѣлу, обратите все ваше вниманіе на тѣ фигуры, въ которыхъ сосредоточивается смыслъ романа, и вы увидите, что въ нихъ нѣтъ ничего русскаго и, кромѣ того, ничего типичнаго. Если мы поступимъ такимъ образомъ съ «Обыкновенной исторіей», то увидимъ, что смыслъ романа лежитъ въ двухъ фигурахъ — въ дядѣ и въ племянникѣ, и что изъ этихъ двухъ фигуръ одна певѣрна и неестественна, а другая совершенно пассивна и безцвѣтна.

Петръ Ивановичъ Адуевъ, дядя, — не вѣренъ съ головы до ногъ. Это какъ-то англійскій джентльменъ, пробившій себѣ дорогу въ люди силой своего ума, составившій себѣ карьеру и состояніе и при этомъ нисколько не загрязнившійся. Въ нашемъ отечествѣ дорога къ почестямъ и деньгамъ усыяна всякаго рода терніями. Кто хочетъ преуспѣть на томъ поприщѣ, по которому путешествовалъ Петръ Ивановичъ, тотъ немного сохранить въ себѣ гонора и фанаберіи; подлѣ старости непременно дойдетъ до положенія Фамусова, а вѣдь между Фамусовымъ и Петромъ Ивановичемъ — огромная разниа. Петра Ивановича, видимо, уважаетъ Гончаровъ, а къ Фамусову онъ, по всей вѣроятности, отнесся бы съ добродѣтельнымъ презрѣніемъ. Это видимое различіе между Фамусовымъ и Петромъ Ивановичемъ не можетъ быть объяснено различіемъ времени. Скажите по совѣсти, неужели мы такъ много ушли впередъ съ тѣхъ поръ, какъ была написана комедія Грибоѣдова? Неужели вы до сихъ поръ не встрѣчаете между вашими знакомыми Фамусова, Молчалина и Скалозуба? Формы стали дѣйствительно поприличнѣе, но что же это за утѣшеніе? Неужели же Гончаровъ, выводя своего героя, обманулся вѣншей благопристойностью формы и не умѣлъ заглянуть поглубже и распознать подъ гладкими фразами Петра Ивановича родовыхъ свойствъ фамусовскаго



типа? Вряд ли такой острый аналитик могъ впасть въ грубую ошибку, въ которой можетъ уличить его всякій школьникъ. Мнѣ кажется, дѣло въ томъ, что въ самомъ Фамусовѣ авторъ «Обыкновенной исторіи» осудилъ бы не сущность, а виѣшнее неблагообразіе. Потихоньку вести свои дѣла, заводить связи и поддерживать ихъ изъ чистаго расчета, заниматься такимъ дѣломъ, къ которому не лежитъ сердце и котораго не оправдываетъ умъ, оставлять подъ спудомъ въ практикѣ тѣ идеи, которыя исповѣдуешь въ теоріи, смотрѣть съ скептической улыбкой на порывы молодежи, стремящейся обратить слово въ дѣло, — все эти вещи можно назвать благоразуміемъ, лишь бы онѣ не представлялись въ полной наготѣ, безъ прикрасъ и смягченій. Своему герою Гончаровъ приписываетъ именно это благоразуміе, утаивая и сглаживая тѣ сѣренскія стороны, которыя неизбежно связаны съ этимъ благоразуміемъ. Но утаить и сгладить эту обратную сторону медали можно было только съ тѣмъ условіемъ, чтобы показывать читателямъ одну сторону дѣла. Если бы Гончаровъ вздумалъ выдержать очерченный имъ характеръ, приведя его въ столкновение со всеми фазами русской жизни, тогда ему пришлось бы все эти фазы выдумать самому, и тогда вопиющая неестественность бросилась бы въ глаза каждому читателю. На этомъ основаніи надо было пройти молчаніемъ все отношенія Петра Ивановича къ тому міру, который лежитъ за предѣлами его кабинета и спальни. На этомъ основаніи нельзя было сказать ни слова о томъ, какъ Петръ Ивановичъ вышелъ въ люди; даже тѣ средства и пути, которыми его племянникъ пріобрѣлъ себѣ независимое положеніе, покрыты мракомъ неизвѣстности. Петръ Ивановичъ, какъ чиновникъ, какъ подчиненный, какъ начальникъ, какъ свѣтскій человѣкъ, не существуетъ для читателя «Обыкновенной исторіи», и не существуетъ именно потому, что автору предстояло рѣшить грозную дилемму: или выдумать отъ себя всю русскую жизнь и превратить Петербургъ въ Аркадію, или бросить грязную тѣнь на своего героя, какъ на человѣка, подкупленнаго этой жизнью и отстаивающаго ея чужды ради своихъ личныхъ выгодъ. Чтобы не насловать явленій жизни, чтобы не становиться къ нимъ въ ложныя отношенія и чтобы не закидать грязью своего героя, Гончаровъ заблагодарасудилъ въ «Обыкновенной исторіи» совершенно отвернуться отъ явленій жизни. Отнестись къ нимъ съ тѣмъ суровымъ отрицаніемъ, съ которымъ относились къ нимъ все честные дѣятели русской мысли, открыто заявить свое non-conformity Гончаровъ не рѣшился. Почему? — Отвѣчать на этотъ вопросъ не мое дѣло; пусть отвѣтитъ на него самъ романистъ. Во всякомъ случаѣ въ «Обыкновенной исторіи» онъ исполнилъ удивительный tour de force, и исполнилъ его съ безпримѣрной ловкостью:

онъ написалъ большой романъ; не говоря ни одного слова о крупныхъ явленіяхъ нашей жизни; онъ вывелъ двѣ невозможныя фигуры и увѣрилъ всѣхъ въ томъ, что это дѣйствительно существующіе люди; онъ сталъ въ первый рядъ русскихъ литераторовъ, не откликаясь ни однимъ звукомъ на вопросы, поставленные исторической жизнью народа, пропуская мимо ушей то, что носится въ воздухѣ и составляетъ живую связь между живыми дѣятелями. Исполнить такого рода *tour de force*, и потомъ исполнить его на глазахъ Бѣлинскаго, удалось Гончарову, только благодаря удивительному совершенству техники, невыразимой обаятельности языка, безпримѣрной тщательности въ отдѣлкѣ мелочей и подробностей. Герои Гончарова ведутъ между собой такіе живые разговоры, что, прислушиваясь къ нимъ, невольно забываешь невѣрность ихъ типа и невозможность ихъ существованія. А между тѣмъ эта невѣрность и невозможность, незаявленные положительно въ нашей критикѣ, заявляются въ ней «отрицательно». Рудина, Лаврецкаго, Калиновича, Бешметева наши критики берутъ, какъ представителей типовъ, какъ живыхъ людей, служащихъ образчиками русской натуры, а героев Гончарова никто не беретъ такимъ образомъ, потому что, повторяю, въ нихъ нѣтъ ничего русскаго и нѣтъ никакой натуры.

Оба Адуевы, дядя и племянникъ, не обратились и никогда не обратятся въ полу-паричательныя имена, подобныя Опѣгину, Фамусову, Молчалину, Ноздреву, Манилову и т. п. Что сказать о личности Александра Ѳеодоровича Адуева, племянника? Только и скажешь, что у него нѣтъ личности, а между тѣмъ даже и безличность или безхарактерность не можетъ быть поставлена въ число его свойствъ. Онъ молодъ, пріѣзжаетъ въ Петербургъ съ большими надеждами и съ сильной дозой мечтательности; петербургская жизнь понемногу разбиваетъ его надежды и заставляетъ его быть скромнѣе и смотрѣть подъ ноги, вмѣсто того, чтобы носиться въ пространствахъ эонра. Онъ влюбился — ему измѣняетъ любимая дѣвушка; онъ напускаетъ на себя хандру — и понемногу отъ нея выльчивается; потомъ онъ влюбляется въ другую, и на этотъ разъ уже самъ измѣняетъ своей Дульцинеѣ; съ годами онъ становится разсудительнѣе; при этомъ онъ постоянно споритъ съ своимъ дядей и мало-по-малу начинаетъ сходиться съ нимъ во взглядѣ на жизнь; романъ кончается тѣмъ, что оба Адуевы сходятся между собою совершенно въ понятіяхъ и наклонностяхъ. «Это канва романа, — скажете вы, — это общія черты, контуры, которые можно раскрасить, какъ угодно». Это правда; и эти контуры такъ и остались нераскрашенными; бѣдность и недодѣланность ихъ опять-таки замаскированы тщательностью вѣшной отдѣлки. Напримѣръ, Александръ ѣдетъ къ той дѣвушкѣ, которую

онъ любить; онъ чувствуетъ сильное нетерпѣніе, и Гончаровъ чрезвычайно подробно рассказываетъ, въ какихъ именно вѣтшихъ признакахъ проявлялось это нетерпѣніе, какъ сидѣлъ его герой, какъ онъ перемѣнялъ положеніе, какое впечатлѣніе производили на него окрестныя виды; потомъ эта дѣвушка ему измѣнила, предпочла другого, — и Гончаровъ опять-таки съ дагерротипической вѣрностью воспроизводитъ вѣтшія выраженія отчаянія, а потомъ апатію своего героя. Онъ пишетъ вообще исторію болѣзни, а не характеристику больного: поэтому, если бы романъ Гончарова попался въ руки какому-нибудь разумному жителю луны, то этотъ господинъ могъ бы составить себѣ довольно вѣрное понятіе о томъ, какъ говорятъ, любятъ, живутъ, наслаждаются и страдаютъ на землѣ животныя, называемыя людьми. Но мы, къ сожалѣнію, все это знаемъ по горькому опыту, и потому тѣ общія черты, которыя нашъ романистъ разрабатываетъ съ замѣчательнымъ искусствомъ, представляютъ для насъ мало существеннаго интереса. Мы знаемъ, что, отправляясь на свиданіе съ любимой женщиной, молодой человѣкъ чувствуетъ усиленное бѣшеніе сердца; какъ подробно ни описывайте этотъ симптомъ, вы охарактеризуете только известное физиологическое отпавленіе, а не очертите личной фізіономіи. Описывать подобные моменты все равно, что описывать, какъ человѣкъ жусть или храпѣть во снѣ, или сморкается. Дѣло другое, если герой, отправляясь на свиданіе, перебираетъ въ головѣ такіа идеи, которыя составляютъ его типовое или личное свойство; тогда его мысли стоить отмѣтить и воспроизвести. Но Гончаровъ думаетъ иначе; онъ съ зеркальной вѣрностью отражаетъ все или, вѣрнѣе, все то, что находитъ удобоотражаемымъ, все безцвѣтное, т.-е. именно все то, чего не слѣдовало и не стоило отражать.

Условія удобоотражаемости измѣняются съ годами: чтò было неудобно лѣтъ десять тому назадъ, то сдѣлалось удобнымъ и общепринятымъ теперь. Вслѣдствіе этихъ измѣненій въ воздухѣ времени, измѣнилось и направленіе Гончарова. Его «Обыкновенная исторія», за исключеніемъ послѣднихъ страницъ, которыя какъ-то не вяжутся съ цѣлымъ и какъ будто приклеены чужой рукой, говоритъ довольно прямо, хоть и очень осторожно: «Охъ, молодые люди, протестанты жизни, бросьте вы ваши стремленія вдаль, къ усовершенствованіямъ, къ лучшему порядку вещей! — все это пустяки, фантазерство! — надѣньте вицмундиры, вооружитесь хорошо очиненными перьями, покорностью и терпѣніемъ, молчите, когда васъ не спрашиваютъ, говорите, когда прикажутъ и чтò прикажутъ, скрѣпите перьями, не спрашивая, о чемъ и для чего вы пишете, — и тогда, повѣрьте мнѣ, всѣ будутъ вами довольны, и вы сами будете довольны всѣмъ и всѣми».

Эти мысли и воззрѣнія въ свое время были какъ пельзя болѣе кстати; ихъ надо было только выразить съ нѣкоторой осторожностью, чтобы не прослыть за послѣдователя почтеннѣйшаго Булгарина; а, какъ мы видѣли, дипломатической осторожности въ «Обыкновенной исторіи» дѣйствительно гораздо больше, чѣмъ мысли, и несравненно больше, чѣмъ чувства. Но времена переѣпились, и пришлось на-странвать лиру на новый ладъ; всѣ заговорили о прогрессѣ, о разумѣ, и Гончаровъ также заблагоразсудилъ дать нашему обществу урокъ, наставить его на путь истины и указать ему на свѣтлое будущее. «Россіяне! — говоритъ онъ въ своемъ «Обломовѣ», — всѣ вы спите — всѣ вы равнодушны къ судьбѣ родины, всѣ вы до такой степени одурѣли отъ сна и заплыли жиромъ, что мнѣ, романисту, приходится въ укоръ вамъ брать своего положительнаго героя изъ нѣмцевъ, подобно тому, какъ предки ваши, новгородскіе славяне, изъ нѣмцевъ призвали себѣ великаго князя, собирателя русской земли». — И россіяне, со свойственной имъ однимъ добродушной наивностью, умиляются надъ гениальнымъ произведеніемъ своего романиста, всматриваются въ утрированную донельзя фигуру Обломова и восклицаютъ съ добродѣтельнымъ раскаяніемъ: «Да, да! вотъ наша язва, вотъ наше общее страданіе, вотъ корень нашихъ золъ — обломовщина, обломовщина!.. Всѣ мы — Обломовы! всѣ мы ничего не дѣлаемъ! а дѣло ждетъ» и т. д.

Добрые люди! напрасно вы такъ на себя ропщете; да что же вы будете дѣлать? Какая это вамъ пригрезилась работа? Это, должно-быть, одно изъ слѣдствій вашего продолжительнаго сна; перевернитесь на другой бокъ и усните опять. Вы можете быть или Обломовыми, или Молчаливыми, Фамусовыми и Петрами Ивановичами; первые — байбаки, тряпки; вторые — положительные дѣятели; но всякій порядочный человекъ скорѣе согласится быть Обломовымъ, чѣмъ Фамусовымъ. Гончаровъ, какъ авторъ «Обломова» <sup>1)</sup>, думаетъ иначе, — онъ думаетъ, что дѣло ждетъ, а работники спятъ, такъ что приходится напимать ихъ за границей; спятъ они не потому, что ихъ измучила работа, не потому, что ихъ истомила жажда и пропекли жгучіе лучи солнца, а потому, что — негодящій народъ, лѣнтяи, увальни, жиромъ заплыли! Вотъ ужъ это дешевая клевета, пустая фраза, разведенная на цѣлый огромный романъ. Гончаровъ, какъ Панинъ въ романѣ Тургенева «Дворянское гнѣздо», думаетъ, что стоитъ только захотѣть, такъ сейчасъ и посыплются въ ротъ жареные рябчики, и l'idée du cadastre будетъ популяризирована; вотъ поэтому его «Обломовъ» и относится къ тогдашнему пробужденію дѣятельности, какъ замѣчаніе

<sup>1)</sup> Какъ авторъ «Обыкновенной исторіи», Гончаровъ думаетъ совсѣмъ не то: тамъ онъ думаетъ, что все хорошо и всѣ хороши; стоитъ только приглядѣться да втянуться.

начальника, высказанное подчиненному: «Что жъ вы, дескать, любезный мой, спите? вѣдь такъ нельзя! вы видите, я самъ не жалѣю спать». Гончаровъ, очевидно, думалъ этой мыслью попасть въ поту, и, дѣйствительно, многимъ показалось, что онъ попалъ; а на повѣрку выходитъ, что пѣше было фальшивое, да и подтягиваль-то онъ не теноромъ, а фистулой. Дѣло въ томъ, что Обломовъ похожъ на Бельтова, Рудина и Бешметева; только гораздо рѣзче обрисованъ; вотъ многимъ, если не вѣмъ, и показись въ то время, что Гончаровъ говоритъ то же самое, что Тургеневъ и Писемскій; а Гончаровъ говорилъ другое, только съ свойственной ему осторожностью. Бельтовъ, Рудинъ и Бешметевъ доходятъ до своей дряпности вслѣдствіе обстоятельствъ, а Обломовъ—вслѣдствіе своей натуры. Бельтовъ, Рудинъ и Бешметевъ—люди измятые и исковерканные жизнью, а Обломовъ—человѣкъ ненормальнаго тѣлосложенія. Въ первомъ случаѣ виноваты условія жизни, во второмъ—организация самого человѣка. По мнѣнію Тургенева, Писемскаго и др., наше общество нуждается въ реформахъ; по мнѣнію Гончарова, мы все—больные, нуждающиеся въ лѣкарствахъ и въ совѣтахъ врача. Согласитесь, что это не совсѣмъ то же самое. Вотъ изъ этого-то взгляда и вытекла попытка Гончарова соорудить нелѣпую фигуру Штольца. Положительныхъ дѣтелей нѣтъ,—это фактъ, который рѣшается признать нашъ романистъ; но почему ихъ нѣтъ?—спрашиваетъ онъ. Дать на этотъ вопросъ удовлетворительный отвѣтъ онъ боится, потому что такой отвѣтъ можетъ повести ужасно далеко, по русской пословицѣ: «языкъ до Кіева доведетъ». Вотъ онъ и отвѣчаетъ: «дѣтелей нѣтъ, потому что мы страдаемъ обломовщиной». Это не отвѣтъ, это повтореніе вопроса въ другой формѣ, а между тѣмъ фраза облетѣла всю Россію, «обломовщина» вошла въ языкъ, и даже талантливый критикъ «Современника» посвятилъ цѣлую критическую статью на разборъ вопроса: что такое обломовщина?

Далѣе Гончаровъ разсуждаетъ такъ: если мы страдаемъ припадками болѣзни, то, чтобы изобразить положительнаго дѣтеля, стоитъ только представить здороваго человѣка; въ насъ недостаетъ энергіи, стало-быть, если приписать энергію какому-нибудь джентльмену, если заставить его ходить большими шагами, говорить рѣшительно и громко, рѣшать, не задумываясь, теоретическіе вопросы,—великая задача будетъ рѣшена; ключъ найденъ, рецептъ положительнаго дѣтеля составленъ; остается только послать въ аптеку, чтобы тамъ подписали: *ordinavit nobis doctor vitae russicae I. Gontcharow*. А ну, какъ въ аптекѣ не найдется матеріаловъ? Что, если провизоръ усмѣхнется, прочитавъ рецептъ, и отвѣтитъ ученому доктору, что такихъ спецій въ цѣломъ свѣтѣ нѣтъ, и что такіа химическія соединенія невозможны



ни подь какой широтой? Чтò тогда? — Ничего. Докторъ умоетъ руки, скажетъ, что больной непременно выздоровѣть бы, если бы можно было найти птичье молоко, о которомъ толкуетъ его рецептъ. Въ дѣйствительности больной не поправится, но зато докторъ будетъ правъ: онъ не задумался, онъ рѣшилъ вопросъ; его ли вина, что вопросъ можетъ быть рѣшенъ только въ теоріи, или, вѣришь, въ фантазій? Да и всего вѣришь, что робкій провизоръ не отвѣтитъ доктору такъ рѣзко, какъ мы это предположили. Благоговѣя передъ репутаціей ученаго мужа, онъ начнетъ смѣшивать и размѣшивать, и если у него не выйдетъ требуемаго соединенія, отнесетъ свою неудачу насчетъ собственной неловкости, вмѣсто того, чтобы обличить эскулана въ невѣжество и шарлатанствѣ.

Благоговѣіе передъ авторитетами, общими и частными, одинаково сильно: въ аптекахъ и въ журіалахъ. Если откинуть это благоговѣіе, то надо будетъ сказать напрямикъ, что весь «Обломовъ» — клевета на русскую жизнь, а Штольцъ — просто faux-fuyant, подставное рѣшеніе вопроса, вмѣсто истиннаго, попытка разрубить фразами тотъ узелъ, надъ которымъ, не жалѣя глазъ и костей, трудятся въ продолженіе цѣлыхъ десятилѣтій истинно добросовѣстные дѣятели. Да! Авторъ «Обыкновенной исторіи» напрасно прикинулся прогрессистомъ. Обращаясь къ нашему потомству, Гончаровъ будетъ имѣть полное право сказать: не помняйте лихомъ, а добромъ нечѣмъ!

*Писаревъ.*

### „Обломовъ“, романъ И. А. Гончарова.

Въ каждой литературѣ, достигшей извѣстной степени зрѣлости, появляются такіа произведенія, которыя соглашаютъ общечеловѣческій интересъ съ народнымъ и современнымъ и возводятъ на степенъ художественныхъ созданій типы, взятые изъ среды того общества, къ которому принадлежитъ писатель. Авторъ такого произведенія не увлекается современными ему, часто мелкими, вопросами жизни, не имѣющими ничего общаго съ искусствомъ; онъ не задаетъ себѣ задачи составить поучительную книгу и осмѣять тотъ или другой недостатокъ общества или превознести ту или другую добродѣтель, въ которой нуждается это общество. Нѣтъ! Творчество съ заранѣе задуманной практической цѣлью составляетъ явленіе незаконное; оно должно быть предоставлено на долю тѣхъ писателей, которымъ отказано въ могучемъ талантѣ, которымъ дано взаимѣй правдивое чувство, способное сдѣлать ихъ хорошими гражданами, но не художниками. Истинный поэтъ стоитъ выше житейскихъ вопросовъ, но не уклоняется отъ ихъ разрѣшенія, встрѣчаясь съ ними на пути своего творчества. Та-

кой поэтъ смотритъ глубоко на жизнь и въ каждомъ ея явленіи видитъ общечеловѣческую сторону, которая затропетъ за живое всякое сердце и будетъ понятна всякому времени. Случится ли поэту обратить вниманіе на какое-нибудь общественное зло — положимъ, на взяточничество — онъ не станетъ, подобно представителямъ обличительнаго направленія, вдаваться въ тонкости казуистики и излагать разныя запутанныя продѣлки: цѣль его будетъ не осмѣять зло, а разрѣшить передъ глазами читателя психологическую задачу; онъ обратитъ вниманіе не на то, въ чемъ проявляется взяточничество, а на то, откуда оно исходитъ; взяточникъ въ его глазахъ — не чиновникъ, недобросовѣстно исполняющій свою обязанность, а человѣкъ, находящійся въ состояніи полнаго нравственнаго униженія. Прослѣдить состояніе его души, раскрыть его передъ читателемъ, объяснить участіе общества въ формованіи подобныхъ характеровъ, — вотъ дѣло истиннаго поэта, котораго твореніе о взяточничествѣ можетъ возбудить не одно отвращеніе, а глубокую грусть за нравственное паденіе человѣка. Такъ смотритъ поэтъ на явленія своей современности, такъ относится онъ къ различнымъ сторонамъ своей національности, на все смотритъ онъ съ общечеловѣческой точки зрѣнія; не тратя силъ на воспроизведеніе мелкихъ внѣшнихъ особенностей народнаго характера, не дробя своей мысли на мелочныя явленія всендневной жизни, поэтъ разомъ постигаетъ духъ, смыслъ этихъ явленій, усваиваетъ себѣ полное пониманіе народнаго характера и потомъ, вполне располагая своимъ матеріаломъ, творитъ, не списывая съ окружающей его дѣйствительности, а выводя эту дѣйствительность изъ глубины собственного духа и влагая въ живые, созданные имъ образы одушевляющую его мысль. «Народность, — говоритъ Бѣлинскій, — есть не достоинство, а необходимое условіе истинно художественнаго произведенія». Мысль поэта ищетъ себѣ опредѣленнаго, округлаго выраженія и по естественному закону выливается въ ту форму, которая всего знакомѣе поэту; каждая черта общечеловѣческаго характера имѣетъ въ извѣстной національности свои особенности, каждое общечеловѣческое движеніе души выражается сообразно съ условіями времени и мѣста. Истинный художникъ можетъ воплотить свою идею только въ самыхъ опредѣленныхъ образахъ, и вотъ почему народность и историческая вѣрность составляютъ необходимое условіе изящнаго произведенія. Слова Бѣлинскаго, сказанныя имъ по поводу повѣстей Гоголя, могутъ быть въ полной силѣ приложены къ оцѣнкѣ новаго романа Гончарова. Въ этомъ романѣ разрѣшается обширная, общечеловѣческая психологическая задача; эта задача разрѣшается въ явленіяхъ чисто русскихъ, національныхъ, возможныхъ только при нашемъ образѣ жизни, при тѣхъ историческихъ обстоятельствахъ, которыя сформировали народ-

ный характеръ, при тѣхъ условіяхъ, подъ вліяніемъ которыхъ развивалось и отчасти развивается до сихъ поръ наше молодое поколѣніе. Въ этомъ романѣ затронуты и жизненные, современные вопросы настолько, насколько эти вопросы имѣютъ общечеловѣческій интересъ; въ немъ выставлены и недостатки общества, но выставлены не съ полемической цѣлью, а для вѣрности и полноты картины, для художественнаго изображенія жизни, какъ она есть, и человѣка съ его чувствами, мыслями и страстями. Полная объективность, спокойное, безстрастное творчество, отсутствіе узкихъ временныхъ цѣлей, профанирующихъ искусство, отсутствіе лирическихъ порывовъ, нарушающихъ ясность и отчетливость эпического повѣствованія, — вотъ отличительные признаки таланта автора, насколько онъ выразился въ послѣднемъ его произведеніи. Мысль Гончарова, проведенная въ его романѣ, принадлежитъ всѣмъ вѣкамъ и народамъ, но имѣетъ особенное значеніе въ наше время, для нашего русскаго общества. Авторъ задумалъ прослѣдить мертвящее, губительное вліяніе, которое оказываютъ на человѣка умственная апатія, усиленіе, овладѣвающее мало-по-малу всѣми силами души, охватывающее и сковывающее собою все лучшія, человѣческія, разумныя движенія и чувства. Эта апатія составляетъ явленіе общечеловѣческое, она выражается въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и порождается самыми разнородными причинами; но вездѣ въ ней играетъ главную роль страшный вопросъ: «зачѣмъ жить? къ чему трудиться?» — вопросъ, на который человѣкъ часто не можетъ найти себѣ удовлетворительнаго отвѣта. Этотъ неразрѣшенный вопросъ, это неудовлетворенное сомнѣніе истощаютъ силы, губятъ дѣятельность; у человѣка опускаются руки, и онъ бросаетъ трудъ, не видя ему цѣли. Одинъ съ негодованіемъ и съ желчью отбросить отъ себя работу, другой отложить ее въ сторону тихо и лѣнливо; одинъ будетъ рваться изъ своего бездѣйствія, негодовать на себя и на людей, искать чего-нибудь, чѣмъ можно было бы наполнить внутреннюю пустоту; апатія его приметъ отгѣнокъ мрачнаго отчаянія, она будетъ перемежаться съ лихорадочными порывами къ безпорядочной дѣятельности и все-таки останется апатіей, потому что отниметъ у него силы дѣйствовать, чувствовать и жить. У другого равнодушіе къ жизни выразится въ болѣе мягкой, безцвѣтной формѣ; животные инстинкты тихо, безъ борьбы, выльются на поверхность души; замрутъ безъ боли высшія стремленія; человѣкъ опустится въ мягкое кресло и заснетъ, наслаждаясь своимъ безмысленнымъ покоемъ; начнется вмѣсто жизни прозябаніе, и въ душѣ человѣка образуется стоячая вода, до которой не коснется никакое волненіе вѣшняго міра, которой не потревожитъ никакой внутренней переворотъ. Въ первомъ случаѣ мы видимъ какую-то вынужденную апатію, — апатію

и вмѣстѣ съ тѣмъ борьбу противъ нея, избытокъ силъ, просившихся въ дѣло и медленно гаснущихъ въ безплодныхъ попыткахъ; это — байронизмъ, болѣзнь сильныхъ людей. Во второмъ случаѣ является апатія покорная, мирная, улыбающаяся, безъ стремленія выйти изъ бездѣйствія; это — обломовщина, какъ назвалъ ее Гончаровъ, это болѣзнь, развитію которой способствуютъ и славянская природа, и жизнь нашего общества. Это развитіе болѣзни прослѣдилъ въ своемъ романѣ Гончаровъ. Огромная идея автора во всемъ величій своей простоты улеглась въ соотвѣтствующую ей рамку. По этой идѣе построены весь планъ романа, построены такъ обдуманно, что въ немъ нѣтъ ни одной случайности, ни одного вводнаго лица, ни одной лишней подробности; черезъ всѣ отдѣльныя сцены проходитъ основная идея, и между тѣмъ, во имя этой идеи, авторъ не дѣлаетъ ни одного уклоненія отъ дѣйствительности, не жертвуетъ ни одной частностью во вышней отдѣлкѣ лицъ, характеровъ и положеній. Все строго естественно и между тѣмъ вполне осмысленно, проникнуто идеей. Событій, дѣйствій почти нѣтъ; содержаніе романа можетъ быть сказано въ двухъ, трехъ строкахъ, какъ можетъ быть рассказана въ нѣсколькихъ словахъ жизнь всякаго человѣка, не испытавшаго сильныхъ потрясеній; интересъ такого романа, интересъ такой жизни заключается не въ замысловатомъ сцѣпленіи событій, хотя бы и правдоподобныхъ, хотя бы и дѣйствительно случившихся, а въ наблюденіи надъ внутреннимъ міромъ человѣка. Этотъ міръ всегда интересенъ, всегда привлекаетъ къ себѣ наше вниманіе; но онъ особенно доступенъ для изученія въ спокойныя минуты, когда человѣкъ, составляющій предметъ нашего наблюденія, предоставленъ самому себѣ, не зависитъ отъ вышнихъ событій, не поставленъ въ искусственное положеніе, происходящее отъ случайнаго стеченія обстоятельствъ. Въ такія спокойныя минуты жизни, когда человѣкъ, не тревожимый вышними впечатлѣніями, сосредоточивается, собираетъ свои мысли и заглядываетъ въ свой внутренній міръ, въ такія минуты происходитъ иногда никому незамѣтная, глухая внутренняя борьба, въ такія минуты зрѣетъ и развивается задушевная мысль или происходитъ поворотъ на прошедшее, обсуживаніе и оцѣнка собственныхъ поступковъ, собственной личности. Эти таинственныя минуты особенно дороги для художника, особенно интересны для просвѣщеннаго наблюдателя. Въ романѣ Гончарова внутренняя жизнь дѣйствующихъ лицъ открыта передъ глазами читателя; нѣтъ путаницы вышнихъ событій, нѣтъ придуманныхъ и рассчитанныхъ эффектовъ, и потому анализъ автора ни на минуту не теряетъ своей отчетливости и спокойной проникательности. Идея не дробится въ сплетеніи разнообразныхъ происшествій: она стройно и просто развивается сама изъ себя, проводится до конца,

и до конца поддерживает собою весь интересъ, безъ помощи постороннихъ, побочныхъ, вводныхъ обстоятельствъ. Эта идея такъ широка, она охватываетъ собою такъ много сторонъ нашей жизни, что, воплотивъ одну эту идею, не уклоняясь отъ нея ни на шагъ, авторъ могъ, безъ малѣйшей натяжки, коснуться чуть ли не всѣхъ вопросовъ, занимающихъ въ настоящее время общество. Онъ коснулся ихъ невольно, не желая жертвовать для временныхъ цѣлей вѣчными интересами искусства; но это, невольно высказанное въ общественномъ дѣлѣ, слово художника не можетъ не имѣть сильнаго и благотворнаго вліянія на умы: оно подѣйствуетъ такъ, какъ дѣйствуетъ все истинное и прекрасное. Часто случается, что художникъ приступаетъ къ своему дѣлу съ извѣстной идеей, созрѣвшей въ его головѣ и получившей уже свою опредѣленную форму; онъ берется за перо, чтобы перенести эту идею на бумагу, чтобы вложить ее въ образы — и вдругъ увлекается самымъ процессомъ творчества; произведеніе, задуманное въ его умѣ, разрастается и получаетъ не ту форму, которая была назначена ему прежде. Отдѣльный эпизодъ, которому вначалѣ слѣдовало только подтвердить основную мысль, обрабатывается съ особенной любовью и вырастаетъ такъ, что почти выдвигается на первый планъ, и между тѣмъ отъ этого, повидимому, незаконнаго преобладанія одной части надъ другими не происходитъ дисгармоніи; основная идея не теряетъ своей ясности, не затемняется развитіемъ эпизодовъ; все произведеніе остается стройнымъ и изящнымъ, хотя и не соблюдена математическая строгость въ соразмѣрности частей. Описанный нами фактъ творчества свершился, какъ кажется, надъ романомъ Гончарова. Главной идеей автора, насколько можно судить и по заглавію, и по ходу дѣйствія, было изобразить состояніе спокойной и покорной апатіи, о которой мы уже говорили выше; между тѣмъ послѣ прочтенія романа у читателя можетъ возникнуть вопросъ: что хотѣлъ сдѣлать авторъ? Какая главная цѣль руководила имъ? Не хотѣлъ ли онъ прослѣдить развитіе чувства любви, анализировать до мельчайшихъ подробностей тѣ видоизмѣненія, которыя испытываетъ душа женщины, взволнованной сильнымъ и глубокимъ чувствомъ? Вопросъ этотъ рождается не оттого, чтобы главная цѣль была не достигнута, не оттого, чтобы вниманіе автора уклонилось отъ нея въ сторону: напротивъ! дѣло въ томъ, что обѣ цѣли, главная и второстепенная, возникающая во время творчества, достигнуты до такой степени полно, что читатель не знаетъ, которой изъ нихъ отдать предпочтеніе. Въ Обломовѣ мы видимъ двѣ картины, одинаково законченныя, поставленныя рядомъ, проникающія и дополняющія одна другую. Главная идея автора выдержана до конца; но во время процесса творчества представилась новая психологическая задача, которая, не мѣшая развитію первой мысли, сама разрѣшается



до такой степени полно, какъ не разрѣшалась, быть-можетъ, никогда. Рѣдкій романъ обнаруживалъ въ своемъ авторѣ такую силу анализа, такое полное и тонкое знаніе человѣческой природы вообще и женской въ особенности; рѣдкій романъ когда-либо совмѣщалъ въ себѣ двѣ, до такой степени огромныя, психологическія задачи, рѣдкій возводилъ соединеніе двухъ такихъ задачъ до такого стройнаго и, повидимому, несложнаго цѣлаго. Мы бы никогда не кончили, если бы стали говорить о всѣхъ достоинствахъ общаго плана, составленнаго такою смѣлою рукою; переходимъ къ разсмотрѣнію отдѣльныхъ характеровъ.

Илья Ильичъ Обломовъ, герой романа, олицетворяетъ въ себѣ ту умственную апатію, которой Гончаровъ придалъ имя обломовщины. Слово «обломовщина» не умереть въ нашей литературѣ: оно составлено такъ удачно, оно такъ осязательно характеризуетъ одинъ изъ существенныхъ пороковъ нашей русской жизни, что, по всей вѣроятности, изъ литературы оно проникнетъ въ языкъ и войдетъ во всеобщее употребленіе. Посмотримъ, въ чемъ же состоитъ эта обломовщина. Илья Ильичъ стоитъ на рубежѣ двухъ, взаимно противоположныхъ направленій: онъ воспитанъ подъ вліяніемъ обстановки старо-русской жизни, привыкъ къ барству, къ бездѣйствію и къ полному угожденію своимъ физическимъ потребностямъ и даже прихотямъ; онъ провелъ дѣтство подъ любящимъ, но неосмысленнымъ надзоромъ совершенно неразвитыхъ родителей, наслаждавшихся въ продолженіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ полной умственной дремотою, въ родѣ той, которую охарактеризовалъ Гоголь въ своихъ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ». Онъ избѣженъ и избалованъ, ослабленъ физически и нравственно; въ немъ старались, для его же пользы, подавлять порывы рѣзвости, свойственные дѣтскому возрасту, и движенія любознательности, просыпающіяся также въ годы младенчества: первые, по мнѣнію родителей, могли подвергнуть его ушибамъ и разпаго рода поврежденіямъ; вторые могли разстронить здоровье и остановить развитіе физическихъ силъ. Кормленіе на убой, сонъ вволю, поблажка всѣмъ желаніямъ и прихотямъ ребенка, не грозившимъ ему какимъ-либо тѣлеснымъ поврежденіемъ, и тщательное удаленіе отъ всего, что можетъ простудить, обжечь, ушибить или утомить его, — вотъ основныя начала обломовскаго воспитанія. Сонная, рутинная обстановка деревенской, захолустной жизни дополнила то, чего не успѣли сдѣлать труды родителей и нянекъ. На тепличное растеніе, не ознакомившееся въ дѣтствѣ не только съ волненіями дѣйствительной жизни, но даже съ дѣтскими огорченіями и радостями, пахло струей свѣжаго, живого воздуха. Илья Ильичъ сталъ учиться и развился настолько, что понималъ, въ чемъ состоитъ жизнь, въ чемъ состоятъ обязанности человѣка. Онъ понималъ это умомъ, но не могъ сочувствовать воспринятымъ идеямъ о долгѣ, о трудѣ и дѣятельности. Роковой во-

прось: къ чему жить и трудиться?—вопросъ, возникающій обыкновенно послѣ многочисленныхъ разочарованій и обманутыхъ надеждъ, прямо, самъ собою, безъ всякаго приготовленія, во всей своей ясности представлялся уму Ильи Ильича. Этимъ вопросомъ онъ сталъ оправдывать въ себѣ отсутствіе опредѣленныхъ наклонностей, нелюбовь къ труду всякаго рода, нежеланіе покупать этимъ трудомъ даже высокое наслажденіе, безспіе, непозволявшее ему идти твердо къ какой-нибудь цѣли и заставлявшее его останавливаться съ любовью на каждомъ препятствіи, на всемъ, что могло дать средство отдохнуть и остановиться. Образованіе научило его презирать праздность; но сѣмена, брошенные въ его душу природою и первоначальнымъ воспитаніемъ, принесли плоды. Нужно было согласить одно съ другимъ, и Обломовъ сталъ объяснять себѣ свое апатическое равнодушіе философскимъ взглядомъ на людей и на жизнь. Онъ, дѣйствительно, успѣлъ увѣрить себя въ томъ, что онъ — философъ, потому что спокойно и безстрастно смотритъ на волненія и дѣятельность окружающихъ его людей; лѣнь получила въ его глазахъ силу закона; онъ отказался отъ всякой дѣятельности; обеспеченное состояніе дало ему средства не трудиться, и онъ спокойно задремалъ съ полнымъ сознаніемъ собственного достоинства. Между тѣмъ, идутъ года, и съ годами возникаютъ сомнѣнія. Обломовъ оборачивается назадъ и видитъ рядъ бесполезно прожитыхъ лѣтъ, смотритъ внутрь себя и видитъ, что все пусто, оглядывается на товарищей — все за дѣломъ; наступаютъ порою страшныя минуты яснаго сознанія; его щемитъ тоска, хочется двинуться съ мѣста, фантазія разыгрывается, начинаются планы, а между тѣмъ двинуться нѣтъ силъ, онъ какъ будто приросъ къ землѣ, прикованъ къ своему бездѣйствію, къ спокойному креслу и къ халату; фантазія слабѣетъ, лишь только приходитъ пора дѣйствовать; смѣлые планы разлетаются, лишь только надо сдѣлать первый шагъ для ихъ осуществленія. Апатія Обломова не похожа на тотъ тяжелый сонъ, въ который были погружены умственные способности его родителей: эта апатія парализуетъ дѣйствія, но не деревянитъ его чувства, не отнимаетъ у него способности думать и мечтать; высшія стремленія его ума и сердца, пробужденныя образованіемъ, не замерли; человѣческія чувства, вложенныя природою въ его мягкую душу, не очерствѣли: они какъ будто заплыли жиромъ, но сохранились во всей своей первобытной чистотѣ. Обломовъ никогда не приводилъ этихъ чувствъ и стремленій въ соприкосновеніе съ практической жизнью; онъ никогда не разочаровывался, потому что никогда не жилъ и не дѣйствовалъ. Оставшись до зрѣлаго возраста съ полной вѣрой въ совершенство людей, создавъ себѣ какой-то фантастическій міръ, Обломовъ сохранилъ чистоту и свѣжесть чувства, характеризующую ребенка; но эта свѣжесть чувства бесполезна и для

него, и для другихъ. Онъ способенъ любить и чувствовать дружбу; но любовь не можетъ возбудить въ немъ энергій; онъ устаетъ любить, какъ усталъ двигаться, волноваться и жить. Вся личность его влечетъ къ себѣ своей честностью, чистотою помысловъ и «голубиною», по выраженію самого автора, нѣжностью чувствъ; но въ этой привлекательной личности нѣтъ мужественности и силы, нѣтъ самостоятельности. Этотъ недостатокъ губитъ всѣ его хорошія свойства. Обломовъ робокъ, застѣнчивъ. Онъ стоитъ по своему уму и развитію выше массы, составляющей у насъ общественное мнѣніе, но ни въ одномъ изъ своихъ дѣйствій не выражаетъ своего превосходства; онъ не дорожитъ свѣтомъ — и между тѣмъ боится его пересудовъ и безпрекословно подчиняется его приговорамъ; его пугаетъ малѣйшее столкновеніе съ жизнью, и, ежели можно избѣжать такого столкновенія, онъ готовъ жертвовать своимъ чувствомъ, надеждами, матеріальными выгодами; словомъ, Обломовъ не умѣетъ и не хочетъ бороться съ чѣмъ бы то ни было и какъ бы то ни было. Между тѣмъ въ немъ совершается постоянная борьба между лѣнивой природою и сознаніемъ человѣческаго долга, — борьба безплодная, не вырывающаяся наружу и не приводящая ни къ какому результату. Спрашивается, какъ должно смотрѣть на личность, подобную Обломову? Этотъ вопросъ имѣетъ важное значеніе, потому что Обломовыхъ много и въ русской литературѣ, и въ русской жизни. Сочувствовать такимъ личностямъ нельзя, потому что онѣ тяготятъ и себя, и общество; презирать ихъ безусловно тоже нельзя: въ нихъ слишкомъ много истинно-человѣческаго, и сами онѣ слишкомъ много страдаютъ отъ несовершенствъ своей природы. На подобныя личности должно, по нашему мнѣнію, смотрѣть, какъ на жалкія, но неизбѣжныя явленія переходной эпохи; онѣ стоятъ на рубежѣ двухъ жизней: старорусской и европейской, и не могутъ шагнуть рѣшительно изъ одной въ другую. Въ этой нерѣшительности, въ этой борьбѣ двухъ началъ заключается драматичность ихъ положенія; здѣсь же заключаются и причины дисгармоніи между смѣлостью ихъ мысли и нерѣшительностью дѣйствій. Такихъ людей должно жалѣть, во-первыхъ, потому, что въ нихъ часто бываетъ много хорошаго, во-вторыхъ, потому, что они являются невинными жертвами исторической необходимости. Рядомъ съ Обломовымъ выведенъ въ романѣ Гончарова другой характеръ, соединяющій въ себѣ тѣ результаты, къ которымъ должно вести гармоническое развитіе. Андрей Ивановичъ Штольцъ, другъ Обломова, является вполне мужчиною, такимъ человѣкомъ, какихъ еще очень мало въ современномъ обществѣ. Онъ не избалованъ домашнимъ воспитаніемъ, онъ съ молодыхъ лѣтъ началъ пользоваться разумной свободой, рано узналъ жизнь и умѣлъ внести въ практическую дѣятельность прочныя теоретическія знанія. Выработанность убѣжденій, твер-

дость воли, критическій взглядъ на людей и на жизнь и рядомъ съ этимъ критическимъ взглядомъ вѣра въ истину и въ добро, уваженіе ко всему прекрасному и возвышенному, — вотъ главные черты характера Штольца. Онъ не даетъ воли страстямъ, отличая ихъ отъ чувства; онъ наблюдаетъ за собою и сознаетъ, что человѣкъ есть существо мыслящее и что разумокъ долженъ управлять его дѣйствіями. Господство разума не исключаетъ чувства, но осмысливаетъ его и предохраняетъ отъ увлеченій. Штолецъ не принадлежитъ къ числу тѣхъ холодныхъ, флегматическихъ людей, которые подчиняютъ свои поступки расчету, потому что въ нихъ нѣтъ жизненной теплоты, потому что они неспособны ни горячо любить, ни жертвовать собою во имя идеи. Штолецъ не мечтатель, потому что мечтательность составляетъ свойство людей, больныхъ тѣломъ или душою, не умѣвшихъ устроить себѣ жизнь по своему вкусу; у Штольца здоровая и крѣпкая природа; онъ сознаетъ свои силы, не слабѣетъ передъ неблагоприятными обстоятельствами и, не напрашиваясь насильно на борьбу, никогда не отступаетъ отъ нея, когда того требуютъ убѣжденія; жизненные силы быютъ въ немъ живымъ ключомъ, и онъ употребляетъ ихъ на полезную дѣятельность, живетъ умомъ, сдерживая порывы воображенія, но воспитывая въ себѣ правильное эстетическое чувство. Характеръ его можетъ съ перваго взгляда показаться жестокимъ и холоднымъ. Спокойный, часто шутиливый тонъ, съ которымъ онъ говоритъ и о своихъ, и о чужихъ интересахъ, можетъ быть принятъ за неспособность глубоко чувствовать, за нежеланіе вдуматься, выискнуть въ дѣло; но это спокойствіе происходитъ не отъ холодности: въ немъ должно видѣть доказательство самостоятельности, привычки думать про себя и дѣлиться съ другими своими впечатлѣніями только тогда, когда это можетъ доставить имъ пользу или удовольствіе. Въ отношеніяхъ между Обломовымъ и Штольцемъ Обломовъ нѣжнѣе и общительнѣе своего друга. Это очень естественно: характеры слабые всегда нуждаются въ нравственной поддержкѣ и потому всегда готовы раскрыться, подѣлиться съ другимъ горемъ или радостью. Люди съ твердымъ, глубокимъ характеромъ находятъ въ голосѣ собственного разсудка лучшую опору и потому рѣдко чувствуютъ потребность высказаться. Въ отношеніи къ любимой женщинѣ Штолецъ неспособенъ быть страдательнымъ существомъ, послушнымъ исполнителемъ ея воли: сознаніе собственной личности не позволяетъ ему, для кого бы то ни было, отступать отъ убѣжденій или мѣнять основныя черты своего характера. Осмысливая все, онъ осмысливаетъ и любовь и видитъ въ ней не служеніе кумиру, а разумное чувство, долженствующее пополнить существованіе двухъ взаимно уважающихъ другъ друга людей. Штолецъ — вполне европеецъ по развитію и по взгляду на жизнь; это — типъ будущій, который теперь рѣдокъ;

но къ которому ведетъ современное движеніе идей, обнаружившееся съ такою силой въ нашемъ обществѣ. «Вотъ, — говоритъ Гончаровъ, — глаза очнулись отъ дремоты, послышались бойкіе, широкіе шаги, живые голоса... Сколько Штольцевъ должно явиться подъ русскими знаменами!»

Личности, подобныя Штольцу, рѣдки въ наше время: условія нашей общественной и частной жизни не могутъ содѣйствовать развитію такихъ характеровъ; въ наше время еще трудно согласить личные интересы съ чистотою убѣжденій, трудно не увлечься, съ одной стороны, въ сферу отвлеченной мысли, не имѣющей связи съ жизнью, съ другой — въ область копеечнаго, бездушнаго расчета. Гончаровъ знаетъ исключительность характера Штольца и объясняетъ его происхожденіе тѣми особенными условіями, подъ вліяніемъ которыхъ онъ росъ и развивался. Отецъ его, нѣмецъ, приучилъ его къ дѣятельности и съ малыхъ лѣтъ предоставилъ ему такую свободу, которая принудила его самого обдумывать поступки и заботиться объ его дѣтскихъ интересахъ; мать его, русская дворянка, не сочувствовала реальному направленію, которое давалъ отецъ воспитанію Андрюши, и старалась возбудить въ немъ эстетическое чувство, заботилась даже о виѣшнемъ изяществѣ его манеръ и туалета. Отецъ старался сдѣлать изъ Андрея нѣмецкаго бюргера, дѣятельнаго, расчетливаго и расторопнаго; мать желала видѣть въ немъ человѣка съ нѣжной душой и русскаго барина, образованнаго, способнаго блистать въ обществѣ и проживать честнымъ образомъ деньги, зарабатываемыя отцомъ. Отецъ воспитывалъ мальчика на римскихъ классикахъ, водилъ его по фабрикамъ, давалъ ему разные коммерческія порученія и предоставлялъ его наклонностямъ возможно полную свободу; мать учила его прислушиваться къ задумчивымъ звукамъ Герца, нѣла ему о цвѣтахъ, о поэзіи жизни и проч. Вліянія обоихъ родителей были, такимъ образомъ, почти діаметрально противоположны; сверхъ того, на Андрея дѣйствовала окружавшая его обстановка русской жизни, широкая, безпечная, располагавшая къ лѣни и покою, дѣйствовала, наконецъ, и школа труда, которую онъ принужденъ былъ пройти, чтобы составить себѣ карьеру и состояніе. Всѣ эти разнородныя вліянія, умѣряя другъ друга, формировали сильный, недюжинный характеръ. Отецъ далъ Андрею практическую мудрость, любовь къ труду и точность въ занятіяхъ; мать воспитала въ немъ чувство и внушила ему стремленіе къ высшимъ духовнымъ наслажденіямъ; русское, деревенское общество положило на его личность печать добродушія и откровенности. Наконецъ жизнь закалила этотъ характеръ и придала строгую опредѣленность тѣмъ нравственнымъ свойствамъ, которые не успѣли вполне выработаться въ молодости, при воспитаніи. Характеръ Штольца вполне объясненъ авторомъ и та-



кимъ образомъ, несмотря на свою рѣдкость, является характеромъ понятнымъ и законнымъ.

Третья замѣчательная личность, выведенная въ романѣ Гончарова — Ольга Сергѣевна Ильинская — представляетъ типъ будущей женщины, какъ сформируютъ ее впоследствии тѣ идеи, которыя въ наше время стараются ввести въ женское воспитаніе. Въ этой личности, привлекающей къ себѣ невыразимой прелестью, но не поражающей никакими рѣзко выдающимися достоинствами, особенно замѣчательны два свойства, бросающія оригинальный колоритъ на все ея дѣйствія, слова и движенія. Эти два свойства рѣдки въ современныхъ женщинахъ и потому особенно дороги въ Ольгѣ; они представлены въ романѣ Гончарова съ такой художественной вѣрностью, что имъ трудно не вѣрить, трудно принять Ольгу за невозможный идеалъ, созданный творческой фантазіей поэта. Естественность и присутствіе сознанія — вотъ что отличаетъ Ольгу отъ обыкновенныхъ женщинъ. Изъ этихъ двухъ качествъ вытекаютъ правдивость въ словахъ и въ поступкахъ, отсутствіе кокетства, стремленіе къ развитію, умѣнье любить просто и серьезно, безъ хитростей и уловокъ, умѣнье жертвовать собой своему чувству настолько, насколько позволяютъ не законы этикета, а голосъ совѣсти и разсудка. Первые два характера, оговоренные нами выше, представлены уже сложившимися, и Гончаровъ только объясняетъ ихъ читателю, т.-е. показываетъ тѣ условія, подъ вліяніемъ которыхъ они образовались; что же касается до характера Ольги, онъ формируется передъ глазами читателя. Авторъ выводитъ ее сначала ребенкомъ, дѣвухой, одаренной природнымъ умомъ, пользовавшейся при воспитаніи нѣкоторой самостоятельностью, но не испытавшей никакого сильного чувства, никакого волненія, незнакомой съ жизнью, непривыкшей наблюдать за собою, анализировать движенія собственной души. Въ этотъ періодъ жизни Ольги мы видимъ въ ней богатую, но нетронутую натуру; она не испорчена свѣтомъ, не умѣетъ притворяться, но не успѣла также развить въ себѣ мыслительной силы, не успѣла выработать въ себѣ убѣжденія; она дѣйствуетъ, повинаясь влеченіямъ доброй души, но дѣйствуетъ инстинктивно; она слѣдуетъ дружескимъ совѣтамъ развитого человѣка, но не всегда подвергаетъ эти совѣты критикѣ, увлекается авторитетомъ и иногда мысленно ссылается на своихъ пансіонскихъ подругъ, старается припомнить, что сдѣлала бы въ томъ или въ другомъ случаѣ Сонечка. Она не поступаетъ такъ, какъ поступили бы эти подруги, но мысленно упрекаетъ себя въ этомъ, не понимая, не сознавая еще ясно, что кокетство — ложь, что, слѣдуя внушеніямъ собственной души, она поступаетъ честно, и что инстинктивное отвращеніе ко всякому притворству есть проявленіе нравственнаго чувства, а не слѣдствіе незрелости, или, какъ она говоритъ, глупости. Опытъ

и спокойное размышленіе могли постепенно вывести Ольгу изъ этого періода инстинктивныхъ влеченій и поступковъ, врожденная любознательность могла повести ее къ дальнѣйшему развитію путемъ чтенія и серьезныхъ занятій; но авторъ выбралъ для нея другой, ускороенный путь. Ольга полюбила, душа ея взволновалась, она узнала жизнь, слѣдя за движеніями собственнаго чувства; необходимость понять состояніе собственной души заставила ее многое передумать, и изъ этого ряда размышленій и психологическихъ наблюденій она выработала самостоятельный взглядъ на свою личность, на свои отношенія къ окружающимъ людямъ, на отношенія между чувствомъ и долгомъ, — словомъ, на жизнь въ самомъ обширномъ смыслѣ. Гончаровъ изображеніемъ характера Ольги, анализомъ ея развитія показалъ въ полной силѣ образовательное вліяніе чувства. Онъ подмѣчаетъ его возникновеніе, слѣдитъ за его развитіемъ и останавливается на каждомъ его видоизмѣненіи, чтобы изобразить то вліяніе, которое оказываетъ оно на весь образъ мыслей обоихъ дѣйствующихъ лицъ. Ольга полюбила, нечаянно, безъ предварительнаго приготовленія; она не создавала себѣ отвлеченнаго идеала, подъ который многія барышни стараются подводить знакомыхъ мужчинъ, не мечтала о любви, хотя, конечно, знала о существованіи этого чувства. Она жила спокойно, не стараясь искусственно возбудить въ себѣ любовь, не стараясь видѣть героя будущаго своего романа въ каждомъ новомъ лицѣ. Любовь пришла къ ней не ждано, не гадаю, какъ приходитъ всякое истинное чувство; чувство это незамѣтно прокралось къ ней въ душу и обратило на себя ея собственное вниманіе тогда, когда получило уже нѣкоторое развитіе. Когда она замѣтила его, она стала вдумываться и соразмѣрять съ своей внутренней мыслью слова и поступки. Эта минута, когда она отдала себѣ отчетъ въ движеніяхъ собственной души, начинается собою новый періодъ въ ея развитіи. Эту минуту переживаетъ каждая женщина, и переворотъ, который совершается тогда во всемъ ея существѣ и начинается обличать въ ней присутствіе сдержаннаго чувства и сосредоточенной мысли, этотъ переворотъ особенно полно и художественно изображенъ въ романѣ Гончарова. Для такой женщины, какъ Ольга, чувство не могло долго оставаться на степени инстинктивнаго влеченія; стремленіе осмысливать въ собственныхъ глазахъ, объяснять себѣ все, что встрѣчалось съ нею въ жизни, пробудилось тутъ съ особенной силой: явилась цѣль для чувства, явилось и обесуживаніе любимой личности; этимъ обесуживаніемъ опредѣлилась самая цѣль. Ольга поняла, что она сильнѣе того человека, котораго любитъ, и рѣшилась возвысить его, вдохнуть ему энергію, дать ему силы для жизни. Осмысленное чувство сдѣлалось въ ея глазахъ долгомъ, и она съ полнымъ убѣжденіемъ стала жертвовать этому долгу нѣкоторыми внѣшними приличіями, за нарушеніе

которыхъ чистосердечно и несправедливо преслѣдуетъ подозрительный судъ свѣта. Ольга растетъ вмѣстѣ съ своимъ чувствомъ; каждая сцена, происходящая между нею и любимымъ ею человѣкомъ, прибавляетъ новую черту къ ея характеру, съ каждой сценой граціозный образъ дѣвушки дѣлается знакомѣе читателю, обрисовывается ярче и сильнѣе выступаетъ изъ общаго фона картины. Мы достаточно опредѣлили характеръ Ольги, чтобы знать, что въ ея отношеніяхъ къ любимому человѣку не могло быть кокетства: желаніе завлечь мужчину, сдѣлать его своимъ обожателемъ, не испытывая къ нему никакого чувства, казалось ей непростительнымъ, недостойнымъ честной женщины. Въ ея обращеніи съ человѣкомъ, котораго она впоследствии полюбила, господствовала сначала мягкая, естественная грація, никакое разчитанное кокетство не могло подѣйствовать сильнѣе этого неподдѣльнаго, безыскусственного простаго обращенія, но дѣло въ томъ, что со стороны Ольги тутъ не было желанія произвести то или другое впечатлѣніе. Женственность и грація, которыя Гончаровъ умѣлъ вложить въ ея слова и движенія, составляютъ неотъемлемую принадлежность ея природы и потому особенно обаятельно дѣйствуютъ на читателя. Эта женственность, эта грація, становится сильнѣе и обаятельнѣе по мѣрѣ того, какъ чувство развивается въ груди дѣвушки; игривость, ребяческая безпечность смѣняются въ ея чертахъ выраженіемъ тихаго, задумчиваго, почти торжественнаго счастья. Передъ Ольгою открывается жизнь, міръ мыслей и чувствъ, о которыхъ она не имѣла понятія, и она идетъ впередъ, довѣрчиво глядя на своего спутника, но въ то же время всматриваясь съ робкой любознательностью въ тѣ ощущенія, которыя толнятся въ ея взволнованной душѣ. Чувство растетъ; оно дѣлается потребностью, необходимымъ условіемъ жизни, а между тѣмъ и тутъ, когда чувство доходитъ до паэоса, до «луна-тизма любви», по выраженію Гончарова, и тутъ Ольга не теряетъ сознанія нравственнаго долга и умѣетъ сохранять спокойный, разумный, критическій взглядъ на свои обязанности, на личность любимаго человѣка, на свое положеніе и на дѣйствія свои въ будущемъ. Самая сила чувства даетъ ей ясный взглядъ на вещи и поддерживаетъ въ ней твердость. Дѣло въ томъ, что чувство въ такой чистой и возвышенной натурѣ не переходитъ на степень страсти, не помрачаетъ разсудка, не ведетъ къ такимъ поступкамъ, отъ которыхъ впоследствии пришлось бы краснѣть; подобное чувство не перестаетъ быть сознательнымъ, хотя порою оно бываетъ такъ сильно, что давитъ и грозитъ разрушить собою организмъ. Оно вселяетъ въ душу дѣвушки энергію, заставляетъ ее нарушить тотъ или другой законъ этикета: но это же чувство не позволяетъ ей забыть дѣйствительнаго долга, охраняетъ ее отъ увлеченія, внушаетъ ей сознательное уваженіе къ чистотѣ соб-

ственной личности, въ которой заключаются залогомъ счастья для двухъ людей. Ольга переживаетъ между тѣмъ новую фазу развитія: для нея наступаетъ горестная минута разочарованія, и испытываемыя ею душевныя страданія окончательно вырабатываютъ ея характеръ, придаютъ ея мысли зрѣлость, сообщаютъ ей жизненный опытъ. Въ разочарованіи часто бываетъ виноватъ самъ разочаровывающійся. Человѣкъ, создающій себѣ фантастическій міръ, непременно, рано или поздно, столкнется съ дѣйствительной жизнью и ушибется тѣмъ больнѣе, чѣмъ выше была та высота, на которую подняла его прихотливая мечта. Кто требуетъ отъ жизни невозможнаго, тотъ долженъ обмануться въ своихъ надеждахъ. Ольга не мечтала о невозможномъ счастьи: ея надежды на будущее были просты, планы ея — осуществимы. Она полюбила человѣка честнаго, умнаго и развитого, но слабаго, не привыкшаго жить; она узнала его хорошія и дурныя стороны и рѣшилась употребить всѣ усилія, чтобы согрѣть его той энергіей, которую чувствовала въ себѣ. Она думала, что сила любви оживитъ его, вселитъ въ него стремленіе къ дѣятельности и дастъ ему возможность приложить къ дѣлу способности, задремавшія отъ долгаго бездѣйствія. Цѣль ея была высоко-правдивая; она была внушена ей истиннымъ чувствомъ. Она могла быть достигнута: не было никакихъ данныхъ, чтобы сомнѣваться въ успѣхѣ. Ольга приняла мгновенную вспышку чувства со стороны любимаго ею человѣка за дѣйствительное пробужденіе энергій; она увидѣла свою власть надъ нимъ и надѣялась вести его впередъ на пути самосовершенствованія. Могла ли она не увлечься своей прекрасной цѣлью, могла ли она не видѣть впереди себя тихаго разумаго счастья? И вдругъ она замѣчаетъ, что возбужденная на мигъ энергія гаснетъ, что предпринятая ею борьба безнадежна, что обаятельная сила соннаго спокойствія сильнѣе ея живительнаго вліянія. Что было дѣлать ей въ подобномъ случаѣ? Мнѣнія, вѣроятно, раздѣлятся. Кто любитъся порывистой красотой безсознательнаго чувства, не думая о его послѣдствіяхъ, тотъ скажетъ: она должна была остаться вѣрною первому движенію сердца и отдать свою жизнь тому, кого однажды полюбила. Но кто видитъ въ чувствѣ ручательство будущаго счастья, тотъ взглянетъ на дѣло иначе: безнадежная любовь, бесполезная для себя и для любимаго предмета, не имѣетъ смысла въ глазахъ такого человѣка; красота такого чувства не можетъ извинить его неосмысленности. Ольга должна была побѣдить себя, разорвать это чувство, пока было еще время; она не имѣла права губить свою жизнь, приносить собою бесполезную жертву. Любовь становится незаконною тогда, когда ея не одобряетъ разумъ; заглушать голосъ разсудка значитъ давать волю страсти, животному инстинкту. Ольга не могла такъ поступить, и ей пришлось страдать, пока не выболѣло въ ея душѣ обманутое чувство.

Ее спасло въ этомъ случаѣ присутствіе сознанія, на которое мы уже указали выше. Борьба мысли съ остатками чувства, подкрѣпляемаго свѣжими воспоминаніями минувшаго счастья, закалила душевныя силы Ольги. Въ короткое время она перечувствовала и передумала столько, сколько не случается передумать и перечувствовать въ теченіе многихъ лѣтъ спокойнаго существованія. Она была окончательно приготовлена для жизни, и прошедшее, испытанное ею чувство, и пережитыя страданія дали ей способность понимать и цѣнить истинныя достоинства человѣка; они дали ей силы любить такъ, какъ не могла она любить прежде. Внушить ей чувство могла только замѣчательная личность, и въ этомъ чувствѣ уже для разочарованія не было мѣста; пора увлеченія, пора лунатизма прошла невозвратно. Любовь не могла болѣе незамѣтно прокрасться въ душу, ускользая до времени отъ анализа ума. Въ новомъ чувствѣ Ольги все было опредѣленно, ясно и твердо. Ольга жила прежде умомъ, и умъ подвергалъ все своему анализу, предъявлялъ съ каждымъ днемъ новыя потребности, искалъ себѣ удовольствованія, нищѣ во всемъ, что ее окружало. Затѣмъ развитіе Ольги сдѣлало еще только одинъ шагъ впередъ. На этотъ шагъ есть только бѣглое указаніе въ романѣ Гончарова. То положеніе, къ которому повелъ этотъ новый шагъ, не очерчено. Дѣло въ томъ, что Ольгу не могли удовлетворить вполнѣ ни тихое семейное счастье, ни умственные и эстетическія наслажденія. Наслажденія никогда не удовлетворяютъ сильной, богатой природы, неспособной заснуть и лишиться энергій: такая природа требуетъ дѣятельности, труда съ разумной цѣлью, и только творчество способно до нѣкоторой степени утишить это тоскливое стремленіе къ чему-то высшему, незнакому, — стремленіе, котораго не удовлетворяетъ счастливая обстановка всенеднейной жизни. До этого состоянія высшаго развитія достигла Ольга. Какъ удовлетворила она пробудившимся въ ней потребностямъ — этого не говоритъ намъ авторъ. Но, признавая въ женщинѣ возможность и законность этихъ высшихъ стремленій, онъ, очевидно, высказываетъ свой взглядъ на ея назначеніе и на то, что называется въ обществѣ эмансипаціей женщины. Вся жизнь и личность Ольги составляютъ живой протестъ противъ зависимости женщины. Протестъ этотъ, конечно, не составлялъ главной цѣли автора, потому что истинное творчество не навязываетъ себѣ практическихъ цѣлей; но чѣмъ естественнѣе возникъ этотъ протестъ, чѣмъ менѣе онъ былъ приготовленъ, тѣмъ болѣе въ немъ художественной истины, тѣмъ сильнѣе подѣйствуетъ онъ на общественное сознаніе. Вотъ три главные характера «Обломова». Остальныя группы личностей, составляющія фонъ картины и стоящія на второмъ планѣ, очерчены съ изумительной отчетливостью. Видно, что авторъ для главнаго сюжета не пренебрегалъ мелочами и, рисуя картину русской жи-



зни, съ добросовѣстной любовью останавливался на каждой подробности. Вдова Пшеницына, Захаръ, Тарантьевъ, Мухоморовъ, Анисья — все это живые люди, все это типы, которые встрѣчалъ на своемъ вѣку каждый изъ насъ. Мы не будемъ говорить подробно объ этихъ второстепенныхъ личностяхъ. Изъ нихъ особенно замѣчательна вдова Пшеницына, въ лицѣ которой Гончаровъ воплотилъ чистое чувство, не возвышенное образованіемъ и не основанное на сознаніи. Захаръ, лакей Обломова, является типической, обработанной личностью, какой давно не представляла наша литература. Эта личность не выдается рѣзко впередъ въ романѣ Гончарова только потому, что всѣ характеры обработаны одинаково полно, общій планъ строго обдуманъ, и всѣ дѣйствующія лица обращаютъ на себя вниманіе читателя настолько, насколько это нужно для интереса и гармонической стройности цѣлаго. Теперь намъ остается еще объяснить, почему мы считаемъ необходимымъ, чтобы дѣвицы прочли романъ Гончарова: изъ первыхъ словъ нашей статьи видно, какъ высоко ставимъ мы это произведение; не прочтя его, трудно познакомиться вполне съ современнымъ положеніемъ русской литературы, трудно представить себѣ полное ея развитіе, трудно составить себѣ понятіе о глубинѣ мысли и законченности формы, которыми отличаются нѣкоторыя самыя зрѣлыя ея произведенія. «Обломовъ», по всей вѣроятности, составитъ эпоху въ исторіи русской литературы; онъ отражаетъ въ себѣ жизнь русскаго общества въ извѣстный періодъ его развитія. Имена Обломова, Штольца, Ольги сдѣлаются нарицательными. Словомъ, какъ ни разсматривать «Обломова», въ цѣломъ ли, или въ отдѣльных частяхъ, по отношенію ли его къ современной жизни, или по его абсолютному значенію въ области искусства, такъ или иначе, всегда должно будетъ сказать, что это вполне изящное, строго обдуманное и поэтически-прекрасное произведение. Вотъ почему мы такъ долго останавливались на его разсмотрѣніи, вотъ почему мы еще разъ настойчиво рекомендуемъ его для чтенія дѣвицамъ. Если дано смотрѣть на воспитаніе дѣвицъ такъ, какъ смотритъ на него наше модное общество, заботящееся такъ много о внѣшней невинности и полагающее эту невинность въ незнакоміи жизни и природы, даже и тогда самая строгая цензура не найдетъ въ «Обломовѣ» ничего предосудительнаго. Изображеніе чистаго, сознательнаго чувства, опредѣленіе его вліянія на личность и поступки человека, воспроизведеніе господствующей болѣзни нашего времени, обломовщины — вотъ главные мотивы романа. Если вспомнить притомъ, что всякое изящное произведение имѣетъ образовательное вліяніе, если вспомнить, что истинно изящное произведение всегда нравственно, потому что вѣрно и просто рисуетъ дѣйствительную жизнь, тогда должно сознаться, что чтеніе книгъ, подобныхъ «Обломову»,

должно составлять необходимое условіе всякаго раціональнаго образованія: Сверхъ того, для дѣвицъ можетъ быть особенно полезно чтеніе этого романа. Это чтеніе, несравненно лучше отвлеченнаго трактата о женской добродѣтели, уяснить имъ жизнь и обязанности женщины. Стоитъ только вдуматься въ личность Ольги, прослѣдить ея поступки, и, навѣрное, въ головѣ прибавится не одна плодотворная мысль, въ сердце заронится не одно теплое чувство. Итакъ, мы думаемъ, что «Обломова» должна прочесть каждая образованная русская женщина или дѣвушка, какъ должна она прочесть всѣ капитальныя произведенія нашей словесности.

*Писаревъ.*

### Характеристика Ольги.

Изъ женскихъ личностей, введенныхъ въ романахъ Гончарова, только Ольга Сергѣевна Ильинская до нѣкоторой степени заслуживаетъ анализа. Въ доброе, старое время, когда литература считалась роскошью и забавой жизни, отъ автора романа требовали только блестящаго вымысла и разнообразія картинъ; самые строгіе цѣнители требовали отъ него нравственнаго поученія и совершенно удовлетворялись его произведеніемъ, если оно изображало борьбу добра и зла и выводило на сцену воплощенія разныхъ добродѣтелей и пороковъ; одни критики требовали, чтобы непремѣнно торжествовало добро; другіе, болѣе догадливые, позволяли злу одерживать побѣду, но желали только, чтобы зло, подавленное или торжествующее, было представлено въ очень отвратительномъ видѣ, «во всей паготѣ своего безобразія», какъ выражались съ добродѣтельнымъ негодованіемъ эти догадливые цѣнители. Для однихъ романъ былъ источникомъ благородной забавы, пособіемъ для успѣшнаго пищеваренія, чѣмъ-нибудь въ родѣ хорошей сигары, рюмки ликера или коньяка; для другихъ романъ былъ правоученіемъ въ лицахъ, и эти другіе смотрѣли на первыхъ, какъ на жалкихъ уметвенныхъ недорослей, какъ на людей пустыхъ и ничтожныхъ. Эти другіе, считавшіе себя солью земли и свѣтилами міра, очень много толковали объ идеалахъ и искали идеаловъ въ романахъ, повѣстяхъ и драмахъ. Подъ именемъ идеала они разумѣли что-то очень высокое и хорошее; идеаломъ человѣка они называли совокупленіе въ одномъ вымышленномъ лицѣ всевозможныхъ хорошихъ качествъ и добродѣтельныхъ стремленій; чѣмъ больше такихъ качествъ и стремленій романистъ панизывалъ на своего героя, тѣмъ ближе онъ подходилъ къ идеалу и тѣмъ больше похвалъ заслуживалъ онъ со стороны этихъ высоко развитыхъ цѣнителей. Цѣнители эти хотѣли, чтобы читатель, закрывая книгу, могъ сказать съ сердечнымъ умиленіемъ: «да! вотъ какіе должны быть люди! Увы! за-

чѣмъ это я не похожъ на этого героя, и зачѣмъ это въ моей супругѣ нѣтъ ни малѣйшаго сходства съ изящной личностью этой героини?»

Доброе, старое время, о которомъ я говорю, время Грандисоновъ и Клариссъ, для многихъ добродушныхъ людей еще не миновало и для многихъ никогда не минуетъ. До сихъ поръ есть такіе высокоправственные люди, которые смотрятъ на литературу, какъ на проповѣдь, возвышающую душу и очищающую нравственность; есть и такіе, которые видятъ въ ней весьма позволительную забаву; есть даже и такіе, которые видятъ въ ней источникъ всякаго зла. Люди послѣдней категоріи не читаютъ ничего, кромѣ календарей и дѣловыхъ бумагъ; но зато люди первыхъ двухъ категорій съ наслажденіемъ читаютъ «Обломова»; людей, наслаждающихся чтеніемъ романовъ послѣ сытнаго обѣда, нѣжатъ обаятельность языка и спокойствіе разсказа; сверхъ того ихъ радуетъ и умиляетъ тщательная отдѣлка мелочей; нужны ли эти мелочи для пониманія дѣла, объ этомъ они не спрашиваютъ; ощущение, доставляемое имъ романомъ, пріятно, и они совершенно довольны. Люди, ищущіе назиданія, восхищаются фигурой Ольги и видятъ въ ней идеаль женщины; каюсь, господа читатели, года два тому назадъ я принадлежалъ къ числу этихъ людей, и я восторгался Ольгою, какъ образцомъ русской женщины. Но нашъ желѣзный вѣкъ, вѣкъ демоническихъ сомнѣній и грубо реальныхъ требованій, образуетъ мало-по-малу такихъ людей, которые даже романисту не позволяютъ быть фантазеромъ и даже ученому специалисту не позволяютъ быть буквоедомъ. Мы нуждаемся, говорятъ эти люди, въ рѣшеніи самыхъ элементарныхъ вопросовъ жизни, и намъ некогда заниматься тѣмъ, что не имѣетъ прямого отношенія къ этимъ вопросамъ. Мы жить хотимъ и, слѣдовательно, назовемъ дѣятелемъ жизни, науки или литературы только того человека, который помогаетъ намъ жить, пуская въ ходъ все средства, находящіеся въ его распоряженіи.

Но созданія Гончарова не выясняютъ намъ ни одного явленія жизни, и, слѣдовательно, мы можемъ взглянуть на всю его дѣятельность, какъ на явленіе чрезвычайно оригинальное, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ высокой степени бесполезное. Мы не требуемъ отъ художника мелкаго обличенія, но полагаемъ, что пониманіе жизни и ясныя, сознательныя и притомъ искреннія отношенія къ поставленнымъ имъ вопросамъ представляютъ необходимую принадлежность художника. Гончаровъ попытался нарисовать образъ русской дѣвушки, одаренной отъ природы значительными умственными силами и поставленной при самыхъ выгодныхъ условіяхъ развитія. Картинка вышла на первый взглядъ очень красивая. Благодаря пластичности гончаровскаго изложенія, большинство читателей приняли Ольгу за живую личность,

возможную при условіяхъ нашей жизни. Первое впечатлѣніе говорить въ пользу героини «Обломова», но стоитъ только, не останавливаясь на мелочахъ, взглянуть на крупныя черты этого характера, чтобы убѣдиться въ томъ, что онъ выдуманъ, какъ и все то, что когда-нибудь выходило изъ-подъ пера Гончарова. При первомъ своемъ появленіи на сцену Ольга выходитъ изъ головы автора совершенно сформированной, въ полномъ вооруженіи, подобно тому, какъ въ доброе, старое время Паллада-Афина вышла изъ черепа Зевеса.

Авторъ пытается объяснить происхожденіе выведеннаго имъ женскаго характера, но попытки эти оказываются совершенно неудачными. Говоря вскользь о развитіи Ольги, Гончаровъ указываетъ только на два обстоятельства, отличавшія собою ея жизнь отъ жизни другихъ дѣвушекъ, принадлежащихъ къ тому же слою общества. Первымъ обстоятельствомъ является отрицательное вліяніе тетки, вторымъ — положительное вліяніе Штольца. Тетка, замѣнившая Ольгѣ родителей, не мѣшала ей дѣлать, что угодно, а Штолецъ въ досужія минуты училъ ее уму-разуму; первое обстоятельство довольно правдоподобно; сироты обыкновенно растутъ свободнѣе, чѣмъ дѣти, воспитывающіяся въ родительскомъ домѣ; они терпятъ больше горя, но зато развиваются самобытнѣе и становятся тверже, именно потому, что ихъ не охватываетъ со всѣхъ сторонъ расслабляющая атмосфера слѣпой любви и неотразимаго деспотизма. Ольгѣ было удобнѣе развиваться подъ надзоромъ тетки, чѣмъ подъ руководствомъ матери; но вѣдь тетка могла дать только отрицательный элементъ; она могла до известной степени не мѣшать развитію, а условія жизни, выборъ чтенія, кружокъ знакомыхъ должны были направлять силы молодого ума въ ту или другую сторону.

Что могъ сдѣлать Штолецъ? Если бы даже онъ съ неуклоннымъ вниманіемъ слѣдилъ за проявленіями мысли и чувства въ молодой дѣвушкѣ, то и тогда ему одному было бы довольно трудно составлять противовѣсъ всему вліянію домашней и общественной обстановки. Но, кромѣ того, Штолецъ — «человѣкъ дѣятельный»; онъ съ утра до вечера бѣгаетъ по городу, онъ постоянно находится въ разѣздахъ; гдѣ жъ ему быть руководителемъ и воспитателемъ молодой дѣвушки? Сверхъ того, Штолецъ относится къ Ольгѣ, какъ къ ребенку, даже во время той сцены, послѣ которой онъ предлагаетъ ей руку и сердце; когда Ольга говоритъ ему о своемъ романѣ съ Обломовымъ, онъ ей отвѣчаетъ на ея признанія: «васъ за это надо оставить безъ сладкаго блюда за обѣдомъ». Если этотъ дѣловый господинъ, сильно смахивающій вообще на *commis voyageur*, относится такъ шутливо къ серьезному разсказу дѣвушки о серьезныхъ чувствахъ и о дѣйствительныхъ, пережитыхъ ею страданіяхъ, то можно себя представить,

съ какой покровительственной улыбкой онъ относился къ этой дѣвушкѣ, когда она ходила въ коротенькихъ платьяхъ, и когда она, какъ умный, развивающійся ребенокъ, всего болѣе пуждалась въ дружескомъ совѣтѣ и въ уваженіи со стороны взрослого. Кромѣ того, Штольцъ и самъ не отличается значительной высотой развитія; когда Ольга, сдѣлавшаяся уже его женою, жалуется ему на какія-то стремленія, на какую-то неудовлетворенную тоску, Штольцъ говоритъ на это: «мы не боги», и совѣтуетъ ей покориться, помириться съ этой тоской, какъ съ неизбежной принадлежностью жизни. Штольцъ, очевидно, не понимаетъ смысла и причины этой тоски, но, какъ человѣкъ самолюбивый и самонадѣянный, онъ не рѣшается признаться въ своемъ непониманіи и пускается въ фразерство. Человѣкъ, неспособный понять такую простую вещь, человѣкъ, неспособный въ рѣшительную минуту поддержать и разумнымъ образомъ успокоить женщину, опирающуюся на него съ полнымъ довѣріемъ, конечно, не можетъ имѣть на развитіе молодого существа того рѣшительнаго и благотворнаго вліянія, которое приписано Штольцу въ романѣ Гончарова. Если Штольцъ не умѣетъ направить къ разумной дѣятельности силы женщины, уже сложившейся и окрѣпшей, то какимъ же образомъ можетъ этотъ самый Штольцъ пробудить и вызвать къ жизни силы, еще дремлющія въ мозгу ребенка? Есть, конечно, такіе люди, которые могутъ расшевелить, но потомъ не въ силахъ поддержать довѣрившуюся имъ женщину; къ числу такихъ людей принадлежатъ Рудинъ, Шамилловъ, герой стихотворенія Некрасова «Саша»; такіе люди слабы и порывисты, а Штольцъ твердъ и спокоенъ; такіе люди очень хорошо знаютъ, что надо дѣлать, но у нихъ не хватаетъ силъ на то, чтобы исполнить сознанное дѣло. Штольцъ, напротивъ того, могъ бы все сдѣлать, но онъ не знаетъ, что надо дѣлать. Изъ всего этого видно, что Штольцъ не имѣетъ ничего общаго съ людьми рудинскаго типа; мало того, онъ поставленъ въ противоположность къ этому типу; онъ, по мнѣнію Гончарова, является живымъ урокомъ этимъ людямъ. Спрашивается, какъ же этотъ высоко-развитой, металлически-твердый, трезво и спокойно размышляющій человѣкъ оказался неспособнымъ вывести жену свою изъ лабиринта осадившихъ ее сомнѣній и стремленій?

Тѣ эпитеты, которые я здѣсь придаю Штольцу, не выражаютъ моего личнаго мнѣнія объ этой фигурѣ; этими эпитетами я обозначаю только тѣ свойства, которыя Гончаровъ *хотѣлъ* придать своему созданію; я же, съ своей стороны, не считаю Штольца ни высоко-развитымъ, ни металлически-твердымъ, ни спокойно размышляющимъ; всѣ эти свойства могутъ быть приписаны человѣку, а я не считаю Штольца за человѣка. Я вижу въ немъ довольно искусно выточен-



ную марионетку, двигающуюся взадъ и впередъ по произволу выточившаго ее мастера. Еще гораздо искуснѣе марионетки Штольца выточена другая, очень красивая марионетка, Ольга Сергѣевна Ильинская; но жизни нѣтъ ни въ той, ни въ другой. Поэтому, говоря о гончаровскихъ лицахъ, намъ приходится только слѣдить за процессомъ мыслительной дѣятельности въ головѣ автора; намъ приходится не обсуживать выведенныя имъ стороны жизни, а просто рѣшать вопросъ: послѣдовательны ли и пригодны ли его сужденія? Беру я на себя этотъ трудъ потому, что имя Гончарова пользуется значительной извѣстностью, и, слѣдовательно, мнѣнія его могутъ имѣть нѣкоторое влияние на мысли читателей.

Итакъ, мы видѣли, что Гончаровъ думаетъ о развитіи женщины: онъ полагаетъ, что дѣвушка достаточно пользоваться нѣкоторой независимостью и встрѣчаться порою съ умнымъ и твердымъ мужчиной для того, чтобы вполне развить свои природныя силы. Тѣ предѣлы, которыхъ должна достигать эта независимость, не обозначены ясно, потому что отношенія Ольги къ теткѣ совершенно не обрисованы и отношенія ея къ обществу оставлены въ тѣни, съ тѣмъ замѣчательнымъ умѣніемъ, съ которымъ Гончаровъ всегда набрасывалъ покрывало на то, о чемъ, по его мнѣнію, неудобно распространяться. Тѣ мѣры, въ которыхъ должны проявляться умъ и твердость мужчины, также не опредѣлены съ достаточной ясностью; Гончаровъ не далъ себѣ труда подумать о томъ, чѣмъ могутъ быть искреннія и разумныя отношенія между развитымъ мужчиною и развитой женщиной, и вслѣдствіе этого отношенія эти вышли блѣдны и фальшивы, какъ казенная фраза на избитую тему. Въ самомъ характерѣ Ольги встрѣчаются внутреннія противорѣчія, которыя ясно показываютъ, до какой степени туманны и сбивчивы понятія автора о томъ идеалѣ женщины, который онъ самъ себѣ составилъ и который онъ хотѣлъ выяснить читателямъ своего романа.

Возьмемъ отношенія Ольги къ Обломову. Ольгу заинтересовываетъ граціозность этой честной, мѣшковатой личности, которой панважность и природный умъ рѣзко отдѣляются отъ вычурности и безцвѣтности тѣхъ свѣтскихъ джентльменовъ, которыхъ до того времени приходилось видѣть Ольгѣ. Заинтересовавшись Обломовымъ, Ольга начинаетъ въ него вглядываться, убѣждается въ томъ, что онъ дѣйствительно уменъ, честенъ, мягокъ, симпатиченъ, и начинаетъ чувствовать къ нему влеченіе. Когда эта зародившаяся любовь сдѣлалась замѣтна для самой Ольги, то она взглянула на свое чувство оригинально; она посмотрѣла на него, какъ на подвигъ, который посылаетъ ей судьба; она вообразила себѣ, что ей предстоитъ обновить Обломова, одряхлѣвшаго отъ умственного сна; воодушевить его по-

вой энергіей и сдѣлать его способнымъ къ дѣятельной, человѣческой жизни. Чтобы понимать такимъ образомъ свои отношенія къ любимому человѣку, надо стоять на высокой степени умственнаго развитія и обладать огромными природными силами. Кто стоитъ на такой ступени и обладаетъ такими силами, тотъ неспособенъ затосковать безпредметной тоской и не понять причины своей тоски. Если Ольга понимаетъ, что Обломову необходима дѣятельность, то какъ же она можетъ не понять, что ей, какъ энергической личности, дѣятельность еще гораздо необходимѣе? Какъ же она не понимаетъ, что вся ея тоска съ любимымъ человѣкомъ, на южномъ берегу Крыма, среди роскошной цвѣтущей природы, — не что иное, какъ неудовлетворенная потребность разумной дѣятельности? Какъ, наконецъ, эта энергическая природа не рвется вонъ изъ душевной атмосферы спокойнаго, соннаго счастья въ живую среду дѣятельности и тревоги? Какъ возможно, чтобы Ольга, рѣшившаяся такъ рѣзко разорвать свои отношенія съ Обломовымъ тогда, когда Обломовъ оказался тряпкой, чтобы эта самая Ольга, повторяю я, успокоилась на плоскомъ отвѣтѣ Штольца: «мы не боги», и помирилась съ такой жизнью, въ которой, сколько намъ извѣстно, по словамъ Гончарова, не было ничего, кромѣ воркованія любящаго супруга, нянчанія ребенка и заботъ по домашнему хозяйству? Энергическая женщина сама пробила бы себѣ дорогу къ дѣятельности и взглянула бы съ невольнымъ презрѣніемъ на того мужчину, который рѣшился бы увѣрить ее, что надо быть богомъ, чтобы работать и наслаждаться. Но Гончаровъ, расходясь съ моимъ мнѣніемъ, доказываетъ, кажется, совершенно противоположное. Если сгруппировать въ общую картину всѣ черты, введенныя имъ въ фигуру Ольги, то смыслъ выйдетъ довольно оригинальный, гармонирующий съ основной идеей «Обыкновенной исторіи». Ольга въ крайней молодости беретъ себѣ на плечи огромную задачу: она хочетъ быть нравственной опорой слабаго, но честнаго и умнаго мужчины; потому она убѣждается въ томъ, что эта работа ей не по силамъ, и находитъ гораздо болѣе удобнымъ самой опереться на крѣпкаго и здороваго мужчину. Положеніе ея очень прочно и комфортабельно, но, какъ вспышка молодости, у нея является припадокъ тоскливаго волненія. Этотъ припадокъ отъ времени до времени повторяется, постепенно ослабѣвая; наконецъ, молодая женщина совершенно излѣчивается, дѣлается спокойной и веселой, и жизнь ея начинается струиться тихимъ, прозрачнымъ и отчасти журчащимъ ручейкомъ. Гончаровъ находитъ, что это сонное спокойствіе должно быть признано счастьемъ: я съ нимъ не буду спорить, потому что у каждого свои понятія о счастьѣ: это — дѣло личнаго вкуса. Гончаровъ въ изображеніи личности Ольги точно такъ же, какъ и въ «Обыкновенной исто-

рін», производить варіаціи на извѣстныя русскія пословицы: «жгуча крапива, да уварится», или «кабы на горохъ, да не морозъ, онъ бы и тынъ переросъ»; онъ видитъ въ проявленіяхъ молодости и свѣжести дикія вспышки, безплодныя попытки перекрутить все по своему и постепенно ослабѣвающіе припадки сумасбродства, онъ смотритъ на вещи трезвыми глазами благоразумнаго старца и считаетъ развитіе человѣка благополучно довершеннымъ въ ту эпоху, когда онъ начинаетъ располагать свои слова и поступки, сообразуясь съ внѣшними приличнаго расчета.

Знаете ли, господа читатели, что вышло бы изъ «Обломова», если бы этотъ романъ былъ разсказанъ писателемъ, смотрящимъ на вещи не такъ благоразумно, какъ смотритъ Гончаровъ. Вышло бы вотъ что: Обломовъ оказался бы беззаботной головой, съ поэтическими стремленіями, не находящими себѣ удовлетворенія; онъ бы вышелъ похожимъ на Бельтова; и авторъ показалъ бы, что условія жизни, а не лимфатическій темпераментъ, мѣшаютъ ему развернуть свои способности и удовлетворить тѣмъ стремленіямъ, которыя отъ неудовлетворенія чахнутъ и мелѣютъ. Ольга оказалась бы очень умной дѣвушкой, во всей личности которой совершается борьба между энергическимъ голосомъ чувственности, съ одной стороны, и расчетомъ, съ другой стороны. Ей правится Обломовъ; она желала бы отдаться ему; ее привлекаетъ граціозная беззаботность, спокойная размашистость этой честной личности; но, съ другой стороны, эти самыя свойства внушаютъ ей серьезныя и благоразумныя опасенія. «Вѣдь этотъ Обломовъ, — разсуждаетъ она, — ужасный ротозѣй; его могутъ оплести и обмануть, такъ что онъ и ухомъ не поведетъ; растратитъ все свое состояніе, работать не сумѣетъ, служить не пойдетъ, потому что «прислуживаться тошно». Что же я съ нимъ буду дѣлать? Онъ милый, хорошій; мнѣ его поцѣловать хочется, у меня къ нему сердце лежитъ, да вѣдь страшно; вѣдь онъ по міру пустить». Пока дѣвушка раскидываетъ своимъ рано созрѣвшимъ разсудочкомъ, чувство симпатіи къ Обломову въ ней усиливается, она увлекается пылкимъ темпераментомъ; случайно рука ея падаетъ въ его руку; она наклоняется къ нему, слышится звукъ поцѣлуя; случай этотъ повторяется, — она счастлива, потому что находится подъ обаяніемъ минуты и потому что въ ней громко говоритъ голосъ здоровой природы... Но въ это время обаяніе вдругъ разрушается; ей дѣлается предложеніе молодой человѣкъ, Штольцъ, находящійся на отличной дорогѣ, подвигающійся къ видному положенію въ обществѣ, отлично устроившій свое имѣніе и пользующійся репутаціей красиваго, умнаго и дѣльнаго джентльмена. «Изъ молодыхъ, да ранній», говорятъ объ этомъ юношѣ благоразумныя старцы, и этотъ-то юноша съ подоба-

ющей солидностью выражаетъ Ольгѣ искренность и силу своего чувства и, серьезно глядя ей въ глаза, предлагаетъ ей руку и сердце. Юноша Штольцъ дѣлаетъ не безъ расчета, онъ знаетъ, что Ольга можетъ рассчитывать на наслѣдство отъ какой-нибудь тетюшки или бабушки; «кромѣ того, — разсуждаетъ онъ, — все же будетъ женщина въ домѣ; больше порядка, изящества, представительности; въ томъ положеніи, которое мнѣ въ скоромъ времени придется занимать, это даже необходимо». Ну, да что тянуть разсказъ! расчетъ у Ольги беретъ верхъ надъ чувствомъ; она круто обрываетъ отношенія съ Обломовымъ, называетъ его пустымъ человѣкомъ, хотя самой больно разстаться съ милой личностью, и, наконецъ, скрѣпя сердце, выходитъ замужъ за дѣльнаго Штольца, который представляетъ что-то среднее между Калиновичемъ Писемскаго и Панинымъ Тургенева. Апоеоза расчета, скептическое отношеніе къ чувству — вотъ альфа и омега обонхъ романовъ Гончарова. Эти черты составляютъ остовъ характера Ольги; не та дѣвушка хороша, по мнѣнію Гончарова, которая любитъ сильно и безкорыстно, а та, которая умѣетъ выбирать себѣ мужа; не тотъ человѣкъ хорошъ, по мнѣнію Гончарова, у котораго есть и теплое чувство, и свѣтлый умъ, и широкія стремленія, а тотъ, кто, живя съ волками, умѣетъ быть по-волчьи. Это совершенно справедливо, и эту глубокую истину, до которой мы, легкомысленные свистуны, никакъ не можемъ додуматься, уже давно сознала учепая редакція учено-литературнаго журнала «Русскій Вѣстникъ». Одно опасно въ этомъ случаѣ: желая поправиться волкамъ, подражая подъ нихъ, какъ говорить наше купечество, можно завять такъ пескладно и нелѣпо, что даже волкамъ придется тошно. Да и, наконецъ, неужели большинство нашей публики — волки? Не наговоръ ли это?

Итакъ, насчетъ Ольги Ильинской мы можемъ замѣтить, что это характеръ, невѣрно понятый и ложно представленный авторомъ. Кто не можетъ ужиться съ нами, — думаетъ Гончаровъ, — тотъ и дрянъ; кто живетъ пригѣвляючи, тотъ молодецъ. Коротко и ясно. Но справедливо ли будетъ, если я поступлю такъ: положимъ я иду мимо высыхающаго прудка и вижу, что карась издыхаетъ отъ недостатка воды; въ это самое время сотни лягушекъ прыгаютъ и квакаютъ, пляшутъ отъ радости и съ наслажденіемъ таскаютъ червяковъ изъ жидкой грязи; я останавливаюсь надъ карасемъ и, указывая ему на лягушекъ, начинаю ругать его, зачѣмъ онъ не веселится и не наслаждается благами жизни. Правъ ли я буду? Кажется, нѣтъ. Не виновать карась въ томъ, что онъ родился карасемъ, и небольшая заслуга лягушкамъ отъ того, что онъ родился или сдѣлался лягушками. Одинъ дышитъ жабрами, другой — легкими; одинъ любитъ свѣтлую воду, другой — жидкую грязь. Ну, и съ Богомъ!

*Писаревъ.*

### Что такое „обломовщина“?

...Въ умѣнн охватить полный образъ предмета, отчеканить, изваять его — заключается сильнѣйшая сторона таланта Гончарова. И ею онъ превосходитъ всѣхъ современныхъ русскихъ писателей. Изъ нея легко объясняются всѣ остальные свойства его таланта. У него есть изумительная способность—во всякій данный моментъ остановить летучее явленіе жизни, во всей его полнотѣ и свѣжести, и держать его передъ собою до тѣхъ поръ, пока оно не сдѣлается полной принадлежностью художника. На всѣхъ насъ падаетъ свѣтлый лучъ жизни, но онъ у насъ тотчасъ же и исчезаетъ, едва коснувшись нашего сознанія. И за нимъ идутъ другіе лучи, отъ другихъ предметовъ, и опять столь же быстро исчезаютъ, почти не оставляя слѣда. Такъ проходитъ вся жизнь, скользя по поверхности нашего сознанія. Не то у художника: онъ умѣетъ уловить въ каждомъ предметѣ что-нибудь близкое и родственное своей душѣ, умѣетъ остановиться на томъ моментѣ, который чѣмъ-нибудь особенно поразилъ его. Смотря по свойству поэтического таланта и по степени его выработанности, сфера, доступная художнику, можетъ суживаться или расширяться, впечатлѣнія могутъ быть живѣе или глубже, выраженіе ихъ — страстнѣе или спокойнѣе. Нерѣдко сочувствіе поэта привлекается какимъ-нибудь однимъ качествомъ предметовъ, и это качество онъ старается вызывать и отыскивать всюду, въ возможно-полномъ и живомъ его выраженіи поставляетъ свою главную задачу, на него по преимуществу тратитъ свою художническую силу. Такъ являются художники, сливающие внутренній міръ души своей съ міромъ вѣншихъ явленій и видящіе всю жизнь и природу подъ призою господствующаго въ нихъ самихъ настроенія. Такъ, у однихъ все подчиняется чувству пластической красоты, у другихъ по преимуществу рисуются лѣзныя и симпатичныя черты, у иныхъ во всякомъ образѣ, во всякомъ описаніи отражаются гуманныя и соціальныя стремленія, и т. д. Ни одна изъ такихъ сторонъ не выдается особенно у Гончарова. У него есть другое свойство: спокойствіе и полнота поэтического міросозерцанія. Онъ ничѣмъ не увлекается исключительно или увлекается всѣмъ одинаково. Онъ не поражается одной стороною предмета, однимъ моментомъ событія, а вертитъ предметъ со всѣхъ сторонъ, выжидаетъ совершенія всѣхъ моментовъ явленія, и тогда уже приступаетъ къ ихъ художественной переработкѣ. Слѣдствіемъ этого является, конечно, въ художникѣ болѣе спокойное и безпристрастное отношеніе къ изображаемымъ предметамъ, большая отчетливость въ очертаніи даже мелочныхъ подробностей и равная доля вниманія ко всѣмъ частностямъ разсказа.



Вотъ отчего нѣкоторымъ кажется романъ Гончарова растянутымъ. Онъ, если хотите, дѣйствительно растянутъ. Въ первой части Обломовъ лежитъ на диванѣ; во второй ѣздитъ къ Ильинскимъ и влюбляется въ Ольгу, а она въ него; въ третьей она видитъ, что ошиблась въ Обломовѣ, и они расходятся; въ четвертой она выходитъ замужъ за друга его Штольца, а онъ женится на хозяйкѣ того дома, гдѣ занимаетъ квартиру. Вотъ и все. Никакихъ внѣшнихъ событій, никакихъ препятствій (кромѣ развѣ разведенія моста чрезъ Неву, прекратившаго свиданія Ольги съ Обломовымъ), никакихъ постороннихъ обстоятельствъ не вмѣшивается въ романъ. Жизнь и апатія Обломова — единственная пружина дѣйствій во всей его исторіи. Какъ же это можно было растянуть на четыре части!..

...Во всемъ, что касалось Обломова, не было для Гончарова вещей пустыхъ и ничтожныхъ. Все въ романѣ занято онымъ съ любовью, все очерчено подробно и отчетливо. Не только тѣ комнаты, въ которыхъ жилъ Обломовъ, но и тотъ домъ, въ какомъ онъ только мечталъ жить...

...Начиная читать его, находишь, что многія вещи какъ будто не оправдываются строгой необходимостью; какъ будто не соображены съ вѣчными требованіями искусства. Но вскорѣ начинаешь сживаться съ тѣмъ міромъ, который онъ изображаетъ, невольно признаешь законность и естественность всѣхъ выводимыхъ имъ явленій, самъ становишься въ положеніе дѣйствующихъ лицъ и какъ-то чувствуешь, что на ихъ мѣстѣ и въ ихъ положеніи иначе и нельзя да какъ будто и не должно дѣйствовать. Мелкія подробности, безпрерывно вносимыя авторомъ и рисуемыя имъ съ любовью и съ необыкновеннымъ мастерствомъ, производятъ, наконецъ, какое-то обаяніе. Вы совершенно переноситесь въ тотъ міръ, въ который ведетъ васъ авторъ; вы находите въ немъ что-то родное, передъ вами открывается не только внѣшняя форма, но и самая внутренность, душа каждаго лица, каждаго предмета. И послѣ прочтенія всего романа вы чувствуете, что въ сферѣ вашей мысли прибавилось что-то новое, что къ вамъ въ душу глубоко запали новые образы, новые типы...

...Повидному, не обширную сферу избралъ Гончаровъ для своихъ изображеній. Исторія о томъ, какъ лежитъ и спитъ добрякъ-лѣншвецъ Обломовъ, и какъ ни дружба, ни любовь не могутъ пробудить и поднять его, — не Богъ вѣсть какая важная исторія. Но въ ней отразилась русская жизнь, въ ней предстаетъ передъ нами живая, современный русскій типъ, отечаненный съ безпощадною строгостью и правдивостью; въ ней сказано новое слово нашего общественнаго развитія, произнесенное ясно и твердо, безъ отчаянія и безъ ребяческихъ надеждъ, но съ полнымъ сознаніемъ истины. Слово это: *обло-*

*мощина*; оно служитъ ключомъ къ разгадкѣ многихъ явленій русской жизни, и оно придаетъ роману Гончарова гораздо болѣе общественнаго значенія, нежели сколько имѣютъ его всѣ наши обличительныя повѣсти. Въ типѣ Обломова и во всей этой обломовщинѣ мы видимъ нѣчто болѣе, нежели просто удачное созданіе сильнаго таланта; мы находимъ въ немъ произведеніе русской жизни, знаменіе времени...

...Въ чемъ заключаются главныя черты обломовскаго характера? Въ совершенной инертности, происходящей отъ его апатіи ко всему, что дѣлается на свѣтѣ. Причина же апатіи заключается отчасти въ его ви́шнемъ положеніи, отчасти же въ образѣ его умственнаго и нравственнаго развитія. По ви́шнему своему положенію — онъ баринъ: «у него есть Захаръ и еще триста Захаровъ», по выраженію автора. Преимущества своего положенія Илья Ильичъ объясняетъ Захару такимъ образомъ:

— Развѣ я мечусь, развѣ работаю? мало ѣмъ, что ли? худощавъ или жалокъ на видъ? Развѣ недостаетъ мнѣ чего-нибудь? Кажется, подать, сдѣлать есть кому! Я впрямъ не птянулъ себѣ чулокъ на ноги, какъ живу, слава Богу! Стану ли я беспокоиться? изъ чего мнѣ?.. И кому я это говорю? Не ты ли съ дѣтства ходилъ за мной? Ты все это знаешь, видѣлъ, что я воспитанъ нѣжко, что я ни холода, ни голода никогда не терпѣлъ, нужды не зналъ, хлѣба себѣ не зарабатывалъ и вообще чернымъ дѣломъ не занимался.

И Обломовъ говоритъ совершенную правду. Исторія его воспитанія вся служитъ подтвержденіемъ его словъ. Съ малыхъ лѣтъ онъ привыкаетъ быть байбакомъ, благодаря тому, что у него и подать, и сдѣлать — есть кому; тутъ ужъ и противъ воли нерѣдко онъ бездѣльничаетъ и сибаритствуетъ.

...Поэтому онъ себя надъ работой убивать не станетъ, что бы ему ни толковали о необходимости и святости труда: онъ съ малыхъ лѣтъ видитъ въ своемъ домѣ, что всѣ домашнія работы исполняются лакеями и служанками, а папенька и маменька только распоряжаются да бранятся за дурное исполненіе. И вотъ у него уже готово первое понятіе, — что сидѣть сложа руки почетнѣе, нежели суетиться съ работою...

...Понятно, какое дѣйствіе производится такимъ положеніемъ ребенка на все его нравственное и умственное образованіе. Внутреннія силы «никну́тъ и увядаютъ» по необходимости. Если мальчикъ и пытается ихъ иногда, то развѣ въ капризахъ и въ заносчивыхъ требованіяхъ исполненія другими его приказаній. А извѣстно, какъ удовлетворенные капризы развиваютъ безхарактерность и какъ заносчивость несовмѣстна съ умѣньемъ серьезно поддерживать свое достоинство. Привыкая предъявлять безтолковыя требованія, мальчикъ скоро теряетъ мѣру возможности и удобоисполнимости своихъ желаній, ли-

шается всякаго умѣнья соображать средства съ цѣлями, и потому становится втупикъ при первомъ препятствіи, для отстраненія котораго нужно употребить собственное усиліе. Когда онъ вырастаетъ, онъ дѣлается Обломовымъ, съ большей или меньшей долей его апатичности и безхарактерности, подъ болѣе или менѣе искусной маской, но всегда съ однимъ неизмѣннымъ качествомъ — отвращеніемъ отъ серьезной и самобытной дѣятельности.

Много помогаетъ тутъ и умственное развитіе Обломовыхъ, тоже, разумѣется, направляемое ихъ виѣшнимъ положеніемъ. Какъ въ первый разъ они взглянуть на жизнь навыворотъ, такъ ужъ потомъ до конца дней своихъ и не могутъ достигнуть разумнаго пониманія своихъ отношеній къ міру и къ людямъ. Имъ потомъ и растолкуютъ многое, они и поймутъ кое-что; но съ дѣтства укоренившееся воззрѣніе все-таки удержится гдѣ-нибудь въ уголку и безпрестанно выглядываетъ оттуда, мѣшая всѣмъ новымъ понятіямъ и не допуская ихъ улечься на дно души... И дѣлается въ головѣ какой-то хаосъ: иной разъ человѣку и рѣшимость придетъ сдѣлать что-нибудь, да не знаетъ онъ, что ему начать, куда обратиться... И не мудрено: нормальный человѣкъ всегда хочетъ только того, что можетъ сдѣлать; зато онъ немедленно и дѣлаетъ все, что захочетъ... А Обломовъ... онъ не привыкъ дѣлать что-нибудь, слѣдовательно, не можетъ хорошенько опредѣлить, что онъ можетъ сдѣлать и чего нѣтъ, — слѣдовательно, не можетъ и серьезно, *дѣлательно* захотѣть чего-нибудь... Его желанія являются только въ формѣ: «а хорошо бы, если бы вотъ это сдѣлалось»; но какъ это можетъ сдѣлаться, онъ не знаетъ. Оттого онъ любитъ помечтать и ужасно боится того момента, когда мечтанія придутъ въ соприкосновеніе съ дѣйствительностью... Тутъ онъ старается взвалить дѣло на кого-нибудь другого, а если нѣтъ никого, то на *авось*...

...Несправедливо было бы думать, что онъ отъ природы лишень способности произвольнаго движенія. Вовсе нѣтъ: отъ природы онъ — человѣкъ, какъ и всѣ. Въ ребячествѣ ему хотѣлось побѣгать и поиграть въ снѣжки съ ребятишками, достать самому то или другое, и въ оврагъ сбѣгать, и въ ближайшій березнякъ пробраться черезъ каналь, плетни и ямы. Пользуясь часомъ общаго въ Обломовкѣ послѣобѣденнаго сна, онъ разминялся, бывало: «взбѣгалъ на галлерею (куда не позволялось ходить, потому что она каждую минуту готова была развалиться), бѣгалъ по скрипучимъ доскамъ кругомъ, лазилъ на голубятню, забирался въ глушь сада, слушалъ, какъ жужжить жукъ, и далеко слѣдилъ глазами его полетъ въ воздухѣ»... Илья Ильичъ, при всей своей кротости, не боится поддать ногой въ рожу обувающему его Захару, и если онъ въ своей жизни не дѣлаетъ этого съ другими, такъ единственно потому, что надѣется встрѣтить противодѣйствіе, которое

нужно будетъ преодолѣть. Поневолѣ онъ ограничиваетъ кругъ своей дѣятельности тремястами своихъ Захаровъ. А будь у него этихъ Захаровъ во сто, въ тысячу разъ больше — онъ бы не встрѣчалъ себя противодѣйствіемъ и пріучился бы довольно смѣло поддавать въ зубы каждому, съ кѣмъ случится имѣть дѣло. И такое поведеніе вовсе не было бы у него признакомъ какого-нибудь звѣрства натуры; и ему самому, и всѣмъ окружающимъ оно казалось бы очень естественнымъ, необходимымъ... никому бы и въ голову не пришло, что можно и должно вести себя какъ-нибудь иначе. Но — къ несчастію или къ счастью — Илья Ильичъ родился помѣщикомъ средней руки, получалъ дохода не болѣе десяти тысячъ рублей на ассигнаціи и, вслѣдствіе того, могъ распоряжаться судьбами міра только въ своихъ мечтаніяхъ. Зато въ мечтахъ своихъ онъ и любилъ предаваться воинственнымъ и героическимъ стремленіямъ. «Онъ любилъ иногда вообразить себя какимъ-нибудь непобѣдимымъ полководцемъ, передъ которымъ не только Наполеонъ, но и Ерусланъ Лазаревичъ ничего не значить; выдумаетъ войну и причину ея: у него хлынуть, напр., народы изъ Африки въ Европу, или устроить онъ новые крестовые походы и воюетъ, рѣшаетъ участь народовъ, разоряетъ города, щадитъ, казнитъ, оказываетъ подвиги добра и великодушія». А то онъ вообразитъ, что онъ великій мыслитель или художникъ, что за нимъ гоняется толпа и всѣ поклоняются ему... Ясно, что Обломовъ не тупая, апатическая натура, безъ стремленій и чувствъ, а человѣкъ, тоже чего-то ищущій въ своей жизни, о чемъ-то думающій. Но гнусная привычка получать удовлетвореніе своихъ желаній не отъ собственныхъ усилій, а отъ другихъ, развила въ немъ апатическую неподвижность и повергла его въ жалкое состояніе нравственнаго рабства. Рабство это такъ переплетается съ барствомъ Обломова, такъ они взаимно проникаютъ другъ друга и одно другимъ обуславливаются, что, кажется, нѣтъ ни малѣйшей возможности провести между ними какую-нибудь границу. Это нравственное рабство Обломова составляетъ едва ли не самую любопытную сторону его личности и всей его исторіи... Но какъ могъ дойти до рабства человѣкъ съ такимъ независимымъ положеніемъ, какъ Илья Ильичъ? Кажется, кому бы и наслаждаться свободой, какъ не ему? Не служить, не связанъ съ обществомъ, имѣетъ обезпеченное состояніе... Онъ самъ хвалится тѣмъ, что не чувствуетъ надобности кланяться, просить, унижаться, что онъ не подобенъ «другимъ», которые работаютъ безъ-устали, бѣгаютъ, суетятся, — а не поработаютъ, такъ и не поѣдятъ... Онъ внушаетъ къ себѣ благоговѣйную любовь доброй вдовѣ Пшеницыной: именно тѣмъ, что онъ *баринъ*, что онъ сіяетъ и блещетъ, что онъ и ходитъ, и говоритъ такъ вольно и независимо, что онъ «не пишетъ, безпрестанно бумагъ, не трясется отъ

страха, что опоздастъ въ должность, не глядитъ на всякаго такъ, какъ будто проситъ осѣдлатъ его и поѣхать, а глядитъ на всѣхъ и на все такъ смѣло и свободно, какъ будто требуетъ покорности себѣ. И однакоже, вся жизнь этого барина убита тѣмъ, что онъ постоянно остается рабомъ чужой воли и никогда не возвышается до того, чтобы проявить какую-нибудь самобытность. Онъ—рабъ каждой женщины, каждаго встрѣчнаго, рабъ каждаго мошенника, который захочетъ взять надъ нимъ волю. Онъ—рабъ своего крѣпостного Захара, и трудно рѣшить, который изъ нихъ болѣе подчиняется власти другого...

...Отчего же это? Да все оттого, что Обломовъ, какъ баринъ, не хочетъ и не умѣетъ работать и не понимаетъ настоящихъ отношеній своихъ ко всему окружающему. Онъ не прочь отъ дѣятельности—до тѣхъ поръ, пока она имѣетъ видъ призрака и далека отъ реального осуществленія: такъ, онъ создаетъ планъ устройства имѣнія и очень усердно занимается имъ, — только «подробности, смѣты и цифры» пугаютъ его и постоянно отбрасываются имъ въ сторону, потому что гдѣ же ему съ ними возиться!.. Онъ—баринъ, какъ объясняетъ самъ Ивану Матвѣичу: «Кто я, что такое? спросите вы... Подите, спросите у Захара, и онъ скажетъ вамъ: «баринъ!» Да, я баринъ, и дѣлать ничего не умѣю! Дѣлайте вы, если знаете, и помогите, если можете, а за трудъ возьмите себѣ, что хотите: — на то наука!» И вы думаете, что онъ этимъ хочетъ только отдѣлаться отъ работы, старается прикрыть незнаніемъ свою лѣнь? Нѣтъ, онъ дѣйствительно не знаетъ и не умѣетъ ничего, дѣйствительно не въ состояніи прияться ни за какое путное дѣло...

...И вѣдь Обломовъ не только своихъ сельскихъ порядковъ не знаетъ, не только положенія своихъ дѣлъ не понимаетъ: это бы еще куда ни шло!.. Но вотъ въ чемъ главная бѣда: онъ и вообще жизни не умѣлъ осмыслить для себя. Въ Обломовкѣ никто не задавалъ себѣ вопроса: зачѣмъ жизнь, что она такое, какой ея смыслъ и назначеніе? Обломовцы очень просто понимали ее, «какъ идеаль покоя и бездѣйствія, нарушаемаго по временамъ разными непріятными случайностями, какъ-то: болѣзнями, убытками, ссорами и, между прочимъ, трудомъ. Они сносили трудъ, какъ наказаніе, наложенное еще на праотцевъ нашихъ, но любить не могли и, гдѣ былъ случай, всегда отъ него избавлялись, находя это возможнымъ и должнымъ». Точно такъ относился къ жизни и Пля Пльичъ. Идеаль счастья, нарисованный имъ Штольцу, заключался ни въ чемъ другомъ, какъ въ сытной жизни, — съ оранжереями, парниками, поѣздками съ самоваромъ въ рощу и т. п.; — въ халатѣ, въ крѣпкомъ снѣ да—для промежуточнаго отдыха—въ идиллическихъ прогулкахъ съ кроткою, но дебелою женою, и въ созерцаніи того, какъ крестьяне работаютъ. Разсудокъ Обломова такъ



успѣлъ съ дѣтства сложиться, что даже въ самомъ отвлеченномъ разсужденіи, въ самой утопической теоріи имѣлъ способность останавливаться на данномъ моментѣ и затѣмъ не выходить изъ этого *statu quo*, несмотря ни на какія убѣжденія. Рисуя идеаль своего блаженства, Илья Ильичъ не думалъ спросить себя о внутреннемъ смыслѣ его, не думалъ утвердить его законность и правду, не задалъ себѣ вопроса: откуда будутъ браться эти орашереи и парники, кто ихъ станетъ поддерживать и съ какой стати будетъ онъ ими пользоваться?.. Не задавая себѣ подобныхъ вопросовъ, не разъясняя своихъ отношеній къ міру и къ обществу, Обломовъ, разумѣется, не могъ осмыслить своей жизни и потому тяготился и скучалъ отъ всего, что ему приходилось дѣлать. Служилъ онъ — и не могъ понять, зачѣмъ эти бумаги пишутся; не понявши же, ничего лучше не нашелъ, какъ выйти въ отставку и ничего не писать. Учился онъ — и не зная, къ чему можетъ послужить ему наука; не узнавши этого, онъ рѣшился сложить книги въ уголъ и равнодушно смотрѣть, какъ ихъ покрываетъ пыль. Выѣзжалъ онъ въ общество — и не умѣлъ себѣ объяснить, зачѣмъ люди въ гости ходятъ; не объяснивши, онъ бросилъ всѣ свои знакомства и сталъ по цѣлымъ днямъ лежать у себя на диванѣ. Сходилъ онъ съ женщинами, но подумалъ: однако, чего же отъ нихъ ожидать и добиваться? Подумавши же, не рѣшилъ вопроса и сталъ избѣгать женщинъ... Все ему наскучило и опостылѣло, и онъ лежалъ на боку, съ полнымъ, сознательнымъ презрѣніемъ къ «муравьиной работѣ людей», убивающихся и суетящихся Богъ вѣсть изъ-за чего...

...Его лѣнь и апатія есть созданіе воспитанія и окружающихъ обстоятельствъ. Главное здѣсь не Обломовъ, а обломовщина. Онъ бы, можетъ-быть, сталъ даже и работать, если бы нашелъ дѣло по себѣ; но для этого, конечно, ему надо было развиваться нѣсколько подъ другими условіями, нежели подъ какими онъ развился. Въ настоящемъ же своемъ положеніи онъ не могъ нигдѣ найти себѣ дѣла по душѣ, потому что вообще не понималъ смысла жизни и не могъ дойти до разумнаго воззрѣнія на свои отношенія къ другимъ. Здѣсь-то онъ и подаетъ намъ поводъ къ сравненію съ прежними типами лучшихъ нашихъ писателей. Давно уже замѣчено, что всѣ герои замѣчательнѣйшихъ русскихъ повѣстей и романовъ страдаютъ оттого, что не видятъ цѣли въ жизни и не находятъ себѣ приличной дѣятельности. Вслѣдствіе того они чувствуютъ скуку и отвращеніе отъ всякаго дѣла, въ чемъ представляютъ разительное сходство съ Обломовымъ. Въ самомъ дѣлѣ, раскройте, напримѣръ, «Онѣгина», «Героя нашего времени», «Кто виноватъ», «Рудина»; или «Лишняго человека», или «Гамлета Щигровскаго уѣзда», — въ каждомъ изъ нихъ вы найдете черты, почти буквально сходныя съ чертами Обломова.

Онѣгипъ, какъ Обломовъ, оставляетъ общество затѣмъ, что его

Измѣны утомить успѣли,  
Друзья и дружба надѣли.

И вотъ онъ занялся писаньемъ:

Отступникъ бурныхъ наслажденій,  
Онѣгипъ дома заперся,  
Зѣвая, за перо взялся,  
Хотѣлъ писать; но трудъ упорный  
Ему былъ тошнень; ничего  
Не вышло изъ пера его...

На этомъ же поприщѣ подвизался и Рудинъ, который любилъ читать избраннымъ «первыя страницы предполагаемыхъ статей и сочиненій своихъ». Тѣнѣтнниковъ тоже много лѣтъ занимался «колоссальнымъ сочиненіемъ, долженствовавшимъ объять всю Россію со всѣхъ точекъ зрѣнія»; но и у него «предпріятіе больше ограничивалось однимъ обдумываньемъ: изгрызалось перо, являлись на бумагѣ рисунки, и потомъ все это отодвигалось въ сторону». Илья Ильичъ не отсталъ въ этомъ отъ своихъ собратій: онъ тоже писалъ и переводилъ, — Ся даже переводилъ. «Гдѣ же твои работы, твои переводы?» спрашиваетъ его потомъ Штольцъ. «Не знаю, Захаръ куда-то дѣлъ; въ углу, должно-быть, лежать», отвѣчаетъ Обломовъ. Выходитъ, что Илья Ильичъ даже больше, можетъ-быть, сдѣлалъ, чѣмъ другіе, принимавшіеся за дѣло съ такой же твердой рѣшимостью, какъ и онъ... А принимались за это дѣло почти всѣ братья обломовской семьи, несмотря на разницу своихъ положеній и умственнаго развитія. Печоринъ только свысока смотрѣлъ на «поставщиковъ повѣстей» и сочинителей мѣщанскихъ драмъ; впрочемъ, и онъ писалъ свои записки. Что касается Бельтова, то онъ навѣрное сочинялъ что-нибудь, да еще, кромѣ того, артистомъ былъ, ходилъ въ Эрмитажъ и сидѣлъ за мольбертомъ, обдумывалъ большую картину встрѣчи Бирона, вѣдущаго изъ Сибири, съ Мишикомъ, вѣдущимъ въ Сибирь... Что изъ всего этого вышло, извѣстно читателямъ... Во всей семьѣ та же обломовщина...

Относительно «присвоенія себѣ чужого ума», т.-е. чтенія, Обломовъ тоже не много расходится съ своими братьями. Илья Ильичъ читалъ тоже кое-что и читалъ не такъ, какъ покойный батюшка его: «давно, — говоритъ, — не читалъ книги», «дай-ка, почитаю книгу», — да и возьметъ, какая подъ руку попадется... Нѣтъ, вѣяніе современнаго образованія коснулось и Обломова: онъ уже читалъ по выбору, сознательно: «услышитъ о какомъ-нибудь замѣчательномъ произведеніи, — и у него явится позывъ познакомиться съ нимъ; онъ ищетъ, проситъ книги, и если принесутъ скоро, онъ примется за нее, у него

начнетъ формироваться идея о предметѣ; еще шагъ, и онъ овладѣлъ бы имъ, а посмотришь, онъ уже лежитъ, глядя апатически въ потолокъ, а книга лежитъ подлѣ него недочитанная, непонятая... Охлажденіе одолѣвало имъ еще быстрѣе, нежели увлеченіе: онъ уже никогда не возвращался къ покинутой книгѣ». Не то ли же самое было и съ другимъ? Онѣгинъ, думая себѣ присвоить умъ чужой, началъ съ того, что

Отрядомъ книгъ установилъ полку

и принялся читать. По толку не вышло никакого: чтеніе скоро ему надоѣло, и —

Какъ жеищѣиъ, онъ оставилъ книги  
И полку, съ пыльной ихъ семьей,  
Задержуль траурной тафтой.

Тѣитѣтниковъ тоже такъ читалъ книги (благо, онъ привыкъ ихъ всегда имѣть подъ рукою), — большею частью во время обѣда: «съ супомъ, съ соусомъ, съ жаркимъ и даже съ пирожинымъ»... Рудинъ тоже признается Лежневу, что накупилъ онъ себѣ какихъ-то агрономическихъ книгъ, но ни одной до конца не прочелъ: сдѣлался учителемъ, да нашелъ, что фактовъ зналъ маловато, и даже на одномъ памятникѣ XVI столѣтія былъ сбитъ учителемъ математики. И у него, какъ у Обломова, принимались легко только общія идеи, а «подробности, смѣты и цифры» постоянно оставались въ сторонѣ.

«По вѣдь это еще не жизнь, — это только приготовленіе къ жизни, — думалъ Андрей Ивановичъ Тѣитѣтниковъ, проходившій, вмѣстѣ съ Обломовымъ и всей этой компаніей, тѣмъ ненужныхъ наукъ и не умѣвшій ни юты изъ нихъ примѣнить къ жизни. «Настоящая жизнь — это служба». И все наши герои, кромѣ Онѣгина и Печорина, служатъ, и для всѣхъ ихъ служба — ненужное и не имѣющее смысла бремя; и все они оканчиваютъ благородной и ранней отставкой. Бѣловъ четырнадцать лѣтъ и шесть мѣсяцевъ не дослужилъ до пряжки, потому что, погорячившись сначала, вскорѣ охладѣлъ къ канцелярскимъ занятіямъ, сталъ раздражителемъ и небреженъ... Тѣитѣтниковъ поговорилъ крупно съ начальникомъ, да притомъ же хотѣлъ принести пользу государству, лично занявшись устройствомъ своего имѣнія. Рудинъ поссорился съ директоромъ гимназій, гдѣ былъ учителемъ. Обломову не понравилось, что съ начальникомъ все говорятъ «не своимъ голосомъ, а какимъ-то другимъ, тоненькимъ и гадкимъ»; онъ не хотѣлъ этимъ голосомъ объясняться съ начальникомъ по тому поводу, что «отправилъ нужную бумагу вмѣсто Астрахани въ Архангельскъ», и подалъ въ отставку... Вездѣ все одна и та же обломовщина...

Въ домашней жизни обломовцы тоже очень похожи другъ на друга:

Прогулки, чтение, сонъ глубокий,  
Лѣсная тѣнь, журчанье струй,  
Порой бѣлянки черноокой  
Младой и свѣжій поцѣлуй,  
Уздѣ послушный конь ретивый,  
Обѣдъ довольно прихотливый,  
Бутылка свѣтлаго вина,  
Уединенье, тишина, —  
Вотъ жизнь Опѣгина святая.

То же самое, слово въ слово, за исключеніемъ коня, рисуется у Ильи Ильича въ идеалѣ домашней жизни. Даже поцѣлуй черноокой бѣлянки не забыть у Обломова. «Одна изъ крестьянокъ, — мечтаетъ Илья Ильичъ, — съ загорѣлой шеей, съ открытыми локтями, съ робко-опущенными, но лукавыми глазами, чуть-чуть, для виду только, обороняется отъ барской ласки; а сама счастлива... те... жена чтобъ не увидала. Боже сохрани!» (Обломовъ воображаетъ себя уже женатымъ)... И если бѣ Илья Ильичу не лѣнь было уѣхать изъ Петербурга въ деревню, онъ непременно привелъ бы въ исполненіе задуманную свою идиллію. Вообще обломовцы склоны къ идиллическому, бездѣйственному счастью, которое ничего отъ нихъ не требуетъ: «наслаждайся, молъ, мною, да и только»... Ужъ на что, кажется, Печоринъ, а и тотъ полагаетъ, что счастье-то, можетъ-быть, заключается въ покой и сладкомъ отдыхѣ. Онъ въ одномъ мѣстѣ своихъ записокъ сравниваетъ себя съ человѣкомъ, томимымъ голодомъ, который «въ изнеможеніи засыпаетъ и видитъ предъ собою роскошныя кушанья и шипучія вина; онъ пожираетъ съ восторгомъ воздушные дары воображенія, и ему кажется легче... но только проспунуся, мечта исчезаетъ, остается удвоенный голодъ и отчаяніе»... Въ другомъ мѣстѣ Печоринъ себя спрашиваетъ: «Отчего я не хотѣлъ ступить на этотъ путь, открытый мнѣ судьбою, гдѣ меня ожидали тихія радости и спокойствіе душевное?» Онъ самъ полагаетъ, — оттого, что «душа его сжилась съ бурями и жаждетъ кинучей дѣятельности»... Но вѣдь онъ вѣчно недоволенъ своей борьбой и самъ же безпрестанно высказываетъ, что всѣ свои дрянныя дебоширства затѣваетъ потому только, что ничего лучшаго не находитъ дѣлать... А ужъ коли не находитъ дѣла и вслѣдствіе того ничего не дѣлаетъ и ничѣмъ не удовлетворяется, такъ это значитъ, что къ бездѣлю болѣе склоненъ, чѣмъ къ дѣлу... Та же обломовщина...

Отношенія къ людямъ и въ особенности къ женщинамъ тоже имѣютъ у всѣхъ обломовцевъ нѣкоторыя общія черты. Людей они вообще презираютъ, съ ихъ мелкимъ трудомъ, съ ихъ узкими понятіями и близорукими стремленіями. «Это все чернорабочіе», небрежно от-

зывается даже Бельтовъ, гуманиѣйшій между ними. Рудинъ наивно воображаетъ себя гениемъ, котораго никто не въ состояніи понять. Печоринъ, ужъ разумѣется, топчетъ всѣхъ ногами. Даже Онѣгинъ имѣетъ за собою два стиха, гласящіе, что

Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ  
Въ душѣ не презирать людей.

Тѣнѣтѣнниковъ даже, — ужъ на что смирный, — и тотъ, пришедши въ департаментъ, почувствовалъ, что «какъ будто его за проступокъ перевели изъ верхняго класса въ нижній»; а пріѣхавши въ деревню, скоро постарался, подобно Онѣгину и Обломову, раззнакомиться со всѣми сосѣдями, которые поспѣшили съ нимъ познакомиться. И нашъ Илья Ильичъ не уступитъ никому въ презрѣніи къ людямъ: оно вѣдь такъ легко, для него даже усилій никакихъ не пужно. Онъ самодовольно проводитъ передъ Захаромъ параллель между собой и «другими»; онъ въ разговорахъ съ пріятелями выражаетъ наивное удивленіе, изъ-за чего эти люди быются, заставляя себя ходить въ должность, писать, слѣдить за газетами, посѣщать общество и пр. Онъ даже весьма категорически выражаетъ Штольцу сознание своего превосходства надъ всѣми людьми. «Жизнь, — говоритъ, — въ обществѣ? Хороша жизнь! Чего тамъ искать? Интересовъ ума, сердца? Ты посмотри, гдѣ центръ, около котораго вращается все это; нѣтъ его, нѣтъ ничего глубокаго, задѣвающего за живое. Все это мертвецы, спящіе люди, хуже меня, эти члены свѣта и общества!» И затѣмъ Илья Ильичъ очень пространно и краснорѣчиво говоритъ на эту тему, такъ что хоть бы Рудину такъ поговорить.

Въ отношеніи къ женщинамъ всѣ обломовцы ведутъ себя одинаково постыднымъ образомъ. Они вовсе не умѣютъ любить и не знаютъ, чего искать въ любви, точно такъ же, какъ и вообще въ жизни. Они не прочь дококетничать съ женщиной, пока видятъ въ ней куклу,двигающуюся на пружинахъ; не прочь они и поработить себѣ женскую душу... какъ же! этимъ бываетъ очень довольна ихъ барственная натура! Но только чуть дѣло дойдетъ до чего-нибудь серьезнаго, чуть они начнутъ подозрѣвать, что передъ ними дѣйствительно не игрушка, а женщина, которая можетъ и отъ нихъ потребовать уваженія къ своимъ правамъ, они немедленно обращаются въ постыднѣйшее бѣгство. Трусость у всѣхъ этихъ господъ непомѣрная. Онѣгинъ, который такъ «рано умѣлъ тревожить сердца кокетокъ записныхъ», который женщинъ «искалъ безъ упоенія, а оставлялъ безъ сожалѣнья», — Онѣгинъ струсилъ предъ Татьяной, дважды струсилъ, — и въ то время, когда принималъ отъ нея урокъ, и тогда, какъ самъ ей давалъ его. Она ему вѣдь нравилась съ самаго начала, и если



бы любима менѣе серьезно, онъ не подумалъ бы принять съ нею тонъ строгаго правоучителя. А тутъ онъ увидѣлъ, что шутить опасно, и потому началъ толковать о своей отжитой жизни, о дурномъ характерѣ, о томъ, что она другого полюбитъ впослѣдствіи, и т. д. Впослѣдствіи онъ самъ объясняетъ свой поступокъ тѣмъ, что «замѣтъ искру нѣжности въ Татьянѣ, онъ не хотѣлъ ей вѣрить», и что

«Свою постылую свободу  
Онъ потерять не захотѣлъ».

А какими фразами-то прикрылъ себя, малодушный!

Такимъ же оказывается и Печоринъ, специалистъ по части женскаго сердца, признающійся, что, кромѣ женщинъ, онъ ничего на свѣтѣ не любилъ, что для нихъ онъ готовъ пожертвовать всѣмъ на свѣтѣ. И онъ признается, что, во-первыхъ, «не любитъ женщинъ съ характеромъ: ихъ ли это дѣло!»—во-вторыхъ, что онъ никогда не можетъ жениться. «Какъ бы страстно я ни любилъ женщину, — говоритъ онъ, — но если она мнѣ дастъ только почувствовать, что я долженъ на ней жениться — прости любовь. Мое сердце превращается въ камень, и ничто не разогрѣетъ его снова. Я готовъ на всѣ жертвы, кромѣ этой; двадцать разъ жизнь свою, даже честь поставлю на карту, но свободы своей не продамъ. Отчего я такъ дорожу ею? Что мнѣ въ ней? куда я себя готовлю? чего я жду отъ будущаго? Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страхъ, неизъяснимое предчувствіе» и т. д. А въ сущности, это — больше ничего, какъ обломовщина.

А Пляя Ильичъ развѣ, вы думаете, не имѣетъ въ себѣ, въ свою очередь, печоринскаго и рудинскаго элемента, не говоря объ онѣгинскомъ? Еще какъ имѣетъ-то! Онъ, напримѣръ, подобно Печорину, хочетъ непременно *обладать* женщиной, хочетъ вынудить у нея всяческія жертвы въ доказательство любви. Онъ, видите ли, не надѣялся сначала, что Ольга пойдетъ за него замужъ, и съ робостью предложилъ ей быть его женой. Она ему сказала что-то въ родѣ того, что это давно бы ему слѣдовало сдѣлать. Онъ пришелъ въ смущеніе, ему стало не довольно согласія Ольги, и онъ — чтобы вы думали?.. онъ началъ — пытаться ее, столько ли она его любитъ, чтобы быть въ состояніи сдѣлаться его любовницей! И ему стало досадно, когда она сказала, что никогда не пойдетъ по этому пути; но затѣмъ ея объясненіе и страстная сцена успокоили его. А все-таки онъ струсилъ подъ конецъ до того, что даже на глаза Ольгѣ боялся показаться, прикидывался больнымъ, прикрывалъ себя разведеннымъ мостомъ, давалъ понять Ольгѣ, что она его можетъ компрометировать, и т. д. И все отчего? — оттого, что она отъ него потребовала рѣшимости, дѣла, того, что не

входило въ его привычки. Женитьба сама по себѣ не страшила его такъ, какъ страшила Печорина и Рудина; у него болѣе патріархальныя были привычки. Но Ольга захотѣла, чтобъ онъ передъ женитьбой устроилъ дѣла по имѣнію; это ужъ была бы *жертва*, и онъ, конечно, этой жертвы не совершилъ, а явился настоящимъ Обломовымъ. А самъ, между тѣмъ, очень требователенъ. Онъ сдѣлалъ съ Ольгой такую штуку, какая и Печорину въ пору была бы. Ему вообразилось, что онъ не довольно хорошъ собою и вообще не довольно привлекателенъ для того, чтобы Ольга могла сильно полюбить его. Онъ начинаетъ страдать, не спитъ ночь, наконецъ вооружается энергіей и строчитъ къ Ольгѣ длинное рудинское посланіе, въ которомъ повторяетъ извѣстную, третью и перетертую вещь, говоренную и Онѣгинимъ Татьянѣ, и Рудинимъ Натальѣ, и даже Печоринимъ княжнѣ Мери: «Я, дескать, не такъ созданъ, чтобы вы могли быть со мною счастливы; придетъ время; вы полюбите другого, болѣе достойнаго».

Смѣшить не разъ младая дѣва  
Мечтами легкія мечты...  
Полюбите вы снова: но...  
Учитесь властвовать собою;  
Не всякій васъ, какъ я, пойметъ...  
Къ бѣдѣ неопытность ведетъ.

Всѣ обломовцы любятъ уничижать себя; но это они дѣлаютъ съ той цѣлью, чтобъ имѣть удовольствіе быть опровергнутыми и услышать себѣ похвалу отъ тѣхъ, предъ кѣмъ они себя ругаютъ. Они довольны своимъ самоуниженіемъ и всѣ похожи на Рудина, о которомъ Пигасовъ выражается: «Начнетъ себя бранить, съ грязью себя смѣшаетъ;—пу, думаешь, теперь на свѣтъ Божій глядѣть не станеть. Какое! повеселѣтъ даже, словно горькой водкой себя попотчеваль!» Такъ и Онѣгинъ послѣ ругательствъ на себя рисуется предъ Татьяной своимъ великодушіемъ. Такъ и Обломовъ, написавши къ Ольгѣ насквиль на самого себя, чувствовалъ, «что ему ужъ не тяжело, что онъ почти счастливъ»... Письмо свое онъ заключаетъ тѣмъ же правоученіемъ, какъ и Онѣгинъ свою рѣчь: «Исторія со мною пусть, говоритъ, послужитъ вамъ руководствомъ въ будущей, нормальной любви и пр. Илья Ильичъ, разумѣется, не выдержалъ себя на высотѣ уничиженія передъ Ольгой: онъ бросился подсмотреть, какое впечатлѣніе произведетъ на нее письмо, увидѣлъ, что она плачетъ, удовольствился и—не могъ удержаться, чтобы не предстать предъ ней въ сію критическую минуту. А она доказала ему, какимъ онъ пошлымъ и жалкимъ эгоистомъ явился въ этомъ письмѣ, написанномъ «изъ заботы объ ея счастьѣ». Тутъ ужъ онъ окончательно спасовалъ, какъ

дѣлають, впрочемъ, всѣ обломовцы, встрѣчая женщину, которая выше ихъ по характеру и по развитію...

...Во всемъ, что мы говорили, мы имѣли въ виду болѣе обломовщину, нежели личность Обломова и другихъ героев. Что касается до личности, то мы не могли не видѣть разницы темперамента, напр., у Печорина и Обломова, такъ же точно, какъ не можемъ не найти ее и у Печорина съ Онегинимъ, и Рудина съ Бельтовымъ... Кто же станетъ спорить, что личная разница между людьми существуетъ (хотя, можетъ-быть, и далеко не въ той степени и не съ тѣмъ значеніемъ, какъ обыкновенно предполагають). Но дѣло въ томъ, что надъ всѣми этими лицами тяготѣетъ одна и та же обломовщина, которая кладетъ на нихъ неизгладимую печать бездѣльности, дармоедства и совершенной ненужности на свѣтѣ. Весьма вѣроятно, что при другихъ условіяхъ жизни, въ другомъ обществѣ Онегинъ былъ бы истинно добрымъ малымъ, Печоринъ и Рудинъ дѣлали бы великіе подвиги, а Бельтовъ оказался бы дѣйствительно превосходнымъ человѣкомъ. Но при другихъ условіяхъ развитія, можетъ-быть, и Обломовъ съ Тентетниковымъ не были бы такими байбаками, а нашли бы себѣ какое-нибудь полезное занятіе... Дѣло въ томъ, что теперь-то у нихъ у всѣхъ одна общая черта — бесплодное стремленіе къ дѣятельности, сознаніе, что изъ нихъ многое могло бы выйти, но не выйдетъ ничего... Въ этомъ они поразительно сходятся...

Дѣла себѣ исполнскаго ищутъ,  
Благо наслѣдье богатыхъ отцовъ  
Освободило отъ малыхъ трудовъ...

Обломовъ тоже мечталъ въ молодости «служить, пока станетъ силъ, потому что Россіи нужны руки и головы для разрабатыванія неистощимыхъ источниковъ»... Да и теперь онъ «не чуждъ всеобщихъ человѣческихъ скорбей, ему доступны наслажденія высокихъ помысловъ», и хотя онъ не рыщетъ по свѣту за исполнскимъ дѣломъ, но все-таки мечтаетъ о всемірной дѣятельности, все-таки съ презрѣніемъ смотритъ на чернорабочихъ и съ жаромъ говоритъ:

Нѣтъ, я души не растрочу моей  
На муравьиной работѣ людей...

А бездѣльничаетъ онъ ничуть не больше, чѣмъ всѣ остальные братья обломовцы; только онъ откровеннѣе, — не старается прикрыть своего бездѣлья даже разговорами въ обществахъ и гуляньяхъ по Невскому проспекту.

Но отчего же такая разница впечатлѣній, производимыхъ на насъ Обломовымъ и героями, о которыхъ мы вспоминали выше? Тѣ представляются намъ въ разныхъ родахъ сильными натурами, задавлен-

ными неблагоприятной обстановкой, а этот—байбакомъ, который и при самых лучших обстоятельствах ничего не сдѣлаетъ...

...Кромѣ разницы темперамента, большое различіе находится въ самомъ возрастѣ Обломова и другихъ героевъ. Говоримъ не о лѣтахъ: они почти однолѣтки, Рудинъ даже двумя-тремя годами постарше Обломова; говоримъ, о времени ихъ появленія. Обломовъ относится къ позднѣйшему времени, стало-быть, онъ уже для молодого поколѣнія, для современной жизни, долженъ казаться гораздо старше, чѣмъ казались прежніе обломовцы... Онъ въ университетѣ какихъ-нибудь 17—18-ти лѣтъ почувствовалъ тѣ стремленія, проникся тѣми идеями, которыми одушевляется Рудинъ въ тридцать пять лѣтъ... Прежде съ любовью, съ благоговѣніемъ слушали фразеровъ, толкующихъ о необходимости того и другого, о высшихъ стремленіяхъ и т. п. Тогда, можетъ-быть, и Обломовъ не прочь былъ бы поговорить... Но теперь всякаго фразера и прожектора встрѣчаютъ требованіемъ: «А не угодно ли попробовать?» Этого ужъ обломовцы не въ силахъ снести...

Въ самомъ дѣлѣ, какъ чувствуется вѣяніе новой жизни, когда, по прочтеніи Обломова, думаешь, что вызвало въ литературѣ этотъ типъ. Нельзя приписать этого единственно личному таланту автора и широтѣ его воззрѣній. И силу таланта и воззрѣнія самыя широкія и гуманныя находимъ мы у авторовъ, произведшихъ прежніе типы, приведенные нами выше. Но дѣло въ томъ, что отъ появленія перваго изъ нихъ, Онѣгина, до сихъ поръ прошло уже тридцать лѣтъ. То, что было тогда въ зародышѣ, что выражалось только въ неясномъ полусловѣ, произнесенномъ шопотомъ, то приняло уже теперь опредѣленную и твердую форму, высказалось открыто и громко. Фраза потеряла свое значеніе; явилась въ самомъ обществѣ потребность настоящаго дѣла. Бельтовъ и Рудинъ — люди, съ стремленіями дѣйствительно высокими и благородными, не только не могли проникнуться необходимостью, но даже не могли представить себѣ близкой возможности страшной, смертельной борьбы съ обстоятельствами, которыя ихъ давили. Они вступали въ дремучій невѣдомый лѣсъ, шли по топкому опасному болоту, видѣли подъ ногами разныхъ гадовъ и змѣй и лѣзли на дерево отчасти, чтобъ посмѣтрѣть, не увидать ли гдѣ дороги, отчасти же для того, чтобъ отдохнуть и хоть на время избавиться отъ опасности увязнуть или быть ужаленными. Слѣдовавшіе за ними люди ждали, что они скажутъ, и смотрѣли на нихъ съ уваженіемъ, какъ на людей, шедшихъ впереди. Но эти передовые люди ничего не увидѣли съ высоты, на которую взобрались: лѣсъ былъ очень обширенъ и густъ. Между тѣмъ, взлѣзая на дерево, они исцарапали себѣ лицо, переранили себѣ ноги, испортили руки... Они страдаютъ, они утомлены, они должны отдохнуть, примостившись какъ-ни-

Будь поудобнѣе на деревѣ. Правда, они ничего не дѣлаютъ для общей пользы, они ничего не разглядѣли и не сказали; стоящіе внизу, сами, безъ ихъ помощи, должны прорубать и расчищать себѣ дорогу по лѣсу. Но кто же рѣшится бросить камень въ этихъ несчастныхъ, чтобы заставить ихъ упасть съ высоты, на которую они взмоглись съ такими трудами, имѣя въ виду общую пользу? Имъ сострадаютъ, отъ нихъ даже не требуютъ пока, чтобы они принимали участіе въ расчисткѣ лѣса; на ихъ долю выпало другое дѣло, и они его сдѣлали. Если толка не вышло, — не ихъ вина. Съ этой точки зрѣнія каждый изъ авторовъ могъ прежде смотрѣть на своего обломовскаго героя, и былъ правъ. Къ этому присоединилось еще и то, что надежда увидѣть гдѣ-нибудь выходъ изъ лѣса на дорогу долго держалась во всей ватагѣ путниковъ, равно какъ долго не терялась и увѣренность въ дальнорзости передовыхъ людей, взобравшихся на дерево. Но вотъ, мало-по-малу, дѣло прояснилось и приняло другой оборотъ: передовымъ людямъ понравилось на деревѣ; они разсуждаютъ очень краспорѣчиво о разныхъ путяхъ и средствахъ выбраться изъ болота и изъ лѣса; они нашли даже на деревѣ кой-какіе плоды и наслаждаются ими, бросая чешуйку внизъ; они зовутъ къ себѣ еще кой-кого, избранныхъ изъ толпы, и тѣ идутъ и остаются на деревѣ; уже ѣ не высматривая дороги, а только пожирая плоды. Это уже Обломовъ въ собственномъ смыслѣ... А бѣдные путники, стоящіе внизу, вязнутъ въ болотѣ, ихъ жалятъ змѣи, пугаютъ гады, хлещутъ по лицу сучья... Наконецъ толпа рѣшается приняться за дѣло и хочетъ воротить тѣхъ, которые позже полѣзли на дерево; но Обломовы молчатъ и обжираются плодами. Тогда толпа обращается и къ прежнимъ своимъ передовымъ людямъ, прося ихъ спуститься и помочь общей работѣ. Но передовые люди опять повторяютъ прежнія фразы о томъ, что надо высматривать дорогу, а надъ расчисткой трудиться нечего. Тогда бѣдные путники видятъ свою ошибку и, махнувъ рукой, говорятъ: «Э, да вы все Обломовы!» И затѣмъ начинается дѣятельная, неутомимая работа: рубятъ деревья, дѣлаютъ изъ нихъ мостъ на болотѣ, образуютъ тропинку, бьютъ змѣй и гадовъ, попавшихся на ней, не заботясь болѣе объ этихъ умникахъ, объ этихъ сильныхъ натурахъ — Печориныхъ и Рудинныхъ, на которыхъ прежде надѣялись, которыми восхищались. Обломовцы сначала спокойно смотрятъ на общее движеніе, но потомъ, по своему обыкновенію, трусятъ и начинаютъ кричать...

...И нынѣ живутъ люди, представляющіе какъ будто сколокъ съ Онегина, Печорина, Рудина и пр., и не въ томъ видѣ, какъ они могли бы развиваться при другихъ обстоятельствахъ, а именно въ томъ, въ какомъ они представлены Пушкинымъ, Лермонтовымъ, Тургеневымъ. Только въ общественномъ сознаніи все они болѣе и болѣе превраща-



ются въ Обломова. Нельзя сказать, чтобъ превращеніе это уже совершилось: нѣтъ, еще и теперь тысячи людей проводятъ время въ разговорахъ и тысячи другихъ людей готовы принять разговоры за дѣла. Но что превращеніе это начинается — доказываетъ типъ Обломова, созданный Гончаровымъ. Появленіе его было бы невозможно, если бы хотя въ нѣкоторой части общества не созрѣло сознанія о томъ, какъ ничтожны все эти quasi-талантливыя натуры, которыми прежде восхищались. Прежде онѣ прикрывались разными мантиями, украшали себя разными прическами, привлекали къ себѣ разными талаптами. Но теперь Обломовъ является предъ нами разоблаченный, какъ онъ есть, молчаливый, сведенный съ красиваго пьедестала на мягкій диванъ, прикрытый вмѣсто мантии только просторнымъ халатомъ. Вопросъ: *что онъ дѣлаетъ? въ чемъ смыслъ и цѣль его жизни?* — поставленъ прямо и ясно, не забитъ никакими побочными вопросами. Это потому, что теперь уже настало, или настанетъ неотлагательно время работы общественной... И вотъ почему мы сказали въ началѣ статьи, что видимъ въ романѣ Гончарова *знаменіе времени*.

Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, какъ измѣнилась точка зрѣнія на образованныхъ и хорошо разсуждающихъ лежебоковъ, которыхъ прежде принимали за настоящихъ общественныхъ дѣятелей.

Вотъ передъ вами молодой человѣкъ, очень красивый, ловкій, образованный. Онъ выѣзжаетъ въ большой свѣтъ и имѣетъ тамъ успѣхъ; онъ ѣздитъ въ театры, на балы и маскарады; онъ отлично одѣвается и обѣдаетъ; читаетъ книжки и пишетъ очень грамотно... Сердце его волнуется только ежедневностью свѣтской жизни, но онъ имѣетъ понятіе и о высшихъ вопросахъ. Онъ любитъ потолковать о страстяхъ,

«О предразсудкахъ вѣковыхъ  
И гроба тайнахъ роковыхъ»...

Онъ имѣетъ нѣкоторыя честныя правила: способенъ —

«Яремъ онъ барщины старинной  
Оброкомъ легкимъ замѣнить»;

способенъ иногда не воспользоваться неопытностью дѣвушки, которую не любитъ; способенъ не придавать особенной цѣны своимъ свѣтскимъ успѣхамъ. Онъ выше окружающаго его свѣтскаго общества настолько, что дошелъ до сознанія его пустоты; онъ можетъ даже оставить свѣтъ и переѣхать въ деревню; но только и тамъ скучаетъ, не зная, какое найти себѣ дѣло... Отъ нечего дѣлать онъ ссорится съ другомъ своимъ и по легкомыслію убиваетъ его на дуэли... Черезъ нѣсколько лѣтъ опять возвращается въ свѣтъ и влюбляется въ женщину, любовь которой самъ прежде отвергъ, потому что для нея нужно было

бы ему отказаться отъ своей бродяжнической свободы... Вы узнаете въ этомъ человѣкѣ Онегина. Но всмотритесь хорошенько: это—Обломовъ...

Передъ вами другой человѣкъ, съ болѣе страстной душой, съ болѣе широкимъ самолюбіемъ. Этотъ имѣетъ въ себѣ какъ будто отъ природы все то, что для Онегина составляетъ предметъ заботъ. Онъ не хлопочетъ о туалетѣ и нарядѣ: онъ свѣтскій человѣкъ и безъ того. Ему не нужно подбирать слова и блистать мишурнымъ знаніемъ: и безъ этого языкъ у него какъ бритва. Онъ дѣйствительно презираетъ людей, хорошо понимая ихъ слабости; онъ дѣйствительно умѣетъ овладѣть сердцемъ женщины, не на краткое мгновеніе, а надолго, навсегда. Все, что встрѣчается ему на его дорогѣ, онъ умѣетъ отстранить или уничтожить. Одно только несчастье: онъ не знаетъ, куда идти. Сердце его пусто и холодно ко всему. Онъ все испыталъ, и ему еще въ юности опротивѣли все удовольствія, которыя можно достать за деньги; любовь свѣтскихъ красавицъ тоже опротивѣла ему, потому что ничего не давала сердцу, науки тоже надоѣли, потому что онъ увидѣлъ, что отъ нихъ не зависитъ ни слава, ни счастье; самые счастливые люди — невѣжды; а слава — удача; военные опасности тоже ему скоро наскучили, потому что онъ не видѣлъ въ нихъ смысла и скоро привыкъ къ нимъ. Наконецъ даже просто-сердечная, чистая любовь дикой дѣвушки, которая ему самому правится, тоже надоѣдаетъ ему: онъ и въ ней не находитъ удовлетворенія своихъ порывовъ. Но что же это за порывы? куда влекутъ они? отчего онъ не отдается имъ всей силой души своей? Оттого, что онъ самъ ихъ не понимаетъ и не даетъ себѣ труда подумать о томъ, куда дѣвать свою душевную силу; и вотъ онъ проводитъ свою жизнь въ томъ, что остритъ надъ глупцами, тревожитъ сердца неопытныхъ барышень, мѣшается въ чужія сердечныя дѣла, напрашивается на ссоры, выказываетъ отвагу въ пустякахъ, дерется безъ надобности... Вы припоминаете, что это исторія Печорина, что отчасти почти такими словами самъ онъ объясняетъ свой характеръ Максиму Максимычу... Всмотритесь, пожалуйста, получше: вы и тутъ увидите того же Обломова...

Но вотъ еще человѣкъ, болѣе сознательно идущій по своей дорогѣ. Онъ не только понимаетъ, что ему дано много силъ, но знаетъ и то, что у него есть великая цѣль... Подозрѣваетъ, кажется, даже и то, какая это цѣль и гдѣ она находится. Онъ благороденъ, честенъ (хотя часто и не платитъ долговъ); съ жаромъ разсуждаетъ не о пустякахъ, а о высшихъ вопросахъ; увѣряетъ, что готовъ пожертвовать собою для блага человѣчества. Въ головѣ его рѣшены все вопросы, все приведено въ живую, стройную связь; онъ увлекаетъ своимъ могучимъ словомъ неопытныхъ юношей, такъ что, послушавъ

его, и они чувствуютъ, что призваны къ чему-то великому... Но въ чемъ проходить его жизнь? Въ томъ, что онъ все начинаетъ и не оканчиваетъ, разбрасывается во всѣ стороны, всему отдается съ жадностью и — не можетъ отдаться... Онъ влюбляется въ дѣвушку, которая, наконецъ, говоритъ ему, что, несмотря на запрещеніе матери, она готова принадлежать ему; а онъ отвѣчаетъ: «Боже! такъ ваша маменька не согласна! какой внезапный ударъ! Боже! какъ скоро... Дѣлать нечего, — надо покориться»... И въ этомъ точный образецъ всей его жизни... Вы уже знаете, что это Рудинъ... Нѣтъ, теперь ужъ и это Обломовъ. Когда вы хорошенько всмотритесь въ эту личность и поставите ее лицомъ къ лицу съ требованіями современной жизни, — вы сами въ этомъ убѣдитесь.

Общее у всѣхъ этихъ людей то, что въ жизни нѣтъ имъ дѣла, которое бы для нихъ было жизненной необходимостью, сердечной святыней, религіей, которое бы органически срослось съ ними, такъ что отнять его у нихъ значило бы лишить ихъ жизни. Все у нихъ внѣшнее, ничто не имѣетъ корня въ ихъ натурѣ...

...Да, всѣ эти обломовцы никогда не перерабатывали въ плоть и кровь свою тѣхъ началъ, которыя ихъ внушили, никогда не проводили ихъ до послѣднихъ выводовъ, не доходили до той грани, гдѣ слово становится дѣломъ, гдѣ принципъ сливается съ внутренней потребностью души, исчезаетъ въ ней и дѣлается единственною силою, двигающею человѣкомъ... Пока не было работы въ виду, можно было еще надуть этимъ публику, можно было тщеславиться тѣмъ, что мы вотъ, дескать, все-таки хлопочемъ, ходимъ, говоримъ, рассказываемъ. На этомъ и основанъ былъ въ обществѣ успѣхъ людей, подобныхъ Рудину. Даже больше — можно было заняться кутежомъ, интрижками, каламбурами, театральствомъ, — и увѣрять, что это мы пустились, молъ, оттого, что нѣтъ простора для болѣе широкой дѣятельности. Тогда и Печоринъ, и даже Онѣгинъ, долженъ былъ казаться натурою съ необъятными силами души. Но теперь ужъ всѣ эти герои отодвинулись на второй планъ, потеряли прежнее значеніе, перестали сбивать насъ съ толка своей загадочностью и таинственнымъ разладомъ между ними и обществомъ, между великими ихъ силами и ничтожностью дѣлъ ихъ.

«Теперь загадка разъяснилась,  
Теперь имъ слово найдено».

Слово это — *обломовщина*.

Если я вижу теперь помѣщика, толкующаго о правахъ человечества и о необходимости развитія личности, — я уже съ первыхъ словъ его знаю, что это Обломовъ.

Если встрѣчаю чиновника, жалующагося на запутанность и обременительность дѣлопроизводства, онъ — Обломовъ.

Если слышу отъ офицера жалобы на утомительность парадовъ и смѣлыя разсужденія о бесполезности *тихаго шага* и т. п., я не сомнѣваюсь, что онъ Обломовъ.

Когда я читаю въ журналахъ либеральныя выходки противъ злоупотребленій и радость о томъ, что, наконецъ, сдѣлано то, чего мы давно надѣялись и желали, я думаю, что это все пишутъ изъ Обломовки.

Когда я нахожусь въ кружкѣ образованныхъ людей, горячо сочувствующихъ нуждамъ человѣчества и въ теченіе многихъ лѣтъ съ неуменияющимъ жаромъ разсказывающихъ все тѣ же самыя (а иногда и новыя) анекдоты о взяточникахъ, о притѣсненіяхъ, о беззаконіяхъ всякаго рода, я невольно чувствую, что я перенесенъ въ старую Обломовку...

...Кто же, наконецъ, сдвинетъ ихъ съ мѣста этимъ всемогущимъ словомъ: «впередъ!», о которомъ такъ мечталъ Гоголь и котораго такъ давно и томительно ожидаетъ Русь? До сихъ поръ нѣтъ отвѣта на этотъ вопросъ ни въ обществѣ, ни въ литературѣ. Гончаровъ, умѣвшій понять и показать намъ нашу обломовщину, не могъ, однако, не заплатить дани общему заблужденію, до сихъ поръ столь сильному въ нашемъ обществѣ: онъ рѣшился похоронить обломовщину и сказать ей похвальное надгробное слово. «Прощай, старая Обломовка, ты отжила свой вѣкъ», говоритъ онъ устами Штольца, и говоритъ неправду. Вся Россія, которая прочитала или прочитаетъ Обломова, не согласится съ этимъ. Нѣтъ, Обломовка есть наша прямая родина, ея владѣльцы — наши воспитатели, ея триста Захаровъ всегда готовы къ нашимъ услугамъ. Въ каждомъ изъ насъ сидитъ значительная часть Обломова, и еще рано писать намъ надгробное слово. Не за что говорить объ насъ съ Ильею Ильичемъ слѣдующія строки:

«Въ немъ было то, что дороже всякаго ума: честное, вѣрное сердце! Это его природное золото; онъ невредимо пронесъ его сквозь жизнь. Онъ падалъ отъ толчковъ, охлаждался, заснулъ, наконецъ, убитый, разорванный, потерявъ сплду жить, но не потерялъ честности и вѣрности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце не пристало къ нему грязь. Не обольститъ его никакая парадная ложь, и ничто не совлечетъ на фальшивый путь; пусть волнуется около него цѣлый океанъ дрянн зла; пусть весь міръ отравится ядомъ и пойдетъ наизуворотъ, — никогда Обломовъ не поклонится идолу лжи; въ душѣ его всегда будетъ чисто, свѣтло, честно... Это хрустальная, прозрачная душа; такихъ людей мало; это перлы въ толпѣ! Его сердца не подкупишь ничѣмъ, на него всюду и вездѣ можно положиться».

Распространяться объ этомъ пассажѣ мы не станемъ, но каждый изъ читателей замѣтитъ, что въ немъ заключена большая неправда. Одно въ Обломовѣ хорошо, дѣйствительно: то, что онъ не усиливается

надувать другихъ, а ужъ такъ и являлся въ натурѣ — лежебокомъ. Но, помилуйте, въ чемъ же на него *можно положиться*? Развѣ въ томъ, гдѣ ничего дѣлать не нужно? Тутъ онъ, дѣйствительно, отличится такъ, какъ никто. Но ничего-то не дѣлать и безъ него можно. Онъ не поклонится идолу зла! Да вѣдь почему это? Потому, что ему лѣнь вставать съ дивана. А станьте его, поставьте на колѣни передъ этимъ идоломъ; онъ не въ силахъ будетъ встать. Не подкупишь его ничѣмъ. Да на что его подкупать-то? На то, чтобы съ мѣста сдвинулся? Ну, это, дѣйствительно, трудно. Грязь къ нему не приставетъ! Да, пока лежитъ одинъ, такъ еще ничего; а какъ придетъ Тарантьевъ, Затертый, Иванъ Матвѣевичъ—брр...! какая отвратительная гадость начинается около Обломова. Его объѣдаютъ, опииваютъ, спиваютъ, берутъ съ него фальшивый вексель (отъ котораго Штольцъ нѣсколько безцеремонно, по русскимъ обычаямъ, безъ суда и слѣдствія избавляетъ его), разоряютъ его именемъ мужиковъ, дерутъ съ него немилосердными деньгами ни за что, ни про что. Онъ все это терпитъ безмолвно и потому, разумѣется, не издаетъ ни одного фальшиваго звука.

Нѣтъ, нельзя такъ льстить живымъ, а мы еще живы, мы еще попрежнему Обломовы. Обломовщина никогда не оставляла насъ и не оставила даже теперь, — *въ настоящее время, когда*, и пр. Кто изъ нашихъ литераторовъ, публицистовъ, людей образованныхъ, общественныхъ дѣятелей, кто не согласится, что, должно-быть, его-то именно и имѣлъ въ виду Гончаровъ, когда писалъ объ Ильѣ Ильичѣ слѣдующія строки:

«Ему доступны были наслажденія высокихъ помысловъ; онъ не чуждъ былъ всеобщихъ человѣческихъ скорбей. Онъ горько, въ глубинѣ души, плакалъ въ ную пору надъ бѣдствіями человѣчества, испытывать безвѣстныя, безыменные страданія, и тоску, и стремленія куда-то вдаль, туда, вѣроятно, въ тотъ міръ, куда увлекалъ его, бывало, Штольцъ. Сладкія слезы потекутъ по щекамъ его. Случается и то, что онъ исполнится презрѣнія къ людскому пороку, къ лжи, къ клеветѣ, къ разлитому въ мірѣ злу, и разгорится желаніемъ указать человѣку на его извы; и вдругъ загораются въ немъ мысли, ходятъ и гуляютъ въ головѣ, какъ волны въ морѣ, потомъ вырастаютъ въ намѣренія, загнутъ всю кровь въ немъ; задвигаются мускулы его, напрягнутся жилы, намѣренія преобразуются въ стремленія: онъ, движимый нравственною силою, въ одну минуту быстро измѣнитъ двѣ-три позы, съ блистающими глазами привстанетъ до половины на постели, протянетъ руку и вдохновенно озирается кругомъ... Вотъ-вотъ стремленіе осуществится, обратится въ подвигъ... и тогда, Господи! какихъ чудесъ, какихъ благихъ послѣдствій могли бы ожидать отъ такого высокаго успія! Но, смотришь, промелькнетъ утро, день ужъ клонится къ вечеру, а съ нимъ клонятся къ покою утомленные силы Обломова: бури и волненія смиряются въ душѣ, голова отрезвляется отъ думъ, кровь медленно пробирается по жиламъ. Обломовъ тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремивъ печальный взглядъ въ окно къ небу, съ грустью провожаетъ глазами солнце, великолѣпно садящееся за чей-то четырехэтажный домъ. И сколько, сколько разъ онъ провожалъ такъ солнечный закатъ!»



Не правда ли, образованный и благородно-мыслящій читатель, вѣдь тутъ вѣрное изображеніе вашихъ благихъ стремленій и вашей полезной дѣятельности? Разница, можетъ-быть, только въ томъ, до какого момента вы доходите въ вашемъ развитіи. Илья Ильичъ доходилъ до того, что привставалъ съ постели, протягивалъ руку и озирался во-кругъ. Шны такъ далеко не заходятъ; у нихъ только мысли гуляютъ въ головѣ, какъ волны въ морѣ (такихъ большая часть); у другихъ мысли вырастаютъ въ намѣренія, но не доходятъ до степени стремленій (такихъ меньше); у третьихъ даже стремленія являются (этихъ ужъ совсѣмъ мало).

Итакъ, слѣдуя направленію настоящаго времени, когда вся литература, по выраженію г. Бенедиктова, представляетъ

«...нашей плоти истязанье,  
Вериги въ прозѣ и стихахъ», —

мы смиренно сознаемся, что какъ ни лестны для нашего самолюбія похвалы г. Гончарова Обломову, но мы не можемъ признать ихъ справедливыми. Обломовъ менѣе раздражаетъ свѣжаго, молодого, дѣятельнаго человѣка, нежели Печоринъ и Рудинъ, но все-таки онъ противенъ въ своей ничтожности.

Отдавая дань своему времени, г. Гончаровъ вывелъ и противоядіе Обломову — Штольца. Но, по поводу этого лица, мы должны еще разъ повторить наше постоянное мнѣніе, что литература не можетъ забѣгать слишкомъ далеко впередъ жизни. Штольцевъ, людей съ цѣльнымъ, дѣятельнымъ характеромъ, при которомъ всякая мысль тотчасъ же является стремленіемъ и переходитъ въ дѣло, еще нѣтъ въ жизни нашего общества (разумѣемъ образованное общество, которому доступны высшія стремленія; въ массѣ, гдѣ идеи и стремленія ограничены очень близкими и немощными предметами, такіе люди безпрестанно попадаютъ). Самъ авторъ сознавалъ это, говоря о нашемъ обществѣ: «Вотъ, глаза очнулись отъ дремоты, слышались бойкіе, широкіе шаги, живые голоса... Сколько Штольцевъ должно явиться подъ русскими именами!» Должно явиться ихъ много, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; но теперь пока для нихъ нѣтъ почвы. Оттого-то изъ романа Гончарова мы и видимъ только, что Штолецъ — человѣкъ, дѣятельный, все о чемъ-то хлопочетъ, бѣгаетъ, приобретаетъ, говоритъ, что жить — значить трудиться и пр. Но что онъ дѣлаетъ и какъ онъ ухитряется дѣлать что-нибудь порядочное тамъ, гдѣ другіе ничего не могутъ сдѣлать, это для насъ остается тайной. Онъ мигомъ устроилъ Обломовку для Ильи Ильича, — какъ? этого мы не знаемъ. Онъ мигомъ уничтожилъ фальшивый вексель Ильи Ильича: — какъ? это мы знаемъ. Поѣхалъ къ начальнику Ивана Матвѣевича, которому Обломовъ далъ вексель, по-

говорилъ съ нимъ дружески, — Ивана Матвѣевича призвали въ присутствіе и не только что вексель велѣли возвратить, но даже и изъ службы выходить приказали. И подѣломъ ему, разумѣется; но, судя по этому случаю, Штольцъ не доросъ еще до идеала общественнаго русскаго дѣятеля. Да и нельзя еще: рано. Теперь еще, — хотя будь семейней въ лбу, а въ замѣтной общественной дѣятельности можешь, пожалуй, быть *добродѣтельнымъ откупщикомъ* Муразовымъ, дѣлающимъ добрыя дѣла изъ десяти милліоновъ своего состоянія, или благороднымъ помѣщикомъ Костанжогло, — но далѣе не пойдешь... И мы не понимаемъ, какъ могъ Штольцъ въ своей дѣятельности успокоиться отъ всѣхъ стремленій и потребностей, которыя одолѣвали даже Обломова, какъ могъ онъ удовлетвориться своимъ положеніемъ, успокоиться на своемъ одинокомъ, отдѣльномъ, исключительномъ счастіи... Не надо забывать, что подъ нимъ болото, что вблизи находится старая Обломовка, что нужно еще расчищать лѣсъ, чтобы выйти на большую дорогу и убѣжать отъ обломовщины. Дѣлалъ ли что-нибудь для этого Штольцъ, что именно дѣлалъ и какъ дѣлалъ, — мы не знаемъ. А безъ этого мы не можемъ удовлетвориться его личностью... Можемъ сказать только то, что не онъ тотъ человѣкъ, который «сумѣетъ, на языкѣ, понятномъ для русской души, сказать намъ это всемогущее слово «впередъ»!

...Ольга по своему развитію представляетъ высшій идеалъ, какой только можетъ теперь русскій художникъ вызвать изъ теперешней русской жизни. Оттого она, необыкновенной ясностью и простотой своей логики и изумительной гармоніей своего сердца и воли, поражаетъ насъ до того, что мы готовы усомниться даже въ ея поэтической правдѣ и сказать: «Такихъ дѣвушекъ не бываетъ». Но, слѣдя за нею во все продолженіе романа, мы находимъ, что она постоянно вѣрна себѣ и своему развитію, что она представляетъ не сентенцію автора, а живое лицо, только такое, какихъ мы еще не встрѣчали. Въ ней-то болѣе, нежели въ Штольцѣ, можно видѣть намекъ на новую русскую жизнь; отъ нея можно ожидать слова, которое сожжетъ и развѣтетъ обломовщину... Она начинаетъ съ любви къ Обломову, съ вѣры въ него, въ его нравственное преобразование... Долго и упорно, съ любовью и пѣжлою заботливостью трудится она надъ тѣмъ, чтобы возбудить жизнь, вызвать дѣятельность въ этомъ человѣкѣ. Она не хочетъ вѣрить, чтобы онъ былъ такъ безсиленъ на добро; любя въ немъ свою надежду, свое будущее созданіе, она дѣлаетъ для него все: пренебрегаетъ даже условными приличіями, ѣдетъ къ нему, одна, никому не сказавшись, и не боится, подобно ему, потери своей репутаціи. Но она съ удивительнымъ тактомъ замѣчаетъ тотчасъ же всякую фальшь, проявляющуюся въ его натурѣ, и чрезвычайно просто объясняетъ ему, какъ и

почему это ложь, а не правда. Онъ, напимѣръ, пишетъ ей письмо, о которомъ мы говорили выше, и потомъ увѣряетъ ее, что писалъ это единственно изъ заботы о ней, совершенно забывши себя, жертвуя собою и т. д. — «Нѣтъ, — отвѣчаетъ она, — не правда: если бы вы думали только о моемъ счастіи и считали необходимою для него разлуку съ вами, то вы бы просто уѣхали, не посылая мнѣ предварительныхъ писемъ». Онъ говоритъ, что боится ея несчастья, если она современемъ пойметъ его, что ошиблась въ немъ, разлюбить его и полюбить другого. Она спрашиваетъ въ отвѣтъ на это: «Гдѣ же вы тутъ видите несчастье мое? Теперь я васъ люблю, и мнѣ хорошо; а послѣ я полюблю другого и значитъ мнѣ съ другимъ будетъ хорошо. Напрасно вы обо мнѣ беспокоитесь». Эта простота и ясность мышленія заключаютъ въ себѣ задатки новой жизни, не той, въ условіяхъ которой выросло современное общество... Потомъ, — какъ воля Ольги послушна ея сердцу! Она продолжаетъ свои отношенія и любовь къ Обломову, несмотря на всѣ построенія непріятности, насмѣшки и т. п., до тѣхъ поръ, пока не убѣждается въ его рѣшительной дряпности. Тогда она прямо объявляетъ ему, что ошиблась въ немъ, и ужъ не можетъ рѣшиться соединить съ нимъ свою судьбу. Она еще хвалитъ и ласкаетъ его и при этомъ отказѣ, и даже послѣ; но своимъ поступкомъ она уничтожаетъ его, какъ ни одинъ изъ обломовцевъ не былъ уничтожаемъ женщиной. Татьяна говоритъ Онѣгину, въ заключеніе романа:

«Я васъ люблю (къ чему лукавить?),  
Но я другому отдана  
И буду вѣкъ ему вѣрна»...

Итакъ, только виѣшній нравственный долгъ спасаетъ ее отъ этого пустого фата; будь она свободна, она бы бросилась ему на шею. Наталья оставляетъ Рудина только потому, что онъ самъ уперся на первыхъ же порахъ, да, и проводивъ его, она убѣждается только въ томъ, что онъ ея не любитъ, и ужасно горюетъ объ этомъ. Нечего и говорить о Печоринѣ, который успѣлъ заслужить только *ненависть* княжны Мерц. Нѣтъ, Ольга не такъ поступила съ Обломовымъ. Она просто и кротко сказала ему: «Я узнала недавно только, что я люблю въ тебѣ то, что я хотѣла, чтобъ было въ тебѣ, что указалъ мнѣ Штольцъ, что мы выдумали съ нимъ. Я любила будущаго Обломова! Ты кротокъ, честенъ, Пляя; ты нѣженъ... какъ голубь; ты спрячешь голову подъ крыло — и ничего не хочешь больше; ты готовъ всю жизнь проворковать подъ кровлей... да я не такая: мнѣ мало этого, мнѣ пужно чего-то еще, а чего — не знаю!» И она оставляетъ Обломова, и она стремится къ своему *чему-то*, хотя еще и не знаетъ хорошенько. Наконецъ она находитъ его въ Штольцѣ, соединяется съ нимъ, счастлива.

Какіе-то туманные вопросы и сомнѣнія тревожатъ ее, она чего-то допытывается. Въ ея сердцѣ и головѣ вліяніе новой жизни, по которой она несравненно ближе Штольца. Думаемъ такъ потому, что находимъ нѣсколько намековъ въ слѣдующемъ разговорѣ:

— Что же дѣлать? поддаться и тосковать?—спросила она.

— Ничего, — сказалъ онъ, — вооружаться твердостью и спокойствіемъ. Мы не титаны съ тобой, — провизжалъ онъ, обнимая ее. — Мы пойдемъ съ Манфредами и Фаустами, на дерзкую борьбу съ мятежными вопросами, не примемъ ихъ вызова, склонимъ головы и смиренно переживемъ трудную минуту, и опять потомъ улыбнется жизнь, счастье...

— А если они никогда не отстанутъ: грусть будетъ тревожить все больше и больше?.. спрашивала она.

— Что жъ? примемъ ее, какъ новую стихію жизни... Да лѣтъ, этого не бываетъ, не можетъ быть у насъ! Это не твоя грусть; это общій недугъ челоѣчества. На тебя брызнула одна капля... Все это страшно, когда челоѣкъ отрывается отъ жизни, — когда нѣтъ опоры. А у насъ...

Онъ не договорилъ, что *у насъ*... Но ясно, что это онъ не хочетъ «итти на борьбу съ мятежными вопросами», онъ рѣшается смиренно склонить голову...» А она готова на эту борьбу, тоскуетъ по ней и постоянно страшится, чтобъ ея тихое счастье съ Штольцемъ не превратилось во что-то, подходящее къ обломовской апатіи. Ясно, что она не хочетъ склонять голову и смиренно переживать трудныя минуты, въ надеждѣ, что потомъ опять улыбнется жизнь. Она бросила Обломова, когда перестала въ него вѣрить; она оставитъ и Штольца, ежели порестанетъ вѣрить въ него. А это случится, ежели вопросы и сомнѣнія не перестанутъ мучить ее, а онъ будетъ продолжать ей совѣты — принять ихъ, какъ новую стихію жизни, и склонить голову. Обломовщина хорошо ей знакома, она сумѣетъ различить ее во всѣхъ видахъ, подъ всѣми масками, и навсегда найдетъ въ себѣ столько силъ, чтобы произнести надъ нею судъ безошадный...

*Добролюбовъ.*

### Штольцъ и Ольга.

Важнѣйшіе признаки обломовщины отгѣняются фигурою Штольца. Задуманное и изображенное въ противоположность Обломову, это лицо, какъ художественный образъ, оставляетъ впечатлѣніе нѣкоторой априорности и, пожалуй, искусственности построения.

Другъ и сверстникъ Обломова, Штольцъ — отрицатель и противникъ обломовщины. Онъ отрицаетъ ее во всѣхъ ея видахъ. Идеаль барской жизни въ деревнѣ, который лелѣетъ Обломовъ, представляется Штольцу совершенно нелѣпымъ. «Это не жизнь, — говоритъ онъ въ отвѣтъ на разглагольствованія замечавшагося Ильи Ильича (часть II, гл. IV), — это какая-то... обломовщина». — Когда Обломовъ хочетъ доказать ему, что всѣ люди стремятся къ покою, что это свойственно природѣ челоѣческой, Штольцъ отвѣчаетъ: «И утопія-то у тебя об-

ломовская» (тамъ же). — Обломовскому культу покоя и квіетизма онъ противопоставляетъ культъ труда и непрерывнаго стремленія впередъ. Вотъ именно въ противоположность этому, столь характерному для обломовщины стремленію къ «отдыху», «покою», почетному или непочетному «бездѣйствию», Штольцъ настаиваетъ на необходимости труда — ради труда, безъ всякихъ видовъ на «отдыхъ». На вопросъ Обломова: «Для чего же мучиться весь вѣкъ?» онъ отвѣчаетъ: «Для самого труда, больше ни для чего. Трудъ — образъ, содержаніе, стихія и цѣль жизни, по крайней мѣрѣ, моей» (тамъ же). — Эти слова, конечно, не означаютъ, что для Штольца безразлично, какимъ бы дѣломъ ни заниматься, что его несколько не интересуется вопросъ о дѣлѣ и значеніи его труда. Онъ не будетъ толочь воду въ ступѣ... Мы хорошо знаемъ, чѣмъ онъ занятъ: онъ «пріобрѣтаетъ», составляетъ себѣ состояніе, ведетъ свои дѣла, вмѣстѣ съ тѣмъ онъ учится, развивается, слѣдитъ за всѣмъ, что творится на бѣломъ свѣтѣ, наконецъ много путешествуетъ какъ по Россіи, такъ и за границей<sup>1)</sup>. Онъ — просвѣщенный дѣлецъ и «грюндеръ». И совершенно очевидно, что этому «туду» онъ, какъ и самъ Гончаровъ, приписываетъ прогрессивное общественное значеніе. Мало того, его проповѣдь «труда» не лишена и моральнаго оттѣнка. Это было въ духѣ времени. Отживающіе обломовщицѣ, какъ порожденію крѣпостничества, противопоставляли, наканунѣ паденія крѣпостного права, необходимость предпримчивости, дѣловитости, инициативы, и эти качества представлялись въ видѣ культурной и даже моральной силы, призванной обновить и возродить Россію. Сама собой установилась «психологическая ассоціація» представлений этихъ качествъ съ идеями либерализма, просвѣщенія, общественного развитія. И это было симптомомъ того поворота, который обозначился въ нашей внутренней жизни около половины 50-хъ годовъ: на смѣну крѣпостническаго строя выступалъ буржуазный, двигавшій вмѣстѣ съ культомъ наживы, духомъ предпримчивости, грюндерствомъ новую политическую программу, правда, не вполне ясную, но во всякомъ случаѣ отмѣченную печатью либерализма, общихъ идей просвѣщенія, прогресса, свободы. Теперь уже нельзя было сочетать дѣловитости, предпримчивости и наживы съ обскурантизмомъ и политическою отсталостью, какъ это дѣлалъ Гоголь.

Штольцъ при случаѣ заводитъ рѣчь о фабрикахъ, о путяхъ сообщенія, о пристаняхъ, о сбытѣ. Но онъ заводитъ рѣчь также о

<sup>1)</sup> Онъ говоритъ Обломову: «Я два раза былъ за границей, послѣ нашей премудрости смиренно сидѣлъ на студенческихъ скамьяхъ въ Боннѣ, въ Іенѣ, въ Эрлангенѣ, потомъ выучилъ Европу, какъ свое мнѣніе... Я видѣлъ Россію вдоль и поперекъ. Трудюсь...» И увѣрялъ, что никогда не перестанетъ «трудиться», хотя бы учетверилъ свои капиталы (ч. II, гл. IV).



школахъ, именно — народныхъ, о просвѣщеніи. Его «программа» — либерально-буржуазная и просвѣтительная: раскрѣпощеніе, экономическое развитіе страны, промышленный прогрессъ, просвѣтительная дѣятельность.

Отсюда между прочимъ видно, что этотъ практическій дѣятель, этотъ грюндеръ и дѣловой человѣкъ лелѣетъ «юношескія мечты» и надѣется проводить ихъ въ жизнь. Несомнѣнно, на личности Штольца лежитъ еще свѣжій отпечатокъ идеализма 40-хъ годовъ, къ которымъ относятся его юность, его воспитаніе, его университетскіе годы. Онъ учился въ московскомъ университетѣ, онъ слушалъ Грановскаго, онъ, конечно, зачитывался статьями Бѣлинскаго. Изъ этой «школы» онъ вынесъ широкіе умственные интересы, а также и тѣ «юношескія мечты», которыя, какъ мы видѣли, онъ хранить и въ зрѣломъ возрастѣ. Въ чемъ онѣ состояли, мы не знаемъ, но имѣемъ основаніе думать, что онѣ были довольно скромны и едва ли шли дальше тѣхъ освободительныхъ идей, которыя выдвинула эпоха реформъ. — Духу 40-хъ годовъ обязанъ Штолецъ также тѣмъ своеобразнымъ «эпикурействомъ» или «разумнымъ эгоизмомъ», которымъ отмѣчена его душевная жизнь, а также и вся его дѣятельность. Вѣдь, въ концѣ-концовъ, всѣ успія его направлены на то, чтобы создать себѣ обезпеченную, счастливую, разумную, изящную жизнь. Нельзя сказать, чтобы это было идеаломъ людей 40-хъ годовъ, но это воспитывалось въ нихъ условіями времени: общественная дѣятельность была тогда невозможна, — приходилось замыкаться въ тѣсномъ кругу, — и нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что лучшіе люди невольно впадали въ «эпикурейство». Личная жизнь съ ея вопросами любви, счастья, умственныхъ интересовъ и т. д. силою вещей выдвигалась на первый планъ. Вспомнимъ, какую выдающуюся роль въ жизни лучшихъ людей той эпохи играли любовь, дружба, эстетика, философскій и научный дилетантизмъ. Эти черты еще обострились въ глухое время первой половины 50-хъ годовъ. И когда, въ эти годы, явились новые, молодые дѣятели, вышедшіе изъ другой, не барской, среды, одушевленные широкими общественными идеями, натуры стопческаго пошиба и высокаго нравственнаго закала, тогда и возникла та рознь между «отцами» и «дѣтьми», которая, помимо разногласія въ направленіи, въ идеяхъ и «программахъ», была, прежде всего, столкновеніемъ противоположныхъ натуръ, психологическимъ конфликтомъ «эпикурейцевъ» и «стоиковъ». Въ литературѣ представителями новаго поколѣнія и вмѣстѣ съ тѣмъ новаго психологическаго типа были Чернышевскій, Добролюбовъ, Елисеєвъ и др.

Къ которому изъ этихъ двухъ типовъ принадлежитъ Штолецъ? Ни къ тому, ни къ другому. Штолецъ, скорѣе всего, представитель

третьяго, тогда нарождавшагося, типа — либерала и практическаго дѣятеля, сохранившаго еще отпечатокъ идеализма 40-хъ годовъ и унаслѣдовавшаго отъ нихъ «эпикурейскіе» наклонности и вкусы.

Но въ другихъ отношеніяхъ онъ, какъ психологическій типъ, рѣзко отличается отъ людей 40-хъ годовъ. Онъ человѣкъ положительный, натура уравновѣшенная, чуждая излишествъ рефлексій, бодрая, дѣятельная, жизнерадостная. По складу ума онъ позитивистъ. «Мечтъ, загадочному, таинственному не было мѣста въ его душѣ. То, что не подвергалось анализу опыта, практической истины, было въ глазахъ его оптическій обманъ... У него не было и того дилетантизма, который любилъ порыскать въ области чудеснаго, или подонкихотствовать въ полѣ догадокъ и открытій за тысячу лѣтъ впередъ»... (часть II, гл. II). — Это написано Гончаровымъ, очевидно, съ оглядкою на идеалистовъ и дилетантовъ метафизики 40-хъ годовъ и съ цѣлью отбѣнить въ лицѣ Штольца новый психологическій типъ, выступавшій на смѣну прежнему. Новый типъ оказывается болѣе здоровымъ, цѣльнымъ, болѣе жизнеспособнымъ. Въ немъ отмѣчено обыкновенное развитіе задерживающей и регулирующей воли — въ противоположность ея слабости у многихъ представителей старшаго поколѣнія. Мотивировано это — у Штольца — наслѣдственностью (со стороны отца) и спартанскимъ воспитаніемъ. Какъ бы то ни было, оказывается, что весь душевный міръ Штольца постоянно находится подъ контролемъ его воли: «Кажется, и печальми, и радостями онъ управлялъ какъ движеніемъ рукъ, какъ шагами ногъ»... (часть II, гл. II). — Онъ стремится къ тому, чтобы не было «ничего лишняго» въ его душѣ («въ нравственныхъ отправленіяхъ его жизни»), «онъ искалъ равновѣсія практическихъ сторонъ съ тонкими потребностями духа» (тамъ же). Его задачею было — поменьше мудрить и выработать себѣ «простой, т.-е. прямой, настоящій взглядъ на жизнь»; зная всю трудность этой задачи («мудрено и трудно жить просто!» говорилъ онъ), онъ «боялся воображенія и всякой мечты» и зорко слѣдилъ за собою, за каждымъ шагомъ своимъ. Между прочимъ «слѣдилъ онъ и за сердцемъ»: вопросъ любви къ женщинѣ занимаетъ свое мѣсто въ его душевной экономіи: «онъ и среди увлеченія чувствовалъ землю подъ ногой и довольно сплы въ себѣ, чтобы, въ случаѣ крайности, рвануться и быть свободнымъ» (тамъ же). Онъ не вѣрилъ «въ поэзію страстей, не восхищался ихъ бурными проявленіями и разрушительными слѣдами, а все хотѣлъ видѣть идеалъ бытія и стремленій человѣка въ строгомъ пониманіи и отправленіи жизни» (тамъ же).

Таковъ Штолецъ... Гончаровъ, какъ видно, очень цѣнилъ такіа качества ума и характера и думалъ фигурою Штольца отвѣтить на вопросъ, поставленный Гоголемъ: какіе люди нужны Россіи? Ему ка-

залось, что великое слово «впередь!», — о котором мечталъ Гоголь, будетъ сказано сперва Штольцами, русскими по національности, полу-иностранцами по крови, и уже вслѣдъ за ними явятся соотвѣтственные дѣятели чисто-русскаго происхожденія.

Упованія, возлагавшіяся Гончаровымъ на дѣятелей этого типа, какъ извѣстно, не оправдались. Россія, конечно, нужны были, какъ и теперь нужны, дѣятели съ такимъ запасомъ энергіи, какой мы видимъ у Штольца, но одной энергіи мало, нужно еще, чтобы она была направлена на выработку общественнаго самосознанія, на общественное дѣло, на проложеніе новыхъ путей внутренняго развитія Россіи. У Штольца она направлена больше на личныя цѣли, на гонимое и на урегулированіе его собственной душевной жизни. Онъ, пожалуй, окажется отличнымъ работникомъ и умѣлымъ проводникомъ новыхъ началъ въ жизни, но вѣдь онъ — не человѣкъ творческой мысли въ вопросахъ общественнаго развитія. Это видно уже изъ того, что онъ не имѣетъ ясной программы, что его идеологія исчерпывается «юношескими мечтами», вынесенными изъ 40-хъ годовъ, между тѣмъ какъ уже закончивались 50-е, приближалась эпоха великихъ реформъ и подымался основной и труднѣйшій вопросъ русской жизни — о народѣ, объ устройствѣ его экономическаго быта. Требовалась широкая демократическая программа, согласованная съ возможно-широкимъ идеаломъ политическаго развитія Россіи, и для этого нужны были дѣятели и мыслители совѣмъ иного направленія и иного строя души. Таковые и не замедлили явиться. Одинъ изъ самыхъ яркихъ представителей этого новаго общественно-психологическаго типа — великій критикъ-публицистъ Н. А. Добролюбовъ, отнесся къ Штольцу отрицательно.

Штолецъ — не вождь, не герой. Онъ не пролагаетъ новыхъ путей. Онъ только идетъ за временемъ и является представителемъ эпохи, когда отживала старая обломовщина и на смѣну крѣпостнаго строя возникалъ новый порядокъ вещей. Гончаровъ, конечно, идеализируетъ Штольца. Устраняя эту идеализацію, мы все-таки скажемъ, что въ предразсвѣтную эпоху конца 50-хъ годовъ, когда, по выраженію Добролюбова, нужно было «расчищать лѣсъ, чтобы выйти на большую дорогу и убѣжать отъ обломовщины», Штольцы свою лепту вносили въ это дѣло хотя бы уже тѣмъ, что не сидѣли на мѣстѣ, не спали, не ели, а суетились, просвѣщались, тормозили Обломовыхъ, радовались наступленію новой эры, отрицали крѣпостное право.

Штолецъ, какъ общественный дѣятель и моральная величина, не выдержитъ критики, если судить о немъ съ высоты добролюбовскаго идеала. Но, по сравненію съ окружавшею его тьмою и пустотою

(кстати сказать, превосходно изображенной въ романѣ Гончарова второстепенными и вводными фигурами), съ безнадежно спячкою обломовцевъ, съ глубокими зѣлками обскурантизма, тогда почти не тронутаго, Штольцъ долженъ быть признанъ явленіемъ въ свое время прогрессивнымъ.

Отмѣтимъ въ заключеніе еще одну черту, которою Штольцъ рѣзко отличается отъ новыхъ людей добролюбовскаго типа. Это болѣе чѣмъ добродушное отношеніе Штольца къ той самой обломовщинѣ, которую онъ такъ послѣдовательно отрицаетъ. Добролюбовъ, какъ извѣстно, не щадитъ ея и произноситъ надъ нею «судъ беспощадный». Для него она почти порокъ, во всякомъ случаѣ, уродство, и человѣкъ, зараженный обломовщиной, не заслуживаетъ, по глубокому убѣжденію критика, ни сожалѣнія, ни снисхожденія. Въ его глазахъ обломовцы народъ никуда негодный, и обломовщина — наше національное несчастье и проклятье. Для Штольца она только болѣзнь, и онъ относится къ обломовцамъ съ состраданіемъ, — онъ ихъ жалѣетъ, какъ больныхъ, безпомощныхъ, слабыхъ духомъ и волею, но, по существу, хорошихъ, чистыхъ и честныхъ людей, достойныхъ лучшей участи. Очевидно, это потому такъ, что онъ самъ выросъ подъ сѣнью обломовщины, знаетъ обломовцевъ съ дѣтства, принадлежитъ къ ихъ кругу, ихъ средѣ, и еще потому, что онъ выражаетъ отношеніе къ обломовщинѣ самого Гончарова, — послѣдовательно отрицательное, но спокойное и благодушное, какъ оно выразилось и въ знаменитомъ романѣ, и въ автобіографическихъ очеркахъ «На родинѣ».

Но Гончаровъ указалъ на возможность и, пожалуй, необходимость и иного, болѣе радикальнаго, отрицанія нашей «национальной болѣзни», близкаго къ добролюбовскому. Это отрицаніе, въ мягкой, женственной формѣ, не нарушающей его послѣдовательности, его принципиальности, дано въ самомъ романѣ и было въ свое время отмѣчено и превосходно комментировано Добролюбовымъ. Оно представлено героиней романа *Ольгой Ильинской*, о которой великій критикъ писалъ: «Въ ней-то болѣе, нежели въ Штольцѣ, можно видѣть намекъ на новую русскую жизнь; отъ нея можно ожидать слова, которое сожжетъ и развѣетъ обломовщину»... (Сочин., II, 505).

Къ тому, что сказано нашей критикой объ этомъ женскомъ образѣ, занимающемъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ нашей художественной литературѣ, прибавлять нечего. Но я позволю себѣ, прежде чѣмъ разстаться съ обломовщиной и ея противовѣсомъ Штольцемъ и перейти къ эпохѣ и людямъ 60-хъ годовъ, сказать нѣсколько словъ объ этомъ чудномъ женскомъ образѣ, сохраняющемъ до сихъ поръ свое обаяніе — какъ умъ и характеръ, и свое значеніе — какъ типъ.

Незаурядная сила и ясность ума, цѣльность натуры, вѣчное стремленіе впередъ — къ разумной дѣятельности, къ плодотворной общественной работѣ — вотъ тѣ черты, которыя ставятъ Ольгу выше другихъ, даже лучшихъ, женщинъ ея времени и вмѣстѣ съ тѣмъ являются главнымъ основаніемъ того, что въ лицѣ Ольги обломовщина встрѣтила судью и противника гораздо болѣе послѣдовательнаго и рѣшительнаго, чѣмъ Штольцъ.

Ольга изображена Гончаровымъ такъ, что читателю становится вполне ясными ея дальнѣйшіе пути къ жизни. Уже Добролюбовъ предсказывалъ, что она когда-нибудь броситъ Штольца, разочаровавшись въ немъ какъ въ общественномъ дѣятелѣ и величій моральной. Личнымъ и семейнымъ счастьемъ она не удовлетворится. Натура изыщженственная, она вмѣстѣ съ тѣмъ одарена мужскимъ умомъ и мужскимъ стремленіемъ къ дѣлу, работѣ, борьбѣ. Спокойная, тихая, счастливая жизнь пугаетъ ее, какъ призракъ обломовщины, какъ болотная тина, грозящая затянуть и поглотить человѣка. Всего менѣе могла бы выйти изъ нея самодовольная мать, женщина-наседка, «нянька своихъ дѣтей», жена-хозяйка. Это понялъ и оцѣнилъ въ ней Штольцъ. Ничего нѣтъ въ ней *буржуазнаго*, и очевидно, это послужитъ когда-нибудь причиной ея разрыва съ Штольцемъ. «Чѣмъ счастье ея полнѣе, тѣмъ она становилась задумчивѣе и даже... боязливѣе. Она стала строго замѣчать за собой и уловила, что ее смущала эта тишина жизни, ея *остановка на минутахъ счастья*»... (часть IV, гл. VIII). — Нетрудно предвидѣть, что когда-нибудь, въ одну изъ такихъ «остановокъ жизни», глаза Ольги откроются, и она вдругъ пойметъ, что ея мужъ, въ сущности, далеко не соответствуетъ ея идеалу. У такихъ, какъ Штольцъ, обратная, пошлая сторона души маскируется ихъ «дѣятельностью», подвижностью, предприимчивостью, суетой и шумомъ; зато тѣмъ ярче можетъ выступить она на досугъ, въ тѣ счастливыя минуты «тишины» и «остановокъ жизни»... И кажется, Ольга потому и боится этихъ минутъ, что смутно предчувствуетъ разочарованіе, которое онѣ принесутъ ей. Ольга любитъ не слѣпо, а сознательно. Къ ней неприменима поговорка: «Не по-хорошу милъ, а по-милу хорошъ». — «Признавъ разъ въ избранномъ человѣкѣ достоинство и права на себя, она вѣрила въ него и потому любила, а переставала вѣрить — переставала и любить, какъ случилось съ Обломовымъ» (часть IV, гл. VIII). Такъ и Штольца полюбила она «не слѣпо, а съ сознаніемъ», и «чѣмъ сознательнѣе она вѣрила въ него, тѣмъ труднѣе было ему держаться на одной высотѣ, быть героемъ не ума ея и сердца только, но и воображенія» (тамъ же). И конечно, онъ не удержится «на высотѣ». Онъ могъ бы, пожалуй, остаться «героемъ ея воображенія» въ глухое обломовское время, на безлюдьѣ:



но времена переѣхались, явилась возможность нѣкоторой общественной работы, борьба манила, новый идеалъ дѣятеля уже складывался въ сознаниі лучшихъ людей, и эти лучшіе люди уже выступали на арену, разоблачая незначительность «дѣятельности» и буржуазно-либеральной идеологіи штольцевъ.

И Ольга «готовилась, ждала»... «Она росла все выше и выше» (тамъ же). Предугадывая ея дальнѣйшую жизнь, мы скажемъ, что она, раньше или позже, разочаруется въ Штольца, убѣдится въ ничтожности его «дѣятельности» и въ недостаточности его «программы». Она выступитъ на иной путь, трудный и тернистый, исполненный лишений и невзгодъ. И куда бы судьба ни забросила ее, въ какомъ бы забытомъ уголкѣ ни пришлось ей жить, — она повсюду сохранитъ на всю жизнь заветы своей молодости. Пройдутъ года, — она состарится тѣломъ, но не духомъ: если вы ее гдѣ-нибудь встрѣтите, вы будете поражены и очарованы ясностью ея ума, свѣжестью ея чувства, ея живою отзывчивостью на все вопросы и злобы времени.

Въ противоположность фигурѣ Штольца, въ Ольгѣ нѣтъ ничего искусственного, апіорнаго. Это живое лицо прямо взято изъ жизни. Въ художественномъ отраженіи, въ поэтическомъ обобщеніи оно явилось психологическимъ типомъ, объединяющимъ лучшія стороны русской образованной женщины, сильной умомъ, волею и внутреннею свободою, женщины, имѣющей все данныя, чтобы явить тотъ идеалъ общественнаго дѣятеля, о которомъ нѣкогда мечтали Добролюбовъ...

*Овс. - Куликовскій.*

## „Преступленіе и наказаніе“ Достоевскаго.

### I.

Приступая къ разбору новаго романа Достоевскаго, я заранее объявляю читателямъ, что мнѣ нѣтъ никакого дѣла ни до личныхъ убѣжденій автора, которыя, быть-можетъ, идутъ въ разрѣзъ съ моими собственными убѣжденіями, ни до общаго направленія его дѣятельности, которому я, быть-можетъ, несколько не сочувствую, ни даже до тѣхъ мыслей, которыя авторъ старался, быть-можетъ, провести въ своемъ произведеніи и которыя могутъ казаться мнѣ совершенно несостоятельными. Меня очень мало интересуетъ вопросъ о томъ, къ какой партіи и къ какому отгѣнку принадлежитъ Достоевскій, какимъ идеямъ или интересамъ онъ желаетъ служить своимъ перомъ, и какія средства онъ считаетъ позволительными въ борьбѣ съ своими литературными или какими бы то ни было другими противниками. Я обращаю вниманіе только на тѣ явленія общественной жизни, которыя избра-

жены въ его романѣ; если эти явленія подмѣнены вѣрно, если сырые факты, составляющіе основную ткань романа, совершенно правдоподобны, если въ романѣ нѣтъ ни клеветы на жизнь, ни фальшивой и приторной подкрашенности, ни внутренних несообразностей,—однимъ словомъ, если въ романѣ дѣйствуютъ и страдаютъ, борются и ошибаются, любятъ и ненавидятъ живые люди,носящіе на себѣ печать существующихъ общественныхъ условій, то я отношусь къ роману такъ, какъ я отнесся бы къ достовѣрному изложенію дѣйствительно случившихся событій; я всматриваюсь и вдумываюсь въ эти событія, стараюсь понять, какимъ образомъ они вытекаютъ одно изъ другого, стараюсь объяснить себѣ, насколько они находятся въ зависимости отъ общихъ условій жизни, и при этомъ оставляю совершенно въ сторонѣ личный взглядъ рассказчика, который можетъ передавать факты очень вѣрно и обстоятельно, а объяснять ихъ въ высшей степени неудовлетворительно.

Преступленіе, описанное въ романѣ Достоевскаго, выдается изъ ряда обыкновенныхъ преступленій только потому, что героемъ его является не безграмотный горемыка, совершенно неразвитый въ умственномъ и нравственномъ отношеніи, а студентъ, способный анализировать до мельчайшихъ подробностей всѣ движенія собственной души, умѣющій создавать для оправданія своихъ поступковъ цѣлыя замысловатыя теоріи и сохраняющій во время самыхъ дикихъ заблужденій тонкую и многостороннюю впечатлительность и нравственную деликатность высокоразвитаго человѣка. Вслѣдствіе этого обстоятельства колоритъ преступленія до нѣкоторой степени измѣняется, и процессъ его подготовленія становится болѣе удобнымъ для наблюденія, но его основная побудительная причина остается неизмѣнной. Раскольниковъ совершаетъ свое преступленіе не совсѣмъ такъ, какъ совершилъ бы его безграмотный горемыка; но онъ совершаетъ его *потому же*, почему совершилъ бы его любой безграмотный горемыка. Бѣдность въ обоихъ случаяхъ является главной побудительной причиной. При этомъ, само собою разумѣется, что вліяніе бѣдности въ обоихъ случаяхъ выражается не въ одинаковыхъ формахъ. У человѣка, подобно Раскольникову, внутренняя борьба, возбужденная безнадежнымъ положеніемъ, проявляется очень рельефно, отчетливо и, если можно такъ выразиться, членораздѣльно. Раскольниковъ обсуживаетъ свое положеніе со всѣхъ сторонъ, взвѣшиваетъ свои силы, измѣряетъ величину тѣхъ препятствій, которыя онъ долженъ преодолѣть, чтобы остаться незамараннымъ человѣкомъ, ставитъ себѣ вопросы и отвѣчаетъ на нихъ, придумываетъ доказательства и опровергаетъ ихъ,—словомъ, постоянно роется въ своихъ собственныхъ мысляхъ и ощущеніяхъ, ясно понимаетъ ихъ во всякую данную ми-

нугу и высказываетъ ихъ въ такихъ оживленныхъ и разнообразныхъ разговорахъ съ самимъ собой, что развитіе опасной и соблазнительной мысли становится для насъ понятнымъ во всѣхъ своихъ подробностяхъ.

Въ душѣ его накопилось достаточное количество злобнаго презрѣнія. Оно пріобрѣтается не легко, покупается не дешевой цѣной и изображаетъ собой такую почву, на которой могутъ укорениться и созрѣть самыя дикія, мрачныя и отчаянныя намѣренія. Онъ идетъ къ старухѣ, которую собирается убить; онъ идетъ закладывать серебряныя часы. Раскольниковъ видитъ и чувствуетъ на самомъ себѣ, какъ люди пользуются страданіями своихъ ближнихъ, какъ высасываютъ накопившіеся соки изъ бѣдныхъ, изнемогающихъ въ непосильной борьбѣ за жалкое и глупое существованіе. Ненависть и презрѣніе приливаютъ широкими и ядовитыми волнами въ молодую и воспріимчивую душу Раскольникова въ то время, когда грязная старуха, казнь въ человѣческомъ образѣ, тянетъ изъ него все, что можно вытянуть изъ человѣка, находящагося наканунѣ голодной смерти. Ненависть и презрѣніе одолеваятъ его съ такой силой, что ему становится безконечно отвратительнымъ даже бить эту старуху, даже мारать руки ея кровью и ея деньгами, въ которыхъ ему чуются слезы многихъ десятковъ голодныхъ людей. На минуту все тонетъ для Раскольникова въ какомъ-то туманѣ непобѣдимаго отвращенія. Пропaday эта подлая старуха, пропадай ея грязныя деньги, пропадай я самъ съ своими глупыми страданіями и еще болѣе глупыми планами обогащенія. Наплевалъ бы на всю эту тину человеческой гнусности, ушелъ бы куда-нибудь, забылся бы, умеръ бы, если бы для этого достаточно было закрыть глаза и пожелать смерти.

Это чувство нравственнаго отвращенія усиливается еще и доводится до своего апогея простымъ ощущеніемъ физической тошноты. Раскольниковъ голоденъ до такой степени, что мысли путаются въ его головѣ. Онъ входитъ въ распивочную. Въ распивочной Раскольниковъ встрѣчается съ горькимъ пьяницей, отставнымъ чиновникомъ Мармеладовымъ, который комически-витѣватымъ языкомъ рассказываетъ ему свою простую и глубоко-трагическую исторію. Бѣдность, голодные дѣти, грязный уголь, оскорбленія разныхъ нахаловъ, чахоточная жена, сохраняющая воспоминаніе о лучшихъ дняхъ, и убивающая себя работой старшая дочь, превратившаяся въ публичную женщину, чтобы поддержать существованіе семейства,—вотъ выдающіяся черты той жизни, панорама которой развертывается передъ Раскольниковымъ въ рассказѣ пьянаго Мармеладова. Изъ каждаго слова рассказа видно, что впечатлѣнія рокового вечера, какъ капля рас-

плавленного свинца, падали на мозгъ жалкаго пьяницы. Все онъ понимаетъ, все объясняетъ, все прощаетъ и оправдываетъ, только для самого себя пѣтъ у него ни одного слова объясненія, прощенія и оправданія. И три раза встрѣчается въ его разсказѣ упоминаніе о томъ голомъ фактѣ, что онъ лежалъ пьяненькій, упоминаніе, похожее на похоронное пѣніе, пропѣтое человѣкомъ надъ самымъ собой. И съ этимъ яснымъ пониманіемъ своего глубокаго ничтожества, съ этимъ неизгладимымъ, яркимъ и жгучимъ воспоминаніемъ о событіяхъ рокового вечера, онъ все-таки бѣжитъ въ кабакъ, укравши у жены свои трудовыя деньги, пьянствуетъ безпросына пятеро сутокъ, губить въ послѣднія надежды своего семейства и, въ довершеніе всѣхъ своихъ подвиговъ, спустивши въ кабакъ все, что можно было спустить, идетъ выпрашивать у дочери, живущей по желтому билету, выпрашивать на послѣдній полуштофъ водки частицу тѣхъ денегъ, которыя она добываетъ отъ искателей легкой и дешевой любви и которыя составляютъ единственное постоянное подспорье чахоточной женщины и тронхъ вѣчно голодныхъ ребятишекъ.

Раскольниковъ можетъ понимать, что Мармеладовъ не всегда былъ такимъ трупомъ; онъ сталъ теперь понимать, что есть тропинка, ведущая къ Мармеладову паденію, и что есть возможность опуститься на эту скользкую тропинку даже съ той высоты умственнаго и просвѣщеннаго развитія, на которую удалось взобраться ему, студенту Раскольникову. Мармеладова раздавила бѣдность, которая давитъ и Раскольникова и уже довела его до изнурительной апатіи и до дикихъ мыслей о грабежѣ и убійствѣ. Мармеладовъ не вынесъ своихъ страданій, осложненныхъ страданіями дорогихъ ему людей и существованіе которыхъ онъ одинъ могъ и одинъ обязанъ былъ обезпечивать. Онъ не вынесъ и сталъ искать себѣ минутнаго забвенія. Мармеладовъ сдѣлался врагомъ, разорителемъ и мучителемъ своего семейства такъ нечувствительно и незамѣтно для самого себя. Онъ просто падалъ, вязнулъ и тонулъ, потому что у него не хватило силъ стоять на ногахъ и потому что его ноги не находили себѣ твердой такой опоры въ той бездонной трясинѣ, которая поглощаетъ сотни и тысячи бѣдныхъ людей. Результатъ, къ которому онъ пришелъ путемъ этого краткаго и пассивнаго погруженія въ болото нищеты, разоблачился передъ Раскольниковымъ во всей наготѣ своего потрясающаго безобразія. При томъ направленіи, которое уже было дано мыслямъ Раскольникова, при томъ планѣ, по которому уже складывались и созрѣвали его настроенія, видъ трупа, дошедшаго до разложенія собственной пассивностью и кротостью, долженъ былъ подѣйствовать такъ, какъ ударъ каленымъ желѣзомъ на бѣшеную лошадь, уже закусившую удила.

Личность Сони и ея образъ дѣйствій также наводитъ Раскольникова на такія размышленія, которыя могутъ только расчищать передъ нимъ дорогу къ преступленію. Во-первыхъ, у него есть сестра, дѣвушка молодая, умная, образованная и красавица собою. Онъ любить свою сестру такъ же сильно, какъ Мармеладовъ любитъ свою старшую дочь. Но къ чему годится эта сильная любовь бѣднаго, давленнаго и безсильнаго человѣка? Отъ чего можетъ защититъ такая любовь? Пользуясь этой любовью, Раскольникова такъ же точно можетъ опуститься въ безотчетномъ распоряженіи уличныхъ ловеласовъ, какъ опустилась Софья Мармеладова. Что вы скажете о поступкѣ ея? Какое чувство возбудитъ въ васъ этотъ поступокъ? презрѣніе или благоговѣніе? Какъ вы назовете ее; грязной потаскушкой, бросившей въ уличную лужу святыню своей женской чести, или великодушной героиней, принявшей съ спокойнымъ достоинствомъ свой мученическій вѣнецъ? Какой голосъ эта дѣвушка должна была принять за голосъ совѣсти—тотъ ли, который ей говорилъ: «Сиди дома и терпи до конца, умирай съ голода вмѣстѣ съ отцомъ, съ матерью, съ братомъ и съ сестрами, но сохраняй до послѣдней минуты свою нравственную чистоту», или тотъ, который говорилъ: «Не жалѣй себя, не береги себя, отдай все, что у тебя есть, продай себя, опозорь и загрязни себя, но спаси, утѣшь, поддержи этихъ людей, накорми и обогрѣй ихъ хоть на педѣлю, во что бы то ни стало»?

Со стороны Раскольникова невозможно ожидать продолжительныхъ колебаній во взглядѣ на этотъ поступокъ. Онъ самъ былъ въ высшей степени ожесточенъ трудностями своего собственнаго положенія; на его душѣ накопилось много злобнаго презрѣнія къ обществу, къ его законамъ и ко всѣмъ его установившимся нравственнымъ понятіямъ. То обстоятельство, что Соня шла наперекоръ общественному мнѣнію, должно было подкупить Раскольникова въ пользу ея поступка. Въ этомъ поступкѣ онъ могъ видѣть только то высокое самоотверженіе, съ которымъ Соня рѣшилась надѣть мученическій вѣнецъ и выпить до дна чашу униженія и страданія. Онъ могъ только почувствовать къ Сонѣ восторженное уваженіе за то, что она, подобно Курцію, бросилась въ пропасть и согласилась сдѣлаться покупительной жертвой за цѣлое семейство.

На слѣдующій день, послѣ встрѣчи съ Мармеладовымъ, Раскольниковъ получаетъ письмо отъ своей матери, которое также повліяло на теченіе его мыслей. Онъ начинаетъ читать. Начинается одна изъ самыхъ утонченныхъ мытокъ, какія могутъ выпадать на долю бѣднаго человѣка, еще не доведеннаго гнетущей нищетою до тупости, безчувственности и покорности разбитой и загнанной почтовой клячи. Изъ этихъ драгоценныхъ строкъ, согрѣтыхъ кроткимъ и мягкимъ сія-



ніемъ безпредѣльной материнской нѣжности, сыплются на изнемогающаго Раскольника такіе жгучіе удары, которые могутъ быть нанесены ему только рукой любящей матери. Письмо написано самымъ бодрымъ и веселымъ тономъ и исполнено самыми пріятными чувствами, и вслѣдствіе этого мучительность пытки становится еще болѣе уточенной. По прочтеніи письма параллель между Соней и Дуней сама собой напрашивается въ его голову; онъ думаетъ, что если только онъ позволитъ совершиться этой жертвѣ, которая должна купить ему карьеру и обеспеченное существованіе, то онъ самъ упадетъ ниже Мармеладова. Письмо кладетъ конецъ его апатіи — необходимо дѣйствовать. Ему хотѣлось покоить и лелѣять свою старую мать, доставлять ей тѣ скромныя удобства жизни, избавить ее отъ томительныхъ заботъ о кускѣ насущнаго хлѣба; ему хотѣлось, чтобы сестра его была ограждена въ настоящемъ отъ дерзостей разныхъ Свидригайловыхъ, а въ будущемъ — отъ участи, постигшей Соню Мармеладову, или отъ необходимости выйти замужъ безъ любви за какого-нибудь деревяннаго человѣка, подобнаго господину Лужину. Самый строгій моралистъ похвалитъ Раскольника за это желаніе. Но всѣ эти стремленія становятся противозаконными и противообщественными съ той минуты, какъ Раскольниковъ превратился въ голоднаго и оборваннаго бѣдняка. Послѣ письма матери всѣ мысли до такой степени перепутываются въ головѣ Раскольника, что убійство превращается въ его глазахъ не только въ единственный выходъ, но даже въ какой-то неумолимый долгъ. Измученный бѣдностью, праздною, апатіей и безобразнымъ фантазерствомъ, Раскольниковъ на правильный умственный трудъ уже не способенъ. Въ его изнемогающемъ умѣ уже не было достаточно силъ на то, чтобы уничтожить *проклятую мечту* спокойнымъ и холоднымъ размышленіемъ. Онъ могъ только ужасаться, содрогаться и чувствовать припадки конвульсивнаго отвращенія къ тѣмъ гадостямъ, на которыя его наталкивала эта *проклятая мечта*. Во время своихъ послѣднихъ приготовленій къ убійству онъ уже не чувствовалъ ни ужаса, ни отвращенія.

## II.

Итакъ, теоретическія убѣжденія Раскольника не имѣли никакого замѣтнаго вліянія на совершеніе убійства. Теперь скажемъ объ образѣ его мыслей, о его взглядахъ на важнѣйшіе вопросы частной и общественной нравственности.

Раскольниковъ въ своей статьѣ запутанными и сбивчивыми разсужденіями старается доказать, что преступникъ дѣлается преступникомъ потому, что стоитъ выше окружающихъ его людей. Онъ облагораживаетъ дѣятельность воровъ и разбойниковъ, завербовывая въ

ихъ компанію всѣхъ замѣчательныхъ людей, оставившихъ слѣды своего существованія и вліянія въ исторіи человѣчества. Произвольное устраненіе живыхъ людей и безцеремонное шаганіе черезъ препятствія остается дѣломъ очень вреднымъ и въ высшей степени преступнымъ. Кровопролитіе становится неизбѣжнымъ вовсе не тогда, когда его желаетъ устроить какой-нибудь необыкновенный человѣкъ; вовсе не тогда, когда какое-нибудь живое препятствіе мѣшаетъ этому необыкновенному человѣку осуществить свою личную идею или фантазію. Ни передъ борьбой, ни во время борьбы, ни послѣ ея окончанія необыкновенные люди, которыми можетъ и должно гордиться человѣчество, не являются любителями и виновниками кровопролитія. Кровь льется совѣтъ не для того, чтобы подвигать впередъ общее дѣло человѣчества; напротивъ того, оно подвигается впередъ, *несмотря* на кровопролитія, а никакъ не *вслѣдствіе* его; виновниками кровопролитій бываютъ вездѣ и всегда не представители разума и правды, а поборники невѣжества, застоя и безправія.

...Какимъ путемъ Раскольниковъ могъ дойти до основныхъ положеній своей дикой теоріи? Откуда могла залетѣть въ его голову мысль о томъ, что въ каждомъ преступникѣ скрывается неудавшійся или возникающій великій человѣкъ? Откуда взялась у него потребность дѣлать людей на обыкновенныхъ и необыкновенныхъ. Мнѣ кажется, что Раскольниковъ не могъ заимствовать свои идеи ни изъ разговоровъ съ товарищами, ни изъ книгъ. Теорія его не имѣетъ ничего общаго съ тѣми идеями, изъ которыхъ складывается міросозерцаніе совершенно развитыхъ людей. Эта теорія выработана имъ въ злойщій тишинѣ глубокаго и томительнаго уединенія; на этой теоріи лежитъ печать его личнаго характера и того исключительнаго положенія, которымъ была порождена его апатія. Тѣ мысли, которыя выразились въ его статьѣ, были продуктами того самаго положенія, которое впоследствии, истощивши по каплѣ всю его энергію и извративши его замѣчательныя умственныя способности, заставили его обдумать, тщательно приготовить и успѣшно выполнить грязное преступленіе. Жизнь въ каждую данную минуту, въ каждомъ изъ его мельчайшихъ ощущеній, накладывала на него свою грубую и грязную руку, дразнила и щипала его, мучила и обижала его. Когда вся жизнь состояла изъ одиѣхъ мучительныхъ мелочей, когда человѣкъ постоянно попадаетъ съ булавки на булавку, когда этимъ булавкамъ не предвидится конца и когда человѣкъ видитъ и понимаетъ, что, при ужаснѣйшемъ напряженіи всѣхъ силъ, онъ можетъ только поддерживать этотъ многобулавочный *status quo*,—тогда... тогда невозможно разсчитать заранее, въ какихъ безумныхъ планахъ и въ какихъ безобразныхъ галлюцинаціяхъ выразится уныніе, озлобленіе, отчаяніе и бѣшенство этого че-

ловѣка, котораго люди и обстоятельства со всѣхъ сторонъ продолжали колоть булавами въ его незажившія и незаживающія раны. Раскольниковъ, придя съ грошоваго урока къ себѣ въ душную сырую комнату, видитъ передъ собой необозримо длинный рядъ сѣрыхъ и темныхъ дней, въ которыхъ каждая минута будетъ отмѣчена какимъ-нибудь чувствительнымъ лишеніемъ, какой-нибудь крошечной болью, какимъ-нибудь мелкимъ столкновеніемъ, мучительно напоминающимъ гордому, страстному, умному и впечатлительному человѣку, что всѣ радости жизни, все то, что онъ умѣетъ понять и оцѣнить своимъ тонкимъ и гибкимъ умомъ, все то, что онъ умѣетъ желать всѣми силами своего кипучаго темперамента, что всѣ эти радости и наслажденія существуютъ и почти навѣрное всегда будутъ существовать не для него. Чѣмъ мрачнѣе становилось его душевное настроеніе, чѣмъ ближе приступали къ нему нищета и отчаяніе, чѣмъ сильнѣе онъ нуждался въ братскомъ сочувствіи, тѣмъ упорнѣе онъ отворачивался отъ людей, заперся въ своей берлогѣ и углублялся въ свои горькія размышленія. А въ результатъ размышленій всегда получалось одно и то же бѣшеное проклятіе противъ такой жизни, которая не даетъ человѣку ничего, кромѣ горя и мучительнаго сознанія собственного безсилія. На этомъ результатѣ такой раздражительный и самолюбивый человѣкъ, какъ Раскольниковъ, не могъ остановиться навсегда. Мысль его непременно должна была пойти дальше. И Раскольниковъ вступалъ на новый путь изслѣдованія, — на такой путь, который могъ открыться передъ нимъ только тогда, когда онъ, озлобленный лишеніями и утомленный неблагодарной работой, отвернулся отъ своихъ товарищей, уединился въ свою конуру, гдѣ стѣны и потолокъ *тѣснятъ душу и умъ*. Ни отъ товарищей, ни изъ книгъ онъ не могъ добыть себѣ ту дикую мысль, что, кромѣ упорнаго труда, существуютъ еще какія-нибудь удобныя средства выбиться изъ затруднительнаго положенія. Вся теорія развилась изъ этой мысли, а эта мысль родилась въ Раскольниковѣ потому, что мучительность его положенія превышала размѣры его силъ и мужества. Вѣра въ спасительность труда была подорвана. Утомительный трудъ сталъ казаться ему печатью проклятія и отверженія, которую судьба кладетъ на тупоумныхъ и трусливыхъ людей. Въ немъ возникаетъ внутренній разладъ, который былъ порожденъ естественной враждебностью его отношеній къ самой сильной и упорной изъ его задушевныхъ мыслей. Но онъ имѣлъ тонкій и гибкій умъ, закаленный въ школѣ уединеннаго размышленія и самаго внимательнаго психологическаго анализа. Всю свою теорію Раскольниковъ построилъ исключительно для того, чтобъ оправдать въ собственныхъ глазахъ мысль о быстрой и легкой наживѣ. Смотря внимательно на другихъ и пронизывая ихъ насквозь своимъ

инквизиторскимъ взглядомъ, Раскольниковъ естественнымъ образомъ расположенъ думать, что и другіе смотрятъ такъ же внимательно на него самого и такъ же успѣшно пропизываютъ его самого своими инквизиторскими взглядами. Способность къ микроскопическому анализу вредила Раскольникову. У него было замѣчательное умѣнье объяснять, разбирать, комментировать, повертывать каждое слово. При усиленной и излишней бдительности тревога его должна была расти не по днямъ, а по часамъ и въ скоромъ времени развиться до такихъ размѣровъ, при которыхъ всякое самообладаніе становится невозможнымъ. Возрастающая безнадежность должна была усилить его тревогу, разбить послѣдніе остатки его хладнокровія и довести его до состоянія полной беззащитности. Мысль о наказаніи висѣла надъ головой, и она при каждомъ неосторожномъ движеніи могла обрушиться на него всею своею тяжестью; эта мысль сама по себѣ была достаточно мучительна, чтобы отравить всю жизнь и сдѣлать ее невыносимымъ страданіемъ для несчастнаго преступника. Кромѣ уголовного наказанія, Раскольниковъ боится еще того ужаса, негодованія или отвращенія, съ которымъ посмотрятъ на его поступокъ всѣ дорогіе и близкіе ему люди. Поэтому онъ не смѣетъ никому открыться. Чѣмъ ближе къ нему люди, чѣмъ больше правъ они имѣютъ на его довѣріе и откровенность, чѣмъ пѣжнѣе ихъ ласки и заботливѣе ихъ разпросы, чѣмъ искреннѣе и трогательнѣе ихъ участіе, тѣмъ невыносимѣе для него ихъ общество. Подвигъ притворства совсѣмъ не по силамъ Раскольникову. Для него оглушительнымъ ударомъ было открытіе, что ему противны и невыносимы ласки матери и сестры, противны и невыносимы ихъ ласки потому, что онѣ относятся уже не къ нему, а къ той маскѣ, которая до поры до времени скрываетъ отъ всѣхъ людей обезображенныя черты его измученнаго и опозореннаго лица. Разбитый этимъ ударомъ, онъ не смѣлъ даже принимать отъ нихъ эти ласки. Всякій разъ онъ уходилъ отъ нихъ, пугаясь того ужаса, который должно было возбудить въ нихъ открытіе истины. Такимъ образомъ, страхъ уголовного наказанія, страхъ презрѣнія со стороны близкихъ людей, необходимость таиться и притворяться въ сношеніяхъ со всѣми людьми и ясное предчувствіе того, что всѣ эти подвиги притворства окажутся совершенно бесполезными, — вотъ составные элементы душевныхъ страданій Раскольникова. Подъ вліяніемъ этихъ страданій увядаетъ его умъ и характеръ. Первая фаза этого процесса ознаменовалась сооруженіемъ замысловатой теоріи. Вторая фраза — Раскольниковъ, отказавшись отъ права размышлять собственнымъ умомъ и поступать по собственному благоусмотрѣнію, отдаетъ себя подъ опеку очень добродушной, ограниченной и совершенно необразованной дѣвушки, Соши Мармеладовой, которая согла-

шается давать ему мудрые и спасительные совѣты. Умъ его гаснетъ, воля изнемогаетъ; онъ ни о чемъ не думаетъ, ничего не желаетъ и ни на что не можетъ рѣшиться. Тутъ можно сказать, что человѣкъ дошелъ до какого-то сомнабулизма.

*Писаревъ.*

### „Забитые люди“.

Если мы обратимся отъ отвлеченныхъ эстетическихъ разсужденій къ идеямъ и положеніямъ, развиваемымъ у извѣстнаго автора, то найдемъ самое лучшее средство къ уразумѣнію сущности его таланта. Тутъ уже мѣрка нашихъ требованій измѣняется: авторъ можетъ ничего не дать искусству, не сдѣлать шага въ исторіи литературы собственно и все-таки быть замѣчательнымъ для насъ по господствующему направленію и смыслу своихъ произведеній. Пусть онъ и не удовлетворяетъ требованіямъ, пусть онъ иной разъ и промахнется и выразится нехорошо: мы ужъ на это не обращаемъ вниманія, мы все-таки готовы толковать о немъ много и долго, если только для общества важенъ почему-нибудь смыслъ его произведеній.

Но есть другого рода писатели, интересные совсѣмъ другимъ образомъ. Это тѣ, у которыхъ художественное чутье, хотя бы даже и слабое, направлено здраво, въ которыхъ не только вѣрно отражаются явленія жизни, но которымъ доступенъ, болѣе или менѣе, и общій таинственный смыслъ ея. Такіе писатели становятся замѣчательными художниками, если ихъ воспріимчивость многообъемлюща, если жизнь открывается имъ не въ отдѣльныхъ только явленіяхъ, а во всемъ своемъ стройномъ теченіи, если чутки они не къ одной только виѣшней сторонѣ явленій, но и къ ихъ внутренней связи и послѣдовательности. Тогда они создаютъ что-нибудь прочно остающееся въ литературѣ и служатъ двигателями общественнаго сознанія. Но и люди съ болѣе (слабымъ) ограниченою воспріимчивостью, съ болѣе слабымъ, только бы вѣрнымъ, чутьемъ, не проходятъ безъ слѣда и заслуживаютъ вниманія, если хоть одну черту разъяснили, или даже только указали намъ въ этой жизни, которая у всѣхъ насъ предъ глазами, всѣхъ задѣваетъ собою и, однакоже, такъ немногихъ наводитъ на серьезную думу, такъ немногими понимается.

Въ произведеніяхъ г. Достоевскаго мы находимъ одну общую черту, болѣе или менѣе замѣтную во всемъ, что онъ писалъ: это боль о человѣкѣ, который признаетъ себя не въ силахъ или, наконецъ, даже не въ правѣ быть человѣкомъ настоящимъ, полнымъ, самостоятельнымъ человѣкомъ, самимъ по себѣ. «Каждый человѣкъ долженъ быть человѣкомъ и относиться къ другимъ какъ человѣкъ къ человѣку», вотъ идеаль, сложившійся въ душѣ автора помимо



всякихъ условныхъ и парціальныхъ воззрѣній, повидному, даже помимо его собственной воли и сознанія, какъ-то à priori, какъ что-то составляющее часть его собственной натуры. И между тѣмъ, вступая въ жизнь и оглядываясь вокругъ себя, онъ видитъ, что исканія человека сохранить свою личность, остаться самимъ собою, никогда не удаются, и кто изъ ищущихъ не успѣетъ рано умереть въ чахоткѣ или другой изнурительной болѣзни, тотъ въ результатѣ доходитъ только или до ожесточенія, нелюдимства, сумасшествія, или до простого, тихаго отупѣнія, заглушенія въ себѣ человѣческой природы, до искренняго признанія себя чѣмъ-то гораздо ниже человека. Есть много такихъ, которые даже какъ будто родятся съ этимъ послѣднимъ сознаніемъ, которыхъ мысль о своемъ человѣческомъ значеніи какъ будто никогда съ роду не посѣщала. Это точно существа другого міра, точно въ нихъ ничего нѣтъ общаго съ остальнымъ человѣчествомъ... Что за причина такого перерожденія, такой аномаліи въ человѣческихъ отношеніяхъ? Какъ это происходитъ? какими существенными чертами отличаются подобныя явленія? Къ какимъ результатамъ ведутъ они? Вотъ вопросы, на которые естественнымъ и необходимымъ образомъ наводятъ читателя произведенія г. Достоевскаго. Правда, разрѣшенія всѣхъ предложенныхъ вопросовъ у него нѣтъ; но если бы онъ ихъ рѣшилъ, то, конечно, и не сталъ бы писать о нихъ повѣсти. Литературное произведеніе, искреннее, а не заказное, только тогда и возможно, когда первая основа и крайнее рѣшеніе взятаго факта составляетъ еще вопросъ, разгадка котораго занимаетъ самого автора. Но у сильныхъ талантовъ самый актъ творчества такъ проникается всею глубиною жизненной правды, что иногда изъ простой постановки фактовъ и отношеній, сдѣланной художникомъ, рѣшеніе ихъ вытекаетъ само собою. У г. Достоевскаго не достало на это силы дарованія, его разсказамъ нужны дополненія и комментаріи. Но, тѣмъ не менѣе, вопросъ у него поставленъ, и никто изъ читателей не можетъ самъ избавиться отъ этого вопроса послѣ прочтенія его повѣстей. Самый тонъ каждой повѣсти, мрачный, унылый, болѣзненный, такъ и вышибаетъ изъ сердца раздражительный вопросъ, такъ и поднимаетъ въ насъ какую-то нервную боль...

Г. Достоевскій въ первомъ же своемъ произведеніи явился замѣчательнымъ дѣятелемъ того направленія, которое назвалъ я по преимуществу гуманическимъ. Въ «Бѣдныхъ людяхъ», написанныхъ подъ свѣжимъ вліяніемъ лучшихъ сторонъ Тоголя и наиболѣе жизненныхъ идей Бѣлинскаго, г. Достоевскій, со всею энергіей и свѣжестью молодого таланта, принялся за анализъ поразившихъ его аномалій нашей бѣдной дѣйствительности и въ этомъ анализѣ умѣлъ выразить свой высоко-гуманный идеалъ.

Въ разныхъ видахъ и случаяхъ представилъ намъ г. Достоевскій недостатокъ уваженія человѣка къ самому себѣ и недостатокъ уваженія къ человѣку другихъ людей. Кажется бы, дѣло простое, думается, когда читаешь эти повѣсти:—человѣкъ родился, значитъ долженъ жить, значитъ имѣетъ право на существованіе; это естественное право должно имѣть и естественныя условія для своего поддержанія, т.-е. средства жизни. А такъ какъ эта потребность средствъ есть потребность общая, то и удовлетвореніе ея должно быть одинаково общее для всѣхъ, безъ подраздѣленій, что вотъ, дескать, такіе-то имѣютъ право, такіе-то нѣтъ. Отрицать чье-нибудь право въ этомъ случаѣ—значитъ отрицать самое право на жизнь. А если такъ, то, въ предѣлахъ естественныхъ условій, рѣшительно каждый человѣкъ долженъ быть полнымъ, самостоятельнымъ человѣкомъ и, вступая въ сложныя комбинаціи общественныхъ отношеній, вносить туда вполне свою личность и, принимаясь за соотвѣтственную работу, хотя бы и самую ничтожную, тѣмъ не менѣе—никакъ не скрадывать, не уничтожать и не заглушать свои прямые человѣческія права и требованія. Кажется, ясно. А между тѣмъ отчего же этотъ Макаръ Алексѣевичъ Дѣвушкинъ «прячется, скрывается, трепещетъ», непрерывно стыдится за свою жизнь «да вокругъ себя смущеннымъ взоромъ поводитъ, да прислушивается къ каждому слову» и единственное утѣшеніе находитъ въ томъ, что онъ человѣкъ маленький, человѣкъ ничтожный? Отчего Горшковъ этотъ—«жалкій, хилой такой: колѣни у него дрожатъ, руки дрожатъ, голова дрожитъ, робкій, боится всѣхъ, ходитъ стороночкой?» Отчего это отецъ Покровскаго имѣетъ такой видъ, что «онъ чего-то какъ будто стыдится, что ему какъ будто самого себя совѣстно», и въ разговорахъ съ сыномъ—«приподымается немного со стула, отвѣчаетъ тихо, подобострастно, почти съ благоговѣніемъ»? А отчего г. Голядкинъ въ мучительныхъ и безплодныхъ попыткахъ «быть въ своемъ правѣ» и «итти своей дорогой»—съживается до послѣднихъ уступокъ своего настоящаго права и, наконецъ, не выдержавъ въ слабой головѣ своей идеи, что подъ его право всѣ подкапываются, мѣшается въ разсудкъ? Отчего также г. Прохарчинъ двадцать лѣтъ скряжничаетъ и бѣдствуетъ,—все отъ мысли о небезпечности и, наконецъ, отъ этой мысли захварывается и умираетъ? Отчего этотъ молодой чиновникъ Шумковъ считаетъ себя извергомъ человѣчества и мѣшается на томъ, что его отдадутъ въ солдаты за то, что онъ, увлекшись пѣжностями съ невѣстою, не успѣлъ переписать къ сроку порученной отъ его превосходительства бумаги, которая къ тому же вовсе и не была срочною? Отчего маленькая Неточка такъ унижается передъ Катей? Отчего Росталевъ отрекается отъ своей воли передъ Фомой Фомичемъ и считаетъ себя

рѣшительно недостойнымъ любви Настеньки, своей гувернантки, которую страстно любить? Отчего Наташа теряетъ свою волю и разсудокъ и Иванъ Петровичъ почтительно сторонится передъ вертопрахомъ Алешей? Отчего старикъ Ихменевъ, перепося всевозможныя мученія отцовской любви, не хочетъ простить свою дочь, чтобы не показать вида уступки князю и его сыну? Отчего маленькая Нелли такъ дико принимаетъ одолженія Ивана Петровича и идетъ собирать милостыню, чтобы на собранныя деньги купить ему разбитую ею чашку? Гдѣ причина всѣхъ этихъ дикихъ, поразительно странныхъ людскихъ отношеній? Въ чемъ корень этого непонятнаго разлада между тѣмъ, что должно бы быть по естественному, разумному порядку, и тѣмъ, что оказывается на дѣлѣ?

Мы уже сказали, что прямого отвѣта на такіе запросы не даетъ ни одно лицо, ни одна повѣсть Достоевскаго въ отдѣльности. Чтобы найти отвѣтъ, мы должны группировать ихъ и пояснять одни другими.

Люди, которыхъ человѣческое достоинство оскорблено, являются намъ у г. Достоевскаго въ двухъ главныхъ типахъ: кроткомъ и ожесточенномъ. Первые не дѣлаютъ уже никакого протеста, склоняются подъ тяжестью своего положенія и серьезно начинаютъ увѣрять себя, что они — нуль, ничего, и что если его превосходительство заговоритъ съ ними, то они должны считать себя счастливыми и благодарственными. Другіе — напротивъ: видя, что ихъ право свято, съ чѣмъ они въ міръ вошли, — отрицаются и не признаются, они хотятъ разорвать со всѣмъ окружающимъ, едѣлаться чуждыми всему, быть достаточными самимъ для себя и ни отъ кого въ мірѣ не просить и не принимать ни услуги, ни братскаго чувства, ни добраго взгляда. Само собою понятно, что имъ не удастся выдержать характера, и оттого они вѣчно недовольны собою, проклинаютъ себя и другихъ, задумываютъ самоубійство и т. п.

Но вотъ въ томъ-то и заслуга художника: онъ открываетъ, что слѣпой-то не совсѣмъ слѣпъ; онъ находитъ въ глупомъ человѣкѣ проблески самаго яснаго здраваго смысла; въ забитомъ, потерянномъ, обезличенномъ человѣкѣ онъ отыскиваетъ и показываетъ намъ живыя, никогда незаглушимыя, стремленія и потребности человѣческой природы, вынимаетъ запряганный въ самой глубинѣ души протестъ личности противъ вѣшняго, насильственного давленія и представляетъ его на судъ и сочувствіе. Такія открытія дѣлаетъ намъ Гоголь въ нѣкоторыхъ повѣстяхъ своихъ; то же, только въ нѣсколько затѣйливой формѣ, находимъ мы въ «Вѣднхъ людяхъ» г. Достоевскаго и отчасти и другихъ его повѣстяхъ.

Чиновникъ Дѣвушкинъ, напримѣръ, живетъ себѣ: дожилъ до сѣдыхъ волосъ, прослужилъ безъ малаго тридцать лѣтъ тихо и скромно,

ни о чемъ не задумываясь, ни на что не претендуя. «Что это вы пишете мнѣ, — объясняется онъ съ Варенькой, — про удобства, про покой и про разныя разности? Маточка моя, я не брюзгливъ и не требователенъ, никогда лучше теперешняго не жилъ, такъ чего же на старости лѣтъ привередничать? Я сытъ, одѣтъ, обутъ, да и куда намъ затѣи затѣвать? Не графскаго рода!.. Родитель былъ не изъ дворянскаго званія, и со всей-то семьей своей былъ бѣднѣе меня по доходу. — Я не нѣженка!» И точно, онъ не нѣженка: квартиру занимаетъ за перегородкой въ кухнѣ, платитъ за нее два цѣлковыхъ и утѣшается тѣмъ, что онъ «ото всѣхъ особнячкомъ, помаленьку живетъ, втихомолочку живетъ»... «Сытъ я» говорить, а за столъ платитъ пять цѣлковыхъ въ мѣсяцъ; можно представить, какая тутъ сытость. Обутъ и одѣтъ онъ тоже соотвѣтственно, но все повторяетъ: «Я не ропщу и доволенъ, жалованья достаточно, вотъ уже нѣсколько лѣтъ достаточно». Относительно своего умственнаго состоянія онъ тоже сознаетъ, что онъ человѣкъ неученый, на мѣдныя деньги учился: и слога не имѣетъ, и высокихъ матерій понимать не можетъ, а потому далеко и не лѣзетъ. Съ общественнымъ своимъ положеніемъ онъ примирился отлично. Онъ дошелъ до такихъ выводовъ, успокоительныхъ и резонныхъ: «Всякое состояніе опредѣлено Всевышнимъ на долю человѣческую». Утвердившись на такихъ цѣлительныхъ мысляхъ, Макаръ Алексѣичъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, совершенно теряетъ всякую опору внутри себя, въ собственномъ разсудкѣ, и высшею, единственною мѣрою своихъ достоинствъ считаетъ уже не собственное сознаніе, а мнѣніе начальства и формальныя отношенія. Крестикъ составляетъ въ нѣкоторомъ родѣ базисъ философіи Макара Алексѣича и самый высшій, послѣдній аргументъ его. Вообще Макаръ Алексѣичъ до того дошелъ, что даже сапоги и шинель носить не для себя, а для другихъ, въ особенности же для его превосходительства; и чай пьетъ тоже больше для другихъ и все для другихъ изъ амбиціи. «Но мнѣ все равно, хоть бы и въ трескучій морозъ безъ шинели и безъ сапоговъ ходить — я перетерплю и все вынесу, мнѣ ничего: *«человѣкъ-то я простой, маленькій»*. Къ этому кодексу морали и житейской мудрости, выработавшемуся въ головѣ Макара Алексѣича, прибавимъ умирительно-подловатое впечатлѣніе, оставшееся въ немъ отъ сцены, когда у него отлетѣла пуговица въ присутствіи генерала и генераль далъ ему сто рублей и пожалъ руку. Сцена эта дѣйствительно превосходная, много разъ была цитирована и потому, конечно, памятна читателямъ. Въ этихъ изліяніяхъ душевныхъ вы видите доброту, чувствительность, благородство, если хотите, даже утонченную деликатность Макара Алексѣича; но согласитесь, что вѣдь вамъ жалко то униженіе, въ какое онъ ставитъ себя, и только сила состраданія

прогоняетъ въ васъ то чувство отвращенія, которое иначе невольно возбуждилось бы въ васъ такимъ искаженіемъ человѣческой природы... Полное отсутствіе какого бы то ни было сознанія о своемъ достоинствѣ, полное признаніе своего ничтожества, исключеніе себя изъ того рода существъ, къ которому равно принадлежать и Макарь Алексѣичъ, и его благодѣтель, — вотъ что видите вы въ изліяніяхъ его благодарности.

Нужно сказать, что нѣкоторая доля художнической силы постоянно сказывается въ г. Достоевскомъ, а въ первомъ его произведеніи сказалось даже въ значительной степени. Отъ него не ускользнула правда жизни, и онъ чрезвычайно мѣтко и ясно положилъ грань между официальнымъ настроеніемъ, между виѣшностью, форменностью человѣка и тѣмъ, что составляетъ его внутреннее существо, что скрывается въ тайникахъ его натуры и лишь по временамъ, въ минуту особеннаго настроенія, мелькомъ проявляется на поверхности. Изъ наблюденій автора, переданныхъ намъ въ его разсказахъ, оказывается, что вѣдь ни одного человѣка нѣтъ, кто бы въ самомъ дѣлѣ, всѣмъ сердцемъ и душою возлюбилъ идеальную организацію, общающую столько мира и довольства людямъ. Даже люди, наиболѣе ею пропитанные, и тѣ безпрестанно проговариваются и уклоняются. Да вотъ хоть бы самъ Макарь Алексѣичъ: вы, можетъ-быть, думаете, что онъ въ самомъ дѣлѣ успокоился на томъ, что «всякому свое мѣсто назначено, а мѣста по способностямъ распредѣлены» и т. д.? Вовсе нѣтъ; это когда онъ резонируетъ въ спокойномъ положеніи, такъ и говоритъ такимъ образомъ. А чуть что-нибудь задѣнетъ его за живое, — онъ совсѣмъ мѣняется, и лѣзутъ въ его голову сами собою «либеральныя мысли». Онъ тогда спрашиваетъ: «Отчего же это такъ все случается, что вотъ хорошій-то человѣкъ въ запустѣннѣ находится, а къ другому кому счастье само напрашивается?.. Знаю, знаю, маточка (снѣшитъ онъ прибавить, обращаясь къ Варенькѣ), — что нехорошо это думать, что это волюнодумство; но по искренности, по правдѣ-истинѣ, — зачѣмъ одному еще во чревѣ матери прокаркнула счастье ворона-судьба; а другой изъ воспитательнаго дома на свѣтъ Божій выходитъ? И вѣдь бываетъ же такъ, что счастье-то часто Иванушкѣ-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачокъ, ройся въ мѣшкахъ дѣдовскихъ, пей, ѣшь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, ты, братецъ, вотъ какой! Грѣшно, маточка (снова снѣшитъ оговориться боязливый Макарь Алексѣичъ), оно грѣшно этакъ думать, *да тутъ поневоли какъ-то грѣхъ въ душу лѣзетъ*». Расчувствовавшись, Макарь Алексѣичъ уже не ограничивается и сомнѣніями, даже до негодованія доходитъ и задѣваетъ людей почище себя: «Что фразъ-то на немъ



сидитъ гоголемъ, что въ лорнетку-то золотую онъ на васъ смотритъ, безстыдникъ, такъ ужъ ему все съ рукъ сходить, такъ ужъ и рѣчь его непристойную списходительно слушать надо! *Полно, такъ ли, голубчики?*» Какъ хотите, а вѣдь это чуть не вызовъ со стороны бѣднаго, забитаго чиновника: видно, не совсѣмъ же утомилось его сердце, не совсѣмъ успокоился онъ на томъ, что «если бы мы другъ другу тона не задавали, то и свѣтъ бы не стоялъ и порядка бы не было».

Нѣтъ, онъ издаетъ теперь вопли сердечные и сознаетъ за собою право вопить и жаловаться: «А еще люди богатые не любить, — замѣчаетъ онъ, — чтобы бѣдняки на худой жребій вслухъ жаловались, — дескать, они беспокоятъ, они-де назойливы. *Да и всегда бѣдность назойлива; спать, что ли, мѣшаютъ ихъ стоны голодные?*» И переполненное горечью сердце внушаетъ ему такіе мысли, вызываетъ наружу такіе инстинкты, которыхъ онъ самъ испугался и отрекся бы въ обыкновенномъ положеніи, но которые теперь сами собою неодолимо являются во всей своей силѣ. «Теперь на меня такая тоска нашла, — пишетъ разгоряченный Дѣвушкинъ, — *что я самъ своимъ мыслямъ до глубины души сталъ сочувствовать*, и хотя я самъ знаю, маточка, что этимъ сочувствіемъ не возьмешь, но все-таки *нѣкоторымъ образомъ справедливость создашь себѣ*. И подлинно, родная моя, часто самого себя *безъ всякой причины уничтожаешь*, въ грошъ не ставишь и ниже щенки какой-нибудь сортируешь. А если сравненіемъ выразиться, такъ это, можетъ-быть, оттого проиходитъ, что я самъ *запуганъ и загнанъ*, какъ хоть бы и тотъ бѣденскій мальчикъ, что милостыни у меня просилъ». Вотъ этакія-то мысли, западая въ человека и развиваясь въ немъ съ необычайною быстротою и силою при помощи его природныхъ инстинктовъ, и губятъ всеобщую тишину и спокойствіе въ томъ идеальномъ общественномъ механизмѣ, который такъ отрадно рисовался намъ выше. И нельзя сказать, чтобы авторъ здѣсь выдумывалъ, клеветалъ на человѣческую природу.

Слѣдовало бы описать, что, при всеобщемъ стремленіи къ поддержанію своего человѣческаго достоинства, исчезнуть и тѣ забытыя личности, которыхъ нѣсколько экземпляровъ взяли мы у г. Достоевскаго. Однакожъ, оглянитесь вокругъ себя — вы видите, что онѣ не исчезли, что герои г. Достоевскаго явленіе вовсе не отжившее. Отчего же они такъ крѣпятся? Хорошо, что ли, имъ? Нѣтъ, мы видѣли, что никому изъ нихъ не приноситъ особеннаго счастья его забитость, безотвѣтность и отреченіе отъ собственной воли, отъ собственной личности. Замерло, что ли, въ нихъ все человѣческое? Нѣтъ, и не замерло. Мы нарочно прослѣдили четыре лица, болѣе или менѣе удачно

изображенныхъ авторомъ, и нашли, что живы эти люди, и жива душа ихъ. Они тупѣютъ, забываются въ полуживотномъ снѣ; обезличиваются, стираются, теряютъ, повидимому, и мысль, и волю и еще нарочно объ этомъ стараются, отгоняя отъ себя всякія наважденія мысли и увѣряя себя, что это не ихъ дѣло... Но искра Божья все-таки тлѣется въ нихъ, и никакими средствами, пока живъ человекъ, невозможно потушить ее. Можно стереть человека, обратить въ грязную ветошку, но все-таки гдѣ-нибудь, въ самыхъ грязныхъ складкахъ этой ветошки, сохранится и чувство, и мысль, — хоть и безотвѣтныя, незамѣтныя, но все же чувство и мысль... А что же въ нихъ, если они незамѣтны и безотвѣтны, скажете, читатель. Все равно значить, что ихъ и нѣтъ. И вотъ поэтому-то, вѣроятно, и продолжаютъ до сихъ поръ существовать эти несчастныя созданія, забытыя до степени грязной ветоши, о которую обтираютъ ноги.

Мало ли что незамѣтно, читатель, — незамѣтно потому, что не хотятъ замѣчать. Незамѣтно до поры до времени, но бываетъ такая пора, что все выходитъ наружу. Вѣдь вотъ г. Достоевскій нашелъ же возможность подсмотреть живую душу въ отупѣвшихъ, одеревенѣлыхъ чертахъ своихъ героев. А бываютъ такіе случаи, что «безотвѣтное» чувство, глубоко запрятанное въ человекѣ, вдругъ громко отзовется, и всѣ услышатъ его. Дѣло въ томъ, что въ человекѣ ничѣмъ незаглушимо чувство справедливости и правомѣрности; онъ можетъ смотрѣть безмолвно на всякія неправды, можетъ терпѣть всякія обиды безъ ропота, не выразить ни однимъ знакомъ своего негодованія; но все-таки онъ не можетъ быть нечувствителемъ къ неправдѣ, насколько ее видитъ и понимаетъ, все-таки въ душѣ его больно отзывается обида и униженіе, терпѣнію даже самого убитаго и трусливаго человека всегда есть предѣлъ. вмѣстѣ съ тѣмъ, въ человекѣ необходимо есть чувство любви; всякій имѣетъ кого-нибудь, дорогого для себя, — друга, жену, дѣтей, родныхъ, любовницу. На ихъ примѣриваетъ онъ свое положеніе, ихъ сравниваетъ съ другими, объ ихъ довольствѣ думаетъ, и со стороны ему разсуждается волюнѣ и яснѣ. Себя, положимъ, Макаръ Алексѣичъ обрекъ на горькую долю и о себѣ не жалѣетъ: «Я ужъ, говорить, таковскій, пусть мною всѣ помыкають... и не доѣмъ-то я — не бѣда, и обидятъ-то меня — такъ не великъ баринъ». Но вотъ его чувство обращается на чистое, нѣжное существо, которое дѣлается ему всего дороже въ жизни, на Вареньку: онъ уже предается сожалѣнію о ея несчастіяхъ, находитъ ихъ незаслуженными, заглядываетъ въ кареты и видитъ, что тамъ барыни сидятъ все гораздо хуже Вареньки; ему уже приходятъ въ голову мысли о несправедливости судьбы, ему становится какъ-то враждебнымъ весь этотъ людъ, развѣзжающій въ

каретахъ и перепархивающій изъ одного великолѣпнаго магазина въ другой, — словомъ, скрытая боль, накопившаяся въ груди, подымается наружу и даетъ себя чувствовать. И бываетъ это вовсе не такъ рѣдко, какъ можно предполагать, не зная дѣла; бываетъ это тѣмъ чаще, что въ большинствѣ случаевъ человѣкъ загнанный и забитый бываетъ крайне стѣсненъ и въ матеріальномъ отношеніи, а между тѣмъ принужденъ бываетъ выполнять разныя общественныя условія. Макарь Алексѣичъ сокрушается, что скажутъ его превосходительство, увидѣвъ его плачевный вицъ-мундиръ, говоритъ, что пьетъ чай собственно для другихъ, до глубины души возмущается насмѣшкою департамента сторожа, не давшего ему щетки почистить шинель подъ тѣмъ предлогомъ, что объ его шинель казенную щетку можно испортить... Въ самомъ дѣлѣ, каково положеніе: поставленъ человѣкъ въ кругу другихъ, долженъ вести съ ними дѣло, быть одѣтымъ, какъ они, пить и ѣсть, какъ они, и въ то же время онъ лишенъ всякой возможности даже хотъ подражаніе сносное устроить. Ужъ не говоря объ отличныхъ сапогахъ, хотъ бы какіе-нибудь сапоги, — такъ и тѣхъ нѣтъ; были одни, да и у тѣхъ подошвы отстали... Понятны трагическія восклицанія Макара Алексѣича: «Пожалуй, и самъ я скажу, что не пужно его, малодушія-то; да при всемъ этомъ рѣшите сами, въ какихъ сапогахъ я завтра на службу пойду! Вотъ оно что, маточка; а вѣдь подобная мысль погубитъ». И мало ли людей страдающихъ и изнывающихъ въ подобныхъ заботахъ? А еще если есть любимое существо, если есть семейство? Сколько горя, сколько тоски самой прозаической, но оттого не меньше тягостной и ужасной! Средь этихъ-то заботъ чувствуетъ человѣкъ, до чего онъ униженъ, до чего онъ обиженъ жизнью. И въ этомъ-то побужденіи человѣческаго сознанія онъ всего болѣе заслуживаетъ наше сочувствіе, и возможностью подобныхъ сознательныхъ движеній онъ искупаетъ свою противную апатичность. Но отчего же подобныя вспышки «Божьей искры» такъ слабы, такъ бѣдны результатами? Отчего пробужденное на мигъ сознаніе засыпаетъ снова такъ скоро? Отчего человѣческіе инстинкты и чувства такъ мало проявляются въ практической дѣятельности, ограничиваясь больше вздохами да пустыми мечтами?

Да оттого и есть, что у людей, о которыхъ мы говоримъ, ужъ характеръ такой. Вѣдь будь у нихъ другой характеръ не могли бы они быть доведены до такой степени униженія, пошлости и ничтожества. Вопросъ значить о томъ, отчего образуется въ значительной массѣ такіе характеры, какія (общія) условія развиваютъ въ человѣческомъ обществѣ инерцію, въ ущербъ дѣятельности и подвижности силъ?

Можетъ-быть, вина въ нашемъ національномъ характерѣ? Но вѣдь этимъ вопросъ не рѣшается, а только отдалается: отчего же національный характеръ сложился такой по преимуществу инертный и слабый? Придется только рѣшеніе, вмѣсто настоящаго времени, перевести на историческую почву.

Притомъ же это еще вопросъ спорный: вѣдь немало кричать у насъ и о ширинѣ, и о размашистости русской натуры. Не произнесемъ своего сужденія о всемъ народѣ: мы имѣемъ въ виду лишь одинъ ограниченный кругъ его. Но признаться подобно—забавны восторги этой размашистостью, выражающеюся въ томъ, что иные господа парятся въ баняхъ, поддавая на каменку шампанское, другіе бьютъ посуду и зеркала въ трактирахъ, третьи проводятъ всю жизнь въ псовой охотѣ, а въ прежнія времена такъ еще обращали въ эту охоту и людей, зашивая мелкопомѣстныхъ лизоблюдовъ въ медвѣжьи шкуры и потомъ травя ихъ собаками... Этакая-то размашистость водится во всякомъ невѣжественномъ обществѣ и вездѣ падаетъ съ развитіемъ образованія. Но гдѣ же наша размашистость въ кругу обыкновенныхъ людей, да и откуда ей взяться?

Да, человекъ поглощается и уничтожается общимъ впечатлѣніемъ того громаднаго механизма, котораго онъ не въ состояніи даже объять своимъ разсудкомъ. Подобно древнему язычнику, падавшему ницъ передъ невѣдомыми, грандіозными явленіями природы, падаетъ нынѣшній смертный передъ чудесами высшей цивилизаціи, которая хоть тяжело отзывается на немъ самомъ, но поражаетъ его своими гигантскими размѣрами. Тутъ уже нѣтъ рѣчи о борьбѣ, тутъ и для характеровъ болѣе сильныхъ возможно только бесплодное раздраженіе, желчныя жалобы и отчаяніе. Возьмите хоть опять послѣдній романъ г. Достоевскаго. Вотъ, напримѣръ, сильный, горячій характеръ маленькой Нелли; но посмотрите, какъ она поставлена, и можетъ ли ей въ этой обстановкѣ прійти хоть малѣйшая мысль о борьбѣ—постоянной и правильной? Ея мать умерла, задолжавъ Бубновой; ей печѣмъ похоронить; Нелли осталась безпомощна, беззащитна. Бубнова беретъ ее къ себѣ и вступаетъ, разумѣется, надъ нею во всѣ права воспитательницы и госпожи. Ее бьютъ, мучатъ и тиранятъ всячески, что же съ этимъ дѣлать? Бубнова — ея благодѣтельница, и не будь она, такъ другая на ея мѣстѣ могла бы дѣлать то же самое... Нелли даже злобно рада своимъ побоямъ: она считаетъ ихъ уплатою за кусокъ хлѣба и за отренье, какое даетъ ей Бубнова. Но ей тяжело другое: она видитъ, къ чему ее готовитъ Бубнова, ей и обидно, и страшно, и горько... Но опять — что же она сдѣлаетъ? Вѣдь не зарѣзать же Бубнову? А убѣжать отъ нея—куда убѣжишь, чтобы не нашли? И вотъ она продана, и избавляется случайнымъ образомъ,

когда уже надъ нею готово совершиться мерзкое преступленіе... Затѣмъ — она знаетъ, что она дочь, законная дочь князя. Но что же изъ этого? Нужны документы, у меня ихъ нѣтъ; нужно быть юристомъ, чтобы затѣять дѣло, да и то у князя есть деньги и связи подѣйствительнѣе всѣхъ юристовъ... Бѣдная Нелли хотъ и попадаетъ подъ конецъ къ добрымъ людямъ, но ее постоянно возмущаетъ чувство, что она живетъ у чужихъ людей изъ милости...

Ну да это, положимъ, ребенокъ. Возьмемъ изъ того же романа другое лицо — Ихменева. Это характеръ крѣпкій, но крѣпкій не на борьбу, а на упорство въ раздраженіи. Свой гнѣвъ, свою горечь онъ изливаетъ то на безотвѣтную жену, то на дочь, которую страстно любитъ, но тѣмъ не менѣе проклиняетъ нѣсколько разъ. Отчего онъ всю силу свою не употребить прямо куда слѣдуетъ, — противъ своего обидчика — князя?.. Да онъ бы и желалъ этого болѣе всего на свѣтѣ; но въ дѣлахъ съ княземъ надо соблюдать установленныя церемоніи и условія. Затѣмъ процессъ — ну, и идетъ онъ неспѣшно, годами, по заведенному порядку, кончается въ пользу князя, — сколько ни апеллируй — все въ его пользу... Приходится платить, продавать съ аукціона Ихменевку... Вѣдь знаетъ и чувствуетъ старикъ, что это несправедливо, оскорбительно, безсовѣстно, но какъ же это передѣлаешь? [И въ чемъ тутъ сила? Даже и не въ князѣ] хотъ убей Ихменевъ князя, а деревню его все-таки продадутъ... (да и убить-то князя нельзя: онъ такъ хорошо огражденъ!) Ихменевъ возымѣлъ было это намѣреніе, узнавъ, что князь сказалъ одному чиновнику, что «вслѣдствіе нѣкоторыхъ семейныхъ обстоятельствъ» хотъ возвратить старику штрафы съ него 10 тысячъ. Это значило назначить плату за безчестіе его дочери. Старикъ расходился и рѣшилъ вызвать князя на дуэль.

Такъ, стало-быть, положеніе этихъ несчастныхъ, забытыхъ, униженныхъ и оскорбленныхъ людей совѣмъ безвыходно? Только имъ и остается, что молчать и терпѣть, да, обратившись въ грязную ветошку, хранишь въ самыхъ дальнихъ складахъ ея свои безотвѣтныя чувства?

Не знаю, можетъ-быть, и есть выходъ. Мы нашли, что забытыхъ, униженныхъ и оскорбленныхъ личностей у насъ много въ среднемъ классѣ, что имъ тяжело и въ нравственномъ, и въ физическомъ смыслѣ, что, несмотря на наружное примиреніе съ своимъ положеніемъ, они чувствуютъ его горечь, готовы на раздраженіе и протестъ, жаждутъ выхода... Но тутъ и кончается предѣлъ нашихъ наблюденій. Гдѣ этотъ выходъ, когда и какъ — это должна показать сама жизнь. Мы только стараемся идти за нею и представлять для людей, которые не любятъ или не умѣютъ слѣдить сами за ея явленіями, то или дру-



гое изъ общихъ положеній дѣйствительности. Берите же, пожалуй, сообщенное въ печати, какъ матеріалъ для вашихъ соображеній; но, главное, слѣдите за непрерывнымъ, стройнымъ, могучимъ, ничѣмъ неслержимымъ теченіемъ жизни и будьте живы, а не мертвы... Со времени появленія Макара Алексѣича съ братіею жизнь уже сдѣлала многое, только это многое еще не формулировано. Мы замѣтили между прочимъ общее стремленіе къ возстановленію человѣческаго достоинства и полноправности во всѣхъ и каждомъ. Можетъ-быть, здѣсь уже и открывается выходъ изъ горькаго положенія загнанныхъ и забытыхъ, конечно, не ихъ собственными усиліями, но при помощи характеровъ, менѣе подвергшихся тяжести подобнаго положенія, убивающаго и гнетающаго. И вотъ этимъ-то людямъ, имѣющимъ въ себѣ достаточную волю инициативы, полезно знать, что большая часть этихъ забытыхъ, которыхъ они считали, можетъ-быть, пропавшими и умершими нравственно, все-таки крѣпко и глубоко, хотя и затаенно даже для себя самихъ, хранитъ въ себѣ живую душу и вѣчно неисторжимое никакими муками сознаніе своего человѣческаго права на жизнь и счастье.

*Добролюбовъ.*

## РѢЧИ О ДОСТОЕВСКОМЪ.

### Первая рѣчь.

Уже являются художники, которые, исходя изъ господствующаго реализма и еще оставаясь въ значительной мѣрѣ на его низшей почвѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ доходятъ до религіозной истины, связываютъ съ нею задачи своихъ произведеній, изъ нея почерпаютъ свой общественный идеалъ, ею освящаютъ свое общественное служеніе. Если въ современномъ реалистическомъ художествѣ мы видимъ какъ бы предсказаніе новаго религіознаго искусства, то это предсказаніе уже начинаетъ сбываться. Еще нѣтъ представителей этого новаго религіознаго искусства, но уже являются его предтечи. Такимъ предтечей былъ и Достоевскій.

По роду своей дѣятельности принадлежа къ художникамъ-романистамъ и уступая нѣкоторымъ изъ нихъ въ томъ или другомъ отношеніи, Достоевскій имѣетъ передъ ними всѣми то главное преимущество, что видитъ не только вокругъ себя, но и далеко впереди себя...

Кромѣ Достоевскаго, всѣ наши лучшіе романисты берутъ окружающую ихъ жизнь такъ, какъ они ее застали, какъ она сложилась и выразилась, — въ ея готовыхъ, твердыхъ и ясныхъ формахъ. Таковы въ особенности романы Гончарова и графа Льва Толстого. Оба они воспроизводятъ русское общество, выработанное вѣками (помѣщиковъ, чиновниковъ, иногда крестьянъ) въ его бытовыхъ, давно суще-

ствующихъ, а частью отжившихъ или отживающихъ формахъ. Романы этихъ двухъ писателей рѣшительно однородны по своему художественному предмету, при всей особенноти ихъ талантовъ. Отличительная особенность Гончарова — это сила художественнаго обобщенія, благодаря которой онъ могъ создать такой всероссійскій типъ, какъ Обломовъ, равнаго которому «по широтѣ» мы не находимъ ни у одного изъ русскихъ писателей. Что же касается до Л. Толстого, то всѣ его произведенія отличаются не столько широтой типовъ (ни одинъ изъ его героев не сталъ нарицательнымъ именемъ), сколько мастерствомъ въ детальной живописи, яркимъ изображеніемъ всяческихъ подробностей въ жизни человѣка и природы, главная же его сила въ тончайшемъ воспроизведеніи *«механизма душевныхъ явленій»*. Но и эта живопись внѣшнихъ подробностей, и этотъ психологическій анализъ являются на неизмѣнномъ фонѣ готовой, сложившейся жизни, именно жизни русской дворянской семьи, отбѣняемой еще болѣе неподвижными образами изъ простаго люда.

Совершенно противоположный характеръ представляетъ художественный міръ Достоевскаго. Здѣсь все въ броженіи, ничто не установилось, все еще только становится. Предметъ романа здѣсь не «быть» обществу, а общественное «движеніе». Изъ всѣхъ нашихъ замѣчательныхъ романистовъ одинъ Достоевскій взялъ общественное движеніе за главный предметъ своего творчества. Обыкновенно съ нимъ сопоставляютъ въ этомъ отношеніи Тургенева, но безъ достаточнаго основанія. Чтобы характеризовать общее значеніе писателя, надо брать его лучшія, а не худшія произведенія. Лучшія же произведенія Тургенева, въ особенности «Записки охотника» и «Дворянское гнѣздо», представляютъ чудесныя картины никакъ не общественнаго движенія, а лишь общественнаго «состоянія», — того же стараго дворянскаго міра, который мы находимъ у Гончарова и Л. Толстого. Хотя затѣмъ Тургеневъ постоянно слѣдилъ за нашимъ общественнымъ движеніемъ и отчасти подчинялся его вліянію, но смыслъ этого движенія не былъ имъ угаданъ, и романъ, специально посвященный этому предмету («Новь»), оказался совершенно неудачнымъ.

Достоевскій не подчинялся вліянію господствовавшихъ кругомъ него стремленій, не слѣдовалъ покорно за фазисами общественнаго движенія, — онъ предугадывалъ повороты этого движенія и заранее «судилъ» ихъ. А судить онъ могъ по праву, ибо имѣлъ у себя мѣрило сужденія въ своей вѣрѣ, которая ставила его выше господствующихъ теченій, позволяла ему видѣть гораздо дальше этихъ теченій и не увлекаться ими. Въ силу своей вѣры, Достоевскій вѣрно предугадывалъ высшую, далекую цѣль всего движенія, ясно видѣлъ его уклоненія отъ этой цѣли, по праву судилъ и справедливо осуждалъ ихъ.

Это справедливое осужденіе относилось только къ невѣрнымъ путямъ и дурнымъ приемамъ общественнаго движенія, а не къ самому движенію, необходимому и желанному; это осужденіе относилось къ низменному пониманію общественной правды, къ ложному общественному идеалу, а не къ исканію общественной правды, не къ стремленію осуществить общественный идеалъ. Этотъ послѣдній и для Достоевскаго былъ впереди: онъ вѣрилъ не въ прошедшее только, но и въ грядущее царство Божіе, и понималъ необходимость труда и подвига для его осуществленія. Кто знаетъ истинную цѣль движенія, тотъ можетъ и долженъ судить уклоненія отъ нея. А Достоевскій тѣмъ болѣе имѣлъ на это право, что онъ самъ первоначально испыталъ тѣ уклоненія, самъ стоялъ на той невѣрной дорогѣ. Положительный релігіозный идеалъ, такъ высоко поднявшій Достоевскаго надъ господствующими теченіями общественной мысли, этотъ положительный идеалъ не дался ему сразу, а былъ выстраданъ имъ въ тяжелой и долгой борьбѣ. Онъ судилъ о томъ, что знаетъ, и судъ его былъ праведенъ. И чѣмъ яснѣе становилась для него высшая истина, тѣмъ рѣшительнѣе долженъ былъ онъ осуждать ложные пути общественнаго дѣйствія.

Общій смыслъ всей дѣятельности Достоевскаго, или значеніе Достоевскаго, какъ общественнаго дѣятеля, состоитъ въ разрѣшеніи этого двойного вопроса: о высшемъ идеалѣ общества и настоящемъ пути къ его достиженію.

Законная причина социальнаго движенія заключается въ противорѣчій между нравственными требованіями личности и сложившимся строемъ общества. Отсюда началъ и Достоевскій; какъ описатель, толкователь и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣятельный участникъ новаго общественнаго движенія. Глубокое чувство общественной неправды, хотя и въ самой безобидной формѣ, высказалось въ его первой повѣсти «Бѣдные люди». Соціальный смыслъ этой повѣсти (къ которой примыкаетъ и позднѣйшій романъ «Униженные и оскорбленные») сводится къ той старой и вѣчно новой истинѣ, что при существующемъ порядкѣ вещей «лучшіе» (нравственно) люди суть вмѣстѣ съ тѣмъ «худшіе» для общества, что имъ суждено быть бѣдными людьми, униженными и оскорбленными <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Это та же самая тема, какъ въ «Les Misérables» Виктора Гюго: контрастъ между внутреннимъ нравственнымъ достоинствомъ человека и его социальнымъ положеніемъ. Достоевскій очень высоко цѣнилъ этотъ романъ, и самъ подвергся нѣкоторому, хотя довольно поверхностному вліянію Виктора Гюго (склонность къ апитезамъ). Болѣе глубокое вліяніе, помимо Пушкина и Гоголя, оказали на него Диккенсъ и Жоржъ Зандъ.

Если бы социальная неправда осталась для Достоевскаго только темой повѣсти или романа, то и онъ самъ остался бы только литераторомъ и не достигъ бы своего особаго значенія въ жизни русскаго общества. Но для Достоевскаго содержаніе его повѣсти было вмѣстѣ съ тѣмъ жизненною задачею. Онъ сразу поставилъ вопросъ на нравственную и практическую почву. Увидавъ и осудивъ то, что дѣлается на свѣтѣ, онъ спросилъ: что же должно сдѣлать?

Прежде всего представилось простое и ясное рѣшеніе: лучшие люди, видящіе на другихъ и на себѣ чувствовавшіе общественную неправду, должны, соединившись, возстать противъ нея и пересоздать общество по-своему.

Когда первая наивная попытка <sup>1)</sup> исполнить это рѣшеніе привела Достоевскаго къ эшафоту и на каторгу, онъ, какъ и его товарищи, сначала могъ видѣть въ такомъ исходѣ своихъ замысловъ только свою неудачу и чужое насилие. Приговоръ, его постигшій, былъ суровъ. Но чувство обиды не помѣшало Достоевскому понять, что онъ былъ неправъ съ своимъ замысломъ социального переворота, который былъ нуженъ только ему съ товарищами.

Среди ужасовъ мертваго дома Достоевскій впервые сознательно повстрѣчался съ правдой народнаго чувства и въ его свѣтѣ ясно увидѣлъ неправоту своихъ революціонныхъ стремленій. Товарищи Достоевскаго по острогу были въ огромномъ большинствѣ изъ простого народа и, за немногими яркими исключеніями, все это были худшіе люди народа. Но и худшіе люди простого народа обыкновенно сохраняютъ то, что теряютъ люди интеллигенціи: вѣру въ Бога и сознаніе своей грѣховности. Простые преступники, выдѣляясь изъ народной массы своими дурными дѣлами, нисколько не отдѣляются отъ нея въ своихъ чувствахъ и взглядахъ, въ своемъ религіозномъ міросозерцаніи. Въ мертвомъ домѣ Достоевскій нашелъ настоящихъ «бѣдныхъ (или, по народному выраженію, несчастныхъ) людей». Тѣ прежніе, которыхъ онъ оставилъ за собою, еще имѣли убѣжище отъ общественной обиды въ чувствѣ собственнаго достоинства, въ своемъ минимомъ превосходствѣ. У каторжниковъ «этого» не было, но было нѣчто большее. Худшіе люди мертваго дома возвратили Достоевскому то, что отняли у него лучшие люди интеллигенціи. Если тамъ, среди представителей просвѣщенія, остатокъ религіознаго чувства заставлялъ его блѣднѣть отъ богохульствъ передоваго литератора, то тутъ, въ мертвомъ домѣ, это чувство должно было воскреснуть и обновиться подъ впечатлѣніемъ смиренной и благочестивой вѣры каторжниковъ. Какъ бы забытые Цер-

<sup>1)</sup> Наивная собственно со стороны Достоевскаго, которому пути социального переворота представлялись въ весьма неопредѣленныхъ чертахъ.

ковью, придавленные государствомъ, — эти люди вѣрили въ Церковь и не отвергали государства. И въ самую тяжелую минуту за буйной и свирѣпой толпой каторжниковъ всталъ въ памяти Достоевскаго величавый и кроткій образъ крѣпостного мужика Марея, съ любовью ободряющаго испуганнаго барчонка. И онъ почувствовалъ, что передъ этой высшей Божьей правдой всякая своя самодѣльная правда есть ложь, а попытка навязать эту ложь другимъ есть преступленіе.

Вмѣсто злобы неудачнаго революціонера, Достоевскій вынесъ изъ каторги свѣтлый взглядъ нравственно возрожденнаго человѣка: «Больше вѣры, больше единства, а если любовь къ тому, то все сдѣлано», писалъ онъ. Эта нравственная сила, обновленная соприкосновеніемъ съ народомъ, дала Достоевскому право на высокое мѣсто впереди нашего общественнаго движенія не какъ служителю злобы дня, а какъ истинному двигателю общественной мысли.

Положительный общественный идеалъ еще не былъ воплощѣнъ уму Достоевскаго по возвращеніи изъ Сибири. Но три истины въ этомъ дѣлѣ были для него совершенно ясны: онъ понималъ прежде всего, что отдѣльные лица, хотя бы и лучшіе люди, не имѣютъ права насиловать общество во имя своего личнаго превосходства; онъ понималъ также, что общественная правда не выдумывается отдѣльными умами, а коренится во всенародномъ чувствѣ, и, наконецъ, онъ понималъ, что эта правда имѣетъ значеніе религіозное и необходимо связана съ вѣрой Христовой, съ идеаломъ Христа.

Въ сознаніи этихъ истинъ Достоевскій далеко опередилъ господствовавшее тогда направленіе общественной мысли и, благодаря этому, могъ «предугадать» и указать, куда ведетъ это направленіе. Извѣстно, что романъ «Преступленіе и наказаніе» написанъ какъ разъ передъ преступленіемъ Данилова <sup>1)</sup> и Каракозова, а романъ «Бѣсы» — передъ процессомъ Нечаевцевъ. Смыслъ перваго изъ этихъ романовъ, при всей глубинѣ подробностей, очень простъ и ясенъ, хотя многими и не былъ понятъ. Главное дѣйствующее лицо — представитель того воззрѣнія, по которому всякій сильный человѣкъ самъ себя господинъ и ему все позволено. Во имя своего личнаго превосходства, во имя того, что онъ «сила», онъ считаетъ себя въ правѣ совершить убійство и, дѣйствительно, его совершаетъ. Но вотъ вдругъ то дѣло, которое онъ считалъ только нарушеніемъ виѣшняго безсмысленнаго закона и смѣлымъ вызовомъ общественному предразсудку, — вдругъ оно оказывается для его собственной совѣсти чѣмъ-то гораздо большимъ, оказывается грѣхомъ, нарушеніемъ внутренней нравственной правды. Нарушеніе виѣш-

<sup>1)</sup> Даниловъ — студентъ Московскаго университета, убившій и ограбившій ростовщика, имѣя при этомъ какіе-то особые планы.



няго закона получает законное возмездіе извѣ въ ссылкѣ и каторгѣ, но внутренній грѣхъ гордости, отдѣлившій сильнаго человѣка отъ чело-вѣчества и приведшій его къ челоуѣкоубійству, — этотъ внутренній грѣхъ самообоготворенія можетъ быть искупленъ только внутреннимъ нравственнымъ подвигомъ самоотреченія. Безпредѣльная самоувѣренность должна исчезнуть передъ вѣрой въ то, что больше, себя и самодѣльное оправданіе должно смириться передъ высшей правдой Божіей, живущей въ тѣхъ самыхъ простыхъ и слабыхъ людяхъ, на которыхъ сильный челоуѣкъ смотрѣлъ какъ на ничтожныхъ насѣкомыхъ.

Въ «Бѣсахъ» та же тема если не углублена, то значительно расширена и усложнена. Цѣлое общество людей, одержимыхъ мечтой о насильственномъ переворотѣ, чтобы передѣлать міръ по-своему, совершаютъ звѣрскія преступленія и гибнутъ позорнымъ образомъ, а исцѣленная вѣрой Россія склоняется передъ своимъ Спасителемъ.

Общественное значеніе этихъ романовъ велико; въ нихъ «предсказанья» важныя общественныя явленія, которые не замедлили обнаружиться; вмѣстѣ съ тѣмъ эти явленія осуждены во имя высшей религіозной истины, и указанъ лучшій исходъ для общественнаго движенія въ принятіи этой самой истины.

Осуждая исканія самовольной отвлеченной правды, порождающія только преступленія, Достоевскій противопоставляетъ имъ народный религіозный идеалъ, основанный на вѣрѣ Христовой. Возвращеніе къ этой вѣрѣ есть общій исходъ и для Раскольниковова, и для всего одержимаго бѣсами общества. Одна лишь вѣра Христова, живущая въ народѣ, содержитъ въ себѣ тотъ положительный общественный идеалъ, въ которомъ отдѣльная личность солидарна со всѣми. Отъ личности же, утратившей эту солидарность, прежде всего требуется, чтобы она отказалась отъ своего гордаго уединенія, чтобы нравственнымъ актомъ самоотверженія она воссоединилась духовно съ цѣлымъ народомъ. Но во имя чего же? Во имя ли того только, что онъ — народъ, и что шестьдесятъ милліоновъ больше, чѣмъ единица или чѣмъ тысяча? Вѣроятно, есть люди, которые именно такъ и понимаютъ. Но такое слишкомъ ужъ простое пониманіе было совершенно чуждо Достоевскому. Требуя отъ уединившейся личности возвращенія къ народу, онъ прежде всего имѣлъ въ виду возвращеніе къ той истинной вѣрѣ, которая еще хранится въ народѣ. Въ томъ общественномъ идеалѣ братства или всеобщей солидарности, которому вѣрилъ Достоевскій, главнымъ было его религіозно-нравственное, а не національное значеніе. Уже въ «Бѣсахъ» есть рѣзкая насмѣшка надъ тѣми людьми, которые поклоняются народу только за то, что онъ народъ, и цѣнять православіе лишь какъ атрибутъ русской народности.

Если мы хотимъ однимъ словомъ обозначить тотъ общественный идеаль, къ которому пришелъ Достоевскій, то это слово будетъ не народъ, а «Церковь».

Мы вѣримъ въ Церковь какъ въ мистическое тѣло Христово; мы знаемъ Церковь также какъ собраніе вѣрующихъ того или другого исповѣданія. Но что такое Церковь какъ общественный идеаль? Достоевскій не имѣлъ никакихъ богословскихъ притязаній, а потому и мы не имѣемъ права искать у него какихъ-нибудь логическихъ опредѣленій Церкви по существу. Но, проповѣдуя Церковь какъ общественный идеаль, онъ выражалъ вполне ясное и опредѣленное требованіе, столь же ясное и опредѣленное (хотя прямо противоположное), какъ и то требованіе, которое заявляется европейскимъ социализмомъ. (Поэтому въ своемъ послѣднемъ дневникѣ Достоевскій и называлъ народную вѣру въ Церковь нашимъ русскимъ социализмомъ.) Европейскіе социалисты требуютъ насильственного низведенія всѣхъ къ одному чисто матеріальному уровню сытыхъ и самодовольныхъ рабочихъ, требуютъ низверженія государства и общества на стень простой экономической ассоціаціи. «Русскій социализмъ», о которомъ говорилъ Достоевскій, напротивъ, «возвышаетъ» всѣхъ до нравственнаго уровня Церкви, какъ духовнаго братства, хотя и съ сохраненіемъ вѣшняго неравенства социальныхъ положеній, требуетъ одухотворенія всего государственнаго и общественнаго строя черезъ воплощеніе въ немъ истины и жизни Христовой.

Церковь, какъ положительный идеаль, должна была явиться центральною идеей новаго романа или новаго ряда романовъ, изъ которыхъ написанъ только первый — «Братья Карамазовы».

Если этотъ общественный идеаль Достоевскаго прямо противоположенъ идеалу тѣхъ современныхъ дѣятелей, которые изображены въ «Бѣсахъ», точно такъ же противоположны для нихъ и пути достиженія. Тамъ путь есть насиліе и убійство, здѣсь путь есть «нравственный по-



Владимиръ Сергѣевичъ Соловьевъ.

двигъ», и при томъ двойной подвигъ, двойной актъ нравственнаго самоотреченія. Прежде всего требуется отъ личности, чтобы она отрелась отъ своего произвольнаго мнѣнія, отъ своей самодѣльной правды во имя общей всенародной вѣры и правды. Личность должна преклониться передъ народною вѣрой, но не потому, что она народная, а потому, что она истинная. А если такъ, то значить и народъ во имя этой истины, въ которую онъ вѣритъ, долженъ отречься и отрѣшиться отъ всего въ немъ самомъ, что не согласуется съ религіозною истиной.

Обладаніе истиной не можетъ составлять привилегіи народа, такъ же какъ оно не можетъ быть привилегіей отдѣльной личности. Истина можетъ быть только «вселенскою», и отъ народа требуется подвигъ служенія этой вселенской истинѣ, хотя бы, и даже «непремѣнно», съ пожертвованіемъ своего національнаго эгоизма. И народъ долженъ оправдать себя передъ вселенской правдой, и народъ долженъ положить душу свою, если хочетъ спасти ее.

Вселенская правда воплощается въ Церкви. Окончательный идеаль и цѣль не въ народности, которая сама по себѣ есть только служебная сила, а въ Церкви, которая есть высшій предметъ служенія, требующій нравственнаго подвига не только отъ личности, но и отъ цѣлаго народа.

Итакъ, Церковь, какъ положительный общественный идеаль, какъ основа и цѣль всѣхъ нашихъ мыслей и дѣлъ, и всенародный подвигъ, какъ прямой путь для осуществленія этого идеала, — вотъ послѣднее слово, до котораго дошелъ Достоевскій, и которое озарило всю его дѣятельность пророческимъ свѣтомъ.

### Вторая рѣчь.

Я буду говорить только о самомъ главнѣйшемъ и существенномъ въ дѣятельности Достоевскаго. При такой богатой и сложной натурѣ, какая была у Достоевскаго, при необыкновенной его впечатлительности и отзывчивости на всѣ явленія жизни, его духовный міръ представлялъ слишкомъ великое разнообразіе чувствъ, мыслей и порывовъ, чтобы можно было возсоздать его въ краткой рѣчи. Но, отзываясь на все съ такимъ душевнымъ жаромъ, онъ всегда признавалъ только одно, какъ главное и безусловно необходимое, къ чему все остальное должно приложиться. Эта центральная идея, которой служилъ Достоевскій во всей своей дѣятельности, была христіанская идея свободнаго всечеловѣческаго единенія, всемірнаго братства во имя Христова. Эту идею проповѣдывалъ Достоевскій, когда говорилъ объ истинной Церкви, о вселенскомъ православіи; въ ней же онъ видѣлъ ду-

ховную, еще не проявленную сущность русскаго народа, всемірно-историческую задачу Россіи, то новое слово, которое Россія должна сказать міру.

Не смущаясь анти-христіанскимъ характеромъ всей нашей жизни и дѣятельности, не смущаясь безжизненностью и бездѣйствіемъ нашего христіанства, Достоевскій вѣрилъ и проповѣдывалъ христіанство живое и дѣятельное, вселенскую Церковь, всемірное православное дѣло. Онъ говорилъ не о томъ только, что есть, а о томъ, что должно быть. Онъ говорилъ о вселенской православной Церкви не только какъ о божественномъ учрежденіи, неизмѣнно пребывающемъ, но и какъ о задачѣ всечеловѣческаго соединенія во имя Христова и въ духѣ Христовомъ — въ духѣ любви и милосердія, подвига и самопожертвованія. Истинная Церковь, которую проповѣдывалъ Достоевскій, есть всечеловѣческая, прежде всего въ томъ смыслѣ, что въ ней должны въ конецъ исчезнуть раздѣленія человѣчества на соперничающіе и враждебныя между собою племена и народы. Всѣ они, не теряя своего національнаго характера, а лишь освобождаясь отъ своего національнаго эгоизма, могутъ и должны соединиться въ одномъ общемъ дѣлѣ всемірнаго возрожденія. Поэтому Достоевскій, говоря о Россіи, не могъ имѣть въ виду національнаго обособленія. Напротивъ, все назначеніе русскаго народа онъ полагалъ въ служеніи истинному христіанству, въ немъ же нѣтъ ни эллина, ни іудея. Правда, онъ считалъ Россію избраннымъ народомъ Божиимъ, но избраннымъ не для соперничества съ другими народами и не для господства и первенства надъ ними, а для свободнаго служенія всѣмъ народамъ и для осуществленія, въ братскомъ союзѣ съ ними, истиннаго всечеловѣчества, или вселенской Церкви.

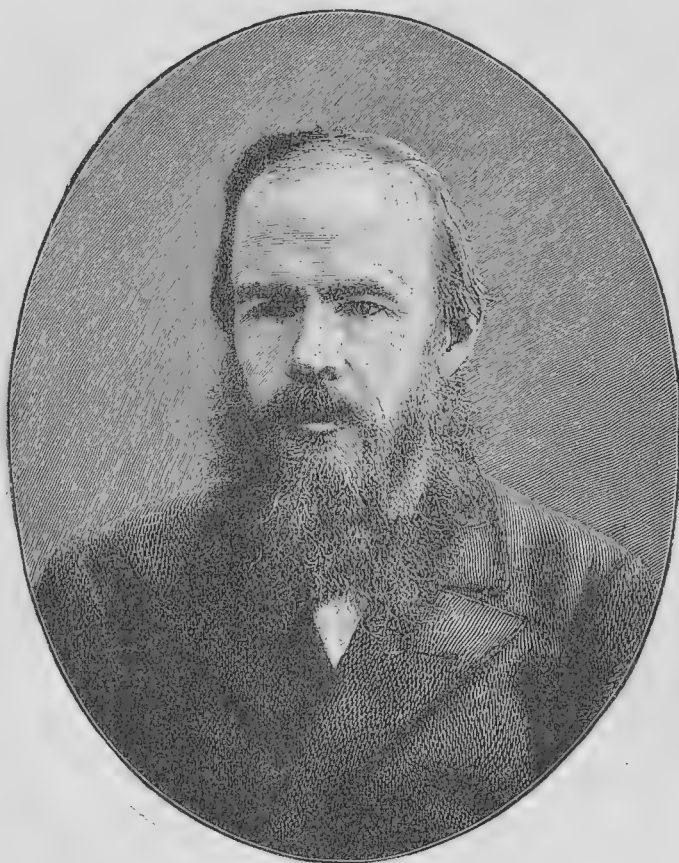
Достоевскій никогда не идеализировалъ народъ и не поклонялся ему, какъ кумиру. Онъ вѣрилъ въ Россію и предсказывалъ ей великое будущее, но главнымъ задаткомъ этого будущаго была въ его глазахъ именно слабость національнаго эгоизма и исключительности въ русскомъ народѣ. Двѣ въ немъ черты были особенно дороги Достоевскому. Во-первыхъ, необыкновенная способность усваивать духъ и идеи чужихъ народовъ, перевоплощаться въ духовную суть всѣхъ націй — черта, которая особенно выразилась въ поэзіи Пушкина. Вторая, еще болѣе важная черта, которую Достоевскій указывалъ въ русскомъ народѣ, это — сознаніе своей грѣховности, неспособность возводить свое несовершенство въ законъ и право и успокоиваться на немъ: отсюда требованіе лучшей жизни, жажда очищенія и подвига. Безъ этого нѣтъ истинной дѣятельности ни для отдѣльнаго лица, ни для цѣлаго народа. Какъ бы глубоко ни было паденіе человѣка или народа, какою бы скверной ни была наполнена его жизнь, онъ можетъ изъ нея выйти

и подняться, если хочетъ, т.-е. если признаетъ свою дурную дѣйствительность только за дурное, только за фактъ, котораго не должно быть, и не дѣлаетъ изъ этого дурного факта неизмѣнный законъ и принципъ, не возводитъ своего грѣха въ правду. Но если человѣкъ или народъ не мирится съ своей дурной дѣйствительностью и осуждаетъ ее, какъ грѣхъ, это ужъ значитъ, что у него есть какое-нибудь представленіе или идея, или хотя бы только предчувствіе другой, лучшей жизни, того, что должно быть. Вотъ почему Достоевскій утверждалъ, что русскій народъ, несмотря на свои видимый звѣриный образъ, въ глубинѣ души своей носитъ другой образъ — образъ Христовъ, и когда придетъ время, покажетъ его въявь всѣмъ народамъ и привлечетъ ихъ къ Нему, и вмѣстѣ съ ними исполнитъ всечеловѣческую задачу.

А задача эта, т.-е. истинное христіанство, есть всечеловѣческое не въ томъ только смыслѣ, что оно должно соединить все народы одной вѣрой, а главное въ томъ, что оно должно соединить и примирить все человѣческія дѣла въ одно всемірное общее дѣло, безъ него же и общая вселенская вѣра была бы только отвлеченной формулой и мертвымъ догматомъ. А это возсоединеніе общечеловѣческихъ дѣлъ, по крайней мѣрѣ, самыхъ высшихъ изъ нихъ, въ одной христіанской идеѣ Достоевскій не только проповѣдывалъ, но до извѣстной степени и показывалъ самъ въ своей собственной дѣятельности. Будучи религіознымъ человѣкомъ, онъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ вполне свободнымъ мыслителемъ и могучимъ художникомъ. Эти три стороны, эти три высшія дѣла не разграничивались у него между собою и не исключали другъ друга, а входили нераздѣльно во всю его дѣятельность. Въ своихъ убѣжденіяхъ онъ никогда не отдѣлялъ истину отъ добра и красоты; въ своемъ художественномъ творествѣ онъ никогда не ставилъ красоту отдѣльно отъ добра и истины. И онъ былъ правъ, потому что эти три живутъ только своимъ союзомъ. Добро, отдѣленное отъ истины и красоты, есть только неопредѣленное чувство, безцѣльный порывъ; истина отвлеченная есть пустое слово, а красота безъ добра и истины есть кумиръ. Для Достоевскаго же это были только три неразлучные вида одной безусловной идеи. Открывшаяся въ Христѣ безконечность человѣческой души, способной вмѣстѣ въ себя всю безконечность божества, — эта идея есть вмѣстѣ и величайшее добро, и высочайшая истина, и совершеннѣйшая красота. Истина есть добро, мыслимое человѣческимъ умомъ; красота есть то же добро и та же истина, тѣлесно воплощенная въ живой конкретной формѣ. И полное ея воплощеніе — уже во всемъ есть конецъ и цѣль, и совершенство, и вотъ почему Достоевскій говорилъ, что красота спасетъ міръ.

*Влад. Соловьевъ.*





Федоръ Михайловичъ Достоевскій.

## О Достоевскомъ.

Вы, конечно, помните прекрасныя страницы, написанныя Добролюбовымъ по поводу «Униженныхъ и оскорбленныхъ»; а не помните—такъ прочтите. Многое разъяснено въ этой статьѣ. Но она писана въ 1861 году, двадцать лѣтъ тому назадъ, и въ эти двадцать лѣтъ много воды утекло. Прежде всего Добролюбовъ слишкомъ низко цѣнилъ талантъ Достоевскаго и слишкомъ высоко—«здравость» его направленія. Онъ именно видѣлъ въ немъ «слабое, но здраво направленное художественное чутье». Для своего времени этотъ приговоръ былъ вѣренъ, или почти вѣренъ. Но Достоевскій продолжалъ писать и писать. При этомъ общая манера его писанія осталась, та же самая: та же безпричинная перовность изложенія, тѣ же нехудожественныя длинноты и урѣзки; та же невѣроподобность дѣйствующихъ лицъ,

которыя всё, даже самыя глупыя, необыкновенно проинпцательны, всё говорят однимъ и тѣмъ же языкомъ, и притомъ языкомъ автора, и проч. Но Достоевскій писалъ въ этомъ родѣ такъ долго и упорно, что, наконецъ, заставилъ всёхъ съ нимъ помириться. Всякій, принимаясь за новое произведеніе Достоевскаго, зналъ, что найдетъ тамъ много недодѣланнаго, передѣланнаго и невѣроподобнаго, и заранѣе принималъ это почти какъ должное. Но, оставаясь въ отношеніи такъ сказать благоустройства романа самымъ слабымъ изъ нашихъ крупныхъ художниковъ, Достоевскій со временъ Добролюбова значительно выросъ какъ изобразитель внутренней, душевной драмы. «Преступленіе и наказаніе» (высшій моментъ развитія творческой силы Достоевскаго), по сложности мотивовъ и тонкости ихъ разработки, неизмѣримо выше всего, что имѣлъ подъ руками Добролюбовъ. Да и въ послѣдующихъ гораздо уже болѣе слабыхъ вещахъ, въ «Идіотѣ», «Бѣсахъ», «Братьяхъ Карамазовыхъ», есть страницы такого огромнаго достоинства, что о «слабости художественнаго чутья» тутъ, конечно, не можетъ быть и рѣчи. Даже одной «кроткой» достаточно, чтобы видѣть, что художественное чутье этого человѣка было, напротивъ, очень сильно, хотя, вмѣстѣ съ тѣмъ, чрезвычайно неровно и условно: оно покидало его сплошь и рядомъ на десятки, на цѣлыя сотни страницъ, чтобы потомъ вдругъ блеснуть драгоцѣннымъ перломъ и опять исчезнуть.

Но Достоевскій никогда не былъ, что называется «чистымъ» художникомъ; меньше, чѣмъ кого-нибудь, можно его судить судомъ эстетическимъ: это значило бы оставить его совсѣмъ безъ оцѣнки. Мыслитель и публицистъ всегда рѣзко высовывались въ немъ изъ-за художника; а въ послѣдніе годы онъ и формально вступилъ на почву публицистики. И здѣсь опять приговоръ Добролюбова, почти вѣрный для своего времени, требуетъ теперь очень существенныхъ поправокъ и дополненій.

Въ этомъ-то «гуманическомъ», какъ говорилъ Добролюбовъ, направленіи художественнаго чутья онъ и видѣлъ его «здоровость». На этомъ мотивѣ построена вся глубоко-прочувственная статья нашего критика, долго составлявшая исходную точку и программу для сужденій о Достоевскомъ.

Теперь съ насъ довольно того несомнѣннаго факта, что въ «Бѣдныхъ людяхъ» и въ «Униженныхъ и оскорбленныхъ» боль объ униженномъ человѣкѣ и тщательное исканіе въ душѣ его проблесковъ человѣческаго достоинства и протеста — составляютъ, во всякомъ случаѣ, преобладающую струю.

Съ теченіемъ времени эта-то боль объ униженномъ стала осложняться чувствомъ совершенно противоположнымъ, какимъ-то жесто-

кимъ чувствомъ, почти радости, что человѣкъ униженъ; и тщательное изысканіе лежащаго на днѣ души чувства собственнаго достоинства и протеста замѣнилось проповѣдью смиренія и вольнаго или невольнаго (каторжнаго) страданія. Какъ бы кто ни смотрѣлъ на эту перемену, какъ на поворотъ къ лучше или къ худшему, но самый фактъ несомнѣненъ. Прежде Достоевскій съ особенною чуткостью ловилъ въ душѣ униженнаго и оскорбленнаго тотъ мотивъ, что и я, дескать, не хуже другихъ! И если этотъ мотивъ, благодаря запуганности и загнанности униженнаго, прорывался нескладно, комически безобразно, то авторъ съ очевидною болью въ сердцѣ отмѣчалъ этотъ желанный, но неумѣлый взрывъ. Впоследствии, напротивъ, онъ сталъ даже съ гораздо большею жадностью искать въ человѣческой душѣ сознанія грѣховности, сознанія своего ничтожества и мерзости и соотвѣтственной жажды искупленія грѣха страданіемъ. Сообразно этому въ Достоевскомъ измѣнилось и многое другое.

Разумѣется, эта перемена не вдругъ совершилась. Задатки ея, повторяю, можно найти и въ первой половинѣ дѣятельности Достоевскаго. Поворотъ происходилъ съ извѣстною постепенностью, выдвигая впередъ то, что было первоначально едва замѣтно, и отодвигая назадъ то, что прежде ярче всего было въ глаза. И вотъ какъ, мнѣ кажется, этотъ переворотъ въ общихъ чертахъ происходилъ.

Если есть униженные и оскорбленные, то, значить, есть и унижающіе и оскорбляющіе. А если есть боль за униженныхъ и оскорбленныхъ, то какъ слѣдуетъ относиться къ унижающимъ и оскорбляющимъ? На этотъ вопросъ разные люди отвѣчаютъ разнo, т.-е. или прямо словами отвѣчаютъ, или своею дѣятельностью, даже, можетъ быть, не задавая себѣ точно формулированнаго вопроса. Можно во имя возмездія потребовать для унижающихъ кары, такого же униженія и оскорбленія, какое они сами раздаютъ направо и налево. Можно обратиться къ нимъ съ проповѣдью добра и правды, развернувъ передъ ними яркую картину причиняемаго ими страданія, пригрозивъ имъ муками ада или укорами совѣсти. Можно, наконецъ, подняться на очень, повидимому, высокую точку любви и всепрощенія и сказать: эти люди творятъ неправду, но они не вѣдаютъ, что творятъ, отпусти имъ, Боже! Какъ ни разнородны эти три рѣшенія, но все они имѣютъ вопросъ въ предѣлахъ одинаково (хотя и многократно повторяющейся) личности. Возможность новыхъ и новыхъ униженій и оскорбленій, униженій и оскорбленій безъ конца — ни мало ими не колеблется даже въ идеѣ, потому что вся операція подобна рубкѣ лѣса, а не уничтоженію корней, вся она состоитъ въ индивидуально-психологическомъ рѣшеніи задачи. Но можно перенести вопросъ и на общественную почву, которая нисколько не пренятъ

ествуется удовлетворенію личныхъ позывовъ къ возмездію и совершенствованію другихъ и себя. Широкая общественная реформа можетъ (по крайней мѣрѣ, въ идеѣ) вырвать самые корни и оскорбленія, а затѣмъ съ выжившими отпрысками поступайте, пожалуй, какъ хотите: если въ васъ необходимо говорить чувство возмездія — карайте; если вы рассчитываете разбудить въ нихъ совѣсть — будите; если вы склонны къ всепрощающей любви — прощайте. Поступая такъ или иначе, вы удовлетворяете законнымъ требованіямъ своего темперамента и своихъ взглядовъ на личную нравственность. И это прекрасно, коль скоро работа эта происходитъ не въ безвоздушномъ пространствѣ, коль скоро рядомъ съ ней идетъ движеніе общественной реформы. Но этого-то послѣдняго Достоевскій никогда не признавалъ и, кажется, даже просто органически не могъ понимать. Все это развилось до высшей степени уже подъ конецъ; но, оглядываясь теперь на начало дѣятельности Достоевскаго, можно замѣтить, что и въ этомъ началѣ, при всемъ сочувствіи къ униженнымъ и оскорбленнымъ, онъ точно не находить унижающихъ и оскорбляющихъ. Это, можетъ-быть, свидѣтельствуетъ объ очень тонкомъ пониманіи, о «прошиковеніи», какъ любилъ говорить покойникъ, въ самую суть жизни. Дѣйствительно, если общій порядокъ вещей родитъ и заставляетъ трепетать униженныхъ и оскорбленныхъ, такъ что же ужъ тутъ обрушиваться на какого-то глупаго большого чиновника, который даже совсѣмъ нечаянно оскорбилъ глупаго малаго чиновника? Можетъ-быть, Достоевскій такъ и понималъ дѣло, рисуя намъ цѣлую портретную галерею обиженного мелкаго люда. Но общій порядокъ вещей былъ для него неприкосновененъ по глубочайшимъ, можетъ-быть, интимнѣйшимъ требованіямъ его ума и сердца, и потому онъ съ своей жаждой личной нравственной проповѣди остался какъ ракъ на меліи, если позволена будетъ въ настоящемъ случаѣ столь вульгарная поговорка. Куда ее было дѣвать, эту жажду морализировать, карать, поучать, будить совѣсть, прощать. Пока Достоевскій выбиралъ для своихъ повѣстей и романовъ темы изъ жизни мелкаго чиновника, лишь изрѣдка захватывая другія, болѣе или менѣе родственныя сферы, не могло особенно рѣзко обнаружиться противорѣчіе между уваженіемъ къ общему порядку вещей и признаніемъ его же главнымъ виновникомъ унижений и оскорбленій. Но съ теченіемъ времени, по мѣрѣ того, какъ талантъ Достоевскаго росъ и опредѣлялся, по мѣрѣ того, какъ его творческая сила охватывала и такъ называемые интеллигентные слои общества и народъ, — противорѣчіе должно было, такъ или иначе, разрешиться. Надо было, наконецъ, либо рѣшительно обвинить общій порядокъ, или найти иныхъ виновныхъ, личныхъ, съ которыми и поступить, сообразно одному изъ трехъ вышеприведенныхъ рѣшеній.

Достоевскій нашель виновныхъ... Однако не вдругъ на нихъ обрушился съ вѣшною карою, муками ада и ущемленной совѣсти, и всепрощающею любовью.

Будемъ говорить откровенно, читатель, вы, безъ сомнѣнія, охотно признаетесь, что, читая романы и повѣсти Достоевскаго, да и «Дневникъ писателя», вы не разъ испытывали большую скуку. Но вы, можетъ-быть, не такъ легко признаетесь въ другомъ чувствѣ, которое, однако, почти навѣрное ощущали при этомъ чтеніи, — въ чувствѣ брезгливости. А оно, между тѣмъ, совершенно понятно. Читая, на-примѣръ, «Братьевъ Карамазовыхъ», вы ясно слышите присутствие злонамѣреннаго человѣка, который иногда глубоко прячетъ свою злонамѣренность, а иногда даже просто не можетъ скрыть ея рвущагося наружу обилія. Присутствіе злонамѣреннаго человѣка всегда непріятно, и всякій естественно стремится избавиться отъ него. Вообще говоря, это сдѣлать очень просто: стоитъ только уйти или, въ настоящемъ случаѣ, не читать. Но если какія-нибудь постороннія причины все-таки заставляютъ васъ не только что терпѣть присутствіе злонамѣреннаго человѣка, а даже искать общенія съ нимъ, то въ васъ невольно и неизбежно шевелится брезгливость. Таково именно отношеніе читателя къ Достоевскому. Не быть его читателемъ нельзя: можно пропускать десятки, сотни скучныхъ, растянутыхъ и натянутыхъ страницъ, но все-таки иные моменты романа даютъ столько и такого наслажденія (почти всегда мучительнаго), сколько и какого ни въ какомъ другомъ мѣстѣ не найдешь. И, тѣмъ не менѣе, я увѣренъ, что, называя Достоевскаго злонамѣреннымъ писателемъ, я выражаю мысль многихъ и многихъ, хотя, можетъ-быть, немногіе рѣшаются именно такъ ее формулировать. Достоевскій — вѣдь это нашъ апостоль любви, и не той «ненавидящей любви», которая сама признаетъ, что кипитъ желчью и гнѣвомъ, а любви всепрощающей, смиренной и вдругъ — злонамѣренность!

Съ теченіемъ времени эти вопросы выяснились. И какъ только они выяснились, Достоевскій далъ широко задуманную и блестящую вещь — «Преступленіе и наказаніе», въ художественномъ отношеніи лучшее (послѣ «Записокъ изъ мертваго дома», разумѣется) изъ всего, что онъ написалъ. Хотя здѣсь еще звучитъ временами старая теплая нотка (особенно въ фигурѣ чиновника Мармеладова), но все-таки первый, къ кому приложены и проповѣдь, и смиреніе, и кара совѣсти, и кара каторги, есть униженный и оскорбленный Раскольниковъ. Это на первый взглядъ странно, непонятно. Но припомните, что унижающихъ и оскорбляющихъ, собственно говоря, нѣтъ, а есть общій порядокъ, который, однако, неприкосновененъ, и есть моральность, который призванъ творить судъ надъ личностью и только надъ



личностью: кромѣ самихъ униженныхъ, значить, судить некого. Къ тому же Раскольниковъ не простой униженный и оскорбленный. Онъ дерзнулъ на возстаніе, онъ кощунственно коснулся общаго порядка и теоретическою мыслью, и практическимъ дѣйствіемъ (довольно, впрочемъ, бессмысленнымъ). За это-то его и совѣсть мучить, за это онъ и на каторгу идетъ, и только тамъ, на каторгѣ, смирившись и увѣровавъ, получаетъ, наконецъ, душевный миръ. Живымъ укоромъ стоитъ передъ нимъ Соня Мармеладова, оплеванная, загаженная; безвинно униженная до послѣдней возможной степени, но и за всеѣмъ тѣмъ смиренная, не протестующая: если она противъ чего и протестуетъ, то только противъ сатанинской гордости и дерзости Раскольникова. Смиренная, она все еще себя смирить хочетъ, страдающая, она страданій ищетъ. Это — идеаль. Постепенно въ немъ укрѣпляясь, Достоевскій дошелъ, наконецъ, до убѣжденія, что это не только его личный идеаль, и тѣмъ нече не только пріемникъ его проповѣди, а во-вторыхъ, самимъ Богомъ указанная цѣль, и во-вторыхъ, заветная мысль всего русскаго народа.

Съ «Преступленія и наказанія» Достоевскій становится специалистомъ кладонскателемъ. Онъ ходитъ по самымъ дикимъ трущобамъ и все ищетъ смиренія, чувства грѣха, сознанія своего ничтожества. Если долго не находитъ, а тѣмъ болѣе если находитъ, напротивъ, рѣшительное нежеланіе страдать, отсутствіе смиренія или даже протестъ противъ страданія и смиренія вообще, то очень сердится (сейчасъ увидимъ, что изъ этого проистекаетъ). А когда найдетъ подходящую для его надобностей пскру, то начинаетъ усиленно раздувать ее, доводитъ, наконецъ, до размѣровъ цѣлаго костра страданія и самоуниженія, а самъ стоитъ, любитъ, да раскаленные уголья съ священнымъ сладострастіемъ помѣшпваетъ: онъ знаетъ, что эти муки во спасеніе... Въ исключительномъ талантѣ Достоевскаго была одна черта, придавшая ему особенную силу, черта, которую я не умѣю иначе назвать, какъ *жестокостію таланта*.

Въ его талантѣ была какая-то жестокая мучительная складка, которая, разумѣется, ему самому дорого стоила, но которая тѣмъ не менѣе побуждала его съ наслажденіемъ растягивать утонченнѣйшія описанія мученій и страданій, растягивать до нехудожественной длинноты и часто совсѣмъ безъ нужды. Миѣ незачѣмъ напоминать читателю отдѣльныя сцены, потому что все, что онъ самъ припомнитъ, будетъ, навѣрное, въ этомъ родѣ. Только ради пенужности многихъ подобныхъ мучительныхъ и мучительскихъ сценъ я укажу на моментъ появленія Красоткина у постели умирающаго Илюшечки (въ «Братьяхъ Карамазовыхъ»). Красоткинъ лицо вводное, притомъ введенное подъ самый конецъ романа, и не играющее въ немъ никакой существенной

роли. Выкиньте Красоткина совсѣмъ — и въ «Братьяхъ Карамазовыхъ»: рѣшительно ничто, не измѣнится, хотя можно, пожалуй, и механически приставить къ фабулѣ романа даже двухъ Красоткиныхъ. И вотъ, авторъ съ любовью и величайшимъ тщаніемъ вырисовываетъ (именно вырисовываетъ, а не просто рисуетъ) поразительную сцену, какъ Красоткинъ мучитъ умирающаго мальчика напоминаніями о его жестокомъ поступкѣ съ собакой Жучкой. Положимъ, что Красоткинъ продѣлываетъ это отчасти даже съ доброю цѣлью, ради болѣе эффектнаго сообщенія Илюшечкѣ, что собака Жучка жива, онъ и не подозреваетъ, что убиваетъ умирающаго. Но Достоевскій-то это понимаетъ. Сцена совершенно цѣтроподобна, но все-таки производитъ сильное впечатлѣніе именно благодаря жестокой тщательности, съ которою ее отдѣлалъ авторъ. За что же онъ мучитъ Илюшечку, когда тотъ и безъ этого эпизода съ собакой все равно умретъ? За что?! Страшный вопросъ! Скажетъ, можетъ-быть, читатель: развѣ вамъ не прѣмѣнно пужно, чтобы художникъ картины блаженства и розоваго счастья рисовалъ? — Нѣтъ, мнѣ вовсе этого не пужно. Но, во-первыхъ, я ищу характеристики писателя, а Достоевскій былъ однимъ изъ тѣхъ художниковъ, передъ которыми, навѣрное, воплѣтъ живутъ создаваемые ими образы, а потому очень характерно, что онъ этому живому Илюшечкѣ причиняетъ ненужное и, такъ сказать, совершенно сверхсмысленное страданіе. Во-вторыхъ, вопросъ: за что? — воплѣтъ умѣстенъ именно относительно Достоевскаго, потому что въ томъ-то и дѣло, что онъ теоретически (въ своей публицистикѣ) и практически (подъ своими героями) требовалъ и раздавалъ страданія ни за что, ни про что, страданія ради страданій. Онъ ихъ и читателю доставлялъ въ безмѣрномъ количествѣ, въ безмѣрномъ потому, что сплошь и рядомъ его мучительныя картинки не будятъ никакой мысли, не отвѣчаютъ ни на какой запросъ читателя, не вызываются теченіемъ романа, не имѣютъ никакого нравственнаго смысла и, наконецъ, не соответствуютъ реальной жизненной правдѣ; словомъ, ничѣмъ не оправдываются и ничего не даютъ, кромѣ художественно-мучительнаго щекотанія нервовъ. Вы признаете законность, на примѣръ, того, что въ «Идіотѣ», въ самомъ началѣ романа и чуть ли не въ одной первой главѣ, князь-идіотъ три раза рассказываетъ сцену смертной казни. Три раза — это, можетъ-быть, уже слишкомъ много, но все-таки вы встрѣчаете тутъ жизненную правду и нравственную подкладку. Но не найдете нравственный смыслъ и правду въ бессознательномъ мучительствѣ Красоткина и во многомъ другомъ...

Такимъ образомъ, все влекло Достоевскаго къ апофеозу страданія: и уваженіе къ общему порядку, и жажда личной проповѣди, и специальная жестокость таланта. Понятно поэтому, съ какою наив-

ностью долженъ былъ онъ относиться къ тѣмъ, кто самъ не хочетъ страдать и другихъ хочетъ избавить отъ страданій. Особенно важно послѣднее, то-есть, что другихъ-то хочетъ избавить. Человѣкъ-животное, просто животное, ищущее наслажденій во что бы то ни стало, безъ мысли объ ихъ источникѣ, значеніи и послѣдствіяхъ — не занималъ Достоевскаго. Интересный въ общественномъ смыслѣ этотъ типъ слишкомъ скуденъ личной психологіей, а въ ней только покойникъ и чувствовалъ себя какъ въ родной стихіи, въ ней только онъ и былъ охочъ и смѣлъ. Зато тѣмъ сильнѣе приглядывался онъ къ такимъ людямъ, которые, не желая сами страдать, не желаютъ, чтобы и другіе страдали, или согласны принять крестъ, даже сами идутъ на него, но не ради самодовлѣющаго страданія, а ради именно того, чтобы другіе перестали страдать. Тѣмъ самымъ они переносятъ вопросъ объ униженіяхъ и оскорбленіяхъ на общественную почву, дерзостно покушаются на неприкосновенный общій порядокъ и потому становятся вдвойнѣ врагами Достоевскаго. Онъ ихъ билъ, унижалъ, мучилъ всеми возможными орудіями пытки, какія только находились въ арсеналѣ его богатой своей болѣзненностью и раздражительностью фантазіи. Впрочемъ, всѣ эти разнообразныя казни и пытки можно подвести подъ три главные типа.

О Достоевскомъ часто говорятъ какъ о народномъ писателѣ, по крайней мѣрѣ, какъ о такомъ, который глубоко постигалъ самую суть русскаго народа, его душу. Это одна изъ самыхъ странныхъ, по своей неосновательности, репутацій. Изъ всѣхъ блестящихъ представителей сороковыхъ годовъ, она наименѣе приличествуетъ Достоевскому. Народомъ, какъ матеріаломъ для художественной обработки, онъ никогда не интересовался. Заинтересовался онъ имъ подъ конецъ, но въ качествѣ публициста и мыслителя, а не художника. «Записки изъ мертваго дома» не въ счетъ, это крупнѣйшее произведеніе покойника и одно изъ крупнѣйшихъ во всей русской литературѣ, стоитъ совсѣмъ особнякомъ. Оно, конечно, на много переживетъ все остальное, имъ написанное, посвященное большому интеллигентному русскому человеку (эта сравнительная недолговѣчность не отъ темы, разумѣется, зависитъ, а отъ исполненія, — Гамлетъ, Донъ-Кихотъ, Отелло, тоже большіе интеллигентные люди, но они вѣчны). Однако и въ «Запискахъ изъ мертваго дома» нельзя искать настоящихъ народныхъ типовъ уже по самой исключительности сферы наблюденій автора. Очень бы ужъ это странно рекомендовало наши «общіе порядки», если бы въ самомъ дѣлѣ оказалось, что народъ, настоящій народъ надо у насъ только на каторгѣ изучать. Затѣмъ, что касается глубокаго пониманія народной души, то оно исчерпывается въ Достоевскомъ двумя идеями: 1) народъ вѣрить въ Царя; эта идея не есть специальное открытіе

Достоевскаго, она давно уже стала даже общимъ мѣстомъ; 2) народъ любить и хочетъ страдать; это идея дѣйствительно оригинальная, лично Достоевскому принадлежащая, но понятно, что она получена не путемъ наблюденія и изученія, а непосредственно вытекаетъ изъ духа самого Достоевскаго. Чувство грѣха и соотвѣтственная жажда искупленія, какъ тема, не есть исключительная собственность Достоевскаго, но въ постановкѣ вопроса и въ его разработкѣ она дѣйствительно оригинальна. Едва ли, однако, къ выгодѣ для дѣла.

Вернемся къ народу. Пусть Достоевскій скудно и односторонне понималъ народную душу, но онъ горячо любилъ народъ, желалъ ему добра и видѣлъ въ немъ надежду Россіи. Это правда. И великая честь за это покойнику. Подобно многимъ людямъ сороковыхъ годовъ, Достоевскій понималъ, что идетъ какая-то еще неясная, но навѣрное грозная и грязная сила, одинаково враждебная и общимъ идеаламъ сороковыхъ годовъ, и мужику. Понималъ это и Писемскій и выражалъ (въ «Ваалѣ», «Просвѣщенномъ времени», «Мѣщанинѣ») съ свойственною ему грубою, сухою и узкою опредѣлительностью. Понималъ и Достоевскій, но до конца дней своихъ не могъ установиться на рѣшеніи, откуда собственно гроза подвигается? Мыслилъ онъ, надо сказать, чрезвычайно тяжело и медленно, и не по слабости мысли, а потому, что она у него была обвѣшана разными отягощающими привѣсками, какъ каторжникъ кандалами. Если какой-нибудь поэтический образъ не давался ему сразу, однимъ порывомъ вдохновенія, и если приходилось поэтому звать на помощь чисто логическую силу, то онъ оказывался совершенно безпомощнымъ. Онъ возвращался къ искомому не разъ, не два, повторялъ его въ цѣломъ рядѣ романовъ, но все-таки ни до чего не доходилъ (въ такой неопредѣленности остался, напримѣръ, упомянутый выше безпокойный женскій типъ и многіе другіе). Тѣмъ затруднительнѣе было его положеніе въ области политики или публицистики. Мы видѣли, что уже въ «Идіотѣ», то-есть въ 1868 г., высказывается въ чрезвычайно смутномъ видѣ завѣтная мысль Достоевскаго, что кто оторвался отъ народной почвы, тотъ тѣмъ самымъ отъ Бога оторвался, и наоборотъ. Эта мысль и черезъ десять лѣтъ высказывалась съ такою же любовью, но и въ томъ же смутномъ видѣ. Во всякомъ случаѣ, Достоевскій всегда искалъ, вдумывался. Такъ было и относительно надвигающейся на русскій народъ грозы.

Статьи, на которыя онъ указывалъ, развивали ту мысль, что народу послѣ реформы, а отчасти даже въ связи съ ней, дѣйствительно грозитъ бѣда быть умственно, нравственно и экономически обобранымъ. Эта мысль стала съ тѣхъ поръ любимой мыслью Достоевскаго, во имя ея онъ и новыя «учрежденія» встрѣчалъ враждебно. Но общій

строй его мысли и идеаловъ уже слишкомъ закоренѣлъ въ своей фантастичности и произвольности, чтобы «новыя откровенія» могли отлиться въ твердые, ясные результаты...

Въ концѣ-концовъ, невольно рождается вопросъ: что искалѣчило Достоевскаго? — потому что въ этомъ-то нельзя же сомнѣваться, что онъ искалѣченъ.

— Нѣтъ, можно и должно, — отвѣчаютъ нѣкоторые. Въ устахъ Достоевскаго апофеозъ каторги, какъ горнило очищенія, понятенъ, онъ такъ вяжется со всѣмъ строемъ его мысли. Но находятся поклонники умершаго романиста, которые повторяютъ эту дикую, безчеловѣчную фразу въ приложеніи къ нему самому. Они утверждаютъ, что онъ обладалъ свѣтомъ истины и что получилъ онъ ее именно тамъ, на каторгѣ. Ихъ не смущаетъ даже то очевидное обстоятельство, что на каторгѣ онъ получилъ падучую болѣзнь, каковая во всякомъ случаѣ не свидѣтельствуетъ о психическомъ здоровьѣ, значить, свѣтъ не просто съ востока идетъ, а изъ Сибири, изъ каторги... Ну, что же! благословимъ это благодѣтельное учрежденіе...

Неужто, господа, вы думаете, что оказали бы почетъ Христу, заявивъ, что терновый вѣнецъ не пццарапалъ Его лица и не запачкалъ его кровью? Нѣтъ, въ тысячу разъ больше уваженія къ покойнику выразили бы вы, если бы признали его искалѣченнымъ каторгой и болѣзnią, и если бы сказали на его могилѣ: не учителю или руководителю нашему мы кланяемся, мы «всему страданію человѣческому поклоняемся». Такъ говорилъ Раскольниковъ, припадая къ ногамъ забитой, искалѣченной порядкомъ вещей Сони...

*Михайловскій.*

## О Достоевскомъ.

Въ противоположность Толстому, у Достоевскаго всюду — человѣческая личность, доводимая до послѣднихъ предѣловъ, растущая, развивающаяся изъ темныхъ, стихійныхъ, животныхъ корней до послѣднихъ лучезарныхъ вершинъ духовности, всюду — борьба героической воли: со стихіей нравственнаго долга и совѣсти — въ Раскольниковѣ; со стихіей сладострастія, утонченнаго, сознательнаго — въ Свидригайловѣ и Версиловѣ; со стихіей народа, государства, политики — въ Верховенскомъ, Ставрогинѣ, Шатовѣ; наконецъ со стихіей метафизическихъ и религіозныхъ тайнъ — въ Иванѣ Карамазовѣ, въ князѣ Мышкинѣ, въ Кирилловѣ. Проходя сквозь горнило, этой борьбы, сквозь огонь раскаленныхъ страстей и еще болѣе раскаляющаго сознанія, ядро человѣческой личности, внутреннее «я» остается неразрушимымъ и обнажается, — и всѣ герои Достоевскаго противопоставляютъ себя поглощающимъ ихъ стихіямъ. Соотвѣтственно пре-



обладанію героической борьбы, главныя его произведенія, въ сущности, вовсе не романы, не эпосъ, а трагедіи. Повѣствовательная часть второстепенная. И это бросается въ глаза съ перваго взгляда: разсказъ, написанный всегда однимъ и тѣмъ же торопливымъ, иногда явно небрежнымъ языкомъ, то утомительно распущенъ и запутанъ, загроможденъ подробностями, то слишкомъ сжатъ и скомканъ. Вся художественная сила изображенія сосредоточена въ діалогахъ. Въ то время, какъ у Толстого почти всѣ лица говорятъ однимъ и тѣмъ же языкомъ, у Достоевскаго нельзя не узнать молча съ первыхъ же словъ, не по содержанію рѣчи, а по самому звуку голоса, говорилъ ли Ѳеодоръ Павловичъ Карамазовъ или старецъ Зосима, Раскольниковъ или Свидригайловъ, Ставрогинъ или Кирилловъ. Достоевскому не нужно описывать паружность дѣйствующихъ лицъ; особенностями языка, звуками голоса сами они изображаютъ не только свои мысли и чувства, но и свои лица, свои тѣла. Не одно мастерство діалога, но и другія особенности творчества приближаютъ Достоевскаго къ строю великаго трагическаго искусства. Ему нѣтъ соперниковъ въ искусствѣ постепеннаго напряженія, наконченія, успленія и ужасающаго сосредоточенія трагическаго дѣйствія. Для всѣхъ героев Достоевскаго наступаетъ мгновеніе, когда они перестаютъ «чувствовать на себѣ тѣло». Эти существа не безплотныя и безкровныя, не призрачныя. Но высшій подъемъ, крайнее напряженіе духовной жизни, наиболѣе раскаляющія страсти не сердца и чувства, а ума, сознанія, совѣсти, даютъ имъ эту освобожденность отъ тѣла, какъ бы сверхъестественную легкость, духовность плоти. Всѣ герои Достоевскаго живутъ, благодаря своей высшей духовности, немовѣрно ускоренною жизнью; они не ходятъ, какъ обыкновенные люди, а летаютъ и въ самой гибели испытываютъ упоеніе этого страшнаго полета, ибо они вѣдь все-таки летятъ въ бездну. Въ стремительности воли чувствуется близость бездны; въ неустойчивости трагическаго дѣйствія чувствуется близость катастрофы.

Въ противоположность излюбленнымъ героямъ Толстого, не столько умнымъ, сколько «умствующимъ», главные герои Достоевскаго—Раскольниковъ, Версиловъ, Ставрогинъ, князь Мишкинъ, Иванъ Карамазовъ—люди, прежде всего, умные; это, кажется, даже вообще самые умные, сознательные, культурные, самые европейскіе изъ русскихъ людей. На нихъ, кромѣ Достоевскаго, видно, какъ отвлеченныя мысли могутъ быть страстными, какъ метафизическія послышки и выводы коренятся не только въ нашемъ разумѣ, но и въ сердцѣ, чувствѣ, волѣ. Ихъ преступленія неизбежныя выводы ихъ діалектики. Они глубоко чувствуютъ, потому что глубоко думаютъ; безконечно страдаютъ, потому что безконечно сознаютъ; смѣютъ хотѣть, потому что смѣютъ мыслить. И самая отвлеченная мысль есть вмѣстѣ съ тѣмъ

самая страстная, могучая мысль о Богѣ: всѣхъ героев Достоевскаго «мучить Богъ». Не жизнь тѣла — его конецъ и начало, смерть и рожденіе, какъ у Толстого, — жизнь духа, отрицаніе и утвержденіе Бога у Достоевскаго есть вѣчно кипящій родникъ всѣхъ человѣческихъ страстей и страданій. Потокъ самой дѣйствительной жизни, низвергающійся съ высочайшихъ ледяныхъ вершинъ метафизики и религіи, приобрѣтаетъ отъ него ту силу страсти, силу дѣйствія, неудержимую стремительность, которая влечетъ его къ трагической катастрофѣ. Онъ показалъ намъ связь, которая существуетъ между трагедіей нашего сердца и трагедіей нашего разума — нашего философскаго и религіознаго сознанія. Это для него по преимуществу современная русская трагедія. Въ неутомимой религіозной жадѣ усматривалъ онъ признаки неизбѣжнаго участія русскаго духа, русскаго слова въ будущей всемірно-исторической культурѣ.

Существуютъ простодушные читатели съ размягченной дряблой современной чувствительностью, которымъ Достоевскій всегда будетъ казаться «жестокимъ», только «жестокимъ талантомъ». И въ самомъ дѣлѣ, въ какія невыносимо безвыходныя, пенимѣрные положенія ставитъ онъ своихъ героевъ. Черезъ какія бездны нравственнаго паденія, духовныя пытки доводитъ онъ ихъ до преступленія самоубійства слабоумія, бѣлой горячки, сумасшествія. Да, во истину, это — палачъ, сладострастникъ мучительства, великій инквизиторъ душъ человѣческихъ, — жестокій талантъ.

Вотъ главное, всѣмъ понятное обвиненіе противъ Достоевскаго — неестественность, необычность, искусственность, отсутствіе такъ называемаго «здороваго реализма».

«Меня зовутъ психологомъ, — говоритъ онъ самъ, — неправда, я лишь реалистъ въ высшемъ смыслѣ, т.-е. изображаю всѣ глубины души человѣческой». Для того, чтобы непроявившіяся стороны, силы, сокрытыя въ «глубинахъ души человѣческой», обнаружилась, ему необходима такая-то степень давленія нравственныхъ атмосферъ, которая въ условіяхъ *теперешней* «реальной» жизни никогда или почти никогда не встрѣчается. — или разрѣженный, ледяной воздухъ отвлеченной диалектики, или огонь стихійно-животной страсти. Въ этихъ опытахъ иногда получаетъ онъ состоянія души человѣческой, столь еще новыя, кажущіяся невозможными, неестественными, какъ жидкость воздуха. Подобнаго состоянія души не бываетъ, по крайней мѣрѣ, въ доступныхъ нашему изслѣдованію культурно-историческихъ и бытовыхъ условіяхъ, но оно можетъ быть. Такъ называемая «психологія» Достоевскаго напоминаетъ огромную лабораторію съ тончайшими и точнѣйшими приборами, машинами для измѣренія, изслѣдованія, испытыванія душъ человѣческихъ. Легко себѣ представить, что непосвященнымъ лабора-

торія эта должна казаться чѣмъ-то въ родѣ «дѣвольской кухни» средневѣковыхъ алхимиковъ.

Въ романахъ Достоевскаго есть мѣста, въ которыхъ всего болѣе отражаются особенности его какъ художника, и о которомъ трудно рѣшить, что это — искусство или наука? Здѣсь тонкость знанія и ясновидѣніе творчества — вмѣстѣ. Это новое *соединеніе*, которое предчувствовали величайшіе художники и ученые, и которому нѣтъ еще имени.

Есть болѣе достойный вниманія вопросъ — вопросъ о жестокости Достоевскаго къ себѣ самому, о *болѣзненности* его какъ художника.

Въ самомъ дѣлѣ, что за странный писатель съ неутомимымъ любопытствомъ копающійся только въ болѣзняхъ, только въ самыхъ страшныхъ и паружныхъ язвахъ души человѣческой, вѣчно бережущій эти язвы. И что за странные герои — эти «блаженненькіе», кликуши, сладострастники, юродивые, бѣсноватые, идіоты, помѣшанные. Можетъ-быть, это не столько художникъ, сколько врачъ душевныхъ болѣзней, и притомъ такой врачъ, которому должно сказать: «врачъ, исцѣлился самъ». Можетъ-быть, это не столько герои, сколько собраніе любопытныхъ «клиническихъ случаевъ»? И, въ концѣ-концовъ, что же намъ, здоровымъ, здравомыслящимъ — до всей этой «снлоамской купели»? Что намъ, неуязвленнымъ, до этихъ уязвленныхъ?

Но не должно ли намъ, получившимъ такое всемірно-историческое предостереженіе, намъ, хотя бы только по имени «христіанамъ», относиться съ менѣе-развязною «клинической» самоувѣренностью, съ болѣе утопченной культурной осмотрительностью ко всякимъ вообще язвамъ, болѣзнямъ человѣческаго тѣла и духа? Можетъ-быть, мы знаемъ о нихъ *не все*.

Чѣмъ глубже вдумываешься, тѣмъ загадочнѣе становится вопросъ о культурныхъ болѣзняхъ вообще, о болѣзни Достоевскаго въ частности. Великъ ли, малъ ли онъ, — во всякомъ случаѣ онъ не похожъ ни на кого въ семьѣ великихъ писателей всемірной литературы. Сила ли его отъ болѣзни или болѣзнь отъ силы?

Здѣсь кончается наше явное, наше слово, наше созерцаніе, здѣсь начинается наше тайное, наше молчаніе.

Мережковский.

### „Братья Карамазовы“.

Вся эта исторія Грушеньки, съ ея личными страданіями и страданіями, которыя она вызываетъ, есть какъ бы психологія красоты, ея жизненное странствованіе среди людей. Достоевскій даетъ намъ въ этомъ образѣ, какъ и въ образѣ Настасьи Филипповны, поистинѣ величественную философію красоты, величественную потому, что въ

этой философіи нѣтъ ни одной сентиментальной черты, а все отъ начала до конца трагично. Въ противоположность наивно оптимистическимъ взглядамъ на красоту, какъ на нѣчто не только эстетически превосходное, но и нравственно-благое, Достоевскій смотритъ на красоту какъ на злое, хищное, демонское начало. Въ самомъ человѣкѣ она является источникомъ трагическаго раздвоенія и борьбы личнаго принципа съ безличнымъ, Божескимъ, гордыни со смиреніемъ. А въ обществѣ она порождаетъ бури страстей и сладострастья. «Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная потому, что неопредѣлимая, и опредѣлить нельзя, потому что Богъ задалъ одиѣ загадки. Тутъ берега сходятся, тутъ все противорѣчія вмѣстѣ живутъ». Вотъ этотъ взглядъ Достоевскаго на красоту: она страшна и ужасна въ своей неопредѣлимости, въ своей загадочности, она возникаетъ какъ бы на мѣстѣ встрѣчи двухъ противоположныхъ стихій, тамъ, гдѣ берегъ земли сливается съ берегомъ неба. Слова великаго художника нужно истолковывать съ особенной осторожностью. Какія глубокія правды прорываются иногда въ неожиданномъ поэтическомъ образѣ, который критику приходится какъ бы разлагать на части, чтобы увидѣть скрытое въ немъ содержаніе. Достоевскій говоритъ, что красота страшна въ своей неопредѣлимости, вѣчной неопредѣлимости, — въ своей непознаваемой природѣ. Но, спрашивается, почему именно красота неопредѣлима, тогда какъ цѣлый міръ явленій, ее окружающихъ, доступенъ опредѣленію, поддается человѣческому познанію? Красота заключаетъ въ себѣ стремленіе къ безконечности, къ какой-то новой безконечности, развертывающейся изъ личнаго начала. Это — стремленіе оторваться отъ невидимаго безличнаго міра и, замкнувшись въ гордынѣ своей великолѣпной законченности, подчинить все своимъ собственнымъ безмѣрнымъ фантазіямъ. Конечно, это странное демонское стремленіе, эту тенденцію всякой красоты трудно вмѣстить въ какое-нибудь точное словесное опредѣленіе, потому что противорѣчивыя сочетанія, возможныя и встрѣчающіяся въ жизни, не передаются въ простыхъ словахъ, не обнимаются какою-нибудь одной законченною цѣльною мыслью. Какъ передать въ одномъ опредѣленіи, краткомъ и исчерпывающемъ, этотъ двойственный размахъ красоты, — разрушительный по отношенію къ Богу, атеистическій, богофобскій и созидательный, фантастически-творческій по отношенію къ міру? Въ первомъ случаѣ размахъ является, если такъ можно выразиться, мистическимъ началомъ съ минусомъ вперед. Во второмъ случаѣ онъ является нагляднымъ выраженіемъ чисто жизненныхъ началъ, въ ихъ полномъ расцвѣтѣ, въ ихъ цѣлесообразности и высочайшихъ напряженіяхъ дѣятельной силы. Вотъ въ какомъ смыслѣ красота можетъ быть названа непреодолимою. Но если она и неопредѣлима въ своемъ

фантастическомъ полетѣ отъ неба дѣйствительнаго къ небу воображаемому, то тенденція, линія этого полета опредѣляется съ несомнѣннымъ, почти ощутимою ясностью. Красота — это полное развитіе личнаго, богофобскаго начала въ явленіяхъ міра, это — жизнь въ ея совершеннѣйшей законченности. Она самая большая сила на землѣ, самая дерзновенная и, можно сказать, самая протестантская, потому что она вѣчно бунтуетъ за свою собственную свободу противъ того, что неизбежно ее ограничиваетъ. Демонская стихія, она слѣпо отдается своимъ фантазіямъ. Но какъ бы ни былъ высокъ и могучъ ея полетъ, мы уже видимъ — въ мысляхъ, въ логикѣ предѣлы этого полета — ея паденіе. Какъ бы высоко ни бросить камень, онъ непременно упадетъ на землю, къ которой тяготѣетъ по непорушимымъ міровымъ законамъ. Какъ бы ни извивался человѣкъ въ своихъ сатанинскихъ фантазіяхъ, въ изступленіяхъ своей гордыни надъ той стихіей, изъ которой онъ вышелъ, онъ долженъ вернуться къ ней по непорушимымъ законамъ нныхъ, духовныхъ тяготѣній. И онъ вернется, окончательно вернется къ своей Божеской стихіи — фатально, въ минуту смерти, или, еще раньше, въ своемъ сознаниі, въ своемъ просвѣтлѣніи. Такъ именно вернулась къ своему Богу Грушенька, совершивъ полетъ надъ людьми и найдя въ себѣ — подъ злобнымъ кипѣніемъ страсти — «тихость» новыхъ, свѣтлыхъ экстазовъ. Неопредѣлимая, по своей природѣ, красота улавливается и опредѣляется въ своихъ неизмѣнныхъ жизненныхъ направленіяхъ.

Изливаясь передъ Алешей на тему о красотѣ, Дмитрій Карамазовъ восклицаетъ: «Тутъ дьяволъ съ Богомъ борется, а поле битвы — сердца людей». Вотъ опять художественное откровеніе, требующее самаго осторожнаго истолкованія. Что красота, какъ дьяволъ, вызываетъ на борьбу Бога и возбуждаетъ такую же борьбу вокругъ себя — это, послѣ всего сказаннаго, ясно само собою. Но вотъ вопросъ: какія силы въ человѣкѣ вооружаются на эту борьбу, иначе говоря, какія силы въ немъ являются богофильскими и какія богофобскими? Достоевскій говоритъ: поле этой битвы — сердца людей. Этимъ онъ хочетъ сказать, что источникъ человѣческой гордыни тамъ же, гдѣ рождается человѣческое смиреніе и умиленіе. Зло и добро — оба таинственны, оба страшны въ своей таинственности, оба рождаются въ бессознательныхъ глубинахъ души. Тамъ именно, въ этихъ глубинахъ, рождается молитва и рождается проклятіе. И то, и другое мистическаго происхожденія. Попстинъ можно сказать, что Достоевскій достигаетъ въ этихъ немногихъ словахъ Дмитрія небывалой еще въ нашей литературѣ глубины. Итакъ, если борьба между добромъ и зломъ, между дьяволомъ и Богомъ совершается въ самомъ сердцѣ человѣческомъ, то можетъ показаться, что оба эти начала совершенно равно-



правны, и что въ человѣкѣ нѣтъ ни одного пункта, неприкосновеннаго для сатанинскихъ влеченій. Въдѣ сердце человѣческое всегда представляетъ и представляется чѣмъ-то чистымъ, цѣльнымъ, лишеннымъ внутренняго разлада. Оно одно даетъ тихія, по несокрушимымъ реакціи противъ всякой ошибки человѣческаго ума и человѣческой воли. Что-то болѣе глубокое, чѣмъ умъ и воля, звучитъ внутри человѣка, какъ подводный колоколъ, призывая его къ нравственной осторожности и тонкости, къ суровому суду надъ собою, но мягкому и сострадательному надъ другими. Это оно одно говоритъ — сердце человѣческое, а когда оно говоритъ, передъ нимъ послушно держать отвѣтъ все силы разума и обольщенія гордой воли.

Такъ человѣкъ понимаетъ свое сердце, и этому пониманію ничего не можетъ противопоставить наука. И для человѣка науки и для простого «мужика» одинаково звучитъ подводный колоколъ. Только для одного звукъ этотъ имѣетъ и логическое оправданіе, а для другого онъ является какимъ-то безотчетнымъ призывомъ. Невольно хочется, читая это мѣсто въ романѣ Достоевскаго, сдѣлать какую-то поправку, — можетъ-быть, поправку въ одномъ только терминѣ, — ибо всею логикою, всею напряженіемъ внутреннихъ инстинктовъ созерцаешь въ себѣ что-то чистое отъ всякаго сатанинства, что-то совершенно незапятнанное, одно крошечное окошечко въ тотъ міръ, откуда идетъ все очарованіе, вся вѣчно свѣжая прелесть добра, и это крошечное мѣстечко въ душѣ человѣка, залитое небеснымъ свѣтомъ, хочется почему-то называть именно сердцемъ. Въ сердцѣ и живетъ Богъ, и его-то, на этомъ именно мѣстѣ, постоянно осаждаютъ дьяволъ. Въ этомъ единственномъ смыслѣ, мнѣ кажется, можно сказать, что сердце является ареною борьбы двухъ великихъ началъ, одинаково таинственныхъ, одинаково мистическихъ, — той крѣпостью, которая несокрушимо выдерживаетъ вѣковѣчный напоръ разрушительныхъ силъ. Одно только сердце можетъ противостоять злымъ обольщеніямъ красоты. «Красота! — воскликнулъ Дмитрій Карамазовъ. — Переспести я при томъ не могу, что иной, высшій даже сердцемъ человѣкъ и съ умомъ высокимъ, начинается съ идеала Мадонны, а кончаетъ идеаломъ содомскимъ». Какъ бы ни было неприступно человѣческое сердце, въ стихійныхъ натурахъ, въ карамазовскихъ натурахъ «все противорѣчія вмѣстѣ живутъ», все влеченія души достигаютъ ея безсознательныхъ глубинъ и дѣйствуютъ съ такимъ напряженіемъ, что вся она, въ самыхъ различныхъ своихъ направленіяхъ, охватывается какъ бы общимъ пожаромъ. Человѣку нужно, чтобы онъ горѣлъ, чтобы въ немъ былъ пожаръ, чтобы въ немъ былъ экстазъ, и когда онъ горитъ тою или другою любовью, тою или другою страстью, онъ уже не имѣетъ возможности разобратъся, какая именно сила имъ управляетъ

въ данную минуту и какая изъ этихъ силъ ближе его сердцу. «Еще страшнѣе,—продолжаетъ Дмитрій Карамазовъ,—кто уже съ идеаломъ содомскимъ въ душѣ не отрицаетъ и идеала Мадонны, и горитъ отъ него сердце его, и воистину, воистину горитъ, какъ и въ юные, безпорочные годы». Это и есть внутренняя жизнь истинно трагическихкихъ натуръ, съ ихъ паденіями и вѣчными протестами сердца, которые поднимаютъ ихъ надъ сладострастными упоеніями содомской красоты. На такихъ именно трагическихкихъ натурахъ и видны вся неприступность, вся безпорочность человѣческаго сердца. «Нѣтъ, широко человѣкъ, слишкомъ даже широко,—я бы сузилъ. Чортъ знаетъ, что такое даже, вотъ что!»

Несоединимые между собою міры вмѣщаются въ человѣческой душѣ, и краткосрочная жизнь полна почти невыносимою безмѣрностью. Кажется, что маленькій извнѣ человѣкъ, маленькій въ своемъ положеніи среди другихъ, маленький въ своихъ дѣлахъ и замыслахъ не можетъ все равно обнять своего собственнаго внутренняго содержанія. На какую потребу даны ему эти безмѣрности, когда все окружающее ждетъ отъ него во всемъ прозаческой мѣры и скромненькаго самоотреченія въ тактъ житейскимъ обиходамъ, всегда пошлымъ, всегда мелкимъ, всегда проникнутымъ низменными самообманами? Казалось бы, полезнѣе сузить человѣка! Вотъ пропія надъ міромъ людской ограниченности, которая сверкнула въ словахъ Дмитрія Карамазова, и которая великолѣпно перѣдаетъ почти сатанинскій смѣхъ самого Достоевскаго.

### Алеша Карамазовъ.

Если представить себѣ на минуту, что неземной ангелъ захотѣлъ бы принять русскій обликъ, то онъ предсталъ бы передъ людьми въ образѣ Алешы. Настоящимъ херувимомъ ходилъ онъ отъ одного къ другому: отъ Дмитрія къ отцу, отъ отца къ Катеринѣ Ивановнѣ, отъ нея къ Грушенькѣ, зная всѣ закоулки города, повсюду разнося цѣлительный бальзамъ. Его постоянное жилище, откуда онъ вышелъ и туда онъ, въ концѣ-концовъ, вернется — бѣлый подгородный монастырь, гдѣ обитаетъ настоящая мудрость. Къ чему бы онъ ни прикоснулся, на всемъ онъ оставляетъ мягкій слѣдъ своей душевной чистоты, своей нѣжной юной правды.

Всѣ любятъ Алешу, но любятъ его особенно, не по-земному, «по-новому», своимъ глубокимъ духовнымъ элементомъ. Въ комъ есть душа, тотъ любитъ его глубинами души. Для Грушеньки онъ «молодой мѣсяцъ», восходящій среди темноты ея ночи. Какое-то «княжеское» достоинство она улавливаетъ въ немъ, потому что его нельзя ни съ кѣмъ смѣшать, хотя самъ онъ ласково смѣшивается со всѣми.

Такимъ именно молодымъ мѣсяцемъ онъ остался въ воображеніи, когда читаете романъ. Каждое его появленіе приноситъ съ собою какой-то тихій, прохладный свѣтъ, какое-то мягкое вѣяніе. Дмитрій любитъ Алешу «по-настоящему»; своимъ бурнымъ страстямъ, мятежной любви и ненависти онъ противопоставляетъ свое чувство къ Алешѣ. Для него онъ «высшій человѣкъ», «ангелъ», «херувимъ». Иванъ, который, можетъ-быть, ничьихъ мнѣній на свѣтѣ не цѣнитъ, кромѣ своего, внимательно прислушивается къ словамъ Алеши. Для него «высоко» мнѣніе этого маленькаго, кроткаго мальчика. Онъ хотѣлъ бы «исцѣлить себя» Алешею. Ѳедоръ Ивановичъ души въ немъ не чаялъ. Онъ всѣхъ на свѣтѣ боится, одного только Алеши не боится.

Все любятъ Алешу духомъ, и самъ онъ является какимъ-то духомъ, въ притягательно-красивой, но не обольстительной формѣ. Все въ немъ пропорціонально и тихо. Онъ тихо смотритъ въ самую душу, хотя блескъ его пристальнаго взгляда кажется улыбкою. Чистѣйшая искренность чувствуется въ его «сіяющемъ» взглядѣ. Его тихій взглядъ, продолговатый овалъ его лица, оживленность выраженія, — все это сливается въ какой-то иконописный образъ стараго царскаго письма, — образъ, въ которомъ нѣтъ ничего вызывающаго, ничего рѣзко индивидуальнаго, ничего раздражающаго. Если Алеша и является цѣльной личностью, то все-таки это личность чисто фантастическая, выписанная не столько художественными, сколько мечтательно-поэтическими красками. Такіе образы встрѣчаются въ искусствѣ религіозныхъ живописцевъ современной эпохи и старыхъ эпохъ, въ яркомъ письмѣ Васснецова, въ свѣтломъ, серафическомъ письмѣ Беато Анжелики. Алеша — благовѣствующій ангелъ, миссіонеръ высшей правды, а не тотъ обыкновенный дѣятель жизни, который входитъ въ нее собственными страстями и самъ вызываетъ страсти. Какъ бы глубоко его ни любили, никто не полюбитъ его тѣмъ мучительно-острымъ чувствомъ, которое называется страстью, страстной любовью. Среди яркихъ и пестрыхъ картинъ общей карамазовской исторіи мы находимъ въ романѣ одинъ эпизодъ — отношенія Алеши къ Лизѣ, крайне характерный въ этомъ смыслѣ.

Въ Алешѣ нѣтъ тѣхъ ядовитыхъ элементовъ, той силы, которая вызываетъ страсть. Что бы Лиза ни говорила Алешѣ, для читателя должно быть ясно, что въ общеніи съ нимъ у нея впервые раскрывается чисто-духовная сторона ея существа. Если поставить Алешу рядомъ съ братомъ его Иваномъ и спросить себя, кому изъ этихъ двухъ юношей должно отдать предпочтеніе женское сердце, то невольно скажешь себѣ, что въ такомъ состязаніи Алеша долженъ проиграть. Онъ прекрасенъ, какъ мечта, а потому самая любовь къ нему принимаетъ неземной характеръ. Иванъ, напротивъ, со всей своей

сложностью, загадочностью, со своими внутренними противорѣчіями, въ которыхъ постоянно сверкаетъ огонь, невольно овладѣваетъ сердцемъ глубокой женской натуры.

Алеша не фанатикъ, не мистикъ, а «ранній человѣколюбецъ». Не въ метафизическомъ полетѣ сказывается русская натура, а именно въ этомъ раннемъ человѣколюбіи — теплокровномъ, умиленномъ и внимательномъ ко всему реальному. Если присмотрѣться къ этому русскому человѣколюбію съ человѣколюбивымъ довѣріемъ, то нельзя не почувствовать и не замѣтить, что подъемъ этого человѣколюбія слишкомъ высокъ для того, чтобы его могла обнять и объяснить какая-либо маленькая, земная философія. Этотъ всеспасительный культъ и чувствуется въ Алешѣ, и за это его любишь, какъ чистѣйшее выраженіе народно-русской души, какъ ея великодушную мечту, ея грѣзу.

Алеша остается на протяжении всего романа какой-то психологической фантазіей, какою-то надеждой художника на появленіе людей съ новымъ, цѣльнымъ строемъ души — уже безъ разладовъ, демонскихъ изступленій, даже безъ внутренней борьбы. Разъ Алешѣ показалось, что въ послѣднемъ тлѣніи умершаго Зосимы нарушена высшая справедливость. На его сердце налетѣла какая-то буря. Но на чистомъ его челѣ туча быстро разсѣялась. Развѣ онъ можетъ долго сомнѣваться? Онъ весь религіозенъ, весь опьяненъ тѣмъ «новымъ виномъ», которое даетъ «новую, великую радость». Въ этомъ духовномъ опьяненіи Алеша произноситъ рѣчь толпѣ мальчиковъ у большого камня Илюши. Вокругъ него — Красоткинъ, Карташовъ, Смуровъ и другія дѣти, похожія всѣ вмѣстѣ на стаю голосистыхъ птицъ. Онъ является среди нихъ какимъ-то русскимъ Францискомъ Ассизскимъ, который проповѣдывалъ птицамъ. Дѣти слушаютъ его съ умиленіемъ, съ радостными лицами, со слезами въ глазахъ. А онъ говоритъ и говоритъ. И опять-таки не метафизическія идеи проповѣдуетъ онъ имъ, а «прекрасное святое воспоминаніе» о чудесномъ мальчикѣ Илюшѣ. Одного такого воспоминанія достаточно, чтобы между ними навѣки сохранился духовный союзъ. Такъ именно долженъ говорить чисто



А. Волинскій.

русскій Алеша. Въ словахъ его не видишь безконечнаго неба, но все-таки чувствуешь его гдѣ-то близко, со всею его глубиною, съ его страшною душою.

### Старецъ Зосима.

Среди боголюбивыхъ монаховъ въ романѣ первое мѣсто принадлежитъ старцу Зосимѣ. Тѣло его «невеликое, къ костямъ присохши», сгорбилось, какъ бы подъ ношею земного бремени. Сухое лицо его, устѣянное мелкими морщинками, говоритъ о томъ, что прежняя жизнь, молодая и кипучая, смѣнилась въ немъ другою, совѣмъ иного порядка. Глаза его свѣтятся какъ «двѣ блестящія точки»: въ ихъ взглядѣ чувствуется такая неизмѣнная сосредоточенность, что ихъ вѣчное движеніе кажется неподвижностью. Усмѣшка, блуждающая на губахъ Зосимы, даетъ намъ отраженіе его вѣчно сверкающаго ума, а веселый, привѣтливый взглядъ показываетъ, что этотъ умъ открытъ для него утѣшительныя перспективы широкой гуманности. Зосима полонъ безоблачныхъ восторговъ, и восторги эти выражаютъ радость живого общенія съ міромъ. Этотъ міръ входитъ въ его душу со всею своими частностями, тяжкими для другихъ обстоятельствами и, войдя въ нее, перерабатывается во что-то легкое, по новому осмысленное и потому уже чистое и возвышенное. Онъ является хранителемъ настоящимъ «Божьей правды», ибо эта Божья правда — вѣчная и неизмѣнная въ схемахъ жизни — не для всякаго видна въ самой жизни, въ ея случайныхъ проявленіяхъ, въ мелочахъ, въ судьбахъ отдѣльных маленькихъ людей. Самая рѣзкая правда, высказываемая имъ въ глаза, никогда никого не унижаетъ. Никакое признаніе стекающихся къ нему людей не можетъ омрачить яснаго веселія его духа. Онъ одинъ смотритъ на это расплескавшееся море передъ нимъ грубыхъ страстей съ истинной высоты, оттуда, гдѣ душа живо касается божества, преображается въ немъ и проникается его свѣтомъ. Онъ видитъ міръ сквозь свои тихіе, вѣчно радостные экстазы и все заливаетъ своими богофильскими ощущеніями, въ которыхъ нѣтъ ничего и не можетъ быть ничего тоскливаго, ничего суроваго. Онъ уже уразумѣлъ, что дѣлается въ душѣ Дмитрія, уже отмѣтилъ его среди другихъ, и передъ тѣмъ, какъ уйти изъ кельи, поражаетъ присутствующихъ своимъ земнымъ поклономъ ему. Онъ преклоняется предъ его будущими муками. Изъ своего мгновеннаго общенія съ настоящимъ и грядущими страданіями Дмитрія Зосима все-таки выноситъ утѣшительный для себя и для другихъ свѣтъ. Онъ весь сіяніе, отрадное и бодрящее, при всей его физической хилости, при всѣхъ болѣзняхъ, которыя завтра сведутъ его въ могилу. Смерть уже подходитъ къ нему, но свѣтлое настроеніе ни на минуту его не оставляетъ. Умирая, онъ



въ послѣднемъ, прощальномъ словѣ къ самымъ близкимъ людямъ изливаетъ свою мудрость, — все, что накопилось въ немъ долгими годами жизни и мысли, — и эта мудрость кажется, въ самомъ дѣлѣ, откровеніемъ нездѣшняго, иного міра. Рѣчь его отъ начала до конца залита восторгомъ. Несмотря на то, что въ немъ изсякаетъ воля жизни и начинается таинственный процессъ возврата богочеловѣческой индивидуальности къ Богу, къ своей метафизической причинѣ, Зосима обвѣваетъ какимъ-то благоуханнымъ эмпіамомъ все, что только можетъ войти въ человѣческій кругозоръ. Въ послѣднюю минуту, когда грудь его уже сдавлена предсмертною судорогою, онъ «спустился съ кресель на полъ и сталъ на колѣни, затѣмъ склонился лицомъ ницъ къ землѣ, распростеръ свои руки и какъ бы въ радостномъ восторгѣ, цѣлуя землю и молясь, тихо и радостно отдалъ душу Богу».

Онъ умираетъ, съ улыбкой взирая на окружающихъ, дѣлая послѣдній земной поклонъ, въ какомъ-то радостномъ восторгѣ, тихо и радостно отдавая свою душу Богу. Каждое слово является здѣсь не просто краскою или пластическою чертою, а выраженіемъ, — можетъ быть, безсознательнымъ, — величайшей идеи жизни и смерти. Этотъ поклонъ до земли есть обычное для Зосимы движеніе — свидѣтельство его смиренія передъ безмѣрнымъ божескимъ началомъ. Тихій восторгъ, сказывающійся въ его улыбкѣ, — это истинное возрожденіе, въ новой, высшей формѣ, радостнаго древняго человѣка, который умѣлъ умирать, умѣлъ уходить въ вѣчность безъ слабосильныхъ скорбей и сокрушеній, не тоскуя и не поселяя тоски въ окружающихъ. Въ своемъ полетѣ изъ настоящаго въ исторію прошедшихъ временъ Достоевскій возносится надъ всѣмъ, что есть въ вѣрованіяхъ людей случайнаго, застывшаго, условно догматическаго.

Въ самомъ дѣлѣ, подбирая оставшіяся детали въ изображеніи Зосимы, мы все болѣе убѣждаемся, что этотъ обликъ созданъ изъ простыхъ, жизненныхъ элементовъ, какихъ мы не встрѣчаемъ въ традиціонной религіозной живописи. Фигуры святыхъ представляются обыкновенно неподвижными, съ мертвенною сосредоточенностью въ глазахъ, въ искусственно удлинненныхъ пропорціяхъ, словно это не живые люди, а какія-то тѣни, безмолвныя и безсильно скользящія по землѣ. Отъ этихъ фигуръ, когда смотришь на нихъ въ старинныхъ соборахъ, въ душѣ разливается холодная тоска, безсодержательное уныніе плѣненной и не питаемой никакими теплыми ощущеніями отвлеченной мысли.

Зосима весь виденъ въ непосредственности своей простой, цѣльной внутренней жизни. Глаза его блестятъ отъ возбужденія, но постоянно улавливаютъ что-нибудь новое. «Пристально» и «зорко» изучаетъ онъ Ивана, съ стремительностью онъ вычитываетъ въ глазахъ Дмитрія

суть его натуры и его судьбу. Ориентировавшись такимъ образомъ посредствомъ одного только зрѣнія въ смутѣ карамазовскаго дома, онъ отмѣчаетъ Дмитрія какъ предметъ особенныхъ заботъ для Алеши. «Быль ли у своихъ и видѣль ли брата?» спрашиваетъ съ его на другой день послѣ посѣщенія Карамазовыми его кельи, спрашиваетъ съ безотчетною неопредѣленностью, потому что въ сознаніи его образъ Дмитрія отпечатлѣлся ярче другихъ членовъ этой семьи и какъ бы заслоняетъ ихъ. Въ душѣ его, уже обхваченной холодною смертію, свѣтится и горитъ забота объ этомъ человѣкѣ, въ которомъ онъ провидѣлъ готовящееся ему распятіе. Старость и болѣзни не могутъ сломить энергію Зосимы. Со всѣмъ изяществомъ внимательнаго къ людямъ и вѣжливаго человѣка, онъ никого не заставляетъ ждать себя. Онъ въ вѣчной гармоніи съ другими, и эта гармонія достигается имъ благодаря неистощимымъ запасамъ его душевныхъ и первыхъ силъ. Какой мимолежный штрихъ въ огромномъ романѣ, конечно, штрихъ бессознательный, и, однако, онъ создаетъ въ читателѣ довѣрчивое влеченіе къ этому съ виду невзрачному монаху. Изыщество скромной вѣжливости сливается въ Зосимѣ съ природною красотою страстной, подвижной натуры. Странно сказать, въ этомъ изможденномъ старикѣ, насквозь проникнутомъ цѣльнымъ богофильствомъ, есть одна черта общая съ Дмитріемъ, брошенная художникомъ, вѣроятно, тоже бессознательно. Зосима, какъ и Дмитрій, былъ когда-то офицеромъ, и это обстоятельство намекаетъ на нѣкоторую общность ихъ темпераментовъ. Каждое впечатлѣніе выражается у Зосимы соответствующимъ вѣдшимъ порывомъ. Эти внезапныя проявленія его дѣятельной чуткости къ людямъ, побуждающей его физическую слабость, — вотъ неподобная краска, взятая изъ настоящей человѣческой дѣйствительности и выдѣляющая образъ Зосимы изъ образовъ схематической богословской иконописи.

На всѣхъ подробностяхъ художественнаго письма Достоевскаго изучаешь тѣ глубокія личныя настроенія, которыя дѣлаютъ его истиннымъ іереемъ по отношенію къ уже застывшимъ пластамъ національной религіи, потерявшей свою связь съ чистымъ богопониманіемъ, съ безыскусственнымъ религіознымъ творчествомъ народа, которое всегда свободно отъ культурной суетности, пустословія и разсудочности, всегда великолѣпно въ своей сердечной простотѣ.

Наконецъ послѣдняя особенность во вѣдшей характеристикѣ Зосимы. Черезъ все его поведеніе проходитъ смиреніе въ одномъ чисто пластическомъ символѣ: несмотря на свою немощь, онъ постоянно склоняется передъ людьми въ низкомъ, глубокомъ поклонѣ. Этотъ поклонъ такъ же свойственъ Зосимѣ, какъ inferнальный изгибъ Гру-

шеньки. Первый же проблескъ новыхъ настроеній въ его душѣ, еще въ бытность его офицеромъ, сопровождается у него земнымъ поклономъ передъ оскорбленнымъ имъ денщикомъ Леонасіемъ. Вся земная суета, связанная съ его чиномъ и блескомъ офицерскихъ эполетъ, отпадаетъ отъ него вмѣстѣ съ этимъ рѣшительнымъ поклономъ. Отнынѣ Зосима привѣтствуетъ поклономъ, низкимъ, русскимъ поклономъ, всякое человѣческое обращеніе къ нему. Уже при первыхъ бесѣдахъ съ Карамазовымъ, въ его хиломъ, но подвижномъ тѣлѣ чувствуется задержанный рефлексъ, не выраженное движеніе сердца. Дмитрій еще не пришелъ, и Зосима на время удаляется изъ кельи къ ожидающему его народу, въ общеніи съ которымъ онъ является уже вполне самимъ собою. Его чуткая внимательность къ людямъ, умѣнье приспособляться къ нимъ, выступаетъ здѣсь во всей своей многоцвѣтной колоритности. Онъ всѣмъ улыбается, для каждого находитъ лучъ утѣшенія, одного благодаритъ, исповѣдуя другого — въ всякихъ церковныхъ правилъ,—садится для него на нижнюю ступеньку крыльца, какъ бы склоняясь къ его одинокой тайнѣ. Какъ великолѣпенъ Зосима въ этой своей способности охранять чужія индивидуальныя правды, подходить къ нимъ съ своею обожающею правдою, вносить свое вѣчное движеніе въ движеніе народныхъ массъ! Отъ народа онъ снова возвращается въ келью. Когда является Дмитрій «безукоризненно и щегольски одѣтый» и отвѣшиваетъ ему, съ обычной торжественностью, вѣжливый, глубокий поклонъ, Зосима, уже какъ бы настороженный поведеніемъ остальныхъ Карамазовыхъ, ведетъ себя опять сдержанно, безъ обычной непосредственности. Онъ привстаетъ и благословляетъ его — безъ поклона. Тутъ все въ высшей степени характерно, даже то, что онъ только «привстаетъ», а не поднимается съ мѣста со свойственною ему живостью. Но вотъ онъ уразумѣлъ Дмитрія, безмолвно сблизился съ нимъ душою, и онъ «вдругъ», по-своему, прекращаетъ общую тяжкую ссору Карамазовыхъ: «старецъ шагнулъ по направленію къ Дмитрію Федоровичу и, дойдя до него вплоть, опустился передъ нимъ на колѣни».

Въ немъ просыпается задержанная энергія, которая проявится сейчасъ съ удвоенною силою, потому что къ его инстинктивному преклоненію передъ страдающими людьми, которое принимаетъ у него пластическія формы, присоединяется теперь отчетливое убѣжденіе въ исключительности судьбы Дмитрія. «Ставъ на колѣни, старецъ поклонился Дмитрію Федоровичу въ ноги полнымъ, отчетливымъ, сознательнымъ поклономъ, и даже лбомъ своимъ коснулся земли». Такого поклона онъ, быть-можетъ, еще никогда не дѣлалъ. Онъ кланяется челоуѣку такъ, какъ кланяются иконѣ, ибо въ минуту внутренняго подъема онъ видитъ этого челоуѣка, эту живую икону, въ двойномъ

свѣту его двойной ипостаси, эту двупостасную единицу во всей безконечности ея разладовъ и страданій. Черезъ эту живую икону, созданную нечеловѣческими силами и потому безмѣрно превосходящую всякую другую икону, Зосима какъ бы созерцаетъ ея вѣчный первообразъ, видитъ его красоту и благочестиво падаетъ передъ нимъ до земли. «Я вчера великому будущему страданію его поклонился», говоритъ Зосима Алешѣ. Онъ поклонился ему «полнымъ, отчетливымъ, сознательнымъ поклономъ», потому что онъ вдругъ отчетливо увидѣлъ это страданіе и почувствовалъ свою личную виновность передъ тѣмъ, передъ Дмитріемъ, какъ и передъ цѣлымъ міромъ. Теперь холодъ, случайно навѣянный на его душу, разсѣялся, и Зосима покидаетъ келью съ улыбкою на устахъ и уже съ бессознательными, обычными поклонами на всѣ стороны.

Есть что-то очаровательное въ той философіи, которая чувствуется въ романѣ, дѣлая его, казалось бы, въ столь незначительномъ пунктѣ, типично-русскимъ произведеніемъ. Глубокій, поясной или земной поклонъ — это чисто русскій поклонъ, съ самобытной русской психологіей смиренія и самоуменья передъ людьми, какъ передъ символомъ воплощеннаго въ нихъ божества. Особенно же многозначительною является эта черта въ обрисовкѣ Зосимы, который корнями своего обновленнаго существа врастаетъ въ народную почву. Зосима, который всегда почерпалъ энергію изъ своихъ внутреннихъ экстазовъ, и теперь, въ послѣднихъ напряженіяхъ тѣла, побуждаетъ овладѣвающую имъ слабость и, покидая міръ, даетъ ему, въ своемъ поклонѣ, послѣднее «восторженное поученіе». Онъ умираетъ какъ истинный богоносецъ.

Вотъ и вся фигура Зосимы. Передъ нами, въ самомъ дѣлѣ, одинъ изъ глубокомысленнѣйшихъ образовъ древняго міра, перешедшій въ новый міръ съ своею главною, отличительною чертою — съ своимъ эстетическимъ весельемъ. Онъ истинно мудръ, потому что, при всей ограниченности человѣческаго слова, онъ умѣетъ словомъ поучать этому веселью и доказывать людямъ его святость. Хилый, сгорбленный человѣкъ, съ слабыми погами, онъ полонъ этого святого веселья, полонъ движенія, и годы не властны надъ нимъ, потому что своими свѣтящимися глазами онъ смотритъ не въ бессодержательную, отвлеченную идею вѣчности, а въ самую вѣчность, въ живую безбрежность все новыхъ и новыхъ явленій. Его ученіе о вѣчности выливается изъ его ощущенія бытія — ощущенія многоцвѣтнаго и многозвучнаго, и потому оно, при своихъ неизмѣнныхъ метафизическихъ перспективахъ, пріобрѣтаетъ въ его устахъ поэтически чудотворную прелесть. Онъ видитъ міръ въ разнообразіи его явленій, представляющихъ каку-то двойную необъятность содержанія въ каждой отдѣльной

безконечно малой величинѣ и необъятность ихъ въ цѣломъ строѣ вселенной.

Изъ этого созерцанія Зосима выноситъ и свое смиреніе, и свое веселье. Но именно такое смиреніе и такое веселье ставятъ его особнякомъ среди другихъ подвижниковъ монастыря, изъ которыхъ многіе склонны идти въ вопросахъ вѣры только традиціонными путями. Среди этихъ людей онъ кажется какимъ-то еретикомъ, вся жизнь, всѣ неустанныя поученія котораго, полныя чуждаго для нихъ экстаза, являются апокрифическою легендою. Черезъ него говорила необъятная природа въ ея таинственныхъ касаніяхъ къ духовной безмѣрности, и съ его смертью умолкъ живой языкъ богофильской мудрости, тоже безмѣрной, тоже стихійной. Апокрифическая легенда о великомъ старцѣ Зосимѣ расплывается, какъ облако, въ кривотолкахъ враждебныхъ ему монаховъ и въ праздныхъ пересудахъ профанной толпы.

«Братья Карамазовы» — это художественное произведеніе, въ которомъ Достоевскій разрѣшаетъ великую философскую и психологическую задачу. Онъ показываетъ намъ, изъ какихъ коренныхъ началъ состоитъ человѣческая душа, и какъ эти коренныя начала, богофобское и богофильское, постоянно борются между собою и усиливаются или ослабляются въ зависимости оттого, куда направлено человѣческое сознаніе. Демоническая философія Ивана Карамазова дѣлаетъ въ немъ эту борьбу особенно трагичною и особенно поучительною. Богофильскія мысли Засимы, являющіяся какъ бы противоположеніемъ этой демонической философіи и говорящія къ сердцу человѣческому, кажутся непобѣдимыми, потому что, въ концѣ-концовъ, только онѣ развязываютъ человѣческую трагедію и открываютъ перспективу вѣчно новаго, вѣчно завѣтнаго бытія. При внимательномъ анализѣ видимъ, что именно въ Засимѣ возродилось все, что было великаго, цѣльнаго и прекраснаго въ античной древности, возродилось и переродилось въ новую, мягкую красоту. Эта тема — борьба богофильства съ богофобствомъ даетъ себя чувствовать во всемъ романѣ во всѣхъ его характеристикахъ и картинахъ. Достоевскій смотритъ на человѣка сквозь религіозную идею, которая является какъ бы стекломъ, углубляющимъ его зрѣніе и открывающимъ возможность ему самыхъ тонкихъ художественныхъ воспріятій. Сквозь эту идею онъ увидѣлъ всю душу Дмитрія, Грушеньки, Федора Павловича, жизнь своихъ героев въ полнотѣ ея содержанія. Все у Достоевскаго страшно принципиально въ лучшемъ, высочайшемъ смыслѣ этого слова, все идетъ у него къ Богу или отъ Бога, все поднимается или опускается — никто ни на минуту не остается въ покоѣ или равновѣсіи. Кажется, будто въ жизни и нѣтъ ничего не трагическаго, ничего легкаго, никакой безцѣльной игры, потому что ничего этого нѣтъ



въ страшно напряженной и страшно яркой живописи Достоевскаго. Никакихъ полутоновъ, никакихъ невинныхъ свѣтовыхъ рефлексовъ, которые такъ отрадны для человѣческаго глаза. Все царство Карамазовыхъ, даже съ этимъ примыкающимъ къ нему тихимъ бѣлымъ монастыремъ, стоитъ какъ бы на вулканѣ, ибо самая душа Достоевскаго, изъ которой вышелъ этотъ романъ, является настоящимъ вулканомъ.

Волынский.

### Идейное наслѣдіе Достоевскаго.

Достоевскій былъ славянофилъ, и въ его взглядахъ на вещи было много такого, что рѣдко расходилось съ понятіями, господствовавшими въ передовыхъ кругахъ общества. Въ міросозерцаніи и въ его душевно-номъ укладѣ этого необыкновеннаго человѣка было сходство между нимъ и самимъ «духомъ» времени.

Достоевскій былъ *убѣжденный народникъ*, доходившій до обожанія народа; до крайней идеализаціи его. По его разумѣнію, русскій народъ подъ оболочкой внѣшней грубости и перѣдко жестокихъ нравовъ скрываетъ чуть ли не настоящую мягкость, исключительную душевную красоту. Онъ исходитъ изъ предпосылокъ, очень близкихъ къ тѣмъ, отъ которыхъ отправлялись и аденты утопическаго социализма, полагавшіе, что мужикъ — прирожденный социалистъ, что его основные идеалы совпадаютъ съ высокимъ социалистическимъ идеаломъ.

Читатели «Дневника», въ ряду которыхъ передовая интеллигенція 70-хъ годовъ занимала видное мѣсто, находили здѣсь — по вопросу о народѣ, объ отношеніяхъ между нимъ и высшими классами — много мыслей и чувства, которыя шли отъ сердца къ сердцу. Основной догматъ о высокихъ качествахъ русскаго народа и его высокой миссіи въ грядущемъ обновленіи человѣчества, «догматъ», на которомъ основывалась самая возможность попытокъ социалистической пропаганды въ народѣ, былъ выраженъ Достоевскимъ съ такой глубокой вѣрой, съ такой проникновенной силой искренности, что невольно своею проповѣдью онъ поддерживалъ въ молодежи ту систему понятій и чувствъ, которая была психологическимъ основаніемъ революціонныхъ иллюзій нашихъ социалистовъ. Для подвига, для отреченія отъ всѣхъ благъ земныхъ и принесенія себя въ жертву «идеѣ» народа еще мало сознанія нравственной ответственности передъ нимъ, — необходимо обожаніе, нужна глубокая вѣра въ высокое достоинство, въ исключительное величіе «народнаго дѣла». Въ народнической проповѣди Достоевскаго было что-то безоглядное, изступленное, а это и есть то самое, на что русскій идейный читатель всегда былъ падокъ.

Приходится изумляться ослѣпленію гениальнаго беллетриста-психолога, навязчивости его предвзятой идеи, его несправедливости и негуманности въ отношеніи къ другимъ народамъ и націямъ.

Достоевскій фанатически проповѣдывалъ смиреніе народа «народной правдой». Интеллигенція должна не только служить народу, просвѣщать его, защищать его интересы, но и раздѣлять его понятія — усвоить его предполагаемые эстетическіе идеалы и прежде всего его религію. Достоевскому, повидному, и въ голову не приходило, что это было бы насиліемъ, какъ своей совѣстью, духовнымъ рабствомъ и худшимъ видомъ лицемѣрія. Это грѣхъ не его лично, а того фанатическаго націонализма, жертвой котораго онъ сталъ: такой націонализмъ съ психологической необходимостью ведетъ къ софистикѣ, ко лжи, къ подтасовкамъ, къ челоѣконенавистничеству и изувѣрству. Можно любить свою національность и народъ, какъ предполагаемаго ея носителя и лучшаго представителя, но если вы возведете ихъ въ перлъ созданія и увѣруете въ «народныя основы», какъ въ какую-то догму, откровеніе, то вамъ придется пошевольт примириться со всевозможными дикостями и несообразностями, какими пренеполнены всѣ исторически сложившіяся народныя міросозерцанія.

Сближался Достоевскій съ социалистами 70-хъ годовъ и на другомъ пунктѣ: онъ питалъ жгучую ненависть и великое презрѣніе къ буржуазіи, къ капитализму, къ западно-европейскимъ порядкамъ, основаннымъ на господствѣ буржуазіи, и, наконецъ, къ нашимъ конституціоналистамъ, мечтавшимъ о русскомъ парламентѣ по европейскому образцу. Выѣстъ съ тѣмъ Достоевскій отрицалъ и бюрократію, которую онъ считалъ, по примѣру другихъ славянофиловъ, порожденіемъ все того же гнилого Запада, пересаженнымъ однимъ Петромъ Великимъ. Какъ славянофилъ, онъ лелѣялъ идеалъ демократическаго самодержавія: единеніе царя съ народомъ. Органомъ этого единенія должны явиться *Земскій соборъ* изъ мужиковъ. Народу должно оказать *доверіе*.

Къ его слову прислушивалось все образованное общество, хотя не раздѣляли его славянофильскихъ тенденцій. Но многіе вполне раздѣляли его демократическое направленіе и почти всѣхъ подкупала кажущаяся *гуманность* Достоевскаго, а равно и фиктивный радикализмъ его протеста.

Онъ сталъ властителемъ думъ общества; онъ выступилъ, какъ моралистъ. Наше образованное общество, несмотря на пройденную имъ школу «нигилизма», матеріализма, позитивизма, осталось очень отзывчивымъ и падкимъ на всякую идеологию, такъ или иначе затрагивающую скрытыя струны религіозности и поднимающую вопросы нравственнаго

сознанія. Знаменитая рѣчь о Пушкинѣ и послѣдній романъ «Братья Карамазовы» остались исповѣданіемъ вѣры и литературнымъ завѣщаніемъ Достоевскаго.

Этотъ расколъ былъ той книгой, въ которой тогда искали новыхъ откровений. Самъ Достоевскій смотрѣлъ на этотъ свой романъ какъ на свое завѣщаніе, какъ на самое полное и точное выраженіе своей вѣры и своихъ идеаловъ. Безъ сомнѣнія, онъ былъ натура глубоко-религіозная. Но чѣмъ больше онъ вѣруетъ, тѣмъ больше ожесточается; подъ покровомъ словъ о всепрощеніи, о христіанской любви, о братствѣ у него клокочетъ злость. Эта негуманная, раздражительная и озлобленная религіозность оказывается и въ романѣ, гдѣ она является въ сочетаніи съ аналогичною чертою нравственнаго чувства. Герои романа каются и въ своемъ покаяніи ожесточаются; муки совѣсти приводятъ ихъ къ озлобленію. Пуще всего они озлобляются противъ тѣхъ, кто не вѣритъ въ безсмертіе души и загробныя возмездія. Въ озлобленіи, обнаруживающемся въ отношеніи къ этому отрицанію, ясно сквозитъ у Достоевскаго родъ *самобичеванія*; бичуя отрицателей, Достоевскій бичевалъ самого себя, или, точнѣе, ту часть своего раздвоеннаго сознанія, которая сомнѣвалась, не хотѣла вѣрить, отрицала. «Чортъ» Ивана Карамазова сидѣлъ въ самомъ Достоевскомъ и долго оставался въ душѣ романиста. Религія его была безсильна истребить «чорта», водворить въ душѣ миръ и благоволеніе. Это могло зависѣть отъ разныхъ причинъ, глубоко коренившихся въ натурѣ Достоевскаго, и отъ того, что ему была чужда наивность, непосредственность религіознаго чувства, а также и отъ того, что въ религіи Достоевскаго было *слишкомъ мало мистики*.

Позволительно усомниться въ томъ, что Достоевскій изображалъ всѣ глубины души человѣческой: онъ изображалъ только *нѣкоторыя* и, большею частью, все одно и то же... Поскольку онъ изображалъ ихъ правдиво, онъ былъ, конечно, художникъ-реалистъ. Въ числѣ этихъ «глубинъ души» видное мѣсто въ творчествѣ Достоевскаго занимаетъ слѣдующее психическое явленіе, наблюдаемое у многихъ, а у нѣкоторыхъ достигающее особливо яркаго и явно болѣзненнаго выраженія: человѣкъ мучится сознаніемъ своей грѣховности, подлости, душевной дрянности, и, не полагаясь на силу и авторитетъ своей совѣсти, аппаратъ которой у него поврежденъ, жаждетъ знать, что на томъ свѣтѣ его разсудятъ по всей правдѣ и, наказавъ, въ концѣ-концовъ, помилуютъ. Въ этомъ и состоитъ «глубина души», а равно и душевная драма Ивана Карамазова. И Достоевскій былъ великій мастеръ раскрывать и анализировать эту драму, эту болѣзнь совѣсти, какъ источникъ жгучей потребности въ вѣрѣ въ загробное существованіе и въ высшій судъ, который «оправдаетъ», т.-е. помилуетъ гадкаго человѣка

съ слабой волей, хрупкой совѣстью и большими скверными страстями. Для изученія *этого* патологическаго источника религіозности сочиненія Достоевскаго — настоящій «человѣческій документъ». Но для изслѣдованія другихъ, лучшихъ источниковъ религіозности, какихъ, немало найдется въ душѣ человѣческой, Достоевскій не даетъ надежнаго діагноза.

Религіозный вопросъ, какъ его понималъ Достоевскій, разработанъ въ романѣ преимущественно анализомъ душевныхъ мукъ *Ивана Карамазова*. Самъ авторъ придавалъ ему особенную значительность. Къ сожалѣнію, разработка темы и выполненіе замысла едва ли могутъ быть признаны вполнѣ удачными. Въ противоположность Карамазову-отцу и Дмитрію, которые обрисованы превосходно и принадлежатъ къ лучшимъ созданіямъ Достоевскаго, фигура Ивана вышла блѣдною и, что всего хуже, претенціозной. Читатель все время *не доверяетъ* Ивану и не можетъ отдать себѣ отчетъ въ томъ, что это за человѣкъ. Его «глубина» кажется скорѣй претензіей на глубину. Не ясно и чисто-нравственная сторона натуры его. Мы не можемъ сказать опредѣленно, крѣпокъ ли въ немъ аппаратъ совѣсти или хрупокъ. Одно лишь ясно въ немъ: онъ — психопатъ въ точномъ медицинскомъ смыслѣ слова, и эта психопатическая сторона его личности, какъ всегда, у Достоевскаго воспроизведена превосходно, въ особенности въ сценѣ съ чортомъ, который и трактуется какъ галлюцинація.

Для построенія философіи религіи изученіе религіозныхъ сомнѣній и связанныхъ съ ними душевныхъ мукъ очень интересно, но ихъ нужно изучать *прежде всего* у натуръ душевноздоровыхъ. Нельзя также ожидать удовлетворительной постановки и разработки вопросовъ философіи и психологіи религіозности отъ художника, со столь узкимъ художественнымъ кругозоромъ и при такой внутренней неурядицѣ и смутѣ, которая царила въ душѣ Достоевскаго. Тутъ нужны душевный миръ, покой совѣсти, покой мысли и доброе, сочувственное, справедливое отношеніе къ людямъ, мнѣніямъ и направленіямъ — Достоевскому «философскій покой» былъ недоступенъ по самой натурѣ этого гениальнаго, но неуравновѣшеннаго и негуманнаго человѣка.

Тѣмъ не менѣе, недоступное ему манило его, — онъ, повидимому, страдалъ отъ внутреннихъ противорѣчій и, не умѣя выйти изъ нихъ путемъ раціональнаго мышленія, лелѣлъ мечту о достиженіи — на основахъ положительной религіи — душевнаго мира, покоя совѣсти, широты религіозно-философскаго воззрѣнія, и въ этихъ поискахъ *выдумалъ* *Алешу Карамазова*.

Весь идейный интересъ романа сводится къ этимъ двумъ лицамъ — *Ивана и Алешу*.

Начнемъ съ Ивана и припомнимъ сперва то, что онъ говоритъ о присущемъ человѣку «сладострастіи» въ жестокости, по обыкновенію героевъ Достоевскаго, слишкомъ обобщая явленія, сгущая краски.

Въ извѣстной сценѣ его бесѣды съ Алешей онъ съ особеннымъ вниманіемъ останавливается на исключительныхъ, сравнительно рѣдкихъ проявленіяхъ жестокости въ отношеніи къ дѣтямъ. Онъ протестуетъ противъ выраженія «звѣрская жестокость» человѣка, ибо «звѣрь никогда не можетъ быть такъ жестокъ, какъ человѣкъ, *такъ артистически, такъ художественно жестокъ*»...

Здѣсь затронутъ, безспорно, самый «проклятый» изъ всѣхъ религіозно-философскихъ вопросовъ: какъ согласовать вѣру во всемогущество и благодѣтельность Бога съ фактомъ существованія въ мірѣ зла вообще, всякихъ жестокостей и звѣрствъ въ частности, въ ряду которыхъ такимъ вопіющимъ укоромъ являются истязанія и избиенія ни въ чемъ неповинныхъ дѣтей? Натуры, для которыхъ вѣра въ бытіе и всемогущество Божіе составляетъ глубокую, нескоренную душевную потребность (къ ихъ числу, безъ сомнѣнія, относятся Иванъ Карамазовъ и самъ Достоевскій), либо просто обходятъ этотъ вопросъ, оставляя его неразрѣшеннымъ, и на этомъ успокаиваются, либо путемъ долгихъ и мучительныхъ сомнѣній, внутренней борьбы, религіознаго ропота и богохульства приходятъ къ тому или другому изъ возможныхъ — на теологической почвѣ — рѣшеній его, напримѣръ, помощью религіознаго дуализма (Богъ и Дьяволъ), или теоріи «свободы воли» (Богъ даровалъ людямъ «свободу воли» и предоставилъ имъ свободный выборъ между добромъ и зломъ), или, напротивъ, ученія о «предопредѣленіи». На томъ или другомъ рѣшеніи рокового вопроса возмущенная душа человѣка можетъ прійти въ равновѣсіе, и его религіозное чувство будетъ удовлетворено... Однако весьма часто у людей мыслящихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ отличающихся очень требовательною, не легко удовлетворяемою религіозностью достигнутый результатъ не обходится безъ слѣдовъ или переживаній испытанной борьбы, выстраданныхъ сомнѣній и обусловленнаго ими утомленія мысли и чувства. Оттуда столь нерѣдкій отпечатокъ неполной удовлетворенности найденнымъ рѣшеніемъ, родъ досады на то, что нѣкій скептический голосъ въ душѣ все еще слышенъ, нѣкоторая раздражительность религіознаго чувства, замѣтное недоброжелательство къ тѣмъ, кто не согласенъ съ рѣшеніемъ вопроса, столь дорого доставшимся, или возражаетъ противъ способа его постановки. И такой человѣкъ, если онъ вообще не спокоенъ духомъ и не обладаетъ достаточною гуманностью и терпимостью, скажетъ, по примѣру Достоевскаго: «Этимъ олухамъ и



не спилось такой силы отрицанія, черезъ которое перешелъ я», или что-нибудь другое, но въ томъ же родѣ и столь же убѣдительное...

Эту «силу отрицанія», этотъ тяжелый процессъ внутренней борьбы, сомнѣній, ропота и изобразилъ Достоевскій въ горячечныхъ рѣчахъ Ивана Карамазова и въ сочиненной послѣднимъ легендѣ о «Великомъ инквизиторѣ». Здѣсь центръ тяжести всей идейной стороны романа. Эти страницы, написанныя такъ, какъ умѣлъ писать только Достоевскій, по праву привлекали къ себѣ особенное вниманіе читающей публики. Поклонники Достоевскаго и всѣ тѣ, которые въ разгоряченныхъ «мучительныхъ» рѣчахъ его героевъ склонны были подозрѣвать какія-то глубокія откровенія, искали въ признаніяхъ Ивана Карамазова и въ легендѣ объ инквизиторѣ «новаго слова», новый постановки великой проблемы о происхожденіи зла въ мірѣ,—проблемы хотя и перенесенной на религіозную почву, но въ сущности далеко выходящей за предѣлы чисто-теологическаго вопроса. Иванъ возстаетъ противъ идей всеобщей гармоніи, купленной цѣною безконечныхъ страданій и, главное, цѣною невинныхъ жертвъ. Онъ отказывается принять «истину», такимъ путемъ достигнутую, заранее утверждая, что вся истина не стоитъ такой цѣны. Онъ указываетъ на тѣ злодѣянія, которыя не могутъ быть прощены. Это выходитъ уже не теоретическій, богословско-философскій вопросъ о доказательствахъ бытія Божія, это — жгучій вопросъ жизни и нравственнаго сознанія, вопросъ о злѣ въ мірѣ, о возмездіи за зло. Вопросъ поставленъ такъ рѣзко и дерзновенно, что никакое отступленіе вспять и никакое успокоеніе совѣсти не представлялось возможнымъ.

Суть этого въ легендѣ о «Великомъ инквизиторѣ» сводится къ тому же коренному вопросу христіанскаго міросозерцанія, который заново поднималъ и такъ богатырски просто «рѣшилъ» Толстой, это вопросъ о воиющемъ противорѣчій между христіанствомъ историческимъ и христіанствомъ Евангелія. Толстой «просто» отвергъ *все* историческое христіанство цѣликомъ, какъ искаженіе Евангелія. Достоевскій, напротивъ, еще больше запутывалъ и безъ того запутанный вопросъ. Онъ внушалъ, что въ «истинномъ» православіи Церковь поглотитъ государство, и тогда всѣ вопросы разрѣшатся, и все станетъ ясно, зло пойдетъ быстро на убыль, добро и правда восторжествуютъ.

Идеаль православія и утопія Достоевскаго намѣчены въ описаніи дѣятельности монастырскихъ «старцевъ», образцомъ которыхъ является Зосима. Но обратимся къ знаменитой «легендѣ». Въ самое жестокое время инквизиціи въ Севильѣ является самъ Христосъ, и, конечно, Его арестовали и посадили въ темницу, по приказанію великаго ин-

квизитора. Спасителю міра грозитъ вторичная казнь—на этотъ разъ на кострѣ, возженномъ Его же именемъ. Ночью инквизиторъ приходитъ къ Божественному узнику въ темницу, чтобы сперва удостовѣриться, Онъ ли это. Слѣдуетъ мастерски написанная, но слишкомъ ужъ и пространныя рѣчь инквизитора, въ которой онъ старается доказать Христу, что великую «ошибку» сдѣлалъ Онъ, *освободивъ людей*, и что теперь, когда святая римская церковь, путемъ святой инквизиціи, уже почти «исправила» Его божественную «ошибку», Онъ, Христосъ, не имѣетъ права являться сюда и мѣшать довести дѣло до вождѣннаго конца. Словами «Завтра сожгу Тебя. Dixi», обрывается «поэма» Ивана Карамазова.

Иванъ — заодно съ инквизиторомъ, и оба во имя любви къ человечеству возстаютъ противъ Христа. Это — «бунтъ» одной утопіи, которая хочетъ облагодѣтельствовать человечество рабствомъ, насиліемъ, гнетомъ, казнями, противъ другой утопіи, которая средствами религіознаго подъема и путемъ нравственнаго перерожденія человека хотѣла бы водворить на землѣ «царство Божіе». Обѣ утопіи, повидимому, были частично сродни душѣ Достоевскаго: въ ней Христосъ состязался съ инквизиторомъ и — кто знаетъ? — быть-можетъ, эти два начала, въ концѣ-концовъ, и пришли бы у него къ соглашенію, къ размежеванію его души, на примѣръ, такъ, что на долю утопіи Христа достались бы мечты, идеалы и слова, а на долю инквизитора — настроенія, религіозныя страсти, идейныя и національныя пристрастія. Романъ въ своемъ цѣломъ является, по мнѣнію самого Достоевскаго, отвѣтомъ на «бунтъ» Ивана Карамазова. Содержаніе отвѣта не поддается сжатой формулировкѣ, но съ наибольшей ясностью онъ представленъ въ лицѣ *Алеша Карамазова*.

Это — юноша честный, почти идеальный, съ душою глубокой и наивной, рвущейся изъ мрака къ свѣту, юноша, ищущій правды, подвиговъ, жизни по совѣсти. По прямому указанію автора, онъ принадлежитъ къ тому психологическому типу, который въ 70-хъ годахъ такъ ярко опредѣлился въ лицѣ самоотверженныхъ молодыхъ дѣятелей, жертвовавшихъ всеми благами жизни и самой жизнью ради служенія тому идеалу, въ который они вѣровали. Это были социалисты, народники, революціонеры того времени. Достоевскій разсчитывалъ, что Алеша, воспитавшись «въ послушаніи» и воспріявъ въ свою душу истинную «народную» вѣру, истолкованную высокою проповѣдью и примѣромъ старца Зосимы, выйдетъ изъ монастыря въ міръ, чтобы, по завѣту того же Зосимы, служить людямъ, наставлять ихъ на путь истины, облегчать ихъ скорби, смягчать ихъ ожесточенныя души, обращать ихъ ко Христу, идеалу всечеловѣческой любви. Алеша по-

шелъ по этому пути потому, что онъ глубоко увѣровалъ въ Бога, въ Христа и въ безсмертіе души, и еще потому, что онъ—натура цѣльная, не допускающая никакихъ компромиссовъ, никакихъ сдѣлокъ съ совѣстью, ничего половинчатого.

О старцѣ Зосимѣ, о его жизни, идеалахъ, вѣрованіяхъ и воззрѣніяхъ говорится подробно въ его «житіи». Въ смыслѣ идеологическомъ это чуть ли не замѣчательнѣйшій эпизодъ въ романѣ. Ученіе Зосимы—это своего рода проповѣдь «непротівленія злу насиліемъ» и внутренняго перерожденія людей въ духѣ любви и братства.

Въ началѣ 80-хъ годовъ многіе видѣли въ этомъ ученіи самое новое, самое смѣлое и глубокое слово, сказанное тогда русскою литературой. И «бунтъ» Ивана Карамазова и «отвѣтъ» на этотъ бунтъ, данный «всѣмъ романомъ», а въ особенности тѣмъ, что воплощено въ лицѣ Алешки и выражено въ проповѣди Зосимы, представлялись многимъ какимъ-то «откровеніемъ», раскрывали какія-то новыя перспективы, и слово Достоевскаго получало власть надъ умами и сердцами. Этой власти много содѣйствовалъ огромный и своеобразный талантъ Достоевскаго, тотъ, по діагнозу Михайловскаго, «жестокій талантъ», въ силу котораго Достоевскій не имѣлъ конкурентовъ въ дѣлѣ терзанія души и нравовъ своихъ читателей.

Діагнозъ Михайловскаго до сихъ поръ остается и навсегда останется незамѣнимымъ. Покойный мыслитель съ геніальной прозорливостью указалъ на коренную черту художническаго «пафоса» Достоевскаго.

Достоевскій была организація очень сложная, противорѣчивая и неуравновѣшенная, въ которой припадки озлобленности и ожесточенія смѣнялись раскаяніемъ, размягченіемъ души и жадной любви къ людямъ, всепрощенія, христіанскаго смиренія. Христіанская основа Достоевскаго психологически обосновывалась на душевной и моральной реакціи противъ припадковъ озлобленія и противъ той негуманности, которая составляла одинъ изъ элементовъ его натуры и, несомнѣнно, была для него источникомъ душевныхъ мукъ. Религіозной утопій и христіанскимъ всепрощеніемъ онъ безсознательно боролся съ своей собственной негуманностью и другими отрицательными сторонами натуры, обусловленными болѣзненнымъ состояніемъ его нервной системы и общою неуравновѣшенностью души. Жестокость таланта проявлялась не только въ томъ, что онъ мучилъ читателя и заставлялъ своихъ героев мучить другъ друга и себя самихъ, но также и въ томъ, что онъ самъ себя мучилъ—озлобленіемъ и покаяніемъ, укорами совѣсти и безпощаднымъ самоанализомъ, и это было однимъ изъ глав-

ныхъ источниковъ его творчества. Въ его психическихъ самопознанияхъ, безспорно, была сторона «артистическая»; было и своеобразное «сладострастіе» мучительства. Въ результатъ возникала душевная истина, разрѣшавшаяся припадками сентиментальной религіозности и хорошими словами любви и всепрощенія, которыя такъ соблазнительно и сладко звучали маящимъ пѣніемъ сирены въ сумрачную эпоху 80-хъ годовъ, въ туманѣ реакціи, когда старыя иллюзіи были разбиты и среди повального затемненія и упадка общественной и политической мысли почти всѣ здоровые элементы развитія были «на ущербѣ».

*Овс. - Куликовскій.*



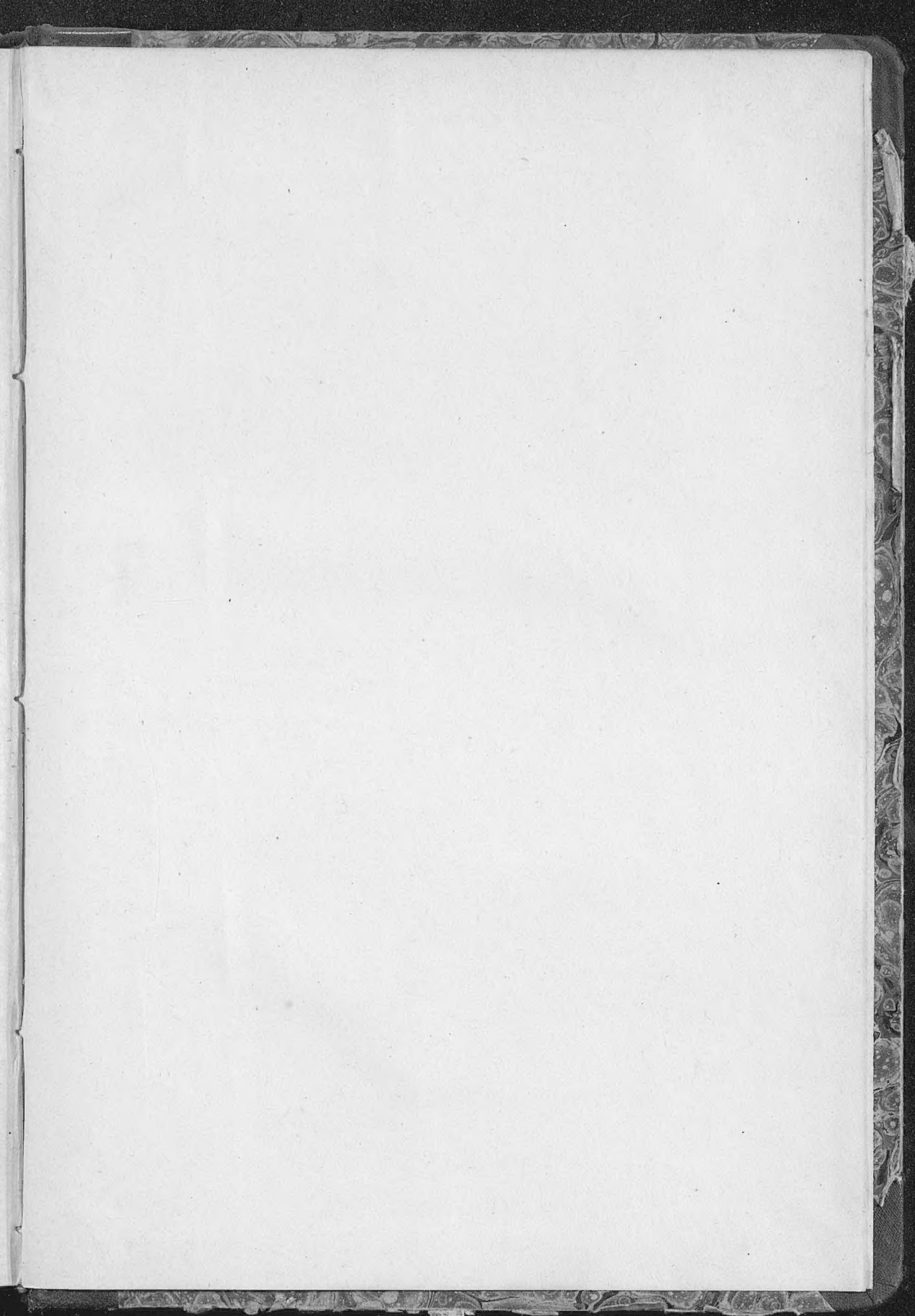




### ТОГО ЖЕ АВТОРА:

1. Новая русская хрестоматія, чч. I и II.
2. Теорія словесности съ хрестоматіей.
3. Краткіе литературно - историческіе очерки.





[20p]

X



